18+

ДАРИЯ БЕЛЯЕВА

терра

#современная проза
#магический реализм
#русский нуар

РОМАН — ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «РУКОПИСЬ ГОДА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман – обладатель Гран-при литературной национальной премии «Рукопись года».

Боря Шустов – не вполне человек.

С детства он знает, что ему предстоит болеть, терпеть и умереть ради того, чтобы мир стал чуточку лучше. Знает, что он и ему подобные нужны для того, чтобы предотвращать беды на планете – и цена этой способности слишком велика.

Борина мама рано умерла – но осталась и в нем, и в его папе. В прямом смысле тоже.

Борин папа честно старается исполнять свой долг, но он тоже не вполне человек, и долг его несколько выходит за рамки человеческого.

Боря думает, что у него есть выбор. Думает, что он может жить отдельно, а мир отдельно.

Это история о чудовищах. О семье, какой бы она ни была, и о жизни, какой бы она ни была.

- Дария Беляева
  -
  - Часть I. Был маленьким
    - Глава 1. Зубки да косточки
    - Глава 2. Бог велит помирать, а я не хочу
    - Глава 3. Умственная работа
    - Глава 4. Мой папа живет под землей
    - Глава 5. Собачка-таксочка
    - Глава 6. Холод могильный и скрежет зубовный
    - Глава 7. Ой, темно
    - Глава 8. Немощные цветы
    - Глава 9. Надо ночь скоротать
  - Часть II. Был молодым
    - Глава 10. Земелька
    - Глава 11. Вышло время твое
    - Глава 12. Неволя
    - Глава 13. Кухонный ножик
    - Глава 14. Детишкам радость
    - Глава 15. Страшный человек
    - Глава 16. И повесили его
    - Глава 17. Удовольствие неземное
    - Глава 18. Да кому ты такой нужен?
    - Глава 19. Жизнь твоя
  - Часть III. Был мудрым

- Глава 20. Тихий ужас
- Глава 21. Батя на час
- Глава 22. Волшебство любви
- Глава 23. Кушай теперь
- Глава 24. Опойца
- Глава 25. Чокнуться можно
- Глава 26. Котлован
- Глава 27. Скучно в больничке
- Глава 28. Даже воздух сладок

Дария Беляева
Терра

Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка…
Разобьешь его и ты!

Николай Олейников

Я верю в Господа.

И верю, что еще один ледниковый период будет.

Мы все должны умереть. Это нормально.

Алексей Балабанов

© Дария Беляева, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Часть I. Был маленьким

Глава 1. Зубки да косточки

А когда мамка умерла, мы с отцом ее и съели, чтобы навсегда нашей была. Я когда маленький был и дядя Коля вот умер, головой, в общем, ударился, напившись водки, – папашка с мамкой его тоже ели, а передо мной положили здоровенный кусок торта «Прага», но запах абрикосового джема и шоколада ничего не отбил.

И вот папашка говорил такое:

– Мы делаем это, чтобы они никогда не покинули нас.

Когда дядя Коля кончился, мне, значит, было четыре года. Папашка посадил меня на колени, закурил и стал рассказывать про атомы, про то, что они с мамкой чего-то там будут состоять из дяди Коли вроде, он их никогда не покинет.

Я рассматривал красные сосуды у папы в белках и думал, что у него с дядей Колей были одинаковые светлые глаза. А у меня – черные, как у мамки. Я сидел у него на коленях неподвижно, смотрел на него и вдыхал запах сырого подпорченного мяса, все еще доносившийся у него изо рта.

– А почему у Лиды бабка умерла? Вот у ней бабка умерла, и ее на кладбище зарыли.

Папашка хрипло рассмеялся.

– Кого, Лиду?

– Нет, бабку ее.

Говорить я научился рано и ладно, это всем взрослым нравилось. Даже отцу. Он смотрел на меня своими светлыми глазами, зрачки его были как дыры в мироздании, такие зрачки, узкие-тонкие, а белки – розоватые не то от заката, не то от крупных сосудов. У папы был неподвижный, остекленевший взгляд, он пару дней пил водку, начал еще до того, как дядя Коля умер, вместе с дядей Колей еще.

– Люди так не могут. Простые люди, обычные.

Это те, у которых Матеньки нет. Я уже понимал разницу-то. Они не знают крысиного языка и непрочные, не видят, как пульсирует темнота, а запахов для них в мире совсем уж мало.

– И они, – задумчиво сказал папашка, – не знают, что под землей. Поэтому и пихают туда трупы. Я б не стал.

Тут он столкнул меня с колен, встал, пошатываясь подошел к окну. Я больно ушибся, но уже знал, что папашка разозлится, если я заплачу.

А потом я увидел (в отражении увидел), что отец сам плачет. Да, плакал папашка. Вот и все, что я об этом дне точно запомнил.

А про дядю Колю только то, что глаза у него были такие же,

как у отца, только не злые, а печальные. Он был, это я понял спустя много лет, рассматривая фотографии, такой себе сантехник из порно, из эротики даже. Сказочно красивый, светловолосый, светлоглазый, и лицо у него было светлое-светлое, такое, должно быть, у повзрослевших ангелов встречается. Он никогда начисто не брился, но все равно была в нем какая-то юношеская нежность, ничем не изымаемая.

Так вот, башку он себе проломил, ну да, основание черепа, и у него под глазами остались такие почти черные синяки – это кровь прилила.

Он был хорошим. Ну, мне говорили.

Да и ладно, в общем отец плакал, а я хотел куда-нибудь исчезнуть, оказаться далеко-далеко, чтобы случайно не показать: я знаю, вижу, запоминаю, какой ты слабый.

Вечером, когда меня укладывали в кровать (а она была не так далеко от обеденного стола, на котором разделали, а потом съели дядю Колю), мамка сказала:

– Боречка, ты не бойся, он тебя и мертвый будет любить.

А я и не знал, любил ли он меня живым, так что не боялся. Мамка была совсем пьяная, взгляд у нее был, как у стеклянной игрушки, смешной и жутковатый. На языке она говорила на родном, как с ней часто бывало, когда она совсем упьется, и я тоже легко на него переходил.

– А завтра вы тоже его будете есть? – спросил я.

– Будем, пока весь не съестся. Останутся одни зубки да косточки.

Она гладила меня по голове, пальцы ее были холодными, словно тело ее уже знало, что тоже умрет. Ну и глупость на самом-то деле, а то мы все не знаем, что ли?

И вот, и вот, ну да, она смотрела мне прямо в глаза, было темновато, зрачков ее в черноте радужки я почти не видел.

– Матенька сказала, что мы не должны оставлять наших мертвых. Она дала нам такие желудки, чтобы их принять. Это такая любовь, Боречка. Вечная любовь. Это чтобы вечно любить.

Ну я так и понял – Матенька хотела, чтобы мы любили вечно.

– Ты послушай, – сказала мамка, перехватив меня за подбородок, чтобы привлечь мое внимание. – Они навсегда остаются с нами, никуда не исчезают. Уходят в кровь твою и в душу.

– А там застревают?

Мамка ничего не ответила, у нее глаза закрывались.

– Мам! – сказал я, ущипнув ее запястье. – Я хочу знать!

– Что хочешь знать, Боречка?

– Это значит, что люди не умирают?

– Некоторые могут жить несколько поколений после своей смерти. Если ты очень кого-то любил, он в тебе так глубоко, что когда и тебя съедят, твой мертвый перейдет вместе с тобой. Я о таком слышала.

От отца, сидевшего на кухне, ни звука не доносилось. Может, и он там себе голову разбил, подумал я, уже чуточку засыпая. У них же одинаковые с дядей Колей глаза, так что мог тоже голову разбить.

А мамка гладила меня по голове, у нее были неверные движения, один раз она прошлась мне прям по глазу. Ты была б поосторожнее, мамуль, да потрезвее, если б знала, сколько нам осталось.

– Спи, Боречка, да не думай об этом. У Матеньки Крысы своя правда. Надо жить, надо жить.

Но сама-то она своему совету не последовала и умерла через два года, пьяная, в Усть-Хантайском водохранилище. Под лед, значит, провалилась.

Об этом я помнил уже многое, я бы даже меньше хотел, но все хорошо уложилось. Это не была смерть со вкусом торта «Прага» (редкость в продмаге Снежногорска, просто сокровище). Ее выловили быстро, так что в гробу она казалась только чуточку припухшей, как с перепоя или от простуды. Вполне можно было думать, что она живая, по крайней мере пока отец искал тесак для мяса.

А гроб у нее был красивый-красивый, блестящий, и бархат внутри был как полость рта. Я только потом в одной книжке прочитал, что саркофаг переводится с греческого как пожиратель плоти. А тогда я уже об этом догадался.

Я целовал ее холодные щеки, и меня колотило от осознания, что это уже не она. Потом колотило от осознания, что это, в каком-то смысле, все еще она. Короче говоря, противоречивые чувства, все дела. Я, значит, смотрел на нее и не верил Матеньке, ненавидел Матеньку за то, что у меня больше нет мамы.

Вот у нее такой гроб красивый, папка на вертолете пригнал, самый дорогой, самый лучший (как все дорогое и лучшее, пришел – с неба), а какая ей с этого радость? И так мне хотелось заплакать, а я не мог, такие глаза были сухие, такой я весь был сухой, аж горло драло. Я подергал ее за рукав.

– Мама! Мамочка!

Потом на украинском ее позвал, как она любила. Папашка забрал ее из самого Ивано-Франковска, а уж ее собственную маму забрал из-под Могилева мой украинский дед. История моей семьи, она и про любовь, и про путешествия.

Я поболтать вообще-то любил, разве что не с кем чаще было,

но тогда у меня язык только на то шевелился, чтобы «мама» еще раз сказать.

С кухни вернулся отец, тогда я снова стал говорить, как полагается.

– Лицо у ней красивое, па.

– Красивое лицо, – согласился он, налитой до дрожащих рук, и я испугался, как же он ее резать будет.

– Иди на кухне посиди, – сказал папашка.

Он закурил, закусил сигарету зубами, прижал руки к вискам. На запястье у него блестели хорошие часы, а в то же время как жалко он выглядел в нашей крошечной квартирке, в рубашке с пропотевшими черными кругами подмышками. Это была самая странная про папашку вещь: он так и не научился быть богатым.

Ну как же не сбиваться с мысли, когда про такое, да?

– На кухню иди, – повторил отец с чуть большим нажимом.

Я знал, что еще пару секунд могу постоять рядом с ней, что еще пара секунд у меня есть, а больше мне в этом мире ничего не было надо.

Я видел ее волосы под красивым платком – черные кудри, которые и мне достались, я вспоминал ее распахнутые глаза. Она была крошечная, странная, не такая чтоб прям красивая в самом-то деле, почти инопланетянка с этими ее огромными глазами и тонкими бесцветными губами.

Ей правда шла смерть, такое очень нечасто бывает, чтобы человек после смерти обрел по-настоящему законченный вид, стал завершенным произведением.

И она была такая добрая, такая нежная, она всегда так меня любила, и пьяная любила, и с похмелья даже. Я только запомнить ее хотел, всю-всю, до родинки под носом.

Тут отец отвесил мне подзатыльник, так что я едва не уткнулся лицом в ее платок.

– Ты меня не слышал, что ли?

– Слышал, что ли.

Не успел я обернуться, как отец прижал меня к себе, крепко-крепко, приподнял и поцеловал в висок.

– Иди, Боря.

Он вытолкнул меня на кухню и, когда я снова рванулся к ней, закрыл дверь, подпер ее стулом.

А мне просто хотелось, чтобы она встала из гроба и назвала меня Боречкой, еще хотя бы раз так назвала. Отец разделывал ее и матерился, а я сидел и думал: какая ты хорошая, хорошая, хорошая, мамулечка, милая моя мамулечка.

Так и думал – сопли совсем распустил. Вспоминал, как она кормила меня конфетами и рассказывала мне жутенькие сказки,

как мы сидели с ней перед телевизором, или я читал ей книжки, медленно и по слогам, когда она была совсем пьяной. Вспоминал ее мягкий говор, ее рассказы о Матеньке и нашем великом страшном долге (ну, про него потом, надо дотерпеть).

Короче говоря, нам с ней было славно и всегда легко.

Тогда зачем она туда упала, а может не упала, а и вовсе сама полезла?

На щеке у нее был синяк, не трупное пятно – след папашкиной любви, папашкиной ревности. Последнее, что он ей оставил. Наверное, ему было от того очень больно, он бы теперь предпочел, чтобы это был поцелуй. Я знал, как-то чувствовал, до чего ему тяжело, и это во мне отдавалось так же сильно, как собственное горе.

Я все думал о ней, смотрел на новенькую столешницу, на кухонный комбайн, на заплесневелые стены, и от всего в мире мне было противно, а ночь была непролазно долгой, мне казалось, что сквозь нее не пройти. Отец-то возился, да, долго-долго, пару раз заходил (на его манжетах я видел пятнышки крови), забирал тарелки и кастрюльки, выходил. Маленькие братишки и сестренки возились в трубах, я слышал, как они пищат (обычные люди только малую толику их голосов вообще различают). Я думал, мне придется долго драить квартиру, но отец все чисто вымыл, все сам убрал. Когда я сел за стол в комнате, отец прогремел костями в кастрюле, поставил их вывариваться. Ой, запах-то был невероятный. С ума сойти. Потом папашка еще положил в холодильник оставшееся мясо. Когда вернулся, я уже перестал удивляться тому, что нормально воспринимаю все вокруг.

Пол был вымыт чисто, а передо мной на тарелке, которую я помнил по дням рожденья и Новым годам, лежало что-то вроде гуляша. Как в мясном отделе продмага, только не замороженное.

– Пап, я не могу.

Я попытался встать, но отец надавил мне на плечи.

– Ну, раз уж ты, слабачок, не можешь, мне ее теперь что, кошечкам скормить?

Он засмеялся, неожиданно вся серьезность с него сошла.

– Папа, я не хочу, я не могу. Давай вот кошечкам. Собачкам. Не могу.

– Никто не хочет, никто не может, но никто не жалуется. Кошечки и собачки, может, тоже не могут, они ж друзья человека. Братикам отдать с сестричками?

– Братикам с сестричками, – сказал я, и такое меня охватило отчаяние, что я бы и на колени встал, но отец вдруг приложил меня головой об стол так, что тарелки звякнули, разбил мне губу,

я это сразу почувствовал – по вкусу еще прежде, чем по боли.

– Это для тебя, Борис, важнее, чем для нее.

Отец налил рюмку водки, но, вместо того чтобы выпить ее самому, протянул мне.

– Только пей быстро.

Еще он сказал:

– Мудак ты мелкий, что себя жалеешь.

А я-то думал, это самое правильное, чтобы этого человека жалеть, чтобы этого человека любить – себя самого.

– Одним глотком, – сказал отец.

Но я его не послушал, отпил чуточку горечи, едва не выплюнул, и тогда отец зажал мне нос и влил в меня остатки водки. Ну я тогда, конечно, не понял, зачем все пьют.

Отец вручил мне вилку с клоунской торжественностью:

– Кушать подано.

Я трогал языком кровь, облизывал ее, вспоминал, как мама утирала меня салфеткой, когда я пачкался вареньем. Одно из первых моих воспоминаний.

– Пап, ну это же мама.

– Ну, это ею было. Всё, Борь, займи уже пасть едой.

Отец сел напротив меня. Очень быстро мне стало тепло и как-то переливчато, ушла боль, хотя я то и дело трогал разбитую губу языком.

Тогда я еще выпил, сам уже, я как-то знал, что только в полубессознательном состоянии смогу все это съесть.

– Не налегай. Блеванешь – я тебе еще положу. В холодильнике достаточно.

Вот это будет неделя, лениво думал я, мозг был как губка для мытья посуды, казалось, он пропитан грязной водой, меня мутило так сильно, что я едва различал вкус собственной матери.

А отец, он ел с аппетитом, каким Матенька наделила всех своих детишек.

– Поедешь к бабке с дедом в Ивано-Франковск? – спросил отец. – Там тепло. И ездят на автобусах, а не летают на вертолетах.

– Не поеду. Я хочу с тобой остаться здесь. А? Что ты про это думаешь? Ты про это думаешь?

Я цеплялся за слова, как утопающий за всякие там соломинки, я хотел говорить, чтобы не проблеваться. Но, кстати говоря, в целом это было обычное сырое мясо. Карпаччо, или что там. Стащенное из кастрюли мясцо для шашлыка. А может, мне так казалось, потому что таким меня сделала Матенька.

– Поедешь, – сказал отец хмуро. – Кто с тобой сидеть будет?

– Я сам с собой сидеть буду.

Отец криво усмехнулся, обнажив желтоватые от курения зубы.

– Да расслабься, дед твой шахтер, конечно, но теперь они вроде как не бедствуют. Не знаю, мудила в последний раз на ее день рожденья звонил.

Папашка указал вилкой себе в тарелку, меня затошнило, и я закрыл глаза.

– Не поеду.

– Ну, а что ты предлагаешь?

Ответа на этот вопрос у меня не было, прям никакого, и я не думал, что у шестилетнего мальчика он непременно должен быть. Но жизнь такая штука, да, вот такая штука. Отец работал инженером канализационных систем. Проектировал их, улучшал, строил вместе с рабочими, а потом следил за эксплуатацией, путешествовал, короче говоря, по коллекторам. В основном отец работал в Норильске, раз в две-три недели возвращался домой к нам с матерью в Снежногорск, но вообще-то и по стране ездил достаточно, был первоклассным специалистом, быстро богател. В своем деле папашка был почти что гением, ему такие вещи прощали, господи боже мой. Конечно, его никогда не будут прославлять, как Бетховена или Шекспира, потому что самые его великие произведения связаны с дерьмом, мочой и мыльной водой, с тем, о чем люди хотят забыть, а вовсе не с материями высокими и чистыми. Но, и так отец часто говорил, если бы канализации еще не существовало к его двадцатилетию, он мог бы ее изобрести.

Папашка славно чувствовал землю и спасал тех, кто на ней живет. По-настоящему, не от грязной воды. А потом приезжал домой и колотил нас с мамкой. Вот и какой он после этого?

Мама тоже спасала, но для этого ей приходилось рыть большие-большие ямы. Я лучше всего помнил ее с лопатой и покрасневшими ручками, в меховой шапке и шубе, вбивающую лезвие в мерзлую землю.

Матенька сделала нас посильнее, чем разных других людей. Мама копала большие ямы, а потом говорила мне отойти. Говорила, что всему еще научит, а сейчас не время и небезопасно.

Не научила. Не настало время.

А чего я еще помню всегда – пульсацию темноты с другой стороны мира. Ее везде много, но под землей прям страх берет сколько. Там настоящие раны.

А она не научила, да.

Короче говоря, сидели мы с отцом долго-долго, он включил радио, и мы подпевали всяким песенкам. Он меня хотел усыпить, убаюкать.

Потом, когда я улегся спать, без маминого поцелуя на ночь (да и утро было, чего уж теперь), я успел тайком, через полузакрытые веки, увидеть, как отец целует каждый ее зубик. Все были отдельно от нее. Почему? Это я через много лет понял.

Ну а через неделю в этом красивом гробу мы снесли на могилки ее косточки. Зарывали и плакали, горько-горько. Как мамка любила говорить, океан в мире слез.

Яму отец копал сам, он не подпускал людей работать с землей, было это для него величайшим преступлением.

А над ней, на простом железном кресте с недавней фотографией, было написано: Екатерина Владимировна Шустова. В девичестве она была Щур. Прям натурально – крыса по-украински. Папашка говорил, что так с нашими часто бывает, все Волковы, все Кошкины, все Лисицины, а также Фоксы, Катцы и Вольфы с большей вероятностью из наших будут.

Екатерина, значит, она Владимировна была. Во-ло-ди-ми-ров-на, если уж так. А ее отец называл мамку Катечкой. С моим отцом познакомились они в вагоне-ресторане поезда Москва – Львов. Такие были пьяные, что нюх отшибло, друг друга сначала не узнали, полюбили просто так, в момент, без всего. Мне мамка рассказывала, что смотрела на него и думала: убегу с ним, пусть даже он человек, пусть не простят.

Но ей повезло – не человек, и даже не иной какой зверь он был.

Вот и поженились они через три недели, в восемьдесят девятом, а в девяносто первом году у них появился я. Они меня очень ждали, и я получился похожим на них обоих, почти поровну. Получился, как их любовь. Вот чего мамка говорила, пока у нее еще был рот.

Мы стояли у могилы, и было холодно, но мы этого не замечали. Отец меня обнимал, и рядом с ним я чувствовал себя в безопасности, хотя мир вдруг стал каким-то пустым, безвкусным и тайно угрожающим.

– Я ее люблю, – сказал я. – Пап, а что делать теперь, когда ее нет, а я ее люблю?

– Книжки читать и смерти ждать.

Он сплюнул желтоватую слюну прямо на могилу, поймав мой взгляд, сказал:

– Да нет ее там все равно, хотя по-разному говорят, но я так считаю. Она в нас.

– Как – в нас? Как в «Короле Льве» по видику, что ли?

Папашка хрипло засмеялся.

– Да навроде. Только не совсем. Ты поймешь.

И мне вдруг такая штука вспомнилась: папка всегда наливал

стопку для дяди Коли, пусть его и два года не было на свете.

Ветер поднялся страшный, холодный, пронизывающий, до самых костей меня продрал, до всех уголков души.

– А цветы ей носить надо?

– Цветы будешь девкам на свидание носить. Ничего ей не надо, только чтобы ты здоров был.

А я был здоров. От этого настроение у меня чуточку улучшилось, теперь я понимал, что мамка довольна.

– Собирай вещи. В четверг, когда вертолет прилетит, доберемся до Норильска, оттуда полетишь в Москву, из Москвы поедешь на поезде в Ивано-Франковск.

Это же сколько километров мне предстояло преодолеть, ух ты!

– А я один полечу?

– С другом моим. У меня работа.

Всегда у него была работа, а Бори как будто и не было. Я вдруг так на него обиделся, ну так обиделся, думал, помри и ты тогда. И так мы стояли еще, а ветер становился все сильнее.

– А у ней крест не наклонится?

– Ну если и да, то что?

Он гладил меня по голове.

– А полюбят меня там, у деда?

– Хохляцкий же знаешь?

Я кивнул.

– Полюбят тогда, нашел проблему.

А я ее нашел, в том все дело и было: все будут чужие, а я – один, и ни одного знакомого лица, я деда с бабкой и не видел никогда, да язык еще – мамин, не мой. Я всегда думал, что у меня впереди только тайга – гладкость никогда не сходящих до конца снегов, их плоский мир. Может и стоило послать все эти снега да морозы к херам, да даже точно. И все-таки как там вольно дышалось.

Про Снежногорск я с детства замечал, что люди тут до старости как дети, потому что всегда они от кого-то зависят, отрезаны от страны и надеются только на то, что их тут не забудут. Это годами развивало в них детскую доверчивость и детскую же цепкость, непременное желание уж своего-то не пропустить. Вот оно как выглядит – вечное детство – немножко домов, затерянных на дальнем-дальнем Севере, и вечно зависимые от ребяток на вертолетах люди.

А я другого мира тогда не знал, даже Норильска не видел, папашка только говорил, что тот богатый и грязный (в точности как он сам).

– Пойдем. Замерзнешь.

Он грубо потянул меня за собой, не дав с ней попрощаться. И я тогда думал: а захочется мне ее косточки повидать, так сюда придется ехать, как в сказку какую-нибудь, в тридесятое царство.

– А Ивано-Франковск красивый?

– Да нормальный. Привыкнешь.

Отец положил руку мне на голову, погладил.

– Ты подумай, какая широкая страна была. Отец твоей матери с Украины, мать твоей матери из Белоруссии, мой отец из Нижневартовска, моя мать – из Твери, а живем мы в Снежногорске.

Ой, ну вот сейчас будет ругаться, какую ему страну развалили.

– А ты будешь ко мне приезжать? Будешь?

Я запрокинул голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Отец кивнул.

– Ты меня туда отправляешь, потому что я тебе не нужен?

– Тупорылый ты, Боря.

– Вообще я не тупорылый.

А вечером, пока я вещи собирал, он принес с кухни сладких-сладких яблок, такая большая редкость, и я понял, что он их мамке привез, с Большой, значит, земли. Но не успелось. Она яблоки любила, и я расплакался. Тогда и получил по уху, быстрым таким движением он меня ударил, я скорее его испугался, чем боли.

– Ныть будешь, я тебя отдам в детдом. Мужиком надо быть. Все в мире страдают, все умирают, в этом одном вся правда.

Такая вот у него была мудрость, и с моей она в тот момент совпадала. У меня все в желудке крутило, я не мог даже смотреть на те краснобокие яблочки, и думал, то ли маме их снести, то ли птицам оставить, потому что слышал где-то, что птицы – это души мертвых. Дома у них нет, и они летают в небе, прямо чистые мертвецы.

Отец посмотрел на меня этим своим холодным, странно остекленевшим взглядом, покивал самому себе, да и ушел пить. Пил он люто и безжалостно к себе и к другим. Это был его конек – нажраться и впасть в бешенство, в тупое, сокрушительное отчаяние. Была в этом какая-то достоевщина, только разве что алкогольная, быдловская, нарочито уродливая – отец всегда был склонен по-черному тосковать, даже когда смеялся.

А я забросил собирать вещи и смотрел на него, чуточку приоткрыв дверь, как он сидит за столом на кухне и опрокидывает в себя стопку за стопкой. Отец был тощий от злости и пьянства, болезненно-бледный, весь такой небольшой, с туберкулезно заострившимися чертами – в нем что-то

возвышенное было, торжественное, как похороны или венчание. То была невзаправдашняя хлипкость, силы в нем было много, больше, чем даже обычно в таких, как мы. Он был закален тяжелым физическим трудом и большими потерями.

Я закрыл дверь, лег на кровать да подумал сразу: Матенька, ты почему со мной так? Говорят, у тебя для каждой крыски своя судьба есть, все для нее готово, она еще в мир только пришла, а ты уже и финал знаешь. Тогда почему?

Она мне не ответила, я только слышал братишек и сестричек, такой далекий скрежет коготков. Ночью, когда я вышел на кухню, чтобы попить воды, они стояли на полу и блестели маленькими глазками, а когда я наклонился к ним, принялись лизать мне руки.

Ждали меня три девчонки и двое пацанов – все молодые и любопытные. Я с ними говорил. Как с людьми с ними нельзя, у них нет слов, однако я чувствовал их волнение, их печаль – они знали про мамку.

Они даже предложили мне жить с ними, но где они живут, там бы я не пролез. Я открыл холодильник, чтобы чем-нибудь их покормить, и наткнулся на свою маму. Она, конечно, была скорее набором для жарки, но меня все равно стошнило.

Хорошо, что отец уже уснул и не мог на меня разозлиться.

А когда и у меня получилось заснуть, то снилась мне мамка, она тонула, но почему-то не звала на помощь, будто все равно ей стало. Была она пьяная и счастливая, как студентка, ничего в ней не было страшного, даже в том, что она умирала. А проснулся я со слезами на глазах и пошел к папе. Я залез под их с мамкой кровать да смотрел на деревянное ее основание, оно сладко пахло кедром и гробом, а всякий раз, когда папашка переворачивался, матрас вдавливался между полосками дерева, почти доставая до меня.

Я считал про себя, и хотелось мне снов без снов, как там, у нее.

А она меня любила, любила – я верил. Не сама с собой это сделала, а то б я ей не простил.

На другой день все было спокойно, я больше не плакал. Я знал, что нужно быть сильным, чтобы жить хорошо и сладко, чтобы быть здоровым. Она бы этого хотела.

Время до четверга тянулось медленно, оно надо мной издевалось. У меня потом долго было такое ощущение, будто я все время был один, хотя отец не выходил из квартиры, только квасил.

А я его и не замечал, играл с братишками, играл с сестренками, они скакали по мне и пищали о том, как им

радостно, пока мне тоже не стало весело. Я спросил их про Ивано-Франковск, но никто не знал, где это.

Только к четвергу, когда мы доели мамку, отец достаточно протрезвел, чтобы выйти из дома. Тогда и надо было.

В вертолете, ворочавшем лопастями, я все смотрел вниз, на отдаляющиеся коробки домов. Все дома в Снежногорске можно было легко посчитать, и с высоты они казались фигурками в тетрисе, сложившимися странным, безнадежно проигрышным образом. А на бочках домов были красивые граффити – цветы и птицы, и огромные землянички.

– Не вернусь сюда, – сказал я.

Но отец только пожал плечами.

– Ты только Богу под ноги не лезь, без тебя разберутся.

Потом было много скучной тайги в гребнях деревьев и туманах, я стал зевать и улегся в конце концов у отца на коленях. Вот его правда – нечего Богу под ноги лезть.

А про то, какой он, Бог, никто из нас не знал, мама немножко верила, а папа до конца света (так он говорил) был коммунистом и верил совсем в другое. Многие из нас считали, что Бог создал мир и населил его разными созданиями, и что мир был прекрасным, пока все не случилось, и мы не зажили там, где по сей день пребываем.

Мамка говорила: сколько зверей, столько историй, так что вот моя версия, наша, то есть, большой крысиной семьи.

Жил-был Бог, и он был добрый, хороший, он всех нас любил и не придумал ни боли, ни смерти, а придумал множество прекрасных вещей, чтобы мы плакали от счастья, когда смотрели на солнце. Жили тогда только звери да духи. Ну и духи тоже были зверьками, раз на то пошло, потому что Бог создал их, а они уже материализовали многих своих детей в настоящей плоти. Вот Матенька, она, к примеру, большая крыса, сделанная из ничего. Ну и да, суть да дело, а Бог ушел отдыхать, и духам поднадоело творить только самих себя. Тогда они стали развлекаться и лепить существо, чтобы было жальче всех и смешнее, придумали, значит, лысое, с хохолком, без когтей, со смешным вытянутым носом на плоском лице, и стали над ним смеяться. А потом подумали, что еще смешнее будет дать этому существу на себя посмотреть и узнать, какова его доля. Так они придумали разум и зеркало. Посмотрели люди на себя да заплакали, всё поняли, всё узнали. И через их сознание, через способность помыслить что-то абсолютное, оно и пришло.

Пришло, рассказывают, с другой стороны мира. Говорили: пустота, но для меня это была страшная темень. Все от нее стало трескаться, болеть, с ума сходить, само себя пожирать и умирать.

Обидной своей шуткой духи впустили в мир смерть, и она с тех пор, как радиация, повсюду распространяется и портит Божий Сад. От нее в мире болезни, от нее в мире войны и от нее в мире так много сумасшедших.

Стали духи плакать, смотря на то, как львы пожирают антилоп и как умирают в прудах рыбки. Они хотели до прихода Бога со всем разобраться, словно нашкодившие дети, а слез у них натекло так много, что с тех пор мы зовем их морями и океанами. Думали, думали, да решили: раз они напортачили, то надо исправлять. Если не исправлять, так хоть придержать мир в порядке. Если не придержать в порядке, так пусть хоть не лопнет для начала.

Вот они взяли себе по смешному человечку, по девочке, превратили их кого в собаку, кого в кошку, кого в крысу, кого в птицу, да и случились с ними, войдя в тела земных зверей и птиц небесных, потом вернули девочкам человеческий облик, и стал звериных детей целый зоопарк. Выглядели они как люди, и кровь в них словно текла людская, но они были быстрее и сильнее, и видели всё по-настоящему – испещренный дырами, изъеденный, испорченный мир, печальный конец прекрасной такой задумки.

Духи обучили их, каждый – своему, своим языкам, своим умениям. Вот как я мог есть гнилое и не бояться, что отравлюсь, это для примера. Обучили их духи, значит, да и отправили исправлять все сделанное на земле, хранить секрет и латать дыры, сквозь которые втекает все плохое. В нижнем мире, значит, под землей, набухали болезни и росли природные катастрофы, посередине бродили войны, а с неба, с дождем, проливалось безумие. Стали мы все исправлять, каждая порода – по-своему. Вот мы, например, крысы, мы не даем оттуда, с самого дна, подняться всяким страшным болячкам, а когда даем, то все потом плачут от испанки или, например, от чумы. Плачут да умирают.

А вот кошки, это мне еще мамка говорила, они убивают всяких плохих людей, а если не успеют убить, то люди плачут потом от Гитлера. Про лис вот слышал, что они сидят в правительстве и не дают людям глупости делать, потому что всякими там Хиросимами и Нагасаками они еще больше дырявят наш мир.

Короче, мамка меня учила, что мы хорошие, что делаем свою работу, что так было всегда. Это опасная работа. Мамка всякий раз болела после ямы, а у папки, например, в мокроте все чаще появлялись красные прожилки. Умри он, никто бы не определил, чем папашка заболел, врачи таких болезней еще не видели, еще не знали. И если отец будет работать хорошо (а он будет, он всегда говорил, что будет), то и не увидят.

Подземные зверики болели или погибали в эпицентре бедствий. Земные, вроде кошек и собак, могли терять над собой контроль, поддаваться ярости (вот, казалось бы, папашка мой подземная тварь, а той ярости у него, как у бешеного), а птицы на небе сходили с ума.

Вот такая была работа, но, как папашка говорил, кто-то ведь должен ее делать.

Ну и вот, ходили слухи, что когда вернется Бог, то будет на всех тут страшно зол, но моя мамка говорила, что раз он создал такое прекрасное, хотя бы в теории, место для заботы о грядущей жизни, то когда он придет, будет любить и жалеть нас, вот прям как нам самим себя надо. Прям так. Она хорошее говорила. И не бросил он нас, говорила, просто для него миллион лет, как для меня минутка.

Вот о чем я думал, пока мы летели, вспоминал ее слова и певучий, ласковый голос.

Потом, минут через сорок, когда в салоне окончательно стало скучно и жарко, тайга кончилась и под нами протянулся такой громадный, такой грязный, трубный, мусорный Норильск, я словно проснулся, хотя и не спал. Дома были разноцветными, веселыми, но какая-то в них и в торчащих леденцами трубах теплостанций была запыленность. Норильск был такой ровный, как если бы его строил аутист, и этим, а вовсе не грязью, он мне с первого взгляда как-то не понравился. Чуть погодя, меньше минутки, я понял, почему отец не перевез нас в Норильск. Еще в небе были темные всполохи, но вся земля была такая, что вырви глаз, ползали они по земле как змеи.

– Па…

– Это не так чтобы очень, – он заметил мой взгляд, – но в Снежногорске чище. Поэтому. И чтобы шлюх в ту квартиру водить. Теперь-то можно признаться.

Он хрипло засмеялся, всхрапнул как конь и закашлялся, принялся бить себя в грудь, пугая других пассажиров.

– А там есть кино?

– Да все там есть.

И он пообещал сводить меня в кинотеатр «Родина», который, он с мрачной усмешкой это сказал, собираются продать каким-то воротилам.

– Там, – сказал отец, – куплю тебе сладкого попкорну. Если будешь себя хорошо вести.

Но вел я себя плохо, потому что собирался убежать на свалку, чтобы все у братишек и сестричек вызнать про этот огромный, так мне тогда казалось, город. Я даже почти прыгнул в первый попавшийся автобус, но отец меня буквально за шкирку поймал.

Ну а чего? Я ведь города, настоящего, а не Снежногорска, прежде не видел, и было все там так интересно, так славно, несмотря на жестокий, горьковатый воздух и многоглазые, запыленные дома.

В общем, отец оставил меня в квартире, а сам ушел, и никакого там сладкого попкорна, а за кино у меня был грязно-мятный фасад соседнего дома и тетенька с колясочкой, глядевшая, запрокинув голову, на ржавые балконы. А я смотрел на темные вихри пустоты, один был прям совсем рядом с коляской, крошечный такой выход в ничто, тетенька и не знала.

Квартира у папашки была славная, трехкомнатная и такая просторная, с цацками, с совсем новым видиком, здоровым телевизором и электрическим чайником, который я включал то и дело просто от скуки, потому что у него была совершенно неземная подсветка. Еще я забрался в огромный шкаф-купе с зеркалом во всю дверь и там нюхал вещи, которые отец не удосужился постирать.

А кровать у отца была, как в киношной гостинице, мягкая и с бархатным таким одеялом. И на кухонном столе стояла вазочка с конфетами, а новый холодильник блестел хромированными бочками.

Такое все было, ну такое, я б умер, может, чтобы это увидеть.

Я лежал на мягком ковре, почти тонул в его ворсе и ел шоколадные конфеты «Степ», не то с семечками, не то с орехами, так вкусно было, что я и не понял.

Когда пришел отец, у меня болел живот, за окном стало совсем темно, пустота черной плесени уже едва различалась. Отец принес мне целый пакет жвачек, но не дал ни одной, запихал их в мою сумку.

– Это в Ивано-Франковске есть будешь. Меня вспоминать.

– А ты не злишься, что ли?

– Не злюсь. И помни, что ты русский. Что ты Шустов. Это важно.

Для кого важно, я не спросил, потому что отец принялся ругаться на то, что ближайший рейс до Москвы только завтра и он не сможет меня проводить.

А назавтра он ушел на работу, и я поехал в аэропорт с дядей Петей, выглядевшим слишком прилично, чтобы быть папиным другом. На нем был хороший костюм, он ничем не пах, а очки-половинки делали его похожим на университетского профессора. У него было обрюзгшее, красноватое лицо со следами вечных холодов и спокойный голос. Мне дядя Петя сразу понравился, и мы проговорили с ним всю поездку, обо всех странах и континентах, которых я знал только названия, а он везде был.

На здании аэропорта буквы были красные как кровь, а сам он был похож на огромный корабль. Из того, что было внутри, в тот первый раз я запомнил только какое-то мифическое количество неудобных стульев и толпень людей, одетых не по погоде жарко, они-то думали, что здесь у нас холодно всегда, приехали в толстенных пуховиках.

Ну и я ощутил ту страшную тоску по живому, славному существу рядом, сказал:

– Вот, дядя Петь, я по вам скучать буду, буду грустить, когда уедете.

Он поправил очки, почесал дурно выбритую щеку и ответил:

– Да мы с тобой аж до Ивано-Франковска еще доедем. Хочешь, я тебе бутерброд куплю?

Ему было неловко с чужим, привязавшимся к нему за полчаса ребенком. И человек он был хороший, потому что хорошим людям обыкновенно от всего неловко, от жизни нашей, не абсолютно соответствующей их высоким запросам.

А потом мы сидели на неудобных стульях и ели бутерброды с колбасой, и дядя Петя аккуратно выковыривал крупные кусочки жира.

– Жена запретила, – сказал он, заметив мой взгляд. – Вернее, врач. Сказал, мне вредно для сердца.

– Вот папашка бы вам выдал.

И я тоже стал выковыривать из колбасы кусочки, а потом их все съел. И у дяди Пети забрал. Руки у меня долго были скользкие и вкусно пахли.

Там, в аэропорту, гудящем, звенящем, по-морскому шумном, я впервые увидел зверика не из моей семьи. Мимо нас прошла девушка, и мне в нос ударил ее запах – густо потянуло псиной и еще чем-то хлестким, озоновым, так пахнут ду́хи – словно огурцы.

У нас с ней не было ничего общего – она была хорошо одета, прическа у нее была как из журнала, а пухлые губы блестели от помады, я подумал, что она из Москвы. Такая она была далекая, даже когда прошла мимо меня, а пахла душно и вкусно, заграничными духами. И, проходя мимо, едва заметно, но она потянула носом, бросила на меня короткий взгляд, а я смотрел на нее. Такой это был взгляд, я весь от него подтянулся, собрался, заулыбался. Она спрашивала меня одними глазами: все в порядке?

Все было в порядке, и я кивнул ей. Милая, милая девушка, никогда тебя не забуду, решил я. И будешь ты мне – светлый образ детства, московская моя принцесса. Такие мне были мысли.

А дядя Петя, он цокнул языком и сказал:

– Хороша Маша, да не наша.

– А это вам жена не запрещает?

Мы засмеялись.

Она прошла и исчезла, но ничего. Жизнь такая штука, и что ты сделаешь?

– Скоро будет регистрация.

Дядя Петя теребил в потных ладонях папку с документами: доверенность, мое свидетельство о рождении, что там еще было нужно сопровождающему.

– Вот подумают, что я тебя украл.

– Вы тогда в беду попадете? Ой, беды я для вас не хочу. Если скажут, что вы меня украли, я молчать не буду.

Он потрепал меня по волосам. И чего он с папашкой дружит, а?

К тому моменту, как мы встали в очередь на регистрацию, я уже думал только о том, будет ли у меня в Ивано-Франковске корова или хотя бы коза. Я представлял себе сельский, неопределенно-южный город, представлял маленький домик и деда с бабкой, чтобы все в морщинах и с вилами, это непременно.

– А вы были на Украине?

– Ну, при Союзе еще.

– Дядь Петь, а там хорошо?

– Везде хорошо, Боря, надо только с открытым сердцем ехать.

Ну такое себе высказывание. Сердце у меня было скорее закрыто, мне так казалось.

Перед нами стоял вонючий такой дед, еще и выглядел так, словно прям тут коньки отдаст. Я уткнулся носом в воротник куртки, стараясь лишний раз не дышать. Когда выложил свой билет перед сонной тетькой, я услышал отцовский голос.

– Боря!

И прежде чем я подумал, что мне только чудится, он подхватил меня на руки и крепко, пьяно поцеловал, на щеке остались кислый запах и влага, ну без удовольствия, надо сказать, я это воспринял.

А потом понял, что папашка здесь, что он пришел попрощаться, и так я в него вцепился, и обнимал его, и целовал. Все, кто нас тогда видел, должны были думать потом, какая у нас счастливая семья. Ничего не поняли.

– На хуй эту Хохляндию, деда твоего на хуй, – сказал он, прижав меня к себе. – Мы и сами с тобой справимся.

Это только в сказке бы мы справились, а так – я уже знал, что не справимся. Прям в тот самый момент, без шуток. Но я хотел не справляться с ним вместе, а не где-нибудь там, где все чужие, где не к кому приткнуться, где душа моя луной на небе – совсем одна. Поэтичное такое было настроение, смирение было с

несчастьем и даже любовь к нему. Я смотрел на него и не мог насмотреться, а он был такой пьяный, что даже стоять ровно не мог, и под впадиной ноздри у него был напухший прыщ. Отцовские тощие, сильные руки меня обнимали, и я чувствовал себя в безопасности.

– Будем жить с тобой вместе. Что за тоска быть одному совсем?

– Правильно ты решил, Виталик, – сказал дядя Петя.

Голос у него стал гнусавый-гнусавый, поди расчувствовался, такая сцена – сентиментальнее некуда.

– Все хорошо будет, Боря, я пить брошу.

Тут бы мне угарнуть над ним, но я не решился, только надавил пальцем на прыщ у него под носом.

– Поехали отсюда, – сказал он дяде Пете. – Выпьем. Слышишь, Боря, я в последний раз выпью и больше никогда не буду.

И он понес меня к телефону-автомату, поставил у него, не переставал гладить, пока звонил в Ивано-Франковск и орал на деда матом.

– Пошел ты, – говорил он. – Пошел ты, сука, на хуй, это – мой сын. Мой сын, не только твоей дочери, услышал меня? Я тебя спрашиваю, ты меня услышал? Ты из меня идиота решил сделать? Наебать меня решил? Какая Матенькина воля, твою мать? Да ей поебать на то, кто будет его воспитывать. Ах, алкаш? А ты судись. Судись, блядь!

Ну, я быстро заскучал, когда поток папиного мата стал совсем уж однообразным. Я пошел посмотреть на бутерброды, и вот тогда, в толпе, я впервые ее увидел.

Она стояла в том же платочке, в каком лежала в гробу. Когда отец поставил гроб на стол, у нее, от резкого движения, открылись глаза, и мне еще помнилось, хоть и смутно, что я тогда заплакал, думая, будто она живая, просто ей плохо. Отец объяснил: веки расслаблены, у нее не живые глаза.

Вот и сейчас глаза мамкины были открыты. Они были мутными, а лицо ее оставалось таким же утопленнически-припухлым. Она стояла около таксофона напротив, задумчиво водила пальцем по стеклу. Из-под платка выбилась и закудрявилась от влаги черная прядь, под длинной юбкой ноги распухли, казалось, будто она в сапогах, а на самом деле была в одних колготках. Мама посмотрела на меня, когда я на нее посмотрел, улыбнулась, и сквозь щелочку между зубами (папашка ее очень любил, а мне такой щелочки не досталось) потекла вода. Она прошептала, одними губами:

– Боречка.

Но, господи боже мой, да никто б не поверил, да как описать, не была она злодейской и черной, ничего дурного я в ней не видел. Это была моя мамка, только что мертвая. Она улыбалась мне, потому что любила меня, я ничего не испугался.

Она подняла руку с потемневшими венами, поманила меня к себе, и я знал, что она только хочет поцеловать меня и обнять, утешить.

– Мама! – крикнул я. – Мамочка!

Дядя Петя схватился сначала за голову, потом за меня, не знал, короче, куда руки деть.

– Какая мама, Боря, ну какая мама?

Он схватил меня крепко, а я рвался из его рук и кричал:

– Пусти, пусти, она там стоит!

Мама приложила палец к губам, глаза у нее стали лукавые, как когда мы брали деньги из кошелька спящего отца и шли в продмаг, покупать себе апельсинов (такое нельзя пропустить!).

Отец, наконец, положил трубку.

– Говорит, маму видит, – грустно сказал дядя Петя. – Валерьянки бы ему. Или пустырником пои.

– Да он сильный. Это у тебя дочка в постель ссалась, когда мать твоя, старуха, померла. Ребенок должен узнать смерть.

– Давай не будем.

– А чего не будем? Ты меня не учи, тогда не будем.

Это папашка все еще был в запале. Меня он только погладил по голове, теперь быстро, почти грубо. А я все смотрел на мамку, молчал, ведь она велела быть тихим.

– Борь!

На секунду глаза отвел, и она исчезла. Я посмотрел на отца, он держал в руке две пятитысячных купюры.

– Поехали, отметим, Петька.

– Ну я не знаю, Виталик.

– Ты меня так выручил, я тебя должен отблагодарить. Да тебе завтра не надо никуда. Скажешь Людке: скатался в Москву, я вас там догнал. Ну?

Дядя Петя посомневался-посомневался для приличия, да и согласился. Мы вышли из аэропорта в ночной холод и темноту, глянули на небо без звезд и нырнули в такси. Город был весь в огнях, я до того ничего не видел, что бы так сияло. Когда мы проехали по сверкавшей синей подсветкой кольцевой развязке в центре, я запищал от восторга. Когда меня везли в аэропорт, то я и не замечал, как все красиво, а теперь у меня глаза болели от всего прекрасного. Такая была красота, все сверкало, в центре каждая бетонная коробочка горела, и сколько было магазинов, некоторые еще работали, и я смотрел на блистающие вывески.

Не Москва, надо думать, не Москва, а как меня тогда торкнуло. Москвой уже так не впечатлишься, подумал тогда я, и мелькнула у меня еще какая-то смутная, взрослая мысль: сильнее меня, может, ничто в жизни не впечатлит, чем вся эта ночь. Я думал о маме, но без страха. Мне радостно было, что она существует, радостно было прорезать в вонючем такси, где меня укачало, такой красивый город. Мы приехали в гостиницу «Полярная звезда», чтобы, как выразился папка, в настоящем ресторане всю ночь кутить. Это было волшебно и празднично, было магией, сказкой.

Здание было строгое, мятное, как жвачка, и напомнило мне скорее музей, не так я представлял гостиницы. В самой архитектуре его была какая-то особенная сдержанность, делавшая его старше, чем оно есть. И там были колонны с очевидными от подсветки кудряшками-завитками, я долго рассматривал их. Еще это мог быть не музей, а какой-нибудь дворец века, может, восемнадцатого, я такие видел в передаче про Питер. Надо сказать, черный от ночи и истаявшего после резкого потепления снега асфальт и делал это волшебное место кусочком Питера, киношного Питера, императорского. А на тяжелых дверях, ведущих в ресторан, были такие кованые штуки, похожие на витые травы, я этому так удивился, кажется больше, чем всему остальному. Тоненькие такие железные завитушки, словно живые.

Я полюбил это место, всем своим сердцем. Теперь, думал я, сердце у меня точно открыто.

А в самом ресторане были длинные столы, накрытые белыми скатерками, похожими на распластанных призраков – вот такими они были чистыми, аж светились. Все в ту ночь светилось. Были красивые салфеточки, торчком стоявшие на тарелках, и ножи, в которые можно было смотреться, словно в зеркало. Отца тут знали.

В детстве я почему-то думал, что отец пьяный всегда. Отчасти для меня так оно и было: приезжая в Снежногорск, он себя не ограничивал. Трезвого отца я не помнил, увидел бы его – принял бы за чужого дядю.

А люди его не любили и боялись, но денег хотели, потому вели себя подобострастно. Мы сидели за красивым столом и ели красивую еду: черную икру, красную рыбу, оленину. Папашка с дядей Петей вели себя развязно, как какие-нибудь бояре, все подзывали вышколенных официантов, требовали еще чего-нибудь. Я таскал у них с тарелок закуски, а сам ел салат за салатом, овощи ассоциировались у меня с чем-то особенным, дорогим. У еды от свежести была какая-то прозрачность, звонкость вкуса, но я запихивал ее в себя быстро, потому что

боялся, что мы уйдем.

После четвертой стопки водки появилась в дяде Пете какая-то развязность, расхлябанность, дерганность, весь он заалел, и я стал понимать его врача. Дядя Петя скинул пиджак, расстегнул пуговицу на выглаженной белой рубашке.

Папашка дурно на него влиял, дядя Петя был алкоголик в завязке, вот теперь мне это было видно.

Они заедали водку бутербродами с красной рыбой и говорили о распаде Союза.

– Суки, никогда им не прощу свою молодость.

– А я рад был, хоть дышать теперь можно.

– И хорошо тебе дышится?

А меня мама в честь Бориса Ельцина назвала, папашка в шутку ей предлагал меня на дядю Колю переписать, чтоб я был Борис Николаевич. Вот как она Ельцина любила, у нее было много надежд. Где теперь надежды ее?

Молоденький официант принес мне тетрис, и я игрался себе в удовольствие, надеясь попробовать каждую из «9999999 игр». Брехня конечно, даже с повторами их было меньше. Но мне нравилось бы даже просто жать на пластиковые кнопки, главное, жевать вяленую оленину и слушать взрослые разговоры. Все было залито таким светом, казалось, волшебство в ресторане стало таким сильным, что могло отодвинуть от себя ночь, и оно отодвигало – здесь всегда бодрствовали. Ну и пусть их, официантов, для которых ночные дежурства – скучная рутина, я этого не знал, не хотел знать. Для меня здесь – всегда Новый год, когда засиживаешься допоздна, вкусно ешь и получаешь подарки, а взрослые становятся такими добрыми.

Ради одного этого дня можно было всю жизнь прожить, он меня изнутри согрел, я весь растаял.

Отец заказал мне мороженого – пять шариков: шоколадное, фисташковое, клубничное, крем-брюле и ореховое. Я дегустировал их и мешал, поливал горячим чаем, словом баловался. Дядя Петя говорил:

– Ты понимаешь, на чем я живу, Виталь? Было в жизни чудо где-то и когда-то. Не факт, что в моей, и отношение к этому у меня неоднозначное.

Так он хорошо говорил, с чувством, с интеллигентской красотой сказанного и с каким-то высоким надрывом.

– Ну да, – неожиданно согласился отец. – Было. Может, в детстве еще было, может, не с тобой, а как от этого живется на свете легко. Когда думаешь, что все бывает. Я, может, только для того живу, чтобы быть счастливым.

А я молчал, хотя до того время от времени встревал в их

разговор. Мне хотелось сохранить мой маленький секрет: чудо происходило, сейчас и со мной.

В шесть утра папашка расплакался над салатом оливье, потому что вкус у него был точь-в-точь как у того, что мамка готовила.

– Я ее любил, – говорил отец. – Петь, я ее любил. Бил ее смертным боем иногда, но ненависти у меня не было никакой. Я ее даже бил от любви.

Выплакавшись, отец оставил две пятитысячные купюры на столе, и мы отправились домой. Тетрис я умыкнул, играл в него, пока мы ехали в такси, ловил слабые всполохи огней на пластиковой поверхности. Утро после бессонной ночи – это всегда отходняк, чистый ты или нет.

У меня болела голова, от прокуренного салона меня тошнило, огней стало меньше, и отец был такой пьяный, что все время засыпал, я думал, сумеет ли он дойти до квартиры.

Он меня поразил, дошел, да еще и ключ в замок вставил, проворно так. Воздух стал совсем холодным, у утра был морозный привкус, и оно было очень черным.

В квартире было тихо-тихо, когда мы вошли, и совсем темно. Дядя Петя принялся цитировать Мандельштама. Вернее, это я потом узнал, что Мандельштама, а тогда мне казалось, что дядя Петя просто поехал. Отец неопределенно махнул рукой:

– Туда иди. Там спи.

– Спасибо, Виталь, не забуду тебе.

Отец порывисто обнял его, потом привалился к стене.

– А ты иди туда.

Я решил его не злить, по пьяни-то он силу так себе рассчитывал.

Я вошел в темную комнату, увидел удобный, широкий диван, на нем была подушка, вся в пятнах от чая, но такая мягкая, а в шкафу я нашел плед со всякими смешными индийскими огурцами. Меня охватила приятная усталость, от нее что в голове, что в груди разлилось отупляющее тепло. Я вышел на балкон, отрезвев от холодного воздуха, попялился на водовороты темноты, из которых лезла смерть.

Но мы хорошо справлялись. Мы, и все другие люди, ведь жили, и жили лучше, чем сотню лет назад. А чего еще надо Матеньке? А чего еще надо нам?

Я лег в постель, укрылся пледом и обнял украденный тетрис, прижался губами к прохладному пластику. И не заснулось сразу, и не прояснилось, я полежал в приятном тумане какое-то время, но в конце концов отрубился.

А утром папашка ходил по квартире так угрожающе (я знал

этот шаг), так жутенько, что я не стал показываться. К полудню отец с дядей Петей ушли, ни слова друг другу не сказав, а я вышел позавтракать молоком и черствым хлебом. Часа через два вернулся папашка, раскрасневшийся от холода и с целым пакетом книг. Выглядели они так, будто он их с помойки достал и, скорее всего, оно так и было.

– Буквы знаешь?

– Почти все.

– Будешь учиться читать, пока меня не будет. Займешь себя. Я приеду, проверю. Лучше тебе не деградировать тут перед теликом, пока я работаю.

– А где ты будешь?

– В Питер поеду. Я с соседями поговорил, денег им дал. Если проблемы будут, ты к ним иди. И кормить они тебя будут. Я тебе кое-какие деньги оставлю на всякий случай, они под комодом, в конверте, приклеенном скотчем.

– А чего, я все могу потратить?

– Потратишь все – я тебе башку отверну. Там много.

Вот бы ему такое вчера кто сказал.

Он поцеловал меня в лоб и уехал, я неделю его не видел. Зато учился читать. Я знал многие буквы, но не все, это было как детективная история: угадай слово, сравни с другими. Ну так чего? Это что за буква?

Среди книжек, которые отец привез, были не только детские сказки, но и «Жизнь двенадцати Цезарей», и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Прощай, оружие», а мне все было интересно. Вообще-то античной литературы было особенно много, всякие Софоклы там и прочие Еврипиды, был даже парень по имени Витрувий, который скучно что-то там про архитектуру объяснял, я не осилил.

Я себе хорошо представлял хозяина этих книг – разочарованного во всем филолога-латиниста, ставшего охранником или торгашом. Правильно, мужик, в книгах-то оно все не так, как в жизни. Тебе там такого наобещали, а ничего не сбылось.

С соседями я познакомился, ходил к ним, главным образом ради общения, ради человеческого, значит, тепла.

Я был ласковым ребенком и болтливым, а что еще им надо было, чтобы полюбить меня? И я не доставлял им проблем, ну боже мой, кому это теперь важно, но правда – не доставлял.

Прошло, наверное, дней пять, и все было в порядке, только ночами становилось одиноко. Однажды в дверь позвонили. Я еще не спал, поэтому не испугался. Поставил к двери табуретку, встал на нее, заглянул в глазок и увидел маму. Вода вытекала у нее из

носа, но я знал, что все будет хорошо.

Я открыл ей дверь, и мы пошли пить чай.

Глава 2. Бог велит помирать, а я не хочу

Ну чего, дядя Коля и мамка моя кончились, когда им время не пришло, если по факту. Но старики не легче помирают, может сложнее даже. У них привычка к жизни формируется, к миру, они с трудом с него слезают.

Даже очень слабые, даже очень больные, вцепляются в тебя, чтобы ты не отпускал их в смерть. Это мне отец рассказывал. Его мамка, моя, значит, бабка, тяжело умирала – по онкологии, что-то женское еще, какая-то темная страшная тайна. И вот они с дядей Колей ее досматривали, а она бросалась в них вилками, кричала, била по голове со всех своих увядающих сил.

Потому что они были здоровые, были молодые, а она уходила отсюда к чертовой матери. До кровавых соплей она им завидовала. Не хотела умирать. На изголовье родительской кровати (теперь родительской) оставила она такие толстые проплешины из-под ногтей, что в детстве я думал, будто отец держал в квартире чудовище.

Бабка пожила, ну, нормально, с двадцатого что ли года, она не крыса была. Это мы много болеем, если делаем, что надо, болеем, а потом умираем. Так что я ее никогда не жалел – больше себя она никого (из живых) не любила, и ее так, как она себя, никто не любил. Одинокий была человек.

Но иногда на нее, старую, злобную суку, нападала вдруг какая-то томительная печаль, и она садилась между отцом и дядей Колей, которого всегда, даже швыряясь в него стаканами, называла Коленькой, и склоняла свою облысевшую голову.

Она была совсем маленькая от болезни, чего-то в ней вечно недоставало, было от нее уже ощущение наполовину ушедшего человека, а в такие моменты оно усиливалось.

Ну и вот, бабка говорила:

– Бог велит помирать, а я не хочу.

Она не смела просить ни о чем Волка, хоть всю жизнь и прослужила ему честным трудом (никому ничего не спустила и была справедливой). Она не смела просить Бога.

– У ней глаза были, – рассказывал отец, – что у задушенного котенка.

И начинала она горько плакать, ее плечи дрожали, а отец с дядей Колей сидели неподвижно.

– Всю жизнь я трудилась, всю жизнь работала, мне и вспомнить-то нечего, а умирать не хочу. Это как так получилось?

Никто не знал, что ей ответить.

– А может, я там с Гришкой встречусь, – говорила она, и лицо

ее вдруг светлело.

– Да, – рассказывал папашка. – Она излучала какой-то странный внутренний свет. У Рембрандта такой на картинах, понимаешь?

Отец был советский инженер. Он знал картины Рембрандта.

Ну про Гришку-то, кстати! Хер с ними, с историями про смерть, кого хочешь они замучают, так что будет история про любовь. Но, тут надо сразу предупредить, у отца моего отчество – Иванович.

Если у зверика с человеком случится, то их ребенок, скорее всего, человеком и будет, без всякого особенного. Ну, может в одном из четырех случаев зверик получится. Если между звериками такое случится, то ребенок станет как отец. Бабка моя волчицею была, а дед крысой, и сыновья его – тоже крысы. Но история-то почти не о них.

У бабки моей был человек, они тогда, молодые да горячие, строили коммунизм на Урале, она приехала туда из села под Тверью, и сердце у нее пылало. Ну чего, суть да дело, в восемнадцать лет полюбила паренька и на волне всеобщего освобождения от буржуазных условностей задумала с ним жить, расписаться.

А в нее ходил влюбленный мой дед. И вот (а годы были опасные) увозят ее милого на черном воронке в дальние дали, из которых он никогда не вернется. Она и не знала, за что. Дед мой, конечно, тут как тут, и поможет по хозяйству, и родителей ей схоронил, и такой покладистый малый, слова ей против не скажет, ну да, пьет, как все, да хоть не гуляет.

Думала она всю жизнь, что использовала его, что обманула, потому что не любила, а жила с ним – по расчету. По расчету с ним в постель легла, по расчету ему детей родила под самый климакс, по расчету ему жрать готовила, по расчету трусы стирала, по расчету досматривала его, когда задыхался и гноился весь.

Ну и умер он, а бабка все виноватится, но и про Гришку своего вспоминает, любовь у нее столько лет прожила.

Они уже давно с дедом из Нижневартовска уехали, в Норильске осели, уже и дети их выросли. И вот открывают архивы. Ей нужно было родственников Гришкиных найти, и она искала, хотя давно все концы в воду. Потом, значит, я родился, на руинах рухнувшего мира, последыш соцлагеря. А потом у бабки получилось о Гришке разузнать, хоть она уже и больная была, а как старалась. Вместе с сестрой его какой-то, седьмой водой на киселе, получили они Гришкино дело. И чей донос-то оказался?

Шустова Ивана Алексеевича, значит.

Она, между прочим, уже тридцать с хреном лет его фамилию носила, и дети ее носили.

Ну, она вернулась домой, взяла мусорное ведро, сходила на кладбище да вылила на могилу помои. Долго плакала, что он ее жизнь украл, а теперь и его нет, чтобы отомстить. Она б его убила, может, да он успел на тот свет свалить лет семь как. Теперь и ей пора.

Вот, значит, про любовь история, про то, как мертвый Гришка помог моей бабке смириться и со своей будущей смертью. Хороший был человек. Так она рассказывала.

* * *

А что про меня, ну я рос и дальше, с папой, в нашей квартире, я остался в Снежногорске и собирался пойти тут в школу – все шло своим чередом. Мамка приходила не часто, но в любом людном месте я ее непременно видел. Когда приходила, я ставил перед ней чашку чая, а она не пила (не то потому что мертвая была, не то потому что она лишь мое воспоминание), а только руки грела.

Смотрела на меня, расспрашивала, а о себе ничего не отвечала. Я подолгу рассказывал ей, как живу, читал книжки и показывал ей все игры на тетрисе. Она смеялась, говорила, смотрела на меня пронзительно и темно, она даже обнимала меня ночами, и хрен с ним, с холодом ее рук, мне было плевать.

– Ну, сынок, совсем ты у меня взрослый, – говорила она с гордостью. – Скоро пойдешь в школу.

Когда пошел в школу, стала спрашивать, куда буду поступать. Была бы жива, подумал я, никогда б не спросила. Но на том свете не побухаешь, в этом я был уверен.

Годы шли, и я взрослел. Любил отца, ненавидел его, смерти желал ему, а потом доброго здоровья.

Он меня отправил обратно в Снежногорск, там подолгу оставлял одного, в отрезанном от мира, морозном городишке, и я учился быть взрослым и ничего не бояться, слушался мамку, когда приходила, а в остальном был в ответе только перед самим собой. Ходил в Снежногорскую школу под номером двадцать четыре (удивляясь, вместе со всеми, где остальные двадцать три школы на наши двадцать домов), учился когда хорошо, а когда так себе, книжки читал – много читал. У нас в Снежногорске вообще много читали, мы были у мира на самом краю, даже новости смотреть не интересно, одно волнует – что там в вечности.

Жалел я, что не доехал до Ивано-Франковска?

Когда как. В основном, нет. Вот дядя Петя, наверное, жалел, он в ту ночь сорвался, и лечился потом с переменным успехом в наркологичке, там его, говорил, привязывали к кровати и кормили старыми глазированными сырками – не в качестве лечения, а для экономии денег.

Был у меня и друг, Юрик. Отличный парень, со скуки он нюхал клей. Я пару раз пробовал, но то ли не было мне так скучно, то ли отец вовремя заставил меня с ним бухать – меня не тянуло.

Мы с Юриком забирались на крышу и обсуждали, как так вышло, что Нина Заречная любила театр, а он ее нет. Юрик был безобидный, почти интеллигентный человек, рост его в четырнадцать, однако, равнялся ста восьмидесяти сантиметрам, и комплекция у него была соответствующая. На Большой земле ему пришлось бы туго, его бы все боялись. Но здесь, в нашем единственном восьмом классе, было всего семь учеников, пятеро из которых вообще ученицы. Они вкусно пахли, особенно девушка с прекрасным южным именем Лада. Мне ее хотелось, а ее отец работал на ГЭС и приучил ее к мысли о том, что за физикой – будущее.

Ну и пусть, что по мне будущее было за поцелуями взасос.

Еще что? Ну, историк у нас был шикарный, убежденный старичок из шестидесятников, едва дышал, но говорил вдохновенно, любил потрепаться про великие ценности, в том числе и культурные. Мне нравилось слушать, я иногда даже записывал за ним. Вот какие вещи он, например, говорил.

«У человека не может быть, а просто должен иметься эмоциональный капитал, вера, надежда и любовь к ближнему. Нельзя жить без этого, без этого не жизнь. Помогать слабым, отстающим, вот что должен делать сильный, вот для чего сила вообще».

Прекраснодушный он был старичок, не разбавился к концу своих дней кислым цинизмом, и тем меня очаровал раз и навсегда.

Из столовой я воровал котлеты, и мне это прощали.

А соседи, две улыбчивые бабули-близняшки, всегда приглашали меня на Новый год – подвигать стол и поесть. Они меня любили – отдали свою жизнь ГЭС, и теперь не знали, куда ее девать, а тут – совершенно чужой ребенок, о котором некому заботиться.

Я и все мои знакомые, это, ох, не объяснишь, были в тайном сговоре. Каждому было выгодно, чтобы ситуация со мной оставалась мутной, непонятной. Эмоциональный капитал они так

доставали: веру, надежду и любовь к ближнему.

Но я был не в обиде, у меня с этого свои выгоды имелись.

Это я хочу рассказать, как я жил: про мертвую мою мамку, про школьные котлетки, про милых, добрых людей вокруг, про город, с мясом оторванный от всего на свете, про книжки и пьянки с отцом.

Отец, ну ни хера он не исправился, и странно, если б по-другому было. Всякий раз, ощупывая мне нос или смотря на какой-нибудь особенно классный синяк, он обещал купить мне что-нибудь. Уже видики сменились ди-ви-ди плеерами, он даже начал обещать мне компьютер, но все было по-прежнему. Но и успокаивающая была это, если честно, мысль. Что-то в жизни есть постоянное, это всегда радость.

Мы с ним много разговаривали, он вдруг, где-то между тем, как выбил мне коренной зуб, и тем, как мне исполнилось тринадцать, начал воспринимать меня как равного: наливать мне водки и делиться своими мыслями. Он говорил, что через пару лет возьмет меня под землю, покажет, что я буду делать, когда окончательно вырасту.

Отец не хотел, чтобы я приступал раньше, потому что любил меня. Ему было нужно, чтобы моя жизнь сложилась лучше, чем его. А кашлял отец все страшнее и страшнее, один раз, не то от водки, не то от смертной темноты, у него начались сильные судороги, угарный он был такой, совсем на отца не похожий.

Я старался жить без жалости в сердце, ну к нему так точно. Но я любил, когда он приезжал. Однажды мы с ним глушились водярой на кухне, и отец, закурив, вдруг сказал:

– Ты помнишь, ты мне в детстве говорил, что надо себя жалеть? Борь, я ведь совсем не помню, чтобы боялся умереть. В детстве, может, но как-то чуть-чуть. Человек должен за что-то умереть.

Он сплюнул в пепельницу, показал мне желтые зубы.

– Нам с тобой повезло. Нам есть за что умирать.

Ну так себе заявление, конечно. Я чуть не подавился.

– За шкуру свою трястись – последнее дело. Ты ж ничто. Ты так, пыль. Есть вещи лучше, больше – семья, Родина, мир. Всегда что-нибудь найдется. Себя любить нельзя, а то начнешь жалеть. Тогда и оскотинишься, тогда желудок набить важнее будет, чем…

Он посмотрел на меня. Зрачки у него были почти неподвижные, как у мертвой мамки. Вот потому и говорят: мертвецки пьян. Как мертвец – натурально.

– …чем большая история. Чем чтобы наступило завтра.

– Прикольненько, – сказал я, закуривая.

Я покачивался на табуретке, напряженно на него

посматривая.

– Что тебе прикольненько, Боря? Поколение твое – зажравшиеся мудаки. Людовики, блядь, Пятнадцатые, Тиберии, мать вашу.

Во прикол. А как же деградануть хорошенько у себя там, в подземелье?

– Ну и? – спросил я. – Я натурально прям не понял, что в этом такого? У тебя, папаш, великое сердце, но ты пропился.

Он стукнул кулаком по столу, так что стаканы подпрыгнули, по-девичьи жалобно звякнули. Я замолчал, конечно. Отец крепко затянулся и сказал:

– Я твою душу спасти хочу. Ты не понимаешь. Умирать все равно придется. От смерти нечего бегать.

Он знал мою страшную тайну, что жить я хочу хорошо, не как он.

– Пап, – сказал я, наливая ему водки. – Ты в коммунизм верил?

Он усмехнулся.

– Да кто им, паскудам, верил?

– А почему все ругаешься, что коммунистов выгнали?

Он задумался.

– Мне нравится, – сказал он, – жить в большой стране. В империи. Моя маленькая жизнь, маленькая работа, она тогда значительнее, яснее. Крысы, Борь, живут колониями, мы социальные существа. Сама Матенька завещала нам держаться рядом.

– А мы друг друга кусаем.

– Так кто теперь Матенькину волю-то помнит?

Я затушил сигарету, во рту было горько, больно в голове, и я смотрел в окно, на бесконечную полярную ночь – всюду темень, словно навсегда.

– Ну и вот, – сказал я. – И вот. Ты, значит, себе придумал, что ты коммунист.

Он отреагировал неожиданно спокойно, едва заметно кивнул, позволяя мне продолжить.

– Так и все остальное придумал. Не важно тебе, за что умирать. Тут первично, что ты умереть хочешь, а не большая там, великая цель.

– Чего, не веришь никому и ничему?

– Не-а.

– Я тоже. Но меня это хотя бы парило.

– Я вдруг подумал, па, что жизнь – это баблосы. И вокруг тебя полно банков, куда их можно вложить. Вот, не знаю, баба Света с бабой Томой, они выбрали ГЭС, всю жизнь ей отдали, ты

канализации строишь и землю очищаешь, кто-то молитвы читает, кто-то пишет стихи. Все куда-то вкладывают. А я не хочу вкладывать, я же знаю, что это не окупится, не в этой жизни. Я хочу тратить. Ты понял меня, па? Что я тебе сказать хочу, ты понял?

Отец захохотал, закашлялся, снова сплюнул мокроту – плевок весь был в тоненьких, прорастающих в вязкой слюне кровяных прожилках. Красиво.

– Мозговитый ты у меня. Думаешь, всех наебали, а тебя нет?

Он схватил меня за подбородок, больно, до хруста, сжал, я чувствовал его большие пальцы на своих деснах, будто он собирался выдавить мне зубы. Но я смотрел на него, только и всего. И ничего-то страшного в тебе нет.

Это я маленький был, боялся, а сейчас – обычное дело. Отец задумчиво посмотрел на меня.

– Смелый ты стал. Взрослеешь. А я не вижу.

Еще некоторое время мы курили и молчали, потом отец плеснул себе еще, взглянул слепыми глазами в окно, рукой коснулся дрожащего от вьюги стекла.

– Мы с тобой поедем в Лос-Анджелес. Так что со всем прощайся.

Я так и замер с незажженной сигаретой в руке. Вот ничего я абсурднее не слышал, слово «Лос-Анджелес» прозвучало в Снежногорске, как заклинание на шумерском языке. Какой Лос-Анджелес? Я в такую вьюгу даже не был уверен, что он существует.

Отец смотрел на меня, глаза у него были холодные, бесцветные. Он был серьезен.

– Круто, когда едем? – спросил я, стараясь оставаться спокойным.

– Послезавтра. Так что давай, попрощайся со всем, скажи «пока-пока, Снежногорск», и все дела.

– Ты мне только сейчас собирался это сказать?

– Нет, часа три назад, когда приехал. Забыл просто.

Я не мог представить, как это – оказаться под самым солнцем, в городе, который облизывает океан, в городе, где можно спать на улице.

– Одни проститутки там и фитнес-тренеры. Дерьмовый город. Но я работу хорошую нашел. Надолго.

Тут он темнил. Хорошая работа у него была всегда.

– Тебя уволили за пьянство, что ли?

Он меня ударил, не сильно, так, за наглость врезал по плечу. Но сработало.

– Нет. Это крысиные дела. Есть там мужик, любитель жар

чужими руками загребать, конечно, но вещи говорит правильные.

Отец снова посмотрел на меня, сказал:

– Неважно. Тебе рано пока знать. Но ты будь готов. Как пионер.

Он постучал пальцем по пепельнице, поднял пару пылинок.

– Я все знаю, что ты скажешь, я ж не даун. Знаю, что ты не выбирал. Знаю, что хочешь по-другому жить. Знаю, что сейчас многие по-другому живут. Что забили на все, чтобы не страдать лишний раз. Вот и тебе хочется. Но ты у меня умрешь за то, что любишь. Я тебе обещаю.

– Ну, так себе перспектива. Я, может, люблю вкусно есть и книжку листать.

– Это ты себя обманываешь. Борь, ты послушай. Ты мог быть чьим угодно сыном, ничего не знать про темноту, про пустоту, про Матеньку, но родился ты у нас с Катькой. Мы ж тоже не выбирали.

– Все – заложники обстоятельств.

Вот к чему пришли даже.

Я встал из-за стола, принялся убирать посуду, но отец вдруг перехватил меня за запястье, дернул, тарелка выпала у меня из рук и разбилась.

– Да не обращай внимания, – сказал он, дыша перегаром. – На счастье. Борь, так нужно, ты мне просто поверь.

Ну будто ты знаешь, каково это – быть ребенком, таскаться за тобой, ублюдком, как на поводке. Я обрадовался, и в то же время нет. Нечто в его голосе (беспросветно унылое, если что) говорило о том, что уезжаем мы очень надолго, если не сказать навсегда.

Мне хотелось повидать мир, я представить себе не мог жару, потных копов с пончиками, девчоночек в мини-юбках и рестики с суши, и мне хотелось ощутить, как бесконечен океан. Но в то же время у меня была моя жизнь, какая есть, моя, одна такая.

А он просто взял и переставил меня, как фигурку на доске. Забыл, значит, сразу сказать, ведь какая разница?

Было мне четырнадцать годков, переходный возраст, гормоны и все дела.

Тут я охренел, конечно, начал убирать тарелку, потом сказал:

– Да хер с ней. Я спать.

Отец ничего мне не сказал, закурил еще одну сигарету и снова уставился в окно. Что-то он там видел, может, мамка моя под окном стояла. Или дядя Коля.

Я лежал на кровати, сбивая схематичные самолетики в игре на телефоне и думал: может, к дяде Пете сбежать. Он и в наркологичке часто лежит, мешать не будет, и в целом мужик хороший. Юрик написал мне смс-ку, спросил, будет ли завтра

английский, я ответил, что пьяный в жопу и не знаю, что было не совсем правдой. Подождал, пока телефон ойкнет, почитал, как Юрику досадно, да и написал: я в Лос-Анджелес сваливаю, братан.

Прозвучало, как будто я все придумал, отчужденно совершенно. Даже не написал – а скопировал, слизал. Такое не выдумаешь.

Я посмотрел на три хохочущих смайлика и спрятал телефон под подушку. Как тогда выл ветер – с ума было сойти можно, честно, я чуть крышей не поехал.

Я думал о том, что где-то есть места, докуда этот ветер не достает. Мне с трудом в это верилось, и совсем уж я не думал, что скоро окажусь в таком месте сам.

Но истинная причина моей обиды, и на самом деле она была мне совершенно ясна, а чего обманываться-то, заключалась в том, что я не хотел иметь ничего общего с крысиными делами, потому что они убивали отца. Это, может быть, не так уж плохо, но я не хотел, чтобы то же самое случилось со мной.

До меня, а было мне, ну да, четырнадцать лет, вдруг начала доходить вся смехотворность дебильного нашего положения. Дауны, расплачивающиеся за чужие шутки, от которых мир херачит на части.

Мы не выбираем, где родиться, но хотя бы кем стать выбрать можно?

Уже засыпая, в мути подступающей темноты, думал я об Агамемноне и дочке его с идиотским именем, Ифигении. Ну, короче, греческий этот царь прикончил лань, обидел этим самым Артемиду (ее это была лань, а может, ей лани в принципе нравились), и она наслала штиль на море, чтобы греческие войска не могли направиться в Трою, а им надо было срочно там чего-нибудь учинить.

Такое дело – просто штиль, и ничего больше. Никаких огненных дождей не было, это понятно?

И Агамемнон этот, он все маялся, как целочка, прирезать дочь или как? Соберется – и откладывает, соберется – и откладывает. Там все благополучно кончилось, умерла вообще левая телочка, да еще и самоубилась, но суть-то была не в том.

Агамемнон, этот чувак, он думал, прикончить ли дочку, чтобы поднялся ветер.

Прирезать ли дочку, чтобы поднялся ветер?

Ножичком пырнуть ли дочку, чтобы поднялся ветер?

Снова, и снова, и снова. И я все думал – вот это прикол, мелочный ты чувак. А мой отец, он ведь тоже – Агамемнон.

Когда я, еще маленький и совсем одинокий, в Норильске,

прочитал эту историю, то решил, что я выбрал бы дочку. Да если б надо было решить, дочка или весь мир, если б дочка тоже умерла со всеми на свете, все равно бы ее выбрал. Пусть бы знала, что мы умрем, но я ее люблю.

Вот какой я видел любовь, я думал, нужно так любить. А не любишь так – сердце у тебя из камня. Заснул я романтиком, а проснулся от того, что отец, мудила, стоял надо мной с сигаретой. Щека горела, как от укуса, секунду спустя я понял, что папашка скинул на меня пепел.

– Борис, вставай.

– А? Я тебя так завтра разбужу, понял?

– Я подумал, что надо дать тебе выбор. Всегда должен быть выбор у человека. Иначе это детсадовец, он живет без ответственности, без полного понимания.

Ты, скотина похмельная, думал я, великий, блядь, ум Красноярского края.

– Либо едешь со мной, либо вали в Хохляндию. Тебя там пригреют.

– Да я деда в жизни не видел.

– Вот и познакомишься.

– Круто это ты, конечно, придумал. Сразу захотелось сала, пойду билет возьму.

Отец был выбрит до синевы, я видел красноватые сосуды под его бледной кожей, акцентированные, болезненные. На руках у него были золотые перстни, в свете лампы они переливались, как куски летнего солнца. За окном еще было темно. Ближе к полудню спрятавшееся солнце будет отбрасывать чуточку света – наступят сумерки, чуточку побудут, да и сменятся новой ночью.

Я где-то слышал, что чукчи или еще какие эвенки считают, будто солнце – это большая грустная рыбина, плывущая по небу. Огромная и печальная, значит.

Ну хрен знает, может брехня, но история-то красивая. История мне нравилась.

Я потянулся к тумбочке, взял отцовскую пачку сигарет, не спеша закурил. Отец не отреагировал.

– Завтрак приготовь. И подумай о том, что я тебе сказал.

– Да я уже забыл, что ты мне там сказал.

Но отец только включил телик, сел перед ним в кресло. Раньше он любил шоу «Окна», до упаду над ним смеялся, а после него, говорил, ничего круче не придумали. С тех пор только новости смотрел. Красивая кареглазая телочка что-то вещала, но я не слушал, встал, зажав в зубах сигарету, чтобы не прижечь простыню, и пошел на кухню, готовить завтрак.

Ну, яичница подгорела, да и нечего горевать, съест и так.

Кофе еще убежал, паскудно залил собою всю конфорку. Я ведь только и думал, что о Лос-Анджелесе. Там, наверное, все яркое такое, всего много. И мне было смешно, потому что я любил свою жизнь такой, какая она была, свой северный городок на краю мироздания.

А ведь должен был радоваться – отправлюсь в теплое, богатое место, буду там суши есть, мне про них отец рассказывал, ходить в кино и купаться. Еще вот на скейтах там люди гоняли, а я не умею. Я их вживую, надо сказать, и не видел, эти скейты, хотя мы с Юриком пытались один раз колеса от магазинной тележки, куда в продмаге складывали дешевку всякую, приделать к доске.

Правда, без особого успеха.

И все они там, в Лос-Анджелесе, не будут знать моего языка и понимать меня не будут, разные мы.

А все-таки любопытно, как там живется. Я Америкой не бредил, хотя отцу почему-то так казалось, но отчего бы мир не посмотреть?

Мы с отцом ели яичницу у телевизора, и в этот момент очень отчетливо не хватало мамы. Не потому, что она была ангельской домохозяйкой, выгнала бы нас на кухню и наварила каши. Не хватало здесь, рядом, в нашем семейном этом натюрморте.

Точно, натюрморте, не в портрете.

А ведь забыл бы ее, если б она не приходила ко мне и мертвой. Отец собирал хлебом желток, бездумно уставившись в телик. Он воспринимал его, может, как источник красок, будто рыбка аквариумная.

– Ну и что?

– Да ничего. В Хохляндию мне не особо хочется. Надо будет, поеду. А в Лос-Анджелес я когда еще сгоняю?

– Ну, ты езжай без радости все равно. Люди там лицемерные скоты.

– Да ладно?

Он легонько толкнул меня в бок, засмеялся, как всегда обнажая зубы. Рубашка у него на локте протерлась до прозрачности.

– Ну, иди тогда земные дела заканчивай.

– Я б неземные дела закончить хотел, но девчонка моя в Норильске.

Отец снова загоготал, настроение у него стало отменное.

– Да пиздуй уже, а то к вечеру метель опять.

Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку – такое было высшее выражение отцовской нежности, он так любил. Было в нем и человеческое что-то, хорошее, ласковое. Пока я собирался, отец, не отрывая взгляда от телевизора, рассказывал мне:

– Видел про индусов передачу недавно в самолете. Про секту одну, как же их, туки или тухи, или тукхи, да и хер с ними, смысл в том, что они убивали ради богини разрушения, ради Кали, прям ритуально душили людей и ритуально их грабили. Вот, думаю, как можно грабеж обставить. Во славу своей богиньки. Такие лютые дядьки, ты представляешь? Говорят, прикончили два миллиона человек, ну за продолжительное время.

– Ну, прикол вообще. Это они грамотно рассудили, бандюков-то никто не считает, а тут религия, высший смысл. Разве плохо. Но вообще плохо, они ж людей убивают.

– Одно дело, когда себя защищаешь, а другое, когда так.

А в молодости, папашка еще студентом был, он одного парня так бил, так бил, и все по голове. Бил он его камнем, много-много раз, такая у него ярость была, а от чего – он никогда не рассказывал. Вроде говорил, что парнишка жив да на своих ногах ходит, а я даже маленьким не был уверен, что это так.

– Хорошо, что ты меня не в Индию везешь.

– Индусов, скотов, в Лос-Анжелесе много, кстати. Улыбаются тебе, улыбаются, а потом придушат. Восток – дело тонкое.

Отец выдохнул дым в экран телевизора, напомнив мне курителя опиума из старой викторианской иллюстрации к какому-нибудь детективу.

– Хорошее кино в самолетах показывают. Ну, я пошел.

– Подожди. Слушай, в Лос-Анджелесе там, ну, черным-черно. Хреново все. Как в любом большом городе. Людей много, тащат свою боль. Грязное все. Тебе сложно будет. Ты мало темноты видел. Будешь привыкать. Ничего этого трогать нельзя, помнишь?

Он помолчал и добавил уже совсем другим тоном, небрежным таким:

– Сигареты купи. «Мальборо».

– Приличным человеком, что ль, заделался?

Тут он швырнул что-то в мою сторону, я, правда, не увидел, какую вещь, надеялся, что не мою. Успел закрыть дверь.

Первым делом зашел я в продмаг, купил три коробки шоколадных конфет, импортных, и сигарет. Снабжали нас теперь получше, мамка б радовалась – сладкого было много.

Вторым, значит, делом зашел к бабе Томе и бабе Свете. Они были две одинаковые старушки, сухие-сухие, с пушистыми головами, как вербочки. По всему дому у них были книги, физика да инженерия всякая, и классика, конечно, целый шкаф с Толстым, Чеховым и Достоевским – без них никуда.

От мата они дрожали, как осиновые листочки, верили только в хорошее и тихонько плакали, когда наступал День Победы. Я их любил беззаветно, они меня тоже любили, мне хотелось

напоследок сказать им какое-нибудь доброе слово.

Открыла мне баба Тома (я их отличал по шрамику на руке, это баба Тома в детстве ракушкой на реке порезалась).

– Боренька!

– А, привет. Я тут конфет принес, тебе и бабе Свете.

С детства был у них такой пунктик – у каждой должна быть своя вещь, все разное. Они отлично знали, где чья ложка, где чья тарелка, никогда не брали их наугад.

– Проходи скорее, Боренька, мы тебе чаю нальем.

Она положила свою дрожащую руку мне на плечо, у нее были костлявые, как у смерти, пальцы. Я испытывал особую слабость к несчастным людям, к стареньким, больным, к сирым и убогим, к людям в печали, в раздрае. Мне рядом с ними было по-человечески хорошо.

От бабы Томы пахло мукой и чуточку – жаром, наверное, пироги пекли. Пока длилась полярная ночь, им было совсем уж нудно от этой жизни, они читали да готовили, больше ничего не делали. Хорошо, что глаза сберегли, а то не осталось бы радости.

– В доме-то капремонт затеяли. Ты отцу скажи, как приедет, хорошо?

– Да он приехал.

Мне так захотелось ее обнять, она посмотрела на меня с этой любовью в вечно поблескивающих старых глазах, и я сразу весь нагрелся, оттаял, хотя собирался хранить мужество.

Кухня у них была узенькая, тесная, но такая аккуратная, такая чистая, и пахло здесь всегда хорошо, не только едой, но и каким-то иным теплом. Баба Света как раз запихнула пирожки на противне в духовку, сказала:

– Будут с вишней, ты подождешь?

– Я за ними вечером зайду, на чуть-чуть пришел.

– Нет уж, нет уж. Энтропия растет.

Поздравляю с наступающим, энтропия растет, так пел Егор Летов. А баба Света имела в виду, что пирожки будут холодные уже и не такие свежие к тому же. Еще баба Света любила говорить, что энтропия – величина аддитивная, когда я рассказывал ей что-нибудь о нашей семье. Это она имела в виду, что мудачество семейства равно сумме мудачеств всех его членов. Справедливо, так-то.

Баба Света любила энтропию несмотря на то, что та угрожала ее вот-вот поглотить.

Ну и пришлось ждать пирожков. Мы пили чай, баба Тома и баба Света открыли обе коробки конфет – для справедливости. Они б и ребенка разрубили. Хорошо, что ни у одной детей не было.

Я хотел было быстренько сказать, что уезжаю, а получился разговор на два с половиной часа. Они смотрели на меня и кивали, гладили по руке, и за одно это я им готов был всю квартиру языком вылизать, миллион мешков муки притащить.

Хотел я ласки.

Ну, они сочувствовали, конечно.

– Толку с твоего отца не будет, хоть голова у него и светлая была. Ты учись хорошо и в институт там поступай.

Я чуть не расплакался, честное слово.

Прощались мы с ними, как перед войной, они меня крепко в щеки целовали и благословляли атеистически (стоические они были атеистки семидесяти восьми лет).

Ладно. В-третьих, зашел я к своему историку, молча выдал ему коробку конфет, что уезжаю не сказал, чтоб проблем не было.

Он обрадовался, пригласил чай пить, но тут уж я отказался. Тогда вдруг он на меня посмотрел и говорит:

– Тебе бы, Борис, больше к учебе рвения проявлять.

– Да я буду, вы не волнуйтесь.

– У тебя светлая голова.

И заиграло это странно, потому что про светлую отцовскую голову только что сказали баба Тома с бабой Светой.

– Жутко смотреть, как ты себя губишь, Борис.

Я вот чего заметил, учителя называют детей по имени до нудного часто – такое у них, значит, нейролингвистическое программирование. Может, доминирование устанавливают или еще чего.

– А я себя не гублю, это у вас зрение, видать, плохое стало, что вы так смотрите.

– Такая душа у тебя, чувствительный, искренний юноша, такое сердце, такой ум, а ты из себя кого делаешь?

– Человека из себя делаю, Ярослав Михайлович. Как вы сказали.

– И не издевайся. Я тебе говорю – потенциал у тебя есть стать хорошим, умным человеком. Как же его гробить можно?

– Хорошего человека угробить нельзя, я в это искренне верю, вы меня сами такому научили. Ну, бывайте, я пошел.

– Борис, у тебя, может, случилось что?

– Не. До понедельника тогда.

А потом будет у него сопливая история, как я приходил, а он не понял, что я прощался.

К Юрику я пришел без коробки конфет, вообще без всего, потому что клей в продмаге нам давно уже не продавали. Он вышел поговорить на лестницу.

– Ты извини, меня наказали. Теперь дома сижу.

– Ну, понятно все с тобой. У меня все наоборот, я теперь по миру пойду.

– Да не верю я тебе.

Юрик почесал затылок этим своим неосторожным, размашистым, медвежьим движением.

– А я за ум решил взяться, – добавил он.

– Ну и даю тебе добро. Можешь с Ладкой закрутить, если хочешь. Она меня не любит.

– Тебя послушать, никто тебя не любит.

Тут уж какая у кого доля.

– Но я зато всем нравлюсь. Но я не про то. Ты чего без меня делать будешь?

– С девчонками тусоваться, наверное. Но, может, у родителей на следующий год с Питером получится. Тогда туда махнем.

Он неопределенно двинул рукой куда-то влево. Я лично не был уверен, что Питер – это туда.

– А ты скоро вернешься?

– Да хрен знает. Когда-нибудь точно вернусь, когда ностальгия замучает.

– Ты приколись, там такое все, как в кинохах. Типа как в «Форсаже» или в «Большом Лебовски».

– В «Бешеных псах» еще.

– И в «Без лица». Вдохновляюще, не?

Я засмеялся. Тут Юрикова мама крикнула:

– Юр, всё! Поговорил и будет. Ты ему скажи.

– Да говорю я.

Он прошептал:

– Слушай, я на тебя все свалил.

– Ай, да не страшно, я б так же поступил.

– Ну, друзья навсегда тогда.

– Надолго так точно.

Мы обнялись по-мужски, повздыхали немного да и расстались навсегда. Я еще некоторое время стоял на заплеванной лестнице, курил, и от дыма у меня слезились глаза (только от дыма, честно!).

Наконец, я зашел домой, кинул отцу сигареты, взял мамину лопату и опять умотал. Папашка и не спросил ничего.

Уже темнело, холод совсем лютый, я пока дошел до кладбища, весь стал красный. Но хоть метель не поднялась.

Там, на кладбище, я нашел мамкину могилу. Весь день мамку увидеть думал, а она и не пришла на меня посмотреть.

Могила, подумаешь, не так оно важно. Во мне ее могила была. А поди ж ты – проняло. Снега намело, это жуть, я его стал снимать слой за слоем, руки болели от мороза, но я был упрямый.

Вот, наконец, черная земля показалась, я тогда отбросил лопату, согнул и разогнул пальцы, с трудом, надо сказать, посмотрел на фотку мамину – всегда она молодая.

– Я тебя люблю, – так я говорил. – Ты бы мне дала совет, или что?

Но никаких советов, вообще никаких ответов. Молчание, и я один.

– Вот как мне уезжать оттуда, где мы с тобой были счастливы?

Да бери и уезжай, Боречка. Это я сам себе ответил. Не она.

И так мне было холодно, я сам себя обнял и весь дрожал. А потом вдруг опустился на колени да прижался губами к мерзлой земле на ее могиле, к самому сердцу страны моей, такой моей.

Могилу, значит, целовал.

Глава 3. Умственная работа

Ну а прадед мой, дедов, значит, отец, отцов дед, он в НКВД служил, прям тем, кто стрелял, когда говорили, безоружным людям в затылки. Стоял у расстрельного рва. Какие были приказы – такие становились люди. Было время.

Что он об этом говорил? Работа, говорил, не мешки, конечно, ворочать. Ему нравилось, и платили хорошо, за вредность, так сказать.

Ну, еще говорил, что работа в первую очередь умственная. Так-то рука, конечно, устает на курок нажимать, но в остальном это прежде всего дело ума – стрелять, не стрелять. Каждый раз надо себя заставить, каждый раз надо решить, на вопрос на важный ответить.

Но это прадед деду рассказывал, дед – папашке, а тот уже мне – через третьи руки, значит, все быльем поросло. Ну, а чего теперь? Я для чего все это помнил и хранил? Не чтобы рассказать кому-нибудь, это точно, но чтоб подумать. Для умственной работы.

Прадед говорил, что решение стрелять принимаешь не сердцем, а головой, сердцем его принять невозможно – разорвется, не выдержит. Такой был чувствительный человек. Его после войны и самого расстреляли, когда были чистки. Бабка послушала-послушала, как дед ноет, да и сказала:

– А и не жалко.

Чекистов она до смерти не любила.

Ладно, значит про меня. Пришел я когда, весь до костей промерзший, отец меня так стукнул башкой об стену, что у меня в глазах потемнело – как-то с одной стороны.

– Ты какого хуя шляешься в такую метель?

У него испуг за меня был какой-то спорадический, как появлялся, так и исчезал, и снова появлялся. Оставлять меня одного неделями он совсем не боялся, а что я в метель помру, то его вдруг взволновало.

От злости у меня потом весь вечер язвы мои чесались. Я их с детства помнил, еще маленький был, когда они появились – крошечные язвочки на спине, на животе, под коленками, да везде, если честно. Одни проходили, другие появлялись. Эти язвочки подгнаивались, не были они похожи ни на прыщи, ни на ссадины, ни на псор. Скорее как стоматит были, только не во рту. Баба Тома говорила, что это от грязи и надо мыться хозяйственным мылом.

Весь вечер я сдирал ногтями желтовато-красные корочки и

так кипел, что даже не грустил о том, что уезжаю, только думал, что ночью его как-нибудь по башке молотком ударю. Он и не поймет, что случилось.

Это тоже умственная работа, как у прадеда моего, – готовиться к тому, чтобы человека убить.

К вечеру отец стал кашлять – с ним бывало. Приступы у него были затяжные, он хватался за что-то, как утопающий, и долго дохал, пока у него носом не шла кровь и сосуды в глазах не лопались.

Я ему часто говорил: надо врача вызывать. Но то ведь как: ну поохает врач, поахает, вызовет вертолет, чтобы в Норильск его везти, а сделать и в Норильске ничего не смогут, и в Москве, и в Тель-Авиве. Тут уж неважно, надо помирать так надо.

Кашлял он долго, но я на него даже не смотрел, желал ему легкой смерти, или чтоб после всего добрый и ласковый стал – с ним бывало.

Я уже и в постель лечь успел, почти даже заснул, когда приступ его прекратился так же внезапно, как и начался. У кровати моей стоял чемодан, папашка споткнулся об него, когда ко мне подошел.

– Борь, ты спишь?

Голос у него был спокойный, ласковый. Страшно поди одному помирать, вмиг подобрел.

– Ну, более или менее, а тебе чего?

– Ты меня тоже пойми.

– Чего мне тебя понимать, нужен ты мне, что ли, тебя понимать?

Он сел рядом, положил руку мне на голову, шишку потер, словно на удачу.

– Ну, завтра поедем в Лос-Анджелес. Там у тебя все будет, что ты захочешь. Денег много, я для тебя ничего не пожалею.

– Ну, круто теперь.

И он вдруг мне такое сказал:

– Борь, а ты думаешь мне не обидно, что ты умирать, как я, не хочешь?

– Ты меня по голове ударил, я теперь вообще не думаю, отгребись уже.

Я перевернулся на другой бок, но отец продолжил гладить меня по голове.

– Я и сам на деле не знаю. С одной стороны, я хочу, чтобы ты жил лучше меня, а с другой – у меня нет наглости думать, что моя жизнь важнее всего мира.

И чего он привязался? Как чувствовал все, что я ему говорить и не собирался. Я делал вид, что сплю.

– Ты – мой единственный сын, ты от меня кусочек, от женщины, которую я любил больше всех на свете. Думаешь, мне тебя не жалко? А все-таки, где б мы были, если б друг друга жалели?

Тоскливо ему теперь, захотелось хорошим отцом стать, но я ему такого удовольствия не дам, так я решил. Ничего не ответил, а он все гладил и гладил меня по голове, пока я не уснул.

Утром пришлось со всеми братиками и сестричками попрощаться, они, пушистые комочки, и понять не могли, что я насовсем уезжаю, спрашивали, ухожу ли я умирать, пищали. Я им скормил все, что оставалось в холодильнике, пока отец мылся.

Я знал одно: американские братишки и сестрички будут понимать меня точно так же, как русские. Если будет совсем плохо, стану с ними общаться.

Разумеется, я боялся, ну а кто б не боялся – на моем-то месте? Жалел вот о том, что английский прогуливал, но все-таки знал, что приспособлюсь. Это головой я был нервный, а сердце у меня оставалось спокойным.

– Вот уеду, – говорил я. – Кто вас будет кормить?

Ну, Матенька-то корм всегда даст, надо только по сторонам глядеть, а все-таки приятно быть значимым.

– Борь, собирайся давай, а то с тобой опоздаем.

– А, ну я да, я почти уже.

А человек, он в любом случае ждет хорошего. Он и от смерти ждет хорошего – оттого все мечты о рае. Мамка не пришла попрощаться, и это меня даже чуточку успокоило. Значило, должно быть, что она за мной последует. А все остальное можно было и оставить.

Взял я чемодан, и мы пошли. Снега вокруг, ну просто горы, смотреть невозможно, глаза щиплет от белизны и холода. И еще мело. Я крикнул отцу:

– А к тебе она приходит?

Он сразу понял, о чем я говорю.

– Да, конечно. Не так часто, как мне б хотелось. Но она со мной.

– А которая из них настоящая?

– И та, и та. Это все она, мы ж ее разделили.

Была одна мамка, а стало, значит, две. Метель хоть чуточку, но унялась, а то б мы не улетели, а у нас самолет и билеты. Снова я смотрел на тайгу с высоты, но теперь она была белая-белая, только острые верхушки деревьев из этой белизны выныривают, и все.

Отец говорил:

– Будешь счастлив. Там тепло, солнце. Будешь счастлив, но

Родину не забывай. Где родился, там и пригодился.

– Ты ж сам себе противоречишь, ну что ты несешь?

А все-таки я знал – не забуду, любить буду до конца своих дней и всю тайгу, и неровный десяток низких типовых многоэтажек. Нечего было любить, а я любил – такая там была свобода.

В Норильске я с тех пор бывал уже несколько раз, привык к нему, а обожал все равно – со всей его грязью, со всей унылостью бетонных коробок, со всей горечью воздуха.

У входа в аэропорт мы покурили. Отец сказал:

– В Москве будем один день. Так что погоняем по ней, поглядим на столицу.

– Круто, давай погоняем.

Где-то тут была Лада, я ей встретиться предложил, в аэропорту уже, но она отказалась, ну я ее на хуй и послал. Может, Юрику даст, как знать.

– За девку не переживай. Будут у тебя еще девки.

– А, ну ладно тогда. Сразу сердце на место встало, может и с ней поговоришь?

На этот раз подзатыльник был слабый, так, играл он со мной.

– Как она вообще?

– Один раз меня дрыщом назвала, так я ей врезал немного. Мне потом так стыдно стало, хотя я совсем легонько.

– Вот почему у тебя и не вышло. Женщин до свадьбы не бьют.

А вокруг самолеты летают, огромные такие махины. Матенька сделала наш народ выносливым и сильным, чтоб мы выживали везде и все собой заполоняли, только небо мы, крысы, заселить собою не в состоянии, вот оттого и трепет такой к нему.

Но неба я не боялся, доля есть доля, с ней не сладишь. Если судьба умереть от аварии, значит, не в самолете, так в машине умрешь. Все равно не страшно – это очень быстро обычно. Вот мамка, она сложно умирала, тонуть – кошмар вообще. Утонуть бы я не хотел.

На самолете-то я в первый раз в жизни полететь готовился. То вертолеты были, они смешные скорее, а вот самолет – эпичная штука.

– Восемь часов лететь, а кино не показывает. Книжку взял в ручную кладь?

– Ага. Аммиана Марцеллина. Там интересно, типа Рим гниет.

– Дался тебе тот Рим. Если хочешь что-нибудь скучное почитать, Герцена б почитал или Чернышевского.

В аэропорту все было блестяще и светло, нигде больше в Норильске такого чистого места не было. Кафе теперь еще всякие блестели, красным, зеленым и синим, словно камушки

драгоценные. В одной кафешке мы с папой и сидели, он пил водку, а я ел соленую-соленую курицу-гриль, разгрызал ей косточки.

– Я люблю эту штуку, – говорил я. – Знаешь, такую сгущенную кровь внутри.

– Костный мозг это.

– Он же в позвоночнике.

– То спинной.

Отец курил и посматривал на девушку за соседним столиком, слишком молоденькую для него.

– Было б больше времени, – сказал он шепотом, – я б тебе показал, как оно с девчонками делается.

– Типа деньгами?

– Идиот ты, одними деньгами ничего не сделаешь, смеяться над тобой будут. У женщины душа, кто бы что ни говорил.

Ну, я не знал. У Ладки, как по мне, души не было.

В самолете оказалось на самом деле скучно. Я читал, пропадал ненадолго во сне, просыпался, ковырял порошковую картошку на пластиковом подносике (как формочка, в которую песок засыпают – и картоха на вкус как песок), перезнакомился со всеми соседями. Впереди нас ехал бизнесмен с необычайно добрыми для такой профессии глазами, сбоку сидела молодая учительница русского и литературы, навещавшая родителей, позади – фольклорист, изучавший народы Севера. Я спросил, представляю ли я народы Севера, и он сказал, что есть разные трактовки, но скорее нет, чем да.

Он мне рассказал корякскую сказку про мальчика, который убил бога. Вернее, бог сам себя убил, потому что мальчик выиграл у него в прятки.

– Бред какой, это жесть.

– Тебе так кажется, Борис, потому что ты мыслишь категориями нововременной европейской культуры. Бог у тебя ассоциируется с чем-то могущественным, бессмертным. Для большинства примитивных культур боги – это персонификации загадочных сил природы. Могущественные, конечно, и пугающие, непредсказуемые, но подверженные человеческим слабостям.

Он был очень умный, но без очков, у него на лице топорщились смешные усы, хотя таким уж старым он не выглядел, еще он носил добротный костюм. Мне казалось, что отцу он сразу не понравился, но отец быстро налакался и стал спать.

– Ну, я понял. Типа не бог это был, а какой-нибудь колдун.

– Нет-нет, все-таки бог.

– Ну, вы определитесь.

– Будоражащий смысл сказки именно в том, что это несомненно сильное и опасное существо, у него другая природа, чем у нас с тобой.

Вот, подумал, ему было бы интересно узнать про нас, и про Матеньку нашу, и что она завещала нам. Я-то в сказке жил, а ему это было непонятно.

Он пах человеком, чистым запахом: одеколон, мыльце, пот – чуточку. Еще: недолеченными зубами, утренним бутербродом, стопкой коньяка для храбрости и какой-то женщиной. Не знал даже, что я его так хорошо чую. Я свой нюх мог настраивать: хочу – все нюансы различу, а не хочу, так и не отвлекаю себя. Так с детства было, отец с мамкой не учили, и их никто не учил.

– А на лбу у тебя что, Борис?

– Это я упал.

Тут мне разговаривать перехотелось, я объявил, что спать, а сам не спал. Ждал Москвы.

А Москва оказалась прекрасная, я влюбился в нее сразу, она вся была золотая, как икона.

– Вот, – сказал отец. – Это столица нашей страны.

Говорил он так, будто лично ее построил, ну или хотя бы мерлоны на Кремлевской стене вырезал.

Улетали мы ночью завтрашнего дня, так что никакую гостиницу снимать не стали, гуляли по Москве всю ночь и весь день, вплоть до следующего вечера, ели чебуреки в какой-то советской забегаловке и бродили по центру бесцельно и ошалело.

Про Москву на самом деле просто так и не скажешь, она была сшитая из разных кусков – бетонная, кирпичная, золотая, всего в ней было много, и я смотрел на витрины магазинов с тем же восторгом, что и на башни Кремля.

Мы с отцом зашли в магазин «Картье», попялились на часы, и продавцы нас терпели. Мне стало смешно: у папашки были деньги на такие вещички. Ночью мы гуляли под мутным небом по Александровскому саду и пили, сильно пили, чтобы согреться. В «Охотном ряду» я в первый раз попробовал еду из Макдональдса, которая была еще солонее норильской курицы-гриль. Я потом еще долго облизывал губы, вспоминая вкус картошки фри.

Это был особенный мир, где все куда-то спешили, а метро показалось мне городом под городом. Запорошенная снегом Москва, советская и царская одновременно, казалась мне точкой, где пересекаются все истории. У нее были и свои цвета – кирпичный красный, розовато-серый, черный, и свои запахи – бензин и воедино слитые ароматы сотен видов духов.

Днем отец сводил меня в Третьяковскую галерею, мы были такие грязные, что мне становилось стыдно перед каждой

разодетой девчонкой на картине. Вообще заценил я «Неизвестную» Крамского, вот что меня впечатлило больше всего – такой у нее был надменный вид, цаца и все дела.

– Это его дочь, на самом-то деле, – сказал отец. – Ну, так я читал. Он ее изобразил типа как шлюху.

Я смотрел. Такие глаза у нее были с поволокой.

– В смысле?

– Ну, она едет в открытом экипаже, еще без вуалетки, дама полусвета такая, ну ты понял. И наглая, смотрит в превосходством. Пошли «Сирень» смотреть. Я Врубеля люблю. В Пушкинский сгоняем?

– Ага.

Я склонил голову набок, рассматривая эту удивительную девушку. Вот бы встретить телку с такими глазами и замутить с ней, чтоб она меня любила еще.

В Пушкинском музее отец показал мне Рембрандта.

– Называется «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». Что-то про жидовскую историю, этот хрен, он вроде царь персидский. Но ты на нее смотри. Она – святая. Вся золотая, мать ее.

И его лицо тоже на секунду просветлилось, а радостно мне было даже и оттого, что увидел его таким – спокойным, умиротворенным – и не в гробу.

– Правда, сверкает она немножко.

– Эта картина, ты послушай, Боря, и запомни, она как все тайны – рождение, смерть, что там внутри происходит. Смотри, как темно, а что-то сияет. Это – Бог.

Бог – это тайна. Я так запомнил.

Вечером мы гуляли по набережной, ветер дул мне в лицо, и я от этого жутко тосковал, может, воздуха не хватало. Я думал о прадеде своем, том, который чекист. Он потом из расстрельных рвов темень выкорчевывал, там было черно, как в космосе, должно быть.

Сам стрелял, сам проращивал темноту, и сам же ее потом искоренял, здоровьем своим жертвовал, чтобы чисто было там, где люди мертвые лежали.

Это зачем еще?

Я у отца спросил, а он пожал плечами.

– Да платили хорошо.

А смерть – это семя пустоты, и если оно всходит, то дерево даст еще очень-очень много семян, и так пока на всей планете не станет этот темный лес. Но жить тут ничего уже не будет к тому времени.

– Да он же сам все исправлял, – сказал отец. – Миру от этого хуже не стало.

Ну тут хоть сразу на могилки ползи – так безысходно, такое никого не обрадует.

– А как же «даже один-единственный человек»?

– Да никого не ебет один-единственный человек. Это ты у себя один-единственный, а для государства ты только один из многих. Точно не единственный. Для мира и государства ты – ничто.

Отец долго пытался закурить, но своенравный ветер тушил огонек зажигалки, опять и опять, а отец ругался и чиркал колесиком – я это очень хорошо запомнил. Его в старом синем шарфе и дорогом, но облезлом пальто, чиркающего зажигалкой у каменного загона Москвы-реки. Он у меня в памяти там остался, хотя прошло с тех пор очень много времени, когда мы были вместе.

Я с того времени думал: у каждого есть, может, момент, когда он сильнее всего проявляется. В такие моменты человека надо фотографировать, а потом эту фотку на могилку привешивать. Чтобы можно было все узнать, только взглянув. Такой характер у него был в тот момент, как на рисунке у хорошего художника, а закурил – и прошло все, пошли мы дальше, и он уже обычный.

– Я сюда еще хочу.

– Может, приедем. Люблю Москву. Мы с мамкой твоей тут свадьбу гуляли, расписались да самолетом сюда. Потом еще приезжали – тебя тут сделали.

Он засмеялся.

– Так что, считай, был тут уже, две клетки всего, а был.

– Теперь эти две клетки читают Аммиана Марцеллина и пьяные спят.

Погладил меня папашка по голове, да пошли мы дальше. Ехали по заснеженным дорогам хорошие машины, пару раз я поскользнулся и испугался, что прямо на дорогу полечу – а нет, повезло вот.

В аэропорту почти плакал, так не хотелось уезжать оттуда, где все свое, только лоску навели, в совсем чужую страну. И чего я тосковал, если вдуматься? Интересно же это – в Америку попасть.

В толпе снова видел мамку свою, она утирала воду со лба, скидывала капли вниз. А есть предсмертный пот, когда тонешь, или так холодно, что и не пробивает?

Отец ее не видел. К нему она приходила в другое время, в свое время.

– Иногда ночью, – сказал он, когда я спросил. – Как женщина.

Вдруг захохотал.

– А то я б тебе мамку уже новую нашел.

Мы прошли мимо мамки, отец смотрел вперед, в сторону бара, с тягомотной такой тоской – до регистрации нельзя, а то не пустят.

– Мама, я уезжаю.

– Я знаю, Боречка, что уезжаешь. Не грусти и не скучай, я с тобой поеду.

И сердце сразу отпустило что-то, так сжимавшее его все это время. Мы с папашкой отправлялись так далеко, но и она позади не осталась.

Я подумал, будем ли мы лететь над океаном днем и сколько будет длиться океан. Все мне было любопытно, и думал я, что взгляд не отведу от иллюминатора, а уснул через двадцать минут после того, как самолет поднялся в небо.

Два дня без сна, и я вырубился так, что пропустил и завтрак, и обед, и то, что кресла были неудобные.

Мне долго ничего не снилось, потом перевернулся на другой бок, отца не без удовольствия отпинав (ноги я на него положил), и стали мне сниться абрикосовые косточки.

Были мы не то на даче у кого-то, не то еще где за городом, яркое было солнце и целая гора ебучих этих косточек. Отец их бил молотком, а из них кровь шла.

Проснулся я, и мы уже летели над Америкой. Я приложил руку к иллюминатору, он был горячим.

– Ебнешься в обморок от жары – полетишь на неделе в Хохляндию, – предупредил отец.

– А я не хворый, это уж скорее ты ебнешься.

– И не матерись.

Ай, а рассказать чего хотел, про Москву еще. Было там такое множество наших, что я растерялся даже. Мешались запахи: медвежьи, волчьи, собачьи, кошачьи, крысиные, разные птичьи – да легче сказать, каких не было, и я знал, что, проходя мимо, все эти существа обращают внимание и на меня, отмечают как бы, что я есть.

Я был маленький крысенок, детеныш еще, но уже что-то значил. Тут объяснить бы: фанаты одной музыкальной группы, например, по тайным для других значкам всегда друг друга узнают. Вот такое было ощущение: большого общего дела.

* * *

И в Америке оно потом только усилилось, потому что были это уже не мои люди, а вот зверики были мои. У нас ни единого словечка общего не было, а происхождение – одно, секрет был

один на всех.

Ну, собственно, расскажу про Америку. Как мы там очутились, что увидели, чему удивились.

– Город ангелов, – сказал отец, едва мы сошли с самолета и оказались в блестящем и ярком аэропорту. – Одни бомжары, торчки да проститутки. Ну, если учесть, что программа партии – приютить мытарей да блудниц, все верно.

Он улыбнулся этой своей кабарешной улыбкой и взял себе кофе на вынос, крепкого-крепкого, потому что в самолете опять налакался до бесчувственности.

– Ты летать, что ль, боишься?

Отец незаметно, но очень больно наступил мне на ногу.

– Помолчи.

Первым делом мне Лос-Анджелес не понравился – из-за ослепительного солнца, бившего прямо в глаза, из-за весеннего тепла зимой, от которого я тут же задохнулся. Потом мы, правда, прошли огромный серый скелет динозавра, ну хоть интересно стало. Указатели, реклама – все почти как в Москве, но как-то плотнее. Мы двигались вслед за потоком людей, и я рассматривал новый мир сквозь большие окна.

– Формы он такой ебанутой, – говорил отец. – Выйдем – увидишь.

– А жить-то мы где будем? А ты тут часто бывал?

– Я потихоньку гнездо готовил. У тебя будет комната.

– Натурально?! Своя комната?! Ты прям сейчас серьезно?

– Серьезнее некуда, – ответил отец с какой-то несвойственной ему напыщенностью. – Район у нас так себе, но квартирка ничего.

– Да хрен с ним с районом, блин, своя комната, прям реально! Хоть подрочить можно будет!

Нет, ну серьезно, конечно, меня это волновало, отец ведь теперь чаще будет дома, а я привык к приватности, что ли. Ну и стыдно тут же стало, не без этого. Папашка меня вежливо проигнорировал.

Я рассматривал вывески всех цветов и форм, меня затягивало в какую-то световую, блестящую воронку, я думал уж от этого в обморок упаду, всего было слишком.

– Знаешь, что странно? – спросил отец.

– Что ты еще не выпил?

Он только усмехнулся. Никогда нельзя было узнать заранее, разозлится он на что-то или нет. Я чего с ним вообще говорил? Во-первых, любитель я поболтать, во-вторых, скучно. Ну не было стабильности в нем. То спускал мне что угодно, то наказывал ни за что.

– Странно тут с указателями всякими. Обычно, значит, они на

языке страны, куда приехал, а внизу английская сноска. А тут – один английский, и все, оттого, может, шрифт больше.

– Ну, это ты у нас специалист по аэропортам, – ответил я с завистью.

– Есть хочешь?

Даже и не вопрос толком, есть я хотел всегда, тем более что и завтрак, и обед я проспал. Отец говорил, что тоже, но я сомневался. Единственное, что могло его пьяного разбудить, – запах еды, он скорее всего и мою порцию сожрал.

– Ну, смотря покормишь ты меня или нет.

– Нет, не покормлю, так, поржать над тобой хотел.

А повел он меня в красно-белый «Фрайдис», где раздавал комплименты официанткам со значками на фартуках. Английский у него был плохой, так что всякие там пошлости до адресаток не дошли. Я заказал себе самый большой бургер и молочный коктейль со вкусом сникерса.

– Пьют они, – сказал отец. – Вискарь. Ну, многим нравится, а по мне так дерьмо жидкое.

– Все-то тебе не нравится, – сказал я, вгрызаясь в свой бургер. Он был поджаристо-хрустящий, сладко-соленый, а если запивать его молочным коктейлем, то вообще закачаешься, просто ух ты, аж вообще.

– И названия у них тут такие сопливые. Дух, солнечная страна, горизонт. Хиппарская бредятина.

Я был так увлечен бургером, что не очень-то и понимал, о чем там папашка говорит, что за названия, что за горизонты.

– Ага, – сказал я. – Бредятина.

Бездумное повторение последнего слова обычно срабатывало. А у меня тут жареный лучок был, который, если макнуть в кетчуп, то опять же ну вообще. Не до папашкиного нытья мне было.

– Тощий такой, – вдруг сказал отец. – Еще тебе заказать?

– Закажи.

Пока я ел второй бургер (с плесневелым сыром, вот как), отец лениво ковырялся в пюре, розовом от крови, натекшей со стейка.

– А что за парень? – спросил я.

– М-м-м?

Отец перевел на меня свой вечно холодный, вечно стеклянный взгляд.

– Ну, про которого ты говорил, что он тебя пригласил.

– А. Да. С квартирой сильно помог, с документами. Уолтер. Мутный он мужик, ну, как все американосы в принципе.

– Ну, ты как-то без милосердия, без широты души.

– А не надо было Сербию бомбить. Да и Ирак. Хотя на Ирак мне плевать, если честно. Борь, ты запомни, у нас особый путь,

нам это все чуждо – рестики хорошие, одежда.

Хорошие рестики и одежду он, надо сказать, любил.

– Душа, вот что главное. Вся наша история – она не про материальное.

– А как же Маркс с материализмом?

– Ну Маркс с Лениным – это уж объективная реальность, данная нам в ощущениях.

Он засмеялся, хотя я не слишком понял, над чем.

– В русском человеке всегда двое. Бессребреник и беспредельщик. Вот и не выберем.

– А по-моему, стали хорошо жить, – сказал я. – Но чтоб был путь, может, выбрать надо. Чтоб был один человек в одном человеке. А то шиза какая-то получается.

– Умный ты парень растешь. Мог бы брат у тебя быть или сестра там, а не сложилось.

Я вычерпывал длинной ложкой остатки сливок из стакана.

– Тебе когда два года было, мать твоя опять беременная стала. С тобой я был уверен, что ты – мой, мы с ней только вдвоем были месяца три, наверное, тогда. А потом уже неделя – есть я, неделя – нет меня. И хрен ее, суку, знает, с кем она гуляет. На аборт ее заставил. Теперь жалею.

Он закурил.

– Она потом больше не могла.

– А. Ну да, то есть блин.

Короче, не знал я, что сказать ему, а папашке, видно, очень надо было все это выговорить.

– Плохо, что ты один у нас. Нас было двое, а ты один.

Я почесал ложкой нос, наблюдая за дымом от отцовской сигареты. На потолке крутились вентиляторы, брали дым в оборот, раз – и следа уже нет. Такая и наша жизнь. Ну, тут я нашелся что сказать:

– А ты сам от нее блядовал?

Надо ж беседу поддержать.

– Не матерись.

Отец чуточку помолчал, мотнул рукой вниз, потом вверх, так и сяк мол, более или менее.

– Ну, не особо. Не по-серьезному. Любил только ее.

Он затушил сигарету, сказал:

– Ну, пошли уже. Надоело сидеть.

Глава 4. Мой папа живет под землей

Я вот лучше еще про одну яму смерти расскажу, совсем про другую, с женщинами и детьми.

Прабабка моя, мать матери матери моей, во время войны жила под Минском. Она была русской, муж ее – белорус, ушел на фронт, не в партизаны, дочка годовалая опять же на руках (то бабуля была), в общем, невесело, но расстреливать прям сейчас ее никто не собирался. Но голодно было до боли и обмороков, а дочка совсем маленькая, и ходила моя бабка разрывать расстрельные ямы. Доставала, что полицаи еще не забрали, хоть пояса кожаные, колечки, бывало, затеряются, зубы золотые вырывала, ну и все такое.

Ей тоже хотелось есть, она продавала вещи с мертвецов.

Ну и пустоты закрывала, не без этого. Но, как говорила мамка, не ради того она к ямам шла и всегда себя винила, что не волновали ее тогда черные водовороты и все, что от них идет. Волновало ее, что она завтра будет кушать, что будет кушать маленькая ее дочка.

Ну и вот, как-то копает она эту яму (лезвие лопаты все время входило в трупы, она к этому уже привыкла, не сложнее, говорила, чем картошку располовинить), видит – ребенок. С живых детей почти никогда ничего не снимали, может, кулон найдется, так она думала, или серебряная заколочка, если девочка.

Оказался мальчик, да еще живой, дышал он едва-едва, и сердце у него билось медленно.

Котяток жалко и других разных детенышей, а тут – человечонок. И куда его? Она ему землю из носа, изо рта вытягивала, тормошила, била по щекам, пока глаза не открыл. Малыш, может, шести лет. Она на него смотрит, и у нее слезы из глаз.

У нее же дочка маленькая. Она видела, что немцы делают с семьями партизан, с семьями тех, кто еврейских детей укрывает, да с семьями вообще.

Думала, думала, а все равно взяла его к себе.

А хотела бы она, чтобы дочку ее так оставили – в яме с мертвыми? То-то и оно.

Им повезло, она его укрыла, прошла война, и они оставили пацана себе, он стал братом моей бабушки. До шестнадцати лет он отвечал, когда его спрашивали о родителях, вот что: мой папа живет под землей.

А в остальном – совершенно нормальный парень. Вырос

прабабулин жиденочек Левочка и стал мужиком, Львом Самуиловичем. Прабабка, конечно, хотела, чтобы он женился на бабуле, но у них любви не было, они были друг другу брат и сестра. Бабулю замуж увез дед аж в Ивано-Франковск, а Лев Самуилович стал преподавать философию в Минском университете, как настоящий еврей прям.

Его друзья прабабку не любили, она называла их жидами, но его обожала невероятно. Вот она его случайно в яме нашла, а он ее досматривал вместе с ее родной дочерью, и саму в яме схоронил, когда время пришло.

То есть прабабка умерла, конечно, но все хорошо закончилось.

Вот, ну а я чего вспомнил? Лос-Анджелес – город ангелов, а прабабка, наверное, тоже в городе ангелов, ну или где там. Она же хороший была человек.

* * *

В моем городе ангелов мне поначалу было странно. Самое ужасное, конечно, – все говорили на чужом языке. С английским у меня было не так плохо, как я думал, схватывал я быстро, но как же невыносимо было слушать беглую и совершенно чужую речь. Мне казалось, что вокруг меня разыгрывается какой-то спектакль или, ну к примеру, снимают кино – казалось, это такие глупости, все эти люди не могут говорить на другом языке постоянно. В какой-то момент, я это представлял, они отложат свои сценарии и станут говорить, как все, на русском. Иностранная речь казалась мне вычурной, ненатуральной, постановочной, и, как по мне, это был ужасно неудобный язык для того, чтобы думать.

Запахи тоже были другими: бензин, не прибитый морозом, какой-то густой смог, тянет чем-то вкусным из каждой забегаловки. Да и хрен с ними, с запахами, даже цвета были другие из-за непривычной солнечности.

Особенно мне запомнилось, как мы ехали в такси в первый раз. В машине пахло какими-то индийскими благовониями, от которых звенело в ушах, а у мужика за рулем на голове хитро свернулось какое-то полотенце. Отец к этому отнесся без восторга, назвал, значит, адрес и замолчал, а я расспрашивал словоохотливого индуса о том, что здесь вообще-то есть интересного.

Индус мне клялся, с горячностью, которой от его народа и ожидаешь, что лично видел Брэда Питта.

– Голливуд – это вещь! Аллея, звезды! Звезды на улице!

Говорил он слишком быстро, так что я улавливал только части фраз. Получалось что-то вроде: «Голливуд – это вещь, бла-бла-бла-бла, аллея, звезды, звезды на улице, бла-бла-бла».

Ну, я кивал, конечно.

– Еще есть постройка такая, похожа на консервную банку. Что-то такое диснеевское. И вся она блестит! Очень красиво!

– А музеи какие есть? – спросил я.

– Тебе с динозаврами понравится. Или с машинами. Есть и тот и другой.

– Долбаеб, – сказал отец. – Еще про телок восковых пусть скажет.

– А, ну и с куклами из воска есть, но сам я не был.

– А обсерватория есть? Я хочу в обсерваторию! А театры?

– О, есть обсерватория! И театры есть какие-то! Все есть!

– На Родео-драйв съездим с тобой, – сказал отец. – Там все буржуйское, ужас что такое. Купил что-нибудь – всю жизнь в долгах, всю жизнь хуй сосешь потом. Еще в научный центр надо. Вот это дело. И музей искусств вроде не паскудный у них.

Отец закурил, индус покосился на него неодобрительно, однако ничего не сказал, может, у них тут было принято чаевые таксистам за такое оставлять? Я б засунул доллар ему в шапку.

И, блин, какая у папашки была серьезная пачка долларов – сам бы не увидел, ни за что бы не поверил.

– Русские? – спросил индус.

– Да.

– Москва?

– Не-а. Снеж-но-горск.

Индус пробормотал что-то такое невразумительное, отец скривился, а я засмеялся.

– Ну и ладно, мы ваших названий тоже выговорить не можем. А вы откуда?

– Калькутта.

Что-то среднее между калькулятором и барракудой. Я даже растерялся чуток.

– Понятно.

– Здесь всех много, всем рады.

Я посмотрел на отца. Знали б они его – никогда б визу не дали.

А еще я в Диснейленд хотел, но как-то уже стыдно было в этом признаваться, так там и не побывал. Я вполуха слушал болтовню прикольного индуса и смотрел в окно. Солнца было так много, что глаза тут же стали больными, я все время их тер. В машине было ужасно жарко, я обмахивался открытой ладонью и хватал воздух.

В каком-то смысле этот город ангелов был адом. Я спросил у отца, почему тут так жарко зимой.

– Тут нормально зимой. Как у нас, когда летом жарко. У тебя акклиматизация просто.

Все вокруг было странным, казалось картонным, я в это не верил, как в английскую речь. Были пальмы, настоящие, как на «Баунти», со взъерошенными такими шевелюрами. Верхушка как кисточка, если долго возить ею по бумаге. Дают они кокосы или нет? А если дают, то срывать их можно? Вдалеке было много небоскребов словно из серебра и меди, они купались в солнце, и оно заставляло их блестеть. В остальном мне казалось, что дома тут скорее приземистые. Архитектура была странной – много всего ребристого, одно не сочетается с другим, так, мне казалось, часто бывает на юге. Было много бежевого, много грязно-желтого, каких-то архетипических цветов курортного, солнечного города.

Да господи боже мой, мне даже пахло солнцем, всякая моя мысль была о нем, оно из моей головы не убиралось.

А издалека небоскребы были похожи не то на зажигалки, не то на мобильники, такой был в них лоск, такой хай-тек, или что там. Все было в жарком тумане, я считал пальмы, и сердце у меня подскакивало в груди, когда мы так быстро проносились под очередным нагретым бетонным мостом, мне казалось, он от жары расплавится, он на нас упадет.

– Каменные джунгли, – сказал отец. – Но по ночам тут красиво. Как будто пожар.

Мимо нас проехала черномордая, белобокая ментовская машина – ну все, совсем кино, так я подумал.

– Живете в Даунтауне, – сказал индус. – Как будто неплохой район, но ночью там неуютно. Как только клерки расходятся.

На клерках тут все держалось.

– А что там? Бандиты?

Слово, которое он сказал, я вообще не понял, удовлетворился тем, что если вокруг будут одни бандосы с пушками, то это даже интересно. Чем дальше мы продвигались к центру города, тем выше и внушительнее казались мне стеклянные коробки.

– А я думал, в центре всегда элитное жилье.

– Ну, я тоже. Не, тут неплохо. Но мы с тобой могли бы позволить себе жилье и получше. Я выбирал по сестрам и братьям, чтобы их было много, походил там, поговорил с ними.

Братишки и сестрички – вот что чудно. Во-первых, всегда предупредят об опасности, если пожар там, или ураган, или землетрясение, или воры, а во-вторых – ну вдруг я ни с кем не подружусь.

Лос-Анджелес в целом был как понтовый, но пропитой и

изрядно скурвившийся красавчик. Списанная в утиль кинозвезда, как-то так.

В нем было что-то южное, по моему разумению даже совсем не американское – эти кремовые домики и зелень, было в то же время и нечто до боли киношное – тачки, закусочные, маленькие магазинчики и гипермаркеты.

Все это вышибло из меня дух, я вообще-то едва дышал, каждая вывеска была как откровение. Английские и испанские слова, незнакомые до тоски. У меня в голове все время крутилась песня про подмосковные вечера, хотя я ни одного вечера там не провел, если не считать вечер в Шереметьево, конечно.

И вот мы доехали, а выйти из машины теперь значило попасть во всамделишный Лос-Анджелес, в мой новый дом.

– Тут и кинозвезды бывают иногда. По утрам, – сказал индус.

– Круто.

Отец расплачивался с ним, а я выскочил из машины.

– До свиданья! Спасибо!

Асфальт казался нагретым, и думалось мне – сейчас станет рекой какой-то лавы, такой жаркий и серо-черный. А сколько было стекла, мне сразу вспомнились те репортажи про самолеты и небоскребы, про то, как все посыпалось – от этого тоже стало неуютно.

Я теперь жил в большом городе, это Снежногорск никому не был нужен, а здесь могло случиться что угодно. Нужно быть настороже, я так решил.

Рядом с небоскребами дом наш казался совсем маленьким, и все в нем было причудливым. Вроде бы та же бетонная коробка, а совсем другого типа – уже чужие длинные окна, странные пожарные лестницы, выступающая вперед платформа на крыше, какая-то другая серость, какая-то другая мрачность. На первом этаже нашего дома был какой-то отстойный, бесхитростный ювелирный магазин с желтой вывеской. Крупные буквы шли прямо по лимонной арочке над дверью, черные, а мне ведь хотелось, чтобы ночью они горели.

Все здесь было странным, как во сне, и я не мог испытать восторга, потому что ничего моего тут не было. Через дорогу, у лавки, смеялись две девочки-цветочницы, одна покуривала, другая перехватывала волосы резинкой, а позади них были розы и орхидеи, и все такое. Я не верил даже в живые цветы.

Отец сказал:

– Все, пошли, после на баб поглядишь. Что как идиот стоишь с чемоданом своим?

А я и не замечал его тяжести.

Подъезд тоже был странный: все было белым и зеленым,

вроде логично, а оттенки совсем другие. И белый и зеленый – безо всякого синего подтона, свеженькие, не мертвенные – мне совершенно такие цвета не нравились. Все цифры, которые обозначали этажи, огромные, как для слепошарых, а свет – яркий: так неприятно, так слепяще.

Нас встретил широкий лифт с зеркалами сбоку и сверху. Я увидел отражения двух тощих, изможденных, грязных людей. Я расцветкой весь пошел в маму, а вот черты лица скорее были отцовские. Вот я рассматривал его и себя. От пота папины волосы казались темнее, чем на самом деле, и мы стали совсем похожи. Отец это тоже почувствовал, задумчиво положил руку мне на голову, словно прикидывая, каким я вырасту.

Мы жили на последнем этаже. На лестничной клетке только две квартиры – вот это да. Еще я нигде не заметил мусоропровода.

– Это что, мусор типа выносить на улицу?

– Не для людей страна. И не для крыс.

Отец долго искал ключи, со злости пинал железную дверь, ничем не обитую – ни кожзама, ни смешных металлических кнопочек на нем. Голая какая-то была дверь, унылая.

Первым делом из духоты запертой квартиры выплыли ко мне запахи алкоголя, сигаретных бычков и грязных носков. Наше гнездо отец уже обжил.

Коридор был совсем темным, отцовская комната, в которую он сразу пошел, тоже – из-за тяжелых коричневых штор. В полумраке я видел силуэты пустых бутылок. Крошечная сестричка выбежала к нам, отец подставил ей ладонь, на которую она прыгнула.

– Здравствуй, девочка. Присматривала за домом? – спросил я.

– Ага.

Я прошел к окну, раздвинул шторы, а отец включил свет, и в этом двустороннем сиянии увидел я свой новый дом. Все как бы стандартно – двухкомнатная квартира с просторной гостиной, и все же – совсем не так. Какая-то была другая, не наша, планировка, а под потолком в отцовской комнате висела люстра-вентилятор, она лениво разгоняла воздух, как в «Апокалипсисе сегодня».

Все было темным, не слишком чистым, но богатым – огромный плазменный телик, плоский и широкий, кожаные диваны. От письменного стола сладковато несло кедром, горько и солоно – пепельницей. Стены были голые, никаких украшений, скучная белизна, ну разве что заляпанная пятнами, которыми стали прибитые насекомые.

Отец умел одновременно превращать все, к чему он

прикасался, в мусор, жить в изумительной аскезе, и в то же время понтоваться – это получалось у него естественно.

Кухня была просторная, с выходом на балкон. На полу лежала коробка из-под пиццы, сыр и крошки с нее доедали трое братьев.

А холодильник, мать его, он показывал время. Меня это отчего-то удивило до вставшего сердца.

– Крутота! А микроволновка есть, как у тебя в Норильске?

– Ага. И плита электрическая.

На кухне тоже был телик. И какое-то шестое чувство подсказывало мне: есть телик и у меня в комнате. Я, склонив голову, еще раз взглянул на кухню. Желтый свет лампы и зеленоватый цвет стен делали все каким-то мертвенным. Это я любил.

Вот с ванной вышла лажа – она была низкая и неглубокая, ну как в такой лежать и отмачивать язвы. Это таз дурацкий скорее, мне не понравилось.

– Ну, они так делают, – сказал отец. – Я тут особо ничего не контролировал, и без этого занятия были.

Зато умывальников почему-то стояло два.

– Это они случайно?

– Да, я тоже спросил. Не, это если мы с тобой оба опаздываем, чтобы чистить зубы вместе.

– А зачем ставить два умывальника, только чтобы чистить зубы одновременно? Можно рядом постоять.

– Ну я не ебу, Борь. Слушай, а знаешь, чего еще прикупил? Кофеварку да тостер. Завтракать будем, как буржуи.

– О, ну это вообще.

Тут я, конечно, пошел смотреть свою комнату. Если гостиная и кухня уже с хозяином были, обжитые, везде папашкины личные вещи, то моя комната осталась совсем чистой – только побеленные стены да новенький, хоть и маленький, телик. Не, ну еще кровать там, тумбочка, часы даже, но все безликое какое-то. Кровать была без простыней, а матрас такой высокий, что я еще минут пять пытался пропихнуть его ниже, пока не понял, что так все и задумано.

Комната была совсем небольшая, зато из замка торчал настоящий ключ. Мне стало так приятно, и в то же время я вдруг понял, какое это наебалово – раньше у меня своей комнаты не было, но фактически была своя квартира. Теперь моим будет только этот уголок.

Зато тут было большое окно, странное – без подоконника, с такими узкими рамами, что их тоже почти не существовало. Будто прорубили дыру в бетоне и все.

Первым делом я достал из чемодана «Котлован» Платонова и положил под подушку. Я другой такой книги не знал, чтобы стала частью меня, чтобы так в меня вгрызлась.

Все там было, и ямы, и могилки, кашляющие, умирающие, обманутые люди. Не книга – жизнь моя.

Вот тот интеллигент, который выбросил в Норильске книжки свои, он и не знал меня, не знал, как он на Бориса Шустова повлиял. Не знал, что прочитав его неожиданные подарки, я стал добывать себе другие книжки. Уже не «Илиаду», а «Одиссею», не Солженицына, а Платонова, и шел по той дороге, которую мне этот неизвестный мужик проторил.

Уложил в шкаф книги, а поверх них сложил одежду, но почему-то долго маялся, не выходил, не мог устроиться.

Незаметно наступили сумерки – здесь они были незнакомого, розового цвета. Или нет, на самом-то деле были они слоистые, как какой-нибудь коктейль, – сверху полоса почти бесцветная, с легкой голубизной дрожащего воздуха, потом широкий розовый слой, потом наступающая темно-синяя тень. Сбоку надо всем этим был кружок полной луны.

Я долго смотрел в окно, наблюдал, какие в этом мягком свете становятся небоскребы, как скрадываются их острые очертания. Машины так гудели, так ездили – будто у меня в голове, я не знал, смогу ли заснуть, даже если движение станет вдвое тише, я не привык к шуму.

В Москве я тоже устал, но у меня были мысли о доме, тайная мечта о тишине. Тут я понял: она не сбудется. Мой новый дом – очень шумное место. Зато как блестели эти стеклянные бочки высоток под вставшей луной.

Когда я, наконец, вышел, отец курил, вытянувшись на обитом черным в красную полоску атласом кресле, на совершенно ужасном кресле. Спинка была откинута назад, а из-под кресла выглядывала смешная подножка.

– Ты как тощий Гомер Симпсон.

– Тогда принеси мне пива. В холодильнике.

Я и себе взял банку. Она была красно-белая, напомнила мне не то тот суп, который рисовал Уорхол, не то этикетку колы.

– Кстати, – крикнул отец. – Есть кабельное. Разберешься.

Этим я всю ночь и занимался, потому что совсем не мог заснуть. То есть нет, сначала я долго читал, потом устали глаза, ну и я включил телик. Щелкал по бесчисленным каналам, пока не устал и от яркой рекламы. Потом долго смотрел сериал про какого-то детектива, мало что понимал, уж очень быстро говорили.

Значит так: был там унылый детектив, у которого в кабинете

разные телочки все время плакали и признавались в убийствах. Я смотрел серию за серией, не врубаясь в основную интригу, курил и пил пиво, пока не стал такой пьяный, что мне удалось уснуть.

Снились мне кошмары, ну а чего теперь? Тяжкий день. Снилась мамка, рыдавшая в ментуре.

– Не хотела я, не хотела. Я не топилась, клянусь.

Ее уговаривали что-то подписать, а она влажно шмыгала носом. Я смотрел на все как бы со стороны, из правого верхнего угла комнаты, что ли. Я смотрел, пока до меня не дошло, что мамка-то умерла, и мент умер, и я умер, и все на свете умерли.

Больше не надо волноваться, что кто-то чего-то не подписал. Тогда я проснулся, не то от этого-то осознания, не то от светившей мне прямо в лицо луны. Перевернувшись на другой бок, я долго смотрел на электронные часы, стоявшие на тумбочке рядом с кроватью. На них были красные цифры, я водил пальцами по их изгибам.

Эти цифры на электронных часах, они меня все время удивляли. На простом трафарете, стоит провести пару линий, проявляется либо цифра, либо полная бессмысленность. Только шаг в сторону, и такое все сразу идиотское.

Я осторожненько вышел из комнаты. Отец так и уснул в своем кресле перед работавшим телевизором. Симпатичная блондиночка рассказывала о войне в Ираке, потом стали рекламировать антидепрессанты. По моей ноге вверх забралась сестричка, которая первой встретила нас. Она была совсем молодая, еще непокрытая, вчерашний крысенок.

– Пойдем с тобой дрыхнуть? – спросил я. Пошевелив вибриссами, она согласилась. Ради меня, несомненно, так-то крысы скорее ночные животные. Такая молодая, а во мне видела маленького.

Когда я вернулся, то увидел мокрые следы на полу. Мамины следы. Ее не было ни в шкафу, ни под кроватью, но она сюда приходила, я ощущал водяной, мясной ее запах.

Значит, с нами сюда вошла.

Утром я проснулся от папашкиного голоса.

– Боря, еб твою мать, где сигареты?

– А хуй знает.

– Не матерись. Во, нашел. Лазанью будешь?

Он открыл дверь, и первым делом в комнату вплыл вонючий дым его сигареты.

– Давай лазанью.

– Ну, как тебе? Все вообще.

– Жарко. В остальном пока не понял.

Отец хрипло засмеялся, влажно закашлялся, но мокрота не

отошла.

– Похоже на город из «ГТА: Сан Андреас». Я у Юрика на плейстейшн играл.

Отец посмотрел на меня странно, с какой-то трогательной беспомощностью, сказал:

– Ну и хорошо, – развернулся и ушел. От него только дым остался – как от демона какого-нибудь. Сестричка лежала на подушке рядом со мной, свернулась там калачиком, как ребенок, как взаправдашняя сестра (которая у меня могла бы быть).

Смерть детеныша – великая печаль для Матеньки, потому что ей все нужны, она всех привечает, всем рада. У Матеньки для каждого своя гибель найдется, а помер малым ни за что ни про что – так вроде и не жил.

Отец позвал меня за стол, я сел на высокий стул, пахнущий вишневым деревом, покачался на нем, значит, для пробы. Обычные вещи, и тех я не знал. Как влюбиться – я не понимал, а еще где я и отчего все незнакомое. Мамка моя, должно быть, так тонула – думая, как глубоко и какое все чужое.

А в лазанье был такой горячий сыр, который тянулся за моей вилкой, как макаронина. Отлично было, фарш в каком-то томатном соусе и склизкие кусочки вкусного теста, я и не думал, что мне понравится. На вид лазанья, даже после того, как я убедился, что она хороша, меня пугала. Я вытащил из мусорки упаковку из-под нее и долго читал, понял где-то половину слов.

– Ты сразу в школу не пойдешь. Сначала надо экзамен будет сдать. Калифорнийский, мать его, тест.

– А если я не сдам?

– Значит, с дебилами пойдешь английским заниматься.

Отец отодвинул пустую тарелку, вырвал у меня из рук упаковку и затолкал ее обратно в мусорку, закурил и снова сел. Пепел он скидывал прямо в томатный соус.

Ну, подумал я, специально, что ли, все завалить. Учиться мне было лень, заниматься одним английским легче будет. Да и будут там со мной всякие другие эмигранты, вот найдем с ними общий язык, будем вместе ничего не понимать.

Отец достал из холодильника клубничное молоко. Оно было в канистре как из-под антифриза.

– Ого, пап, клубничное молоко? Ты себе и женщину тут завел?

– Еще слово скажешь, я из тебя душу выбью.

Прозвучало внушительно, так что я-то рот сразу захлопнул, без напоминаний. А клубничное молоко тоже оказалось вкусным. Вот какой был мой первый завтрак, совсем не как в Снежногорске, где я ел хлеб с маслом и пил сладкий чай перед тем, как

отправиться в школу.

Сегодня все было празднично, школы еще никакой не было, и я сам еще нигде, посередке бушующего во все стороны моря. За окном гудели машины, все было восторженно, утренне.

Я стал по-особому чувствовать, весь заострился, весь подобрался. Смотрел на солнце и не щурился. Такой был мир вокруг – новый, необычный, во всем была радость, во всем была грусть. Я налил в крышку молока, напоил сестричку, а отец все курил, пока не сказал мне вдруг:

– У кровавой истории – кровавые дети.

– Это ты про чего?

– Да читал где-то, и вот вспомнил сейчас.

А у него ведь тоже что-то происходило, там, за стеклянным взглядом, за тем, что снаружи. О чем-то думал он, понимал, может, что теперь мы с ним вдвоем. Раньше по одному были, а между нами она, мертвая, в воде своей. А теперь никуда друг от друга не деться, привез меня с собой, значит.

– Отец мой, – сказал папашка, – меня бил смертным боем. Он человек был вообще-то мирный, безобидный, но иногда, бывало, как нажрется, на него такая ярость нападет. Никогда на мать не замахивался, все мы с Колькой виноватые у него ходили. Раз ребро мне сломал.

– Правда, что ль?

– Да чистая. Еще один раз думал: убьет меня, так я нож схватил и всадил в него, в плечо прям.

Он осторожно коснулся пальцами места чуть левее плечевой кости, потом с силой надавил.

– Вошел нож, как в масло, я даже не ожидал, что будет так легко. Мне одиннадцать лет было. Думал, надо его убивать, а то он сейчас нож вытащит и башку мне нахуй отрежет. А он вдруг такой стал бледный, на пол осел, глазами хлопает. Виталик, говорит, вызови скорую. В момент протрезвел.

Отец неприятно, острозубо ухмыльнулся, почесал висок.

– Я вызвал, конечно. Вот с тех пор хорошо так повзрослел.

– А теперь-то чего?

Я задумчиво посмотрел на нож, которым отец вскрывал упаковку лазаньи. В блеске лезвия его было что-то вроде моего отражения, неясные очертания.

– Да ничего теперь. Ты мне благодарен будь, что я с тобой не так.

Мне вдруг и мамина фраза вспомнилась сразу. Когда отец мне зуб-то выбил (хотя он и так шатался), я себя сразу стал жалеть, маму спрашивал, почему отец меня ненавидит, а она мне отвечала:

– Любит он тебя, Боречка, любит. Как умеет, так и любит. Как его самого научили.

Уж как научили.

Горько его учили жить на земле, и он меня горько учит – без жалости.

– Ножом тебя, что ль, пырнуть, – задумчиво сказал я.

– Я тебе пырну.

Он залпом, как водку, допил клубничное молоко – со всем так делал, старая привычка была. Вторая натура.

– А такой безобидный был человек, – сказал он. – И не подумаешь. В гробу на него смотрел, думал, ну чистый профессор филологии. Ну да ладно.

Я вылизывал тарелку из-под лазаньи, потом пальцем водил по застывшим каплям соуса, старался все под ноготь загнать, чтобы вкусный был.

– Ну ты пойди, – сказал отец, – пошароебься. Поисковое поведение развивай. Может, найдешь что интересное. А мне с Уолтером надо встретиться. Ночью работа будет. У них ужас тут под землей живет, да и канализация тот еще кошмар, затопления одни.

– А я на этого Уолтера посмотрю?

– Ну, посмотришь, чего б нет-то?

Он пнул мой стул.

– Все, иди погуляй уже. Надоел.

– Ну и ладно.

Проходил я мимо него, а он как схватит меня за руку, словно волчок за бочок в колыбельной.

– Это еще что такое? – Отец соскоблил гнойно-кровяную корочку с язвы моей, маленькой, меньше копейки.

– Юрикова мама говорит: это стафилококки.

А она медсестра, правду-то знает.

– Ну, йодом, что ль, намажь. Девок, небось, уже хочешь, а ходишь, как чушка. И причешись.

Он щелчком отправил корочку к пеплу в тарелку, пригладил свои волосы и как-то устало глянул в окно, будто день предстоял долгий, а в конце и помирать пора.

Я зашел в ванную зубы почистить, потом сел на кафель, рассматривая начинающие чернеть стыки между плитками. Не такое все и новое, все поживет да почернеет.

Зашел отец, переступил через меня, тоже принялся зубы чистить, тщательно, хоть белыми они б никогда не стали, сплевывал розовую от крови пену – как бешеный.

– Чего расселся?

– Чтоб сосредоточиться, ты мешаешь.

Пробормотал он что-то недовольное, а я стал нюхать. Сильнее всего был отцовский, конечно, запах: потный, водочный, крысиный, одеколоновый. Дальше паста зубная да кровь его. Всякий домашний мусор, пицца тухлая, капли алкоголя в пустых вроде бы бутылках, пыльный ковер. Если глубже – ржавчина труб, хлорированная вода, бегущая по ним, муравьи в ложбинках в бетоне, братишки с сестричками. Вот наша квартира, я мысленно все запахи по уровням разложил, запомнил и двинулся дальше. Пройти я мог этажей на пять вниз, но остановился на следующей же квартире. Оттуда кошатиной несло и чем-то водяным, огурцовым, озоновым, еще старостью и натуральными тканями, духами.

Я весь подобрался, вскочил на ноги. Отец ухмыльнулся.

– Нашел?

– Да! Да! У нас кошка в соседках!

– Ну и познакомься с ней иди.

– А может, и с ним, может, это кот!

– Кошка. Старая кошара.

Но я его не дослушал, в момент у двери оказался, открыл ее привычным каким-то движением, выскочил на лестничную клетку. Только к кошкиной квартире подошел, не звонил еще, а дверь уже распахнулась. И я услышал, на русском, между прочим, вот что:

– Я тебя еще вчера учуяла, крысеночек. Привез тебя все-таки отец.

На вид ей лет сто было, наверное. Но она все еще была красивой, как бы даже не просто красивой, не как картинка там, не как дама какая-нибудь с «Титаника», а будто женщина, которую еще в постель к себе хотят. Она была тощей, с чертами лица, которые старость хоть и обточила, но будто бы с каким-то художественном замыслом, как скульптор.

Глаза у нее были пронзительные, синие, на старческом лице вообще невероятные, молоденькие совсем. Ай, до чего красивая была, напудренная, накрашенная, аж стыдно стало за себя, глядя на нее. Старушки иногда бывают ни то ни се, а чаще такие, что в гроб краше кладут, но эта, казалось, никогда не откинется.

А откинется, так все с ней к черту полетит.

У нее губы были тронуты холодным красным, ресницы – длиннющие от природы, а волосы все одно серебро, длинные, до лопаток, с локонами кинозвезды. А платье на ней было сказочно красивое, как на королеве, темно-зеленое, шелковое, со складчатым воротом. В ушах целомудренные бриллианты, в колье – тоже. Даже туфли – на каблуках.

Она со временем спорила и выиграла, я аж дышать забыл.

Она (как старушкой-то ее назвать?) протянула мне свою белую, без единого пигментного пятна, руку. Ноготки были длинные, острые, как у девочки.

– Мисс Клодия Гловер.

– Боря Шустов.

Я не сразу понял, что руку нужно не пожать, а поцеловать, так она мне ее протянула, чтобы я губами коснулся простого золотого кольца. Мисс, значит.

Когда она назвала свое имя, «мисс Клодия Гловер», ее акцент показался мне прямо британским, как в фильмах по Шекспиру, которые мы иногда смотрели на уроках английского.

– Я никогда кошек не видел.

– О, я видела достаточно крыс, – она снова заговорила на русском, и вполне чисто, надо сказать. – Проходи. Ты хорошо знаешь английский?

– Не очень. Ну, терпимо. А вы хорошо знаете русский, кстати.

– Вполне. Я знаю много языков.

– Вас, что ль, тоже этот Уолтер позвал?

Она вскинула тонкие, причесанные бровки, демонстрируя презрение к простым словечкам. И откуда только она их знала? Так хорошо, да так уверенно, мисс Гловер продолжала говорить со мной по-русски:

– К сожалению, я уже слишком стара, чтобы принимать участие в его безусловно благородном начинании. Я давно отошла от дел. Хочешь верь, а хочешь не верь, но мы с твоим отцом стали соседями совершенно случайно. В противном случае я предпочла бы избежать такого соседства. Но что есть, то есть.

Она очаровательно улыбнулась, зубки у нее были сахарно-белые, наверняка ненастоящие. Мисс Гловер провела меня в комнату, и такой у нее там был будуар. Комната всего одна, а какая богатая. Кровать стояла у окна, большая, с прозрачным балдахином. Был туалетный столик с большим зеркалом посередине и двумя, поменьше, по бокам, раздвигающимися, как створки алтаря. Этот бело-серебряный столик на тонких ножках весь был уставлен косметикой и дорогущими на вид флаконами с духами. На черных обоях расцвели силуэты экзотических цветов, они были вычурные, но не безвкусные. Аккуратненький чайный столик, а возле него ампировская (я тогда и слова-то такого не знал, а уж мебель того времени даже представить не мог, это она мне потом рассказала) кушетка – все было в готовности для приема гостей. На столике стоял серебряный поднос, на нем ожидали применения чайник, молочница. На тарелочке лежали аккуратные, крохотные пирожные, совсем мне незнакомые.

И я вдруг подумал: мисс Гловер меня ждала. Не из

вежливости, а отчаянно. В старости так одиноко, так хочется свои знания кому-нибудь оставить, чтобы твою историю в себе понесли, а хоть и за руку кого подержать, душу живую хочется рядом, короче.

А у нее небось такая история, ну такая история – королей соблазняла, топила корабли на море, возводила дворцы – не меньше.

И чайник горячий оказался.

– У меня очень хороший слух, – пояснила мисс Гловер. – Прослышала о приходе гостей.

На стенах висели в золотых рамках ее еще черно-белые фотографии, совсем молодая она была на них. Но ебануться просто, какая она везде была красивая.

Я снова принюхался, пахло от нее старчески: чуточку мочой, чуточку еще чем-то кислым, но в то же время запахи эти покрывали фальшивые ароматы – пудра и какие-то духи, персиковые и горькие в то же время.

– Какой запах красивый.

– Это «Митцуко». Герлен. Выпущен в год моего рождения.

– В семидесятых, что ли?

Она сдержанно засмеялась.

– А ты очаровательный крысеночек.

Слово «крысенок» она снова произнесла на английском, хотя в остальном ловко управлялась с русским. Крысеночек. Ратлинг. Скорее «крысенок», конечно, но я ощущал сладкий, почти издевательский подтон, уменьшительно-ласкательный суффикс, сахарно скрипящий на зубах.

– Тысяча девятьсот девятнадцатый, – сказала она. – Садись, пожалуйста. Не хочу, чтобы чай остыл.

Я сел, сразу потянулся к пирожным, но мисс Гловер посмотрела на меня так, что рука у меня замерла и не желала двигаться.

– Для начала я налью тебе чаю.

Уж ее никак нельзя было назвать милой бабулечкой, которые мне так нравились, в ней не было ничего теплого, наоборот, она была будто ледяная скульптура. Рядом с ней я чувствовал себя одновременно комфортно и нет.

– Знаете, – сказал я, все-таки справившись с собой и сумев ухватить маленькую корзиночку с клубничным джемом, ну на один зуб вообще. – Я никогда прежде не разговаривал с другими такими, как мы.

– О, я и не такая, как вы.

– Ну да, мисс Гловер. Я в целом. Я имел в виду, с другим звериком.

– Звериком? В моем окружении принято называть себя детьми духа.

– Это как-то тупо.

Сливок у нее в чашечке с золотым орнаментом было намного больше, чем чая.

– Что ж, – сказала она так сладко, словно бы я этого не произнес. – Значит, ты немного знаешь о других, как ты говоришь, звериках.

– Ну, так. По верхам. Знаю вот, что кошки не убили Гитлера.

Мисс Гловер звонко, совершенно по-девичьи засмеялась.

– Да, тут мы полностью признаем свою вину, однако вам стоит поблагодарить нас за смерть Делакруа и Манфреда.

– Это кто вообще?

– Вот именно.

Мисс Гловер перенесла одну пироженку на маленькую тарелку, принялась терзать ее маленькой вилочкой, ну точно как девчонка играет с кукольными вещичками.

– Некоторые люди как пустота, как очередная каверна, из которой смерть лезет в мир. И бывает так, что они еще сами об этом не знают. Не знают, что заражены.

Да, мама поэтому никогда не разрешала мне лезть с ней в яму и смотреть, что она делает. Отец поэтому не хотел, чтобы я жил в Норильске, пока не стану старше. Маленькие дети могут заразиться, тогда тьма не просто вызовет болезнь, не просто навлечет злую судьбу, несчастный случай например, но и будет расти внутри. Такими темными ранами занимаются уже совсем другие зверики.

И это все тоже об особой доле каждого из нас. Бывает, свалятся два ребенка в яму или, может, искупаются в темном месте – одного назавтра собьет машина, а другой жизнь проживет, один заболеет да помрет, а другой до старости дотянет, один войну развяжет, а другой ее остановит.

Бывает, что пронесет, но лучше не рисковать, так мамка говорила.

– Мы таких, как Гитлер, чувствуем за тысячи километров, кто почует, того и добыча. Но бывает, что сколько ни пытайся, ничего не получается. Я лично на Гитлера никогда не охотилась, но мне говорили, что он был верткий, словно угорь. Ему невероятно везло. Может, у темноты, как многие говорят, и есть нечто вроде разума.

Не-а, в это я верить не хотел. Никакого ей разума, никакого ума. Просто материя, этого достаточно.

– Чаще всего охота начинается, когда им исполняется двадцать. Еще недостаточно могущественны, но уже не детеныши.

– Добрые вы, что ли?

Мисс Гловер посмотрела на меня своими пронзительными глазами.

– Нет, просто смерть человеческого детеныша – это всегда скандал. Очень заметно. Но мы часто начинаем наблюдать за ними с детства, чтобы не упустить случая.

Смотришь, смотришь за ребенком, он вырастает, а ты, может, привязался к нему. И тут хрясь, тебе его надо убить. Пожалел Лай маленького Эдипа, сразу не убил его, упустил, бросив к Киферону, а надо было вырастить, как бычка, и зарезать. Но бесчеловечно ж это как-то, хоть и на пользу, хоть и многие беды предотвратит.

– Бывает, – продолжала мисс Гловер, довольно жмурясь от вкуса сливок, – что мы обнаруживаем их поздно. Лично моя заслуга – Улоф Пальме. Премьер-министр Швеции.

Розовенький ее язычок пробежал по губам, не смазав матовую помаду.

– Человек он был, может, и неплохой, но какие из-за него были бы жертвы, пусть бы он этого даже не желал.

– Да ну. Это ж Швеция. Какие жертвы?

– К счастью, мы никогда не узнаем. Легко говорить о том, что мы упустили Гитлера или, к примеру, Пол Пота. Однако трагедии, которые не осуществились благодаря нам, так нелегко представить.

Мисс Гловер указала пальцем на одну из фотографий, на которой она, уже пожилая красавица, стояла рядом с обычным таким мужичком – в Улофе Пальме не было ничего зловещего. Мужичок был в хорошем костюме и профессионально улыбался.

Ну и умер.

– Вам не понять. В подземном мире исполнять свой долг куда проще.

– Ну я б не сказал. Видели бы вы, как папашка мой болеет.

– У каждой твари свое назначение.

Я встал и принялся рассматривать фотографии. В основном мисс Гловер позировала с молодыми людьми. Она становилась все старше, а мужчины и женщины, что позировали рядом с ней, умирали в юности.

У мисс Гловер на этих фотографиях была неизменная загадочная улыбка, она будто знала самую главную тайну. Ну, она и знала. Мисс Гловер явно было по вкусу ее дело. Мужчины и женщины всех рас и расцветок, которым она не дала погулять по земле и оставить после себя разруху и войны, не вызывали у нее никакого там сочувствия, она просто охотилась.

Кошачья безжалостность, так отец говорил.

– А мы потом от ваших убийств следы убираем, – сказал я.

– Таков круговорот. Мы предотвращаем худшее, а вы за нами подчищаете.

И никто не понимает, откуда все-таки столько тьмы в нашем мире, сверху или снизу она идет.

– Кроме того, – сказала мисс Гловер, мгновенно поняв, о чем я думаю, в чем ее обвиняю, – эти бедные детишки, на которых мы, кошки, охотимся, заражаются тьмой, которую не убрали, жалея себя, вы, крысы.

И все друг друга обвиняют в том, что тьмы все больше, и выясняют, кто нужнее вещи делает. Вот у них, наверху, социалочка, а у нас, внизу, – одиноко себе умирай, а в небе и вовсе все странно, об этом я тоже скоро расскажу.

– Ладно, – сказал я примирительно. – Значит, вы такие типа одинокие ассасины?

Мисс Гловер засмеялась.

– Можно сказать и так.

К нам вышла белая кошка, тут же глянула на меня, примерилась, заняв охотничью позицию, но так и не прыгнула. «Не на зуб он мне, значит, – подумала, видимо, про меня. – Пахнет крысиным дитем, а выглядит человеком».

– Иди сюда, Фелисити, познакомься, это ребенок духа. – И мисс Гловер обратилась уже ко мне: – Как твое полное имя?

– Борис.

– Борис, – повторила она. Кошка подошла ко мне, коротко втягивая носом воздух, затем прыгнула на колени к мисс Гловер. Кошка была такая же сказочная, как и ее хозяйка – синеглазая, длинношерстная.

– Турецкая ангора. Прекрасная родословная.

– А у ней и паспорт есть? Покажете?

В любой другой ситуации я бы, наверное, стал расспрашивать про фотографии, про работу мисс Гловер, про то, как она была киллером и убивала всяких там злодеев. Но не было на фотках ни одного генерала в очках-авиаторах, ни одного змееглазого политика.

Были молодые люди и этот самый Улоф Пальме с красивой улыбкой. А таких было жалко. Не хотел я знать.

– Конечно, с радостью покажу.

И полчасика, наверное, мы ее кошку обсуждали, единственную ее родную душу. Мисс Гловер налила себе бурбона и курила тонкую сигарету, вставив ее в черный мундштук.

– Старость, конечно, всегда случается неожиданно, – вдруг сказала она, отложив альбом с выставочными фотографиями Фелисити. Уж лучше бы их на видном месте держала, всяко

приятнее, чем смотреть на фотографии людей, которых она убила. – Вот ты живешь, живешь своей жизнью, насыщенной, яркой, а секунду спустя она уже уплывает от тебя. Тело не то, разум – тоже. Ну что я тебе рассказываю? Ты до моих лет не доживешь.

– Ну, может, и слава богу, – сказал я, улыбнувшись как можно более лучезарно. Она посмотрела на меня с уважением.

Никак я понять не мог, нравится мне мисс Гловер или нет. Она была как я, и в то же время совсем другая. Людей убивала, и все такое, и от нее, может поэтому, а может из-за отточенных, принцесскиных манер, такой мороз исходил, продирал прям.

– В любом случае, – сказала она, – еще одна кошачья особенность, которую тебе не вредно бы знать, это наша изумительная родословная. Я состою в родстве почти со всеми аристократическими семьями Европы.

Точно, то ли от отца, то ли от мамки я такое слышал, что кошки мешаются с людьми (богатыми и влиятельными, конечно) чаще, чем остальные виды наших. Считается, будто от союзов людей и кошек чаще рождаются котята, чем люди.

– Круто. Габсбурги там всякие? А я знаю своих родичей до шестнадцатого века. Аж до опричников.

– Должно быть, есть чем гордиться.

Тут у нее вовсе не вышло меня подколоть. Ну, частенько бывало, что у медведей, например, военные семьи. Или вот есть многие поколения мышей-ученых.

Мы, крыски, в этом плане попроще. Среди нас много всяких чекистов, опричников, короче, вот этого сорта людей. Много бандитов. Много нищих, бездомных. Шахтеров еще много, ну понятно почему.

Матенька любила всех грязных, душой и телом, всех беспомощных и подлых, всех изгоев и больных. Как бомжам на вокзалах добрые медсестры обмывают раны, так и Матенька нас таких принимала и вылизывала.

И мисс Гловер было не понять, как это красиво, какая у меня на самом деле безупречная родословная с точки зрения Матеньки моей.

– А как вы называете вашего духа?

– Как же это будет на русском? – Мисс Гловер задумалась.

Говорила она так гладко, что я уже и забыл, что мой язык ей не родной.

– Охотница, я думаю. Королева Охоты. Нежная наша мать.

Глава 5. Собачка-таксочка

А вот брат мамкиного отца, звали его Сережей, жил во Львове, в коммунальной квартире. Был у него сосед, такой тихий мужичок в рубашке на размер больше, чем надо. Ходил, как тень, на работу и с работы, больше никуда.

В остальном – почти нормальный, даже и поговорить можно, только рассказывал, что снится ему все время один и тот же сон.

Значит, так, сейчас процитирую: лежал он, играл со своей крысой. Тут к нему подошла собачка-таксочка и сказала:

– Съем твою крыску.

И съела. А потом собачка-таксочка стала танцевать, пока не умерла. А сам он повесился на веревочке от торта.

Такой сон, значит, снился ему все время, в остальном – нормальный мужичок. Любил безответно Сережину жену, а больше никаких от него проблем. Вот, а потом взял да и зарезал Сережу. Сам повесился на веревке от торта.

Ну, как отец мой говорил: умер, и хорошо. Еще он любил говорить: вот все умрем и сразу заживем по-человечески.

А чего я про мужичка вспомнил? Ну, может от того, что на столике у мисс Гловер, убийцы, как-то незаметно появился тортик со сливочным кремом, весь этой вкуснятиной покрытый, и я в волнении облизывался. Мисс Гловер отрезала мне кусочек и, наклоняясь, чтобы положить его на тарелку, сказала, сладко-сладко:

– А если вы, крысы, разведете мне здесь грязь, что безусловно будет не по-добрососедски, я вас обоих убью.

Ого. Это она не шутила, но тортик все равно вкусный был. Руки у мисс Гловер чуточку дрожали, но она с ними отлично управлялась, легко, показывая, что ей не нужна никакая помощь, убрала со стола.

– Что ж, прости меня, пожалуйста, Борис, я чуточку устала, и мне хотелось бы прилечь.

– А, ну я понял. А можно еще кусочек тортика с собой?

– Разумеется, нет.

– Тоже понял.

Вдруг, когда мы уже стояли в прихожей, она достала из маленького ящичка пятьдесят долларов.

– Это чего?

– Сходи в аптеку и купи себе лекарств.

– Каких лекарств? Я не болею.

Болеешь – это же когда простуда, когда из носа течет да горло дерет, а со мной ничего такого не было. Мисс Гловер мягко,

но сильно обхватила меня за плечи, развернула к зеркалу.

Ну тощий я был, ну бледный, и уголки глаз гноились. Это она мои язвочки не видела еще, а то бы на порог не пустила.

Мисс Гловер сказала:

– Следи за собой. У тебя, кроме себя, ничего и нет.

– Вот это какая неправда, у меня есть душа.

Она только засмеялась, а потом открыла передо мной дверь. Не вытолкнула, но казалось, что вытолкнула – странно. Фелисити любопытными, синими, как у хозяйки, глазами смотрела на меня, высоко вздернув хвост.

– До свидания, мисс Гловер. Спасибо, что вы со мной поговорили. Я вам этого не забуду.

– Я не сомневаюсь, Борис, буду рада увидеть тебя как-нибудь.

Слово «как-нибудь» она произнесла как «иногда» да и закрыла дверь. Я постоял еще пару секунд перед закрытой дверью, попредставлял ее, сидящую в одиночестве со стаканом бурбона. То есть не так уж чтоб совсем одну.

Из-за нашей двери пасло псиной, я понял, что это тот Уолтер. Значит, он сам к отцу приехал, надо же. Хотелось мне зайти и познакомиться, но из-за двери несло и очень злым папашкой, так что соваться я не стал. Я знал, как острится его запах, когда с ним лучше не связываться.

Больше в нашем доме никакого звериного духа не было, ну разве что домашние животные, я все исследовал.

Интересно, подумал я, а если мисс Гловер узнает, что папашка-то богатый и я зазря взял ее полтинник, убьет меня или нет?

Может нет, а то кто к ней ходить будет?

Я вышел на улицу и прям сразу весь напрягся от шума, а машины, мне казалось, ездили так быстро, до головокружения просто. Вжух – и нету ее, как не было. Чернокожий парень с плакатом, на котором маркером было написано «на сегодняшний ужин», докурил забычкованную, судя по запаху, сигарету. Какая-то дама с пуделем, похожая на персонажа мультика, спешила к остановке. Проехал на самокате мальчик, пахнущий сахарной ватой.

Мне все было любопытно, но больше всего – местная темень, непролазная, просто кошмарная. Такого я еще не видел, а мне-то казалось – Норильск заражен. На всем оно наросло, как слой плесени, я вчера и не заметил толком, такой ошалелый был, да так это все слилось с городом. Ну, что-то вроде полупрозрачных пленок, удушающие такие штуки. В Москве такого в достатке было, а тут и вовсе.

То есть, ну, приучиваешься не замечать, приучиваешься не

видеть, а страшновато все равно. Это как если бы можно было посмотреть на радиацию.

От каждой пленочки шло то, чего в мире не должно быть. Ну или то, что хороший мир делало нашим.

Я не знал, как их снимать, прикасаться к ним тоже не хотел – так это было отвратительно. А я, на секундочку представьте, однажды с голодухи корочки свои гнойные с язвочек ел.

Вот какая была в этом мерзость невероятная, я не то чтобы испугался – я бояться не так уж хорошо умел, и все-таки стало мне в момент не по себе и неуютно. Стал я думать, значит, куда потратить мой полтинник. Хотелось особенного чего-нибудь, но я не знал, продадут ли мне бухло. Можно было, например, зайти в книжный или попробовать унюхать, кто тут толкает травку. А где-то на углу так маняще пахло заварным кремом.

Люди все не кончались, их было так много, и все они куда-то спешили, от них разные запахи исходили, они по-разному были одеты. Небо наверху подзатянулось тучками, но все равно было светло. И я не мог представить себе, что сейчас зима.

По мозгам мне бил даже грохот далекой автострады, я от всего охренел, но в то же время у меня был восторг от яркости вывесок в дрожащем, вибрирующем, как у да Винчи на картинах, воздухе.

Ночью все было правда, как в огне, в разноцветных всполохах, не верилось, что назавтра тут что-то кроме пепла останется. А вот.

Выглядел я, должно быть, ужасно тупо. Просто шлялся по улицам без малейшего понятия о том, где я. Нюх, я знал, и через полгорода приведет меня к отцу. Я не боялся потеряться, а развивал поисковое поведение, глядел, как какие-то парни развешивают по витринам рождественские звезды – хоть и в декабре, но в дождь. Ну да, он пошел все-таки, только теплый, и как-то даже привнес света. Хороший такой, летний, грибной дождь.

Интересно, подумал я, зима у них похожа на весну. Считается такая зима тут, в Лос-Анджелесе, холодной или жаркой?

А Уолтер тот, он чем так папаню разозлил?

Столько у меня было вопросов. Я снова посмотрел на небо, на прозрачный кружочек солнца между тощими тучками. Мамка мне говорила, что когда дождь идет, это Матенька пускает всех мертвых о нас поплакать, о том, что мы тоже умрем, и вообще о том, что никакой справедливости в мире нет, и о том, какие мы дурные, какие ошибки совершаем. Каждый о своем, в общем, плачет, но всем грустно.

Я теперь в это верил: много ошибок делаешь – есть о чем

твоим родственникам погрустить дождем вниз. А раньше я думал, что жизнь – сплошная радость.

Вот, короче, нашли на меня тоскливые мысли, сердце затянуло, я постоял, покурил, погрустил со всеми мертвыми вместе и все-таки весь промок. Ну и решил завернуть в супермаркет. На продмаг он совсем не был похож, скорее уж на московские магазины, только название было незнакомое. Свет внутри был, как в операционной. Люди расхаживали между полок с продуктами, а я почему-то подумал о библиотеке. О том, что здесь еды, как книг, Господи. И все так упаковками зазывало, такое пластиковое и радостное было, что я увлекся даже углем для жаровни.

А соки у них тоже были в канистрах как из-под антифриза. Одного апельсинового сока, может, наименований десять, как в Москве, я в них совсем запутался. Молочные продукты почему-то были под знаком «дневник», перепутали с канцелярией, может (это потом я все слова узнал, а тогда стоило буковку перепутать, и такая ржака наступала). Я молоко больше всего на свете любил, мне мама в детстве его с сахаром мешала. Когда с деньгами плохо было, так я им только и питался, вот была моя детская радость – пить его целый день.

Я бродил по супермаркету и на все смотрел, как будто очнулся вдруг на другой планете. Салатов у них был миллиард только фруктовых. Даже поговорил с одним:

– Нет, ну серьезно, блин, им что, лень фрукты самим порезать и смешать?

Ладно б оливье, но яблоки уж с морковкой-то натереть, ну вообще никакого мастерства не надо.

А еще были у них порезанные и очищенные кусочки арбузов и ананасов. И хлеб был для сэндвичей квадратный, как в фильмах, и булки для хот-догов золотились. И еще куча сиропов. Стал я думать, что купить на полтинник, смотрел на цены, и на все мне было жалко денег. Вот мороженое за четыре доллара, это как вообще, не для этого я на свет появился. А арахисовое масло, которое я мечтал попробовать, два доллара стоило, вот его я решил купить. Расхаживал с ним еще долго, пытаясь заметить камеры, потом увидел паренька, пихающего в рукав пакетик «Эм-энд-эмс», и понял, что где он стоит, там, видимо, и попастись можно. Ну, я верил, что паренек местный, доверял ему. Он еще что-то умыкнул и пошел дальше, насвистывая, а я, чуть погодя, занял его место. В рукав толстовки я напихал незнакомых мне шоколадок всяких, белых и пористых, одна мне особенно понравилась – на ней рычал такой комиксовый лев, очень круто она выглядела. И тут я глазам своим не поверил. Лежал прямо на

виду фиолетовый пакетик драже из «Гарри Поттера». «Берти Боттс» они назывались, или как-то так. Я смотрел на них и чесал в затылке, а руку мне колола обертка одного из шоколадных батончиков. Нет, ну я, конечно, понимал, что они не настоящие, и все-таки это была какая-то запредельная штука. Мне обещали, что там может быть и черный перец, и сера ушная, и блевотня, и яйцо тухлое, и зефир, и много чего еще. Я не мог поверить, что в неволшебном мире существует конфета со вкусом тухлого яйца, и американец готов заплатить за нее деньги. Однако запихать в рукав пакетик было не так просто, как батончик. Я примеривался, примеривался, а потом услышал у себя над ухом английскую речь с каким-то странным, похожим на русский, акцентом:

– Нет, это для опытных, пока лучше не надо. Они шумят.

В нос мне ударил еще незнакомый, но явно нечеловеческий запах. Он учуял меня, наверное, раньше, вот и подошел. Я сказал:

– Ну, тогда куплю.

Я водрузил пакетик с «Берти Боттс» на банку с арахисовым маслом и посмотрел на него, того самого паренька, у которого в рукаве была пачка «Эм-энд-эмс». Он был очень красивый – золотистый блондин, волосы у него чуть завивались, как на античной скульптуре, а глаза были большие и светлые, черты – очень правильные, и такие пухлые губы, ну прям античный мальчик, пидорок какой-нибудь типа Ганимеда. Смазливая у него была морда, но в то же время в нем блестело что-то лукавое, живое. Одежда для его облика была странно современная – скейтерские джинсы, длинная, поношенная толстовка. В его конверсах были разноцветные шнурки. И кем он все-таки пах?

– Не благодари за совет. Ты новичок?

– Ну, где я раньше жил, никак нельзя было.

– Тогда не попадись, а то копов вызовут. Они всегда вызывают.

– И плакать не помогает?

– Ну, здесь я еще не попадался, думаю, нет.

И снова акцент его показался мне смутно знакомым, не таким, как мой или отцовский, но близко-близко. Я спросил:

– Говоришь по-русски?

Лицо у него мгновенно сделалось надменным.

– С чего бы это мне по-русски говорить? А ты по-польски говоришь?

– Немного по-украински.

Парень ответил что-то, я ничего не понял по факту, но смысл уловил через его интонацию – так еще хуже. Он закатил глаза, и я понял, кого этот парень мне напоминает. В коллекции у моего давнего благодетеля, чьи книжки с помойки принес отец, были

новеллы Томаса Манна и там, среди них, «Смерть в Венеции». Про писателя, который всю жизнь не жил, а потом стал педиком, педофилом и закономерно умер от холеры.

Хотя было у меня подозрение, что я ничего не понял.

В общем, этот парень, он был как Тадзио, тот мальчик, в которого влюбился писака. А может, я так теперь стал думать, оттого что он был смазливый поляк.

– Я – Мэрвин.

Он назвал свое совершенно американское имя и добавил:

– Мэрвин Каминский.

– Боря Шустов. Типа Борис.

– Да я понял. Ты – крыса.

– Ага. А ты? В смысле, я не могу понять, как-то странно пахнешь, непохоже ни на что.

Он почесал в затылке, я услышал легкий перестук «Эм-энд-эмс» в его рукаве.

– Летучая мышь, – сказал он, чуть помолчав. Мне показалось, что Мэрвин смутился. Тут я угорел.

– Типа Бэтмен. Прикольно прям. А ты вроде птичка, или нет?

– Скорее да, чем нет. Но я на самом деле не знаю, короче сложно.

Теперь он почесал затылок, вытащил из-под воротника кулоны на цепочках, их было много, и все они так переплелись, что трудно было различить, какой кулон какой цепочке принадлежит. В ярком свете поблескивали один из знаков Зодиака (Скорпион), ангел, покрытый синей глазурью скарабей египетского вида и какие-то уж совсем мудреные штуки. На запястье у Мэрвина я увидел шрам в виде цифры девять.

– Ну, и кстати, у тебя они тоже гремят. «Эм-энд-эмс».

– А мне везет, вот увидишь.

– У тебя особое везение? Это летучие мыши так делают?

– Не-а, не делают. Это я делаю.

Я посмотрел на него пристально, оценивая, потом улыбнулся:

– Я сейчас хлеб возьму. Для сэндвичей. Знаешь место, где мы с тобой можем поесть?

– А вообще-то знаю.

Когда я вернулся с хлебом, Мэрвин сказал:

– Я все-таки немного знаю русский. Блядь. Ебать. Хуй. – Матерился он, кстати, чисто, почти без акцента, так что я подумал, что он по-русски и еще чего-нибудь знает, просто говорить не хочет.

– А я не сомневался.

Мы оба засмеялись и пошли к кассе. Ему правда повезло, еще повезло мне, и через полчаса мы уже сидели на куцо-зеленом

пятачке перед автострадой.

– Серьезно, это типа в Лос-Анджелесе место для того, чтобы поесть?

Сидели мы под мостом, над нами и перед нами с невероятным грохотом проносились машины.

– Сюда точно никто не придет. Никаких тебе бездомных. Никаких там копов, ну, если они тебя не любят, это плюс.

– А тебя не любят?

Он пожал плечами.

– Ну, скорее маму.

Мы глотали пыль, в горле першило, но мне было так клево – ото всех этих тачек, от того, что казалось, будто мост сейчас обвалится.

– Короче, никого вообще. Можно расслабиться. Мне такие места нравятся. Еще я знаю вот что.

Он подобрал какой-то камушек и кинул на дорогу.

– Они не остановятся, чтобы меня обругать. Слишком быстрое движение. А если мне повезет, будет авария.

– Или если не повезет, это уж как посмотреть.

Мы вывалили всю свою добычу прямо на слабенькую травку, сосредоточенно намазывали арахисовым маслом хлеб и заедали сэндвичи шоколадными батончиками, меняясь ими.

– Вкусно, – говорил я.

Еще говорил:

– Да ну, такое себе.

«Берти Боттс» мы тоже разделили – мне досталось тухлое яйцо, я съел его, пожав плечами, не так плохо, как могло быть, а Мэрвина чуть не стошнило от ушной серы.

– Слабак, – сказал я. – Слушай, а ты здесь давно?

– Да вот родился.

– А чего у мамы твоей с копами? Она типа тоже ворует?

– Раз мы поляки, так сразу все и воруем?

– А то не так?

– А вот не так.

Он легко заводился и легко остывал, была в нем такая горячность, скорее даже приятная. Когда я злился, то обычно себе не нравился. А Мэрвин, он становился надменным, тут же задирал нос, за ним забавно было наблюдать. Еще оказалось, что русский он знает, хуже, конечно, чем мисс Гловер, но все-таки объясниться я с ним мог. Выяснилось, и что я отчасти могу понять польский – с помощью украинского. Словом, установилось некоторое взаимопонимание.

– Ну, кем она работает?

– Да не скажу я тебе.

– А отец кем?

– Отцом точно не работает. Моя мамка из Закопане. Это в Карпатах. Типа зимняя столица Польши, но на самом деле там такая скука. Знаешь, что на кладбище там написано? «Нация – это народ и его могилы»! Прям на воротах!

Тут я стал так смеяться, что чуть не подавился сэндвичем.

– Да это ж потому что он Закопан! За-ко-пан! Понимаешь? В земле!

– Закопане, – холодно повторил Мэрвин, а потом тоже засмеялся, я так и не понял, он врубился, или я его просто заразил.

Когда у нас остались только крошки и парочка драже, мы закурили, смотря на проносящиеся мимо машины. Я тоже швырнул камушек, даже не успел заметить, как себя повел водитель, обернулся хоть, заметил ли.

Мы с Мэрвином говорили на смеси английского, польского, украинского и русского, я не понимал, как так вышло, но мне было неожиданно комфортно.

– Но вообще, – серьезно добавил я, – я согласен. Все так. У меня миллион историй про могилки есть.

– И про ямы, и про расстрелы, и про то, как кто-то по пьяни умер. Ты ж русский. У меня прадеда под Катынью расстреляли.

– Может, мой прадед. Он был энкавэдэшник.

Слова «энкавэдэшник» Мэрвин не понял. А вот слова «секретная полиция» и «Сталин» многое для него прояснили. Так мы в первый раз подрались. Мы катались по маленькому, просоленному выхлопными газами пятачку земли и могли в любой момент скатиться вниз, прямо под бешено ревущие машины. Но никто не остановился, всем было плевать, они проезжали слишком быстро, чтобы осознать, что мы в опасности.

И чувство это было освобождающее. В Снежногорске люди один у одного на виду, всегда бы разняли, всем друг до друга дело есть. А тут – ты делай, что хочешь, хочешь даже умирай, совсем один. Я был азартный и остервенелый, даже злой какой-то. Раньше я только с Юриком дрался, ну если не считать уроки от отца, которые скорей уж были избиениями. Зато Юрик был куда крупнее Мэрвина, так что с поляком сладить оказалось проще. И вот, когда я навалился на него, стукнул локтем в грудь, совсем прижал к земле и готовился победить, Мэрвин вдруг сказал:

– Все, надоело теперь.

И выбрался так быстро, так невозмутимо, что я даже не успел его остановить – настолько меня ошеломил этот непринужденный тон. Мэрвин слизнул каплю крови с разбитой губы, пересчитал

свои кулончики, улыбнулся уголком губ и сказал:

– Так я о чем говорил, про Закопане значит. В общем, она забеременела, причем от видного человека, намекала, что от политика, ну и поехала делать аборт. Приехала в Германию, значит, а там передумала. Польшу послала. Потом послала и Германию, моталась по Евросоюзу, доехала до Ирландии, а оттуда мотнула в Америку. Вот здесь-то меня и родила. Интересный выдался год, говорит.

– А она – летучая мышь?

– Что ты привязался к летучим мышам-то? Она – волчица.

Про волков я знал. Они, в общем-то, занимаются тем же, чем кошки, только в каком-то мелком смысле, в бытовом скорее. Пасут, значит, людей на вверенной им территории (у кого – деревня, а у кого, например, школа) и не дают им увеличивать прорехи в мироздании.

Это иногда значит: объяснить ребенку, который убивает котов, что они живые и им тоже больно.

А иногда – убить серийного убийцу. В общем, они такие санитары леса, это я знал. Стараются держать людей в чистоте, чтобы хуже не делали и без того израненному миру.

Мэрвин взял одну из оставшихся конфеток, выплюнул, схватился за горло:

– Это прям рвота!

Он заругался на польском, потом на русском.

– А говоришь, везет тебе.

– Ты не представляешь как.

– А у меня трава. Она вкусная.

Будто жуешь желе из клевера.

Мэрвин растянулся на земле, вытянул руку и потрогал витиеватое граффити, какую-то нечитаемую, ну мной уж точно, надпись.

– Короче, мы нелегалы. Поэтому копы ее не любят. А я не люблю рассказывать про духа своего, потому что я мало о нем знаю. У меня отца не было, чтоб рассказать.

Я вспомнил своего отца и пожал плечами. Ну, может и повезло тебе, Мэрвин.

Мэрвин снова закурил, оставил на фильтре пятнышко крови.

– Слушай, я никогда не видел птиц. Ну и, тем более, летучих мышей. Вы правда умеете летать?

Мэрвин как-то кривовато улыбнулся, а затем сказал:

– Мы летаем во сне.

Он не очень охотно говорил о своем происхождении, зато вдруг выдал мне страшную тайну:

– Так-то моя мама проститутка.

Он сказал об этом нарочито спокойно, беспечно. Спросил:

– А твоя?

– Она утонула. Когда жила с отцом, то не работала, а до того училась только. Но она всегда хорошо рисовала.

– Училась на художницу?

– Нет, на электрика вроде. В ПТУ каком-то. Это школа для рабочих типа.

Я понял, что совершенно не могу представить маму в университетской аудитории, что при всем желании не могу выдумать ей последующего безалкогольного будущего. А ведь она могла быть жива. Остался бы я тогда в Снежногорске или нет?

– А твоя мамка? – спросил я. – Она училась?

– Да, вроде на преподавателя немецкого.

– А зачем тогда ебется с мужиками за деньги? Работать не хочет?

Я растянулся на траве, она была колючей, какой-то неживой. Надо мной был грязный бетон моста, угрожающий, грохочущий.

– Ну ты идиот, – сказал Мэрвин.

– Сам ты.

Я ждал, что Мэрвин мне еще что-нибудь скажет, но он молчал с таким загадочным видом, словно знал какую-то страшную тайну.

– Нет, ну правда?

– Не скажу.

– А чего?

– Ну, того. Ты еще не заслужил мое доверие.

– Это потому, что я русский?

– Да, я боюсь, что ты используешь эти сведения, чтобы захватить часть Польши.

Мэрвин все время перебирал свои кулончики, старался, безуспешно конечно, распутать их, и наконец я спросил:

– Да на хрена они тебе? Ну то есть педиковато ж выглядит.

– Ты педиковато выглядишь.

– Вот уж неправда.

Я взял еще один камушек, швырнул на дорогу, а Мэрвин, помолчав, сказал:

– Это все про удачу. Ты веришь в удачу? А в судьбу?

Его обычный игривый тон вдруг стал торжественным, каким-то официальным, а выпрямился он так, словно кто-то треснул его хорошенько линейкой.

– Блин, ну ты чего?

Я даже расстроился, все ж отлично шло, кому нужно быть серьезным?

– Нет, ты послушай, – сказал Мэрвин. Он с нажимом провел

ногтем по шраму в виде цифры девять. – Мать какое-то время увлекалась астрологией. Она вообще-то страстная натура, ей много чего нравится, быстро загорается – быстро остывает. А мне в душу запало. Вообще не только астрология меня прет, я и на картах гадать умею.

– Типа экстрасенс?

– Не-а. Это знание. Просто наука слишком примитивна, чтобы понять судьбу и удачу. Почему нам везет, почему нам не везет, и зачем это нужно. Понял?

– Нихуя не понял, если честно.

Курили мы одну за одной, до легкости и кружения в голове. Я смотрел вниз, туда, где как река двигался поток машин, и думал, что скатиться вниз, пока мы дрались, было даже слишком легко. От этой идеи у меня сердце пело, честно. Я ликовал, потому что я выжил, мне было искренне хорошо от того, что были совсем другие варианты.

Мэрвин продолжал:

– Короче, может, это магнитные поля или еще что, но как иначе объяснить, что звезды влияют на нашу жизнь? Что в удачный день у тебя все получается, потому что все части механизма сошлись правильно. Я думаю, что там – гигантские небесные машины. Что звезды вроде шестеренок. Понимаешь меня?

– Ты шизофреник, вот это да. Но это прикольно, я никогда не видел шизофреников. А голоса ты слышишь?

– Нет!

– Мужские или женские?

Мэрвин засмеялся.

– А я знаю эту уловку, когда маму забирали в наркологическую клинику, ее тоже так спрашивали.

– Для нарколожки это странно. Небось твоя мама произвела на них впечатление.

– Это уж точно. Она на всех производит. Но ты не слушаешь.

– Да слушаю, слушаю.

Глаза у Мэрвина сверкали. Я не думал, что он правда чокнутый, не-а, люди верят во множество странных вещей, в конце-то концов. Я знал, например, что, когда хоронят человека, нельзя, чтобы что-нибудь упало в гроб, а то в следующем году в могилу еще кто-нибудь ляжет. Тупорыло вроде как, а что-то скребется, говорит: правда, Боря, правда умрет человек оттого, что ты к косточкам дяди Коли брелок с фонариком уронил, зря ты туда светил, зря ты туда смотрел, оттого и мамка твоя умерла, что ты брелочек уронил.

– Ну, я не говорю, – продолжал Мэрвин, – что это прям

настоящие машины. Скорее какой-то аналог. Не технология, но что-то очень точное.

Я не считал его сумасшедшим, а ведь он с неизбежностью чокнется, как все, кто летает, пусть даже во сне. Так папашка говорил – они все ездят крышей.

Мэрвин вертел в руках позолоченный знак Скорпиона.

– Я родился, и все для меня уже определено. У меня большая роль. Только идиоты думают, что судьбу можно изменить, и только придурки думают, что поделать вообще ничего нельзя. Нужно понять, для чего ты рожден в этот мир, и тогда ты оседлаешь свою волну. Свою Колесницу.

Слово «колесница» Мэрвин сказал неожиданно легко и быстро, на русском и почти без акцента – это меня очень впечатлило, почти мистическая правильность этого слова в его устах.

– Какую, блин, колесницу, когда это вообще случилось, что мы заговорили о колесницах?

– Это карта Таро такая. Для бешеной гонки, для успеха.

Тут я уже окончательно перестал понимать, что он несет.

– Нет, Боря, ну не отвлекайся.

– Я не отвлекаюсь.

– Ты выглядишь так, как будто не веришь.

– И не верю. Слушай, ну я тоже думаю, что судьба есть. Ну, раз без тебя определено, где тебе родиться, то логично, что без тебя определено, и где ты умрешь. Но ты уж как-то слишком самонадеянно говоришь, кого-то там оседлать, то да се. Если это можно оседлать, то оно и не судьба вовсе.

– Я тебе говорю о тайном знании. О способах повлиять на удачу, на судьбу. Надо все делать в нужное время, в нужном месте, и тогда у тебя будет получаться.

Ну, если судить по старым скейтерским джинсам и корке, которая осталась от надписи Diesel на толстовке, у Мэрвина пока получилось оседлать только любимого конька, не удачу какую-нибудь, не судьбу.

– Ну вот ты понимаешь, мир – это театр.

– И люди в нем – актеры.

– А Бог в нем – Шекспир.

– Матенька говорит, что Бог ушел отдохнуть и здесь его нет.

– Ну, мне никто ничего не говорил, так что я имею свое мнение. В общем, у тебя роль. Там, наверху, тоже кто-то играет в кости, и это – твои кости.

– Вот жуть какая. Ты – католик?

– Конечно, я католик. Я ж поляк. И мама моя – католичка. Отец тоже католик был, хотя мы с ним и не знакомы.

Тут я начал смеяться, это все показалось мне почти таким же уморительным, как про могилы в Закопане.

– Чего? – спросил Мэрвин. – Заткнись ты, блин. Нет, правда, а ты сам во что-нибудь веришь? Хоть во что-нибудь?

– Ну, в правду верю, и в волю. В березки вот еще.

Я засмеялся еще сильнее, до самой хрипоты.

– И в могилки! И в ямы! И в заброшенные деревни! И в ядерные реакторы!

Ой, мне смешно было, а Мэрвин смотрел все с тем же нарочито серьезным, гордым выражением на красивом лице – польский пан, еб его мать. Утер я слезы, да и сказал:

– А так ни во что не верю, конечно. А ты вокруг погляди. Во что верить?

Мэрвин поднял упаковку из-под «Берти Боттс», которую едва не унес ветер.

– В магию.

Тут и он засмеялся, мы одновременно посмотрели на светлое, низкое после дождя небо, совсем позабыв о гуле машин.

Потом я долго рассказывал Мэрвину о Снежногорске, о продмаге, вертолетах, о гребне тайги и грязном Норильске. А у Мэрвина о Польше не было ни единой истории, а вместо – дохерища рассказов про бомжей, дерущихся за крэк.

Он мне вообще-то много говорил о Лос-Анджелесе. И такой у его рассказов был привкус: химический – модных сладостей, гнилостный – больших свалок, хлорированный – бассейнов во дворах Пасифик Палисейдс, горький – загазованных трасс, свежий – кондиционированных баров. Ну и еще много-много запахов – перечислять просто задолбаешься. Я теперь чувствовал их все, Мэрвин учил меня по-нашему. Я больше узнал о Лос-Анджелесе. Вот, например, что: движение здесь сумасшедшее (ну и чего? для меня, после Снежногорска-то, всякое сумасшедшим и было), что полно полуголых телок в блестках, согласных за двадцатку отсосать в презервативе, что городских сумасшедших дохрена и больше, и у них такие, ну такие глаза, а местные индусы поят своих детей молоком со специями, когда те болеют.

– Латиносы, – говорил Мэрвин. – Они вот прикольные. У моей ма был парень, он из наших, кот. Марко. Мексиканец, что ли. Щедрый чуви, только пропал куда-то.

– Да застрелили небось. – Я пожал плечами. – Это ж город, как в кино. Не, не, ты послушай сюда. Этот город и есть – кино. Тут же Голливуд и все такое.

Ой, когда тебе четырнадцать – такие вещи в голову приходят, тупорылые, но в голове как светятся. Гениальные мысли, которые до тебя, долбаеба, уж точно в голову никому не приходили.

Мэрвин кивнул.

– Глубоко, – сказал он.

– Спасибо, я же русский. Глубокие мысли, глубокие могилы, глубокие…

– Экономические проблемы.

– Я хотел сказать ямы в дорогах, конечно.

Мы помолчали, долго глядели на трассу, на то, как блестели у машин лобовые стекла и задние, иногда швыряли камушки, и была у нас тайная надежда на большую аварию. Я лучше о том, как быть четырнадцатилетним, и не скажу: тайная надежда на большую аварию. Ну а по-другому-то как? А никак.

Я сказал:

– Алкоголя бы.

Ну так, крючочек бросил осторожненько, поглядел на Мэрвина, на то, как весь он залоснился, заблестел.

– Ой, да, прям молодец ты.

– Слушай, я из дома могу взять чего-нибудь, ну, если подождешь тут. Там просто отец, у него гости, ну и все такое.

– Ага, – сказал Мэрвин. – Только давай без обмана. А то бросишь меня еще здесь.

– А чего, тебе здесь плохо?

В машины камнями кидать да пальцем вымазывать остатки арахисового масла – я б и сам этим вечность занимался.

А отправился домой, шел за отцовским запахом, за запахом гнезда и дома. Матенька нам дала нюх, чтобы мы не теряли друг друга, и мертвых наших – для того же самого. Пару раз в разношерстной толпе (бизнесмены, укуренные студенты, бродяги, кришнаиты в оранжевом) мелькнула и моя мамка. Смотрела она на меня без интереса, поскольку знала все. Кинет взгляд и исчезнет, то в метро спустится, то под вновь разразившимся коротким дождем нырнет в ближайшую, пропахшую специями вегетарианскую кафешку.

Я за ней не следовал, одно знал – она придет. Как надо ей будет, как сможет.

Я глядел по сторонам, не запоминая дороги. Запах Мэрвина был слишком узнаваемым, чтобы я потом потерялся.

Стало не то что жарко, а душновато, как после кошмара ночью, и меня все время кто-то толкал, я плохо ходил в толпе, мне все казалось странным, нереальным. Я чувствовал под городом братишек и сестричек – их тонкие тоннели, вены Лос-Анджелеса, чувствовал, как вкусно тянет мясом, жиром и солью из Макдональдса. Так я был перегружен, всего мутило да качало, что пришла мне странная, словно сновидная мысль: может, не пить?

Глупости, конечно, а подумал.

Я добрался до дома, поднялся по лестнице, покурил где-то на середине пути, оставив черное пятно от затушенной сигареты на аккуратно выкрашенной в салатовый стене. А чего чистюлями быть? Перед кем стараемся? Для вечности оно неважно, а для жизни даже вредно – забываешь, где живешь.

Запах отца все еще был острым, злым, но я решил рискнуть, в конце концов, перед автострадой меня ждал Мэрвин, а мы уже стали друзья.

Насчет отца и злобы его, тут я не знал. Могло быть так, что с самого утра пес этот его чем-то бесил, а могло быть так, что, между этими приступами злости, отец его братом звал и говорил, что жизнь за него отдаст.

Он бы, в правильный момент, и отдал – такой был человек. В неправильный момент зато мог молотком по голове ударить или зарезать – тоже такой человек.

Вот я и парился, сколько себя помню, на тему: а какой тогда человек?

Не он, не папашка мой, а вообще человек – он какой, если уж разный такой, если в нем с самим собой общего ничего может не быть через минуту.

– Па! – крикнул я. – Я на кухню, воды попью.

В полутьме коридора я подумал, что ошибся, что отца нет и того пса – тоже, вот я один, возьму сейчас из холодильника что-нибудь, да и пойду к Мэрвину, а отец даже и не узнает, что я заходил.

Потом глаза к темноте привыкли, и я увидел, что отец сидит в кресле у выключенного телика, рука у него так отставлена, что все понятно – с рюмкой.

– Папа? Все нормально?

Я заглянул в гостиную, посмотрел на упрямо-черный экран телевизора, потом в сторону и вздрогнул, наткнувшись взглядом на Уолтера. Я как-то сразу подумал, что это он, имя ему очень подходило.

Уолтер был ростом под два метра, широкоплечий такой блондин с унылыми, серовато-голубыми глазами. Сравнить бы его с солдатом, но выражение лица он сохранял такое постное, что на ум приходил только учитель математики.

Я как-то понял, что он – богатый. Не было у него золотых колец, вычурных часов, подчеркнуто дорогих ботинок, как у моего отца, но весь он излучал внутреннее превосходство, такое спокойствие неземное – это я только у богатых видел да у просветленных.

Ну, на просветленного Уолтер похож вообще не был, ни на

какого, а вот денег у него было, видно, столько, что сердце его успокоилось. Уолтер стоял у стены, не касаясь ее, между ним и отцом была тоненькая полоса его правильности, убогой вежливости.

Конечно, он мне не понравился – от того, какой я вдыхал отцовский запах, сам вид Уолтера мне стал противен. Он так отца разозлил. Они оба молчали.

Уолтер был старше моего отца лет на десять, может на пятнадцать, но выглядел куда лучше. Лощеный такой мужик, ему б тетеньку соответствующую, в «Шанели» да в «Диоре», и можно пустить в какой-нибудь закрытый клуб, чтоб курил там сигары да чесал языком про геополитику, или что они там любят.

– Извините, – сказал я на английском. Отец и головы в мою сторону не повернул, а Уолтер сказал:

– Здравствуй, Борис. Мы с Виталием как раз говорили о тебе.

– Здрасте. А чего вы обо мне говорили?

Если с моим именем Уолтер справлялся сносно, то папино произносил как «Витали», с глуповатым, растянутым «и» в конце.

– Ничего, блядь, не говорили, кому ты нужен. Вон отсюда пошел, – сказал отец, даже не посмотрев на меня. Он почти тут же добавил на английском, с акцентом хуже обычного:

– Он еще очень маленький. Даже не думайте.

– Но решительно не хватает…

– Никаких вариантов, – с нажимом сказал отец, и я почувствовал, что если не хочу получить рюмкой в голову, мне лучше всего хоть куда-нибудь исчезнуть. Из холодильника я взял бутылку «Абсолюта», сунул ее под толстовку, весь дернулся от холода, прошедшегося в животе, достигшего спины и вынырнувшего из позвоночника. Я слушал спокойный, почти лишенный интонаций голос Уолтера:

– Он рожден для этого. Ты знаешь.

– И будет делать все, на что способен, когда придет время. Тебе непонятно? Ты меня не понял?

Я выскочил за дверь, понесся вниз, думая о том, что идиотский Уолтер, пес, мать его, Анубис, серьезный, загробный, хотел кинуть меня под землю так рано, еще раньше, чем планировал мой отец.

Так мне стало обидно – ты меня секунду всего видел, и я для тебя только мясо, а мне ведь хочется вырасти хорошим, здоровым. Никакое лицо учителя тут не поможет, когда у тебя сердца нет, когда нечему биться в груди да сочувствовать чужим детям.

Я не его был детеныш, он хотел моими руками жар загребать, это я сразу понял, хотя подробностей не знал, и решил: ты мне

будешь враг навеки, Уолтер. Даже фамилии его не знал.

К тому времени, как я вернулся к Мэрвину, бутылку уже отогрел своим телом.

– Ну гадость, теплая.

– Да потерпишь. Слушай, а ты про Уолтера знаешь? – спросил я. – Пес такой. Серьезный.

– Да немного. Мутный чувак. Мамке хорошо помог, когда она к копам в последний раз загремела. Ходит чаи гонять, не трахает ее, что странно. А может и не странно – у него вроде жена есть.

Мэрвин помолчал, поискал в кармане сигареты, а я все глядел на розоватые полоски начинающегося вечера – подзаживающие шрамы на небе. Я видел, как время течет, мне это так нравилось.

– Короче, у него есть суперплан, утопия такая. Типа сделать из нас организацию. Собрать детей духа разных всяких видов да заставить их всех работать и не увиливать. Гитлер, короче. Это я тебе, как поляк, о любом так скажу, кто меня захочет заставить работать. Вот, в общем, у него все просто – организуемся, объединим усилия, будем заниматься поиском наиболее опасных каверн во всех сферах мироздания.

– И сдохнем все дружно.

– И чокнемся.

– И поубиваем друг друга.

– Короче да, это если вкратце. А маме-то нравится. Надо же!

Да что со взрослых взять-то.

Пили мы прямо из горла, и у меня перед глазами не то по пьяни, не то еще по какой-то причине всплывало все время лицо отца, когда он сидел перед телевизором, – глаза стеклянные, рот приоткрыт, ну овощ овощем сидит, мертвец мертвецом, взгляд на мне задержать не может.

С Мэрвином мы вдруг стали друзьями до гроба и плакали, обнявшись, над историей о его помоечном щенке, которого он схоронил в парке. Я рассказал, как мы съели дядю Колю, а потом и мамку мою.

– А родители ее, – говорил я, – которые меня хотели забрать, они даже есть ее не приехали. И это называется любовь? Это они любили ее так? Может, ей отец до сих пор не простил, что батьку моего выбрала и с ним уехала. Но я тебя спрашиваю, как так можно с родной дочкой – и навсегда попрощаться?

– Что-то есть в твоих словах неправильное, – сказал Мэрвин, покручивая один из кулонов со странным символом, потирая его. – Но я слишком пьяный. Так что ты меня лучше послушай.

Он приподнялся, уставился на меня синими глазами с большущими зрачками и сказал:

– Моя мама убивает людей, а я пью их кровь. Вот почему это все не произвело на меня должного впечатления.

– Ого.

– Ну, она убивает мужиков, которые хотят убить ее. Маньяки, в основном, всякие, да экспериментаторы. На трассе такой херни полно.

Ну да, вполне по-волчьи – такая у Мэрвиновой мамы была территория.

– Ну я понял, у меня бабка была волчицей. При ней на заводе не воровали, во. Но я не понял, почему ты кровь пьешь.

– Чтобы спать. Я без нее не могу спать. Мне немного надо, но мать все сливает, говорит: добру пропадать нечего.

– Интересно, а если сожрать левую бабу или мужика, то они тоже будут потом ко мне приходить? Как тогда с Матенькиным даром?

– Я ее из банок пью и бутылок. Не из людей. Но все равно противно. А когда мать кормила меня, то надрезала сосок.

– У мамки моей могилка вдали от земли, где родилась. Так там одиноко ей, тоскливо – и нас уже нет. Говно какое, а?

Такие мы были пьяные, все плыло, и контуры у всего сделались мерцающими. Я с отцом пил и больше, но никогда так не расслаблялся, а тут мне хотелось блевать, смеяться и плакать, у всего открылось второе дно, я готов был говорить всю правду и слушать всю правду.

И мне плевать было на окровавленные трехлитровые банки (как из-под томатного сока), которые мне представлялись, когда Мэрвин рассказывал, что он пьет, чтобы спать.

Я никогда не откровенничал так со звериком моего возраста, с кем-то, кто мою последнюю правду понимал. Кто мог бы не охуеть с того, что я мамино мясо ел.

И мы с Мэрвином стали лучшими друзьями навек, и плакали друг у друга на плече уже не пойми от чего.

А вот я о чем подумал под небом, распадающимся на волокна от того, что я тер и тер глаза – какая-то другая боль у него была, у Мэрвина, карпатская, темная, но не нутряная. Тайная тайна у него была, это да, но какая-то другая. Схожая с моей, и – не та.

Вот чего с панславянизмом-то случилось, провалился он.

Я вдруг придумал, как доказать Мэрвину, что я не трус, и чтоб он мне доказал, тоже захотелось.

Так мы оказались на автостраде, то есть на автомосту, или как там это назвать. Долго шли по холмику, усыпанному мусором, под уходящим, еще жарким солнцем. Думал, может, и вышли из Лос-Анджелеса уже, под водкой я мало что понимал. Шли и шли, по колючей траве, по пластиковым бутылкам и

блестящим пачкам, выброшенным из окон, пока не уткнулись в автомобильный мост, по которому машины неслись с величайшей скоростью. Я смотрел.

– Ого, – сказал Мэрвин. – Тут все заканчивается.

– Ага, земля – все. А что за река?

– Лос-Анджелес.

– Да город это, даун.

– Сам даун, это как Москва-река. Мо-сква.

Он икнул и сказал:

– Ты вообще уверен?

– Я тебе говорю, ты трус или как?

Река была гладкая, серебряная, глубокая, с искусственными, бетонными берегами, она шла глубоко в траншее, запавшая, как вена у нарика.

– Боря, мы можем вернуться?

У заката оставались последние минуты, бетон вдалеке был розовато-желтым, такие цвета, как на картине, типа Возрождение или барокко там. По реке плыла банка из-под кока-колы. Красивое место, подумал я, а над ним столько машин – пройтись бы спокойно.

Мы стояли на последнем пятачке сухой земли, ловили оставшиеся закатные всполохи, некоторые водители уже включили фары. Нас шатало, и нам совсем не было себя жалко.

– Ну, ты не бойся, – сказал я, подумав о том, что бы мне в такой ситуации посоветовал отец. – Один раз живем и умираем тоже один.

– Вот это ты меня утешил, спасибо.

Не то назад повернуть, не то выйти на мост. Мы стояли. В чужой стране я вдруг совсем перестал бояться смерти. Мы допили по последнему глотку, бросили бутылку на обочину, и я сказал:

– Все, вперед.

Я хотел идти первым, но Мэрвин выскочил вперед меня.

– Со мной ничего не случится, – сказал он. – У меня судьба. Все решают звезды, стечение обстоятельств. Можно выжить в разбившемся самолете, а можно умереть младенцем у матери на руках, просто уснув. Мне повезет!

Он и еще что-то говорил, но дальше я его уже не слышал, да и не слушал. Все заглушил рев машин. Мы шли, прижавшись к обочине моста, к самому, самому краю. Все так естественно произошло, я и думать забыл, что будет страшно.

Смотреть на мост (никаких пешеходных дорожек, одна крошечная обочина, где сбоку от тебя только река в бетонном рукаве) – совсем не то же самое, что идти по нему. Все сузилось, я протрезвел мгновенно, до хрустальности просто, но тело теперь

водило из стороны в сторону от волнения. Я был такой маленький по сравнению с грузовиками, которые неслись за нами, издавали протяжные, отчаянные гудки.

– Еб твою мать! Какого хуя ты гудишь! Я что, исчезну, по-твоему, от этого?!

Я кричал до хрипоты, мне правда было страшно, а еще стыдно, и остановиться я не мог. Честное слово – ну обоссаться можно, как страшно, а ноги все равно идут, сами по себе тебя спасают.

Грузовики были огромные-огромные, как в детстве. В Норильске мне все машины казались очень большими, но особенно, конечно, грузовики. Я тогда читал про Гигантомахию и Титаномахию, и почему-то огромные машины сложились у меня, близко-близко, даже один в один, с хтоническими тварями, порожденными безразмерной землей – Геей.

Вот я тогда боялся на мосту, мне казалось, что машины появляются оттуда, откуда и все дурное. Теперь эти детские воспоминания во мне вскинулись, взбодрились. Всякий раз у меня внутри все перехватывало, когда очередной грузовик сначала оповещал о себе ревом, а потом (все-таки!) проносился мимо. А перехватывало до боли, до спазма, до подступившей к горлу рвоты. Во рту было горько и кисло, и я кожей чувствовал приближение очередной машины, закончилось бы все – зарыдал бы от облегчения.

Мэрвин шел впереди. Несмотря на все его разглагольствования об удаче, плечи у него дрожали, он дергался, сводил их еще сильнее и казался совсем маленьким ребенком. Впереди я увидел кусок фары.

Ага, подумал я, значит, они сюда въезжают. Значит, еще вероятнее, что следующая машина оставит от меня ведерко костей, органов и свежего мяса. Такая скорость – папашке даже не придется меня разделывать.

А буду я осознавать себя, когда стану приходить к нему, или это буду уже не совсем я? И что со мной будет-то? Куда я отправлюсь?

В принципе, эти вопросы я себе задавал, чтобы не наблевать перед собой, а не от большого интереса к смерти. Хотя я, конечно, представлял, как все случится. Даже сообразить не успею, у меня будет всего секунда, думал я, но мысль о ней казалась отчего-то еще более отвратительной, чем представления об агонии и мучениях ракового больного.

Как неожиданно просто перестать существовать. Это же самое чувство исходило от напряженного тела Мэрвина. Слишком они быстро едут, думал я, а мы – как те камушки, которые кидал

Мэрвин. Только с большей вероятностью можем привести к аварии. Ха-ха же. Мы шли и шли, казалось, что бесконечно долго, а потом мост вдруг кончился, река потекла в свою сторону, а мы скатились вбок, на жесткую траву, в самые колючки.

– Мы не трусы, – говорил я на русском и на английском, и то же самое повторял Мэрвин на польском.

– Не трусы, не трусы.

Внизу по дорожке бегали потные телочки в бриджах, не подозревали они, что с нами было, плевали они на это. Перед глазами у меня дрожала пленка темноты – не то в мозгу помутилось, не то дурное что-то отсюда лезло, я уже не понимал.

– Не трусы, не трусы. Точно нет.

– Друзья навсегда.

– Никогда не забуду.

– Да.

– Точно будем друзьями.

Тут меня стошнило.

Зачем я это придумал, зачем сделал? Я не знал. И когда пришел домой, с больной головой, с надеждами на самую чистую дружбу – ясности не прибавилось. Было уже темно, но весь город полыхал оранжевым – зарево такое, что не уснуть будет, глаза болели.

Сестричка моя тут же по штанине моей забралась, поприветствовала меня.

– Ой, привет, – ответил я.

Никакого папашки, пустая квартира, но в Снежногорске мне и на отходосах одиноко не бывало, а тут я пошел в ванную, долго умывался и плакал, себя жалел.

В холодильнике стояли кукурузные хлопья «Эппл Джекс» и то самое клубничное молоко. Я сначала думал, что буду долго блевать, если хоть что-нибудь съем, а потом со скуки поужинал, пошел почитать «Труды и дни» и уснул на «железном веке».

Проснулся от ее холодных рук. Из каких она далей приходила?

– Боречка? – спросила она меня хриплым голосом, в легких ее была вода – она говорила странно. – Ты зачем себя не жалеешь?

– А я жалею себя. Очень даже. Я над собой сегодня плакал.

На ней все белое было, не такое, как когда в гробу лежала, не в земном была.

– А чего над собой плакать, Боречка?

Тонкие губы у нее вытянулись в синеватую ниточку. Она обняла меня, поцеловала и остудила мне лоб.

– Боречка, не надо с собой так. Я же люблю тебя. Я тебя и там люблю, как здесь любила.

А мне вдруг так обидно стало: тогда почему ушла? Чего ты, пьяная, туда упала? Или сама полезла? Где ты там, как тебя там кормят, любят ли тебя, как я любил? Как мы с отцом любили.

– Тебя никто там так не полюбит, Катенька, – это отец говорил, пьяный, на могиле ее.

А она обнимала меня, и не было жарко.

Я все-таки понимал, что это не совсем мамка, а только какая-то ее часть, и мне чего-то недоставало, но я был благодарен Матеньке и за этот дар.

Уложила она меня спать и долго гладила по волосам, рукава у странной ее одежды были прозрачные, сквозь них я видел луну.

Глава 6. Холод могильный и скрежет зубовный

Это все было – про меня, а вот еще о любви и смерти. Мы как-то застряли в Вальке, откуда вертолеты летят до нашего Снежногорска, то было почти уже лето, но вдруг стало морозно. Мне было тринадцать, и я жутко важный расхаживал в отцовском плаще, он был мне велик, я в нем так путался, а из кармана у меня торчала бутылка минералки. Я гулко шествовал везде, из людей, кроме нас, была одна только бабулька со слезящимися глазами, то впадала в сон, то просыпалась, вздрогнув, как со старыми людьми часто. Мы застряли, ждали, когда вертолет пустят, и я все выглядывал в окно, но вертолеты так и стояли, как сломанные игрушки.

Был желтый свет и неудобные ряды стульев, отец был пьяненький, но догнаться нечем было, и он читал какую-то книжку, вроде бы «Улисса».

– Лошадность – это чтойность вселошади. Что, блядь? Нахуя они это перевели? Вообще теперь все можно, что ли?

Он швырнул книжку через весь зал, она ударилась о стену и шлепнулась вниз, забрала с собой небольшой кусок штукатурки.

Ум, говорил отец, надо тренировать. Чтобы не отупеть от водки – надо читать, но у всего, видать, был предел.

– Не, ну тут понятно. Лошадность это типа качество лошади такое. Типа то, что делает ее лошадью. Чтойность. Типа так номиналисты считали. Универсалии.

– Борь, ты дебил конченый, это реалисты считали. А номиналисты, наоборот, утверждали, что это слова всё, термины, понятия – ничего за ними божественного нет, да и универсально оно только условно. Имена, блин, имен.

– Ну, по названиям я по-другому запомнил.

– Это потому что ты тупой.

Бабулька наша на шум не реагировала, был в ней покой умирающей, столетняя, морщинистая обреченность. На ней была такая толстая, облезлая шуба, будто она этих морозов ждала.

Я снова стал ходить, бутылка с водой тряслась у меня в кармане, и я от этого чувствовал себя почему-то таким важным.

– Да не будет сегодня ничего.

Уже и темно стало, а снег не унимался. Когда я проходил мимо бабульки, она открыла вдруг глаза, они у нее были мутные, младенческие. Вот открыла глаза да сказала:

– Вся земелька померзла.

– А все одно, бабушка, на ней ничего не растет, – сказал отец. – Иди сюда, Борь, не маячь.

И я сел рядом с ним, и он перезастегнул мне плащ.

– Мы с твоей матерью, когда после свадьбы в Москве были, каждый день ходили в театр, в оперу, на балет, а потом всю ночь пили на кухне и плакали. У нас мозги были так водкой расшатаны – нас что угодно брало. Даже очень плохие спектакли.

А в темной земле ее косточки лежали, в померзлой земле, и из нее не вырастет ничего. Вот он об этом подумал – и глаза у него, обычно светлые, вдруг потемнели.

– А когда умирает человек, – сказал он вдруг, – все действия должны быть неправильные, обратные. И саван шьют наоборот, с другой стороны.

Закурил он, а бабулька только еще поморгала, ей это было вообще до фени, абсолютно все равно.

Я про все это думать не хотел, меня в смерти другое интересовало – где глаза материны, где голос, почему их нет? Самые физичные вещи. И еще надо было, чтоб вьюга улеглась, мне домой хотелось, под одеяло или в ванну горячую.

– Замерз уже? – спросил отец. Глаза пьяные были да холодные, он засмеялся, в горле у него захрипело – никогда не поймешь, закашляется или нет.

– Иди сюда.

Он меня обнял, и там мы лежали. Я был в его плаще, а он в одном только костюме, дрожал, трезвея и от холода. Обнимал меня, и мне было тепло.

– Па?

– А?

– Я когда на могилки ходил, то эпитафии видел. Пишут типа там «я уже дома, а ты в гостях», или «ты здесь тоже ляжешь». Это отчего?

– Это от зависти большой, и чтоб ты не забывал.

Он погладил меня по голове, пальцы у него были сильные, цепкие, а прикосновения всегда жесткие, быть нежным его никто не учил. Матенька говорила: раз родили и не любили, то и крысенок вырастет и никого не приласкает.

Еще она говорила, что любить больше всех надо тех, кому сейчас больно, потому что только тем они и живут.

Матенька вообще хорошая, она всегда кормит детенышей, оттого у нее на жизнь такой взгляд, щедрый, любовный.

– А мы, родственники усопших, мы, наоборот, как бы кричим: вы есть, вы в сердце, и мы встретимся, и будет радостно.

– Да я не верю. Им Матенька не рассказала, как встретиться.

– А столько хороших слов, – говорил я, – потом пишут. И чего

при жизни такого не говорят? Типа люблю тебя, мы встретимся, мы будем вместе, никуда не отпущу, никогда не забуду. Чего не говорят? Чего конфеты не дают?

– Ты бы меньше по могилкам шлялся, Боря.

– А там иногда чего оставят, а оно уже никому не нужно.

– И то верно.

Так мне тепло было, и я почти не понимал, что сам он мерзнет. Так мне тепло было, что я и не верил в холод могильный, что и мои косточки там будут мерзнуть однажды, в глубокой какой-нибудь яме, я думал, что буду жить вечно – в такое я не верил с тех пор, как умерла мама.

А он зубами чуть скрежетал от холода, шмыгал носом.

– А она нас там ждет? – спросил я.

– Ждет не ждет. А ты спрашивал?

– Нет. Мне страшно, если ждет. Как бы ждет, что умрем.

– Она с любовью ждет.

Ой, сколько в мире грязи, и какие в то же время есть ясные, холодные выси. Задолбался я тогда от всего изрядно, устал, замучился ждать, то да се, все не мог про смерть остановиться.

– Па, а ты боишься смерти?

Он покрепче прижал меня к себе, и был в этом на самом деле какой-то страх.

– А чего бояться? Ты тогда съешь меня.

– А ты меня, если понадобится, выпей. Как в «Алисе в стране чудес».

Он хрипло засмеялся. Мы еще о чем-то болтали, я потихоньку засыпал, такое марево было, вьюга шумит, завывает, морем, зверем, такая большая, весь свет в ней, кажется. Так и жизнь проведем.

Он меня так по голове гладил, и было мне безопасно, ничего страшного, я знал, не случится, а что случится – все пройдет.

Папашка говорил что-то, а я в тепле тонул, в жа́ре.

– И любил я ее без меры, и когда не нужно было любил, – рассказывал он.

А я слушал.

– Однажды любил, когда и нельзя уже было, говорят вредно, но мне так нужно было. Ты уже был, шевелился, я чувствовал. Я ей, значит, того, руку на живот положил, а там – живое, мое что-то. Я еще тогда не знал, кем ты родишься, как тебя звать будут, я ее пузо вообще-то не трогал, противно было, а в тот момент по-другому все стало. Она меня обнимала одной рукой, ласково так, а другой живот гладила, все время.

Эта история была противоположная всем историям про смерть.

– В общем, я почувствовал, что ты там живой, настоящий маленький крысенок, а отдельно еще не можешь. Так это меня поразило, такое у меня удивление было, радость какая-то от того, как человек возникает. Ничего еще нет, а вот уже под рукой. И ей тогда хорошо так было, она после плакала, как ей хорошо, говорила, что хочет долго жить, и чтобы всегда так было.

Гладил меня и гладил, рассказывал, значит, как мамка мной беременная была, а он ее – вот. И такой был в этом абсурд – в пустоте, на краю мира, на неудобных стульях мы лежали тесно-тесно, и была какая-то тайна, в которую он меня посвятил.

– А смерти бояться, – сказал отец вдруг совсем другим тоном, – это для шкурников, это паскудно, нет ничего высокого в том, чтобы за шкуру свою трястись, тебе проигрывать нечего, все одно ляжешь. Вот и не трясись.

– А я видел надпись «сынок, прости за короткую жизнь».

Он выдохнул мне в макушку, поцеловал.

– А будешь смерти бояться, у тебя и короткой не будет. Ничего не надо бояться.

И я даже уснул ненадолго, когда он посильнее закутал меня в плащ. Уснул, ничего не боясь.

Это я все к чему вспоминал, к чему так подробно-то? Ну, хотел показать, наверное, что когда его нрав утешишь, такое бывало иногда, он становился почти как нормальный человек. Ну как – нормальный? И все-таки, все-таки.

* * *

Ну а началось все с того, что Калифорнийский тест по английскому языку я завалил специально. Ну а не хотелось мне в новую школу, где я буду хуже всех, да и вообще. Написал чуть ли не наугад, так что училка, проглядев его, посмотрела на меня вообще без восторга.

Встретимся, подумал я, на курсах.

Да и ушел, весь день слонялся с Мэрвином, мы с ним уже совсем подружились и регулярно пили водку, а потом ходили по городу почти вслепую. Когда вернулся домой, пьяный и развеселый, отец меня встретил.

– Мне звонили.

– И чего тебе звонили?

– А ты тупой?

– А, звонили и сказали, что я тупой? Ну, блин, я думаю, проблема в том, что я тупой. Извини.

А язык у меня по пьяни развязался, и я первого удара-то не

ожидал. Двинул мне папашка в живот, так что я задохнулся, так что у меня перед глазами все покраснело, я и фразеологизм вспомнил – seeing red – видеть в красном. Про ярость, значит. А чего раньше не вспомнил? Я отшатнулся, дверная ручка больно уткнулась мне в поясницу, на глазах выступили постыдные слезы.

– Извини, – повторил я, выплюнул, выдохнул. – Па, прости, я просто…

Не то «буду заниматься» хотел сказать, не то еще что-нибудь такое же бессмысленное, но он мне снова врезал, раскровил губу – так сразу солоно стало.

– Я тебя сюда привез, чтобы от тебя проблем не было, – прошипел он, взял меня за волосы, ткнул носом в косяк двери.

– Чтобы ты вел себя прилично. Не позорил меня. Внимания не привлекал. Я тебя и бросить мог, а привез.

Тут уж я не выдержал:

– А чего ж не бросил?

Нет, ну как меня правильно понять? Мне и страшно было. Очень. Такой меня ужас взял, но в то же время я и злился, мне было обидно.

– Может, бросил бы, да все б сразу наладилось. У тебя б наладилось, у меня б…

Взгляд у него оставался холодным, пристальным, но что-то в нем изменилось, стало совсем другим. Я и не договорил. Не потому, что не успел – заткнулся еще прежде, чем что-то меня оглушило. Больно не было, ну серьезно, сразу какой-то звон, все поплыло перед глазами и левая сторона лица онемела. Вокруг всех предметов расходились круги света, не то как под водкой, не то как во сне, из глаз лились слезы, но никаких чувств не было.

Я подумал: умру так. Он меня убьет сейчас. Я на него смотрел и это знал. Я больше ничего на свете не знал, все забыл, все исчезло, а это было железно.

– Блядь.

Я прижал руку к виску, у меня там было тепло, кроваво, и я от этого даже плакать перестал. Я знал: умираю или умру, но страшно не было, и не думал про могилки, ни про что не думал – одна вата внутри, стал таким чучелком.

Так я и не понял, чем он меня ударил, не увидел, у меня вообще с боковым зрением что-то случилось. Может, пепельницей мне ебнул, может чашкой, да и какая разница-то? Я весь от этого сразу заболел.

– Блядь, Боречка.

Я еще старался отползать, сучил ногами, как собачка, которую мучают, жалким таким образом, ой, а стыдно-то не было, только бы шкурку свою спасти. Я все за ручку хватался, не то

дверь открыть, не то подняться. Ничего не понимал. Не плакал больше, а просить у него что-то теперь боялся, теперь дрожал.

Я себя за эти секунды так возненавидел, я эти секунды презирал потом всю жизнь. И подумал в тот момент еще: а может, это ты дядю Колю-то убил? Упал он, как же. Убил ты его, сука.

Я только поднялся, он сделал шаг ко мне, и я закричал.

– Боря, Боречка! – позвал отец.

Я прижал ладони к голове, тесно-тесно, так что под одной из них тут же кровь захлюпала, а когда руку отнял, так там все линии на ладони были красны, в них глубоко затекло. Мог убить. Но отец не ударил меня снова, только рухнул на колени.

– Боречка, пожалуйста, прости меня!

Он тоже испугался, тоже растерялся. Он меня никогда Боречкой не называл, так только мамка делала, а он говорил – она меня балует.

– Я не хотел, о Матенька, о господи, не хотел, Боречка.

Ему бы в скорую звонить, а он стоял передо мной на коленях, обнимал. Меня шатало, все было в пятнах, как засвеченная пленка: черные пятна, белые пятна, пятна с цветными краями. Только б дураком не остаться, подумал я, дважды два это сколько там?

Это сколько-то там.

– Боречка, Боречка, прости, прости меня, пожалуйста, сынок.

Я посмотрел на него – лицо отца казалось каким-то чужим, я его словно не помнил. Не в первый раз увидел, но не помнил – странное чувство. В ухе шумело. Я смотрел и смотрел на него. Вряд ли прошла и минута, но я пробыл там вечность, глядел на папашку, стоявшего на коленях, тощего, небольшого, остролицего, – смотришь и думаешь: хороший отец, безобидная крыска. А если умру, подумал я, как же мои косточки тут будут, без мамы, мне к мамке хотелось, с ней лежать.

– Прости меня, Боречка.

И тогда я крикнул:

– Пошел на хуй!

Коленкой я двинул ему по лицу со всей силы, разбил отцу нос. Я открыл дверь и рванул на лестничную клетку. Я и не думал завернуть к мисс Гловер, я недостаточно ей доверял, да и боялся, что кто-нибудь умрет, если отец будет меня оттуда вытаскивать силой. И, наверное, не она.

Я бежал вниз по лестнице так быстро, как только мог. Все мелькало, все пружинило. У мира был кровянистый запах, соленый, металльный. Ну как я бегу? Ну как я вообще двигаюсь? Все так вертелось. И в то же время у меня хватило мозгов накинуть капюшон толстовки. Мне не хотелось, чтобы врачи

вернули меня папашке. Я просто должен был быть где-то далеко и мыться, мыться, мыться, чтобы он не почуял мой запах.

На коленке у меня было красное пятно – его кровь. Я все тер ее и тер, когда останавливался, ослепленный болью. Пару раз меня чуть не сбила машина, я наталкивался на людей, извинялся и двигался дальше. Все вокруг казались мне такими чужими и страшными – пустые лица и такие глаза, что помощи попросить не у кого. Это мне они такими казались, я только потом понял, что это неправда – просто город, просто люди, а я слишком быстро двигался, чтобы они успели рассмотреть, в каком я состоянии. Вот и как я умудрялся так быстро бежать?

В какой-то подворотне меня стошнило – я ничего не ел, поэтому была только вода с какой-то желтой горечью, с желчью. Я сел на асфальт и стал рассматривать надписи вокруг – все они светились. Столько битых бутылок, а я так тяжело дышал. В голове распались связи, я дрейфовал между ошибочными утверждениями и световыми пятнами.

Мне нужно было к Мэрвину, больше-то у меня никого не было.

Об отце я думал с первобытным ужасом. Пробегая через парк, я рухнул на землю, стал кататься по ней, чтобы пахнуть травой и грязью. Горячий воздух мне все выжигал, тошнотворно было даже дышать.

И кружится, все кружится, огромнейшая карусель – все мироздание. Я без конца вспоминал отца с этим его «Боречка, прости» и ненавидел его пуще прежнего. За тест по, мать его, английскому. Даже, сука, если Калифорнийский.

А у меня теперь висок кровил, и я боялся, что умру, что никаких больше тестов. Да я б его хорошо написал. Как угодно бы написал, только чтобы не было этого дня.

Я ничего вокруг себя не видел, одни обрывки, клочки всякие, да ну, и вспоминать нечего. Качается на качелях ребенок: скрип-скрип, машина выезжает из-за угла: вжжжж, пищит светофор, и все тащатся, тащатся, а я бегу.

От слез все такое жемчужное было. Ну чего я плакал? Был бы со мной кто, я б себя в руки взял, но я остался один. Пахло незнакомо, всем сразу, я и нюхать нормально не мог, мне океан доносило, а Мэрвина словно и не было, хотя его приметный запах я везде бы узнал.

Зато я не чувствовал и отца.

Бабуля какая-то кормила голубей, а они были жадные, словно пираньи.

Мамки играли с маленькими детишками, у них были такие яркие пластиковые игрушки.

Прошел парк – и снова моднявые кафехи, запах выпечки и кофе, виниловый аромат музыкальных магазинов. А с океана неслось и рыбное что-то, и солнечное. Ну приди ты в норму, ну приди.

Хоть не кровил больше, и то хорошо.

Я думал, что домой не вернусь, разве что бабла взять, да и то не скоро. Не думал, как жить, что есть, был у меня звериный страх и только, ужас животного перед побоями. Жалкая я был маленькая крыска, напуганная очень.

Такой тупой был, на мелочь купил двухлитровую бутылку воды, ну и вылил ее на себя, смыл кровь да притушил запах, а жажду не утолил.

А он мне говорил у меня в голове:

– Боречка, Боречка, прости.

Я посмотрел на свои руки, и они были похожи на его руки, только были меньше, а когда вырасту, и не отличить будет. И понял я, что всегда его с собой носить буду.

Мне отчего-то вспоминалась мамка, снова и снова картинками вспыхивала: как ест оладьи с медом, как поливает цветы, как ругается, возясь со щитком, когда вокруг такая темень, только баба Света и баба Тома глазами блестят позади.

Вспыхивала и гасла, живая-живая, не одутловатая от воды. Такая она мне была уже не родная, я от нее живой и отвык.

Казалось, кто-то пальцем нажимал мне на мозг и вырывал воспоминания о ней. Вот она курит, а вот она отравилась и вся бледная лежит, просит принести ей что-нибудь от желудка, а вот говорит мне какую-то сказку на певучем украинском, мажет «Д-пантенолом» синяк на плече, грязь из-под ногтей вытаскивает.

И тоже говорит все:

– Боречка, Боречка, прости.

Наконец я не только перестал кровить, но и весь как-то подтянулся, она мне сил придала – живые ее секунды, и я почуял Мэрвина, и даже его дурацкий, слишком взрослый одеколон, который он спиздил у кого-то из мамкиных хахалей.

И не так уж я все напутал, ну кружок лишний навернул, ну не туда заныкался, и хорошо. След свой отвел. Я потер глаза и стал двигаться уже не наугад, почти прямо, хотя мир и не встал на место окончательно. Световых пятен стало меньше, и я подумал: может, даже дураком не останусь, ведь дважды два – четыре.

Купил еще банку вишневой колы и стал ее неторопливо пить, она была холодная, вкус ее вдруг показался мне таким аптечным. Сделал глоток и банку к виску приложил, это еще шагов пять без боли.

Вот самый ужас этого дня, он был, что смешно, в том, что,

когда я писал свой тест, ошибки у меня были нарочито дурацкие, я думал, что мы с Мэрвином над ними посмеемся, да что уж там – и отец в другом настроении мог посмеяться вместе со мной.

Все мне казалось веселой игрой, и вот у меня разбит висок, и я не собираюсь возвращаться домой. А от слов-то я от своих не отказывался – пошел он. Мало я ему ебало разбил, и больше надо было.

Ой, как мне хотелось увидеть маму, спросить у нее совета и чтобы она пожалела меня. Я весь был взмокший, потный, дрожащий, я словно температурил. У вишневой колы был еще привкус крови, я не сразу его различил. Ухо и висок горели, весь огонь из моего тела туда ушел, в остальном я был вялый, бродил в тумане.

Я почти дошел до Мэрвина и размышлял, сумею ли сосредоточиться и найти его квартиру. Остановился, чтобы подумать, даже так – это было отдельное напряжение. Я не был в порядке. Ну просто вообще. И у меня тут вообще никого не было.

А Мэрвин, он, короче, мне навстречу вышел. Я его сперва пятном блестящим увидел, а потом проявившегося, подумал, прикольно.

– Я тебя услышал, – сказал он. – У тебя так сердце билось – вот это жесть. У меня как набат в голове. Бам-бам-бам. Ты вообще как?

Я откинул капюшон, Мэрвин присвистнул.

– Ого тебя как! Круто!

– Круто, – согласился я. – Сейчас наблюю тебе на кеды.

Он ловко отступил назад, и я согнулся, спазмы, спазмы – и ровно ничего. Ничегошеньки. Ну мать твою, ну как так-то?

– Мне помыться нужно.

– Ты прям уверен, что только помыться?

– Запах надо смыть.

Тут я на него глянул. Такой он был взволнованный, такой дерганый – самого дрожь брала.

– Я пожить у тебя могу?

– С этим проблема. Ну дай подумать, пока помыться пущу.

Дом у Мэрвина был старый, на пожарной лестнице курила, свесив ноги вниз, полуголая девица с длинными, спутанными волосами, глаза у нее были такие упоротые, вот свалится, и всё. Она окинула нас невидящим взглядом и швырнула окурок вниз. На бедре у нее была татуха, запомнил я ее на всю жизнь. Это был увядший цветок, а под ним кривое такое «навсегда». Сама себе могила. Ну да, лучше про подъезд – он был старый, заплеванный, исписанный граффити.

Везде мне слышался шум, пахло травкой, блевотиной и

пиццей, отовсюду неслись эти запахи. Мэрвин помогал мне идти, хотя мне оно было не нужно, я сам, я сам.

Меня больше волновала все та же мысль: ну никуда мне от отца не деться, весь он со мной, во мне, и в зеркале он, и в словечках, которые я за собой даже не замечаю. От этого я, главным образом, чуть не плакал. А почетное второе место отдаем навязчивой головной боли. Но почему-то было не страшно. Умру, да и ладно. Да и калекой стану – так хоть жить буду.

Я протянул банку колы Мэрвину, тот сделал большой глоток.

– У мамы скоро хахаль приедет. Говорит, он из медленных, так она серийных убийц называет. Осторожный довольно, раскрутить сложно. На трассе такие не ловятся. Но он уже убивал. Она его хочет… гладенько убрать. А я так долго не спал. Хоть крови принесет.

Он вдруг мазнул пальцем по моему виску, облизал ноготь.

А в подъезде еще такая чернота была, каждая дверь – в темноту, в пустоту, да все липкое – ссорятся, ругаются, угрызают друг друга, всю жизнь в нищете, а чего хорошего-то?

Грязь эта не была опасной, но копилась потихоньку в будущее несчастье. И я впервые задумался, а кто из земных зверей это убирает? Коты – убивают, собаки – защищают, волки – очищают. Медведи вот разбираются со зверями, кто так грязью пропитался, что готов во всех вокруг стрелять там и прочее. Такое с земными зверями бывало – встал с утра, зарядил ружье да палишь, пока патроны не кончатся.

А потом говорят: псих, псих, псих.

Псих, да не совсем. Это сердце загрязнилось. Про лис вот еще знал, что они живут, как короли, все в политику суются, то явно, то тайно, обманывают, интригуют, чтобы уберечь людей от дурного. Говорят, и ядерную войну они предотвратили, но может и херня, бают, может.

Все такие классные, серьезные. А кто ж подъезды моет?

Мэрвин о своем о чем-то трещал, я и слушать не стал.

– Боря!

– Что?

– Ты чуть с лестницы не упал.

– Это от головы.

Крепкие мы уже стали друзья, с ним можно было не бояться, что правда упаду.

Жил Мэрвин на пятом этаже, я это понял даже до того, как мы поднялись, – запахло кровью. Человек бы не учуял, а я все понял еще за пролет до нужного этажа.

Вспомнилось мне мгновенно: я так долго не спал.

Глянул на Мэрвина, а у него синяки под глазами и такая бледность смертная.

– Слушай, а можешь потом ватку кровавую не выбрасывать? – спросил он.

– Да могу, чего там.

В дверь он звонил долго, пока не послышалось сварливое английское «иду, иду». Открыв дверь, мама Мэрвина тут же перешла на польский.

Она была рыжая, фигуристая, по ее лицу сразу был виден крутой нрав – но обаятельная – невероятно, как нос морщит, как улыбается. Кожа у нее была молочно-белая, а тело – подтянутое, с соблазнительными изгибами. От нее пахло дешевым парфюмом, запах шел главным образом от лобка, вместе со всем женским.

Выглядела она будто вечно голодна, что-то хищное было в разрезе ее глаз и в том, как с ее губ срывался этот шипящий польский. На ней был только атласный халатик, и она совершенного этого не стеснялась, тряхнула густыми волосами, глянула на меня хитрым глазом.

– Ванда.

Была она совсем молодая, и не скажешь, что она Мэрвинова мамка, может сестра.

– Привет, я Боря.

– Друг Мэрвина, – сказала она по-русски с заметным акцентом. – Я знаю.

Рука ее быстро коснулась моей головы, на ногтях у нее я заметил обгрызенный золотистый лак, совсем уж девчачьи лапки у взрослой все-таки женщины. Она была как тряпичная кукла, которой по ошибке пришили не те части – гладкие, детские руки с обкусанными золотистыми ногтями.

– Бедный малыш, – сказала она и добавила что-то на польском, так быстро, что я совсем не разобрал.

Она отошла от двери, впустила нас и скрылась в комнате.

Квартира была бедная, но все-таки скорее чистая. Запах крови, без сомнения ощутимый всеми не совсем людьми в округе, перебивал (да не до конца) оглушительный аромат благовоний. Под батареей стояли чисто вымытые банки – десяток, может.

Всюду была развешана одежда, даже на кухонном столе лежало какое-то блестящее платье. Со стен на меня смотрели прекрасными глазами всякие безупречные Девы Марии, изумительные, с прозрачными, крупными слезами. Не иконы – картины, но очень важные. На одной из таких картин я увидел отпечаток красной помады, след прикосновения в минуту отчаяния или надежды.

Мэрвин затолкал меня в ванную, совсем уж тесную, с

маленьким, замазанным белой краской окошком, отдающим чем-то далеким, советским, отцовскими рассказами о летнем лагере, может. На бортике ванной стояли всякие пахучие женские штучки – крема и гели, пены для ванны. В раковине валялась розовая одноразовая бритва, в ней запутались рыжие волосы. Я взял ее, понюхал. Сразу определил, какой у Ванды сегодня день цикла и почему она так привлекательна. Кто-то стукнул в дверь так сильно, что я вздрогнул:

– Борис, только недолго! – крикнула Ванда. – А то упадешь и сломаешь себе голову!

На русском она говорила медленнее, чем на польском, это придавало ее голосу роковой такой тягучести. Атас просто, я и про голову забыл.

Не спеша разделся и мыться полез, и мылся долго, несмотря на все Вандины увещевания, стоял под горячей водой, но дрожал все равно. Запах свой надо было сделать тише, и я мылил себя всеми гелями по очереди, чтобы вонять иланг-илангом, мороженым, да чем угодно.

Ну а чего теперь? Уйду, и не найдешь меня никогда, ну и все, и конец истории.

– Ты живой? – крикнул Мэрвин.

– Ага! Я скоро!

Но не скоро. Долго я намывался, и из-под душа выйти было страшно – сразу в какой-то холодный новый мир.

Мэрвин дал мне свою одежду, а Ванда налила горячего сладкого чая.

– Сотряс у тебя, – сказал Мэрвин, поцокав языком.

– Да ничего мне не будет.

– Ничего ему не будет, – согласилась Ванда. – Я так ударялась головой, о-о-о.

Она потянулась вперед, хрустнула косточками, локтями проехалась по платью, все еще лежавшему на столе.

– Отец тебя так?

– Ну да. Учился плохо.

– Учиться надо хорошо.

Она добавила мне в чай еще сахара, сказала на русском:

– Крыска-малыш.

– Крысенок.

– Иди в комнате полежи. Мэрвин, уложи его у себя, пусть поспит. Джастин-я-не-убиваю-на-первом-свидании сказал, что опоздает. Может, с хлороформом проблемы.

Она звонко засмеялась, с английского снова перешла на польский, заговорила обо мне, что я здесь долго быть не могу, и что Мэрвину тоже лучше не показываться раньше завтрашнего

утра.

У Мэрвина в комнате было хорошо – кровью здесь пахло еще сильнее, все стены были в астрологических картах и каких-то странных графиках, а на столе, среди комиксов, возвышалась коробка с хлопьями, с которой на меня смотрел широко улыбавшийся мультяшный лепрекон, он раскинул руки, и по дуге радуги от одной его ладони до другой бежали смешные штучки – сердечки, подковки, больше похожие на конфеты, чем на хлопья. Играли Deftones, но тихо, на грани слышимости. Я подумал, что для Мэрвина, может, все было довольно громким.

– Вот моя натальная карта, – сказал он. – У нас есть соседка, она астролог, учит меня. Я и твою могу заказать. Ты когда родился?

– В несчастный день.

– Бля, ты русский.

– Не, это цитата.

Я помолчал, потом добавил:

– Из пьесы про репрессии.

Мы оба так засмеялись, что голова у меня снова заболела, слезами обожгло, но я не расплакался, сел на кровать и уставился на натальную карту. Ничего схожего со звездным небом в ней не было, круг с какими-то линиями, углами – что-то скучное, геометрическое, ну хоть разноцветное.

– Слушай, не-не-не, об этом с тетенькой той говори, нет, не буду слушать, Мэрвин…

Но его было уже не остановить, он тыкал пальцем во все эти линии и точки. Что-то Мэрвин говорил про планеты, зениты, куспиды, дома, асценденты. Все это было бредовое и крутилось у меня перед глазами, а только закрой, и под веками тоже линии и звезды.

– У меня восходящий узел во втором доме и нисходящий – в восьмом. Я просто не могу довольствоваться тем, что имею, всегда чего-то ищу. Мне всего вечно мало. И я такой эгоцентричный, все в Раке завязалось. Вообще-то я ненавижу раков. А ты кто?

– Я Овен, блин, и ты меня задолбал.

Я лег на его кровать, а на потолке у Мэрвина тоже были звезды, от судьбы-то не уйдешь. Ну и чего? Ну и слушал я его болтовню и засыпал, а у него все Юпитер, все Венера.

– У мамки твоей венера, – пробормотал я, а ведь даже не знал, поймет Мэрвин мою шутку или нет. Заснул я быстро, хотя слова Мэрвина и казались мне непривычно громкими: что-то директное, что-то ретроградное.

Проснулся я от жгучей боли в виске.

– Ой, прости! Я забыл тебе обработать.

Мэрвин прижимал ватку к моему виску.

– Ты, сука, больной!

– Сам ты, сука, больной.

Мэрвин отправил окровавленную ватку в рот, пожевал ее, выплюнул, на секунду закрыл глаза.

– Ну и нам с тобой пора. Мама сказала, что Джастин-я-не-убиваю-на-первом-свидании уже в пути.

Как гробик на колесиках. Я встал, отряхнулся, словно лежал на земле. Все было такое смутное, тоскливое, беспросветно-темное, не дай бог такое чувствовать еще хоть раз, ни один отходняк, ни одно похмелье, ничто не сравнится.

– Ты тоже уходишь?

– Ага.

– А ты где будешь ночевать?

Мэрвин мне подмигнул.

– Увидишь.

– Я с тобой пойду.

– Ну да, я на то и намекал. Потому и увидишь. Поедем с тобой в Санта-Монику. Там хорошо.

– К друзьям твоим?

– Ну да.

Он снова поднял ватку, потянулся ко мне.

– Ну уж нет, убери свои слюни, урод!

А через пятнадцать минут Ванда выставила нас за дверь, дала нам бутерброды с арахисовым маслом и джемом, велела не шалить, и все такое. Ну, выкинула, короче, на улицу, меня-то ладно, я ей вообще кто? А собственного сына – тоже выставила.

– Завтра приду, – сказал Мэрвин. – Посплю хоть.

– А ты когда спишь после крови, ты сны видишь?

– Такие сны вижу, в том-то и суть. Я тебе как-нибудь потом расскажу про такие сны.

Двигаться мне стало намного легче. Теперь совсем стемнело, и я шел между огнями, это было все, что я знал. Мэрвин ссал мне в уши по поводу кроличьих лапок, типа почему это может реально работать.

– Короче, тут суть в чем? Животное маленькое, его душа, она такая слабая, но на тех весах, где все рассчитывается, и одной пушинки может хватить. Хочешь сахарной ваты? А я хочу!

Меня от одной мысли тошнило. Я был неразговорчивый, хмурый и все пытался вспомнить, Санта-Моника это район или город. Мэрвин сказал:

– Слушай, а ты его любишь?

– Не люблю я его.

– Ну он же отец твой. Вот без него бы тебя не было. Как он тебя бить-то может?

– Ой, как же рука поднялась, как сердце не дрогнуло, жалеет теперь, небось, кровиночку, плачет горько-горько.

– Да не юродствуй.

– Не ерничай.

– И не юродствуй тоже.

Мы все плыли по морю огней, в жарком, обволакивающем вечере, и Лос-Анджелес, курортный мегаполис, ну как еще сказать, душил меня со всех сторон.

– Меня вот мама никогда не била.

– Ты крутой.

– А чем он тебя?

– Да хуй знает.

– А искать тебя будет?

– Это я уже не знаю, чего ему в голову взбредет.

А чего меня искать? Так мы накрепко с ним связаны. Сам найдусь. Я уже тогда это знал, только убеждал себя зачем-то, что новую жизнь начну. А где? Ну, я не заморачивался. Все шло как по маслу, никуда не спеша, словно просто проходя мимо одной из остановок, мы сели в автобус, просторный, больше похожий на туристический, с мягкими, обтянутыми тканью, а не кожзамом сиденьями. И вправду, Мэрвину везло, все ему просто давалось.

В безжалостном, ярком свете, в салоне автобуса, лицо его было совсем дерганым, взвинченным, глаза горели, и он все время их тер. Странные мы были ребята, такие ненормальные. Устроились позади, в полумраке, где толстая негритянка вязала какую-то шерстяную фигню.

– У ней глаза красивые, – сказал я.

– Да у них у всех такие. Блестят еще, шарики прям для бильярда.

Мы любили обсуждать всех вокруг на дурной смеси из польского, украинского и русского, чувствовать, как между нами и всеми остальными возводится такая специальная стена. Поплыли огни, мы тронулись.

Я, блин, тронулся, сумасшедший вышел день.

Через весь салон автобуса были протянуты ярко-желтые шнурки, пассажиры дергали за них, и автобус останавливался.

– Я б на таком повесился, – сказал я.

– Да я б уже на любом повесился.

– Потому что мы мрачные славяне.

– Это точно. Слушай, там такой пляж. Только купаться сейчас пока никак – вода плохо нагревается. Но есть долбанутые. Всегда находятся.

– Я в океане еще не купался. Ты б про друзей рассказал. Где они живут?

Мэрвин помолчал, потом выдал:

– Ну, они классные.

– Тупой ты местами.

– Тупой и еще тупее.

Мы ели сэндвичи с джемом и арахисовым маслом, следили за пробегавшим за окном Лос-Анджелесом. Люди входили и выходили, усталые, занятые самими собой. Мне захотелось затянуть какую-нибудь песню, ну настроение такое было. Думал еще, совсем башкой ударился.

А лампы наверху, от которых шел тот безжалостный свет, про них я мечтал, чтобы хоть одна перегорела. Мэрвин слушал музыку, читал смс-ки, а я снова стал спать, еще на границе между реальностью и сном, когда запахло курочкой из KFC, дешевыми духами и намного сильнее, чем прежде, морем, я осознал, что нахожусь посреди какого-то прекрасного приключения.

Я уезжал неизвестно куда и знал только, что увижу океан, в котором еще нельзя купаться. И стал я таким радостным, таким легким. Ну вот, теперь свободен, и такая ночь у тебя впереди, вот такая – здоровенная, темная, морская. У меня было радостное предчувствие, как прежде, Матенькина воля была, чтобы мы странствовали и всюду себя распространяли, и я ее исполнял.

Я был молодым и даже маленьким, и теперь у меня были достаточно теплые ночи, чтобы гулять до утра. Я не был один. И я не боялся.

А приснилась мне мамка, ну разумеется, и моя кровавая голова. Мамка меня утешала и пела мне по-украински, а потом оказалось, что это я сам себя укачивал. Затем снились мне они с папашкой. Я когда маленький был, проснулся ночью, ссать хотелось и холодно было, а они стоят в коридоре и целуются. Он ладони прижимал к ее лицу, как к огню, называл ее тихонько котенком и солнышком, в губы целовал. Никогда я его таким не видел, сумасшедший он был совсем, а мамка тихонько смеялась, они в постель, наверное, хотели.

Такими мне и приснились.

Очнулся от толчка.

– Боря, быстрее!

Мы выскочили из автобуса, голову еще покружило, да и успокоилось все. Стояли на остановке, вся она была в окурках, а вокруг – три пальмы. Покурили, потупили. Мимо нас прошла растрепанная тетенька, у которой все руки были в кошачьих царапках. По крайней мере, мне хотелось так думать, что это она не спицей себя, не тонкой иглой.

Говорила тетенька сама с собой, сама себя хвалила. Где-то уже шумело море, то есть даже океан. Мэрвин спросил:

– Тебе кошмар снился?

– Да не совсем.

– Вот ты спрашивал, чем занимаются летучие мыши.

– Слушай, я еще спрашивал, почему ты кровь пьешь. Я знаю, что есть летучие мыши, которые вампы, но то ж не в Польше.

Мэрвин засмеялся:

– Я даже и не знаю, отец у нас, летучих мышей, или мать, но думаю, задумывалось, что все будут вампиры. У сестер с братьями и рожи вампирские. Но что-то не так пошло.

Так я опять проебал момент, когда его можно было обо всем расспросить. Мы выбросили окурки в урну, я глянул на карту, но мелкие буквы в глазах расплывались, особенно в таком слабом свете.

– Я им написал, что встретимся с ними на нашем обычном месте.

– Ну, чего ты мне говоришь, можно подумать, я их знаю или место ваше обычное?

– Да ты и меня нормально не знаешь.

Остановка, надо сказать, такая была – минимализм. Один столб с железной шляпкой что твой гриб. От ветра точно не спасет. Может, чтобы бомжи тут не спали, чтобы принципиально неудобно было, неуютно. Мы тоже оттуда быстро убрались. Городок был, казалось, даже более шумный, чем Лос-Анджелес, здесь заметнее выделялись туристы, больше торговали фенечками и кепками. Домики зато были еще меньше и приземистее.

– Ребятки уже расположились, небось. На Третью идем, а оттуда на пляж, – говорил Мэрвин. – Вообще-то он огромный, без меня бы ты потерялся.

– Да уж куда мне без тебя, точно бы потерялся. Пошел бы вышибалой в клуб работать.

Музыка всюду гремела, люди шумели, но самым странным образом мне было уютнее здесь, чем в Лос-Анджелесе. Там я всем был чужим, и это угнетало. А тут такая карнавальность была, несерьезность, осознание того, что все мы тут туристы, в Санта-Монике, и даже больше – на этой земле.

Вдалеке сиреневым сияло колесо обозрения, горело на фоне темного неба. И здесь были видны звезды, огромные звезды, как сотни самолетов и спутников. В Лос-Анджелесе как-то без этого обходилось, сплошное небо да мутное.

– Я на колесо посмотреть хочу.

– Мы мимо него и пройдем. Блин, тут в том году была лавка с какой-то экзотской едой.

– Типа скорпионы, то да се, шелкопряды там?

– Ага! Закрыли, видно.

Такой близости, как сегодня, я с Мэрвином никогда не чувствовал, мы были с ним братья, совсем уж.

– Тут дальше, кстати, даже несколько домов типа как из нашего с тобой постсоциалистического мира есть. Только белее.

– Прикольно. Типовая застройка?

– Ну как бы. Тут в основном туристы и обслуживающий персонал, богатеньких не особо любят.

Хипповатые черные толкали поддельные «Ролексы», и я подумал, что стоило бы сорвать отцовский настоящий. Вдруг бы я успел? Ох, сейчас бы все пригодилось. В кармане у меня трясся один только четвертак, новенький, сияющий, но это было в целом бесполезно.

Одна иллюзия, никакой радости. Вот и я – ничего путного из меня не вышло. Брожу, хожу тут по крошечному, утыканному пальмами городку, без понятия, что с собой делать: башка ушиблена, друг лучший все ищет своих скорпионов и сам Скорпион.

Но мне все легчало и легчало, пока мы шли по Третьей. Я смотрел на веселых туристов с бокалами, в которых разноцветно блистали коктейли, смотрел на неоновые вывески, на расторопных официантов в снежно-белых рубашках, почти светившихся в темноте, на маленькие пятнышки газона в центре пешеходной улицы, в которых притаились окурки, на жутковато изогнутые манекены с гладкими, безглазыми лицами. Все было ново и чудно, я только здесь почувствовал вкус Америки – шлюховатой, пьяноватой, но неизменно очаровательной. Ночной.

Ой, а как все шумели, галдели в очереди за мягким мороженым, как по волшебству набиравшемся из автомата – шоколадно-ванильное, шоколадно-клубничное, ванильно-клубничное, что захочешь с любой посыпкой, будущее рядом! Мне хотелось купить мороженого да приложить его к своему горячему лбу. Мы прошли мимо старомодного кинотеатра с кабарешной вывеской и черными буковками в белых, словно из школьной прописи, линеечках – не только будущее рядом, но и прошлое.

Я глазел и глазел, у меня не было сил разговаривать, но мне все легчало, поднимало меня надо всеми этими огнями, как бы во сне. Из пастей пускали подсвеченную разными цветами воду смешные динозавры, пальмы колыхал легкий ночной ветерок.

Зима, но лето, будущее, но прошлое. В одном сегодняшнем дне было все, и я всему радовался. Ну кто свою долю знает, кто угадает? Кабы папашка мне не двинул, не было б такой волшебной ночи. Расчувствовался я, да и сказал Мэрвину:

– Спасибо.

– Да и не за что особенно. Короче, у нас там Восточный блок. Панславизм.

Он засмеялся старой шутке, которую я не знал.

– Мы сошлись-то, потому что на улице тусовались, на похожих языках разговаривали, короче, много общего было.

– А девчата есть?

– Девчонка. Одна.

– Прикольно тогда. Они как вообще? Ну, дружелюбные?

– Очень.

– Вот ржака, понаставили динозавров, типа Парк юрского периода.

– О, обожаю этот фильм. Сегодня, кстати, благоприятный день для новых знакомств.

– Ну, хорошо у меня судьба сложилась.

Мы свернули на пляж, и я в первый раз в жизни увидел океан. Разумеется, мне захотелось сразу окунуться. Это же большая вода, бесконечная почти, я ее и представить не мог.

Вот море – это просто, ты его хоть мыслью, а охватишь. С океаном сложнее, такая это в сущности необъяснимая вещь – откуда столько воды, не до горизонта, а дальше, в самую мякотку бесконечности, в вечность.

На пляже было полно пьяных студентов, продавцы с еще большим количеством дредов на голове продавали тут еще больше цацок. Так меня этот вечер заворожил, в такое детство закинул. Захотелось подарков, захотелось чего-то на память. Тупорылое такое было желание – что-то отсюда сохранить: от головы пробитой (ну преувеличил чутка, это для драмы), от огней, тонувших в чужих коктейлях, от лучшего моего друга, от каждой звезды на небе.

Наклонился я к чернокожему мужичку, у него по губе такой шрам шел – длинный, большой, вспухший, а в остальном выглядел он поприличнее меня, пах свежо, мылом и травой. Футболка на нем была застиранная, когда-то разноцветная, а теперь – с проседью, и торговал он феньками. Такими, ну, вроде тех, которые школьницы делают. Узоры какие-то психодельные, слова там, типа «мечтай» или «ноябрь», короче, чушь вроде, для торчков и девчонок, а захотелось.

– Привет, мужик. Слушай, у меня четвертак есть. Хватит за феньку?

Я не знал, много это было или мало, но готов был отдать все. Типа гуляй душа. Смешно, конечно. Но четвертак в кармане мне погоды в новой жизни не сделает, я знал.

– Хватит, – сказал он. – Выбирай любую.

Глянул вдруг на меня другим взглядом, скользнул по виску моему да сказал:

– А хотя нет, не выбирай.

Дал мне черно-красную, с узором каким-то заумным, и как они только плетут их так.

– Эту держи.

Я на нее смотрел, смотрел, из узоров вроде и образы вылезали, а не совсем – острые такие, негармоничные были линии. Что-то австралийское во всем этом проглядывало на мой неискушенный в плане Австралии взгляд.

– Это полинезийский оберег, – сказал он. – Для счастья, для удачи, для всего. Но главным образом, чтобы плохие вещи не случались.

– Спасибо тебе, мужик, – сказал я.

Подумал: расплачусь сейчас, так мне приятно стало. Протянул ему четвертак, а он мне еще и сдачу дал. Сунул я монету в карман, нацепил феньку, и она показалась мне теплой.

– А что у вас тут еще на удачу есть? – спросил Мэрвин. – Ну-ка, ну-ка.

Закупился он хорошо, весь браслетами обвешался.

– Слушай, они у тебя не перебивают друг друга? Ну, энергиями. Ангелы там со счастливыми девятками, подковки и обереги австралийские?

– Не-а. У них ку-му-ля-тив-ный эффект.

Отошли мы уже довольно далеко, когда до меня дошло, что монету мне вернули тяжелее, чем я дал. Достал ее из кармана, обнаружил пятьдесят центов вместо двадцати пяти. Монетка была не новая, не блестящая, затертая.

Мелочь, а приятно. Не без добрых людей мир. Так я того мужика и не поблагодарил никогда.

Дошли до горок, больших, изогнутых, как на брошюрке из «Трансвааль-парка», которую папашка как-то из Москвы привез и пообещал, что сводит меня туда, а потом там такая трагедия произошла, и так мы с ним переживали у телика, так было страшно.

Нет уж, к горкам я б не подошел. Хотя – что горки? Не было ж крыши, одно открытое небо. А вот колесо обозрения меня еще издалека зачаровало подсветкой своей сиреневой, каждая спица сияла. А уж как этот неоновый свет влажно на песок падал, как сглаживал все, какая аметистовая была вода. Я остановился и некоторое время смотрел на пирс, держался он на деревянных сваях и был, по сравнению со сверкающими конструкциями, таким древним и таким неказистым. Заканчивался ничем – ни теплоходика тебе, ни лодочки, уходил в пустоту.

– Пошли покатаемся, – сказал я.

Моих пятидесяти центов как раз хватило на два билета, и мы сели на колесо обозрения. Я смотрел на Мэрвина, от подсветки он был весь фиолетовый, так улыбался, и нас качало. Я видел всю Санта-Монику, но, главное, я не видел конца океану. Огромная передо мной простерлась гладь, невероятная, черная. Я видел, как зарождаются волны, которые набегают потом на берег, уже совсем маленькие – весь их жизненный цикл.

Я все заценил.

– Охуенно, а? – сказал Мэрвин, потом поправился: – Охуительно.

– Да неважно, и так и так правильно, на самом деле.

Он откинулся назад, сцепил руки за головой.

– Вот это я называю жизнью. Делаешь что хочешь, никто тебе не указ.

Бессонное беспокойство из него испарилось, осталась легкая взвинченность, не раздраженная, а скорее даже наоборот.

– Гармония в природе, – сказал я. – Всему свое место, всему свое время. Кажется, пора будет в могилку лечь, так я сам лягу. Все так правильно.

– Опять ты про свои могилки. О жизни надо думать.

– Как урвать побольше?

– Ну хотя бы об этом.

И я был с ним согласен. Мы остались на второй круг, долго разводили руками перед разъяренным прыщавым студентом, грозившимся отвести нас к копам.

– Извините.

– Мы же случайно! – сказал я. – Больше не будем! Ну, может, не случайно, но такая нам радость была!

Выгнал он нас к херам, и пошли мы дальше. Я б так вечно шел. Мэрвин то и дело находил ракушки, слушал их, надеясь застать внутри море.

– Слушай, а почему так? Ну откуда в них шум этот?

– Да кто его знает, физика небось.

Я почему-то совсем не переживал, что друзьям Мэрвина не понравлюсь. Знал, мы поладим.

Значит так, пляж был очень длинный, почти бесконечный, и чем дальше, тем меньше становилось пьяных студентов, и музыка уже не заглушала волны. Прилив был ласковый, все выносил и выносил на берег камушки – куриных богов. Мэрвин их тоже собирал, полные карманы набрал.

А они, кого мы искали, обнаружились у костра. Что-то у них такое было вроде самодельного мангала, огонь был неприрученный, взметался высоко. Из старого кассетного

проигрывателя с хрипами доносилась эмоциональненькая рок-музычка.

От девчонки – я на нее глянул сразу, и она мой взгляд встретила спокойно – не по-девчачьи пахло беременностью. Красивая она была, неухоженная, конечно, а природу не спрячешь – скулы высокие, большие, светлые глаза. Такая крашеная блондинка с отросшими корнями, вся вроде хрупкая, но хваткая, видно, что и укусить может. У нее были удивительные губы – лук купидона, или как это там называется, такой аккуратный, с глубокой ямкой, губы кинозвезды, губы царевны. На ней были драные джинсы и мужская толстовка, сбитые костяшки пальцев придавали ей сходства с мальчиком, а ведь какие ручки изящные.

– Марина, – сказала она по-русски. – Мэрвин сказал, что ты русский. Я из Питера. Была.

– Боря. Я из Снежногорска.

Она продолжала смотреть на меня, и я пояснил:

– Это Красноярский край. Рядом с Норильском. Сибирь.

Она была мне ровесница, но взгляд был старше, жестче, я у себя такого в зеркале пока не видел. Держалась она настороженно.

– О, прикольно, типа сибирский мужик. Сколько медведей заборол?

У мальчишки, который это сказал, был сильный, яркий украинский акцент.

– А ты сколько сала сегодня съел? – спросил я на украинском.

Он засмеялся, открыто и весело.

– Говоришь хорошо, но акцент москальский. Я Марины брат. С Киева.

– Кино индийское. У меня мамка с Ивано-Франковска была.

– Ой, рагулей ненавижу. А по тому, как говоришь, я бы сказал, что ты максимум с Харькова. Я Андрей, короче.

Он был Марине брат и полная противоположность. Весь такой неколючий, неострый, с открытым, светлым лицом, тоже красивый, но по-другому. Глаза у него были распахнутые, сверкающие, неунывающие, темно-серые, в лице какая-то бесхитростность, подкупающая наивность. Он то и дело расстегивал и застегивал куртку с ярко-желтой подкладкой, сигнальную такую, в темноте хорошо видную.

– Еще кое-кто есть. Самое интересное впереди, – сказал Мэрвин загадочным, по-польски игривым тоном.

Он отошел к огню, водил над ним руками быстро, чтоб не обжечься, словно колдовал. Всем своим видом он демонстрировал, что не мешает мне знакомиться с Мариной и Андреем.

– А как так оказалось, что вы брат с сестрой?

Марина пожала плечами:

– Усыновили. Мы, причем, взрослые были довольно-таки. Оба думали, повезло.

Андрей сказал:

– Ага, короче, привезли нас в Миссисипи. Юг, блин, все дела, комаров дохерища.

– Точно, а по лавкам таких, как мы, у родителей было семеро. Типа со всего света, один даже из Чада. Ты знаешь такую страну – Чад?

– Озеро знаю.

– Вот вокруг него вроде. Короче, мы с Андрейкой быстро поладили.

И рассказали они мне, что воли им там не было. У Марины биологические родители были алкаши, а Андрейка – отказник, так что и у него тоже, небось. Они любви мало видели, думали, в Америке хорошо будет.

– Думали, – говорил Андрейка, – в малине будем. А там никакой любви, одна дисциплина.

– Ты не думай, – сказала Марина. – Нас не то чтобы насиловали. Но били часто. За любую провинность. Нам и надоело, мы взяли и сбежали. Мы ж вдвоем. Чего нам бояться?

А я все думал, ты беременная-то от кого? От Андрейки, от Мэрвина, от третьего вашего? Знаешь вообще, что у тебя ребеночек будет?

– Короче, – сказал Андрейка. – История нормальная такая.

– Ну, не как у всех.

– Я еще твою послушаю, – сказала Марина. – Ну и вот, мы полтора года уже тут тусуемся. В хорошие ночи на пляже отлично. Копы не гоняют, думают, веселимся тут, а не живем. Главное, перемещаться каждую ночь. Как холодает – тут сложнее.

– Жить можно, если знать всякие штуки.

И вправду они были как брат и сестра, мыслями соединились, заканчивали предложения друг за другом.

– Сейчас еще один придет, – сказал Мэрвин. – Тебе такую историю расскажет – закачаешься!

Вот Мэрвин откуда немного русский знал, теперь-то я понимал. Марина вытащила из кармана телефон-раскладушку, хорошенькую красную «Моторолу», для ее положения так вообще роскошную.

– Напишу ему сейчас.

Андрей и Марина были уютные. С ними оказалось легко и просто, будто мы были давно знакомы. Зашибись после такого тяжелого дня – вообще не напрягаться. Сидели у костра на

мягком, чуточку влажном песке, разговаривали, пили дешевое вино с клубничным ароматизатором. Мимо прогуливались люди, но мало, досюда редко кто доходил, далековато было от центра.

Потом я почуял, как запахло небесной птицей и озоном, озоном даже сильнее. Мэрвин поднял палец вверх и объявил:

– Сейчас будет битва драматических историй.

– О, точняк!

– Крутота!

Я Андрею и Марине немножко про себя рассказать успел, и они загадочно переглядывались.

– Новая русская драма.

– Вот это чернуха!

– Скоро познакомишься с новой белорусской драмой.

– Старой белорусской драмой.

Короче, был он долговязый, тощий, как я, с деревенским, смешным носом и светлыми, как вода, глазами. Вид у него был так себе, ну поехавший, конечно, безнадега какая-то характерная. На нем были треники и белая майка с выхваченными плечами, от холода он был бледный и весь дрожал, губы чуточку посинели. В руках он нес куртку, в которую, как оказалось потом, завернул сосиски, сливочный сыр, бутылку кетчупа и пакет с бейглами.

– Это Алесь, – сказал Андрейка.

– Алесь? – переспросил я. – Типа кличка? Или это как Олеся?

– Это в честь Адамовича, – ответил Алесь. – Его моя мама обожала.

Акцент акцентом, но слова он тянул вообще как-то не по-земному.

– Ну, – сказал он. – Я накрал всего. Будем есть.

Алесь ни словом, ни взглядом мне не показал, что понял: мы с ним все одно – дети духа, или как там мисс Гловер говорила. Ему это было все равно, у него был мечтательный, уходящий вид.

Мы стали жарить на костре сосиски, проткнув их ветками, которые Мэрвин натаскал. Пахло вкусно, и сосиски эти пузырились, взрывались даже, брызгали соком. Мы почему-то (и уже не вспомнить, почему) сильно над этим смеялись.

Сейчас уже думаешь, во ржака-то, сосиски пищат, как животные, но дети ж тупые.

Пока мы так угорали, Алесь рассказывал вообще не смешную историю.

Был он, значит, из Хойников, которые почти что зараженная территория, а Алесь говорил, что вообще-то и зараженная на самом-то деле, что условно это все про тридцатикилометровую зону, нет такого, что за ней потом – раз, и никакой радиации сразу.

– Радиация, – говорил Алесь, – не ребенок, который играет в игру и не заступает за границу. Она в игры вообще не играет.

Спорить с ним было сложно, да и не нужно, все он правильно говорил, только был чудной.

Ну и, короче, отца у него не было, умер еще до рожденья Алеся, а мать болела от Чернобыля, но такая была пробивная тетенька, так сына одного не хотела оставлять, что ходила по всем инстанциям, всего добивалась, доказывала, что пострадала от Чернобыля, да и отправилась в итоге на лечение в США.

Тут и умерла.

А Алесь домой не хотел, возвращаться ему было не к кому, вот он и сбежал. Он верил, что его мать этого хотела. Что она приехала сюда умирать, чтобы он не остался в Хойниках и один. Но один-то он в итоге остался, конечно.

– Я, – сказал Алесь, – из места, где все потихоньку умирают, раз-раз-раз, и нет никого. На кладбище все.

– О, тебе там бы понравилось, Боря. Твои любимые могилки, – сказал Мэрвин.

А мне Алеся было до слез жалко – мамку свою потерял и один остался, а отобрала у него все невидимая грязь – радиация.

– Тут не угадаешь, – сказал Андрейка. – Повезет-не повезет. У нас в детдоме дети больные по этому делу были.

– Никогда не знаешь, – сказал я. – Мамку мне твою жалко. Такая она молодец. Столько в ней сил было. Это жить на чужой земле легко, а умирать – сложно.

Марина усмехнулась, Мэрвин пожал плечами, он, когда я про землю разговор заводил, всегда был очень недоволен. У него-то своей не было, он свою не видел никогда.

А сосиски были вкусные-вкусные, мы их в сливочный сыр макали и зажимали бейглами, чтоб не горячо было.

– Да, – сказал Алесь, глядя куда-то сквозь меня. – Она была самая сильная и самая лучшая, живет теперь с ангелами на небе.

– Ты что, в ангелов веришь?

– Не верю. У нас в семье их называли по-другому.

Слово «семья» он выделил, и я понял, что Алесь говорит о каком-то виде птиц.

– Говорят, растворяются они. Во всем – в земле, в воздухе, в дереве прорастают.

– Дышим, что ли, мертвецами? – спросил Андрейка.

– Как-то это совсем уж мрачно.

Алесь пожал плечами. Для него в этой идее ничего мрачного не было.

– По частичке мать разъялась, и теперь везде. Она мне говорила, что грустить не надо. Что она в этом мире, и я в нем, и

никто никуда не уходит.

А моя мамка ко мне ночами приходила, мертвая, не разъятая. Я не знал, во что лучше верить.

О смерти мы не стали, уж больно вечер был хороший. Вдруг принялись вспоминать дом, он был у каждого свой, и в то же время в каком-то смысле на всех один.

Если о жаре, ледяном чае, увитых плющом стенах домов в Миссисипи Андрей и Марина рассказывали с какой-то отстраненностью, даже скукой, то теперь передо мной оживали прямые и строгие улицы Питера, черная Нева, зеленые с белым дворцы, причудливые сфинксы, вся скорбь, вся аристократичность, все раскрашенные подъезды, фонтаны и расходящиеся мосты, тайные кафешки, о которых знают только местные, и цветочные лавки и книжные магазины, работающие круглосуточно. Оживал и Киев, розовато-серый по утрам, шумный, живой, весь в каштанах, с широким Днепром и набережными, на которых продают вкусный-вкусный кофе навынос. Хойники были похожи на Снежногорск, не в пример южнее, а застройка та же, только много, как сказал Алесь, «таких типа усадеб», и есть желтый кинотеатр, размером с магазин, а так-то все такое же маленькое, образцово-советское.

Мы сидели на берегу Тихого океана, в Лос-Анджелесе, на краю земли, все в ярких пятнах от огня и, проливая на себя американское вино, говорили о городах, по которым скучали.

Все вокруг было киношное, невероятно нереальное, и мы были нереальными, а где-то далеко, за океаном, и даже не за этим, было наше место. Мэрвину все это, ясное дело, было скучно и тоскливо, он курил сигарету за сигаретой. А я тоже рассказывал о Снежногорске, о полярной ночи, полярном дне, о вертолетах, тайге и продмаге, обо всем на свете. Ну, обо всем, что и было моим миром.

Всех нас бросило в это американское, неоновое море, и места, которые мы оставили, казались светлыми, дневными.

Такие мы стали близкие от всего этого.

– Всё, – сказал я, – можно переподписать, что там в Беловежской пуще наподписывали. Другой документ давайте.

Они засмеялись, и я неожиданно добавил:

– Вообще-то я не знаю, как все должно быть, но меня назвали в честь Ельцина.

– А я, – сказал Алесь, – в капитализм не верю, он мне маму не спас.

– Монархия должна быть, – сказал Андрейка. – Вот я при одном условии согласен опять в империю, если будет царь. Царь – это красиво.

– Монарх от Бога. А я в Бога не верю, – сказала Марина. – Но, может, хорошо бы верить. А вы как думаете?

– Я думаю, – сказал Андрейка, – у нас будет как на Западе, как в Европе. А про Бога не знаю, я его не видел и не увижу.

– Может, увидишь, не зарекайся.

– А я думаю, – сказала Марина, – что скорее будет как в Америке. Типа более дикий капитализм.

– Ну, – я пожал плечами, – мне кажется, вообще-то по-другому будет. По-другому, иначе, чем у всех. Мы ж не такие, ни азиатские, ни европейские.

– Мы ближе к Европе все-таки.

– Да, по вам монголы потоптались.

– Вы забыли Польшу! – крикнул Мэрвин, и мы стали смеяться.

Я эту шутку Буша слышал уже миллион раз, и она наконец стала смешной. Говорили еще долго, пока небо не порозовело и не стало холодно. Уснули, завернувшись в свои куртки, Алесь и Андрейка, Марина растянулась на песке, обняв себя, а мы с Мэрвином все сидели. У меня опять начала кружиться голова.

– Ты как?

– Не могу спать.

Смотрели, значит, какое небо – клубничное мороженое, ну серьезно.

– А хочешь?

– А ты как думаешь?

Я встал и поднял с песка перочинный ножик, которым вскрывали упаковку сосисок.

– Чего, зарежешь меня, дикий русский?

Я только усмехнулся, снова сел рядом, резанул себе ладонь и прижал ее ко рту Мэрвина. Он сначала удивился, округлил глаза, ужасно ржачно, беззащитно выглядел, а потом так впился, что больно стало, вытягивал кровь, высасывал, вгрызся, как безумный, и я видел, что глаза у него закрывались, закрывались. Он так и заснул – просто весь расслабился, уронил голову. С носа у него сорвалась капля крови, прям на песок. Я толкнул его назад, он не проснулся, только всхрапнул.

Сам я тоже лег, дрожал и дрожал, мне было холодно, и небо опять кружилось. На рассвете, все еще не в силах заснуть, я открыл глаза и уставился на океан. Увидел там маму, она сидела в воде, и волны омывали ее.

– Боречка, – говорила она. – Ты – это не только он, ты – это и я тоже. Ты же знаешь? И я тоже.

Протянула ко мне руку, и я знал, распухли у нее, размокли кончики пальцев, как из ванной вышла. В утреннем, слабом свете

она была совершенно мертвая, ни кровинки в ней. И я вдруг вспомнил, как папа, целуя ее зубки да косточки, говорил:

– Только не бойся, Катечка, господи, как же я тебя забуду?

Я, наверное, это вспомнил, потому что отчетливо почувствовал отцовский запах поверх того, который источал мне океан. От этого или нет – а все-таки уснул.

Глава 7. Ой, темно

Так, ну тут сложно. Значит, у отца бабушкиной матери, ну той, которая жиденка спасла, брат был. Человек-то хороший, жалко, что рано сошел с ума.

В общем, он-то в Гражданскую воевал за красных, за равенство, за братство и за свободу всякую. Верил, что можно человека перешить, человека перелопатить, что станем все жить одной семьей, полюбим слабых, а сильных на хую вертеть будем.

Что станем все одинаковые, а тогда и заживем. Он был истовый коммунист, в Маркса верил, как в Бога, а Бога не боялся. Не был он циником – это для нас, крыс, редкость. Когда слышал о чужом горе, у него слезы сами лились, такая у человека душа была.

На Гражданской войне он увидел все – кишки и красные звезды, все зверства этого мира. Вернулся с медальками, поносил, поносил их да отдал своей дочери играть.

– Столько в мире боли, – говорил. – Ой, темно. И я ее увеличил, усложнил.

Такая у него вина была, стал с ума съезжать, ходил по кладбищам да смотрел, что на надгробиях пишут. Очень все точно подмечал: в землю не докричишься, такие отчаянные там слова любви, а не слышит уже никто.

Бросил жену, детей бросил, стал на кладбище жить. Вокруг коммунизм вдруг начали строить, как он мечтал, а мужик спал на могилах и грезил о том, что все закончится, вся эта мелочь да суета, и наступит покой.

Так и говорил:

– Покой один, вот что важно. Когда будет по всей земле покой, как на кладбище, тогда и коммунизм наступит, и Царствие Небесное.

Плакал горько, вспоминая мальчиков с дырами в животах, от штыков, значит. Плакал горько, вспоминая замученных голодом детей. Все плакал, хотел, чтоб глаза высохли.

А по ночам могилки мертвых копал, очищал их, значит, чтобы погань не лезла. В него за это кто-то стрельнул, в живот попал. Два дня умирал, а знаете, что говорил:

– Ой, темно. Кишки крутит. Ни во что не верю, верю только в смерть.

Стал под конец жизни как мы все, нашей стал породы.

Я про него сразу вспомнил, потому что с утра меня блевало и слезы текли, и небо, светлое – ни облачка, но какое-то очень холодное – пошатывалось. Зато умывался я океанской водой.

Соленая такая, ух ты, и чувство от нее удивительное – часть чего-то огромного у тебя в ладонях.

Мэрвин спал в той же позе, и, вообще-то, положа руку на сердце, сон его был больше похож на смерть. Я подошел, подставил ладонь, ощутил его слабое, теплое дыхание. Нормально.

Марина с Андреем тоже еще спали, а Алеся я нигде не видел. Алесь, блин, угарный такой. И как ему таким жить?

Отцовского запаха я больше не чуял, вернее, он был, но далеко. Краски того дня помнятся такие слабые – утренний пляж, все пастельное, песок, светлое небо без высокого солнца, прозрачная гладь океана. И зябко так, я с тоской подумал, что мог бы в постели проснуться, мог бы в теплую ванну залезть.

– У тебя может быть сотрясение, – сказал Алесь. Он возник словно из ниоткуда, не было его, пустой пляж, все спят лежат, а тут вот он, рядом со мной стоит. Как так?

– Сотрясение, наверное, – сказал я. – Голова болит и кружится, блевать тянет. А что делать?

– Не знаю, у меня не было сотрясения.

Мы так стояли, и ветер, несущийся с воды, пронизывал нас до костей.

– Но вообще-то, – сказал он, – тебе надо к Ширли. Я адрес дам. Она многим нашим помогает. Знаешь, что в ней отлично? Она тебя не выдаст, ни ментам, ни врачам, никому на свете.

– Надежная девчуля? Она кто вообще?

– Говорит, что вольный волонтер. Студенточка медицинского.

Я порылся в кармане, достал сигареты, протянул пачку Алесю, и он легким, но каким-то механическим движением вытащил сигарету. Мы закурили. От табачного дыма меня мутило, головокружение становилось сильнее, но зато мир чуточку прояснился, я просыпался. Курил Алесь тоже странно, затягивался очень глубоко, закрывал глаза и долго выдыхал дым, весь воздух выдыхал, до легкого свиста.

– Слушай, а как это – быть птицей?

– А крысой как?

– Я ж первый спросил, ты ответь.

– Не знаю. Вот я Алесь, откуда я знаю, как быть еще какой-нибудь птицей? Я – аист.

– А что аисты делают?

– Летают.

Сука, абсурд какой. Я даже разозлился.

– Нет, что для мира делают?

Ну вот с нами, с нижнего мира существами, с норными, все понятно – чистим от болезней и бед земельку нашу. С земными

зверями тоже более или менее ясно, у них работа с человеком, значит напрямую, социальная. А это что за мутная менталка?

Алесь выбросил недокуренную сигарету в океан, а я и шипения не услышал – шум волн все съел. Он сел на песок, прямо у кромки воды, оставил отпечаток ладони, который тут же слизал океан.

– Ну, вот есть ночные, есть дневные. Мэрвин, вот он небесный и ночной. Летучие мыши, они за кошмары отвечают. Они их видят, чтобы кому-то эти вещи не снились.

Вот же не любил этот человек говорить о себе. Но про Мэрвина было интересно.

– Он крови выпьет, и в кошмарный сон попадает?

– Летает во сне. Я тоже летаю, только наяву.

И я вдруг понял, какое это все маленькое. Ну сколько в мире летучих мышек? Ну, может, тысяч двадцать, и каждая делает свою маленькую работу, свой кусочек смальты в мозаику вставляет. А кошмаров сколько? Бесконечное множество, огромное море кошмаров.

А ты их вылавливай.

– Совы вот, например, наоборот, посылают сны. Вещие. Нужные. Оберегают.

– Хорошая работа.

– Вся работа сводит с ума.

Я сел с ним рядом, принялся чертить что-то на песке. Алесь казался далеким-далеким, если в моей жизни все было физиологично, кроваво, пахуче, как смерть или роды там, то его-то и не существовало почти.

– А твоя работа секрет, что ли?

– Да никакого секрета нет. Я к умирающим прихожу, когда летаю. В последнюю минуту их встречаю и очищаю мысли. Чтобы больше пустоты, уходя, не оставили.

– И у мамы своей был?

– Был, и поэтому все знаю.

Я хотел про свою мамку рассказать, но испугался, что Алесь скажет, будто это не она, что лжец я, а что, может, и Матенька – врунья, и все придумано, чтобы только не расставаться.

Вот бы люди узнали, как мы для них стараемся, для бедных, несчастных существ, над которыми духи смеялись, как мир их склеиваем, себя не жалея.

– А ты можешь этим не заниматься? Не сходить с ума?

– Могу, но тогда грустно как-то. Кто-то, значит, уходит, а его никто не утешит.

Не утешит никто.

– А до мамки моей аист такой летал?

– Ну, было б нас больше, точно бы прилетел. А так мы стараемся никого не оставить. Кто-то в полете всю жизнь проводит, но я так не могу.

– Совсем поехать крышей не хочешь?

– А кто хочет?

Жидовская такая у него манера была все время вопросом на вопрос отвечать. Короче, в чем заключался ужас: вот Алесь был с умирающими в последнюю секунду их жизни, в головах их, может, утешал, обещал, наверное, новую жизнь, или покой, или что окажешься в месте, где ты снова маленький и тебя любят – да что угодно, индивидуально все небось.

А он же врал.

Вчера сказал, что аисты верят – растворяемся мы.

– А покажи, как летаешь?

И он исчез, натурально прям, раз – и нет его. Где бродил, где ходил, как летал? Наяву летал, это точно. Секунд пять прошло, и появился, из ниоткуда, прямо передо мной.

– Ты где был?

– Летал. Это сложно объяснить. Похоже на наш мир, только я там очень легкий и могу оказаться где угодно.

– Круто, конечно. А я просто выносливый. Рабочая я лошадка.

– Я когда увидел, что у тебя на голове, подумал: ты умереть мог.

– А я ничего так держусь? Все равно не так круто, как уметь исчезать, например. А ты оттуда что-нибудь взять можешь? Украсть, вот.

Алесь покачал головой.

– Но, как в игре, можешь типа подкрасться к кому-то сзади и горло перерезать? Стеллс типа.

– Это могу, наверное. Я не пробовал.

Мы закурили еще по одной. Алесь сказал:

– Я люблю нюхать клей. Тогда я тоже очень легкий.

– О, у меня друг любил тоже. Но он это делал от скуки, от пресности всего. Мне не особо зашло. А у вас там в Хойниках были двухголовые звери?

– Я не видел, но соседи баяли. Я про животных помню, что они все были какие-то сонные, вялые. Уезжаешь в Минск – там и собаки другие, и кошки. Веселые, нормальные. Вообще-то радиация – это скучно и грустно.

Он почесал нос, сказал:

– Но так-то бывало очень красиво. Я отрывки сейчас помню, хотя я сознательным уже был и взрослым, когда мы уехали. Помню, знаешь, такие леса, все в них, пышные, поля огромные, до горизонта, а над ними клин журавлей, и тишина такая. Ну это не

в Хойниках, ты ж понимаешь. Это за ними. В ту сторону.

Слово «ту» Алесь как-то с особенным значением выделил, надавил на него.

– А вообще-то холодно будет, – добавил он каким-то совсем другим тоном. – Сегодня на пляже ночь не поспишь. Пойдем на теплотрассу. Там у нас свое место есть, никто не гонит.

– Чокнутых до хуя небось.

– Ну, прилично.

– Извини.

– Да ничего. Есть взрослые, короче, но они нас не трогают – у нас брать нечего. Это первое правило, делай так, чтобы у тебя брать было нечего, а все ценное прячь. Да и проблемы у них свои, если уж на то пошло. У кого трубы горят, кто болеет. Не до нас. Все равно им лучше не попадаться, не доставать. Но ты не бойся.

Он вдруг улыбнулся.

– Иногда даже жалеют. Принесут еды или чего там. Выпить.

– Прикольно. Мне если таблеток каких-то дадут зашибенных, я с вами поделюсь. Я вообще благодарен очень.

Я лег, поглядел, как небо кружится, а песок мне так спину холодил.

– Слушай, – спросил я. – А Мэрвин чего?

– Да долго еще не проснется. К вечеру только растолкаем, а еще поесть надо. Ты тоже поищи.

И он стал мне объяснять про еду, про то, как ее добывать. Значит так, если можешь съесть что-то – съешь. Забытая картошка фри или полпакетика чипсов, все идет в дело. Задача в том, чтобы к вечеру быть как можно менее голодным, чтобы все подмечать, типа включить инстинкты, быть собирателем. Если вынудит жизнь и представится случай, можно воровать и попрошайничать, но осторожно.

Чем больше легальной, забытой, заброшенной еды достанешь, тем меньше шанс, что запалишься и прогоришь. Каждая кража в магазине – лишний риск, если у тебя нет родителей, никто тебя не защитит, покатишься в приют, а оттуда, может, даже обратно, откуда ты там прибыл.

Короче, если по-простому, то еду лучше всего было подбирать, если уж день откровенно неудачный – тогда попрошайничать, но это тоже риск, не стоит привлекать внимания. В крайнем случае и очень осторожно можно воровать.

Вот такая штука: живя на улице, я воровал намного меньше, чем будучи при папашке.

– Телефоном не свети, – сказал Алесь, набирая что-то на стареньком «Сименсе». – Украдут.

Он помолчал и добавил резонно:

– Я же свой украл.

– Справедливо, конечно. – Я поглядел на Мэрвина, пнул его легонько. – Ну, бывай, брат.

Он и не шелохнулся.

– Живой он, – сказал Алесь. – Живой.

Тренькнул мобильный, мне пришла смс-ка.

– Ее адрес, – пояснил Алесь. – Ширли, запомни. Ширли Кертис. Вечером тебе напишу, как мы встретимся.

Я поглядел на спящую Марину, бутон еще одной жизни у нее внутри, ее пот, мятная жвачка – так от нее пахло славно.

– А Марина чья девушка?

– Не знаю. Я об этом не думал. Слушай, а крысы все в язвах ходят?

Взгляд его скользнул по моей руке.

– Не-а. Это просто я болею. Не знаю, от чего. Не по-крысиному.

Нам обоим стало неловко, пора было прощаться, а мы типа вчера познакомились только, не было у нас той фамильярности, чтобы спокойно разойтись.

– Ну, удачи тебе, – сказал я. – Всего самого наилучшего. Вечером увидимся.

– Да, до вечера. Если будут проблемы, то ты звони.

– Не, ну пока единственная моя проблема – сотрясение мозга. Я удивлюсь, если их прибавится.

Я глянул на свою красно-черную фенечку, улыбнулся.

– Мне обещали, что проблем больше не будет.

В общем, я от них ушел, переступил через Мэрвина, прошел мимо Марины с Андрейкой, а потом долго брел по прохладному, пустынному пляжу. Денег у меня не было, и я долго искал монетки, чтобы купить билет на автобус.

Меня больше не мутило, но и есть не хотелось, я просто шел вперед, пока не уперся в пирс. Колесо обозрения было пустое, и никакой тебе подсветки – обнаженные спицы. Над пирсом заливались криками голодные чайки. Какой-то мекс сметал песок с надстройки, на которой стоял этот маленький парк развлечений. Сметал прямо в океан. Он мне почему-то понравился, хотя я даже не рассмотрел, есть ли у него усы, а это в мексах самое прикольное.

– Доброе утро!

Он лениво помахал мне рукой, потом отошел к пирсу выкурить сигарету и стал напоминать образ на какой-то импрессионистской картине – скупой, нереалистичный.

Денег я все-таки наскреб, на пляже монетки частенько выпадали у людей из карманов – спасибо волейболу и другим

активным играм. В автобусе меня снова замутило – от характерного бензинового запаха. Со мной тряслись пьяненькие девчонки, обе брюнетки с красными прядями, готичные, конечно, но смеялись они очень весело. Дремал какой-то располневший мужик, иногда раздраженно хмурил брови, но окончательно не просыпался. А в общем-то и все. Семь тридцать утра выходного дня, мы больше никого не ждем.

Опять хотелось покурить. Я думал об этой Ширли, какая она будет, смогу ли я ей доверять, красивая она или нет? Студенточка.

Самое отвратное – я скучал по отцу. Иногда я месяцами его не видел, дело было не в разлуке, а в чем-то еще. Я скучал по отцу, которого уже не существовало в моем местном времени да пространстве. По отцу, который никогда не пытался меня убить.

Проехали очередную остановку, на которой стояла мамка. Она меня и взглядом не проводила, но я знал – присматривает.

Ширли не так уж далеко жила, можно было и пройтись, но я боялся потеряться.

Вот скажет мне, к примеру, что я не жилец. Вот скажет мне еще, что я останусь инвалидом, а я мог бы и не знать.

Я вообще-то понятия не имел о том, как лечат сотрясы, и вообще в домашних (а в моем случае даже не в домашних) условиях можно это пережить или нет. Мне было страшно попасть в больницу, я боялся, что там отец меня точно отыщет.

Чудился мне запах его или нет? Все могло быть.

Ширли Кертис жила в стареньком кирпичном доме, и высоткой-то не назвать, четыре этажа всего, а на первом – аптека. Удобно, когда ты студентка медицинского.

В аптеке, и к этому я никак привыкнуть не мог, у американцев продавались всякие прикольные штучки – от конфет до косметики. Сразу захотелось зайти, попялиться на что-нибудь, украсть для Ширли блеск для губ или тушь, или что там еще ей бы понравилось, что еще она бы приняла как плату.

Но я помнил о том, что мне сказал Алесь. Никаких неоправданных рисков.

Помнится мне, что у того подъезда я впервые подумал: могу ли я прожить другую жизнь, чем мой отец.

С тех пор эта мысль занимала меня очень часто, я тогда и не знал, как все повернется, не верил в ее скорое возвращение. Подумал: могу, да сразу забыл. Если бы так все было просто, ой какие бы мы все были счастливые.

А Ширли оказалась милой, маленькой (ниже меня) девушкой. Лет ей могло быть двадцать или двадцать пять – такие лица долго не меняются. У нее блестели темные глазки, от калифорнийского

солнца она вся золотилась, и мордочка у нее была лисья, смешная, ловкаческая. Пахла она, однако, одной лишь человечиной.

На ней были шорты и обтягивающий топик (соски я сразу заметил, чего уж там, на них и пялился главным образом), я ее явно разбудил, но на улице мне было одиноко и холодновато.

– Привет, – сказал я. – Меня зовут Борис. У меня нет дома, и друзья посоветовали мне обратиться к тебе. Я упал, ударился, у меня болит голова, все кружится, и меня уже несколько раз тошнило. Ну чего, мне можно помочь?

Сначала она глядела на меня туманно, затем – обеспокоенно, тут же впустила в дом, налила мне слабого, сладкого чаю и включила тут же заурчавшую кофемашину.

В ней была какая-то легкость, естественность, в движениях и во всем, но говорила она по-другому, сдержаннее. Такая хорошая девочка, сладкая, добрая душа. От нее приятно пахло – ее собственным запахом и кокосовым гелем для душа, после сна она была еще горячая, я почувствовал это, проходя мимо.

– Расскажи мне, как все случилось.

К этому-то меня жизнь не готовила. Ну, я ей наврал, конечно, сказал, что об бордюр долбанулся виском, она посмотрела, потрогала (и это было прям приятно), только что не поцеловала.

– Понятно.

И ей правда все было понятно, то есть она знала, что я вру, я видел. И это была шаткая моральная позиция: помогать кому-то и в то же время не замечать очевидных вещей. Но, возможно, только из-за этой избирательной слепоты Марина, Андрейка и Алесь ей доверяли. Таких у нее водилось много, и всем им нужно было, чтобы она чего-то не видела. Чтобы не вырывала у них пакеты с клеем, не вела в больницу.

Она мне выдала кучу таблеток, долго расписывала, как их пить (одни я быстро бросил, потому что от них постоянно хотелось ссать, а другие меня даже вштырили), запретила эмоциональные и физические нагрузки, стучала по мне молоточком, заставляла ходить по комнате и трогать себя за кончик носа. Все это было забавно и мило, я и сам не заметил, как мы уже говорили с ней про греческие трагедии.

– Ты послушай, – я к ней нагнулся, и она не отшатнулась, хотя пасло от меня, должно быть, ого как. – Вообще в классической трагедии все происходит от момента, когда рассвело, и до того, как солнце зайдет. Меньше одного дня. Это всегда день, который все изменил. Один всего день. Но в жизни же так не бывает. Все сдетонирует, когда ты не ждешь. Меня это убивает. Слушай, а у тебя есть выпить?

– Борис, тебе нельзя пить.

Она так ласково мне улыбнулась, что я и передумал сразу.

– Меня убивает, – продолжал я, – что жизнь человеческая там уменьшается. В ней же столько хаоса. Столько всего.

Мне было тяжело подбирать слова, и она ждала. Я видел, как она думает: тяжко без знания языка мне или это мозг мой сбоит? Изучала меня, смотрела пристально. А я смотрел на нее, и что-то между нами такое возникло, я никогда не пойму, почему все случилось.

То есть, может, за ней грешки и водились, может, такая у нее была слабость – потерянные мальчишки. Но не каждый же ей в душу западал.

Так что, наверное, просто нас друг к другу как-то притянуло, без причины, как иногда бывает с прибившимися друг к другу листьями – вот ничего у них общего, просто дождь склеил.

Короче, да, мы сидели близко, но не трогали друг друга, а я уже чувствовал такое электричество, или воздушную подушку, короче, что-то еще, напряженное. А возникло оно после того, как я показал ей свои язвочки.

– Инфекционный дерматит, – сказала она. – Я тебе дам антибиотиков. Как только отопьешь все, что я тебе прописала, попей и их, пожалуйста.

Такая хорошая девочка.

Она помолчала, глядя на меня. Квартирка у нее была хорошенькая, кухонька светлая, с большим окном, за которым ожидаешь увидеть прекрасный сад или типа того. А на холодильнике теснились смешные магниты, привезенные из путешествий, они меня развлекали.

– Знаешь, что странно, Борис?

– Что мы вот так сидим и всплыла вдруг тема греческой трагедии? Ой, это долгая история. Меня воспитал Гомер. Ну, не совсем. То есть цитатами оттуда я не кидаюсь. Хотя мне нравится: знаешь, Никто мой любезный, будешь ты съеден последним, вот тебе мой подарок!

Она засмеялась.

– Немножко не так вроде бы.

– Ну и ладно. А ты умная.

– Ты тоже, Борис. Но все-таки вот что меня беспокоит. Судя по тому, что ты говорил, да и по тому, что у тебя на виске, удар был очень сильным. А ты даже не потерял сознание. Ты точно не терял сознание?

– Ни на секунду. Ну, мне так помнится.

– И потом, после удара, тоже?

– Не терял.

– То, что ты описываешь, могло тебя убить. А ты, с сотрясением, еще умудряешься шляться по городу, принимать алкоголь и…

Тут она замолчала, посмотрела на меня, раздумывая о чем-то. В больничку? Не в больничку? На ее хитром личике залегла тень такой печали, вины. И я сказал:

– Я, может, расписал слишком. Драма. Трагедия.

Но я не преувеличивал силу удара. Обычного человека он мог и убить, все так. Сделать инвалидом уж точно. Ну как мне было ей объяснить, что я на свет родился, чтобы терпеть, чтобы такие нагрузки выдерживать, от которых все умирают, всем плохо. Что я крепкий, и это сделано, чтобы я долго умирал.

Что я – расходный материал, как мой отец, и отец моего отца. Как мать моя, и ее мать. Короче, что я прочнее, чем она думает, и нечего за меня волноваться.

Была и вторая правда – еще один папашкин удар убил бы и меня. Эти две правды, они во мне сплетались, сочетались, и мне от них было отстойно, но я держал их при себе. Нечего было Ширли этим голову забивать.

Ничего мне не сделается, красавица, с меня и кожа клоками слезать будет, а все придется лямку тянуть.

Ширли налила себе еще кофе, спросила, не против ли я, если она закурит, а мне сигарету не дала. Курить при ней я как-то не решился.

– Ты уверен, что чувствуешь себя сносно?

– Более чем. Я таблеточек попью.

– Если тебе будет плохо, ты мне напишешь? Ты отправишься в больницу?

– Конечно, я себе не враг.

Говорили мы еще о всяком, она про Россию много спрашивала, про талоны да атомные реакторы, и я смеялся. Хорошо вообще-то время провели. Она меня накормила до отвалу – мини-пиццами и греческим салатом, и мы уже ели тортик, когда Ширли вдруг сказала:

– Когда ты говорил про Грецию, мне вспомнилось. Мы в университете ставили спектакль. «Федра». Трагедия как раз.

– На самом деле, если по Еврипиду, то трагедия называется «Ипполит». Но вы наверняка Расина ставили.

– Ну да, неважно. Важно, что я оттуда узнала об Афродите. Я всегда думала, что она – добрая богиня. Что любовь – это хорошо. А там за то, что юноша считал любовь блажью, он поплатился жизнью. Оказалось, Афродита мстительная, могущественная, темная. Меня тогда пора-зило, какой это мрачный образ.

– Ага, она стремная вообще-то. Ты вот про пену морскую

знаешь? Что это за пена вообще? Когда Кроноса того…ну этого…

Я потер нос.

– Короче, когда ему все там отрезали, из крови его богини мести родились, эринии, а от, ну, в общем, от его другого – Афродита. Оно в море упало, и это и была пена, из которой она, значит…

Из которой изъял Боттиччели туберкулезную свою Венеру, короче.

– Из чего?

– Из того.

Я весь покраснел, резко рот закрыл. Ну не мог я при даме слово «сперма» сказать, мне так стыдно стало, но вокруг нас было жарко, и я подумал: если целовать, то только сейчас.

И вот Ладка мне не давала, хотя целовались мы дико, чуть не ели друг друга, а Ширли как-то только чуть рот приоткрыла, беззащитно даже, но я сразу понял – даст. А она взрослая была, эротическая, блин, мечта. Все в одном – шлюха и девственница. Короче, я был в восторге, и все такое.

О первой своей женщине говорить всегда стыдно, потому что ебаться-то сразу умеешь, а трахаться надо учиться.

Сначала все было очень естественно, а потом она пошла за презервативом, и я как-то растерялся. Я знал, что ей сегодня не опасно, и еще неделю опасно не будет, но объяснять это было долго, и я сидел, со стояком, весь красный, думая, что лучше бы сказал слово «сперма» и не целовал ее вместо этого, и пили бы мы дальше чай.

А она пришла и сняла свой фиолетовый топик.

Короче, я собой не горжусь, но ей вроде все понравилось. Она была такая хорошенькая, и мне всю ее хотелось вылизать, чтобы она мной пахла.

Потом мы с ней лежали на полу, и я смотрел на клубочки пыли, которых не заметил сразу, они собрались у плиты.

– Тебе было хорошо? – спросил я. Ну а что еще спросить? Или это девчонки спрашивают?

– Да, Борис. – Она улыбнулась, и в этот момент показалась мне лет на десять старше, чем когда я увидел ее впервые. – Ты очень красивый. У тебя, наверное, много было девчонок?

– Да вообще-то немного. У нас мало девчонок в целом было. Но одну я любил, а она мне сердце разбила.

– Зря разбила.

– Вот и я говорю.

Я ее после всего не решился поцеловать, так и не поцеловал больше никогда, а надо было. В любом случае – доброго ей здоровья, и чтобы жила она долго-долго, прекрасная у нее душа,

пусть подольше людям светит.

Ну и нравились ей молодые грязные мальчики, ну и любила с ними трахаться прямо на полу, а ведь сколько она мне хорошего сделала – вылечила и полюбила, накормила, помыться дала.

Хорошо вообще, что люди трахаться любят.

Я после всего так засмущался, засобирался быстро.

– Ну, пора мне.

– Уже? Ты уверен, что не хочешь поспать?

– Не-а. Пора-пора-пора. У меня дела.

– Обязательно звони мне, если будешь плохо себя чувствовать. У тебя сейчас голова не кружится?

Тут щеки у меня так вспыхнули, что я прижал к ним холодные ладони.

– От тебя только. Ну, пока.

На прощание сунула мне двадцатку.

– Это не то, что ты думаешь. Просто купи себе и своим друзьям поесть, хорошо? Для меня это самое важное.

Ой, женщины такая тайна на самом деле, даже если носом чуешь, что у них там внутри, в темноте происходит – все равно тайна.

А весь оставшийся день я бродил по Санта-Монике, обоссал все подворотни из-за таблеток этих дурацких и думал, что я теперь мужик. Ого, у меня все было. Я стал другим или нет? Что во мне изменилось?

Чувствовал я себя увереннее, это факт. Ходил такой важный, и не скажешь по мне, что бездомный теперь. Будто я ее трахнул и весь мир с ней вместе. Мэрвину написал смс-ку:

«Тебя Ширли Кертис ебала?»

Он ответил только через несколько часов.

«Ебала, не обольщайся. Кстати, держись сегодня подальше от воды, зато у тебя отличный день для крупных денежных вложений».

Вот и я так рассудил, поэтому всю двадцатку на еду спустил, купил и вкусного, и молоко с булочками, и даже котлеты для бургеров. Уж я не думал, где мы их пожарим, а оказалось, что пожарили на трубе теплотрассы, и вышло очень вкусно.

Жили мы в тесном бетонном помещении, среди труб, там всегда было жарко, пахло горячим металлом и почему-то жженой резиной. Как же это называлось? Папка-то мой точно знал, это его профиль, но я никогда не интересовался ни канализацией, ни водопроводными, ни отопительными системами.

Сдается мне, что это был теплопункт, а может, оно и как-то по-другому называлось. В любом случае, было там несколько горячих труб, между которыми лежали старые куртки, наши

матрасы, наши одеяла, наше все, короче. Всюду валялись упаковки от всего на свете, начиная от презервативов и заканчивая леденцами. В углу лежала внушительная куча бычков, но их запах не перебивал металлически-кровяной аромат труб.

Поужинали мы по-королевски, Алесь сказал, что молока не пил, наверное, года два.

– Все никак не покупаю, всегда что-нибудь вредное, а я и забыл, как оно мне нравится.

– Не радиационное, заметь, – сказал Андрейка. – Эй, Борь, ты еще заценишь, как он в темноте светится!

Марина лежала в углу, ела жадно, но двигалась как-то лениво. Беременностью от нее больше не пахло. Я думал спросить, что случилось: специально она от ребенка избавилась или потеряла. Но в такие тонкие, личные, женские дела лезть не решился. Мэрвин выглядел посвежевшим, но каким-то мрачным.

Поджарили, ну я уже говорил, на трубе бургеры, ели их руками, и было так хорошо, наполненно, жарко и приятно. Пели песню про Деда Максима, Мэрвин тоже подпевал, потом Алесь уселся читать какую-то белорусскую книжку, а я пожалел, что у меня ничего нет. Мэрвин рисовал натальную карту для Андрейки, что-то выводил толстой ручкой с разноцветными стержнями на куске картонной коробки. Я слышал обрывки их разговора:

– У тебя судьба сложная, извилистая, но ты выйдешь к свету. Тебя выведут. Ты склонен доверять людям больше, чем они того заслуживают, но это только один раз окупится.

А я устроился рядом с Мариной, и мы говорили о мечтах.

– Я хочу в космос полететь. Как Валентина Терешкова. Нет, лучше на Луну, как Нил Армстронг.

– Он потом мусульманином стал.

– Да неважно. Хочу на Луну, где только я и никого нет.

Она задрала майку, и я увидел на ее плоском животе ракету, татуировка была кустарная, но с очень старательно прорисованным контуром.

– А тебе она хуй не напоминает?

– Вот туда и иди.

Вокруг ракеты были рассыпаны мелкие, посиневшие звездочки. Татуировка шла по маленькому шрамику.

– Это от ножа, – сказала она.

– Тебя так приемные родители?

– Нет, я себя так сама у них на глазах. Та я еще дочка была.

– Но другой-то ты быть не умела.

Она кивнула.

– Ну и ладно. Я вообще-то про космос хочу. Про то, что на Луне гравитации нет, я там буду летать.

Алесь вот и здесь летает, только ты не знаешь, так я подумал.

– Клево, конечно. А есть что?

– Еду из тюбиков, конечно. Представляешь, можно прыгнуть в лунный кратер и не разбиться.

Прыгнуть и не разбиться – это вообще была ее мечта по жизни.

– Еще я бы побывала в черной дыре. Там даже нельзя умереть, ты как бы раздваиваешься, что ли. Я читала, но там все мутно. Вроде как даже бессмертие.

– Так то ад, наверное. А ты слышала, что в Кольской скважине были крики ада? Я как-то по Инету запись слушал, это жесть. Хотя больше похоже на метро в час пик.

– Ад и есть метро в час пик.

– Это точно.

– А ты в это веришь, ну, про Кольскую скважину?

– Не-а. Мой отец говорил, что это чушь, и ни один акустический микрофон там работать не смог бы. Да я и в ад не верю.

– И в метро в час пик.

Мы засмеялись. Она сказала:

– Из странных штук, я читала книжку про космос, и там было про то, что весь мир – звезды, галактики, планеты, астероиды там – это все только пять процентов от массы всего космоса. А остальное что такое? Этого вообще никто не знает. Темная материя.

– Может, ты узнаешь.

– Да придурок ты. Вот есть еще спиртовое облако, там тебе понравится, бухать ты любишь.

– Тогда возьми меня с собой в космос.

Я потянулся, вдохнул запах ее волос.

– А чем на Луне пахнет?

– Порохом вроде. А ты кем хочешь стать?

Я пожал плечами. Кем приведется. Ни о чем таком я не думал, ничего не представлял.

– Как получится.

– В судьбу, что ли, веришь, как Мэрвин?

– Да не особо. Просто мне нравится идея, что жизнь сама подкинет тебе решение.

Мы немного помолчали, каждый думал о своем, но нам было тепло и приятно рядом. Тот еще у Марины характер, конечно, суровый, несговорчивый, но мне с ней рядом всегда было легко, подход, что ли, к ней знал.

– Слушай, а у кого-нибудь, кроме меня и Мэрвина, с Ширли было?

Она звонко, по-ведьмински засмеялась.

– Да у всех, наверное. Такой у нее кинк, понимаешь? На ребят вроде тебя. Вся потекла от твоих язв небось.

– Ого.

– Ага. Прям так.

– А может, влюбилась она?

– Сомневаюсь.

Марина протянула руку, потрепала меня по волосам, движение было такое взрослое, такое женское, я даже опешил, словно передо мной вдруг возникла Ширли.

– Хороший ты мальчик, Боря.

– Не, – сказал я. – Не очень я мальчик.

И снова пришла эта мысль: а я разве не он, не отец мой? Раз я везде его с собой ношу: воспитание его, черты его, словечки его.

– Ну, как скажешь. А теперь я спать буду, у меня тяжелый был день.

Вскоре и все остальные спать улеглись, тогда Мэрвин пришел ко мне. Мы с ним вылезли ближе к поверхности, встали на одну из труб, не такую горячую, и принялись дышать ночным воздухом городской окраины, после парилки теплопункта казалось, что наступила взаправдашняя зима. Вокруг стояли пустые, ржавые цистерны, где-то далеко горел бомжарский костерок, сетчатый заборчик короновала колючая проволока.

Урбанистическое, упадочное было место, но мы с ним сроднились. Мне было легче, может, от того, что я ощущал присутствие бесчисленных братишек и сестричек. Я знал, что они присматривают за мной.

– Ты как вообще?

– Да зашибись на самом деле. А ты? Долго спал?

– Очень. Пинками растолкали. Мог бы и домой уйти, но решил с вами зависнуть. Заверну туда завтра, а вечером, может, опять приду.

– А мамка против не будет?

– Да только за. Я ж ей работать мешаю. Больше денег будет.

Мэрвин вытянул руку, чуть не ободрав ее о бетонное крошево, показал куда-то вдаль.

– Там заброшенное здание. Хорошо, конечно, удобно, не тесно, не жарко, но его взрослые облюбовали. Зато тут не замерзнешь, и даже есть на чем готовить.

– Круто вообще-то.

– Это точно. Как зимний вариант – зашибись, но летом сваришься тут.

Мы курили и судорожно глотали холодный воздух, стояли на цыпочках – у меня болели ступни.

– Хочешь я тебя и сегодня покормлю?

Мэрвин мотнул головой.

– Ну уж нет. Тебе спасибо, конечно, но я теперь спать неделю не буду. Я могу неделю не спать – без проблем. Я всегда до последнего держусь.

– Но почему? Ты ж страдаешь и все дела.

Я без паузы закурил следующую сигарету, Мэрвин взял ее у меня, затянулся.

– Потому что у меня-то выбора нет. Это ты можешь на край света сбежать и под землю никогда не лезть. А у меня кошмары, каждая ночь – как ад. Кто-то спит себе спокойно, а меня заживо сжигают, освежевывают, закапывают, или, не знаю, меня трахает мой отец, которого я даже не знаю, и во сне это чей-то чужой отец, и я сам кто-то другой, и…

Он на полуслове замолк, оборвался. Я не спеша курил, мне не хотелось его спугнуть.

– Там для меня все по-настоящему. И я думаю: может, лучше, чтобы люди видели свои идиотские кошмары. А то чего я? При чем здесь я вообще?

– Те же мысли, брат.

Мы помолчали, словно признались друг другу в чем-то постыдном, а потом я сказал:

– Ладно, ты как хочешь, а я спать.

Перед сном я все думал про Ширли, думал про ее мыльный и сладкий запах, даже решил, что с утра ей напишу, вроде как просто про здоровье расскажу, ничего особенного. Она ведь волнуется за меня, безотносительно всего там такого.

Я в нее не влюбился, нет, но женщина, которую я однажды полюбил, была, в общем, тоже калифорнийски-золотистая, с теми же темными глазами, только печальными, блестящими и большими, как на фаюмском портрете.

Вот бы, думал я, Ширли сама мне написала, выделила как-нибудь из всех остальных, которых тоже трахала.

А какая чистенькая девочка. Это в какой же степени добро может быть мотивировано сексуальными извращениями? Сложный вопрос, философский.

От жары я не мог уснуть, в голову все лезли и лезли разные мысли, не всегда веселые. Мэрвин играл в змейку на телефоне, не удосужившись вырубить звук, и я ворочался, ворочался, ворочался.

Вскоре я снова ощутил отцовский запах, ясно и сильно. Может, он работал неподалеку? А может, братишки с сестричками на меня донесли. В любом случае снаружи все было тихо, и я в своей маленькой норе наконец прижился.

Уснул.

Глава 8. Немощные цветы

«А что истории-то такие мрачные, Боречка?» Не, ну я объясню. В общем-то, живем мы тяжело и умираем рано, болеем, страдаем, поэтому жить не очень-то любим. Всякая крыска стремится к концу, это я с детства знал, у всех печальные истории, грязная жизнь, подлая, и обрывается она как-нибудь нелепо.

Когда болен, и болен тяжело, бывает, что и сам смерть зовешь. Вроде царапаешься, вроде цепляешься, но нет-нет да и подумаешь о прохладной темноте, о финале всех вещей.

У крыс есть подсознательная тяга к этому, к черному, к последнему, многие тебе что хочешь сделают, чтоб только своей смертью не умереть. Как там это называется? Скрытое суицидальное поведение? Ну, наверное. Живешь, медленно себя убиваешь и думаешь в какой-то момент: а чего бояться? За что трясемся-то?

Ну и вот. Это те, которые вроде бы не поняли ничего, у кого только сердце правду знает, а до головы она не дошла.

Это те, у которых долги и религии.

А есть те, кто не заморачивается. Вот у мамки брат двоюродный, он так заболел, что ослеп совершенно, куда теперь-то? В земле, как кроту, жить? Короче, все ему стало постыло и скучно, и так он печалился. К нему родичи с конфетами ездили, с тортами, долю, значит, подслащивать, только папка мой ворчал, мол, нечего себя жалеть, никогда себя не надо жалеть.

Ой, а какая у меня была жалость, когда мамка с братом по телефону говорила, слышал голос его дрожащий – ни слова не понятно, далекая украинская речь из динамика течет-течет по проводам и капает. Ничего не ясно, а слышно, как несчастен человек, как ему больно.

Так что он сделал-то? Выпил бутылку водки, чтобы не спасовать, да в окно кинулся. Ой, ему сложно было. Это наше с вами право выйти в окно легко реализовать, а он башкой стекло пробил по пьяни и от отчаяния, не видно ж ни черта.

А может, чтоб сознание потерять. Тело ж хитрая штука, ты уже сам себя отпустил куда угодно, а оно еще жить хочет, оно еще запаздывает, за мыслью не успевает.

А чего в финале? Жив-то он остался, только что горло так порезал о стекло, так что сипеть будет всю жизнь, голос его страшно теперь звучит: не то Дарт Вейдер, не то мертвец рот раскрыл.

Ну и все. Живет теперь в интернате для психоактивных.

Говорят, картины рисует. Отец сказал, что красивые – немощные. Нашел, значит, себе отраду.

Там просто водки не выдают да кинуться неоткуда, вот и извернулся, изловчился.

А рисует он, папашка говорил, страшные, страшные лица.

– Но человеческие, – добавлял отец. – Что нечеловеческие они – этого не скажешь. К сожалению.

Еще цветы, но они у него получаются странные, температурно-красочные. Их, говорит, легко рисовать, он цветы хорошо помнит да и контуры простые. Вот бы ему выставку сделали, я б гордился.

Ну да, много у нас самоубийц. Я в этом плане сильно отличаюсь от своей родни. У меня одна мысль о самоубийстве долго слезы из глаз вышибала, вот как мне хотелось жить. А кто прав, кто неправ – некому рассудить, может, Бог только разберется, там, где уже и косточек твоих не останется.

Ну ладно, короче говоря, я об этом много думал, о мрачности моей истории, о том, что все крыски, от которых я родом – это мои кусочки. Такое оно все родное, что хочется кулаком себя в грудь бить, кричать: «Мое, мое», в истерике такой, где непонятно, смех у тебя или слезы.

Стал я потихоньку приходить к мысли, что я к этим историям имею непосредственное отношение, что все сложилось как сложилось, так, чтобы вышел я. А вот не всунул бы мой папашка своему отцу ножичек, каким бы я тогда был?

А вот не обманул бы дед бабку?

А кабы дядя Коля башку б не разбил?

И так не докуда я знаю, а дальше, много дальше, до начала мира.

Живя с новыми друзьями, много об этом думал, потому что подолгу один был. Мы стайкой мало ходили, собирались вечером в нашем теплопункте, приносили добычу, денюжку какую, еду там, и так хорошо, так душевно разговаривали, иногда и ругались, дрались даже, но все это нас как-то не разобщало.

Дальше сблизиться было нельзя, спали вповалку, у меня на боку от трубы остался здоровый такой ожог, это я к чему? К металлу горячему во сне прижался и не проснулся ни разу. Теперь и в ад попасть не страшно, буду там спать в котле.

Ну, короче, полторы недели жил я на улице, таким внимательным стал, ни одна монетка от меня не укроется, кусочек крекера – и тот подберу, хотя Алесь вот считал, что я малость пережимаю.

А у меня, может, инстинкты были. Жил, как братишки и сестрички, сразу в их ритм включился. Страшно, конечно, очень,

особенно когда копа видишь, да и он тебя. Смотрите друг на друга, и все, сердце вниз ухнуло. Потом ничего, вот он мимо идет, а ты – глаза в пол и о как благодарен, что пронесло.

Мне нравилось заботиться о друзьях, что-то вкусное им доставать, хоть и риск, зато как они потом радуются. Никто так еде не радовался, я такого никогда прежде не видел.

Пили мы, конечно, как скоты просто, вот бухла всегда навалом было, бывает, сосиску своровать побоишься, а бутылку вынесешь, а то как спать – в жаре, в духоте. Я ж так упивался, что ожогов не чувствовал, а Марина с Андрейкой и того хуже, вообще как мертвые лежали.

Алесь только пил мало, больше по клею был человек, по этому делу.

Иногда, как совпадет по деньгам, таблеток каких прикупали, тоже хорошо было. Пили, жрали, нюхали – это да. По-другому-то полюбас задепрессуешь, а этого никому не надо. Хочется жить, выживать, разговаривать или молчать даже, но держаться.

Так я и не понял, счастлив был там или нет? Наверное, да. Счастье это ж процесс, путь, я читал. Нет, кайф с бродяжничества я не ловил, а есть и такие, но моя маленькая, теплая стайка мне нравилась, упоротым быть нравилось.

Но, чтобы на улице выжить, ее нужно не в полной мере любить, а то проглотит тебя и не подавится. Нужно всегда оставлять себе самому шанс, мечтать о лучшем.

Вот Марина, ее спасали мысли о Луне, так она на нее смотрела, как на конфетку, мысли о космосе, что полетит туда, и все переменится.

Андрейка представлял своих родителей, какие они, почему оставили его, как найдут. Между ними уже океан перекинулся, а он все ждал, когда они приедут.

Алесь вот думал о своем сложном деле, о великой и почетной обязанности мертвых провожать, это ему мозги рушило почище клея, но это же и спасало, он здесь был для чего-то, значит, уже не наедине с собой.

Мэрвин, у него-то дом был, мнил себя везунчиком, испытывал на прочность, проверял улицей.

А у меня был отец. То есть я, конечно, люто его ненавидел, думал: не вернусь, не вернусь никогда.

Но он приходил ко мне каждую ночь. Не заговаривал со мной, конечно, да я его даже не видел ни разу, запах его чуял – и только. Приходил, проверял, жив ли я, сыт ли я, не заболел ли.

И как бы я ни ненавидел его в те дни, ночью я радовался его приходу, родному человеку. В минуты ужасной, смертельной тоски, когда отпускает и бухлище, и клей, и любая таблетка, меня

утешало его присутствие, бессловесное, безвидное. Так надо Бога чувствовать, чтобы жить хорошо и счастливо.

Ну, а он постоит-постоит и уйдет.

Я тогда сразу думал: пошел ты на хуй, пошел на хуй, мудила, ненавижу тебя, чтоб ты сдох.

А следующей ночью так ждал, обижался, бывало, если долго его присутствия не чуял. Ой, мне так хочется, чтобы меня правильно поняли, я такой тупой был, я себя и сам едва понимаю. Мне хотелось, чтобы он меня не бил, но мне не хотелось без него остаться.

Так же у всех детей? У всех?

Ну, неважно. Это все сопли со слюнями. Дни я, значит, проводил в поисках еды, один, и это было нудновато. Но справедливо, конечно, – попадешься, так других с собой не тащи.

Я полюбил бродить по богатым кварталам. Опасно вообще-то, буржуи и в ментуру отправить могли, но мне так нравилось смотреть, как богатеи живут.

У меня в репертуаре и любимый районч ик был, хотя до него и далековато от нашего теплопункта. Назывался он, да и сейчас в этом плане ничего не изменилось, Пасифик Палисейдс. Тоже побережье, но там было почище, покристальнее, потише, чем в Санта-Монике. Да что уж там – по-настоящему тихо.

Пасифик Палисейдс свое название оправдывал не только близостью к Тихому океану, но и этой тишиной, нерушимым спокойствием. Казалось, здесь никогда ничего не происходило, не шумели дорогие иномарки, с достоинством вели себя официанты дорогущих рыбных ресторанчиков. Зеленые холмы спускались к синей воде, но никогда не встречались с ней, навечно разделенные полосой золотого песка.

И во всем районе это была единственная драма – природная, пейзажная.

В остальном, сдержанные, спокойные люди с достоинством сходили к океану по хитро изогнутым лесенкам, ведущим на волю из их особняков и вилл. Даже дети их возились в воде тихонько, с аристократизмом, строили песочные замки на берегах, опираясь не на воображение, а на воспоминания о путешествиях в Европу, а иногда и о собственных домах.

Такие были красивые особняки, с колоннами даже, с белыми террасами, как из ебучего мексиканского сериала про богатеев. А вечером все горело, появлялась еще одна полоса – полоса огня. В каждом домике теплый свет.

Ну я завидовал, конечно, злился, восхищался. Отлично понимал, почему чернь усадьбы грабила, как коммуняки пришли. А мне, что ль, не хотелось так жить?

И это еще папашка у меня был богатый, а кто совсем без родителей, тому как на это смотреть? Я никогда не рассказывал о Пасифик Палисейдс ни Алесю, ни Андрейке, ни Марине. Только Мэрвину, и с ним мы вместе представляли, из какого дома пинками погнали бы жильцов, в каком стали бы жить.

Но со мной он смотреть не ходил, выбирал по описанию, по моему воображаемому каталогу.

Однажды я решил уйти с побережья, посмотреть на самые красивые дома, стоявшие на холмах. Я, нищий, грязный, ходил между роскошных особняков, и это само по себе было картиной, сюжетом. Домработницы меня в основном гоняли, но некоторые выносили холодного молока, лимонада или печенья.

Ох и какие это были дома – с коваными оградками, с ухоженными садами, с большими бассейнами и зелеными изгородями. Совсем как в кино.

Бродил я и бродил, бесцельно, обалдело, пока меня не привлек яркий мышиный запах. Гнездо.

Про мышей я немножко знал – это были наши ближайшие родственники. Тоже подземные звери, своего рода шаманы. Они знали духов. Отец говорил, ему одна мышь рассказывала, что у всего есть духи: и у каждого дерева, и у каждой речки, и у каждой песчинки даже, хотя с ними и сложнее говорить. Есть духи и у вещей, у техники, у одежды. Есть духи даже у ядерных реакторов (строго говоря, именно на укрощении реакторов та мышь и специализировалась).

Если мы, крысы, занимались устранением дыр, то мышки договаривались с землей, чтобы не разверзалась, с вулканом, чтобы не извергался, с оползнем, чтобы не шел. Это когда дыра уже открылась на поверхности, из нее ползет скверна, и все вокруг недовольное, возмущенное.

Частенько бывало, что крысы и мыши работали вместе, хотя папашка говорил, что мыши избалованные, трусливые существа. Они не знали, что такое погибать медленно. Если не получалось договориться, то в катастрофах умирали первыми, конечно. Но тут ведь как – повезет или нет.

А нам, говорил отец, всегда не везет.

Но в идеале бывало так: ты закроешь рану в земле, мышка землю успокоит, а кто-то еще уберет плесень, которая осталась, уже распространившуюся наверх грязь. И все чисто, все счастливы.

Но так редко получалось. Может, Уолтер того и хотел, элементарной, значит, эргономики.

Я-то лично ни единой мышки в своей жизни не видал, и мне было про них интересно узнать. Хоть бы издалека посмотреть,

понюхать.

Шел я, короче, по тенистым аллеям из сраных любовных романов, сражался с желанием перелезть через очередной заборчик и поцарапать капот чьей-нибудь новенькой машины, пока не уткнулся в самое прекрасное гнездо на земле.

Нет, серьезно, я был так поражен, что сло́ва вымолвить не мог.

Первым делом я увидел высокий кованый забор с острыми пиками, завершающими каждый из прутьев, и все было витое, в сердцах, в изгибах, а в просветах – идеальный изумрудный газончик.

Дом был такой белый, как привидение. Богатые люди любят белый цвет, способность поддерживать нечто маркое в постоянной чистоте для них вроде показателя умения жить в роскоши.

Эй, чувак, смотри, я богат, я противостою энтропии, как могу.

Дом был большой, в то же время он казался приземистым, каким-то хоббитским из-за того, что весь первый этаж увивал плющ, только окна и двери торчали. Второй же этаж сиял этой первозданной белизной, сверкал высокими французскими окнами. Крыша была серая, благородного, ну, может, и мышиного даже цвета, это смешно, конечно. Ой, а кованые балкончики, а розочки – викторианская открытка, и только.

Легкий закос под старину тут же нивелировался голливудским таким бассейном с мраморной широкой лестницей, ведущей в него, с водой синее неба, с лежаками, на которых легко было представить каких-нибудь знаменитых актрис.

Вообще-то весь бассейн был окаймлен мрамором и потому выглядел как украшение, сапфир в странной огранке, огромный круглый медальон.

Я так всем впечатлился, что не сразу заметил девчонку на балконе. Она смотрела на меня, вышла специально ко мне, тоже меня учуяв.

Мы так и стояли, уставившись друг на друга. Она была мне ровесницей, но оделась, как маленькая взрослая. На ней было строгое, длинное, закрытое платье, черное с зелеными бархатными вставками, старомодное почти до костюмерности. На запястье поблескивали тонкие часики, они ловили в себя солнце, и я сразу их приметил.

Наконец она ушла с балкона, исчезла, чтобы появиться, ну, минут через пять. Подошла к ограде решительно так и серьезно, открыла мне калитку.

– Ты хотел зайти?

– Чего?

У нее был сильный акцент, я его сразу не узнал, секунду думал, откуда она такая.

– Эдит Маутнер.

Эдит была светлоглазая, темноволосая и бледная, носила смешные, серьезные очки, которые вроде бы были ей в пору, но казалось, что чуть великоваты. Лицо у нее было милое, но как будто бы недостаточно, без намека на красоту. Вроде бы глазастая девчонка с мягкими чертами, но была какая-то странно диссонирующая с этими чертами отстраненность, холодность, словно она носила маску.

Зато сиськи у нее были обалдеть, я сразу заценил. Но, в общем-то, это все было не важно, я с первой секунды понял, что Эдит – телка, холодная как лед, что она вообще не по этим делам. И не ошибся – никогда я ее не видел ни с мужиком, ни с девчонкой, ни с кем вообще.

– Борис Шустов.

От неожиданности я представился полным именем, я от нее так опешил.

– Мы недавно сюда переехали. Я еще не успела познакомиться с кем-то нашего…

Она долго и мучительно подбирала слово, наконец поправилась:

– Наших видов.

Эдит смотрела пристально, но неспокойно, было в ней тайное смятение, не из-за меня, от каких-то ее собственных мыслей и чувств. Она сложила руки на груди:

– Россия мне интересна. Я читала книгу о соцреализме. Утопическое искусство, тоталитарное – это всегда интересно. Искусственное искусство.

Она не пыталась поддержать разговор, взгляд ее вообще-то был устремлен куда-то поверх меня. Развернулась и пошла к двери, чуть в бассейн не наебнулась, поскользнувшись.

– Я тебе и про соцреализм расскажу, и про что хочешь, только покорми меня!

Она растерялась, вроде бы для нее наш разговор был закончен.

– Да, конечно. Иди за мной.

Я сразу почувствовал, что ей навязываюсь, но это мне было все равно – в желудке урчало.

Сукой, ледяной королевой там какой-нибудь Эдит не была, это точно, она была скорее как камень, и только когда мы с ней бухали водку до соплей, тогда она размягчалась, выходила из оцепенения.

Пошел я за ней в дом, а там все было так чисто и красиво, что

меня по всем правилам должна была молния поразить. Наследил ботинками на новом, мягком ковре – сплошное удовольствие. В гостиной сидела девчонка лет этак двенадцати.

– Это Одетт, – сказала Эдит. – Моя младшая сестра.

Ну и что я на это должен был ответить? Поздравляю?

Одетт была красивая, какая-то очень американская девочка с печальными, византийскими глазами. Я потом узнал, что она немка, да еще из Кобурга (маленький, унылый городок, первый в стране набрал абсолютное большинство голосов за нацистскую партию, Одетт об этом постоянно шутила), а тогда она показалась мне не то идеальной калифорнийской девочкой, не то константинопольской принцессой. Но я в ту минуту еще до конца не понимал, какая она красивая, еще не думал об этом.

Одетт играла в какую-то часть «Сайлент Хилла» на плейстейшн, на здоровом экране дорогого телевизора из тумана вылезали разнообразные монстры. Она визжала, прижимала джойстик ко лбу и совершенно не обращала на нас внимания. Через некоторое время Одетт, наконец, затараторила:

– Привет. Я Одетт. Мне двенадцать лет. Люблю игры. Второго джойстика нет. Все, пока, удачи!

От нее пахло кровью, пахло взрослой девочкой. На ней была толстовка с Микки-Маусом, в комиксовом облачке плыла надпись «В конце концов, никто не идеален».

Они обе были мышки, но явно от разных родителей. Ой, боже мой, да у них не было ни единой общей черточки. Эдит поглядела на Одетт и сказала мне:

– Суши или пицца?

– У тебя есть устрицы? Ты же богатая!

Она не улыбнулась, но шутку поддержала, я как-то по глазам понял. С годами это умение я отточил.

– Вообще-то обычно Одетт довольно приветливая.

На кухне у них все так хромированно блестело, а пол был мраморный, блин, вот натурально. Белым выстелили камнем с такими прожилками, с венками и сосудами, роскошным, конечно, но каким-то даже излишним.

– Извини, мы еще не успели нанять домработницу.

– Да не извиняйся, мне четырнадцать, и я живу на улице.

Я помолчал, потом добавил:

– Мы с ребятами все думали скинуться на домработницу, но как-то вечно забиваем на это, да и дома нет, в принципе.

И опять не засмеялась, но я увидел в ее взгляде удовольствие – тут уж ей больше понравилось, как я пошутил.

– Устриц нет, но можем заказать пиццу с морепродуктами.

– Не то чтобы я не ел пиццу с морепродуктами…

Она продолжала смотреть на меня, а затем сказала:

– Я не ела пиццу с морепродуктами.

Вот я так рассказываю, получается, будто она очень суровая, какая-то жесткая, но это не так. Эдит просто холодная, как труп, сам характер у нее вообще-то не стальной.

На кухонной стойке (тоже, мать ее, мраморной) я заметил чашку, в которой чернел остывший кофе. Рядом с ней лежала книжка Томмазо Кампанеллы «Город Солнца», это такая старенькая итальянская зодиакальная утопия, где тощих женили на жирных и вообще все хорошо было.

Эдит вообще-то очень много читала, и была в этом плане абсолютно всеядна. Говорила мне как-то по пьяни, что тонет в море и цепляется за книги, за обломки огромного мира.

Я на нее смотрел настороженно, она мне нравилась, и в то же время я не понимал, как с ней общаться. А потом она вдруг начала делать кофе, для меня, ни слова не сказав, и все стало как-то естественно и просто, будто мы старые друзья и я пришел к ней сегодня, а виделись мы, скажем, позавчера.

– Папы и Марии нет, они вернутся только к девяти, если не к десяти.

– Ну, теперь я точно вынесу телевизор.

Не засмеялась, но как-то странно плечами повела.

Стали мы, значит, пить сладкий черный кофе, потому что молока в этом богатейшем доме не оказалось. Я ей много о себе рассказывал, прям захлебывался – все истории, может и слишком личные даже. Эдит хорошо слушала, с интересом, с каким-то спокойным сочувствием.

Но вот я дошел до того, как мамка моя утонула, и Эдит вздрогнула.

– Мне жаль.

Она с нажимом сказала мне это, как ребенку, я скосил глаза вправо и увидел мамку, она сидела на стуле, покачивалась, голова ее была сильно запрокинута, словно мышцы ее не держали, синюшный язык был такой толстый, что я его видел. Мамка частенько так дурачилась, когда живая была, но сейчас выглядело жутковато.

Посмотрела на меня своими глазами с мертвенной поволокой, словно у забитой коровы – черные они, туманные, – да и сказала:

– Хорошая какая девочка, Боречка.

Я задумчиво кивнул.

Эдит смотрела сквозь мою мамку, она не видела, что мертвые здесь, с нами, в нас.

Такая у нее была беда, она мне не сразу рассказала. Вообще

сначала она мало говорила, все больше меня слушала, внимательная и апатичная одновременно. Ой, а я про себя-то рассказывать люблю, и так мне понравилось про свою жизнь говорить, что я и позабыл ее спрашивать.

Потом привезли пиццу, и мы пошли к ней в комнату. В этом, знаете, ничего не было, что между парнем и девчонкой может случиться, никаких таких штук, которые обещает обычно чья-нибудь комната, чья-нибудь кровать.

И вот, когда мы ели пиццу и я весь перепачкался в соусе, а она рвала на кусочки горячую корочку, вдруг я от нее услышал:

– Моя мама умерла. И папа Одетт. Они умерли вместе.

Эдит прошла к столу, выдвинула ящик и достала из него тоненькие сигареты, открыла окно, закурила, выгоняя дым в сад, непривычно энергично размахивая рукой. Я взял себе еще кусок пиццы.

– Ого, это в какой-то катастрофе?

– Да. Этим летом, – продолжила она, будто меня не слышала, затем встрепенулась, глянула так темно и остро. – Но еще до катастрофы. Ее все равно не вышло остановить. Это был ураган «Катрина». Здесь, в Америке.

Я тоже закурил, лег на ее кровать, по-принцесскиному мягкую, пахнущую девчонкой. Комната у нее была строгая и безликая, как в гостинице. Зато всюду валялись книжки, читала она Хайдеггера, Саида, Гомбриха, Бодрийяра, Ролана Барта, Карла Барта и вообще орду каких-то мужиков, которым нравилось заморочиться. Все знала, о чем ни спроси, но ей ничего не помогало. Такая была Гермиона Грейнджер, вообще ужас. Больше всего любила книгу «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Я потом почитал – немецкая чернуха, мне понравилась, но без такого уж восторга. А она в ней что-то понимала такое, что мне и не снилось.

А ей «Котлован» не понравился, она от него даже заболела. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну и наоборот, соответственно.

Ну и кстати, немкой она не была, а была австриячкой, из Вены, из уютного, имперского, аккуратного городка такого, из края тортиков и анатомических музеев. Так она и говорила: лучшее, что есть в Вене, – торт с абрикосовым джемом и Наррентурм со скелетом гидроцефала.

Она Вену тайно любила, но, как и Чеслав Милош, не считала нужным привязываться к городам – способны исчезнуть с карты (или как там было?).

Короче, я все оттягиваю да оттягиваю, не могу историю Эдит начать. Потому что грустная эта история, да и настолько она

Эдит принадлежит, что не расскажешь правильно. Ну да ладно, правильно, неправильно, а мне она вот что говорила:

– Они бы наверняка погибли от урагана. Чуда бы не совершили, там много кто не справился, мышей погибло достаточно.

Над зеркалом было скотчем вылеплено: «неравенство перед смертью остается очень большим». Докурив одну сигарету, она сразу же взяла вторую.

– Но они даже не доехали туда, где собрались все остальные. Разбились на машине. Вот так все нелепо – за пять часов до катастрофы.

Эдит по-настоящему выплевывала слова, они ей не давались, было видно, что думает она больше, чем говорит. Ее как бы тошнило всеми этими откровениями, ее хотелось подержать за волосы, ей хотелось дать воды, и лоб у нее взмок, и рот она вытерла.

– Мама путешествовала по всему миру. Она любила спасать. Любила быть героиней. Была героиней.

Отвлеклась на мамку свою и тут же замолчала, сохранила ее, сберегла для себя.

– Неважно. Она и отец Одетт, Петер, были любовниками. Познакомились где-то, куда мой папа и мама Одетт никогда бы не сунулись. В Конго, что ли.

Было у меня такое ощущение, будто я первый, с кем она откровенничает, не доверила бы она такого ни психотерапевту, ни родственникам (особенно новоявленным), да никому вообще. А я был ей человек случайный, новый, необычайный. Я ни к чему не обязывал, и слова она кидала мне, как камни.

– Я об этом знала. Мы с ней вообще-то дружили. Лучшие подружки почти. Я про мамину измену знала, а папа нет. Мне стоило рассказать об этом ему, он устроил бы скандал, никуда бы ее не пустил, поехал бы с ней, да хоть бы выехала она на час позже и не разбилась бы, разминулись бы с той машиной. Все можно было изменить.

И ничего нельзя было изменить. Разминулась бы с машиной, погибла бы в катастрофе, а дома б осталась, так мало ли смертей на земле. Кому суждено, тот помрет все одно.

Говорила об этом Эдит неорганично, неестественно, словно писала письмо. Но такое бывает, я слышал, когда у тебя из сердца все слова вырезаны и ты не можешь выразиться, молчишь-молчишь, а если и говоришь – так все не то.

– Ну ужасно, чего. Мне всех жаль.

– Мне тоже всех жаль.

Это потом, когда она была пьяная и швырялась вещами, я

узнал, что матери ее башку оторвало, прям натурально оторвало, и у нее на горле, когда она лежала в гробу, был такой толстый, такой заметный шрам.

Это потом я узнал, что оба они погибли сразу, потому что столкнулись с ебучей фурой, как в «Пункте, мать его, назначения».

Это я потом узнал, что Эдит с отцом не могли забрать мать из морга из-за урагана, и она лежала, лежала, лежала там, как забытая игрушка.

Это я потом узнал, как много макияжа требуется, чтобы скрыть истекающий срок годности у трупа.

А тогда – никакой водки, никаких соплей. Однажды мы с ней душили друг друга, чтобы словить кайф, и она просила меня давить сильнее, но пока я всего этого еще не знал. Эдит казалась мне очень сдержанной.

– Хочешь продолжить дело мамки своей? Спасать мир, и все прочее?

Эдит резко затушила сигарету, прямо о белый подоконник, и я заметил еще парочку таких вот черных отметин. Ой, тоже плачут богатые, ей-богу.

– Нет. Я не собираюсь.

Тут я ее понимал.

– Ну да, чего себя опасности-то подвергать.

– Не в этом дело.

Она села рядом со мной, взяла еще кусок пиццы.

– Я не собираюсь, – сказала она с набитым ртом, – ничего делать, потому что пусть мир летит к черту. Я его ненавижу.

Как было искренне сказано, того и гляди луч софита на нее упадет, я ждал ключевого монолога, но его не последовало.

– Прикольно, – сказал я наконец. – Ну, тоже выбор.

– Твоя мама тоже умерла. Как ты это пережил?

А я не пережил. Я слышал ее шаги там, внизу, знакомые, напоенные водой Усть-Хантайского водохранилища.

– Я ее съел.

Недоеденный кусок пиццы Эдит бросила обратно в коробку и больше к нему не притронулась, даже когда я все объяснил.

– А у нас в это не верят, – сказала она задумчиво.

Я потянулся к ее куску.

– Да, – сказала она. – Бери. И мидий, которых я выковыривала, тоже.

Вроде такая богатая, а что-то в ней было и предельно простое.

– У нас верят, – сказала она тихонько, – что, умирая, человек уходит отсюда. А куда – этого уже никто не узнает. От него

остается только память, этого человека в мире уже нет.

– Ну, я не верю. Как так?

– Меня учили. Я другого не знаю, в другое просто не могу поверить.

– Но, может, есть тогда тайное место, где они все живы.

– Тогда неужели никто не заслуживает при жизни узнать о нем и увидеть тех, кто…

Тут дверь скрипнула, я чуть не заорал – разговорчик-то настраивал, но на пороге стояла Одетт. Глянула так на Эдит, протянула недовольным, писклявым голоском:

– Опять про смерть, что ли? Я на запах пришла.

Схватила она кусок пиццы и развернулась, чтобы уйти, но я спросил:

– Твой папка же тоже умер, хочешь с нами обсудить?

– Умер и ладно. Какая разница?

Она засунула в рот половину куска, но в то же время сделала это необычайно аккуратно, ни крошки не упало.

На ее джинсовых шортах я заметил малюсенькую капельку крови. Одетт сказала:

– Почему вообще надо столько из-за этого переезжаться? Сами тут свои похоронные клубы устраивайте. Ну все, пока!

Она пулей вылетела за дверь, захлопнула ее ногой и протопала по лестнице, вся такая важная, выше всей этой херни.

– Чего это она?

– Понятия не имею. Мы не очень-то дружим.

– А родители-то ваши как сошлись?

– Вместе ездили сюда, за ними. Он из Австрии, она из Германии, им обоим нужно было вывезти в Евросоюз по трупу.

Она не засмеялась, но на этом месте должна была, опять я это почувствовал.

А когда она на самом деле смеялась, позже, позже – я узнал, что мать ее была беременна, и отец Эдит так уже никогда и не узнает от кого.

– Они решили быть вместе, чтобы завести еще детей. Еще мышат. Из чувства долга. Хотя не думаю, что они были друг к другу равнодушны. Во всяком случае, папа объяснял это так. Поженились через месяц после похорон.

На топливе из обиды, ревности и горя. Ну, понятно. А потом еще и переехали в Америку, чтобы жить семьей там, где другая семья – более справедливая, любовная – так и не создалась.

Ой, эти немцы – так все сдержанно, так практично.

Но, надо сказать, разумно, если ты мышиный мужик, окольцевать мышиную бабу, пока она не продолжила чей-то другой род, дух-то всегда по отцу передается.

А сколько было трагедий, когда наши девчонки влюблялись в человеческих мужиков, замуж выходили, а ребеночка все равно на стороне приходилось делать. У всех долги, живем как в кредит.

Тут до меня дошло, хлопнул я себя по лбу, значит, да сказал:

– Уолтер!

– А. – Эдит пожала плечами. – Так твой отец тоже на него работает?

– Точняк. Мутный он чувак.

– Нормальный вроде бы. Даже слишком. Хочет хорошего.

– Ой, я из России, я ненавижу людей, которые хотят хорошего, я их всех так отлично знаю, это такие страшные рожи на самом-то деле.

– Я к нему работать не пойду в любом случае. Но папа говорит, что он порядочный, добрый, только очень сдержанный.

– Мой папашка говорил, что он сердобольный мудак и выглядит так, как будто его только что выебали.

– Знаешь, – сказала она, хитро прищурившись. – Думаю, наши родители принадлежат к очень разным социальным стратам, но имеют в виду одно и то же.

Я громко засмеялся, за нас с ней двоих.

Еще долго я лежал у нее на кровати, я так отвык от мягкой подушки, от матраса, от одеяла, от всего такого обычного, на что Эдит даже не обращала внимания. Она меня не гнала, читала какую-то книжку, по-старушечьи вытянув ноги в кресле-качалке, единственном предмете мебели в этой комнате, который имел хоть какую-нибудь историю.

– Оно бабушкино, – объяснила Эдит. – Бабушка меня очень любит, хотя мы и редко общаемся. Она осталась в Вене.

Где-то внизу Одетт играла на приставке, я слышал ее «ура!» и «ужас», и еще много чего, что ее родителям не понравилось бы. Пицца закончилась, мы поглядели кино, лежали рядом, соприкасаясь локтями, но я не ощущал, что лежу с девчонкой, даже что лежу с живым человеком.

Смотрели мы «Семейку Тененбаум» Уэса Андерсона, и мне фильм ужасно понравился, а по Эдит ничего было не понять. Она еще минуту глядела на титры, потом вдруг сказала:

– У меня есть кое-что для тебя и твоих друзей.

Она ушла минут, скажем, на пять, а я смотрел в потолок, физически мне было зашибись, давненько я так не отдыхал. От одного сегодняшнего дня у меня появились силы еще неделю провести на улице. Я думал об этом со злорадством, об отце на самом деле думал.

Эдит вернулась с большим полиэтиленовым мешком.

– Тут одежда для бездомных детей. Мария занимается

благотворительностью, покупает кое-что. Я подумала, что ничего такого, если ее заберешь ты, поделишься с друзьями. В конце концов, ты и есть бездомный ребенок.

И она хотела досадить Марии, не без этого.

– Класс, никогда тебе не забуду! Это прям благотворительность! А так бы разворовали?

Эдит посмотрела на меня как-то странно, ну вроде я что-то абсурдное сказал.

– В любом случае, беды не будет.

Она снова села рядом со мной и вдруг попросила:

– Расскажи мне про городских сумасшедших.

И я стал ей рассказывать о бомже, который носит в мешке части сломанных кукол, а потом скрепляет их в уродцев и пытается продавать. О телочке, которая все время плачет и говорит об одном и том же всякому, кто желает слушать, – как она танцевала на выпускном с Элвисом Пресли. О совсем молодой женщине, у которой руки всегда расцарапаны до крови. О мужике со шрамом, бормочущем что-то физкультурное: «раз и два, раз и два», маршевое такое.

– А есть еще бомжара Чарли. Он отдельный, чувствительный такой. Он меня крысенком называет, а моего друга Мэрвина – летучей мышкой, а еще одного друга – птахой. Он ничего не понимает, но чувствует. Что-то у него там в мозгах коротит, как у медиума. Вообще-то добрый мужик, но что-то все время несет про реки, которые превратятся в кровь, и про горькие дожди с неба. Задолбал орать ночами, но по утрам – милее не найдешь вообще.

– А кто-нибудь спит в цистерне?

– Совсем уж циники.

Она не засмеялась, а как ей, должно быть, хотелось.

Напоследок мы послушали Bauhaus, разделив наушники, и в голове у меня всю ночь играла Bela Lugosi's dead. Напоследок я сказал Эдит:

– В следующий раз тебе дам послушать «Гражданскую оборону» и «Янку».

– Мрачная русская музыка про гробы и коммунизм?

– Это странно, но ты угадала.

Продуктивно, в общем, мы день провели. Когда я спустился, Одетт валялась на диване, на животе у нее лежал пакетик с чипсами, одной рукой она листала комикс про «Людей Икс», второй старалась его не запачкать.

– До свиданья! – громко сказала она. Мой уход ее явно обрадовал. – И в следующий раз, как придешь сюда, можешь помыться предварительно? Можешь даже у нас дома, только помойся!

Эдит цыкнула на нее, но Одетт только пожала плечами.

Когда я вышел, уже совсем стемнело, звезды были высокие и холодные, само небо как бы отдалилось. Я еле собрал денег на обратную дорогу, а потом еще долго-долго шел по Санта-Монике, и мама следовала за мной, так что ничего страшного не было. Я ей рассказывал, как провел день, а она все:

– Я знаю, я знаю.

– Почему ты такая мне чужая? – спросил вдруг я. – Вот бы тебя живой увидеть, а то ты как вещь, к которой ты же и прикрепилась. Это сложно, но ты меня понимаешь?

– Я как есть, Боречка. Другой у тебя нет.

Ну и правильно, в общем. Носят с собой только мертвецов, живые сами рядом идут. Тут и ответ, он всегда тот же, как с эпитафиями. Ну что ты пытаешься докричаться до мертвого? Ты что ему сказать-то хочешь?

– Мама, а так-то я правильно живу?

Прошел мимо ларька с донер-кебабами, из коробки рядом торчало штук семь кошачьих задниц, выбросили ребяткам, что за день человечкам не продали. Пахло маняще, хоть сам рядом с котами на колени вставай, ройся, ищи себе мясца. Я подумал о мисс Гловер. Скучает она вообще-то?

Я остановился, и мамка тоже, взглянули мы друг на друга. Ничего она не сказала, только пожала слабыми плечиками, поджала синие губы. А когда они были красными, как часто она меня ими целовала, и не упомнить.

– Я хочу, чтобы у тебя был дом. У всякого ребенка должен быть дом.

А я хочу землю целовать, в которой косточки твои остались, вот мой дом. Такая тоска на меня напала, Эдит меня растревожила, и я обнял маму. Лицо ее освещала неоновая вывеска «Донер-кебаб», придавала лихорадочной, температурной красоты ее бледным щекам. Я увидел слезы, крупные, прозрачные, призрачные. Они стекали ей за воротник вместе с водой, срывавшейся с ее волос. Ой, какая то горькая вода, в которой тонешь – горше слез, утяжелила ей волосы, заставила вспухнуть губы – эта далекая, сибирская вода.

Да и плакала мамка ею же, другой воды в ней не было.

– Знал бы ты, Боречка, как я с тобой рассталась, как мне больно было тебя тут бросить.

Сверху, из одного окна в многоквартирном доме, неслась, как лавина, клубная, заводная музычка. Жизнь кипела, коты мяукали, люди смеялись, горели фонари. А говорят, что кладбище – печальное место. Теперь все места печальные.

Так блестела ее кожа в неоновом свете, но от того еще более

тусклыми, неживыми казались глаза.

– Ты моя радость, – сказала она.

А ты, думал я, моя печаль, ну чего ж ты так, ну как ты меня оставила?

– Я всегда буду тебя любить, где бы ты ни был, куда бы ни попал.

– Правда?

– Это одна правда во всем мире.

Я улыбнулся, обнял ее сильнее, холодную и родную, увидел, что коты вылезли из большой коробки и смотрят на меня, глазами своими фосфорически блестят. Выставил им, значит, средний палец, сказал:

– На хуй идите. Вам меня не сожрать.

А когда к мамке обернулся, так не было ее уже.

Ну и пошел я дальше со своим мешком, счастливый, успокоенный, до одного из поворотов, за которым подумал: а может, все это блажь, может, это я сам себя баюкаю, сам укачиваю, сам себе колыбельные пою – один.

Пришел я домой (в отсутствие дома, если точнее) часа в три ночи, притащился со своим мешком, всех перебудил и долго-долго мы примеряли шмотки (неплохие, кстати) и притворялись приличными людьми.

– Зацените-зацените, – сказала Марина. – Похожа я на девчонку, которой папа подарит машину?

– Для начала, – сказал Мэрвин, – ты похожа на девчонку, у которой вообще есть папа.

Сам он тоже набрал себе маек со скейтерскими принтами, такой гордый ходил, как если б сам их сшил.

– Ребята, – сказал я, – давайте-ка подумаем про китайских детей, которым еще хуже, чем нам.

– Не скажи, – ответил Андрейка, пытаясь влезть в джинсы, которые явно были рассчитаны на мальчишку помладше. – Им сегодня хотя бы дали плошку риса.

Алесь сидел в углу с отрешенным видом, иногда в него кидали какие-нибудь вещи, но он ничего не мерил.

– Я думаю, – отвечал он, и я смеялся вместе со всеми – у Алеся был забавный вид, но в то же время отрешенный и странный.

Короче, мы веселились как могли, окончательно проснулись и пили теплое вино, забытое на трубе, почти глинтвейн, если так подумать. Марина раскраснелась и вещала:

– Знаете, я, если честно, ненавижу благотворителей. За то, что, в конце концов, они надуются от собственной важности и уйдут, а мы останемся. Так было в детдоме. Я любила молодых

девчат, которые приходили, чтобы со мной поиграть, а спонсоры, которых я в глаза не видела, они у меня не вызывали никакой благодарности, отвращение только. Посмотри мне в глаза! Я есть! От меня никак не откупиться!

– А мне, наоборот, хорошо было, – сказал Андрейка. – Не забывают. Ну, ты знаешь, ты как бы воспринимаешь все это как подачки, если так думать, то любая доброта отстой какой-то.

– Я просто говорю, что важнее думать о душе, о том, чтобы быть рядом, чтобы любить нас, потому что этого-то у нас и нет.

– Ну не знаю, Марин, у меня лично кроссовок на лето не было.

Я сказал:

– Не, ну подождите, думать надо о душе, тут я согласен, но как бы на голодный желудок у меня душа за все болит, я любовь на голодный желудок воспринимать не могу.

– Да, – сказал Мэрвин. – Я тоже. Лично я считаю, что, во-первых, надо сделать нас всех богатыми. Все отобрать и поделить. Чтоб, знаете, можно было по рестикам ходить.

Алесь выглянул из своего кутка.

– У тебя-то души вообще нет, ты ж поляк. Вот ты и думаешь только по рестикам шататься.

– Нет, ну слушай, это стереотип.

– Борь, так твое-то мнение какое?

– Установив, что есть два пути, я третий путь пытаюсь найти.

– Цитировать чего-то, ничего не предлагая, – вот его путь.

– Меня ж назвали в честь Ельцина, я ничего дельного не могу предложить, это точно.

Марина засмеялась:

– Ну чего, Боря, устал?

– Ухожу.

– Нет, ну Борь!

– Чего, Мэрвин? Ладно, уговорил, давай богатых на фонарях вздергивать.

– Ну наконец-то. Все, теперь я тебе верю, что ты русский.

– Нет, ну кое-кого я бы вздернул, – сказал Алесь.

– Кого? – спросил Андрейка.

Изначально я с таким удовольствием болтал, а тут вдруг мне стало так тревожно, непонятно. Достал мобильник, взглянул на часы. Батарея почти сдохла, в последний раз я телефон заряжал сутки назад на автовокзале.

Отец должен был давно прийти и проведать меня. Я сказал:

– Пойду покурю.

В запале спора никто и внимания на меня не обратил. Вылез я на свет божий, смотрю, а там Чарли сидит, привалившись к

сетчатому забору в дырках.

– Привет, крысеныш!

Он отсалютовал мне пустой бутылкой из-под дешевого винища. Чарли был заросший, весь какой-то больной, отощавший, грязный, но с невероятно живыми глазами, это придавало ему необычайно бодрый для его состояния вид.

– Ой, привет, – сказал я. – Выгнали тебя?

– Немножко.

Он был добрейшей души человек, и его частенько выгоняли другие бомжи. Никому зла в жизни не делал, не умел даже думать об этом, а они его вот так. Он был чувствительный, сентиментальный такой мужик, и про реальность у него было знаний побольше, чем у академиков. Он мне, к примеру, говорил про черную плесень.

От него звериком не пахло и близко, но чуйка была отменная.

Я спустился вниз, взял одну из теплых бутылок вина, едва начатую, отдал Чарли.

– На, погрейся. К себе бы пустили, но места нет. Хотя вообще можно и потесниться. Сейчас что-нибудь придумаем.

Он стал греть синюшные руки с пухлыми ногтями о бутылку и поглядел на звездное небо.

– Мужик тот сегодня не приходил.

– Какой мужик?

– Отец твой. Я его там видел, на другой стороне улицы. Придет, постоит, потом уйдет.

– А с чего взял, что отец?

– Тоже на крысу похож.

Я засмеялся.

– Тощая, больная крыса, это да.

Было мне неспокойно и тоскливо, отошел я в сторону, попинал строительный мусор, залез на цистерну, чтобы обозреть все вокруг, втянул носом воздух и вдруг понял – отца не чувствую. Нет его в городе, он где-то далеко-далеко.

Я сначала чуть не разрыдался, ой какие сопли начались, подумал, вдруг он в Россию умотал, а как же я, что же я буду делать?

Потом пошел договариваться про Чарли с ребятами, как-то раскумарился от мысли, что у меня есть друзья, и тут в голову мне пришла обалденная идея.

– Ребят, – сказал я. – Я так все шикарно придумал. Держите Алеся, у него может стать плохо с сердцем. У нас будет крыша.

Глава 9. Надо ночь скоротать

А дочь папкиной двоюродной сестры в девяностые совсем одна осталась, да в Екатеринбурге еще, только недавно он был Свердловском, и тут все переменилось.

Квартиру у нее отобрали бандиты, отписала им, чтоб не убили ее дочь, не украли. Была благодарна судьбе – в землице не лежит. Но тут зима, мороз лютый, с вокзала менты гонят, а у нее ребеночек пяти лет, симпатичная такая малышка, от холода она красной корочкой вся покрылась – смотреть страшно.

Ну что она делала? Да с мужиками знакомилась, чтобы было где ночь скоротать. Трахать себя давала, пока дочка спала в другой комнате, или в ванной, или в прихожей – где придется.

Не было у нее жилья, что ей, на улице помирать?

Потом наладилось все, приезжала как-то она и к нам, нормальная женщина, в шапке меховой, сигаретки курила гламурные, тоненькие. А нажрется – такая из нее непристойность лезет, я о том, что у женщин между ног, от нее и узнал, только что не показала мне.

А так – все хорошо.

Вот тебе и загадка, вот тебе и ослик Буридана между двумя стогами сена. Нельзя жизнь прожить, да не замараться, не выбирать, как ночь скоротать. И что тогда зло, и есть ли оно вообще?

Жизнь наша, она зло или нет?

А тетеньку ту жалко очень, она сильно пьет. У дочери ее на щеках никаких красных корочек, зато есть другая красная корочка – Московского государственного университета. Хорошо оно получилось или не очень?

Никто не скажет. Рождаемся в боли, в крови, в грязи, умираем так же, а между этим чего хотели?

Ну все, короче, назадавал вопросов, а отвечать на них никому недосуг, надо жизнь жить. Значит, я обо всем этом много думал, об Эдит думал, писал ей смс-ки, она неохотно отвечала, в основном цитатами русских философов, Бахтин там фигурировал, помнится, Бердяев.

Так было, например:

«Я к тебе припрусь, может, на следующей неделе, да? Кинцо смотреть будем?»

Час проходит, два проходит, потом вдруг:

«Николай Бердяев считал культуру способом борьбы вечности со временем».

«Кинчик, говорю, какой хочешь?»

«Паскаль же полагал, что развлечения являются способом притупить осознание собственной смертности».

Тут я уже на нее забивал, конечно, потом, через часок, кидал ей что-нибудь из Петрония, просто чтоб не чувствовать себя тупым. Как девчонку я ее в упор не видел, но какая-то притягательность в ней была, психотическая воронка, черная яма (какие я любил). Наш с ней разговор мне вспоминался частично и отрывисто, я его словно сам выдумал.

Как будто разрыв, сделанный в ней смертью матери, оказался настолько велик, что и меня туда затянуло – а ведь не моя мать, не моя беда. Будто спишь и снится тебе, что ты тонешь и никто не может тебя спасти.

Такое в ней горе было, что с ног сшибало. Свои беды я лелеял, тетешкал и хранил, может, так себе удовольствие, а жить помогает. Эдит была другой, не из тех, кто на гроб бросается, и оттого сама она стала как могильная земля.

Я хотел прийти к ней еще разок, чтобы поесть богатой еды, поспать на богатой кровати и проверить себя, могу я ее выдержать или нет, или сметет меня, слижет, как океаном.

А вообще-то, в остальном, жизнь вдруг резко наладилась. Мы с ребятами теперь жили у меня дома. Тесновато, конечно, зато бояться некого, а еще стены, двери, потолок и пол, все как полагается. Я и забыл уже, какое это счастье.

Смотрели телик, спали вповалку, выпили всю отцовскую водку и съели всю еду в холодильнике. Как сразу жить стало хорошо, я полностью залечился, выздоровел – наконец-то голова совсем перестала кружиться, наконец-то не просыпался ночами от тошноты и боли.

Настали славные дни, серьезно, тогда все они были такие славные. Можно было целыми днями никуда не выходить, я знал, где отец хранит деньги. Мы заказывали столько пиццы, чтоб прям лопнуть, а еще я тогда впервые попробовал роллы «Калифорния» и роллы «Филадельфия», упоротый, под водкой, под клеем, а вкус на всю жизнь запомнил, тех самых роллов из маленького Токио, которые принес нам японский паренек с татухой над бровью.

Блин, а вечерами мы пели песни, смотрели новости, в которых ни слова не было про наши страны, и рассказывали друг другу страшные истории. Больше всех в этом преуспевал, конечно, Мэрвин.

Замусорили квартиру еще сильнее, но плевать хотели на это. Господи боже мой, какой это был дворец, удивительной красоты двухкомнатная квартирка, провонявшая от табака и перегара.

Смерти в ней не было, я там не верил в смерть. Ой, помирать придется, в те дни стану вспоминать, какие мы были молодые,

как клялись в вечной дружбе, руки себе резали и кровь мешали (только одного не вспоминай, Боренька, какие тогда у друга твоего Мэрвина глаза были, когда кровь мешали).

Книжки друг другу вслух читали, стебались над объявлениями в вечерних газетах, в три часа ночи жарили картошку – это мои драгоценные воспоминания, об этом и рассказать правильно нельзя. Кто там не был, тот не поймет оттуда ни шуток, ни картинок.

Вот, помнится, стоит Марина на балконе, курит и смеется, показывает на костяшки пальцев и говорит:

– Видишь, у меня тут «Вася» написано? А сам я «Миша».

И все угорают, со смеху покатываются, а почему? Или идем мы с Андрейкой за сигаретами, а в коробке кошка лежит, подошли посмотреть, поднимает она голову, взгляд сонный-сонный, дремала, значит. И Андрейка такой:

– Извините.

И опять мы с ним чуть не на асфальте лежим.

Как понять? Никому не понять, это воспоминания, чтобы с ними умирать, для жизни они бесполезны.

Кто встречался с Мариной? Это вопрос. Я так и не понял. Не я – точно, хотя мы трахались. Секс она любила, необязательно даже хороший. Мне говорила:

– Ты дикий, ебешься, как животное. Лежи, я сама все сделаю.

И делала, мы почти не целовались, только когда были очень пьяные, и я почти со слезами на глазах доказывал, что люблю ее. Это чувство приходило ко мне от водки и пропадало вместе с остатками опьянения. Вот наступало очередное мутно-молочное утро, а сиделось нам с Мариной на кухне долго, до восьми – разговоры разговаривали, и мы заваливались спать, вдохновленные собственными мыслями о мире, о стране, о том, как жить правильно.

Мы с ней говорили больше, чем трахались. Все уже спали, а мы еще трепались, пока голова не затрещит.

Исчезал Алесь, появлялся Алесь. Я не спрашивал о его грустной работе, но все задавал вопросы о реакторе, о радиации и слушал печальные истории о том, как кто-то опять рано умер, а на небе – клинья журавлей, большие облака, и все такое красивое в этом гиблом месте.

Я все думал: кто-то не спустился под землю, не убрал черноту, просочилась она наверх, подкрепилась злыми мыслями, злыми делами, вот и рвануло. А теперь с каждым мертвым там все чернее и чернее от горя.

– Там аисты как нигде нужны, – говорил Алесь. – Чтобы уходить было легче. Нужно утешение.

– Чего ж ты не вернешься? – спросил Мэрвин.

– Ну ты б пожил в Хойниках, – сказал я. – Потом бы спрашивал.

– Резонно.

А Алесь вдруг сказал:

– Я вернусь. Я вырасту и туда уеду.

Звучало просто фантастически, отсюда – туда, из неона в совсем другое, невидимое свечение.

С Андрейкой мы в основном совершали вылазки на улицу, за сигаретами, за таблеточками, за едой. Андрейка любил животных, все время приносил больных зверей, и мы их выхаживали, я ночами ходил с маленькими котятами у сердца, грел их, грел, а Андрейка мешал им молоко с желтками.

Ой, как Андрейка страдал, когда они погибали.

– Пойдем, – говорил ему, – могилку выкопаем.

А он мне:

– Борь, ну ты чего, ну как так сразу зарыть, они ж были живые.

Ну, я плечами пожимал да шел рыть могилы, у нас весь двор был в зверьках.

Сначала я, честно, думал, что мисс Гловер нас всех убьет, она же предупреждала, что не любит беспорядок. Пару раз мы с ней сталкивались на лестнице, она смотрела своими синющими глазами и говорила:

– Уберите-ка за собой мусор, детки.

Нет, не просто детки, она называла нас интересно, и я это приведу на английском, потому что здесь не нужен перевод. В переводе оно наше, родное, выстраданное, а важно, как нас видела мисс Гловер, из-за океана.

Называла нас мисс Гловер bloodlands babies. Поджимала так еще губы, хмурилась и говорила не шуметь после десяти.

Но утром мы иногда обнаруживали под дверью коробочку с пирожными или даже целый торт.

Ой, коты, они злые, безжалостные убийцы, но на больное место всегда лягут.

Так мы жили. Но отдельное дело – это Мэрвин. Теперь, когда у нас была крыша над головой, его стало от нас не отлепить, и я теперь все понимал про то, как он устроен.

Тут смешно, Мэрвин ничего не объяснял Андрейке и Марине, но они чувствовали, когда с ним становилось неладно, посматривали на него с беспокойством, как на опасное насекомое.

В плохие дни он запирался в моей комнате, оставляя нам отцовскую, утаскивал к себе проигрыватель и включал на полную

громкость околоскейтерское (ну, я не разбирался) музло вроде Sunny Day Real Estate и The Get Up Kids.

Проигрыватель верещал, а мы старались делать вид, что все в порядке, или выпроводить недовольную мисс Гловер.

Все знали, что к Мэрвину лучше не соваться. У него были обычные, человеческие зубы, но, когда я видел его в таком состоянии – горят глаза, синяки под ними разрослись, стали словно смертные тени, – мне хорошо представлялось, как Мэрвин вгрызется в меня.

Вот прям этими обычными зубами выдерет из меня кусок и будет пить, пить, пить мою кровь.

У него глаза сверкали, как должны у людей в агонии, у солдат, умирающих в госпитале. Я не сразу собирался с силами (я или Алесь), но, в конце концов, резал себе руку, сцеживал немного крови в грязный стакан (ничего-то мы не мыли) и относил Мэрвину.

Он выхватывал его из моих рук так быстро, что мне было стремновато думать о том, что случилось бы, не окажись у меня в руках никакого стакана с кровью.

И он отправлялся в ужасный, похожий на сопор, сон.

Однажды пришла Ванда, решила все наши проблемы, потому что принесла с собой литровую банку крови. Выкурила мои сигареты, съела пирожные мисс Гловер да и пошла по своим делам, чмокнув сына в щечку намазанными малиновым блеском губами.

Андрейки и Марины дома не было, и мы старательно спрятали банку на самую верхнюю полку шкафа. Однажды утром я проснулся от шума и увидел, что как обычно бессонный Мэрвин выкидывает вещи из шкафа.

– Блядь, блядь, блядь, блядь, где она?!

Так я впервые узнал, что такое настоящий наркоман. И было немного обидно, что Мэрвин таким родился, что он даже не сделал того неправильного выбора.

Я тогда считал, что наркомания – это не про меня. Ну, понимаете, нюхать клей и жрать все, от чего прет, это, конечно, совсем не то, что тыкать людей в подворотне ножом за очередную дозу.

Чья-то чужая жизнь. Ой, смешно. Но я все задавал себе вопрос: а что бы было, если бы Марина и Андрейка тогда проснулись?

Как бы мы это объясняли?

Составил мне Мэрвин натальную карту, оказалось, что судьба у меня – пулей всю жизнь пролететь.

– Интересно будет, – сказал Мэрвин. – Но местами прямо-

таки чернуха.

– Как фильмы девяностых?

– Страшнее. Как русские фильмы девяностых.

– Да ты ни одного не смотрел.

– А чего их смотреть, у меня ты перед глазами.

– Сам себе и противоречишь.

Ой, такие там были повороты в моей натальной карте – умереть можно. И правда – умереть можно было много-много раз.

К концу третьей недели деньги как хуем смело, набирали мелочь на йогурты. Вот не было бы мисс Гловер, так с голодухи пришлось бы опять воровать идти да картошку фри на летних террасках Макдональдса подбирать. Ой, не этого я в жизни хотел.

Отец позвонил неожиданно, я уже и думать забыл о его существовании. Уверился: он в России, так как разругался с Уолтером и не вспомнил про меня, уезжая.

Я верил, что он может так поступить, так же как верил, что он без копейки в кармане сюда вернется и найдет меня где угодно, если только захочет.

Трубку я все-таки не сразу взял. В телефоне он у меня назывался «мудила» и, господи боже мой, таково было его истинное имя.

Трезвонила и трезвонила моя Nokia, а у меня в горле пересохло, и сердце билось часто-часто, трещоткой, детской заводной игрушкой, птахой, чем угодно чужим и от меня отдельным.

Как я боялся услышать его голос. Как я боялся, что это будет не его голос. Какая-нибудь тетенька, ласковая, сладкая, или, наоборот, механическая, холодная, вдруг такая скажет:

– Борис? Я звоню вам по поводу Виталия Шустова, вашего отца. Он…

От водки умер.

От болезни.

Башку разбил.

Утонул.

В аварию попал.

В пьяную драку.

Попал под поезд.

Столько было славных способов, чтобы в гробу полежать.

Звонил он ранним утром, на кухню, где я сидел и курил, думал о вечном, вышла Марина, сонная такая, глаза терла. Поглядела на телефон и сказала:

– Бери, ты чего?

– Ну, сейчас. Это отец.

– Так тем более бери.

Налила воды в стакан, который от коньяка не помыла, и утопала обратно из прокуренной кухни в прокуренную комнату. А я подумал: не хватает ковра, а то она по полу шлеп-шлеп.

Да и взял трубку.

– Чего тебе нужно? – спросил, но не зло вышло, потому что от дыма заболели глаза. Затушил я сигарету и добавил:

– Ты где вообще?

Голос был отцовский, такое облегчение.

– Борь, разгоняй-ка свой караван-сарай, я домой еду. В аэропорту уже. Тебе еды захватить?

– Да, мексиканской, – ответил я от неожиданности.

Нет, удивляться тому, что отец все знает, я вообще-то не собирался. Крысы есть везде, и они – надежные информаторы, по цепочке могут передать информацию из одного конца света в другой не хуже телеграфа.

Удивился я другому – отец просто заговорил со мной после всего, тепло, участливо, виновато. Как будто он, мать его, нормальный человек.

– А куда я их разгоню?

– Оборвышей-то своих? Не знаю, твое дело, ты ж теперь знаток улиц. Все, до связи, скоро буду.

Всех я поднял, стал объяснять ситуацию:

– Скоро батя приедет, все дела.

– Да чего ты, Борь, – сказал Андрейка. – Понятно ж было, что это не навсегда.

Он уже собирал в пакет шмотки, полученные от Эдит, укладывал вторые кроссовки и киевские фотки – все его нехитрое богатство.

– Ну да. Но мне все равно жалко вас капец просто.

– Да ладно, – сказал Мэрвин. – Если уедет снова, еще позависаем так. Хорошо было.

– Ты заткнись, тебя не жалко, у тебя вообще-то дом есть, – засмеялся я.

И было мне грустно, пусто от того, как они собирались, какие мы вдруг чужие стали с ними. Неловко стало, когда выяснилось, что ребятки-то думали – я с ними пойду. А я оставался. Сам не знал зачем, но оставался.

– Ты прям уверен? – спросил Мэрвин.

– Ну, не убьет же он меня.

И тут мы так засмеялись, а если подумать, соль шутки была очень стремной.

Если жизнь у нас была цветная, то расставание прошло все в серой слизи утра. Всех проводил, закрыл дверь, обернулся да и увидел, во что мы квартиру-то превратили.

Уж на что папашка любил погрязнуть в мусоре и пыли, но и ему не понравится. Пронзительно ощущалось, что здесь жили дети – из-за количества оберток от сладостей, из-за разбросанных журналов и комиксов, но в то же время такого дерьма мы тут развели, что десяток взрослых мужиков бы не справился.

Бутылок было море, бычки по всем комнатам валялись, совсем развонялись уже, кран подтекал, и нам было плевать, в сливном отверстии ванной застрял комок Марининых волос, один из клоков, которые она постоянно вычесывала. Весь пол был липким от бухла и просыпанной еды, пасло чем-то тухлым, но я никак не мог (со своим-то крысиным нюхом!) определить откуда. Наконец понял, что тухлое яйцо кто-то запихал в шкафчик над раковиной, к зубной пасте.

Причины этого поступка так и остались для меня загадкой.

Вот тухлое яйцо, конечно, отправилось в ад, грешников пытать, а остальное я трогать не стал.

Поискал сигареты – не нашел, снова сел на кухне, нарыл в переполненной пепельнице бычок поздоровее, подкурил. За окном такая хмарь была, сквозь нее не проглядеться. Туман, как у меня в голове. И всю комнату наполняли не свет, не тьма, а какое-то серое не-пространство, и все.

Мамка всегда говорила, что в такую погоду мертвые из могил вылазят да бродят в дымке белой, ищут, зовут, плачут, а как рассосется туман, так и их в землю утянет. В то она верила.

Бычок потух, обернулся я другой поискать, а мамка напротив меня сидит.

– Ты с ним говорила?

– Не знаю, Боречка, ничего теперь не помню.

Две разные Кати – моя мать и его жена.

– Ну что мне делать? Ну что, его простить, что ль?

– А не простишь, так что?

Так что? Главный вопрос: как ночь скоротать?

– Мы на земле друг с другом ненадолго. Пожалеешь, нет?

– Не пожалею.

– Его пожалеешь?

Когда открыла широко рот, на «а» ударяя, язык у нее был не целый. Кусочка не хватало, маленького. Могли ей язык раки объесть?

Сполз я под стол, обнял ее колени, прижался к мокрой юбке щекой. Так крыло меня, что я сидел и ни о чем не думал. В голове пустота, слепота, как уличная хмарь туда добралась.

Тут в дверь позвонили, и я понял, что никого рядом нет, под столом один сижу, мокрый весь, дрожащий. Пошел отцу открывать. Думал, так удивлюсь ему, думал, что лица не помню,

кашель его влажный еще из-за двери услышал, и меня передернуло.

Думал, будет он мне никто, совсем его забыл, открываю, а он вот – мой, родной, другого нет, и черты все на мои похожи, и острота их болезненная, и какая-то вечная взвинченность, и алкоголическая бессмысленность глаз, и по́том пахнет, и одеколоном – все как было, так и осталось.

Светился он еще так по-рембрандтовски, сильно. Картина такая «Возвращение блудного сына», значит. Вот у нас с ним оно и было, только наоборот. Казалось, отец сейчас снова на колени передо мной упадет.

А папашка только протянул руку, до виска моего дотронулся, на шрам надавил, легонько и с удивлением. Потом на голову мне ладонью нажал, на макушку, затем на затылок, и обнял наконец.

– Завтра будешь квартиру драить, – сказал он.

От пакета, который он держал в левой руке, приятно тянуло мексиканской едой, специями, тестом, мясом.

– А сейчас есть будем?

– Пить будем. Сука не дала мне нажраться в самолете. Чуть башку ей не открутил, честно. Но есть тоже будем.

Он мне купил альбом с античными скульптурами. Там Пракситель был, а я любил Венеру Книдскую. Она мне нравилась как женщина.

– Ты меня любишь? – спросил я его уже потом, когда мы ели такос и пили водку. – Я твой сын, и ты меня любишь, да?

– Да ясен хуй, – ответил он.

Часть II. Был молодым

Глава 10. Земелька

Пока дядя Коля пил умеренно, у него и жена была (крысочка тоже, конечно), молодая, красивая. Так часто бывает – красивые люди женятся, а потом понимают, что не любят друг друга. Вот, значит, они ругались, но дядя Коля был человек незлобивый, забитый, тихонький, никогда ее не бил.

Вилась эта веревочка, вилась, да не все ж ей виться, достало девчонку, она и уехала к сестре в Москву. Оттуда ни слуху ни духу, дядя Коля о ней и думать забыл, пил себе и пил, он был тишайший пьяница, плакал только с похмелья, говорил всегда тихим голосом и сильно картавил.

Ну да ладно, про дядю Колю тут совсем неважно. Жена его объявилась через неделю, звонит да в трубку рыдает, ой как горько, он сам чуть не расплакался. Дяде Коле ее всегда было жалко, она плакала, как маленькая девочка, а тут, он говорил, слышались другие слезы. Взрослые, женские, густые да горестные такие.

Короче, сразу она выросла, и в его глазах и вообще.

Такая была картинка: он сидит на кухне, с бутылкой водки, она – на кухне с бутылкой водки, между ними столько километров, деньги за междугородний разговор утекают.

Говорила она с ним часа два, наверное, все одну и ту же историю повторяла, так была впечатлена, а позвонить, кроме него, некому было.

Заявилась, значит, к сестре, а у той мешки с землей по всей квартире стоят, сама ходит вся в черном, дрожит.

Мешки с землей, как мешки с картошкой. Дома запахло кладбищем. Обычная панельная коробка, в Строгино где-то, а впечатление от нее, словно от царства Аидова. Ну, чтоб понятнее, жену дяди Коли звали Ритой, а сестру ее – хуй знает, но пусть будет, например, Людмилой, почему нет-то? Но не очень подходит, нет. Пусть лучше Вероникой станет.

Вот, значит, Вероника эта ходит по дому – своя собственная тень. У них с сестрицей разница – семнадцать лет, огромная, одна младенец была еще, другая – девушка, одна теперь жена, другая теперь мать.

Ну, как мать. Сына она в Чечне потеряла. Такой хороший был мальчишка, добрый, убивать не хотел, умирать не собирался, ему в институт надо было.

А она ему все: береги себя да береги себя, целовала его на дорогу. Потом рвала на себе волосы, кричала:

– Я его целовала как мертвеца!

Ее голова уже не работала, как надо. Не понимала уже Вероника, что сын ее умер не от этого, а от пули, от горячего, страшного куска металла.

Ну и что она сделала? Ну чокнулась, так какая мать бы не чокнулась? Какая мать бы дальше жила, малыша своего не помня.

Стала Вероника возить в Чечню мешки с русской землей. Ну то есть оттуда везут трупы, а она туда – землю. Говорила, мальчишки русские там умирают, а ничего русского нет. Высыпала ее там, где-то под Грозным, и лопатой ее, лопатой утрамбовывала.

Люди едут оттуда, а она туда. Матери с ней едут сыновей пропавших искать, еще кто-то втридорога что-то продавать собирается, а она землю с Битцевского парка везет и плачет.

Как ее там не убили? Ну, тут все просто. Горе да безумие материнские – это транснациональный пропуск, язык международный.

А земелька была чистая-чистая, ни капельки темноты, она оттуда все дурное вынимала, с нее волосы клоками лезли, но землю она стерильной делала. Там нужна была такая земля.

Дядя Коля слушал, слушал да языком цокал.

– Праведница она.

– Но я не могу, не могу так жить! Это такое горе, мне сердце рвет, невозможно быть счастливой!

– Так ты ко мне возвращайся.

– К тебе? Да пошел ты на хуй, алкаш проклятый!

Тут она трубку и бросила, и никогда ему не звонила больше. Хуже человеческого горя был дядя Коля.

А вспомнил я все потому, что мы ведь детей для радости растим, для любви, для счастья. И где-то в глубине души, может, надеемся, что они никогда не умрут. Насчет себя уже отчаялись – все с возрастом барахлит, все ломается, но, может, хоть дети?..

У кого ребенок умер, тот до конца верен его могиле, пока сам не ляжет. И в справедливость тот больше никогда не поверит. Где она вообще, та справедливость? Кто ее видел?

Ну и все, помянуть сразу хочется мертвых на всей земле – мы все чьи-то дети.

* * *

Но вернемся ко мне, я тоже чей-то ребенок и тоже когда-то умру. Так, значит, а мне стукнуло шестнадцать. Я уже и в школу ходил, было у меня там много знакомых, а друзей не водилось. Ведь у меня была моя славянская компания, я к ним сливался при

каждой возможности. У меня была моя лучшая подруга Эдит.

Лучшая подруга – Эдит, лучший друг – Мэрвин. Имена, как из черно-белого кинца. В Лос-Анджелесе я освоился, но читал только русские книги и думал о доме, когда засыпал. Мне не хотелось меняться, я был неподатливый, как камень. Я так никогда и не стал американцем, хотя Америка всегда даст тебе шанс.

Отец мне разок ребро сломал, но в остальном все было почти нормально, он больше не пытался пробить мне голову. Чему-то его та ситуация научила, а меня вот – нет.

Я ему похмеляться носил, а ухаживать за ним, когда болел он сильнее обычного, мне не позволялось. Он мог по квартире ползать, пол царапать от желания воздуха глотнуть, но попробуй к нему подойти – из последних сил врежет.

Так мы и жили, с каким-то глубинным непониманием, почему мы так друг с другом обращаемся. Но и с любовью, это тоже правда, мы всегда жили с любовью. Я был счастливым. Все у меня имелось: друзья, отец, моя мертвая мамка и розовые закаты, розовые рассветы Лос-Анджелеса. А еще миллионы братьев и сестер путешествуют под землей, все подскажут, всегда приветливые.

Любимая моя сестричка принесла три помета да померла. Теперь по моей штанине вверх взлетала ее старшая дочь. У братьев и сестер жизнь идет быстро. А может, и наша быстро идет по сравнению с тем, как живут секвойи или черепахи.

Я однажды спрашивал у серого братца, как они чувствуют время, и он ответил, что не знает, что такое время. Какое это, должно быть, счастье. Вот почему все говорят, что братишки и сестренки – любимые дети Матеньки, а мы – так.

Она слушает, как мы молимся, и плачет над нами, но счастье все забыть и ничего не знать не дарует. Не для того мы нужны.

Мамка мне говорила, что Матенька любит усталых, больных, нищих и сумасшедших, потому что они ближе всех к природе, ближе всех к ее правде и смыслу. Матенька лижет им лбы, пока они спят. Она – жалостливая.

А чего в отце никогда не было, так это жалости – в этой жизни он никого не жалел, не представлял себе даже, зачем это нужно.

Кто не имеет жалости – имеет любовь? У меня столько вопросов, когда я их задам и кому? И это тоже вопрос, конечно.

И все время мне хочется оттянуть начало какой-нибудь истории, если рассказывать ее тяжело. И от этой правды хочется отпрянуть, от того дня, а не надо. С чего, я помню, все началось?

Читал я тогда «Роман с кокаином», чуть не плакал, так мне было жалко мать героя, жертвенную, неземную женщину, каких в

нашей литературе вроде и дохуя, а вроде и нихуя – у всех фатальный изъян есть. Сонечка Мармеладова вон проститутка, например.

Ну неважно, вот опять отвлекся, не до филологии тут, не до материй, отвлеченных от жизни. Сейчас время говорить об объективной реальности, данной нам в ощущении. А ощущения были такие: зубы грязные, иди почисти, Боря, а потом будешь о душе думать.

Пошел в ванную, а там отец, тоже зубы свои чистит. А они такие желтые – чисти, не чисти.

– Привет.

– Доброе утро, Борь.

На мыльнице у него дымилась сигарета. Отец сплюнул пену, потом вдруг нахмурился, внимательно посмотрел в зеркало. Я встал рядом, сосредоточенно принялся выдавливать на щетку клубничную, детскую пасту (отец обожал клубнику, все клубничное, и всегда этим кичился так, что я понимал – стыдится немного).

Вкус у пасты, которую он покупал, был божественный. Я один раз съел целый тюбик.

Отец все стоял перед зеркалом, внимательно в себя вглядывался. Глаза его показались мне во много раз светлее, чем обычно, может, потому что утро было раннее, а лампочки в ванной горели так ярко.

Отец вдруг засунул пальцы себе в рот, ухватился за какой-то из дальних зубов, пошатал его две секунды и вытащил. Зуб лежал у него на руке, блестящий от слюны, желтый, с красными разводами на нем. Он был похож на неведомый корнеплод. Отец посмотрел на него, сплюнул кровь в слив раковины и спустя пару секунд отправил туда же зуб.

Я слышал, как он ударяется об трубу, еще долго слышал – такие у меня уши чувствительные. Отец тоже слышал, морщился.

– Ну и хуй с ним, – сказал он. – Новый вставлю. Денег куры не клюют. Зачем-то же они нужны.

Отец был человек насквозь советский, он не понимал, зачем ему деньги, но очень их хотел. Когда дело доходило до трат, он полагал, что роскошь – это цацки: ботинки, часы, телики, мобилы. Не умел никуда вкладываться, не боялся все проебать, жил как мог, и казалось, что богатство застало его врасплох.

– Захочу и золотой вставлю.

– Шик какой, будешь как гангстер.

– Давай без американских словечек.

– Тогда как браток.

Он хрипло засмеялся, повернулся ко мне. В уголке губ у него

застыла капля крови.

– Сегодня ночью пойдем с тобой дело делать.

– В смысле под землю?

– Ты уже взрослый. Когда мне было шестнадцать, отец мне все показал. Я до восемнадцати работал как сука просто, потом два года мозги в армии отбивали, когда вернулся, хотел только учиться, чтобы доказать себе, что могу. А потом из-под земли не вылезал уже.

– Не жалеешь?

Слизнул он каплю крови, пошатал языком какой-то другой зуб, проверяя.

– Не жалею. Живу не зря, это самое главное. Знаю, от чего умру, это тоже хорошо.

А я вот смотрел на него, серовато-бледного, озлобленного, и думал: не очень-то это хорошо, батянь, не надо пиздеть, ни себе, ни мне. Глаза его вдруг блеснули.

– Ты чего, боишься, что ль?

– Не-а, – сказал я. – Ничего в жизни не боюсь. В ней нечего бояться.

Сказал такое и гордо утопал на кухню, а спину мне сводило от его взгляда.

За завтраком снова стали про это разговаривать. Я ковырял вилкой кусок пиццы (отец запрещал есть ее руками, говорил, что мы как дикари), лениво написывал Мэрвину о сиропе от кашля, целую бутылку которого выдул, когда отец в который раз отказался лечиться.

«Так штырило, братан, не поверишь, думал сдохну».

«Хотя мы все сдохнем».

«Земля, землица, ямы. А на вкус он как малина в освежителе для тачки».

«Так блевало, я не могу».

«Мэрв? Мэрв! Где ты?»

Он мне не отвечал, может спал, может с девчонкой зависал, но я все равно продолжал писать ему хотя бы потому, что мне не хотелось встречаться взглядом с отцом.

– Да убери ты свою игрушку!

Он стукнул меня по руке, я тут же сунул телефон в карман.

– А чего такого-то? Чего тебе надо от меня?

– Ты, дебил, у тебя великий день сегодня.

– Ну да, день, за который у меня жизнь лет на пять сократится. Это-то я понял.

Думал, сейчас вмажет, или орать будет для начала, а он посмотрел на меня так торжественно, только что слезы в глазах не стояли.

– Будешь мир защищать.

Ну славно! А об этом и не узнает никто.

– Ты спасешь сотни жизней. Может, миллионы даже.

– И чего, они все дороже моей?

– Ну, тут я за арифметику. И две дороже одной. Триста дороже двухсот.

Ой, заведет тебя эта арифметика не туда, думал я. Был в его формулах, очень простых на самом деле, какой-то беспредельный ужас.

Отец закурил, положил в чай четыре ложки сахара, долго его размешивал, раздраженно звеня ложкой, потом сказал:

– Vulnerant omnes, ultima necat.

– Каждый час ранит, а последний – убивает.

– Чего, умный, что ль, стал?

– Мне подружка моя немецкая рассказала. Эдит, короче. Это гравировали на часах, писали вроде еще на картинах.

– Трахаешь ее?

– Не.

– Конечно, умная баба в постель с мужиком не ляжет. Любить будет, а не ляжет.

Он протянул руку, постучал ложкой, горячей такой, по моему лбу.

– Я тебе это сказал не чтобы выебнуться перед тобой, нищета ты умственная. Я тебе это сказал, чтобы ты понял: тебе деваться некуда, все равно умрешь. Так жить нужно ради чего-то. Надо не оттягивать трусливо конец, чтобы в шикарном финале все равно от него обоссаться, а смотреть правде в глаза. Я здесь ненадолго, но для того, чтобы сделать что-то великое.

Ой, сказки о долге пошли. Сейчас на войну перейдет.

– Зачем твои родичи на войне погибали? Им, что ль, не хотелось в окопе отсидеться, а то и дома, в погребе подрожать? Но они любили жизнь. Любили тебя, меня, еще нерожденных.

– Идею жизни? Это как идею радости любить, а не радоваться.

– Радоваться некому бы было. А ты с немкой дружишь. Либо выеби ее, либо не ходи к ней.

Он почесал нос той же ложкой, глотнул чай, поморщился – попало, видимо, горячее в лунку, от зуба оставшуюся.

– Я люблю людей.

– Да ты их ненавидишь.

– И ты их должен любить.

– Ты человека камнем бил.

– Это другое.

Отец потянулся за хлопьями. Он считал их десертом, всегда

потреблял на третье, так сказать. На руке у него был сегодня не золотой «Ролекс», а мамин подарок. Простые такие часы, а на обратной стороне гравировка «Виталик, ты все-таки мой!». Мама подарила ему на первую годовщину свадьбы, тогда она уже была беременна мной.

Эти часы отец надевал только по особенным дням, они отсчитывали его специальное время.

Даже мне сложно понять, о чем я тогда думал. Сколько я себя помню, мне хотелось жить хорошо, мне не хотелось умирать, я себя всегда любил, соображал свою ценность. И в то же время часть меня всегда отцу верила. Не та, которая сознательная, которая слово сказать может, другая, настолько более глубокая, что у нее и не спросишь: почему?

Я до того дня отцу в чем-то верил. Да уж.

Засыпая, иногда думал, что он на самом деле прав, а я – трус и предатель. Надо умереть, умереть грязно, паскудно, но с великой целью. Чем это я лучше всех, кто до меня в этот мир пришел и жизнь ему отдал? Какое я право имею спорить с Матенькой?

Отец сказал:

– Да не грусти ты. Столько всего успеешь еще. У тебя жизнь только началась. Слушай, вот что у них за печенья? Это пиздец, а не печенья, это невозможно жрать. На, скорми голубям.

– Да выброси.

– Плохая примета. Голубям скорми, или бомжам, или кому там еще, вон друзьям твоим.

– Как это будет, папа?

– Что?

– Закрывать земле раны.

Он поскреб щеку, в глазах у него промелькнули «хорошо б побриться» и «опять ты со своими вопросами дурацкими».

– Как в космос летать.

– Ты в космос не летал.

– Ну не летал, так я ж представляю, как оно.

Не, сомнительное было утверждение, но я промолчал. Вытянул из пачки сигарету, закурил.

– Ты к этому прикасаешься, а оно все другое. Оно совсем другое. Это не объяснить, чувствовать надо.

– Холодное?

– Да нет. Нет у этого качеств таких – холодное, теплое. Вот друг твой, вампирище…

– Мэрвин.

– Да похер мне, как его зовут. Короче, вот он кошмары когда видит, они все земные, это только крошки тьмы, только искорки.

Это ужас, который она вызывает в малой, предельно малой дозе. И мозг уже на него реагирует, сам придумывает сюжет. А когда много этого говна, тогда ты и не думаешь, просто не можешь этого делать.

– Оно как ужас ощущается? Как какая-то беда?

– Не-а. Тогда уже нет.

– Какие-то страхи рассказываешь.

– Сам попросил. Неизвестность тебя больше испугает. Сам сегодня все увидишь.

А смотрел он на меня долго-долго, словно запомнить пытался. Похлебал размокшие медовые хлопья с молоком да ушел на работу. Остался от него догоревший бычок в ванной, весь в клубничном мыле.

Гулять мне не хотелось, целый день пил чай и смотрел на старые фотки. Вот отец в красивой шинели, а вот он студент-отличник, а вот они с мамкой стоят у Красной площади, целуются, такие счастливые. А цвета все мутные, пастельные, как у воспоминаний.

Вот и крошка я, а вот родители у кого-то на даче, такие пьяненькие, и это видно.

И неужели оно все дешевле, чем мир, такой большой и абстрактный. Их воспоминания, неповторимая жизнь, любовь, которая должна спасать от смерти и всего остального – столько всего, что должно его останавливать.

А он исчезнет, и памяти его не будет, пропадет его любовь, пропадет его радость.

И как можно носить эти часы с их «Виталик, ты все-таки мой!», отказываясь от своей собственной ценности, от себя как от живого, страдающего существа.

Мне было его жалко, и в первую очередь за то, что он себя не жалел. В то же время он меня всего отравил, я даже иногда думал – блажь у меня, я просто маленький. А дело мое одно – под землю спуститься и быть ей помощником.

Думал, думал, телик включил, чтобы мысли себе заглушить, а потом вышел на балкон, смотрю: ба! Какой город красивый!

Была бесслезная калифорнийская осень, а на подходе – сухая зима. Уже забили на Хеллоуин, исчезли тыквы и летучие мышки, которым так радовался Мэрвин, но к Рождеству готовиться еще не начали, вечно-зеленый этот город в красно-белое пока не оделся.

Я стоял на балконе, курил, смотрел на поток машин, на небоскребы и видел их совершенно другими глазами – на фоне розовеющего потихоньку неба все такое в тенях и блестках.

Ой, кому надо – мир покидать, такой он прекрасный, конечно.

По небу пролетел самолет, начертил полосу, разделившую пастельный холст надвое. Я долго задавал себе вопросы: куда он летит, в каком аэропорту приземлится? Перестал страдать, смотрел да думал. Поднимается самолет в небо, и никто в нем не знает, как все закончится.

Все в мире риск, так он устроен. А каким его задумал Бог?

Мамка, она была нужна мне, и ее не было. А может, прав был Алесь, и она присутствовала во всем, везде, я дышал ею.

Ходил по квартире, как в клетке, думал к мисс Гловер зайти, но решил, что она не поймет. То крысиные дела, наши, никто б не понял меня в тот день. И все равно я написал Эдит.

«Сегодня иду закрывать дыру под землей. Отец сказал. Стану умирать».

Она ответила почти сразу.

«И как ты?»

«Как будто бы хорошо».

«Это все обман. Как в фильмах, которые все считают гениальными. Как будто скоротечность жизни заставляет больше ценить ее бесконечные страдания. Элементарная психологическая защита, паника мозга».

Нет уж, таких утешений я не хотел.

Подумал, что схожу погулять, обнаружил, что отец забрал с собой мои ключи, закрыл меня в квартире. Чтоб не сбежал, значит. Почему-то меня это даже не обидело, в глубине души я сам ожидал от себя побега.

Но оказалось, что я ничего не боюсь. Я был удивлен и взволнован. Пил сладкий чай, читал книжку, наблюдал, как темнеет за окном. Я его ждал, а он все не приходил и не приходил.

Работа у него чаще была ночная, а тут вдруг на весь день куда-то умотал. В конце концов я даже уснул. Отец разбудил меня звонком в дверь. Пока я тер глаза, он говорил:

– Поспал? Отлично. Нашел нам хорошее место. Есть над чем поработать. Собирайся.

Ужинать он не стал, лихорадочный ходил, жутковатый, а я все не мог проснуться. Мне что-то такое снилось, на языке вертелось, а вспомнить не получалось. Вышли мы, а от смога и звезд не видно, душно, жарко, с отца пот градом. Сели в тачку, в отцовский BMW, американских машин он не признавал, и я тут же включил кондиционер.

– Страшно тебе?

– Не-а. Не страшно. Я сам себе удивился.

Машина тронулась резко, отец умел испортить мягкий ход любой иномарки. Я нашел на заднем сиденье банку «Доктора

Пеппера», открыл ее, облился газировкой.

– Бля, ну кто так делает, Борь, ее ж трясло!

– Так куда мы едем?

– Туда, где нам никто не помешает.

– А Уолтер к этому имеет какое-нибудь отношение?

Отец взглянул на меня, быстро, раздраженно, вдарил по педали газа.

– Нет, Уолтер не будет иметь никакого отношения к твоему обучению.

– А какая разница-то?

– Такая. Уолтеру ты никто. Ему все равно, что с тобой будет. Он тебя бросит туда, где ты не справишься.

– Так ты все-таки хочешь, чтобы я справился?

– Ты – мой сын. Конечно, я хочу, чтоб ты сдох к херам. Мучительно.

Он был такой налитой, но я не боялся ехать в машине с ним, потому что никогда не видел, как отец водит абсолютно трезвым. Это что-то значило, я так навязчиво об этом думал, о том, почему нет страха.

– Если хочешь, в бардачке есть сэндвич. С огурцом вроде.

– Ага.

Судя по вкусу, сэндвич протянул в бардачке как минимум неделю, но я съел его не поморщившись, просто от волнения. Крысой быть хорошо, ешь себе что хочешь. У нас с Мэрвином и план был срубить баблишка на том шоу по MTV, где люди ели отвратительные вещи за деньги.

Лос-Анджелес ночью сильно менялся. В нем было много несчастных людей, бомжей, сумасшедших, каких-то мутных пацанов без будущего. Я побывал одним из таких ребяток, и теперь я никак не мог разучиться их видеть. Я замечал девчат в синяках и с кровоточащими носами, старичков, проигравших Альцгеймеру, женщин в рванье, выкрикивающих незнакомые имена, мужичков с трехдневной щетиной, не расстающихся со своими шляпами – последним символом достоинства. Люди, жившие на улице, были мне роднее всех прочих. Я чуял их беды, и, пусть от них воняло ссаниной, перегаром и острыми соусами, которые хреначат в уличную еду, чтобы скрыть запах пропавшего мяса, пусть мечты их были вдребезги разбиты, пусть многие из них умирали рано и печально – я любил их. Матенька завещала мне быть без ума от убогих.

Матенька завещала мне жалеть их, и разве не это я отправлялся делать? Разве не болеют они, живущие на улицах и спящие на земле?

Андрейка мне говорил, что в Лос-Анджелесе бездомных

больше, чем в Нью-Йорке, потому что тут тепло, тут сложно до смерти замерзнуть. Мы спали в теплопункте, но, и оставаясь на улице, не погибли бы. На севере все серьезнее.

А я хотел увидеть Нью-Йорк, там Брайтон-Бич, где полно русских магазинов с нормальной колбасой и черным хлебом.

Мои люди, а смотрели они на меня волками, девчата помладше кривили губы. Отцовская тачка для них была символом всего, что они ненавидят и хотят иметь. Ой, и для него так, девочки. Я готов был им поклясться. Он тоже ненавидел и тоже хотел иметь. Когда бомжи, с которыми я общался, пока жил на улице, узнавали, что отец у меня богатый, они разговаривали как-то с прохладцей, но как только я добавлял, что мы не так давно из России, тут же оттаивали.

Для них моя страна была символом нищеты, не фактической, а какой-то идеологической. Русские стали для американцев абсолютной противоположностью им самим, они думали, что мы не стремимся к успеху и ненавидим деньги.

А Чарли вообще сказал:

– Ну если русский, то ладно. Если русский, ты и так пострадал. Страна Страданий. У нас Страна Радости, а у вас Страна Страданий.

– То-то я смотрю, ты все радуешься да радуешься.

Отец врубил Шостаковича, его самый известный вальс, но через некоторое время запел:

– Солдатами не рождаются, солдатами умирают!

Спел всю песню, перекрывая музыку.

– А ты чего не веселишься?

– Я курить хочу.

– В бардачке сигареты возьми.

Он помолчал, задумчиво глядя на дорогу, рыжую от фар, потом вдруг сказал:

– С твоей матерью вместе мы этого никогда не делали.

– Почему?

– Потому что я люблю ее, – всегда «люблю», а не «любил».

Не мог смотреть, значит, как она себя убивает. А я? А как же я, кто меня любить будет?

Ну я и спросил, чего уж там. И получил ответ:

– А кто тебя учить будет?

Резонно. Я закурил, приоткрыл окно и скидывал туда пепел, который ветер нес обратно, прям мне в лицо. Дышать было невозможно.

– Да скидывай ты на пол, – сказал отец. – Подумаешь.

А потом крикнул вдруг:

– Ты думаешь мне это нравится?!

Я и не вздрогнул.

– Ой, я ни о чем не думаю. Дай мне покурить спокойно.

– Пачку мне дай.

Я протянул ему «Мальборо», он вытянул сигарету, склонился к прикуривателю, совершенно не глядя на дорогу, не обратив внимания на рев проехавшего мимо грузовика.

– Главное, – сказал он, потягивая сигаретку с видимым удовольствием, – не давай себе думать, чувствовать. Что это такое – тебе знать не надо.

– Ты ж говорил – никаких мыслей в голове.

– Я имею в виду потом, Борь. Меньше знаешь – крепче спишь. Есть такие вещи, про которые лучше забывать.

– А когда они часто с тобой случаются?

– Тогда тем более.

Остановились мы, я вышел из машины, отец, чуть погодя, тоже. Подошел папашка к багажнику, открыл его и достал две каски с фонариками.

– Ого, прикольно.

В детстве я такую очень хотел, а отец не приносил и свою не давал поиграться. Говорил, нечего, а то еще ямы будешь рыть.

Никогда он не запрещал мне пить, курить, ходить по крышам, настолько ему было на это плевать. Одно под запретом: земля, копание ям, ну и лазанье в карьеры еще. Короче, нечего тебе внизу делать. Будет еще время умирать.

– Бля, а мы что, прям в канализацию полезем?

– А ты как думал? И не матерись.

– А может, яму выроем?

– За нас уже все вырыли.

– Типа под люк прям?

– В смотровой колодец. Слушай, Борь, не ной.

– Там же жесть.

– Не всегда. Теплопроводные, водопроводные, дренажные системы. Они все под люками.

– Но мы-то полезем в жесть.

– Ну, мы да. Просто не все так однозначно.

Душно было – просто капец. Отец навесил на меня каску, достал из багажника ключ от люка, похожий на погнутый ломик. Отец как-то говорил, что еще таким ключом можно открыть двери в дурках и двери в тамбур в электричках. Ну, то есть в Америке, может, дурки и электрички закрывались по-другому, но канализации – точно так же, как в России.

Мы стояли в каком-то дворе, залитые огнями, светом, спускающимся из окон. От смога воздух казался горьковатым. И это – почти зима, никогда не перестанешь удивляться. Отец утер

лоб, а я сказал:

– Пиздец.

– Не матерись. И фонарик не включай.

– А если нас заметят?

– Слушай, я специалист по городским подземным системам. Я все смогу объяснить.

– А меня сможешь?

– Да ты никому не интересен.

Отец встал на колени, принялся открывать люк. Сам люк от московского не сильно-то отличался, даже был попроще, ребристый, с какой-то буковкой посерединке, которую я не рассмотрел из-за папашкиной ладони.

– Там интересно на самом деле. Это особенный мир. Хочешь узнать город – посети его канализацию, – сказал отец. – Это город под городом, в каком-то смысле самая правдивая правда о нем. Изнанка.

– Воняет там?

– Сам сейчас узнаешь.

Отец снял крышку люка, и я увидел зияющий провал, пасть, которую меня с детства приучили опасаться. Открытый люк – кошмар, одна тетенька так заживо сварилась, ужасная смерть. Отец включил фонарик на моей каске, наклонил мою голову вниз, чтобы я увидел лестницу и слабый отблеск воды внизу. Всего-то лужица, может с чьих-то ног натекла. От дождя и то побольше будет.

– Я первый полезу. Не сломай ногу, я тебя умоляю.

Отец легко, привычно спустился вниз, для него это было так же просто, как для меня – закурить. Он не испытывал ни отвращения, ни беспокойства. Я помедлил, взглянул вверх, на золотые окна высоток, на безликий двор, в котором мы оказались, похожий и непохожий на наш. Почему именно здесь? Большая дыра в мироздании? Или, наоборот, крошечная, для меня – в самый раз.

У меня, как знак беды, угас фонарик, попытался я его обратно включить, но затем решил отца-то не раздражать. Ой, спустился я туда, цепляясь за скобы, ноги чуть соскальзывали – металл был отполирован ботинками почти до блеска. Слой ржавчины подошвы сняли с него на отличненько, я еще видел ее наросты по краям.

Отец отстранил меня, подтянулся вверх и закрыл за нами люк, единственный источник света, погрузил нас обоих в огроменную, непроглядную ночь.

– Дальше свет есть, – сказал он.

– Ну теперь-то от сердца отлегло.

Отец одним движением снова врубил фонарик на своей каске, проделал то же самое с моей, и я стал жмуриться. Вообще-то ночное зрение у меня было не такое уж плохое, если привыкнуть к темноте, не то чтобы сравнимое с тем, каким обладали братишки и сестрички, но получше, чем у людей.

И все-таки не хватало тут навернуться.

Я представлял канализацию как место, совершенно для человека не приспособленное. Понимаете, в чем странность? Мой отец работал там, и все-таки для меня это было что-то дикое, безумно грязное, совершенно не обжитое, словно созданное природой.

Слева был низкий ход, куда мы пролезли, и я впервые увидел своими глазами это странное место – царство подземных рек.

У греков было пять адских рек: Стикс, Ахерон, Кокитос, Лета, Флегетон. И, еб твою мать, так они и должны были выглядеть. Ну, кроме Флегетона, он же пылает, лавой течет, наверное, или что-то вроде того.

Короче, во-первых, пахло там вполне терпимо. То есть не без дерьма, мочи и причудливой смеси мыльных ароматов, конечно, но не то чтобы я резко пожелал себе респиратор или, тем более, немедленно сдохнуть.

Водой, стоялой, тяжелой, пахло даже сильнее, чем говном или еще чем-нибудь этаким.

Это были речки, настоящие, маленькие речки в бетонных берегах, под полуциркульными кирпичными арочками. Был потолок, на нем подмигивали нервные люминесцентные лампы. Был пол, скользкий, с наростами вроде водорослей и мха по краям, где вода смыкалась с бетонным выступом, – но он был. В живенькую речку вливались струи воды из многочисленных маленьких труб. Она журчала как настоящая. Нет, серьезно, прям подземная река.

– Люди многое заимствуют у природы. Бог умнее всех, с ним нечего спорить, – сказал отец.

Это я запомнил, а что он мне там говорил про районы и бассейн канализования, коллекторы и все такое прочее – вообще нет. Отец болтал с каким-то непринужденным весельем, которого на земле у него не бывало. Что-то мне объяснял с интересом, с каким другие отцы (совсем другие), наверное, рассказывают детям о любимых кинчиках или футболе.

Мне не было скучно, но я все пропускал мимо ушей, так был поражен. И вправду – подземный город. Грязная Венеция. Иногда нам встречались помещения, мы в них не заходили, но отец с радостью объяснял, что здесь можно отдохнуть, а тут резервная система контроля за насосными системами, находящимися

отсюда на самом-то деле очень далеко.

– Главная работа, – говорил он, – начинается на водоочистительной станции. У нас дома стоки раньше не очищались. Я был одним из первых людей, которые занялись этой проблемой. Не самым первым, конечно, все началось в конце семидесятых, я тогда еще в армии был, потом учился, но у меня есть заслуги. Есть заслуги, да. Это полезная работа.

– Ну, кому охота в ссаках-то купаться.

– А сдохнуть от туляремии – кому? А знаешь, сколько тут трупного яда? Утопленные кошки, золотые рыбки и хомячки, которых торжественно спускают в сортир, есть умники, которые расчленяют трупы и скидывают сюда по кусочкам. Здесь все человеческие тайны.

– Тампоны?

– И тампоны, господи, кому-то надо заняться твоим воспитанием.

– Тебе, что ль?

Он хрипло засмеялся. Мимо нас проплыл детский ботиночек, когда-то розовый, с грязным голубым атласным бантом. Я сразу задумался, как так вышло, где девчулька его потеряла? Или специально спустила в унитаз, чтобы маме досадить?

– Ой, Борь, а помнишь, у тебя были красные ботиночки, ну, фотка есть, где ты в них на Кольке верхом? Тебе там два или полтора, что ли.

– Помню, – с подозрением сказал я. – А что?

– Вот я их в канализации нашел.

– Хуя ты больной.

– Не матерись. Мать твоя их почистила. А что? Денег тогда не было никаких вообще. Не босым же тебе было ходить в минус тридцать? А ботинки хорошие, между прочим, польские.

– Жаль, я из них вырос.

– И вообще-то при первичном отсеивании много хороших вещей можно найти. Помнишь пульт от телевизора?

– Ой, все, пошел ты.

Теперь мы оба смеялись. Голоса наши эхом отдавались в пустых павильонах, от хода воды на потолке дрожали белесые линии, крошечные световые волны.

– А кроме братишек и сестричек тут есть кто?

– Иногда сюда попадают собаки или кошки. Мы их обычно вытаскиваем.

– А вдруг это не ошибка? Может, они отшельники, хотят жить по своим правилам.

– Не в мою смену.

У каждого моего шага был звук, гулкий, как удар сердца. Ой,

и всякий мусор плыл: огрызки от яблок, салфетки, все на свете. Кое-что застревало на решетках, кое-что – продолжало путь.

Вода вся была чуточку вспененная – от мыла, с каким-то молочно-серым оттенком. Ай, слезы смоешь, а они сюда попадут. Мертвая рыбка твоя. Смытый дождем сапожок. Все – подземная тайна.

Мы уже вырубили фонарики, люминесцентные лампы давали ровный, приличный свет. И человеку сойдет, не то что нам. Все повороты, все коридоры, снова и снова – шли за речкой, а она становилась шире.

– Тоннельный коллектор, – сказал отец. – Это уже тебе не ручей.

Да и пасло от него сильнее. Выбегали, ничего не боясь, крыски, мчались по своим делам, подавали нам знаки: видим, здравствуйте.

– У них тут хорошая жизнь, вольная. А еды сколько смывают.

Мимо нас пронеслась сестричка с рыбной чешуей в зубах – в подарок голодным деткам.

Некоторое время отец опять какой-то матан мне объяснял: про уклон труб и про все такое, а потом вдруг сказал:

– Я тебе говорил, меня отец учил.

– Говорил, – ответил я, следя за путешествием обертки из-под магазинной сахарной ваты. У японской девчонки выцвели с черного до зеленого большие анимешные глаза. Хотелось взять палку и трогать мусор, топить его и поддевать. Такие детские на меня напали желания. Я почувствовал себя маленьким, отчасти из-за того, что рядом был отец и он хотел меня чему-то научить, а отчасти из-за огромного лабиринта, в который мы попали, его несоизмеримости со мной.

– Ну, преувеличил. Ничему он меня не учил, а толкнул в яму с раной и ушел. Сука он, сказал я себе, сам разберусь, а он вечером придет. Яма была глубокая. Очень.

И весь день отец провел во влажной, холодной земле, пытаясь ее вылечить. Я знал финал истории, он, в общем, был предсказуемый. Человека просто сделать несчастным, это для счастья требуется изловчиться, выебнуться как-нибудь.

А несчастье – это так просто.

– Понятно. Ужасно как-то, если честно. Неудивительно, что ты в него нож всадил.

– Нож я маленьким всадил. Это уже после ножа было.

– Тогда неудивительно, что он тебя в яму столкнул.

– Сейчас в сточные воды полетишь.

– Семейный сценарий.

И все-таки он был чуть лучше своего отца. Нет, ну сложно

сказать, конечно. Тут как просчитаешь? Жену столько-то раз бил, сына столько-то? Но все-таки было у меня ощущение, что отец-то подобрее будет, несмотря на дедову репутацию тихого, незлобивого соседа и подкаблучника-мужа.

Ай, да, может, оно все херня и все мы своих родителей и на Страшном суде оправдаем, а все ж у меня это из головы не шло.

Может, отец с мамкой счастлив был, был ею любим, а деда бабка никогда не любила?

Не сказать, что любовь всего тебя спасет, но вдруг хоть кусочек, головешку из огня твоего вытащит.

А может, наоборот, все спускается вниз по спирали, сточные воды все шире и шире. Дед-то не буйный был большую часть времени.

– Я с тобой не буду так поступать, – сказал папашка.

Он закурил, и дым влажно поплыл над серой речкой, будто туман.

– Ну, и на том спасибо.

Я искренне говорил, и отец это понял. Вот рассказывают анекдот про Ленина. Значит, бреется Ленин, а рядом с ним девочка стоит. Он с ней разговаривает. Любит Ленин детей, а мог бы и бритвочкой порезать.

Мог бы, а не порезал, благодарен теперь будь по гроб жизни.

– А у мамы как все было в первый раз?

– С ней ее мама была. За руку ее держала.

А его-то мама и не наша, папка ей всегда был чужой детеныш, хоть она сама его родила.

– Ты меня за руку не подержишь, я так думаю.

– Будешь так трусить – останешься тут жить. До возмужания.

Но тут он был не прав, я не боялся. У меня с годами страха все меньше и меньше становилось.

Темноты было много, но, в большинстве своем, это были маленькие, пульсирующие царапинки. Только видишь, как хрупок наш мир, но тратить себя на них и смысла нет. Отец сказал:

– Тут главное не переусердствовать. А то себя загубишь, а от них и беды пока никакой. Вот лет через пять, может десять, с этим придется работать. Пока обращай внимание на что-то посерьезнее, что внушает опасение.

Ну как я ему мог сказать, что мне-то все опасение внушало. На земле дыр было меньше, все больше плесени. Да и как – на земле? Те дыры, они тоже из-под низа шли и были нашей вотчиной, их снизу требовалось убирать. Вот плесень очищать – не по нам, то грязька просто, опасная, но уже не рана.

А тут, внизу, все было испещрено трещинами, будто чашка раскалывается. Нет, ну надо представить: вот она падает, и за

полсекунды прежде, чем одни осколки останутся, эти линии по ней пробегают – линии скола, слома.

Меня это так поразило все, так испугало (вот тут был страх, нечеловеческой уже природы). Мне стало казаться, что мир просуществует еще самую малость, я и до пяти досчитать не успею, как рухнет он, разобьется вдребезги.

А может, все наши года для этого процесса ничего и не значат. Может, все наши усилия не имеют смысла, и для самой-то Земли длится все это секундочку.

Я потянулся к одной из крошечных ранок, она была завораживающей. Это сейчас смешно будет, но у тьмы был свой собственный свет, она как-то переливалась. Отец оттянул меня за воротник.

– Не подходи близко и, тем более, не трогай, пока я все не объясню.

А меня все это заворожило, впечатлило, у меня сердце из груди рвалось, я должен был потрогать, убедиться, что оно все уничтожает, убивает. Ведь было красиво. Что-то в этих линиях и зеркальное было, отливающее, отражающее.

– Зачаровывает? – спросил отец.

– Ага.

– Меня и до сих пор. Это такая штука – она запредельная. Выход к бесконечности, нет, к какой бесконечности – к конечности нашего мира. Все совсем другое.

– А ты думаешь, почему оно злое?

– Не знаю. От него несчастья идут, и Бог не оттуда явно. Это за пределами Бога. Там его нет.

– А где Бог – там всегда хорошее?

– Я в это верю. А во что еще верить? Все несчастья, они отсюда. Мир в них погряз. Во зле, во лжи. Но где-то там есть и свет, недосягаемый, сильный, и из него…

Он пощелкал пальцами.

– Эманирует все хорошее. Любовь. Мир.

– Дружба. Жвачка.

– Жвачка-то особенно. «Орбит» с клубникой и бананом. Эманирует к нам прямо с небес.

Он поглядел на меня, и такая боль у него была – живая, как у скотины, которая знает, что ее резать ведут.

– Однажды все хорошо будет. Только мы с тобой до этого не доживем.

Знал я в тот момент, он и на смертном одре таким беззащитным не будет, как сейчас. Позвенел отец ключом в кармане, поблестел им, когда доставал, и сказал:

– Надо хорошенько нажраться. Тебе тоже.

– А я-то думал: все, никаких сегодня тебе хороших событий, Боря.

Открыл он одну из неприметных, серых металлических дверей, а там – уют вахты, столик, чайник, электроплитка, отцовская шинель, он под ней спал, видать, старый диванчик. Ящик водки стоял под столом, с которого сполз лак.

– Съешь печенье, – сказал отец. – Только немного.

Потом он сам поил меня водкой, чтобы я не мухлевал. Поил, как бабку, когда она от рака умирала, вливал ее, словно лекарство, словно обезболивающее.

– Меня выворачивать будет.

– Не будет. Не до этого скоро станет.

И сам отец тоже пил. Прикончили по бутылке за десять минут и пошли дальше. Горланили песни, ну, знаете, про танки. О чем русский человек вспомнит в минуту страшной тоски, в ответственную минуту – о танках, конечно, о войне.

Вот, ну и пели мы «болванкой в танк ударило» и «скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?». Пели, пели, потом кричали, оба голоса сорвали, и вот дошли.

Я сразу понял – нам сюда. Очередной поворот, широкий участок коллектора, на противоположной стене – лампочка в стеклянном колпаке, под которой висит карта канализационной системы. Короче, понятно, место как место, не более зловещее, чем все здесь, след человеческий даже явнее.

А рядом, чуть правее карты, – каверна. Рваная, мать ее, рана.

Я был такой пьяный, что все контуры стали условными, и от них расходилась пульсация. Меня кружило и кружило, но, как только я увидел рану, все стало на свои места. Она была с меня ростом, огромная, невероятная.

За ней существовало что-то, названия чему я не знал и не хотел знать. Там была темнота, но не земная, не наша, не местная. Такое тошнотворное зрелище, хуже мамки моей в гробу, честное слово.

И эта поверхность вправду отражала, почти как зеркало. Я себя видел, сразу отрезвел наполовину и видел ясно. Я смотрел на себя – вот мое лицо, мои руки, все мое, не искаженное, фотографически точное. А в то же время это был не я, или, наоборот, даже слишком я.

Я видел о себе какую-то самую страшную правду, видел абсолютно все, и все было плохо. Я был жалким, уродливым, обнаженным и абсолютно одиноким. Ой, нет, прям нахуй – слова эти бессмысленны по сравнению с чувствами. Я их не подберу, не передам того, что передать нельзя в принципе.

Эдит сказала: невербализируемый опыт.

Есть нечто, что, в принципе, сказать нельзя. Проговорить. Грешник я был, большой грешник и страдалец, ой, будь там хоть капелька Бога, я упал бы ему в ноги и плакал бы, как младенец.

Только Бога в этом не существовало, ни капли. В сточных водах его было много больше. Река жизни, блядь, по сравнению с тем, что я видел в каверне. Я посмотрел на отца и увидел, что у него текут слезы, не пьяные – рефлекторные. Я и сам плакал. Не от жалости, не от страха – от неизмеримо огромного и до странности иного чувства.

Ничего не понимал и плакал. Ой, хорошо, что я пьяный был.

Отец сказал:

– Ты должен впустить это внутрь.

– Чего?

Я сглотнул слюну, бля, как персонаж мультфильма. Меня затошнило. Я не мог, нет, не такую штуку. Я бы лучше харчу с туберкулезом съел, лучше бы кровь с Эболой выпил. Все во мне протестовало.

– Сейчас я тебе покажу. Это просто. У тебя есть инстинкты, но я покажу тебе, как это делается.

– Я сойду с ума?

– Нет. На твой разум это никак не повлияет. Сходят с ума дети небес. В ярость впадают дети земли. Но тебе повезло. Ты не изменишься.

Но мое тело. Как так-то? Это ведь тоже я.

– Нахуя вы с мамкой меня вообще завели?! – крикнул я.

И отец пристыженно промолчал, вступил в сточные воды, побрел, поднимая брызги, к противоположному берегу, к этой уродливой, к этой невероятной ране.

Меня колотило, но я видел, что то же самое происходит и с ним. Не привыкаешь, не привыкаешь к источнику горя. Ой, нет у него конца.

Вот подошел он к каверне, а я упал на колени, я царапал бетон. Мне было противно даже смотреть на него, на то, что он с собой делает. Но я знал, что нужно. И как отец мог остаться с этим наедине? С такой кровавой раной, с таким ужасом.

Он подходил медленно, преодолевая собственное сопротивление.

Ничего пафосного в этой работе не было, ничего красивого. Но кто-то должен был ее делать. Это уродство, этот ужас кто-то должен был убрать.

Теперь я боялся. И он боялся. Здесь страшно всем – такая темень никого не жалеет. Я чувствовал исходящие от нее волны, такую вибрацию, которую не ощутить обычным способом. Что-то во мне, частичка Матеньки, должно быть, дробящийся дух,

отзывалось и чувствовало.

Отец постоял перед каверной, он моментально весь покрылся испариной, хотя в канализации-то как раз было прохладно. Секунду он постоял, сплюнул и прикоснулся к темени. Стоял неподвижно, весь напряженный, руку не отнимал, а хотелось, я видел.

Какое мучение, что до сих пор хочется.

Сначала ничего не происходило, ну, мне так казалось, а потом вдруг я увидел, что края каверны задрожали и она стала потихонечку, но затягиваться. Я не знал, сколько там простоял отец – времени тут не было. Ну, в том смысле, что я не мог к нему обратиться, оно текло параллельным потоком.

Еб твою мать, не происходило почти ничего, но как я боялся, что он умрет. Я знал, что это было возможно. Всегда возможно, стоит только хапнуть лишнего.

Что я тогда видел – да просто темнота, сияющая такая, обсидианово-сверкающая чернота, потихоньку исчезала.

Что я тогда видел – то без мата и без молитвы не рассказать.

Он ее вполовину угомонил, эту темную фистулу. Потом отшатнулся от нее, словно маленький ребенок от отцовского удара (сука, какая ирония), обернулся ко мне, и я увидел, что из носа у отца хлещет кровь. Он не обращал на это внимания, даже не вытирал ее рукавом. Глаза у него были совершенно ясные, но очень больные. Его затянуло в долгий, мучительный приступ астмы, потом папашка выдавил из себя:

– Иди сюда. Я за тебя сделал половину работы. Теперь ты.

Говорил он отрывисто, с каким-то лающим призвуком, берущимся из легких. Я побрел по сточным водам, не чувствуя ни холода, ни отвращения. Когда я оказался рядом с отцом, то ощутил, какой от него льется жар. Температура у него, должно быть, подскочила под сорок. Он порывисто обнял меня, надолго прижался губами к моему виску. Не отпускай меня туда, думал я, передумай.

Меня так колотило, что я вообще не был уверен в том, что смогу пошевелиться. И отец сам толкнул меня вперед. Я инстинктивно выставил ладони и попал прямо в мерзость, прямо туда. Во-первых, мне понадобилось совершить некоторое усилие, чтобы не провалиться в черноту. Усилие было, конечно, абсолютно рефлекторным, потому что ни на какое сознательное действие меня бы не хватило. Часть меня (какая-то самая главная часть меня притом) знала, что там, за темнотой, жизни нет. Там ничто не живет, абсолютная пустота, никаких даже плохих парней, никаких тварей из кинговского «Тумана».

Там ничто не может быть, потому что сама суть этого

пространства противоположна бытию.

Да и про пространство я не уверен – это никак не назвать.

Дальше все происходило без моего ведома, на одном инстинкте. Я почувствовал, как оно в меня утекает, и даже как я сам что-то для этого делаю, пользуюсь Матенькиной силой.

Как об этом всем рассказать? Не расскажешь. Был холод, нечеловеческий холод, но меня сразу бросило в жар. Вот это помню, а дальше такая тьма – глаз выколи. Ни с чем не сравнишь. Я не видел ничего, я не слышал.

Хотя вообще-то думаю, что не видел и не слышал я ничего нормального. Какой-то был далекий гул, ужас космоса. Мне ломило кости, у меня в голове пульсировала, расширялась и сужалась от жара и холода адская раскаленная игла. Я всегда думал, в книгах эта описание – брехня. Про, знаете, засевшую в голове иглу, типа не может оно быть так, головная боль – тупая, медленная.

Но так оно и было – игла.

Что еще? Что-то очень чужое, как смерть, и я подумал с ужасом, это вообще была моя единственная внятная мысль, что вдруг мы уходим туда, вдруг есть только это.

Дышать было невозможно, и все нарастало. С каждой секундой узнаваемого и знакомого оставалось все меньше, а потом, господи боже ты мой, я почувствовал во рту привкус крови – сильный, резкий. У меня был полный рот крови.

И как я был этому рад. Потому что в крови была земля, было мое, родное, ужасное, но близкое. Кровь моя состояла из того же, из чего вся Вселенная. Я был со всем един, и ничего в мире в этот момент, даже самых ужасных вещей, не боялся.

У меня изо рта хлынула кровь, и отец оттащил меня, прижал к себе, я слушал, как быстро бьется его сердце. На стене рядом с картой было чисто, ничего необычного, ничего страшного.

Сука, это стоило мне всего. Стоило мне всего, что я в жизни знал.

Вырубился, конечно. Даже порадоваться этому успел: я не знал, как дойду до люка, как дойду до машины, как дойду до дома.

А когда сознание теряешь – такое спокойствие. Не думай об этом, и всё. Ни о чем не думай.

Глава 11. Вышло время твое

Вот дед умер, значит, и всю ночь, так полагается, перед тем, как его сожрать, отец с дядей Колей сидели у гроба с покойничком.

Желтый весь он лежал, восковой. Сидишь с мертвым, а там не мертвая тишина – бродит еще в грудной клетке воздух, а бывает, и хрустнет что-то в глубине тела, то обмякшие совсем мышцы на кости, может, давят, кто его знает. Это ж какая тяжесть – все твое земное тело без души.

Вот, короче, сидели с ним, молчали. О нем бы хорошее чего сказать, а даже дядя Коля не нашелся, только все почесывал себе глаз, делая вид, будто он очень занят.

Отец сидел, сидел, тут ему скучно стало, принялся готовиться к поминкам – то унесет, это принесет, и каждый раз, как мимо деда пройдет, то вилкой его ткнет, то ущипнет, вот на него салфетки положил, банки с майонезом.

Дядя Коля сидел, сидел, мучил глаз свой, а потом вдруг:

– Ну ты больной, что ли, Виталь?

А дед лежал, и непонятно было, как он вообще только сегодня умер. Ногу ему в больнице отхуярили, глаз один не видел уже, зубов ни единого не осталось. Жена его спала за тонкой стеночкой, две слезинки уронила, и все, не ночевала с ним. Ну и правильно в принципе, она-то волчьей породы, иной. Не родня ему, если так подумать, и замуж обманом взял, и жил во лжи. Не по справедливости все – волки этого не ценят.

Ну вот, значит, смотрел отец на дядю Колю долго-долго, а потом сказал, но не брату, а деду:

– Все, вышло время твое.

– Бред не неси, Виталик.

– Нет, ну а что? Ты мне скажи, любил его? Чего, не мечтал, что ли, чтобы сдох?

– Ну мертвый же уже, тебе что еще надо?

– Свезло ему, что меня тут не было, когда болел он. Я б ему и живому земли поесть дал.

Сказал и ложкой деда по носу стукнул.

– Что ж ты за человек-то такой, ну отвяжись уже.

– А он чего не отвязался? Чего, ты мне скажи, он тебе хорошего сделал, чем заслужил, чтобы ты его хоть мертвого в покое оставил?

Дядя Коля думал, думал, а потом взял да и сказал:

– Не, Виталь, ну это как-то мелко. Взял бы тогда и башку ему отрезал. Если ты такой мстительный.

Так они смеялись, смеялись, а дед желтый лежал, с приоткрытым ртом, и за окном – по-сибирски темно.

А назавтра деду и голову откорнали, и все остальное, съели всего, остались зубы с костями.

Такой был человек мой отец, а кто выбирает, у кого родиться?

Кому какая доля, это на сердце, на лбу каждому надо выбить. Я к нему привык, я его любил как есть, но, надо думать, тогда в канализации я в первый и, может быть, в последний раз увидел совсем другого отца.

Нет, ну сначала я вообще ничего не видел. Первые дни мне не запомнились, какое-то вечное марево, огромная температура, все задыхаешься и задыхаешься, впадаешь в беспамятство, глаза слезятся, и внутри что-то по костям ходит – огромное такое.

Про себя ничего не помнил, что со мной было, как оно там, снаружи меня. Бред какой-то со мной остался от тех дней. Жуткое, нервозное было чувство, будто куда-то спешу и не попадаю никуда, надо идти, бежать надо, а я все лежу. Весь горел, пот градом тек, поэтому казалось, будто я в каком-то приморском городке вроде Коктебеля, о котором мне столько мама рассказывала. Лежу, значит, в комнате с белыми занавесками, с вечно светлеющим от полудня окном.

Потом неожиданно бросало в холод, и я уже не вспоминал ни про какие приморские города, не поверил бы даже, что они на свете есть.

Тогда мне думалось про «Ежика в тумане», ну про тот серый мультик, и не то я сам был ежиком, не то ребеночком, на ежика смотревшим, но тот туман меня до костей продирал, до самых странных вопросов. Кто была та лошадь, светящаяся и призрачная, и почему она молчала? Как это так, что в лесу половина зверей разумна, а другая – нет? О любви все или о смерти вообще? Почему сова ежика только пугала, почему не хотела съесть, да и сова ли это вообще. Папка с мамкой, они любили «Твин Пикс», частенько мне говорили, что совы не то, чем кажутся. Может, и в моем кошмаре все так было. Может, не сова это вовсе, а что тогда?

А щука-то почему говорит? Немая же рыба. И откуда там такой туман вообще-то, почему тот мир такой хрупкий и в нем так тревожно меняются очертания?

Ну и как она там, в тумане? Это, конечно, тоже.

Я как бы ходил по этой зыбкой, ночной дымке, по лесу без тропинок, пахнущему давно наступившей осенью, прелой листвой, ночным холодом. Что за силуэты мне казались в темноте? На ветру листья качались.

Да, да, а потом вдруг летали надо мной черные птицы, те самые, из песни «Наутилуса», хотели мне глаза выклевать. Птицы были черные как ночь, вились-вились, и ворон вспомнился, который ждет мертвечины. Черный ворон, я не твой, значит.

Ой, а потом казалось, будто передо мной сидит Одетт. На ней были серые джинсы и серая толстовка с ушками на капюшоне – маленький мышонок в школьном спектакле. Одетт сосала леденец, огромный чупа-чупс, и говорила:

– Тебе разве никто еще не сказал, что «Снежногорск» звучит как название из американского фильма? Как представление о русских. Снеж-но-горск.

Разгрызла она чупа-чупс и зуб себе сломала. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой – строчка из песни, маленькая Одетт, – а кто наблюдает за ежиком там, в тумане? Кто-то ведь наблюдает.

А все ж таки мультик – как сон, детский сон поздней осенью, сон о лесе и таких огромных зверях. А слон-то там откуда? Откуда ежик вообще о слоне мог знать, как его мог измыслить? И эта красота бегущей воды, я тоже тек по реке, по темной реке с холодными водами, под саваном тумана.

Мне не было страшно умереть, я не понимал, что борюсь со смертью. В бреду меня занимали странные вещи, реальность отступила.

Иногда, правда, приходила мама. Клала мне холодную, мокрую руку на лоб, и я засыпал совсем, без снов. Она пела мне песенки, и про волчка, и про соловья с Дунаем, и про все на свете. Она любила меня, я тем и был жив, на том и засыпал, убаюканный ее голосом.

Очнулся я на девятый день. Вот девятый день уже помню. Я тогда открыл глаза, свет сразу стал яркий-яркий, мне так показалось, хотя еще даже не рассвело окончательно. За окном было синевато и туманно, но даже эти пастельные тона казались мне невероятно интенсивными. Ничего терпеть не мог.

Я пару минут не понимал, где я, комната была незнакомой, странной. Потом осознал, что я не в Снежногорске, а в Лос-Анджелесе. Медленно, по кусочкам, как разбитую чашку, я собирал то, что со мной было с того момента, как я покинул Снежногорск.

Воспоминания не сгорели, садились легко и привычно, как старая, заношенная одежда. Соображал я быстро, но требовалась перезагрузка системы. Я лежал, шевеля только кончиками пальцев, вытягивая нити событий, которые со мной произошли. Потом меня разобрал приступ такого кашля, от которого меня чуть не стошнило.

– Папа, – позвал я в отчаянии.

Я и не думал, что он здесь, со мной. А он притащил матрас, такой в зацепках, и лежал на полу рядом с моей кроватью. Заворочался отец, приподнялся.

– Папа, – повторил я хриплым от кашля, дурным голосом.

Он мне дал воды напиться, и я увидел, что вокруг столько коробок с лекарствами, какие-то шприцы и ампулы. Пепельница была полна бычков – в курении отец себе не отказывал. Вода оказалась холодной и напомнила мне о той речке, по которой плыли мы с ежиком. Я весь задрожал – непроизвольно, неизвестно отчего, поставил на пол стакан.

Отец все смотрел на меня странным, незнакомым мне взглядом. Потом сказал:

– Боречка!

Он стал целовать мне голову: виски, лоб, макушку, так обнимал, как, может, в аэропорту, когда я был совсем еще маленький, десять лет назад.

– Боречка, я думал, ты не очнешься, думал, всё, думал, пиздец тебе уже, господи, я так…

Он не сказал «испугался», просто не смог это из себя выдавить, вместо этого снова поцеловал меня в висок, от него еще сильнее обычного несло перегаром.

– Но я понял, сразу понял, что это уже ты. Ты иногда привставал, но звал всегда маму. Ты никогда меня не звал. А тут слышу – «папа».

Сил у меня толком не было, и я провел в сидячем положении совсем недолгое время. Рухнул обратно, как утонул, тут же все пеленой заволокло, но этот хорошо знакомый туман быстро отступил.

– Я хочу есть.

Ой, на кухне тогда стоял целый ящик этих уорхоловских супов. Ну, не уорхоловских, конечно. Красно-белые супчики «Кэмпбелл», я их тогда на всю жизнь вперед объелся. Там все просто: открываешь эпическую эту банку (хотя они не такие минималистичные уже были, как у Уорхола, с картинками даже, но все-таки узнаваемые), хреначишь жижу в кастрюлю, водой заливаешь, ну и доводишь до кипения.

Короче, отец мне с кухни кричал.

– Чего хочешь? Есть томатный суп, есть лапша с курицей, грибной, есть э-э-э, с бычьими хвостами, что ли, жидкий холодец, наверное, есть…

– Томатный! – крикнул я, не дожидаясь, пока он перечислит все.

Думать мне не хотелось, я просто последовал за первым

словом, и оно привело меня к горячему, островатому супу – томатный сок да бульон из коровки, и лишнего-то ничего нет. Идеально было, я ничего вкуснее не ел, аж слезы на глаза навернулись. Пил я суп прямо из чашки, а отец смотрел, как жадно я его хлебаю.

– Осторожнее. Обожжешься.

– Да не, – сказал я, и тут же обжегся.

Ой, ну это было такое ничто по сравнению с болью от кашля, я и не заметил почти.

Поел я и чуточку окреп, повернулся к нему.

– А сколько я так лежал?

– Девять дней.

– Так сильно болел?

Раньше простуда у меня не держалась дольше трех суток, я привык к тому, что иммунитет у меня железный. Меня такой ужас накрыл. Первый ужас от несовершенства своего тела, от его предательства.

– Так болел, – сказал он. – Я тоже в первый раз сильно заболел.

Он умолчал, но я видел, отец хочет добавить: «но не так надолго» или «но не так страшно». Как знать.

– Я тебя тем колол и этим. Ничего не помогало.

Ну какие антибиотики там? Верные еще не изобрели. Вот вылезет дрянь, эпидемия значит, тогда люди вакцину придумают, лекарство, а от того, что еще в мир не пришло, а только во мне заперто, у существующих таблеток толку нет.

Болезнь, которую я подхватил, не подцепит от меня ни один человек. Она исчезла с карты, она умерла, как оспа, во мне умерла. Я – саркофаг для эпидемий, ни заразить никого, ни вылечиться до конца (кашляю я с того времени всю жизнь). С этой точки зрения оно, конечно, смешно слушать про наших братишек и сестричек да про чуму.

Отец все смотрел на меня с искренним, обнаженным отчаянием.

– Я думал хоть симптомы снять. Хотя бы симптомы. Как у бешенства. Лечение симптоматическое.

Он хрипло засмеялся.

Если не получилось смерти на стороне найти, так крыска умирает по двум причинам: во-первых, болезней накопилось слишком много, и всё, спина верблюда, последние там соломинки. Во-вторых, всем случается проиграть в русскую рулетку: подцепил что-то особенное, сильное, совершенно смертоносное, да и все. Вали в темноту.

Весь ужас этого только начинал до меня доходить. Я еще сам

себе не верил.

Мы сидели, слушая гул машин, я пил свой суп, а отец – водку. В горле у меня жгло, пылало, и вовсе не от горячей еды.

Я не знал, что ему сказать? Нет, ну правда. Разве что «зачем ты так со мной, папа?». Но что-то в нем было такое, что я его жалел, что я хотел его защитить.

Отец прижал ладонь к моему горячему лбу, цокнул языком.

– Я хотел парацетамол взять. Но сказали, эти таблетки – то же самое. Травят друг друга всякой херней.

Я уже выпил таблетку, а отец еще долго смотрел на пачку «Тайленола».

– Сказали: то же самое, – повторил он.

А у меня как язык отнялся. А потом я заплакал, словно ребенок, от страха и от боли. Бля, мне так стыдно потом было – здоровый мужик, да мне ж шестнадцать. Ладно, когда смотришь на абсолютную темноту, ладно, когда кого-то жалко. Я был очень сентиментальным, у меня сердце рвалось, когда я кого-нибудь слушал, что-нибудь смотрел или читал, мог заплакать от печали по кому-то, но не по себе, нет.

– Ну, ну, ну Боря, – говорил он.

А я-то девять дней провалялся в аду да в бреду, как у Янки Дягилевой поется, и чуть не провалился к паршивым чертям. Господи ты боже мой, умереть же мог.

Я плакал, а отец нервно вертел в руках всякие упаковки с лекарствами.

– У них в составе этих хреней от простуды, ты представляешь, все на свете есть, даже снотворное.

Плакал и плакал, плакал и плакал. Ну еб твою мать, думал я, уже остановись-ка ты. Вдруг отец поднял на меня взгляд и сказал:

– Борька, ты знаешь, как я в первый раз тебя увидел?

Я от неожиданности даже отвлекся от судьбы своей горестной, взглянул на него, глаза потер.

– Чего?

– Чего слышал.

– Не знаю, наверное, когда маму из роддома забирал.

– Ну, точно. Там к детям не пускают, с женой только в холле можно пообщаться, передать там чего. Катька тебя один раз вынести хотела, но ее спалили. Шухеру там навели, так и не познакомился с тобой. А тут, значит, забираю ее, бухой просто в сопли, счастливый такой, но стремно все равно. В таксо мы сели, только тогда я решился на тебя посмотреть. Это было какое число-то? Ты девятнадцатого апреля родился, а выписали ее когда?

Отец поцокал языком, положил руку, пропахшую табаком,

мне на лоб.

– Да, смотрю, такой ты маленький, как игрушка. Я рад был ужасно, когда Катька беременная стала, но не верил, что меня это все так впечатлит, что я увижу тебя, и это будет удивительно. Ну, младенец и младенец. А тут – мой сын. Маленькое такое существо, крошечное еще. Не верилось, что ты вырастешь, что будешь ходить, говорить, что однажды станешь взрослым. А ты на меня был похож и на нее. А я ж Катьку так люблю. Ты – как мы с ней вместе, – а уже другой человек. Как доказательство, что мы были. И за палец ты так хватался, шустрый был, я не могу просто.

Я слушал его, и отчасти не верил тому, что слышал. Впервые он так при мне рассентиментальничался, по крайней мере, впервые за долгое время. Может, еще тогда, в Валькé.

– Я вообще-то младенцев ненавидел. Один Колька чего стоил, мне три года было, когда он родился, в пять его уже помню – кошмар был. Как вцепится в меня, и таскай его на своей ноге.

Замолчал отец, посмотрел на меня. Такая жизнь из него выходила – плоть и кровь. Фунт мяса, пинта крови, ой бля. Когда таким его вспомнишь – сердце рухнет.

Продолжил папашка:

– А Катечка и сказала: погляди, Виталик, это ж мы с тобой. Наша с тобой книга, наша с тобой картина, наша с тобой музыка.

Снова замолчал, не глядел на меня больше. Я закутался совсем в одеяло и слушал его внимательно, будто он сказку рассказывал. И точно – сказку, не могло ж это все быть с ним.

– И тут меня прибило. Я подумал, что ты вырастешь, Боря (а ведь ты тогда еще и Борей-то не был), и ты будешь страдать. Вот так, как сейчас. Потому что ты должен. Потому что за тебя этого никто не сделает. Потому что… Блядь.

Он отставил бутылку водки, посмотрел на меня.

– Такое маленькое, маленькое существо, а родилось только для терпения, для изнуряющего труда. А мне хотелось, чтобы ты был счастлив. Но кто я такой? Какое я право имею желать тебе лучшей жизни-то? Есть вещи огромные, они со мной и с тобой ни в какое сравнение не идут. А не заводить детей, не заставлять их страдать, это что? Это дезертирство перед будущим. Побег. Нельзя бежать, даже оглядываться нельзя.

Закурил отец, и по комнате поплыл дым, от него во рту стало горько-горько, но мне все равно захотелось затянуться.

– И что? – спросил я.

– И то. Я не думал об этом до того дня, когда тебя увидел. О твоей судьбе. Был ты еще у Катьки в животе, и я не загадывал. А теперь встретился с этим лицом к лицу. С правдой о себе. О том, во что я верю.

Жестокая это была правда, надо сказать, абсолютно дикая в каком-то смысле.

– А с другой стороны, всем велено продолжать себя, – задумчиво сказал отец.

Искал себе оправдания. Я ему помогать не собирался. Ой, я был в тот день неразговорчивый, необычный. Он это чувствовал, может, потому так болтал лихо.

– Катька смотрела на меня и как бы поняла, что я чувствую. Заплакала. Водитель еще посмеивался, думал, что это она от счастья. Ты еще только родился, Борь, а тебя уже оплакали. Приехали мы домой, она тебя – ласкать, целовать, а я и не подойду. Смотрю на тебя волком. Такой ты маленький был, мне не верилось, что люди бывают такими маленькими, что я сам таким был.

Ну да, ну да, все рождаются, все взрослеют, все стареют, все умрут. Некоторые пораньше. Большую часть жизни мы ни в детство, ни в старость не верим, а толку-то? Ой, у старости один вариант не наступить. У детства один вариант не закончиться.

– Ну, я понял тебя. Ты виноватым себя чувствуешь.

И справедливо же. Но этого я не сказал. Я не из тех был, кто швыряется словами вроде «зачем вы меня родили». Слишком уж абсурдно это, в другой день бы все сделали на продавленном каком-нибудь диване, и жил бы уже вовсе не я. Другой какой человек. Такое чудо, если вдуматься. Чего тогда Богу в лицо плевать?

– Я никогда не думал, знаешь, у окошка тебя оставить на ночь, чтоб помер и не страдал, или еще что-то. Это слабости все, глупости. Я думал только о том, что я привел в мир существо, что у тебя будет все, что есть у человека – будешь что-то любить, что-то ненавидеть, – но ты рано умрешь и много пострадаешь.

– Я люблю тебя.

– Что?

– Я люблю тебя, папа.

Как мне трудно было это выговорить, и голова заныла, и ребро, сломанное давным-давно. Он посмотрел на меня темно и грустно, а потом вдруг сказал:

– Ты знаешь, Борь, когда я Катьку на аборт заставил сходить, я, может, и не очень-то верил, что это не мой ребенок.

– Ну кто ж теперь разберет, кто из твоих детей счастливее?

– У меня один ребенок.

– Ну да, точно же.

Мы с отцом оба засмеялись, хоть никакой шутки не было. В моем горле так же хрипело, как и в его. Я подумал, что теперь мой голос, когда я вырасту, станет почти неотличимым от его

голоса.

– Ладно, хер с ним. Это все неважно.

Отец хлопнул себя по коленкам, поднялся.

– Что болит?

– Все болит, – сказал я, вроде как с насмешкой, весело, а потом с удивлением понял, что не соврал. – Но я ничего не хочу. Я буду спать.

– Ну и хорошо.

У кровати моей стояли два пузырька с сиропами, близнецы-братья фактически – DayQuil и NyQuil. В одном жидкость была рыже-красная, а в другом – фиолетовая. Солнце и ночь, ой такая поэзия у меня была с этими сиропами, я их столько выпил, почти ими спился.

– Выпей синюю. Там снотворное есть. Поспишь нормально.

– Она ж на ночь.

– Ой, у тебя сейчас всегда будет ночь.

Налил мне в колпачок фиолетовой, резко пахнущей хрени, но не ушел. Лег опять на матрас, вытянулся весь как-то и глаза закрыл. Он ведь тоже болел. Всегда он болел.

Я проспал несколько часов, мне снилась мама, только она была маленькой девочкой, как на фотографиях. Она меня дразнила, показывала язык.

Прямо, прямо, прямо,
Там большая яма.
В яме той сидит Борис,
Повелитель дохлых крыс!

Мне было так обидно, но в то же время я чувствовал большое облегчение от того, что она жива и впереди у нее еще много лет. А проснулся от боли, от трудного дыхания, от какой-то смутной тоски – когда болеешь, такое бывает. И все-таки я был счастлив. Рассказать нельзя, а я расскажу. Я был так счастлив просто не быть мертвым. Мне казалось, что со мной еще не происходило ничего лучше этого разрывающего легкие кашля, этой ужасной головной боли.

Отец принес мне еще супа из красно-белой банки, я его похлебал, а потом весь день смотрел «Шесть футов под землей», как же его у нас перевели-то? «Клиент всегда мертв», по-моему, такая мелодрама про семью, типа Санта-Барбары, только глубокая, искренняя и про похоронное агентство. Каждая серия – труп, какая-нибудь новая смерть, рыдающие родственники, гробы, долгие прощания.

Мы с отцом смотрели этот сериал запоем, смеялись и

плакали, поглощали консервированные супы – Господи, если вдуматься-то, какое это было счастливое время.

Как много хорошего я видел, когда мне было нестерпимо больно.

Ну и всегда так, все в жизни переливчатое, переменчивое – у всякого удовольствия есть привкус отвращения, страдания, но и всякий ужас по-своему прекрасен. Вот что я тогда узнал о себе и о мире. От этого стало легче, как-то правильнее, что ли, я словил свой внутренний ритм, это было биение моего загнанного болезнью сердца, и я ему следовал. Ну как найти слова для того, что я в себе тогда открыл?

А хер с ним. Про тот вечер, первый мой вечер снова здесь, на земле, надо еще сказать. Отец меня тогда любил. По-настоящему, как любят своих детей эти, ну как их там, нормальные люди. Как оно принято в семьях, где родители не вынуждены учить своих детей калечить себя.

Как-то Эдит сказала мне: дисфункциональные семьи чаще всего дисфункциональны не в первом поколении.

Ой, наука психология, ее придумали заранее. Говорили: от осинки не родятся апельсинки.

Отец был в каком-то смысле нищим, его где-то обокрали, он не понимал, что с ним происходит, не понимал, кто в этом виноват, и понятия не имел, что ему вообще-то делать с самим собой. Тоскливое зрелище мой папка.

Поубивал бы людей, которые не учат своих детей любить, но это ж тоже проявление нелюбви, ненависти, это – часть проблемы. Короче, все я про отца понял, что он Сизиф такой, тащил свой камень и знал: спустишь его со скалы и тотчас же к нему вернешься. Нет-нет, нельзя ответить однозначно, хороший он человек или все-таки не очень.

Вроде бы такой урод, но что бы мы без таких уродов делали?

Про хороших и плохих людей мы, кстати, разговорились.

– Хороший человек, он всегда одинаковый, – сказал мой отец, когда в первой серии «Клиент всегда мертв» Нейт смотрел на своего отца, уезжающего на автобусе в никуда. – Хорошие люди делают одни и те же вещи. А вот мрази, ублюдки, все они разные. Один врет, другой ворует, третий дает жене по ебалу, четвертый убивает детей. Плохих людей сто сортов. Если перефразировать Толстого: все хорошие люди хороши одинаково, а все плохие люди плохи по-разному.

– Уж слишком ты его перефразировал.

– Нет, ну а ты не согласен?

Отец взял пульт, хотел было включить следующую серию. Мирно гудел в плеере диск, а в голове моей шумело, звенело, как

в аэропорту. Я закрыл глаза, и веки показались мне очень горячими. Когда открыл, отец так и сидел с пультом в руках, смотрел на меня.

– Не очень согласен, – сказал я, наконец, потирая лоб. До ужаса я был горячий, казалось, на мне яичницу можно жарить, как на трубе теплотрассы. Воздух входил в легкие с присвистом, тяжело прорывался.

– Думаю, – сказал я наконец, послушав, как сам дышу, – что плохих людей не бывает. И хороших не бывает – для справедливости.

– Четвертый, я напомню, убивает детей.

– Ну я чего, оправдываю его, что ли? Я просто к тому, что нельзя прям однозначно сказать, почему человек то или это делает, что его сюда привело.

– Ох, ну ты теперь, Боря, будешь оправдывать свое мудачество тем, что у тебя в детстве велосипеда не было?

– Бля, какой велосипед, ты меня бьешь смертным боем!

– Не матерись.

– Ладно, ты послушай. Дело не в том, что можно людям херню всякую спускать. Этого нельзя – они от этого распоясываются. Надо наказывать, если украл, убил. Но не делать вид, что это люди какой-то другой породы. Что они другие, чем ты. Что ты их лучше. Потому что на самом-то деле есть концепции жизни, при которых ты таким долбаебом станешь, что Гитлер с Чикатило будут слезами умываться. И наоборот. Ты вот что, по-честному, знаешь про людей, про себя там, про других? Одна загадка, черная, тайная. Человек – вода. Ты его в сосуд налей в один, во второй, и увидишь, какой он разный с другими, какой с другими одинаковый.

Смотрел отец на меня, смотрел, а потом присвистнул, тут же себя оборвав (денег не будет!).

– Тебя этому в школе учат?

– Не-а, но если книжек много читать, начинаешь думать. Когда я скучаю, я думаю о таких вещах.

– С возрастом пройдет. Я стараюсь уже ни о чем не думать.

– А чего ж ты делаешь, когда один остаешься?

– Водку пью, чтобы себя забыть.

Ответил он легко. Без какой-нибудь там драмы. Не было здесь высокой трагедии, так, мелкая печаль, о том, что ушло, не сбылось, не возвратится, о всяком таком.

Ты человека узнай, почитай его как книгу, да поймешь. И страшного человека поймешь, и святого. Мальчика поймешь, девочку, русского, индийца, шамана и физика. Кого надо, того и поймешь. Тут главное не бояться смотреть и видеть.

Ой, как боимся на себя в других посмотреть, в луже отразиться или в прекрасном озере – неважно. Боимся позавидовать, боимся испытать отвращение. Поменьше б гонору, так люди всей Земли уже за руки бы взялись. Я верил в это, как старички в идею мировой революции.

– И что – теперь врагов щадить? – спросил отец.

– Ой, ну ты чего, не в идеальном же мире я живу тоже. Кого надо щадить, а кого нет, но все следует делать без гордости, с юродством каким-то, понимаешь?

– Что-то понимаю, что-то нет.

– Все как в жизни. Как у людей с людьми.

Он закашлялся, потом ушел на кухню делать мне крепкий, сладкий чай. В плафоне люстры бился мотылек, тень его была огроменной, жуткой. Мне стало страшно, я захотел, чтобы отец вернулся, но с тех пор, как ты перестал ссаться в постель, звать взрослых уже стыдно. Лежал себе и лежал. Подошли братики с сестричками, залезли на кровать, сочувственно по мне походили, потыкались мне в лицо носами.

– Хочу уже выздороветь, ребята.

Ответом мне было многоголосое пожелание самого лучшего. Какой-то брат с покромсанными ушами даже принес мне кусочек гнилого яблока.

– Спасибо, конечно, но, может, и не стоило.

Запищал об обиде, о личном оскорблении. Ой, странно это, они в чем-то словно люди, в том смысле, что у всех живых общего есть, а иногда – совсем иные.

Я, конечно, подумал о своих друзьях, о том, что они меня уже обыскались. Умудрился, значит, выползти да найти телефон. От Мэрвина пришло множество эсэмэсок.

«Эй!»

«Где ты?»

«Боря! Ты меня игнорируешь?»

«Я так обдолбался, нам нужно встретиться!»

«Все, я сам к тебе иду!»

«О господи, Скорпион сегодня должен приложить усилия, чтобы сохранить важные социальные контакты!»

«Твой ебаный папаша спустил меня с лестницы».

Ну и прочее, всего уже и не упомнить. Только вот он мне каждый день писал, писал, что происходит, как Маринка с Андрейкой, как Алесь, что они вместе делали. Уверял, что я должен скоро поправиться, потому что Луна вошла в правильную фазу. Присылал несмешные компанейские шутки, понятные только тому, кто при них присутствовал. Знаете, вот этот вид идиотских шутеек, от которых тебя всего зависть берет?

Что касается Эдит, она написала один раз.

«Надеюсь, ты не погиб».

И в какой-то степени этого было достаточно.

Короче, я не стал им сразу писать, потому что чувствовал – надо быть в тишине, в покое. Я был хрустальный, от любого движения лишнего уже изнемогал.

Отец принес горячий, сладкий, черный чай, я хлебал его ложкой, как суп. Суп из чашки, чай с ложки – все перевернулось.

– Слушай, а друзья про меня спрашивали?

Очень уж мне хотелось поймать его с поличным. Отец сказал:

– А, да. Этот твой польский вампир заходил.

– Да, ты его с лестницы столкнул.

– Ну, точно. Еще та немецкая девчонка звонила. Очень вежливая.

– Она австриячка на самом деле.

– Да один хуй. Поляки, австрияки. Я не ебу.

Он вдруг замолчал, поставил свою чашку на пол.

– Но у тебя хорошие друзья, Борь. Волновались за тебя.

– Слушай, па, а у тебя лучший друг был?

Мне вдруг захотелось его узнать, по-настоящему. Он мотнул головой, неохотно ответил:

– Наверное, это Колька. И то потому, что рожа, судьбой в родные назначенная, никуда не денется. А просто друзья, они могут и кинуть, если им чего не понравится.

– Сразу видно основу крепкой дружбы.

Хотел, значит, его еще о чем-то спросить, но папашка махнул рукой.

– Пойду на работу позвоню.

А чего будет-то, если я пойму, что ты такой же человек, как все земные люди?

Ой, опять выпил синего сиропу и опять спал. Не то в нем чего-то этакое было, не то меня тащило от температуры, но после сна я долго качался на волнах, и комната кружилась-кружилась, я открывал глаза, и потолок вертелся надо мной, будто меня несла какая-нибудь карусель.

Ну почему я?

А почему не ты-то?

Все было случайно и бессмысленно, это меня убивало, но не только. Странный покой имелся в хаосе.

Ну вот ты, ну вот сейчас, но случиться-то может все что угодно. Какая тогда разница, что за карты тебе вслепую выдала судьба (далеко не та капризная телка, которую так стремился ублажить Мэрвин, скорее уж безумная старуха)? Все может измениться в любой момент, и нет ничего стабильного.

Ой, освобождающая вещь – этот ваш хаос, этот хтонический ужас миллиарда ответов на один вопрос. Потому что, послушайте, если план существует, великий план всех наших судеб, то я не хочу быть его частью.

Если есть ответ на вопрос «почему я», то сам вопрос этот – бессмысленная штука.

Но я не верил в жестокость Бога, в жестокость Матеньки, даже в жестокость природы.

Только в непредсказуемость исхода, в случайность. В тот момент я был абсолютно спокоен и счастлив хоть тем, что никто не задумал мне горя, что так случилось, но это все.

Потом, выздоровев, я снова верил в долю, в свою судьбу, в то, что от нее не убежать, от нее не спрятаться. Но тогда, думаю, это меня спасло. Великое освобождение кружащегося, огромного мира, ослепительного мира вокруг меня.

В здравом состоянии в такое не поверишь, всегда мы ищем порядок. Таких цифр не представишь, когда не охвачен высокой температурой.

Нет, ну я далек от того, чтобы считать, будто мне было откровение, будто я что-то о мире понял. Оно и так, и этак может оказаться – никому знать не дано.

Да уж, никаких божественных откровений, но мысль о том, что все может повернуться как угодно, откуда-то меня вытащила. Я, может, без нее умереть мог. Я думал об этом, много.

Ну да ладно, в общем, уснул я в крутящейся комнате, в крутящемся мире, прямо на этой карусели под названием жизнь, и мне снилось, что я малыш, и мы с мамой гуляем. Она казалась мне такой большой и такой надежной. Это теперь я знал, какие у нее маленькие ручки.

В продмаге она купила мне промасленный пирожок с капустой, и я подарил ей обратно его половину. Все было так просто, я весь закутался в шарф, в пуховичок, и мне было тепло, только ресницы жгло морозом.

Сон был реальный, в том смысле, что он скорее был воспоминанием, чем фантазией. Мозг достал откуда-то из темноты моменты такого искреннего счастья – сибирского бледного солнца, маминых рук, простой еды, вкуснее которой не было на свете, скованного холодом скверика.

Мама говорила:

– Боречка, я самая счастливая на свете.

– Почему такая? – спрашивал я.

– Потому что у меня есть ты.

– А до того, как я у тебя стал?

– До того я готовилась к твоему появлению.

– А еще до того?

– До того я встретила твоего папу. Я всегда в моей жизни шла к тебе.

– А когда я вырасту?

– Тогда я буду вспоминать тебя маленьким мальчиком, как сейчас.

Кто ж знал, кто ж знал. Ну кто тогда мог догадаться?

Она была пьяная, но только чуть-чуть. В самый раз, чтобы расчувствоваться. Не могла позволить себе расплакаться, на морозе это больно.

Моя мать не была образцовой, а есть девчонки, которые сказали бы, что она не заслуживала ребенка. Но я любил ее, и она всегда была честной со мной.

Она могла дать мне только любовь, и этого мне досталось. Кем бы я был без нее? Может, и отцом своим.

Ребенок, он как калейдоскоп, он – разбитые образы его родителей, кусочки, тревожные звоночки.

Она смотрела на меня и говорила:

– Я бы хотела увезти тебя на край света.

Тогда я не понимал, почему она это говорит. Мы, в конце концов, и так были уж крайнее некуда. Была б Земля плоская – в космос бы провалились.

Мама смотрела на меня сияющими глазами, мяла в руках полиэтиленовый пакетик, рвала его на кусочки.

– Тебе плохо? Дурно тебе? – спросил я на украинском, я уже знал, что если хочу получить настоящий ответ, то и обращаться к ней надо на языке ее детства.

– Нет, – ответила она. – Просто думаю о том, каким ты вырастешь. Это такое чудо, что ты станешь взрослым мальчиком. Мужчиной. Как папа.

Уж тогда мне не очень-то хотелось становиться как пахнущий водкой отец, жутковатый, с немигающим взглядом.

– Братик мне сказал, что все растут, чтобы делать других детей.

– У них все проще. Человек растет, чтобы узнавать новое о мире. Когда мы заводим детей, мы узнаем что-то новое о других, о себе.

Она была очень разговорчивой, очень мудрой. Спешила со мной чем-то поделиться, какую-то дать основу, какой-то фундамент всего.

Мама торопилась.

– Замерз? Домой пойдем?

– Не знаю, не хочу домой. Мне гулять нравится.

Ущипнула за щечку, посмеялась.

А теперь она умерла, а я совсем взрослый стал. Во сне я это хорошо осознавал.

– Столько всего тебе показать хочу. Знаешь, какой город я хочу увидеть?

– Какой?

– Париж.

– А это где?

– Во Франции.

– А это где?

– Далеко-далеко.

Далеко-далеко мне тоже хотелось увидеть.

– Берлин, – говорила она. – Лондон. Рим. Столько волшебных и чудесных мест. Пока ты маленький, мы должны все с тобой увидеть. Хотя бы на картинках.

Ой, сколько же дней оставалось до смерти ее? Тридцать, сорок? Может, сама кинулась, конечно, но сколько у нее было планов. И все-таки чувствовала ведь. Не знала, нет, но тревога ею уже овладела.

– Боречка, а папу ты любишь?

– Ну. Не знаю. Наверное.

Крысенок, ребенок, котенок, щенок – он всякого любит. Ему бы ласки да еды, он тебе к кому хочешь привяжется. Вроде бы все просто, я всегда ждал отца, он привозил из Норильска вкусности, которых в Снежногорске не сыскать.

И все же я чувствовал себя обманутым, обиженным. Я думал, что заслуживаю его любви, а оказалось – нет. А почему я так думал? Из беспамятства еще идет, из младенчества.

– Ты его люби.

– Не буду его любить, он мне голову оторвет.

– Нет, Боречка, не в этом дело. А в том, чтобы выручать друг друга, в том, чтобы помогать друг другу. Мы тебя по большой любви родили, мы тебя любим.

Все это казалось мне тогда таким неуемно слащавым, сентиментальным. И во сне-воспоминании тоже, хотя я и понимал намного больше обо всем: о разговорчивой маме, о своем отце, о смерти и о любви.

Ну чего ты несешь, я думал, вот он тебе пропишет, будешь с синяком ходить и о любви говорить?

Я ей не верил, я на нее даже злился. Я понимал ее так же мало, как когда подслушивал ее разговоры с бабушкой. Помню, как мама бабушке говорила всякое такое, что теперь уже ничего не значит.

«Да слушай, ма, Светка же из тех, кому хуй из-за угла покажи, и она залетит».

«Ничего не хочу слышать про ваучеры больше!»

«Да мне сегодня снился гроб с зерном. Это к чему вообще? Посмотри-ка в соннике».

«Как Боречка? Маленький, хорошенький пасючок. Фото Виталька обещал выслать вам завтра…»

Это все были взрослые разговоры, мне тогда мало что было понятно. И во сне я тоже мало что понимал про мамку и про ее короткую жизнь. Мне казалось, я снова такой маленький и такой глупый.

– Ну ладно, я понял про выручать, про помогать. Пошли на качельки теперь.

Она засмеялась и сказала:

– Ничего ты не понял, но ты поймешь. Ты самый умный мальчик на земле.

А потом вода зажурчала и унесла мою мамку с собой. Я проснулся взрослым, среди ночи и судорожно стал искать ее.

Не было, не пришла. Но что-то она такое со мной сделала этим сном-воспоминанием, сном-и-воспоминанием. Больше мне пользы от нее было, чем от «Тайленола», и ото всех на свете таблеток, и ото всех сиропов в мире.

Глава 12. Неволя

Папкин троюродный брат, Васька, сел в тюрячку за разбой, еще ментов каких-то пострелял. Так он об этом досадливо говорил, словно комара случайно убил, а это же живые люди. Кому как, а мне ментов было жалко, каждый человек в смерти открывается беззащитно, печально, а кого не жалко-то?

Ой, наполнись-ка сочувствием ко всем земным людям, ну хоть слегка, и сразу увидишь, как оно все плохо на самом деле обстоит. Наберись жалости на каждую песчиночку на пляже, и станешь мудрым, как Будда.

Мне и Ваську было жалко, хотя он беспримерный мудак. В тюрячке вдруг изменился, стал отцу написывать, как оно, как живется, о чем поется. Говорил, тетенька у него есть, пишет ему длинные письма и присылает сласти. Ездила в Турцию, значит, одежду покупать (она на рынке работала), и про него не забыла, привезла рахат-лукум.

А буквы-то, писал Васька, не наши, турецкие, не врет, значит, что импортный.

Тетенька была примечательная: немного говорила по-турецки, немного по-польски, умела ко всем подход найти, к кому лаской, к кому разумом. И жила-то она в Москве, работала в Лужниках, с семи утра стояла, куртками торговала. Работящая была, всем тетькам тетька. Короче, он писал отцу, как ее любит, что жизнь свою переоценил, что болеет здесь от тоски, цитировал Пушкина, вскормлённый в неволе орел молодой, значит.

В общем, совсем другой человек. Отцу все это не особенно интересно было, а вот мы с мамкой следили за Васькой и его теткой (которой имени даже не знали), как за героями мексиканского сериала.

Не скажу, что я в него-таки верил. Жалостливый-то я жалостливый, сентиментальный я человек, а Ваську знал немножко, он и приезжал один раз, правда, уже после отсидки. У мужика три зуба золотых, весь в синих партаках, курит «Приму» и всех на хуй посылает, прям через слово.

Даже мамка краснела, хотя, может, и от водки.

Значит, хлопотала его тетенька за него, всех оббегала, кого могла, заявы там писала, ну и все, освободили его досрочно, за год, что ли, или даже за полтора. А поведение у него, надо сказать, было хорошее – за все, говорил, каюсь, про все душа болит.

И болела, когда один-то в камере сидишь, ясен хуй, что все болит, и душа, и сердце, и мозг.

Ну вот, значит, приехал он к ней, трахнул ее хорошенько, щей похлебал, поспал на югославском диванчике, «Нескафе» попил. Затемно тетька его на работу ушла, возвращается домой счастливая, при мужике, а мужика и запах исчез. Ни мужиком не пахло, ни ложками серебряными, ни двумя тысячами долларов, которые она в наволочку вшила. Ой.

Я и не думаю, что Васька в самом деле ей врал все время. Любил ее – правда, каялся – правда, просто на воле это совсем другой человек.

Тюрьма – особое место. Вид принудительной аскезы. Знай себе думай, как ты жизнь жил. Кто-то тебя взял да и вытащил из течения дней, рука Бога к тебе протянулась, за шкирку тебя и в отдельную клеточку. А ты думай – зачем. Может, неправильно ты живешь?

И люди, они так в тюрьме и думают: неправильно я живу. А потом вернулся, вдохнул свежий воздух, которого и запах забыл, да давай за старое. Это от того, что в жизни думать некогда. Вернее, думать-то думаешь, но каким-то иным способом, без созерцания, без от-себя-отчуждения.

Ну и ладно, у тюрьмы, у сумы, у всего своя философия.

Ой, а почему у нас вообще есть такая пословица? Про суму-то понятно, нищенство, святая бедность, она с каждым случиться может. А почему в тюрьму-то может тоже каждый? Включает ли эта пословица наших беременных женщин и маленьких детей?

Вот думают небось люди, что живем по преступным законам, зэковскими методами. А в этом глубокая философия – надежда на переосмысление текущего.

Ну вот, значит, и со мной случилось. Проболел я до самого своего дня рожденья, а он у меня девятнадцатого апреля. Сначала думал, что болезнь – это временно, целыми днями смотрел «Клиент всегда мертв» и читал замусоленную папашкой книжку, тоненькую, расслаивающуюся. «Москва – Петушки», значит, его любимая книга. Азбука жизни, он говорил.

Читал эту книжицу целыми днями, а это была поэзия, и я ее сердцем понимал.

Потом осознал, что в заточении мне сидеть долго, поэзией сыт не буду, и стал читать другие книжки, много-много, фильмы смотреть, друзей приглашать. Но все равно – неволя. Я, может, и гулять несильно люблю, но если чего-то делать не можешь, то оно немедленно становится самым важным.

Вот к семнадцатому моему дню рожденья удивился, что у меня снова здоровое тело. Кашлял, конечно, не без этого, но оправился. Накануне впервые не поднялась вечером температура, а потом отец пообещал свалить, чтобы я мог собрать себе

праздник.

Подготовить я совсем ничего не успевал, но Мэрвин сказал, что сам все организует и проблем не будет, еще и встретит у метро Эдит.

Я ждал и даже заждался, было мне так одиноко, бессуетно и спокойно, что совсем надоело. Глядеть в книгу, глядеть в экран, слушать «Гражданскую оборону» и «Ляписа Трубецкого», слушать пьяные отцовские разговоры под песни «Наутилуса» и чувствовать, как легкие наливаются воздухом и опорожняются с неимоверным трудом.

Надоело расти в неволе, хотелось, чтобы у меня был праздник, как у всех, убедиться там, что друзья не забыли, какой я прикольный, и все такое. Мне надоело видеть мир только из окна. Ой, я так хорошо все изучил, мог определять время по движению солнца в моей комнате, это удивительно. А вечером, в минуты смертельной тоски, какую предвещает ночь, меня развлекал неон рекламы круглосуточного магазина.

Неужто, думал я, здесь проведу всю жизнь, и будет она короткой. Ну какое нужно мужество, чтобы смотреть в глаза тому, что с тобой будет.

Страшно, наверное, не было. Нет, не страх, а какая-то досада, злость – вот что меня грызло. На то что там, на улице, все жарче и жарче, а я дома, под дыханием кондиционера отдаю коньки.

Нет уж, так не будет, решил я. И потихоньку выправился. Да, все случилось ровно тогда, когда и должно было. Я мечтал о своем дне рожденья и проснулся слабым после этой долгой болезни, но в остальном чувствовал себя прекрасно, даже цвета стали другими, насыщеннее, ярче, будто в мозгу врубили, наконец, высокую контрастность. Режим энергосбережения – все, добро пожаловать в мир, на который снова приятно смотреть.

С утра я делал вид, что мне еще херовато, чтобы отец сам по себе раскидывал наш хлам, но в конце концов он все равно заставил меня убираться вместе с ним. Завязывал он мусорный пакет и вдруг сказал:

– С днем рожденья, Борь.

– А, ну да. И тебя тоже.

– Чего?

– Ну, с днем моего рожденья. Я ж твой сын.

– А. Да.

Так мы неловко поговорили, потом он вынес мусор, вернулся и сунул мне сто долларов.

– Держи.

– Это компенсация за травму на производстве?

– Еще одно слово, и она сократится в два раза.

– А еще подарки будут?

– Безусловно. Я пошел отсюда на хуй.

– Лучший подарок на земле, ты знал, о чем я на самом деле мечтаю!

Мы оба засмеялись, а потом пошли пить чай с тортом «Прага» из русского магазина, который (из-за дяди Коли, я рассказывал) пах для меня смертью, а вовсе не рождением.

Ну и свалил он, а я завалился на диван совершенно без сил и стал читать смс-ки. Поздравляли ребятки со школы, мексы с моего кружка по английскому, дядя Петя из Норильска, Юрик из Снежногорска (вернее, теперь Юрик из Питера). Короче, самые разные люди на разных языках.

Но запомнил я, конечно, поздравления своих лучших друзей. Сейчас-сейчас, как оно там было.

«Привет. С днем рожденья. Не знаю, что тебе сказать. Приведу цитату в тему. Лэнг: „С момента рождения, когда ребенок из каменного века сталкивается с матерью XX века, он попадает во власть насилия, называемого любовью, так же как когда-то его отец и мать, и их родители, и родители их родителей“. И еще – будь счастлив. Эдит (хотя ты понял)».

«Привет, чувак! Ты мой лучший друг, так что пусть все будет заебись, пусть у тебя будет УДАЧА, и все такое. Я желаю тебе Умеренности, Мира, Звезды и Колесницы. Чтобы у тебя никогда не была Луна, Повешенный и Башня! Колесо фортуны на твоей стороне!»

«Думал написать тебе поздравление на украинском, но ты ответишь на рагульском, думал принести тебе кота, но они, кажется, считают тебя едой, короче, счастья, радости, здоровья, солнца!»

«Я рада, что мы с тобой познакомились, сибирский мальчик, желаю тебе стать рашас грейтест лав машин».

«Ты хороший, поэтому я желаю тебе долголетия».

Короче, как-то так. Все прислали тонну смайлов, даже Эдит. Телефонов у меня с тех пор было до хуя и больше, но пожелания эти я хранил не в памяти маленькой машинки, а в своем сердце. На смертном одре буду лежать, может и они всплывут.

Я был счастлив, вроде как у меня так много людей, с которыми у нас взаимно все хорошо. Крысы, конечно, социальные животные. Даже моему отцу нужны были друзья, хоть он их и не имел, но был от этого несчастен.

Я все ждал Мэрвина, он обещался прийти пораньше, чего-то там приготовить, но на все забил, как с ним часто бывало. Братишки и сестрички прыгали вокруг меня, играли, удивлялись, сколько я на свете живу, когда я пытался объяснить им про время.

Тут вдруг смс-ка от Мэрвина: «Ужасная ситуация! SOS! но я скоро буду!»

Когда через пятнадцать минут он вошел в квартиру, то, захлопнув дверь, сразу принялся шептать:

– Пришлось с мамкой расчленять труп, короче, не в том месте, не в то время, как всегда. И чего я не сделал вид, что сплю?

Он говорил об этом так буднично, что у меня мурашки вскарабкались по спине и затанцевали где-то у затылка, не проходили.

– Короче, прости, это просто ад, утомительно и противно, и вообще.

Табло у него было так себе, долго не спал – характерный рассеянно-нервозный взгляд, темные круги под глазами, изможденное лицо.

– Ну да ладно, принес тебе подарок. На удачу.

Достал Мэрвин кулон с какой-то каббалистической хренотой.

– Слушай, оно ж жидовское. Я не еврей. Я не могу такое носить. И вообще как-то по-пидорски носить кулоны.

– Сам ты пидор. – Мэрвин повесил кулон мне на шею. – И будь счастлив. А каббала это мудрость, открытая евреям, а не еврейская мудрость. Две большие разницы.

Под настроение Мэрвин бывал ужасным антисемитом, кошмар вообще-то, но тут глаза у него так горели, что я понял: упоролся по каббале. Он что-то там трещал про древо Сефирот, какие-то Кетеры и Мальхуты.

– Вот ты, – говорил. – Живешь в Мальхуте.

– Нет, ты мне скажи, что мы жрать будем, ты ж обещал приготовить.

– Вот я и говорю. Ты живешь в Мальхуте. Надо думать о высоком.

Так частенько говорил мой отец, когда смотрел по телику канал «Культура» или уже здесь, в Америке, – «Дискавери».

– Надо стремиться к прекрасному, – говорил он.

А я душой всегда стремился к красивому, к верному, к горнему, но живот у меня уже побаливал от голода.

Я пощупал сотку в кармане и сказал:

– Давай закажем суши.

А потом, достав купюру, поглядев на нее, вдруг добавил:

– На сотню баксов. Из крутого рестика. Как короли будем есть.

– Да ты чего? На шестерых этого не хватит, чтобы обожраться. Так, на один зуб.

И мы, вместо того чтобы готовиться к приходу гостей, перерыли весь дом в поисках денег, нашли пятьсот долларов у

отца в старом пиджаке.

– Вот это дело!

– Обожремся. Думаешь, если заказать алкашку, прокатит?

– Да прокатит, им плевать, к тому же тебе семнадцать. Это почти восемнадцать. А это почти двадцать один.

Начиналось все, как мой шестнадцатый день рожденья, который я провел вместе с Мэрвином, и только с ним. Эдит тогда уехала в Вену с отцом, а с ребятами мы тусили отдельно, не в сам день рожденья. Пятнадцать мне стукнуло, наоборот, вместе с Эдит, Мэрвин тогда спал как убитый.

А тут все мои друзья, и разом. Господи боже мой, да я волновался.

Открыли, значит, папин ноутбук, стали искать, где чего покруче, в итоге заказали суши из рестика в Западном Голливуде. Как-то он так назывался по-японски, «Нобу», что ли, или «Набу». Да не так важно, главное, что счет у нас вышел огроменный, на пятьсот семьдесят баксов.

Мы заказали все десерты, фирменный Лос-Анджелесский сет и отдельно все, что туда не входило. Ну и алкашку. Голос мой подозрений ни у кого не вызвал, я надеялся сойти за двадцатилетнего и при встрече.

Пришли ребята. Марина подарила мне книжку эстонского писателя, Энна Ветемаа, называлась она «Лист Мебиуса».

– Прикольная очень. Я еще из детдомовской библиотеки ее с собой забрала. Перечитывала раз тридцать.

– Мне тогда ее вернуть потом?

– Не-а, ты чего? Я ее наизусть знаю.

Андрейка принес бухло, какую-то бормотуху из винного магазина. Алесь подарил мне значок с советским флагом.

– Ого, Америка и Союз брендировала.

– Это – символ нашей дружбы.

– Ну, точно. Отец будет мной гордиться, он мне пятьсот баксов простит.

– Пятьсот баксов?

– Погляди на них, они на столе.

– Охереть просто.

Вот это было верное слово.

Мы сразу стали пить: за мое здоровье, за наше счастье, за все хорошие вещи в мире, как взрослые. Было так тепло и уютно, я чувствовал себя дома, хотя и был от него в жуткой дали.

Нам повезло, курьером оказался мекс с хреновым английским, так что документов он у нас не просил, и нам всего перепало. Суши были потрясающие, невероятно изысканная еда, нежная и причудливая. Ребятки с улицы орудовали палочками

гораздо лучше меня и, как выяснилось позже, лучше богатенькой Эдит.

– Дешевая жратва в Чайна-тауне учит тебя не только отличать хорошую свинину от порченой, – сказал Андрейка.

– А я думал, что ты от рождения отличаешь хорошую свинину от порченой.

Так мы смеялись, такие вкусные и удивительные штуки ели, так громко слушали музыку. Пили виски с колой из пластиковых стаканчиков, как на студенческих вечеринках, за ними сгонял Мэрвин, пока мы ждали нашу еду.

Я был уже жутко пьяный и совершенно (ну или почти) сытый к тому моменту, когда пришла Эдит. На ней было строгое платье, застегнутое под горло, она то и дело поправляла очки.

– Не думаю, что буду очень уж разговорчивой, – сказала она.

– Это ничего, может, ты не поймешь и половины того, что мы говорим.

– Для меня это скорее хорошо или скорее плохо?

Я очень волновался за то, как пройдет знакомство ребят с Эдит, даже в лингвистическом плане, но все вышло очень естественно, почти сразу все перешли с нашей причудливой смеси славянских языков на английский, пусть и не слишком хороший.

Эдит подарила мне MP3-плеер, красненький такой, с блестящими боками, маленький-маленький, но память у него была по моим меркам почти бесконечной.

Пару часов мы в нем всячески копались, скачивали разное музло с папиного компа, и это позволило Эдит влиться в компанию, она все нам показывала и объясняла. Не сказать, чтобы Эдит легко влетала в любую компанию, но все-таки она вписалась. Бухала много и бесчувственно, это помогло, я думаю.

От суши и роллов все время хотелось пить.

– Это все рис и соленый соус, – говорил Алесь, открывая очередную бутылку колы. – Из-за этого, я думаю.

Я вспомнил и как жил с ребятками здесь, в отцовской квартире, и почему-то совсем уже далекую жизнь с мамкой – до того все было просто и прикольно. Порылись в доме, нашли отцовскую камеру (он любил такие игрушки, хотя и почти не пользовался ими), стали снимать фильм про себя.

От освещения вся картинка лоснилась.

– Привет, меня зовут Марина. Мне семнадцать, и я люблю трехцветное мороженое. Моя любимая картина – «Сирень». Это Врубель. Мои родители много пьют, наверное, уже умерли, но у меня были классные дед и бабка. Они тоже умерли. Дедушка был моряком, а бабушка – медсестрой. Они меня очень любили и

всегда баловали. Если бы они не умерли, я бы жила в Питере. В Питере я помню дворы, сумерки. Бабушка часто водила меня в театр. А с дедушкой мы строили игрушечные корабли. Он меня учил: вот мачта, вот киль, вот бушприт, вот гафель. Большинство этих слов пришло из немецкого.

Тут Мэрвин резко развернулся, направил взгляд камеры на бухую Эдит, та задумчиво кивнула.

– Да-да, – ответила она на немецком, и все засмеялись.

Марина дернула камеру на себя:

– Дай договорить, ты, урод. Но сама я хочу полететь в космос. Тяга куда-то стремиться мне досталась от дедушки, но море я не особо люблю. Звезды – совсем другое дело.

В кадр влез Андрейка.

– Я, это, Андрей. Я не знаю своих родителей, но если они это увидят, то я живу в Лос-Анджелесе. А так я из Киева. Люблю котов. Блин, ну хрен знает, что еще сказать. Вот коты крутые. В следующий раз не умиляйтесь уличным котятам. Большинство из них умрет! Заберете котенка – спасете чью-то жизнь, пусть она и маленькая.

– Пусти Алеся, что за социальная реклама началась.

– А, да, я – Алесь. Это в честь Алеся Адамовича. Я люблю ходить в магазин.

– Что, это всё?

– Это всё. Я люблю ходить в магазин. Что тебе еще надо, Мэрвин?

– Ладно, Эдит.

– Меня зовут Эдит, и я не знаю, что сказать.

– Ты что, о себе ничего не знаешь?

– Знаю, но я не могу так с ходу. Давай без этого. Сними Бориса.

Камера уставилась на меня, и я весь такой сразу напрягся, подтянулся, один-единственный взгляд этой штуки, и у меня сердце стало не на месте.

– Так, значит, меня зовут Боря, сегодня у меня день рожденья. Я люблю могилки, книжки и соленые огурцы.

– Хера себе ты русский!

– Спасибо, Мэрвин. Мой отец говорит, что русский человек должен жить так, чтобы перетерпеть любую ядерную войну, а потом вылезти из бункера, но обязательно с томиком Достоевского в руке.

Эдит пьяным, нервным движением выхватила у Мэрвина камеру.

– А правда, что русские люди – самые мрачные люди на земле?

– Неправда, потому что ты – самый мрачный человек на земле, – сказал я. – Сними Мэрвина.

Эдит покачала головой, и я выхватил у нее камеру. В квадратике экрана, высветлившем все цвета, Мэрвин казался еще античнее, еще скульптурнее.

– Я – Мэрвин Каминский. На самом деле мог бы быть Анджеем или Тадеушем, но мама решила дать мне американское имя. Теперь все странно. Я – оккультист. Также увлекаюсь искусством.

– Господи, Мэрвин, это же не видос для сайта знакомств, это документальный фильм.

– Марина, закрой рот!

– Теперь это точно не видос для сайта знакомств!

Так мы угорели от этих видео, от самого процесса, от того, как на тебя смотрит механический глаз. Кто-то шикарно переделал расхожую фразочку про телок.

– Куда смотрит камера, туда смотрит Бог.

И с этого мы вообще полегли. Лежали прямо на полу под разгонявшим жаркий воздух вентилятором, в комнате с окнами нараспашку, из-за которых доносился гул дороги. Ну, знаете, эти бесценные моменты и даже моментики – абсолютная любовь торжествует, все так хорошо, что не страшно ни болеть, ни умереть, кажется, это будет питать тебя вечно.

Я был такой пьяный, теребил кулон, подаренный Мэрвином, до того, что пальцы пахли металлом, и вдруг понял, что на руке у меня нет той феньки с полинезийским узором. Как я на пьяную голову от этого охуел, представить невозможно. Ой, горе горькое, беда страшная – нет моего браслета.

Это показалось мне тайным ужасом, страшной приметой. Где я феньку мог потерять? Дурным знаком, предчувствием беды слетела в канализации, и я остался беззащитным.

Но теперь-то на шее у меня болталась другая штучка, пусть и не с такой красивой историей. Я хотел какой-то мистической защиты, и мне было за это стыдно. Мне казалось, что дурацкий кулончик спас мне жизнь, что без оберега я погиб бы, что без оберега это и не выздоровление вовсе, а так – глаз бури какой-нибудь.

Нет уж, волноваться было не о чем, я только чуть-чуть потревожился и перестал. Еды было вдоволь, еще оставалось бухло, и мы пустились в обсуждение каких-то вечных вопросов, о бессмертии души поговорили, о том, есть ли она вообще и можно ли ее потерять, о том, что происходит там, где нас нет, и почему-то помнятся мне сейчас отдельные реплики о Людовике XV, вообще не связанные с общим повествованием.

Ой, еще говорили, что жить надо хорошо, в любви, даже к несовершенству. Это родилась мудрая мысль, ее сложно было прочувствовать, крутил ее и так и сяк в своем тормозном мозгу. Потом стали решать, какой фильм поглядеть.

– У Бори день рожденья, пусть тогда выбирает.

– Да, Борь, любимый фильм у тебя какой?

Мы копались в дисках, стояли на коленях, потому что удерживаться на ногах да еще как-то наклоняться было муторно.

– «Смерть господина Лазареску» или «Гудбай, Ленин», – сказал я, взвешивая в руках два диска.

Остановились на «Гудбай, Ленин», потому что из-под тихонькой русской озвучки в нем пробивались немецкие реплики, это значило, что Эдит могла смотреть фильм с нами на равных.

Впрочем, она уже без меня заценила и то и другое кино.

– Знаешь, – сказала Эдит. – Это прямо-таки в твоем стиле. Две черные комедии с мертвыми в конце, одна – сентиментальная, а другая – физиологичная, противная.

– Ну тебя. Все ты в мрачных тонах воспринимаешь. Вот «Гудбай, Ленин» красивый же фильм.

– Ой, я тоже смотрел, – сказал Андрейка. – Вам не кажется, что мы живем в «Гудбай, Ленин»? Ну, кроме тебя, Эдит. Извини.

– Да ничего. Я жила в «Хеллоу, Ленин».

Это я потом понял, что шуточка была про обращение Европы к социалистическому опыту, а тогда только пальцем у виска крутанул.

– Ну, не знаю, по-моему мы шагаем со временем в ногу, – сказал Алесь, макая суши с тунцом в соевый соус.

– Никто из нас даже и не видел Союза, – сказал я. – Чего рядить-то?

Такая это была комедия, что все время сердце щемило. Не так, чтобы плакать, но ощутимо. Ой, в который раз я ее тогда смотрел? Каждую реплику помнил, и вечно слезящиеся глаза Алексовой мамки, и татарскую красавицу-медсестру, и найденные на помойке банки из-под гэдээровских огурчиков.

Но когда с кем-то смотришь кинцо, вдруг подмечаешь больше, острее. Я сказал:

– Ребят, заценили? Когда Алекс говорит про свою учительницу из Минска, его татарская девушка спрашивает: это и все, что ты знаешь о русских женщинах? Понимаете, как все смешалось?

Нашел я какую-то экзистенциальную советскость, и мы ее лениво обсуждали, кидали реплики, как мячики, неторопливо, будто под клеем. Перед экраном шел дым от наших сигарет, делал ностальгическую картиночку еще жиже, призрачнее.

Вот это было счастье, просто лежать и пялиться в экран, отупело, в тепле человеческих тел, с сигареткой в зубах.

Под кинцо мы уснули. Я сначала хотел всех растолкать, как же, мой любимый фильм, но потом вдруг самого меня неуклонно в сон потянуло. Закрыл глаза на секундочку, а проснулся уже от того, что на экране синим горел логотип DVD-плеера.

Башка болела адово, кошмарно, как в Судный день. Я пошел попить водички и вылез на балкон покурить, щелкнул зажигалкой, затянулся, запил дым ледяной водой. В желудке так все свело, что я подумал: буду блевать. Не-а, нормально все. Поглядел в небо черное, пыльное, с торчащей звериным глазом луной прям посередине. Поглядел на огни дорог и домов, рыжие, драгоценные.

Технически мой день рожденья уже закончился, и от этого я загрустил. Все, один день в году, когда ты в мире главный герой. А завтра все по-прежнему.

Друзья дрыхли вповалку, их темные силуэты были как тела убитых. Одна Эдит спала на отцовском кресле, свернулась калачиком, стала совсем маленькая.

Я глядел на них с удовлетворением и грустью. Так дедок должен на детей да внуков глядеть, когда уходит в девяносто девять лет, и все у него в жизни вышло как надо, и счастлив был до последнего дня.

Ой, счастье – лучший из всех вариантов, но и это проходит.

Потом в окне, позади меня, отразилась мамка. Я ее ждал, а все равно вздрогнул. Поздравить меня пришла, мамка моя, любимая, ласковая, с волосами мокрыми да глазами мертвыми.

– Давно ты меня не проведывала, – сказал я, обернулся неторопливо, боялся все-таки, что исчезнет она. Что отправится туда, где ей самое место. Мудрый дар нам Матенька вручила, что б я без мамки делал.

Она по старой своей, девчоночьей привычке грызла ногти.

– Боречка, – сказала мамка невнятно. – С днем рожденья тебя. Совсем теперь взрослый.

Она прикоснулась ко мне ладонью, оставила густую кровь на щеке. Ладони мамкины были изранены. Она, когда под лед провалилась, еще пыталась выбраться, билась, царапалась. Не то свидетельство, что она не сама, не то испугалась в последний момент.

Мамкин пристальный, немигающий взгляд в меня впился. Горько в глаза ей было смотреть, сразу вспоминал, что она не со мной.

– Тяжко ты мне дался, но такой был хорошенький, сразу же, как поглядела на тебя, подумала: «Мой сыночек», так сама себе

удивилась, как будто всегда мамой была.

Я подошел ближе к перилам балкона, встал рядом с ней.

– Ну и как тебе то, что выросло?

– Хорошо. – Она улыбнулась, десны были бледные, бескровные. – Лучше мальчика не сыскать. Такой ты смелый.

– Не-а. А ты когда-нибудь замечала, что небо ночное не черное, а такое фиолетово-синее? Как синяк на самом деле. Как жирный такой фингал.

– Немножко замечала. Сильно ты испугался?

– Думал – помру.

– И я думала – помрешь.

Так мы и стояли с ней, глядя в небо, от зарева земных огней совсем фиолетовое.

– И что ж мне теперь, жизнь на это говно положить?

– Положи.

– Или не надо?

– Или не надо. Я хотела только, чтобы ты сам выбирал. И Виталик этого хочет на самом-то деле. Он сам не понимает, а хочет.

– Не похоже что-то.

– Я тоже кошмарно заболела, когда в первый раз перед этим оказалась. Такая это дрянь, Боречка, меня всю трясло, я плакала и кричала, а мама меня ласкала, пела мне песенки хорошие.

Мамка снова поднесла руку ко рту, вгрызлась в свои ногти, покосилась на меня.

– А ты что думаешь?

– О чем?

– О кавернах.

– Страшные штуки, не хочу вспоминать. Чернее всего, что я знал. Чернее земной плесени.

– Они страшнее всего на свете, я так думала.

– А умирать?

– Умирать не страшно в самом конце. Тогда даже хорошо. Как будто кто-то большой взял тебя на руки и утешил.

– Правда, что ли?

– Или я тебя утешаю. Кто бы знал.

– Кто бы знал, – повторил я. – Но мне не страшно. Ничего я не боюсь. Ничего на свете.

– Ой, какой ты куражливый.

Она засмеялась, потрепала меня по голове, оставив воду на волосах.

– А я хочу, – добавила она, – чтобы жизнь ты прожил счастливо.

– Серьезно? А как же мир и долг?

– Тут ты сам все решишь. Кто-то не может быть счастливым, пока ожидания не оправдал.

Это да. Есть два типа людей: «ожидания не оправдал» и «оправдания не ожидал».

– Я тогда решил. Не хочу умирать. Не хочу болеть. Не хочу ничего такого. Жить хочу хорошо. Быть любимым. Здоровым. Богатым.

Тут я закашлялся до рези в горле, выбросил вниз очередную сигарету, она рыжей точкой замерла на асфальте, горела-горела, потом погасла.

– Ты меня понимаешь, мама? – выдавил я сквозь слезы. Мне как-то рассказывали: когда у людей коклюш, они, кашляя, плачут, а еще у них в глазах сосуды лопаются от давления.

У меня тоже глаза были красные, все белки порозовели до ужаса.

– А кто тебя не понимает, Боречка? Тебя всякая крыска поймет, а крысенок – тем более.

Как я ждал от нее осуждения, резкого слова, а она взяла да и посмотрела на меня с любовью и кротостью, с каким-то принятием, с материнской, всепрощающей нежностью.

Ой, как я боялся, что будет другой взгляд, что она скажет, как отец, что я миру задолжал, что я, ничего не просив, уже подписался на что-то. Но у мамки было доброе сердце, а особенно много любви у нее, даже у мертвой, оставалось ко мне.

– И что? Что тогда?

Я смотрел на мамку, искал ее одобрения. Я попался в ловушку, сам себя объявил предателем, сам себе вынес приговор, а она руки не подняла, его не поддержала. Я жил в отцовской логике: внутренне противодействовал, внутренне дезертировал и почему-то считал, что нарушаю какой-то священный порядок.

А в ее глазах этого не было. Совсем. Она смотрела на меня спокойно, без удивления, без восхищения моим бунтарским духом.

Она любила меня и хотела, чтобы я выбирал. Вправду хотела одного – чтоб я счастлив был. Может оттого, что она ушла из мира, он ее уже не интересовал. Был я, ее сынок, ее продолжение.

Матери любят детей слепо, безошибочно, они плюют на все ради их спасения – на опасность, на идеалы, на деньги. Ну чем моя мама хуже? Чего бы и ей меня не любить больше мира?

В голове такие вихри были, торнадо просто. Я смотрел на нее, не знал, что и думать. В груди стало свободно и радостно.

И без нее я все уже решил. Как сознание заработало в полную силу, так я сразу и понял – не буду. Нет, не стоят жизни и миллиона, и двух, и трех – моей. Нет, не готов. Нет, спасибо. Мне

для счастья не требовалось знать, что я погиб за людей, за человечество.

Я мог смотреть в глаза своим друзьям и думать о том, что я не буду спускаться вниз, под землю, и заращивать раны на нашей общей планете.

Я мог надеяться на авось, на то, что пронесет, на то, что мои маленькие грешки останутся незаметными, что какая-нибудь другая крыса, да хоть мой собственный отец, этим займется.

Это как с прививками, понятно же? Пока большинство населения привито, хитрюги могут позволить себе роскошь не колоть своих детишечек, чтоб избежать последствий. Но как только хитрецов много наберется, снова станет страшно.

Вот почему нужны кнут вины и пряник самоуважения. Что-нибудь, что отобьет охоту хитрить.

Но вот чего: а много я кого знал, кто бы хотел работу работать? Так-то, из молодых звериков Эдит и Мэрвин желанием не горели, я тоже. Алесь вот только.

Но, может, этически верное решение состоит вот в чем: для того чтобы сохранить ценность и достоинство каждой отдельной человеческой жизни, можно пожертвовать всем миром. Только задумайтесь на секундочку, может, любовь к ближнему проявляется в том, что он не должник тебе и не раб. И эта позиция, безусловно, приведет к самоуничтожению человечества в кратчайшие сроки. Как все решить? А как решить бескровно?

Два вопроса занимают меня превыше всего. Номер раз: как так выходит, что мы становимся нашими родителями? Номер два, связанный с первым больше, чем мне тогда, в семнадцать, казалось: и где же граница между долгом и самим собой?

Что ты в этом мире задолжал и кому?

Я смотрел на мамку и не видел даже тени этих вопросов. Они все отступали перед ее эгоистичной любовью ко мне.

Я был ее крысенком, и в тот момент ее не волновали чужие дети.

– Боречка, – сказала мама. – Поступи, как знаешь, как можешь. Как тебе сердце подскажет.

– А если оно подсказывает мне жить да радоваться, это значит, что у меня трусливое сердце?

Сам я не трусливый, а сердце – трусливое, вот как. И чего сразу трус, если умирать не хочешь? Если живешь один раз, солнце у тебя будет – одну жизнь, любовь – одну жизнь, разум – одну жизнь, водка – и та одну только жизнь. Чего тогда? Все проебать безжалостно?

– Не значит, Боречка.

Мамка дотронулась кончиками пальцев до моего носа,

пощекотала, как в детстве.

– Боречка, хороший мой, у меня нет для тебя подарка.

– И не надо мне подарка, ничего не надо, только побудь еще со мной. Поговори да постоим просто вместе.

– Но вот тебе мой подарок, – закончила она так, будто меня и не слышала. Мамка встала на цыпочки да поцеловала меня вдруг в лоб. И в этом поцелуе было все: нежность, понимание, желание, чтобы мне было счастье.

Тепло ее холодных губ (правда так!) меня всего согрело.

Было и главное: дозволение принять собственное решение. Не в том смысле, что чего-то там новое порешать, а в том смысле, что сердцем его принять, осознать, понять.

Я как бы сказал ей:

– Не хочу умирать.

А она мне как бы ответила:

– Не умирай.

Да и пропала с глаз долой. Осталась в сердце.

Глава 13. Кухонный ножик

А у отца мамкиного мать в оккупацию с немцем одним спала. Как все такие девчата, за шоколад, тушло и колготки. У нее на руках сынок годовалый, а тут – война. В Ивано-Франковске, в городе ее, стояло дохренища фрицев, наглых таких морд. Ну она себе для секса выбрала обер-кого-то-там, бегала потом от него аборты делала и спала спокойно, а Володечка ее шоколадки ел.

Да, шоколадки ел. Ну, значит, трахала фрица своего так и эдак, быстро ему понравилась, он ей мармелад носил грушевый. Ну и всё. А потом она увидела, как этот ее обер-кто-то-там расстреливает не то жидят, не то партизанчиков – маленьких, и ее всю перекорежило. Она жила, как бабочка, не видела зла. Ей было все равно, кто и как, лишь бы чего принес. А тут ей не жилось больше, все думала о мальчишках мертвеньких. А фриц переживал, что она приболела страшно, зиму не переживет, застудилась (это он ошибался, все от земли было, все ее болезни).

Вот лежит, значит, неспокойно ей ночью, а фриц рядом храпит. Морда у него лощеная и выбрит гладко, а мальчики под землей лежат, в общем рву. Расплакалась вдруг, что она полицаечка, что мальчиков жалко и вообще обо всем на свете, о мире, о войне. Фриц проснулся, а она ему:

– Спи, спи.

Она была ласковая тетенька, ручная, он и заснул. У таких тетенек все засыпают. А она босая пошла в ванную, умылась, волосы забрала лентой, как девочка, потом сходила на кухню, письмо трехлетнему сынку написала и с ним еще постояла. Думала, как оно так вышло. Почему она взяла и отказалась от спокойной, сытой жизни? Даже если Советы вернутся, то это не завтра будет, тогда почему?

Думала, думала, не надумала. Взяла нож, вернулась в постель, с ножом легла, я так думаю. Последний у нее шанс был, но что она себе думала, этого никто не узнает – об этом не было в письме, а душа ее с сыном и мужем не осталась.

Короче, прям в горло она ему нож вогнала. Может, башку отхерачить хотела, да не вышло, она ж не Юдифь, а он не Олоферн, у всего в мире калибр поменьше стал.

Сыночка соседям отдала, чтоб спрятали, а сама повесилась.

Она еще долго в Ивано-Франковске висела, в самом центре города, немцы ее не снимали, говорили, сами повесили. А они только перевесили. Победила она.

Приехал муж ее, не знал, что и думать.

Такая история. Вот она молодец или не очень? Героиня или

шлюшка? Стоило ей вообще-то сына оставлять? А о муже она подумала?

Но раз такое у нее было сердце, значит, иначе она не могла.

Никого в мире не осудишь, даже если постараешься. И нечего камни кидать.

А это я к чему? Не знаю даже.

* * *

А может, вспомнилось, потому что Одетт нам с Мэрвином в тот самый день, когда я был мудак, кричала:

– Идите домой! Мне не нужны тут пьяные славяне! Вас нужно учить только считать до ста!

Одетт очень нравилась наша шутка про Кобург, про то, что происходит Одетт из первого города Германии, где нацисты набрали абсолютное большинство голосов. Она так смеялась, что вид у нее стал совершенно безумный. Стояла на балконе и пускала мыльные пузыри, значит. На ней были короткие шорты, открывавшие красные коленки, всегда яркие оттого, что Одетт ползала на коленях в гараже, собирая дурацкие механизмы, маленьких роботов.

– Позови сестру!

– А вот и не позову! Не нужны вы мне тут!

Она так смеялась, блестела в темноте зубками. Это сейчас я понимаю, какая она тогда была красивая, а в тот момент больше всего хотелось скинуть ее в бассейн.

Мэрвин сказал:

– Слушай, да что ты за дура-то такая? Позови ее!

– Она спит!

– Ну, разбуди! Скажи, что мы пришли!

Эдит вполне сносно общалась с остальными моими друзьями, но с Мэрвином – лучше всех. Нас троих объединяло нежелание быть теми, кем были наши родители. Причины у нас были разные, но цель – одна. Алесь бы нас не понял.

Мы все были ужасными бездельниками по звериным меркам, у нас сложилось что-то вроде клуба взаимопомощи по этому поводу. В основном мы помогали друг другу, напиваясь до скотского состояния.

Я отошел глубже в сад, взял керамического гномика, занес его над мрамором, в который заключили бассейн.

– Если ты нас не пустишь, я разобью эту хуйню, обещаю.

– А разбивай, – сказала она и пустила в мою сторону рой мыльных пузырей. Освещенные яркими прожекторами вокруг

бассейна, пузыри казались волшебными существами или штучками, феями, драгоценными камнями из-под серебряного копытца.

Мэрвин тут же принялся их ловить, громко ругаться. Мы и вправду были пиздец какие пьяные. Мэрвин чуть не свалился в бассейн, а я все смотрел на пузыри, которые Одетт выдувала со старанием маленькой девочки, какой она постепенно переставала быть.

Роскошно они сияли: фиолетовым, синим, золотым, зеленым, я даже мог рассмотреть отражение дома, стянутое в узкую, искаженную картинку, вокруг которой все разноцветно сверкало.

Мыльные пузыри я любил больше всего на свете. Они ассоциировались у меня с мамкой, с самым далеким детством, с тем, что мне когда-то было пять лет, и с жарким (иногда у нас тоже бывало совсем жарко) летом. Как-то раз отец привез нам баночку мыльных пузырей. Знаете, такие красненькие, скользкие тубочки с протекающей крышкой, на вершине которой разные лабиринты с шариками под цветным пластиком. На этикетке, как сейчас помню, был изображен веселый крокодил.

У меня тогда сложилось впечатление, что пузыри отец принес скорее маме, чем мне. Наверное, правда – она их любила.

Ой, пошли мы, короче говоря, в лес, и неожиданно нас застал дождь, под ним мы бегали и кричали, такое было облегчение после жарких, душных дней. А потом сели с мамкой, значит, на поваленное дерево, в самой чаще, и она стала пускать пузыри, показывать мне, как это делается.

– Все очень легко, – говорила мамка.

– Они такие, как души девчонок.

И мамка так засмеялась, что эхо по лесу пошло, вообще по-ведьмински. А пузыри показались мне чем-то удивительным, все эти цвета, бензиновые блики, легкость и невесомость. Их разноцветная прозрачность так причудливо сочеталась с темной, влажной зеленью леса. Пузыри лопались, когда касались листьев или веток, но мама создавала все новые и новые, и они кружили вокруг, как кусочки какой-то забытой сказки.

А как же от них пахло, до сих пор роднее этого запаха мне ничего на свете нет. Иногда мама ловила один из пузырей на палочку и подносила к моему носу. Это был запах клубники и ванили, пудровый, едва-едва заметный, но пленительно-сладкий. Я тогда думал о вафельке с вареньем или о чем-то таком, но на самом деле аналог было не подобрать.

Пузыри плыли сквозь лес к какой-то своей цели, доверяя ветру. Я боялся лопнуть хоть один, мне не хотелось разрушать эту перламутровую красоту. Мама снова и снова ловила пузыри на

палочку и отбивала своими пойманными пузырями те, что плыли в воздухе свободно.

– Попробуй. Так ты их не лопнешь.

И я попробовал, и мне все чудилась упругость, легчайший вес, но я ни в чем не был уверен. Все было зыбко, все плыло. Где-то далеко шумела речка, но я долго слышал только мамин голос.

– Показать тебе фокус?

– Покажи мне фокус.

Мамка не спеша закурила, затянулась и выдула дым в пузырь. Он получился мутный, молочный, как бельмо. Мамка лопнула его сигаретой, и дым, заключенный в нем, разошелся неспешно и совершенно невероятно. Как в кино про самую настоящую магию.

Я видел ее, я видел магию, она была передо мной. Эти начиненные дымом пузыри плыли по лесу и, разбиваясь, оставляли после себя туманные всполохи.

Господи боже мой, ничего на свете красивее и представить нельзя. От маминых рук потом пахло сигаретным дымом и мыльными пузырями. Для меня, когда я сейчас представляю ее руки, это и есть их главный запах. Не холодная вода Усть-Хантайского водохранилища, не омертвевшая кожа, не пропитавшаяся влагой плоть. Нет, только сигареты и мыльные пузыри. Так я чувствовал ее всего один день, а мертвую помню намного дольше, почти всю остальную жизнь. Но это ничего не изменит.

Только ванильно-клубничное облачко, только горечь рыжего Pall Mall, который она курила.

И, бля, эти пузыри, плывущие в сумеречном летнем лесу, этот неверный свет, делающий их еще ярче, еще хрупче – все мое, никому не отдам.

Вот и тогда смотрел я, значит, на Одетт, пускавшую мыльные пузыри, на их причудливую игру со светом, на то, как они падали и разбивались, на то, как их губил Мэрвин. Смотрел и думал о маме.

– Если откроешь, я тебе фокус покажу.

– Не надо мне фокус! Давайте-давайте, валите в помойку, из которой вы вылезли!

– Все, Одетт, сейчас окно разобью! Ты меня задолбала!

– Окно! Это же идея! Так, Боря, мы лезем через окно!

Я вытащил из-под лежака очки Одетт для плаванья и запустил их в нее, она ловко увернулась и показала мне язык.

Мы прошлись под окнами, и Одетт пустила нам вслед еще пузырей, а потом оросила Мэрвина мыльным раствором.

– Вот мелкая сучка, а? – сказал он.

– Это да. Но хоть башку помоешь.

– И то верно.

В тишайшем Пасифик Палисейдс на меня вдруг напала тоска по конфетным трубам теплостанций и маленьким радиорынкам, по всему моему да папашкиному. Все остальное мне стало противно, хотелось огромных промзданий вокруг, хотелось широких лесов, хотелось панельных многоэтажек и снега по колено. Я даже порадовался, что мы забежали в русский магазинчик и купили для Эдит ее любимых вафель с малиновым вареньем. Приторный джем и то-о-онкая, такая совсем неамериканская вафелька, вот Эдит эту еду понимала, а мои одноклассницы, для примера, вообще нет.

Мы как-то бесконечно стучали Эдит в окно коленками, держась за скользкую раму окна. В комнате долго было темно и тихо. Наконец, Эдит заворочалась, а мы все терпеливо стояли, стараясь теперь лишний раз не шевелиться.

Ой, вспомнишь детство, так всегда удивишься, как еще жив.

Она впустила нас, еще некоторое время не зажигала свет и терла глаза. Тоже была пьяная.

Я сидел на ее кровати, пахнущей взрослыми духами («Герлен», как у мисс Гловер, тоже ретро, только еще более раннее – L'Heure Bleue, я узнал название, когда у меня появились деньги, чтобы дарить такое Эдит), и голова у меня кружилась, то ли от высоты, на которой я весь в напряжении завис минут на десять, то ли от алкашки. Мэрвин сказал:

– Ну чего, бухать-то продолжим?

– Продолжим, – сдержанно согласилась Эдит, сложив руки на коленях.

В темных тенях притаилась ее актуальная книжка – «Шум и ярость» Фолкнера. Эдит с ней не расставалась, все зачитывала пассажи из части Квентина, и я всерьез опасался, что по накурке она утопится в бассейне. По стенам Эдит развесила открытки с картинами Альфонса Мухи и всяких других ребяток из европейского модерна. Я ей часто говорил:

– Ты становишься как русский интеллигент, все больше пьешь и все больше знаешь.

– Подождите-ка меня.

Я вышел из комнаты, впустив в нее золотой свет и вырвав у Эдит недовольное шипение, а у Мэрвина приступ идиотского смеха. Пошел такой, значит, к Одетт, думал ей накостылять, потому что она выбесила, но неожиданно распахнул дверь и сказал:

– Я тебе обещал фокус.

– А я тебе сказала, что мне не надо, – сказала она, обернувшись, высокий хвост смешно хлестнул ее по носу.

Тут уж она заволновалась.

– Боишься меня, что ли?

– Я могу заставить любой предмет в этой комнате тебя прикончить.

Ой, что правда, то правда. Мышки хорошо договаривались со своими вещами. Я только хотел облокотиться о стену, как Эдит что-то прошептала, и меня легонько хлестнуло током от модемного провода.

– Да я правда фокус покажу.

Одетт смотрела на меня своими недоверчивыми византийскими, всегда влажно блестящими глазами, широко распахнутыми, как на иконе.

– Ну, я не знаю.

На стеллаже стояли книжки про Гарри Поттера и «Властелин Колец», и «Хроники Нарнии», и бесчисленное количество фэнтезийных романов, о которых я никогда и ничего не слышал. Всю нижнюю полку занимали аккуратно ранжированные по сериям комиксы. Через крутящийся стул был перекинут шарф Рейвенкло, под столом валялась волшебная палочка, которой Одетт иногда собирала волосы, как шпилькой. На компьютерном столе высилась гора дисков с играми для PC и плейстейшн. Нигде не пылинки, не сказать даже, бардак у нее царил или порядок.

Вот весь пол зато был усыпан металлическими деталями, гайками самых разных размеров, железными пластинами, еще какой-то хренотой. Что-то, значит, собирала. Однажды Одетт показывала нам с Эдит ее изобретение – чайник, который может ходить. Правда, воду он подогревать не мог и от силы делал шагов двадцать. Короче, патент у нее не украдут, я так ей и сказал, а она унеслась по лестнице вверх, не слушая меня, в невероятно хорошем настроении.

– Дай пузыри.

– Ну не знаю.

– Чего, совсем не хочешь фокус?

– Ладно, хочу.

Она кинула мне баночку с мыльными пузырями – кислотно-розовую, без лабиринта на крышке, без крокодила. Да и пузыри пахли жвачкой, такая тоска. Ой, не вернешь прошлого, хоть ты взвой.

Вот, значит, я закурил, Одетт наморщила милый носик, весь в веснушках.

Я выдул пузырь с дымом, большой-большой, и отправил его в полет через всю комнату. Это мгновение, крошечное в самом деле, показалось мне бесконечным, невероятно длинным. Наконец Одетт коснулась мыльного пузыря, встав на цыпочки, и

дым развеялся. Она завизжала:

– Ого! Вот это да! Как будто он трансгрессировал!

– Господи, Одетт, пиздец, какая ты чокнутая дура, говори на нормальном языке!

Она уже осмелела, выхватила у меня сигарету и пузыри.

– Ну, – сказал я, – развлекайся.

Одетт осторожно, не вдыхая, втянула немного дыма и принялась выдувать пузыри. Они поплыли в мою сторону, один за другим, и, лопая их, я выпускал дым на свободу, он быстро терял форму и исчезал, но секунды, когда дым еще держался в заключавшем его кругу, были невероятны. Красотища неописуемая.

– Ладно, не благодари. Я пошел.

– Эй, подожди. Тебе же нравятся эти штучки, да? Пузыри.

– Ага.

– А фокус откуда знаешь?

– Мамка показала.

Не мог же я ей рассказать про волшебный лес и переливчатые души девчонок. Аж самому смешно.

Она вытащила из ящика еще одну баночку с пузырями, синюю. Так я порадовался, что не розовую, не девчачью. И еще так пузырям порадовался – сам себе бы ни за что не купил, детское это все, я ж не придурок, чтоб в семнадцать годков мыльные пузыри покупать.

– Спасибо.

– А, да не за что. Мне одной банки хватит. Быстро надоест.

Я шел по коридору и пускал мыльные пузыри, прозрачные такие жемчужинки, целую орду. А говорят вечны в мире только скитания да страдания, но смотришь, бывает, на маленькие радости и думаешь: нет, в них самое постоянство и есть, самая соль земли.

Потом, помню, мы с Эдит и Мэрвином лежали на кровати, в темноте, передавали друг другу бутылку водки и вафли, все обсыпались крошками, и я опять выдувал свои мыльные пузыри, совершенно призрачные в слабом свете, идущем от окна. У них только бочка блестели.

Потом, уже абсолютно пьяные, мы придумали гадание.

– Давайте так, – сказал я. – Задаем вопрос, например, как у нас будет с детьми. Значит, размер кружка – это качество. Чем больше пузырь будет, тем круче дети. А если пузырь выдулся маленький, то дети хуевые. Качество определяем по самому большому пузырю, да. А маленькие кружки внизу – это количество. Соответственно – больше пузырей – больше детей.

– Распространенность гадальных практик в дописьменных

культурах показывает исключительно ненадежность, неподвластность человеческой жизни того времени даже элементарному планированию. И до сих пор, чем непредсказуемее жизнь, тем больше культура обращается к опыту удачи. Борьба с высокой неопределенностью.

– Бла-бла-бла, – сказал Мэрвин. – А мне заходит. Дай-ка попробую.

Мэрвин едва не выдул большущий пузырь, а тот возьми да и лопни! Обида какая!

– Твои дети могли бы быть охуенными, но будут невероятно хуевыми.

– Так все родители оправдываются, – сказала Эдит.

– А сколько их, давайте-ка поглядим?

– Хера себе! Ты что, трахнешь русалку?

– Почему русалку, Борис?

– Потому что она будет метать икру!

Долго же мы над этим угорали.

– Боря, твоя работа будет тебе жутко нравиться!

– Но проработаешь ты на ней недолго!

– Эдит, зубы у тебя будут средненькие.

– И их будет всего пять!

Мы никуда не спешили. Родители Эдит снова были в отъезде, они вообще чем дальше, тем реже появлялись дома. А ребеночка, ради которого все затевалось, не заводили.

Потом, совсем ничего не соображая, мы вылезли на кухню. Помнится, Эдит уговаривала сломавшийся чайник заработать снова, и он согласился.

– Долг, – сказала она, а мы с Мэрвином все силы свои направляли на то, чтобы не свалиться нахуй со столешницы. – Это что? Это концепт. Конструкт. Общесоциально значимая процедура обмена значениями. Тавтология, конечно. Непрямая. Значимая – значения, да. Одни символы, сплошные слова. Ничего реального и значимого за этим не стоит.

– Ну нет, – сказал я. – Как, ничего реального и значимого? Мне папашка въебет очень значимо, если я такое скажу.

– А меня мама значимо выгонит из дома.

– Я же говорю: об-ще-со-ци-аль-но. Понятно?

– Непонятно, – сказал Мэрвин. – Эдит, а ты в судьбу веришь? В то, что если у тебя судьба сбежать от ответственности, то ты сбежишь.

– Какая дивно трусливая позиция.

– Тихо, подождите, я сейчас умру.

– Борис, хочешь умыться?

Она полила меня остывшей до приятной теплоты водой из

чайника, и я запоздало так ответил:

– Да, спасибо. Я что хотел сказать? Что я хотел сказать?

– Что ты хотел сказать? – спросил Мэрвин, закурив. Я выпустил в него стайку мыльных пузырей.

– Как у того, кто себя не любит, может быть любовь к другим? Она из какого колодца берется? Это тьма, а не любовь, это такая темнота, прям блевать сейчас буду.

– Блевать не надо, – серьезно сказала Эдит. – Я тебя лучше еще раз умою.

– Но ты не ответила на мой вопрос.

– Она и не может ответить на твой вопрос. Это знает только Бог. Где ты его возьмешь?

И да, где его взять, как спросить, кому в ноги надо упасть, чтобы узнать, как оно там на самом деле? Ну ладно исполнение, а задумано-то как? Идея-то хоть хорошая?

Чего-то завязались мы спорить о Боге, и я уже обнаружил, что пересказываю ребяткам еврипидовских «Вакханок».

– И вот, короче, Дионис освободился, обиделся он на Пенфея ужасно, какой ты царь, значит, какой кузен, и о богах чего знаешь? Обиделся и наслал на мамку его, на Агаву, такое безумие, что она собственного сына там, на горе, на Киферо́не, на кусочки порвала. Башку его насадила на какую-то палку и расхаживала с ней. А тетенька-то чем провинилась? Ей за что наказание послали сына убить? Вы понимаете? Он-то отмучился! Он быстро отмучился, его девчатки на куски порвали. А она?

– Наверное, она убила себя. Это же греческая трагедия.

– Ой, Эдит, я не помню.

От водки уже сопли текли, но пить хотелось еще и еще.

– Но я о чем спросить-то хотел?

Мэрвин пожал плечами.

– Я не знаю, я потерял нить повествования.

– Ну вот почему боги все время задевают других людей, не виноватых?

– Чтобы трагик мог пощекотать нервы зрителям.

– Нет, – неожиданно серьезно сказал Мэрвин, плеснув еще водки себе в чай. – На самом-то деле потому, что для них это неважно. Кто виноват, кто нет. Это большой пазл, они его собирают. Им важно, чтобы красиво легла деталь. На небе все так делается, я уверен.

– Что-то как-то не очень справедливо.

– А ты чего хотел? Эти боги, они будут тебя разменивать, ломать, покупать, продавать. Ты для них кто? Ты им кто? Девочки им куклы Барби, а мальчики…

– Ну, Кены, наверное.

– Точно.

– Ты какой-то богоборец, выпей водки.

Ой, как мы спорили, до хрипоты, а в итоге оказалось, что все друг с другом согласны. Бывает такое.

Потом душили один другого по очереди, у Мэрвина даже встал, и мы над этим долго смеялись. Лежали на полу и все дергались от смеха, тряслись. Эдит вдруг сказала:

– Вы представляете, что с телом после смерти происходит?

У нее под носом было пятнышко крови.

– Немножко, – сказал я. – Ну там пухнет, гниет, соки всякие. Зараза.

– Да, – ответила Эдит. – Зачем это все? Тела надо сжигать. Чтобы оставался пепел, песок из человека любимого. Это вовсе не страшно.

– А по-моему, – сказал Мэрвин, – так еще хуже. Как так мало от человека могло остаться?

– Ты бы видел, что от мамы осталось тогда. Они ее плохо зашили. Ее так плохо зашили. И грим такой ужасный. Зачем они только гримируют их?

Ой, ей бы истерику устроить, на гроб бы покидаться, пусть на воображаемый, а она лежала и пальцем по мраморному кафелю выписывала загадочные буковички.

В чем-то мы с Эдит были похожи, но она от всего была так отстранена, так отторгнута. Холодная, неживая, и не верилось, что такая тоже помрет.

А чего рядить-то, все помрем, это непременно, но только про нее одну я думал, что это не окончательная правда. Что есть люди, которые при жизни так сильно мертвы, что куда дальше-то, закроет глаза – как заснет.

В таких отвратных подробностях (а она каждую ранку могла описать) Эдит говорила о смерти только по сильной пьяни, чаще всего ни с хуя.

Мэрвин сказал:

– Даме больше не наливаем.

– Я тебе тут не дама.

– Ты мне и там не дама.

– Мэрвин, а ты заметил, что лежишь между нами?

– Звучит как начало Второй мировой.

– Позовите Одетт! Начались шутки про нацистов!

– Нацисты – это не повод для шуток!

– Шутки – это не повод для нацистов!

Это были такие дымные вечера и ночи, понимаете? У меня от них остались одни тени да призраки. Как я ее душил, навалившись сверху, как мы с Мэрвином блевали в ее дорогущем

сортире, прям в унитаз с синей водой.

Всегда заканчивалось тем, что кто-то плакал. Чаще всего я, конечно, да не над собой, а над Эдит, над Мэрвином, над бабкой слепой, польской старушкой, про которую Мэрвин всегда рассказывал одну и ту же пьяную историю.

– Немцы ее вывели во двор и, пока сыновей стреляли, смеялись над ней, что она по крикам не всегда понимает, кто есть кто. Бабка же никогда не слышала, как они умирают.

Сегодня, когда Мэрвина пробило на эту историю, Эдит вдруг сказала:

– И это мой народ, надо же. Люди, которых я знаю, – дети тех людей, внуки.

Она говорила об этом с чувством мне незнакомым, со странной смиренной печалью. Немчики платят да каются, чего уж там, всей страной.

Ну и вот, об этом поговорили, о том, как это, быть правнучкой человека, который состоял в нацисткой партии, чтобы, как он объяснял, «работать не мешали». Ой, у кого прошлое прошло, а у кого идет да идет, никак не остановить.

Ну да, а мы такие пьяные были, переоткрывали, значит, национальные травмы. Потом Мэрвин перепил, все блевал, башка у него болела ну просто адски, мы его затолкали под душ, поили холодной минералкой с лимоном («Перье», кстати), заставляли ходить по комнате, полотенцем растирали, а ему все херово да херово.

Заснуть бы, а он не мог. Уже и лыка не вяжет, и глаза пустые-пустые, как у идиота. Ну, я и сказал:

– Может его кровякой напоить, чего думаешь?

– Идея отличная, но он нам спасибо не скажет.

– Организм его скажет.

Эдит поцокала языком, разглядывая Мэрвина. А Мэрвин пытался общаться со мной на русском.

– Неблагодарные вы люди, неблагодарные. Сусанин ваш, опять же.

– Ну ты, трудный, вообще уже заткнись.

– Сам заткнись, я тебе говорю, могли бы быть в Европе.

– Сам, что ль, в Европе. И кому Европа вообще сдалась? Извини, Эдит.

– Все в порядке, не обращайте на меня внимания. Я вмешаюсь только тогда, когда задумаюсь о милитаристской утопии.

– Антиутопии.

– Ты презентист, а надо быть антикваристом.

Эдит достала чистый стакан, высокий, легкий, на нем полупрозрачными красками был нарисован щегол, одним глазом

блестевший. Взяла она и кухонный ножик, села за стол, выставила вперед ладонь.

И ка-а-а-ак резанет.

– Что-то глубоко ты хуйнула.

– Да плевать.

Она стала спускать кровь в стакан и протянула ножик мне.

– А мы с тобой побратаемся или посестримся так?

– Посестримся, патриархальный ты хуй.

– Это еще почему, нацистка-феминистка? У меня такие же права, как у тебя.

– Потому что я первая резала.

Она сжала кулак, стараясь выдавить побольше крови. Я ей в результате руку отвел, жалко ее стало, кошмар вообще. Руку Эдит отвел и нож взял, резанул по себе, по живому. Кап-кап-кап, кровка потекла, а я смотрел. Казалось, трезвел даже.

Кровь у меня текла, текла, а я говорил:

– Знаешь, почему Алесь с нами не тусит?

– Почему?

– Бессовестные мы, по его мнению. Асоциальные элементы. Вот так вот.

Не так я глубоко себя хренакнул, кровь медленно текла, и тут Мэрвин как вцепится в стакан, как его потянет.

– Да подожди ты, сука, подожди!

Но он меня не слушал, и глаза у него были совершенно дикие, нечеловеческие вообще. Ничего в нем не осталось такого, что я бы узнал. В тот момент он, может, и не Мэрвином был. Кто-то из нас двинулся так неловко, и стакан все – разбился. На сто осколков. Ну, в смысле прям вдребезги, точно-то и не скажешь.

А на полу, значит, кровь, как сироп, как варенье, стеклянное крошево в ней плавает. Такая красота на самом деле – щегол весь распался, остались одни краски от него, и все порозовели тут же.

Мэрвин на это секунду поглядел, и, прежде чем я успел его остановить, он на колени рухнул, стал кровь лакать, лизать, со всем стеклом, что было. Мы его оттягивали, оттаскивали, но он только на запах нашей крови реагировал.

Ой, он мне как-то говорил, что иногда чудом удерживается от того, чтобы в кого-нибудь не вцепиться.

– Ёбу дал, – сказал я.

– Что? – спросила Эдит.

– Это на русском как бы: с ума сошел.

Мэрвин ей лизал руку, а я вытаскивал из него осколочки. Полминуты прошло, и он уснул в момент, на пол повалился, засопел, как малыш.

– На кровать потащим?

– Да ну его.

Глянул я на руку Эдит, а кровь у нее все течет, и мяса кусочек видно. И она бледная такая была, одни глаза остались, светлые, призрачные. Так должна была выглядеть ее мать, когда ей башку оторвало – мертвенно и театрально, будто картина Караваджо.

Я ей сказал:

– Здесь посиди, я аптечку принесу.

По-хорошему бы зашить ее, а так – хоть перевязать, по-нормальному-то. Где ж аптечка? Я что-то помнил про ванную, но их в доме было по одной в хозяйских комнатах, да еще гостевая. Ну, не гостевая, наверное, так я решил. Поискал, значит, для начала у Эдит, в ящичке над раковиной, чистеньком, без единого пятнышка от зубной пасты. Там ничего, кроме прокладок и пачки «Ксанакса», не было.

Потупил, потупил я и пошел к Одетт. Из-за ее двери доносилась громкая, жизнерадостная девчачья музычка. Это был хит, старенький уже тогда, что-то там про любовницу, грешницу, мамку, богиню, суку – и все в одной телочке. Уж хрен ее знает, зачем она такое слушала, с ней эта песня как будто совсем не совпадала, и в то же время с того момента прочно засела у меня в голове и еще долго начинала играть, когда рядом появлялась Одетт.

Я зачем-то открыл дверь тихонько и увидел, как она танцует.

Ой, сейчас, конечно, я должен рассказать, как она танцевала, чтобы звучало, будто она ангел, будто ловкая, чтобы получилась манящая, завлекающая девчонка с картинки.

Но была она, как и все нелепые девчата в ее возрасте, смешная, неловкая, увлеченная и явно не представляющая себя со стороны. Она нелепо расставляла руки и крутила головой, так что ее распущенные волосы метались, будто змеи Медузы горгоны, а рот был приоткрыт, словно у дурочки.

И в то же время какая она была прелесть тогда. Ничего возвышенного в ней не было, она плясала, как умалишенная, но мне тогда показалась невероятно красивой, в желтом свете лампы вся она позолотилась. Я так и стоял, не в силах рта раскрыть. Потом она, может, думала, что так хорошо танцевала.

Танцевала она – кошмар, фиаско, полный пиздец. Но мне впервые захотелось поцеловать ее, губами в ней прикоснуться – к золотой щеке, к персиково-бледным губам, к черным, длинным ресницам.

Вдруг заметила меня, тут же метнулась к компу, вырубила музыку.

– Чего тебе?

Ко впадинке на ее шее спешила капля пота. Я смотрел и

смотрел, наглядеться не мог.

– Чего тебе надо, Борис? – повторила она, в голосе ее появились знакомые запальчивые, взвинченные нотки. Она стеснялась.

Когда я взглянул на ее лицо, она держала ладонь у лба, словно прикрывала глаза от солнца.

– Я хотел спросить.

Тут я снова замолчал. А глаза – как на образа́х, особые, царские глаза. И россыпь веснушек, золотых капелек, солнечных брызг от носа к скулам идет. Впервые я ее так увидел, впервые у меня такие глаза стали, чтобы любить женщину. Кто его знает, как оно там получается. Она мне была золотой Саломеей, счастьем моим, горем моим, сердцем моим. Я охуел, пропал и погиб – единомоментно.

– Чего ты хотел спросить? Ты совсем, что ли, пьяный? Где Эдит?

Сейчас мне кажется, что она понимала, как я на нее смотрю, и это ее испугало. На нее, должно быть, впервые тогда так смотрели.

– Аптечка у тебя?

– Конечно, она у меня. Я же аллергик. Подожди здесь.

Она унеслась в ванную, закрыла за собой дверь, щелкнула замком. И зачем это? Я не понимал, даже не утруждал себя попытками. Потом Одетт по-мышиному нервно выглянула.

– Ты еще здесь?

– Нет, я уже ушел, можешь выходить.

– А что тебе оттуда надо?

– Бинты и спирт.

– Антисептик в смысле?

– Ну да. Неважно.

Только выйди сюда да глянь на меня. Я ее у двери караулил, а как вышла – чуть не поцеловал, но она всучила мне бинты, взяла свою палочку.

– Авада Кедавра! Свали!

И я вдруг притянул ее к себе, но Одетт так завизжала, что пришлось ее выпустить.

– Не трогай меня, фу, ты грязный, немытый и заразный!

– Да успокойся ты, больная.

Выхватил у нее бинты с антисептиком и пошел к двери, весь красный. А Одетт меня еще окликнула:

– Борис!

– Что?

– Ты случайно не убил Эдит?

– А зачем мне тогда бинты? Чтобы мумию из нее сделать, или

как? Не убил я твою сестру.

Отношения Эдит с младшей сестрой оставались для меня загадкой. Эдит отзывалась о ней холодно, без восторга, но неизменно проявляла заботу, а Одетт вела себя с сестрой хамски и навязчиво, но иногда вдруг начинала за нее волноваться.

Когда я пришел в прошлый раз, Одетт отвела меня в сторонку и сказала:

– Из-за тебя у Эдит проблемы с алкоголем.

– Из-за несправедливого мира у Эдит проблемы с алкоголем.

– Прекрати ее спаивать.

Трогательно было, хоть и не подействовало.

В общем, я забрал, что мне нужно было, и спустился к Эдит. Она водила окровавленным пальцем по столу. Рисовала машинку, значит. Схематичную такую, а в ней сидели человечки, которые скоро будут мертвы.

– Не умеешь ты тосковать, – сказал я. – От того и сходишь с ума. У тебя немецкое напряжение.

– Что?

– Ну, с немцами это ассоциируется. Ты такая сдержанная, а потом раз – и вся кухня в крови.

Она мне улыбнулась, слабо-слабо, как лампочка мигнула. Руку я ей обработал, перевязал, потом в пьяной мути ползал по полу, собирая в бумажные полотенца осколки и кровь, а Эдит курила, свесив забинтованную руку вниз. Потом и она меня перевязала.

Мы пошли сидеть у бассейна, оставив Мэрвина дрыхнуть на полу.

– Спасибо, – вдруг сказала она.

– За руку?

– За это тоже. Но я имею в виду мысль о немецком напряжении. Этого Фихте в «Речи к немецкой нации» не упомянул.

Мы устроились на лежаках, неловко шевелили перевязанными руками, а между нами стояла бутылка водки. Вода в бассейне была голубая, словно светящаяся. Над Пасифик Палисейдс висели крупные звезды, окружившие серп луны. Со стороны океана дул ветерок, пахнущий йодом и песком.

– Благодать.

– Что?

– Хорошо, значит, как будто Бог дал.

– Не начинай.

– Нет, это ты не начинай.

– Нет в мире ничего, про что ты говоришь. Бог бы увидел, в какой мы клетке живем, как умираем.

– Все немцы такие мрачные?

– Только я и Хайдеггер. И я что, слышу это от человека, который за день непременно употребит слово «могилка» минимум девять раз?

– Вот ты насколько мрачная.

Я засмеялся, и Эдит тоже. Чем пьянее она была, тем легче у нее смех шел.

– Вот у нас, у крыс, значит, считается, что пока ребенок материнского молока не попробовал, ну первые пару минут там, или дней, не знаю уж, как у детей это все бывает, то он как бы еще дух. От Матеньки еще. Ее маленькая копия. Чистый, каким его задумал Бог. А потом спустилась на него тьма земная, и стал как все мы.

– Согласно этой логике счастливейшие крысы умирают во младенчестве.

– Да, вообще-то похоже на правду.

– А говоришь, что я мрачная.

– Один-один.

В прожекторе бился мотылек, дергалась его огромная тень, как в припадке. Было так тихо, даже из комнаты Одетт ни звука не шло. Я о ней больше не думал, но этот яд уже во мне был.

Над нами пролетел, подмигивая алым, самолет, высоко-высоко, он был такой крошечный, будто его можно было сжать в кулаке.

– Тебе хорошо? – спросил я.

– Ага. Неплохо.

Эдит закрыла глаза. В нервном свете лицо ее казалось неожиданно спокойным. Я водил пальцем по черным прожилкам в мраморе и вдруг среди запаха хлорки почувствовал совсем иной, манящий, женский.

Я поглядел на Эдит, она зевнула, прикрыв рот забинтованной рукой.

Мне не нужно было ничего себе объяснять, знание бралось из ниоткуда, из крысиной моей части, из ее дикости. От Эдит пахло женщиной, которая может понести ребенка. Но я ж не до конца крыса, у меня от одного этого осознания не встал, меня другое завело.

То, как легко я мог сделать ее беременной, повлиять на ее тело, на ее жизнь, изменить в ней что-то. Я был такой пьяный, и эти взрывы в голове – из ничего может получиться что-то. У меня было желание сделать ей ребенка, оно было куда проще всех романтических устремлений, проще страсти, проще всего на свете.

От водки меня совсем развезло, разморило, и я едва ли

осознавал, что все может закончиться очень плохо. Что дружба такая штука, что я легко мог потерять ее доверие, что я мог сделать ей больно.

Было столько вещей, о которых я тогда не думал.

Думал о другом: это Одетт сделала меня взрослым, как-то по-особому меня разбудила.

А Эдит кемарила на лежаке и вовсе обо мне не думала.

Ну чего плохого, многие друзья трахаются по пьяни, подумал я, почему нет?

Когда я поднялся с лежака, то уронил бутылку, водка потекла по мрамору прямо в бассейн.

– Борис, осторожнее, – сказала Эдит. Хотела добавить что-то еще, но не успела. Сейчас уже и не вспомнить, как я на ней оказался, но что не забуду, так это ее взгляд. Глаза у нее на секунду расширились, как тогда, наверное, когда ей про мамку сказали, а потом она снова смотрела на меня с обычным усталым равнодушием.

– Нет, Борис, мы не будем трахаться, – сказала она.

Слово «трахаться» было ей непривычным и даже каким-то чужим, она его сплюнула, как боксер на ринге – зуб.

Она была ужасно, нечеловечески, не по-женски холодной, но часть ее природы, здоровое тело молодой девушки, говорила совсем о другом, о жизни, о любви. Как песни сирен, знаете. Тут объяснить прям сложно.

Я с нее не слезал, уткнулся губами ей в висок (поцеловать ее мне в голову не приходило) и стал задирать на ней платье. Ничего я не успел ни рассмотреть, ни почувствовать. Эдит сказала:

– Хорошо, мы будем трахаться. Подожди секунду, мне нужно зайти в уборную.

Что? Чего? Отлить типа? Я так опешил, что Эдит вылезла из-под меня.

– Подожди, – повторила она. – Хорошо, Борис?

– А, да, ну да, конечно.

Она спокойно зашла в дом, скрылась, а до меня вдруг начало доходить все паскудство ситуации. Захотелось приложить самого себя бутылкой по башке – для большей ясности. Я думал, что ей сказать, как извиниться, как объяснить, и все такое прочее. Миллиард вопросов, один другого краше.

Я ничего не смог придумать, но мои ответы бы мне и не пригодились. Прошло, может, минут пять. Эдит вышла на балкон, в руке у нее был мобильный телефон.

– Борис!

– Что?

– Я вызвала копов. У тебя есть десять минут.

– Чего?

– Ты меня не слышал? Я вызвала полицию. У тебя есть десять минут, чтобы уйти.

Она говорила спокойно, безо всякой обиды.

Выглянула Одетт.

– Что случилось? Какие копы?

У нее был любопытный, совсем детский вид, от которого мне стало еще стыднее.

– Ничего, – сказала Эдит. – Иди в комнату. Пока, Борис. И забери бутылку, а то домработница вернется рано утром. Напиши мне, как доберешься до дома.

Глава 14. Детишкам радость

А вот какой-то отцовский брат (ну, брат не брат, так, седьмая вода на киселе) был добрейшей души человек, мухи не обидит. Забрали его в Афган, и что там было, он никогда не рассказывал. Ну оно и ясно, что с ним там было.

Домой вернулся – поменявшийся весь в лице, ни слова от него не дождешься. Сидит цельный день дома, шторы задернул, темнота. Спросишь его – говорит:

– Свет видеть не могу, уберите свет.

Так было долго-долго, мать слезы лила, вроде сын живой приехал, а счастья нет у него.

В общем, так она его и схоронила живым, плакала целыми днями, так потормошит и этак, он ни в какую. В санаторий отправили его, к морю, здоровье, значит, подправить, а он там из номера ни разу не вышел.

Всем миром ему деньги собирали на мотоцикл, как мечтал, и то не улыбнулся, посмотрел на него, да домой, от света подальше.

– Ну, – мамка его говорила. – Хоть не вешается. И то за счастье.

Но этого-то все и ждали. Ждали, что придут, а он там головой в духовке или в петле.

А он в театральное училище пошел. На клоуна. Вот это жесть, конечно, вы приколитесь. И клоуном стал хорошим, сначала в дешманском каком-то цирке работал, а теперь, вроде как, в московском, том, который на Цветном бульваре.

Никто его, конечно, не понимал, он был грустный мужик, уголки рта опущены всегда, взгляд в пустоту, но на сцене расцветал, распускался, проживал, что не дожил, и его любили дети. Они к нему тянулись.

И еще, бывало, в жизни он от салютов под кровать забивался, но на сцене его ничто не могло испугать.

Мой отец, когда к нему приезжал, его и спросил:

– Антош, ты чего, с дубу, что ль, рухнул? Ты ж летчиком быть хотел.

– Не хочу я, – ответил Антоша, – быть летчиком никаким. Это пусть другие делают.

Выпили они с отцом, и Антоша вдруг тему продолжил, как бы ни с того ни с сего. Сидели они в темноте (в его комнате всегда было черным-черно), и отец видел, как поблескивают Антошины глаза.

– Ты знаешь, Виталь, на сцене все другое, чем в жизни. Я на

сцене ничего не боюсь, ни в чем не винюсь, ни от чего не страдаю. На сцене я какой-то другой человек. Каким мог бы быть.

– Ну ладно, но клоун-то ты с какого хуя? Почему не актер?

Тут Антоша почесал гладко выбритую щеку и сказал:

– Если я каких людей еще люблю, в каких еще верю, каких хочу сделать счастливыми – это детишки. Маленькие люди, они хорошие.

И отец как-то проникся этой жизнеутверждающей моралью, они выпили за все хорошее в мире, за маленьких детей, и тут Антоша добавил:

– А как вырастут – такое увидят. Пиздец. Вырастут – узнают, за сколько человек от пули в живот умирает, и что с ним случается от гранаты. Вырастут – все узнают, а пока им радость нужна. Хочу детишкам радости. Чтобы им было за что держаться, чтобы вспоминали счастье и оставались людьми.

Хотел делать побольше светлых деньков, побольше сияющих глаз.

Такой это человек, столько в нем любви нерастраченной. Об Антоше отец всегда говорил с уважением, он не о многих так.

Вот какая история, ну и хуй с ней. К чему я ее вспомнил – кто там разберет теперь. Может, мне и самому хотелось дарить людям счастье, радость, а получалась какая-то херня все время.

Так мне стало стыдно из-за Эдит, прям плохо: от того, что я чуть не сделал, от того, как ей было, от того, в конце концов, что она мне отказала как мужчине.

Короче, я все переживал, хотя она не злилась. Ничего плохого-то и случиться не успело, но было мне так муторно и обидно, такая меня съедала печаль по сделанному.

Сидели мы с отцом на кухне, значит, в синих сумерках, в наступающем вечере. На столе бутылка водки стояла, начатая, и две консервных банки из-под ветчины Spam с аппетитными картинками и таким себе содержанием.

Мы с отцом пели, тянули заливисто:

– Ой, то не ветер в-е-е-етку клони-и-и-ит, не дубравушка-а шуми-и-и-ит, то мо-о-ое, мо-о-е сердечко сто-о-онет, как осенний ли-и-и-ист дрожи-и-ит.

На сигарете у отца дрожал длинный столбик пепла, дрожал и не падал. Когда мы добрались до «с кем теперь идти к венцу, знать, судил мне рок с могилой обвенчаться молодцу», у отца взгляд стал влажный и красноватый. О мамке, стало быть, вспомнил.

А я – я теперь все понимал про кручину, про подколодную змею. Про все ужасы любви я понимал. Одетт не шла у меня из головы, меня тянуло к земле каждое воспоминание о ней,

хотелось ползать, как червю, и выть, как волку. Вот чего, значит, было со мной, такая печаль напала, невмоготу стало без нее, и с ней – невозможно.

Ну, то есть «с ней» я еще не пробовал, к Эдит я зайти не решался, хотя она вроде бы не злилась.

Злился тут один я – сам на себя, и сам с собой спорил. Тут мне и понадобился отец. Как мы петь закончили, столбик пепла на стол и упал, отец по нему рюмкой проехался. Ну, я и спросил, прежде чем папашка еще выпил.

– Слушай, а можно совет твой?

– Можно, отчего ж нельзя-то?

Рассказал ему все как есть, как было то бишь. Он помолчал, а потом как засмеялся, громко, хрипло.

– Дурак ты, Боря, совсем.

– Чего дурак сразу?

Я привык себя мудаком считать, мерзавцем каким-нибудь по этому поводу, а тут вскрылось, что дурак – и все. Резковато ты меня, папаша.

Отец закурил новую сигарету, сощурил от дыма один глаз.

– Поцеловать ее надо было, Боря.

– И чего б тогда?

– Того б тогда. Тебе когда присунуть женщине хочется, ты не забывай, что им романтика нужна. Любовь там, поцелуи, вот это все. Так ты в нее влюбился, что ли? В немочку?

– Она не немочка, а австриячка. И не в нее, а в сестру ее. Вот она – немочка.

– Запутано у тебя все.

– Это да. Короче, что мне делать?

– С австриячкой или с немочкой? Австриячке конфет купи, а немочке цветов.

– Как-то у тебя просто все?

Отец закашлялся, сплюнул в пепельницу желтый сгусток мокроты, который почти тут же почернел.

– Нет, ну а как у вас ухаживают за женщинами?

– Не знаю. Диски им дают послушать.

– Есть у тебя хорошие диски-то?

– Нет, если честно.

– Ну так возьми денег да пойди купи дисков ей.

– Сие мудро, ты прям царь Соломон, па.

– Деньги под диваном в файле лежат.

– Ну да, я знаю.

– Это ты откуда знаешь-то?

Отец засмеялся, потом глянул на меня.

– Чего, не надумал?

– Вниз?

Он кивнул. Глядел на меня светлыми, больными глазами. Вид у него был по-особенному изможденный. Это ж как, подумал я, мне месяц пришлось проваляться после одной-единственной ямы, а он их закрывает, а потом на работу ходит, как будто ничего и не случилось.

Ко всему человек привыкает, когда оно безысходно и тупо раз за разом с ним происходит.

– Не пойду, – ответил я. Весь сжался, готовился, что ударит меня отец, что закричит. А он смотрел и смотрел, с каким-то странным выражением на лице. Не то облегчение это было, не то глубокая печаль. Не сказать чтобы он во мне разочаровался – вот этого не было. Чего я больше всего ожидал, того и не случилось. Смотрел на меня, потом вдруг улыбнулся зубасто да сказал:

– Все еще будет, Борь.

В улыбке его я видел жутковатое обещание.

– Это проклятье, что ль, отцовское?

Он выпил, снова рюмку наполнил, поглядел сквозь водку и толстое стекло на меня.

– Благословение. Пиздуй давай отсюда.

– Куда?

– За дисками.

Взял я пятьдесят долларов и пошел гулять. Быстренько ребят вызвонил, говорю, выпьем, поедим. А отец так и сидел на кухне, рюмку за рюмкой в себя опрокидывая, стекленея все больше, до бесчувственности полнейшей.

Ой, он-то пил страшно: уставится в телевизор и глотает водяру, будто его сейчас резать будут наживую. Про себя я был убежден, что пью, чтобы весело становилось, чтобы счастье ощущать и кружение.

Обхохочешься, я думал, что мы с ним такие разные.

А с друзьями мы в тот день гуляли по Комптону. Это странно, но черные ребята к нам особо не прикапывались.

– Я по телику шутку видел, – сказал Андрейка. – Про то как американцы нашей мафии боятся. Может поэтому.

За пазухой у него сидел очередной осиротевший котенок, глядел на нас желтоглазо, иногда раскрывал пасть и голодно мяукал, но в остальном вел себя на диво смирно.

– Ну да, главное, на английском не разговаривать, – сказал Алесь. – Даже не произносить слово «английский»!

– Ты уже два раза поставил нас на грань.

– На грань чего?

– Ну выражение такое, трудный ты.

– Я легкий, как перышко.

– Это тоже выражение. Типа тупой.

– Сам ты дебил, Боря.

Марина насвистывала какую-то песенку и покуривала ментоловую сигарету, а Мэрвин все смотрел себе под ноги.

– Сегодня у меня неблагоприятный день для падений. Пиздец, если я упаду, то руку сломаю, не меньше. А может и голову!

Я поотстал, пристроился рядом с Мариной.

– Слушай, поговорить надо.

– А когда тебе еще чего-то было надо?

Домики в Комптоне были совсем уж низенькие, что твои бараки, коробочки прям. Отовсюду неслись испанская речь и гортанный английский чернокожих. Столько было магазинов с запчастями и тату салонов, что этого хватило бы на приличное стадо байкеров. Заплеванные вывески в темноте горели загробным, непривычно тусклым светом. И у каждой уродливой кафешки, из которой пасло халапеньо, обязательно курила черноглазая официантка с массивными серьгами под золото в ушах. Где-то далеко раздался визг полицейских сирен. Андрейка направлял фонарик на граффити: на мультяшных животных, на мрачные надписи, на политические лозунги и на телефоны, по которым можно было отовариться чем-нибудь этаким – у этих стен было свое содержание, своя композиция, не так уж сильно отличающаяся по строгости от ренессансной, к примеру.

Ой, а некоторые рисунки были вообще. Например, красноглазая девица, державшая мексиканский флаг. Удивительная была точность исполнения, и такое у девчонки получилось эмоциональное лицо, заплаканные глаза вдовы или сироты смотрели ярко и болезненно.

А вроде какая простая идея. На проволочном заборе висели объявления о скупке подержанных машин. Разрисованные остановки, разрисованные билборды, ой, от всего веяло грустью и нескончаемой ночью. Плесени тут было море и даже океан. Но более того, теперь я чувствовал каждую яму там, внизу.

Раньше я был к этому слеп, у меня раньше были закрыты глаза, закрыто сердце, а теперь я чувствовал раны каким-то прежде молчаливым нервом, и меня все время колотило. Идешь, а под ногами эти фистулы, каверны, и животный ужас вот он, схватил тебя за горло и трясет, как песик уточку.

А ты знай себе хрипишь, думаешь: хоть бы пронесло. А если оттуда чума вылезет или испанка, к примеру, как в восемнадцатом году?

Шел, и земля подо мной вибрировала – живая и раненая. Как оно тебе, думал я, с этим жить?

Может, и прав был отец, может любой, у кого сердце не каменное, сломается в конце-то концов. Но меня вдруг такая злость взяла, пнул банку, попал в Алеся.

– Ну ты придурок, – сказал Алесь безо всякого особенного выражения.

– Так о чем ты поговорить хотел? – спросила Марина.

– О любви.

– Ух ты! Ладно, высыпания на члене или странные выделения?

– Бля, заткнись ты!

Марина засмеялась, вскинула голову.

– Ну ладно, так и быть, задавай свой вопрос. Только если он сильно романтичный, я буду смеяться.

– Короче, я влюбился. Помнишь Эдит? Вот у нее сестра есть.

– И? В чем проблема?

Мы завернули в лавку с пончиками, над которой висел огромный такой рекламный донат, почти как в «Симпсонах», только весь облезлый. Пока Мэрвин с Алесем брали пончики, а Андрейка поил своего котенка молочным коктейлем, Марина учила меня быть джентльменом.

– Во-первых, не становись навязчивым. Самое лучшее – это вообще не показывать, что она тебе нравится. Девчонки любят завоевывать мужиков не меньше, чем наоборот. Во-вторых, не обижай ее. Не лучшая идея говорить ей, что она тупая, даже если она прям дура.

– Она не тупая вообще-то.

– А ты вправду втюхался в нее. В-третьих, купи себе какой-нибудь прикольный одеколон. Девчонкам нравится, когда от вас хорошо пахнет. А что она любит? Что читает?

– Фэнтези там. «Гарри Поттера» любит. Я должен ей что-то подарить. Понимаешь? А она богатая. Ее ничего не впечатлит.

– Вот ты понтануться, что ли, хочешь? Поговори с ней для начала. Она – личность, ей интересно, чтобы про нее слушали, чтобы ее спрашивали. Вы вообще нормально разговаривали?

– Один раз я был в жопу пьяный и пересказывал ей Геродота. То есть я так думал, что Геродота, а оказалось, что Фукидида. Тупо так получилось.

Марина засмеялась, взяла пончик из пакетика, который ей передал Андрейка, я тоже взял. Пальцы у нас у всех были в сахарной пудре и в шоколадной глазури, это тоже было счастье, как мыльные пузыри. Теперь, когда я вспоминаю себя семнадцатилетнего, влюбленного, то в первую очередь мне думается о сахарной пудре и горячем масле, которым были пропитаны пончики. Ой, да у всего в жизни есть вкус.

– Короче, просто будь человеком. Должно помочь.

Она и не знала, какие у меня с этим проблемы.

Мы прошли мимо двора, вполне современного, со столиком для настольного тенниса даже. В этом дворе чернокожая женщина в белом платке на голове резала петуха, что-то гортанно напевая.

– Вуду – это стремно, – сказал Мэрвин шепотом. – Ты все про Одеттку?

Ему я мозг компостировал еще по телефону.

– Отвали, у нас с ней все будет хорошо, я на ней женюсь.

– А я разве сказал что-то?

– Ты хотел.

– Я просто говорил тебе, что надо посмотреть ее натальную карту. Она кто по знаку Зодиака вообще?

– Думаешь, я тебе скажу? Серьезно?

– Да ты не знаешь просто.

– Знал бы – все равно бы не сказал.

Андрейка отвлекся от котенка, и тот немедленно рванул в кусты.

– Блин! Из-за вас теперь хлопчик утек! О чем речь-то?

– О любви, – сказал я с гордостью. – О моей любви.

О будущей моей жене, я это так видел.

Мы уселись на обочине прямо напротив белого зданьица пятидесятнической (ну или какой там) церкви. То есть я бы и не сказал, что это церковь – обычная коробочка, как множество других в Комптоне, только белая-белая, чистенькая, с гирляндой цветных флажков на крыше и аккуратным крестом над зарешеченным окном.

Из церкви доносились хлопки и мелодичное пение, затем вступал проповедник, из речи которого я улавливал отдельные слова: «грех», «любовь» и почему-то «Элвис».

Церковка была крошечная, как бы для своих, сколько там человек уместиться могло? Пятнадцать, может.

Мимо нас пронеслась машина с открытым верхом, какой-то старенький «кадиллак», и Мэрвин вытянул ноги к проезжей части.

– Больной, что ли? – спросил я.

– Мне только падать сегодня нельзя. Остальное все можно.

– Я бы поспорил. Были у меня знакомые, которые тоже так думали.

Только мы с Мэрвином засмеялись, потому что только мы поняли, о каких именно знакомых Алесь говорил. Невеселая, надо сказать, была шутка.

– Так. Значит, про мою любовь.

Пакет с пончиками все ходил по кругу. Марина рвала колечки надвое и ела как трубочки, а Алесь засовывал в рот сразу весь

пончик каким-то совершенно невероятным образом.

– Про любовь-то, – повторил я. – У меня все сердце открылось. Я такого никогда не чувствовал. Все предыдущее, что у меня с женщинами было, это ложь.

– Ну, спасибо. Теперь целоваться не лезь.

– Извини, Марин. Короче, я скорее о том, что это вообще другое. Я ее как бы душой видел.

Андрейка засмеялся, и я пихнул его локтем в бок.

– Заткнись и слушай меня. Короче, как бы она была особенная. Вся золотая, как по мне.

– В смысле, золотая?

– Типа богатая?

– Нет! Ну, она типа богатая, но это неважно. Даже хуже, что она богатая. Когда она станет моей женой, ей будет сложно привыкнуть к моему дому.

– А может, тебе жить у нее?

– Так только поляки делают.

Я закурил, дым поплыл надо мной вместе с пением черных ребяток в церковке.

– Самое важное: у нас с ней будет любовь до гроба, до могилы. Мы всегда будем вместе. Я буду смотреть на нее и радоваться. У нас каждый миг будет счастье.

– Чего-то ты загнул, – сказал Алесь. – Каждый миг счастьем быть не может.

– Ну, если это не мудацкая мудрость в стиле Паоло Коэльо. Карпе дием там, – сказал Мэрвин.

– Кто-то зашкварился так-то только что.

– Блин, заткнись, Борь, его мама моя читала.

– Да ты не поэтому зашкварился, а даже сам не понял почему, – сказал я.

– Это ты зашкварился, Ромео.

Марина сказала:

– Да оставьте его в покое, крыша у него поехала от любви, и все. Коктейль молочный мне дай, Андрюш.

Мэрвин подкидывал монетку, снова и снова, проверяя, везет ли ему, Андрейка снимал с себя остатки кошачьей шерсти, волосок за волоском, Алесь вытряхивал себе в рот сахарную пудру из промасленного пакетика.

А я, ну, был счастлив. Все мои волнения отступили, я хотел извиниться перед Эдит и стать человечнее. Рассказывая об Одетт, я как бы сам становился лучше. Во мне что-то менялось, надломленное что-то становилось на место, вправленной костью хрустело и затихало.

Ой, я тогда думал: даже если никогда ее не получу, ни в

постели, ни в поцелуе, все равно стану жить по совести. Думал, у меня счастье будет от одного воспоминания о ней, по-дурацки танцующей под дурацкую музыку.

– Я тоже один раз влюблялась, – сказала Марина. – Еще в детдоме. У нас там был историк – шикарный мужик, в очках такой, и добрый-добрый. Я его полюбила, а он мне такой: Марина, ты прекрасная девушка, у тебя будет замечательный молодой человек, когда ты станешь старше, а сейчас сосредоточься, пожалуйста, на учебе.

Мы засмеялись.

– У меня такие планы на него были, даже сейчас, как подумаю про него, так скучаю. Сколько же мне лет тогда было? Десять?

– Прикольно, – сказал Андрейка. – А у меня была девчонка из младшей группы. Мне друг сказал, что я педофил. А она была как ангел вся.

– Это вообще странно, в маленьких влюбляться, – сказал Мэрвин. – Оба проверьтесь. Вот я в первый раз влюбился в мексиканку. Она продавала два такос по цене одного.

– Ага, две хуйни по цене одной, как тебе против этого-то устоять?

– Нет, серьезно, она красила губы морковной такой помадой, но какая у нее была фигура. Она как из клипа хип-хоп звезды какой-нибудь. Моделька, но все при ней. Ей даже фирменная кепка с надписью «Бабушкина кесадилья» шла.

– Ого, это уже заявка на успех, – сказал Андрейка. – И сколько ей было?

– Ну, может, двадцать пять.

– Старовата для тебя. Эй, Алесь, а у тебя как с девчонками?

– Моя девчонка умерла от лейкоза.

– Блин.

Алесь потер нос.

– Шутка.

– Шуточки у тебя.

Он вздохнул, запустил руку Марине в карман, достал пачку сигарет.

– На самом деле я уже здесь влюбился. Медсестра мамина. Так за ней ухаживала, такая добрая была и мне носила «Поп-тартс».

– А выглядела как?

– Не помню.

На секунду мне показалось, что Алесь до смерти расстроен тем, что утерял очередное воспоминание, глаза у него расширились, он приоткрыл рот, потом крепко зажмурился и

помотал головой.

– Как так не помнишь? – допытывался Андрейка. – В смысле, не помнишь? Это ж ты влюбился или нет?

– Да чего ты привязался? – спросил я. – Не помнит человек и не помнит. Пропил знание это бесценное.

– Помню, – сказал Алесь, – как колорадских жуков с картошки собирал. В Хойниках еще. Бросал их в банку из-под «Нескафе», а они там воняли мертвые.

– А эту картошку можно было есть? – спросил Мэрвин.

– Ну, мы ели.

Мимо проехал паренек на велике, звякнул Мэрвину, чтобы он убрал ноги с проезжей части.

– Придурок, – сказал Мэрвин.

– А скажи «курва»!

– Курва!

– Как хорошо-то сразу на сердце стало.

Мы еще долго сидели и громко смеялись. Потом, значит, зашли в супермаркет, купили начос и в чьем-то (уже ничьем) заброшенном дворе лежали, смотря в беззвездное небо.

– Ой, Борь, – вдруг сказала Марина. – А помнишь, ты мне в русском магазине сгущенку купил, когда мы переспали?

– Ну, мне ж понравилось. Я тебе благодарен был.

– Вот, ты ей что-то романтичное подари.

Ну чего я мог такого придумать, кроме Звезды Смерти, а ее даже не существовало.

– Например, колье бриллиантовое, – засмеялся Мэрвин.

– Или тачку. Тачку подари!

– Лучше дом где-нибудь в Беверли-Хиллз.

– Зачем ей дом в Беверли-Хиллз, если у нее дом в Пасифик Палисейдс.

Когда в пачке осталась одна-единственная сигарета, мы передавали ее друг другу по очереди, протягивая руки наугад, не глядя, и всегда верно. Ночь была волшебная, такая жаркая, но совсем не душная, ее хорошо остужал прохладный ветер, ерошивший Марине волосы и заставлявший чихать Андрейку.

Ой, бесценная ночь, мы говорили не переставая, и все нам было смешно. Какие слезы, нет у человека слез в такие ночи. Я думал только о хорошем. О любви и о молодости. И о вонючих колорадских жуках тоже, конечно, но совсем немножко.

Даже когда от бессонной ночи голова вся песком набилась, когда я пожалел, что мы с ребятами не пили (а то б, может, поспал), когда все, кроме нас с Мэрвином, задремали, я был радостен и весел.

Мэрвин сказал:

– Слушай, мудак ты с Эдит, конечно.

– Сам знаю.

– Ты хоть извинился?

– Я послал ей семнадцать смс-ок. Она ответила на все «хорошо» и на одну «все в порядке».

– Вот не усыпили бы меня, при мне бы такой херни не было.

– Это уж точно. Что видел?

Мэрвин посмотрел на ребят, почесал затылок.

– Может, пошли? Успеем на первый поезд, доберемся без потных подмышек рабочего люда.

– Польский снобизм.

И мы долго шли по розовым, рассветным улицам Комптона, как будто бы в самую дальнюю даль, не зная, куда мы точно направляемся. То есть на самом-то деле мы пилили до станции, но такое меня охватило ощущение.

Улицы были пустые и прохладные, после ночи без сна все стало приглушенным, скрипучим, я то и дело жмурился, уже хотелось прилечь. А Мэрвин в этом глазурном, зыбком мире рассказывал мне о кошмарах.

– И вот, короче, гигантский крот поворачивается, как в фильмах ужасов. Я такой типа: что я здесь делаю вообще?

Я засмеялся, конечно, и тут он прям обиделся.

– Чего, смешно тебе? Ты бы видел, как он меня жрал. Он меня выпотрошил нахрен!

– Прикольно!

– Ничего прикольного! Я живой человек! Не хочу, чтобы мне было больно, чтобы меня кроты жрали. Ну, тут меня из сна этого упорыша выбросило, и я попал в какое-то странное место, вокзал где-то в жопе мира, в Теннесси может, и там все ходят, а я совсем маленький, и мне отдавливают ноги, а у людей лица, как у птиц.

– Боже ты мой. Он шизик небось.

– Ну, хрен знает. А потом я был в каком-то доме, и там я горел, а мне из огня что-то кричали, просили передать какие-то кексы. Суки, подумал я, кексы вам еще передай.

– А ты не пробовал портить сны? Ну типа убить крота там?

– Думаешь, не пробовал? Тогда меня в начало отбросит. Правила есть правила. Кошмары нужны для того, чтобы кто-то их прожил. И попробовал бы ты убить крота размером с «шеви».

– А ты типа представь, что у тебя есть гигантская лопата, как у чувака из «Фредди Крюгера». Или что ты сам – гигантский.

– Такой ты идиот иногда.

– Даже лучше, чтобы гигантский – был ты, – продолжал я. – И располовинь его.

– Бесишь меня.

В поезде я дико хотел прикорнуть, но как-то бессовестно было делать это при Мэрвине, и я тупо пялился в одну точку, надеясь, что сумею уснуть с открытыми глазами. Мэрвин о чем-то болтал, но я его не слышал, и, пока поезд не нырнул в тоннель, все любовался на открытое, розово-голубое, рассветное небо с остатком луны.

Голова побаливала, но мне было в то же время удивительно хорошо. Господи, а задумаешься над жизнью в мелочах-то всяких, и такое счастье открывается, что страшно.

Дышать – оно счастье, а уж все остальное и подавно. Какой-то пиздюк рядом болтал ногами и ел рифленые чипсы, от которых так и несло сырным ароматизатором. Его усталая мамка говорила по телефону, что-то о встрече с дантистом на следующей неделе. Правая сторона лица у нее чуточку припухла, и я подумал: шла б ты, тетенька, сегодня, ну какие у тебя могут быть дела важнее?

Бомжик спал напротив нас, источая всякие разные ароматы, иногда он всхрапывал и подбирал под себя ноги, как щенок или еще какой детеныш, совсем маленький, пока слепой.

Слева две эмо-девчонки слушали музло, покачивая головами в такт.

Короче, а жизнь-то кипела. И я вдруг проникся ко всему на свете такой любовью, к каждой травинке, к букашке-таракашке, к людям и птицам. Так проникся, что мне хотелось заплакать, закричать, засмеяться. По бессоннице оно так бывает, когда в мире все свежеет, а ты усталый да восприимчивый.

Ой, красоту мира-то только без сна и увидишь, без отдыха на все надо смотреть, без продыху.

Распростились с Мэрвином, как вышли со станции, и я сел на обочину покурить. Мимо прошел Чарли, и я дал ему сигаретку.

– Как дела-то твои, крысик?

– Хорошо дела. Потихоньку.

У него и глаза слезились, может, так ему выпить хотелось, а может болел. Я из кармана все деньги выгреб, что Одетт на диски взял и с друзьями не прогулял, да и отдал ему.

– Такое ужасное заблуждение, – сказал я, – думать, что для того, чтобы чего-то там отдать, так уж необходимо что-то иметь.

– Это у тебя уже русская философия пошла. Я ее не понимаю.

Он глянул в безоблачное, светлое небо.

– Что, думаешь, будет конец света?

– Может, и будет.

– А что на это скажет Бог?

– Ой, да кто разберет-то. Я на ангельских языках не говорю. И на английском-то так себе.

– Это ты зря. Хорошо ты говоришь, просто акцент ужасный.

Он сел рядом со мной, и я увидел припухшие пальцы законченного алкоголика, почерневшие от грязи, огрубевшие подушечки, толстые ногти с траурной каемкой.

– Есть у меня чуйка, что не так все просто в мире.

– Ой, Чарли.

– Нет, я тебе серьезно говорю. Что есть скрытые силы, другие вещи. Вещи, которых мы не видим.

– Да может есть, может нет. Тут бы с тем, что видишь, разобраться.

– И черные энергии.

А я о том больше тебя знаю. Но чего ему рассказывать-то? Нечего. Я только плечами пожал.

– Дались тебе эти энергии.

– Может, и Луну подменили. Мне кажется, когда наши на Луну летали, они ее подменили.

– Кому «наши», а кому «ваши».

– Это уж точно. Некоторые «наши» и мне не «наши». Но я знаю, что я знаю – в мире много черной энергии. Темной материи, как это говорят.

– Мне Марина сказала, что мир в основном из нее и состоит.

– Да. Я думаю, ты в прошлой жизни крысой был, вот что. Бывает, смотришь на человека, и сразу у тебя в голове знание, кем он раньше был.

Я б ему и сказал с радостью, что не был я крысой, а ею и являюсь, но люди так любят все усложнять. Бывает, кто открывается, любимым там или друзьям, но я б даже самым близким поостерегся, не то что Чарли-бомжику.

– И все чернее с каждым годом, – сказал Чарли, причмокнув сухими, воспаленными губами.

Тут я аж вздрогнул. Из-за меня это, что ли? Миллениалы долбаные, значит, работать не хотят.

– Ну пора мне тогда, – сказал я.

– За деньги тебе спасибо.

– Тебе спасибо, что ты мне встретился. Хорошо покурили.

До дома я дошел часам к десяти. Еще на лестнице позвонил Эдит, она в это время обычно уже просыпалась. Читала, небось, за завтраком какую-нибудь заумную книжицу.

– Алло, Эдит!

– Привет.

Голос у нее был совершенно обычный, ни разу не злой прям. Как же я удивился. Вот она так и вела себя, будто не злилась, а меня все равно поразило.

– Слушай, за то, что произошло…

– Ты уже извинялся. Принято.

– Нет, я хотел вслух.

– И чем это поможет?

– Не знаю, наверное, так яснее.

– Ты довольно ясно все написал. И много раз.

– Ну да. Просто я как бы это, ну, дружбу нашу ценю. Все такое. Ты моя лучшая подруга. Как бы.

– Как бы?

Я услышал недовольный писк микроволновки.

– Не как бы, а прям по-настоящему. И мне теперь стыдно, что я вот так.

– Хорошо. Ничего не случилось. Но мне нужно было тебя хорошо проучить. Чтобы ты больше так себя не вел. Ты усвоил урок?

Не телка она, а машина, короче. Девчонка с элементами автомата.

– Ну да. Я все понял. Так нельзя делать, и…

– И что?

– И я так не буду.

– Хорошо. Не веди себя как животное.

– Но я и есть животное. И даже ты – животное.

– Не повод же это, в конце концов, жить так по-скотски.

Тут я как раз поднялся на свой этаж, где мы с отцом набросали бычков к неудовольствию мисс Гловер.

– Не повод вообще прям. Слушай, а как там Одетт?

Тут стала такая тишина, как в космосе прям. Ну или хрен там знает, что в космосе, но уж как в подъезде ранним утром выходного дня – точно.

– А почему ты интересуешься? – наконец, спросила Эдит. – Кстати, не забудь вернуть мне «Эссе об отвращении».

– Да, я его уже дочитал. Прям круто. Если б не увидел обложку, подумал бы, что ты написала. Так что там Одетт?

– Пьет апельсиновый сок.

– А душа у ней как?

– Не знаю. Не думаю, что у нее есть душа.

– А все-таки?

Я рылся в кармане – искал ключ, прижал телефон щекой к плечу, мне было неудобно, но так легко. Мы с Эдит окончательно помирились, и где-то там, рядом с ней, была Одетт, моя Одетт.

– Кто был первый директор Александрийской библиотеки?

– Зенодот Эфесский.

– Значит, тебя не подменили, это ты? Но что с тобой тогда не так?

– А что, мне не может быть интересно, как она там?

Открыл дверь наконец, зашел в квартиру, сразу на кухню

отправился, холодного молока, значит, попить. В квартире чем-то пахло, мерзлым таким, незнакомым, но я внимания не обратил, такой сонный был, такой радостный.

– Это тебе как минимум несвойственно.

– Я просто проникся интересом к миру. К людям.

Мне и хотелось, чтобы она тайну мою разгадала, и нет.

– Одетт, – крикнула Эдит. – Как твои дела?

До меня донеслось ее невнятное, полусонное бормотание, и в груди потеплело.

– Нормально у нее дела. Сказала, ее не трогать. Так что, Борис? Ты мне ответишь?

Сидел я, значит, пил клубничное молоко (не молоко, а так, баловство), раздумывал, сказать все Эдит или нет, и тут на кухню пожаловала женщина в отцовской рубашке, которую она даже не потрудилась застегнуть.

– Борис? Борис, ты меня слышишь?

Я так и застыл, разинув рот. Она была высокая, выше папки моего на голову, а тот был сто семьдесят пять сантиметров. Крысы – маленькие звери, мы большими не растем. И она, мать ее, кроме рубашки, голая была. Я видел темные соски, чисто выбритый лобок, короче, все на свете видел.

– Я тебе перезвоню, – сказал я и отложил телефон. Потом закашлялся, как бы если она вдруг еще не поняла, что я здесь, даже после того, как я голос подал.

Женщина была тощая, совсем плоскодоночка, но очень красивая. Волосы у нее были длинные, до пояса, и такие гладкие, сильные и густые, как в рекламе шампуня. Она была изящная, словно статуэтка, смуглая, черноглазая, с удивительно правильными чертами.

– Здравствуй, – сказала она грудным, глубоким голосом, и я ущипнул себя – убедиться, значит, что не сплю. – Ты, наверное, Борис.

– Наверное.

Уверен я не был.

Она развернулась ко мне, рубашку застегнуть и не подумала.

– Тебе про меня, должно быть, рассказывали.

– Не. Я б запомнил.

– В таком случае все понятно. – Она легко, как у себя дома, включила чайник, открыла ящичек, достала жестяную банку с чаем. – Меня зовут Марисоль.

– Красивое имя.

Ну, не знал я, что голой бабе на моей кухне сказать. От нее и пахло так холодно, так странно. Теперь я понял: от нее змеей пахло. И отцом, очень сильно. Вот почему меня запах

постороннего в доме сразу не насторожил – очень был разбавлен.

Марисоль было чуть за тридцать, но она стояла с таким серьезным, строгим лицом (я думал, у голых людей таких выражений на щах вообще не бывает), что сначала показалась мне чуть ли не на десять лет старше.

– Спасибо.

– Вы типа мексиканка?

– Аргентинка. Наполовину.

– А еще наполовину?

– Еврейка.

Тут я присвистнул. Она приподняла одну бровь, не улыбнулась, но глаза у нее стали насмешливые.

– И вы – змея?

– Змея.

Тут я, короче, стал смеяться. Жидомасонская рептилоидка склеила папку моего. Потом, правда, взглядом снова наткнулся на ее острые темные соски и подавился этой шуткой.

– Ты весь красный, – сказала она.

– Это от смеха.

– Правда?

Она нашла в холодильнике обычное молоко, разбавила им свой чай и села прямо передо мной. Под столом я мог чувствовать слабое тепло ее коленей.

Змеи, я слышал, заметно холоднее других звериков и даже людей.

– Я вас не видел никогда, – сказал я только, чтобы хоть чего-нибудь из себя выдавить.

– Да. Взаимно.

Она надо мной насмехалась. Глаза у нее были пусть теплого цвета, но невероятно холодные. С узковатыми даже для утреннего света зрачками. Вроде и не заметишь, если не захочешь. А захочешь заметить – так не забудешь потом. Наверное, змеек вроде нее в Средневековье на костре сжигали.

Я смотрел на ее грудь, на изгибы ее тела, на эту, ну как там в поэзии, дельту Венеры, и, бля, все шло не очень хорошо. Но я не мог уйти, это мне казалось постыдным. Не можешь, значит, себя в руках держать, крысеночек. А если еще и отцу бы рассказала?

Как представлял, что они оба надо мной смеются, так дурно делалось. Так что сидел и надеялся, что она не заметит, что у меня стоит, а если и заметит, то, ой каламбур дурацкий, оценит мою стойкость.

Надо было срочно себя чем-то отвлечь. Марисоль болтала ложечкой в чашке, извлекая мерное, колокольчиковое звяканье. Ну хоть на нем-то сосредоточься, Боречка.

Раз, значит, два, три, четыре, блин, пять, шесть, сука, жесть.

Ну, я и спросил:

– А змеи-то чем занимаются?

– Нет ли у вас сладкого?

Хитрая уловка, подумал я, хочешь, чтобы я поднялся со своего места и опозорился? Не будет этого.

– Не-а, все закончилось.

– А сахар?

– Во, на столешнице стоит.

– А ты не джентльмен.

– Прямо-таки нет?

– Совершенно. Так ты хотел узнать, чем занимаются змеи?

Она прищурилась, и я подумал: сейчас ответит что-нибудь вроде «едят крыс».

– Мы храним знания.

Она вытянула длинную смуглую ногу, невероятно стройную. На лодыжке у нее болтался серебряный браслет с полумесяцами и круглым, плоским лунным камнем. А на ее бедре я увидел синяки, наливающиеся силой и синевой.

Марисоль глянула на меня с интересом. Странное дело, в ней не было ни капли кокетства. Скорее уж она просто издевалась.

– Вроде каких?

– Все. С самого сотворения мира. Помнить – наша обязанность.

Ну, тут я уже вправду разозлился.

– И что же важного случилось в 1344 году?

Она ответила без единой запинки.

– Было остановлено извержение Катлы в Исландии, уныло проиграна битва лис за предотвращение конфликта Венеции и Венгрии…

– Венеции и Венгрии, серьезно?

Но Марисоль не обратила на меня внимания, продолжила она как ни в чем не бывало, будто я ее и не прерывал. Уже не издевательски, скорее как-то нечеловечески.

– Кроме того, твои сородичи помогли сдержать эпидемию чумы в Европе. Очень ненадолго. А вот в Азии дела уже тогда были плохи. Ты знаешь о Сварте Дауэн? Конечно, она уже более поздний персонаж, эпидемия в Скандинавии началась только в сорок девятом.

Ой, как же я рад был уцепиться за любую постороннюю мысль, чтобы не думать о ее чудной фигурке, о ее манящей открытости. Марисоль усмехнулась, как бы все мои мысли прочитала.

– Это норвежская старушка-крыса. Память о ней исказилась

до неузнаваемости. Теперь считается, что так норвежцы персонализировали чуму. Она приходила с граблями в одной руке и метлой в другой. Если начинала мести – значит, в селении не останется ни одного человека, если же граблями по земле водила, то кто-то и выживет после того, как болезнь проедется по деревне.

– Жутковато звучит.

– Да. На самом же деле она приходила, рыла яму, которую люди по вполне понятной причине считали братской могилой и ложилась в нее. Ее почти отовсюду гнали, кому нужна такая сумасшедшая дамочка? И те, кто обходился с ней так жестоко, за это платили. Вовсе не потому, что старушек нужно уважать. Она должна была успеть вытянуть из земли дурное, и не всегда у нее было время. Люди не доверяли ей, и это приносило им великое горе.

– Хорошая мораль какая.

– А были бы терпимее к сумасшедшим, может быть, у двух третей норвежского народа, унесенных чумой, все сложилось бы куда удачнее. Сварте Дауэн – иконический пример, символ эпохи. Но ты представляешь, сколько твоих братьев и сестер погибло по всей Европе, потому что люди полагали, будто те накликают беду? Как вообще выглядел тогда человек, роющий яму в здоровой пока еще деревне?

– Мрачновато.

– Не то слово, Борис. А знаешь, почему так вышло?

Тут я вскочил, я и забыл, чего у меня там, все прошло прям, так я разозлился.

– Нет уж! Даже не начинай!

– Не начинать чего?

Она вскинула голову, по-змеиному тонко улыбнулась.

– Ай, у тебя работа! Книжки читать! Старичков змеиных слушать! А у меня работа – умирать медленно! У меня работа – дохнуть! Терпеть – моя работа! Ты б сначала ликвидатором в Чернобыле побыла, например, или еще чего, а потом рот свой раскрывала!

Марисоль смотрела на меня спокойно, темные глаза – как древесина домовины.

– Никто не выбирает. Я тоже не выбирала.

– И все вертятся, кто как умеет. Я тоже верчусь.

– Это справедливо, Борис.

– Вот именно.

– Но иногда «справедливо» не означает «правильно».

– Пошла ты в жопу со своей софистикой.

Легко ей было роток-то свой разевать, говорить от лица

истории, от тухлых тысяча трехсотых. А здесь, в начале двухтысячных, моя, моя, моя жизнь была.

– Сука ты, – сказал я уже беззлобно. – Ну, я хоть забыл, что ты голая.

Она засмеялась, по-ледяному так.

– А ты весь в отца.

– Прям наоборот.

– В том, что касается убеждений, конечно, наоборот. Но темперамент у тебя его.

– Неправда. Я добрый. Хороший я человек. Не урод совсем.

Марисоль потянулась к отцовской пачке «Мальборо». С толстой сигаретой она смотрелась странно и вычурно. Ой, я глядел на нее, а она как бы мимо меня. Жутковатая телка, как ей отец присовывал, до сих пор не понимаю. Марисоль закурила, глубоко затянулась и выпустила дым через нос.

– На самом деле я рада наконец-то познакомиться с тобой.

– Это он тебе сказал со мной поговорить?

– Это моя инициатива. Но, может быть, пригласил он меня именно поэтому. Не знаю. Твой отец сложный человек.

– Я получше тебя это знаю.

– Уверена, что так оно и есть.

Марисоль указательным пальцем подтянула к себе пепельницу.

– Ты, Борис, умный мальчик, правда?

– Неправда.

Странное дело, она все еще сидела передо мной голая, но теперь я как бы этого не видел. Она была пустая картинка.

– Я не призываю тебя принимать какое-либо решение. Просто подумай о том, что каждый из нас рождается с набором предзаданных характеристик. Моя бабушка, к примеру, родилась еврейкой. И поэтому ей пришлось лишиться всего в попытке выехать из нацистской Германии. Она тоже думала, что у нее есть выбор. Говорила на немецком языке, читала немецкие книги и дружила с немецкими девушками.

– Ты это на что намекаешь?

– Я не намекаю, хотя безусловно хочу, чтобы ты провел аналогию. Скрытого послания тут нет. Ты родился крысенком. Ты не змееныш, не щенок, не лисенок, не медвежонок. И кем бы ты ни притворялся долгое-долгое время, правда от этого не изменится. Ты не человек. Ты не можешь прожить человеческую жизнь. Даже если тебе этого очень хочется. Даже если ты сделаешь все для этого. И даже если ты на самом деле этого заслуживаешь. Таковы правила игры, их придумала не я, поэтому не надо злиться.

Я и не знал, что ей сказать. Она меня обидела, в самое сердце куда-то мне ткнула. Но я ж хотел быть как люди, хотел по-людски жить, и я думал, что это просто, а она мне в этом вот так отказывала.

Где-то там, в отдаленной части души моей, я думал, что могу просто быть тем, кем хочу. Как Эдит и как Мэрвин. Но на самом-то деле все это были паллиативы, полумеры то бишь, все это были глупости, проблема никак не решалась, из этого уравнения не было выхода в какой-нибудь приемлемый ответ.

Думал – свобода, безграничные мои возможности, а оказалось – родился, и уже приговор тебе.

Марисоль молчала, ждала, чего я такого скажу. И я сказал:

– Я провел аналогию и все понял: ты не считаешь евреев людьми. Так ты и сказала: можно сколько угодно притворяться человеком.

И прежде, чем она что-либо сказала, я ушел. Даже выражение ее лица рассмотреть не успел. И к лучшему оно – своей победы я бы не увидел точно.

Прошел я, значит, мимо спящего отца, все ждал, окликнет меня Марисоль или нет.

Не окликнула. В комнате я повалился на кровать совсем без сил и мгновенно уснул. Снились мне какие-то ужасные, печальные вещи, но, проснувшись, я не вспомнил какие.

Когда я вышел на кухню снова, отец сидел там один. Кофе пил.

– Не знал, что у тебя баба есть.

– А. Ну да.

Он не то чтобы смутился, но говорил как-то неохотно. Несколько минут мы сверлили друг друга взглядами.

– Женишься на ней?

Тут отец засмеялся.

– На Марисольке? Серьезно?

– Нет, ну а что?

Хохотал он до упаду, аж по столу рукой хуярил, чашка подпрыгивала, звякала с тоскою.

– Да она жидовочка, Борь. На ней нельзя жениться, дети евреями будут.

Глава 15. Страшный человек

А еще один мамкин дядька в эпоху тотального дефицита верил в скорое наступление коммунизма. Такая у него была присказка:

– Потерпи, скоро коммунизм наступит.

Коммунизма ничего не обещало, но дядька верил. Никого не слушал и все о своем твердил. Дома одни макароны, значит, и в магазинах – тоже, а все гнет свое.

– Потерпи, скоро коммунизм наступит.

Папка-то мой партбилет так и не порвал. Ждет у него партбилет своего часа. Но и то мамкин дядька истовее него был. Отец мой ни во что и никогда не верил, а тот верил честно, всем своим пламенным сердцем, как не в себя.

Ничему-то его жизнь не учила.

Нет, ну понятно в войну-то в Гражданскую, даже в тридцатые отчасти понятно, каких только извращений у людей не бывает, но дядька-то верил во времена, когда уже никто коммунизмом не заморачивался, когда всем хотелось вкусно кушать.

А он-то первый на любой коммунистической стройке, хулиган при нем котенка не обидит, продавщица девчонку не обвешает. Был он вторым секретарем райкома и старался блюсти во всем порядок и честность.

В этом встречал противодействие со стороны разнообразных антиобщественных элементов, причем как вне партии, так и внутри нее.

Ну, короче, прям белый рыцарь с газетой «Правда» в одной руке и горящим сердцем в другой. Хотел поехать добровольцем ликвидировать аварию в Чернобыле, собирал деньги на помощь голодающему братскому народу Афганистана, сажал деревья у школы.

Ну да, значит, хотел поехать добровольцем бороться с ядерным огнем, это он потом на суде говорил.

Все решили: хочет, чтобы срок скостили, а он-то искренний был, его спросили, и он ответил.

Да, значит, шел он вечером мимо стройки (предполагаемой гостиницы «Дунай», которой так и не случилось за неимением стройматериалов и мотивации строителей). Тут к нему двое подкатывают с идеологическим, так сказать, спором.

Не, ну вообще-то они вроде как его грабануть хотели, но дядька все воспринял, как спор сугубо идеологический.

Сказали ему:

– Вешать коммуняк будем, жидяр вроде тебя.

А он, во-первых, не еврей, во-вторых, никак в толк не возьмет, что коммунизм-то кончается. Искренне этот далекий от реальности человек удивился и спросил только:

– Как вы можете так говорить?

Мужики, пахнущие одеколоном «Шипр» далеко не в стремлении к лоску и прекрасному, популярно ему объяснили, как они могут говорить, что и где. Помянули и Сталина. Зря помянули.

Ну, у дядьки перед глазами пелена красная, кумачовая. А стройка же, чего-то валяется там. Ну он взял да арматуриной одному из антисоветских элементов башку проломил.

Очень удивился, что его судили, но и обрадовался, ведь советский суд – самый справедливый в мире.

Ой, смеху-то было у всех родственников.

Идея такая штука, вроде она и буковки на бумаге, слова, несущиеся по радиоволнам, а вроде и реальнее живых людей оказывается. Кто эти идеи разберет? Я не разбирал, не разбирался. Смотришь на человека, какой он хороший, пионер – всем ребятам пример, комсомолец-богомолец, а в душу заглянешь – нет там Бога, коммунизма и электрификации. Одна ночь темна.

Ох.

Да.

Такого я страху натерпелся от людей с идеями, что теперь я их объезжать, обходить, даже обползать буду.

Вот, значит, а тогда сидели мы с Мэрвином на лестнице и курили. Отец был злой, выгнал нас, а выходить впадлу было – на улице дождь льет как из ведра.

Я учил Мэрвина русскому, мы с ним по ролям читали «Вальпургиеву ночь» Венечки Ерофеева, дошли как раз таки до части, где рок уже явил метиловое свое табло, но еще не восторжествовал окончательно. Я доказывал Мэрвину, что смерть алкашей в дурке – это иерофания, явление священного, таинство, а Мэрвин говорил что-то о ретроградном Меркурии (или не Меркурии), повлиявшем на людей и вызвавшем массовый психоз с резней гугенотов.

Тут вдруг я устал, вытянул ноги и закурил новую сигаретку.

– Не могу с тобой спорить больше.

– А мы, в сущности, и не спорим. Вообще о разном с тобой говорим.

– Ну точно, понял теперь, почему устал.

Мэрвин вытянул сигарету из моей пачки, и некоторое время мы смотрели на густой, плохо рассеивающийся на душной лестничной клетке дым.

– Слушай, не, ну приколись, баба у него есть.

– Ты все об этом?

– Нет, ну правда, ты приколись.

– Да прикололся я уже по этому поводу раз сто. Есть и есть. У мамы моей знаешь сколько мужиков?

Мэрвин присвистнул, звук этот тренькнул в вышине, у потолка, и растаял.

– Вот бы, знаешь, его с мамкой твоей свести. Пусть бы делали себе крысят, ну, из чувства долга.

– Чего-то я не думаю, что он от той змеюки детей хочет. Слушай, Борь, тебя это почему бесит-то, если так?

– Потому. Он должен мамку помнить.

– И целибат блюсти?

– Все на свой католицизм сведешь. Я не про это. Не про плотскую сторону всего.

– Какая стыдливая формулировка.

– Короче, он ее любил? Любил. Она умерла? Умерла. Теперь пусть сидит один как сыч. Если он другую женщину полюбит, это он мамку предаст. Ее память.

– Драконовские меры какие-то.

– А как по-другому-то? Сам говорит, что любовь бывает в жизни раз, а потом сам же змеюку пехает.

Мэрвин затушенной сигаретой принялся выводить какое-то незнакомое мне польское слово.

– Так, ладно, а мамка моя чем тебя больше устраивает?

– Ну, мы бы с тобой братьями стали.

– Стоит оно того типа?

– Типа. Короче, я прям выбесился. Что за хрень-то? Песни он о ней поет и плачет, но трахать все равно кого-то надо, что ли?

– Сам не знаешь?

– Ну, я б таким не был, если б Одеттка умерла.

– Одеттка бы тебе дала для начала. Да все такие, когда приспичит.

Ой, любовь моя все росла и росла, но Одетт меня избегала. Как я к Эдит, так ее дома нет, а если и есть, то комнату запрет и переговаривается со мной из-за двери. Я один раз чуть дверь эту не сломал, вот как мне обидно было, так Одетт такой визг подняла.

Потом, правда, сердце у нее чуточку оттаивало, и она предлагала мне сыграть в «Обливион», погасить мародеров, волков и рыб-убийц. Тогда-то я был уверен, что нравлюсь ей. Один раз Одетт даже сказала, что я – красивый и что она бы взяла меня на роль Сириуса в ее экранизации «Гарри Поттера».

– Только у меня все мародеры – наркоманы.

Я как раз в этот момент хреначил мечом очередного

мародера в игрушке.

– Ну и хорошо. Я тоже наркоман.

– Ты – алкоголик.

– Я клей нюхал.

– Было бы чем гордиться.

Когда она так вздергивала свой милый носик и становилась прекраснее всех на свете, немедленно меня бросало в жар, а потом резко – в холод. Ой, какая она была красивая, когда появлялась в ней эта вот надменность, а затем она сразу же закусывала губу, чтобы не засмеяться. Мне тогда казалось, что людям, которые ее и не видели никогда, такое горе, ну такая печаль, что зря их жизнь прожита. Ой, сколько людей жило и умерло, а такой красоты не застало.

Ну да, иногда бывали у нас сладкие моменты, тем больнее все было и тем прекраснее.

Мэрвин пощелкал у меня перед носом пальцами.

– Господи, Боря. Прием! Никогда больше не скажу при тебе это имя.

– Та-кого-нельзя-называть.

Мы засмеялись, в этот момент дверь позади нас скрипнула. Мэрвин тут же выпалил свое дежурное:

– Мистер Шустов, простите пожалуйста, мы больше не будем шуметь!

Ой, мне от этого только смешнее стало, так Мэрвин моего отца ссыковал, такой бледный становился. И это отец ему еще не двинул ни разу, только с лестницы спустил однажды. Мэрвин впечатлился, видать, как он меня по голове тогда приложил. В самое сердце ему попало.

Я обернулся поглядеть на щи отцовские, но вышел к нам вовсе не папашка. Дверь открыла мисс Гловер, она недовольно сморщила хорошенький, тонкий, столетний носик.

– Мальчики, вы не могли бы зайти ко мне на полчасика? Обещаю, дольше я вас не задержу.

Говорила она как всегда приветливо, вежливо, нежно и, самую малость, презрительно. Такая у нее была перчинка в разговоре.

– Здравствуйте, мисс Гловер.

– Да, Мэрвин, здравствуй.

Я помахал ей рукой, и мисс Гловер сдержанно мне кивнула. Мы с Мэрвином переглянулись да и пошли к ней.

В квартире Мэрвин опять сделал эту ужасную польскую вещь – поцеловал мисс Гловер морщинистую руку.

– Это традиции, – ответил Мэрвин, когда я как-то раз на эту тему чего-то там сказал.

– Ты долбаеб. От чумы умирать – тоже традиции. Выглядит дебильно.

– Советский Союз извел у русских все манеры. А уж сколько он извел поляков!

Мисс Гловер, впрочем, дурацкое джентльменство Мэрвина явно пришлось по вкусу.

– Помогите мне накрыть на стол. Пирожные в холодильнике, графин с чаем – тоже.

И минут пять мы бегали туда-сюда, потому что оказалось, что кроме того нужно еще помыть и порезать фрукты, постелить скатерть и все красиво разложить. Мисс Гловер с королевским видом наблюдала за нами.

Вообще-то она мне нравилась. Было в ней какое-то волшебство, обаяние неземного толка. Вот ей скоро в земельку возвращаться, одна радость осталась – чай с пирожными попить, а она вся такая королевишна, будто миром владеет. Подкупающе это было.

Мы сели за столик. Нам с Мэрвином в этом старушечьем будуаре было странно. Я чувствовал себя фоткой, вырезанной из журнала и приклеенной в альбом со старыми фотографиями. Я такой обычный, а тут – красивая, кружевная жизнь.

Мисс Гловер дождалась, пока мы примемся за пирожные, заглотим наживку то есть, и сказала:

– У меня будет к вам небольшая просьба.

Шкаф, что ли, передвинуть? В магазин сходить?

– Для вас, – сказал Мэрвин, – все что угодно.

Ой, зря.

Мисс Гловер растянула розовые только от помады губы в улыбке.

– Спасибо, мистер Каминский. А ты что скажешь, крысеночек?

– Не, ну давайте это вы сначала скажете.

Глянула она на меня холодно так, хотя улыбку и сохранила.

– Как вы понимаете, есть вещи, которые я, в силу возраста, уже не могу делать. Некоторые расстояния, к примеру, мне не преодолеть.

Ну вот, подумал я, сейчас начнется. Туда съезди, то купи, давай-ка побегай, мальчик.

– Мне нужен один молодой человек. Он живет в Венеции. И я бы хотела, чтобы его ко мне привели. Я скажу вам всю необходимую информацию. Вы сможете его обмануть. Я бы справилась с этим лучше, но возраст дает о себе знать.

Я так и пялился на нее, а Мэрвин подавился кусочком «ангельского бисквита».

– В Венеции? – спросил он.

– Не в итальянской Венеции, разумеется, – мисс Гловер посмотрела на Мэрвина с легким укором.

– В том смысле? – спросил я. – Типа для того привести?

Мисс Гловер молчала, сверлила меня синевой своих глаз, темнотой зрачков своих, и молчала. А молчание, как известно, знак согласия.

Ой, бля.

– Мальчики, я понимаю, просьба своеобразная. Но вы бы очень помогли мне. И не только мне. Я его почувствовала. А это значит, что он – моя добыча. Что ни одна другая кошка в Лос-Анджелесе его не учует.

– Потрясающе. Разберитесь-ка с этим сами. К вам же приходят социальные работники или как?

– Или мы – ваши социальные работники?

Мисс Гловер молчала, продолжала смотреть на нас, и все. Мы с Мэрвином одновременно отодвинулись от стола.

– Мальчики, я, как вы заметили, живу уединенной жизнью. Мне нужна ваша помощь. Иначе я бы не просила.

– В чем помощь? В том, – прошептал я, – чтобы убить человека? Нет уж.

Пошла она на хуй, думал я, меня блевать тянуло от одной мысли о том, что старушенция кого-то кокнет. А за окном все было акварельное от дождя, красота неописуемая, пока мисс Гловер такое вот говорит.

– Это мой долг.

– Долг-долг-долг, – сказал я. – Задолбали уже со своим долгом.

– Борис, веди себя приличнее.

– Вы ведите себя приличнее! Вам хрен знает сколько лет, а вы все людей убиваете!

Мэрвин положил руку мне на плечо, сказал со своей фирменной улыбкой для взрослых.

– Прошу прощения, мисс Гловер, мы не можем вам помочь. Это выше наших сил. Мы не способны стать пособниками в убийстве.

– Но вы уже ими стали.

Я думал, она угрожать начнет. А мисс Гловер вдруг улыбнулась сладенько да сказала:

– Непротивление злу насилием означает, что вы будете нести свою долю ответственности, когда оно победит. Где-то прочитала. Где же? Не помню. Память уже не та.

Мисс Гловер опасно прищурилась, продолжила неторопливо, по-кошачьи мягко.

– Миллионы людей погибнут. Опустошенные земли,

обезлюдевшие города. Неужели все это стоит одной-единственной жизни одного-единственного ублюдка? Разве все восточноевропейские мальчишки не фантазируют в детстве о том, как убьют Гитлера? Как не допустят великое зло.

– Но, – сказал Мэрвин, – чувак же еще не сделал ничего, так?

– Так. Но он сделает. Великая Охотница никогда не ошибается, выбирая жертву. Я видела страшные разрушения. И я не страдаю болезнью времени – лжесентиментальностью, которая идет наперекор элементарной логике.

– А презумпция невиновности? – спросил я. – Это-то как же?

– Оставь ее людям, которые знают меньше нас. Мэрвин, твоя мама ведь волчица, так?

– Это вы откуда знаете?

– Слух все еще отличный. Разве она не убивает людей?

– Очень плохих, – неохотно ответил Мэрвин.

– Я предлагаю помочь мне в устранении человека, который имеет потенциал к массовым убийствам.

Ну потенциал же, только ведь потенциал. Такое меня отчаяние накрыло. От того, что логика ее была в каком-то смысле безупречна – тоже. Как отцовская. Как логика звериков на протяжении тысячелетий.

– Мэрвин, Борис, – сказала мисс Гловер, блеснув прекрасными, яркими глазами. – Я понимаю, что это тяжело. Но я совсем одна. Помощь мне необходима. Как вы будете чувствовать себя, если через двадцать лет, когда меня, скорее всего, уже не будет на свете, этот человек придет к власти, а через тридцать – начнет чудовищную войну?

Как, как – плохо! Гладкие речи она плела. Одно дело, когда точно не знаешь, что будет, а другое – стать ответственным вот прямо сейчас, отказавшись. Мы с Мэрвином глядели то на мисс Гловер, то друг на друга.

– Я понимаю, как это тяжело. И понимаю, что вы не обязаны мне помогать. Но прошу вас задуматься над тем, что будет, если вы не решитесь. Спросите себя, с чем вы скорее сможете жить дальше? К сожалению, если у вас обоих есть хоть капля совести, забыть сегодняшний день у вас не получится.

Агитировала она, надо сказать, грамотно. Политрук прям.

Наконец мисс Гловер замолчала, и мы с Мэрвином остались наедине с фактами. У меня голову кружило и кружило, я не мог сосредоточиться.

Мэрвин с явным трудом выдавил из себя:

– Сколько этому человеку лет?

– Двадцать лет, семь месяцев и два дня.

– Ух ты, – сказал я. – Точно вы.

– Спасибо.

И все мы снова надолго замолчали.

Нет, ну а правда, не я ж его убивать буду. А вот если он станет евреев сжигать? А если будет города стирать с лица земли, как стирали Дрезден там или Ковентри? Ой, я пожалею.

– Давайте, мальчики, решайтесь. Мэрвин, налей мне, пожалуйста, холодного чаю.

Мэрвин взял графин, наклонил его над высоким стаканом.

– Время не ждет, – сказала мисс Гловер.

– Это еще почему?

– Потому что в моем возрасте, увы, я могу умереть в любой момент. А это – моя добыча. Моя ноша.

Но и наша – тоже. Мы с Мэрвином молчали, пристыженно глядели в пол. Никто из нас не мог сказать «да» вслух. Она это понимала.

– Я все придумала за вас. Об этом волноваться не стоит.

Мисс Гловер трясущейся рукой стянула с тумбочки блокнот, написала адрес.

– Мальчик живет один. Его зовут Кевин Чейз. Вам нужно сказать, что вы – волонтеры от школы, ухаживаете за стариками, ходите за них в магазин, убираетесь в квартирах.

– Мы так и делаем! – сказал Мэрвин.

– Не так часто, как мне бы хотелось. Ну да ладно. Так вот, и среди тех, за кем вы ухаживаете, есть старушка Элоиза Коттон. Старшая сестра его бабушки Корнелии. Мы с бедняжкой потеряли друг друга давным-давно, еще в детстве, когда в пожаре трагически погибли наши родители, и нас отправили на воспитание в разные семьи.

– Это что, правда? – спросил я.

– Разумеется, нет. Это ложь, которая хорошо сдобрена правдой. Охотница дарит нам видения, подсказки. Почти всегда необходима какая-нибудь хитрость, маска. Так вот, вы, мальчики, прониклись сентиментальными рассказами мисс Коттон и решили найти ее родственников. Таким образом и вышли на Кевина. Как только он узнает свою семейную историю, детали ему будут уже неинтересны. Просто приведите его ко мне. Этого достаточно.

Этого было не просто достаточно, а даже многовато, да только я промолчал.

Мисс Гловер сказала:

– Я буду ждать. Как вы понимаете, особенно важных дел у меня нет. Разве что я попросила бы не приводить его между двумя и тремя часами дня. Я смотрю «Анатомию Грей».

Господи, вот это нас обоих еще сильнее смутило, хотя,

казалось бы, дальше-то и некуда.

Мисс Гловер мягко, но вполне настойчиво спровадила нас, и мы снова оказались на прокуренной лестничной площадке.

– И не бросайте тут окурки! – крикнула она нам вслед дребезжащим, но все еще пленительным голосом.

Мы спустились вниз, не говоря ни слова, и вышли на улицу, прямо под дождь. Мгновенно промокли до нитки, но нам было настолько все равно.

Мэрвин сказал:

– Ты как думаешь, правильно будет притащить его сюда?

– Не знаю. А ты как думаешь?

– И я не знаю.

Так мы и не сказали друг другу ни слова, под ливнем и в автобусе, и даже когда вышли в совсем не итальянской Венеции.

– Ну, ты как? – спросил я, наконец.

– Хрен знает, если честно. – Мэрвин потер виски. – Вот ты бы отказался убить Гитлера?

– Не знаю. Вообще сколько людей можно было бы спасти – немерено просто.

– То есть мы типа герои?

Я пожал плечами. Шли мы как в воду опущенные, в прямом смысле тоже – дождь становился только сильнее, он застил мне глаза, и я то и дело утирался рукой просто, чтобы что-нибудь сделать.

В Венеции я еще не был. Когда мне хотелось искупаться, я предпочитал Санта-Монику со всеми ее сентиментальными воспоминаниями или Пасифик Палисейдс, где на кристально чистых пляжах, кроме нас с Эдит, веселились всякие глянцевые богатеи. Что мне та Венеция?

А оказался хороший городок, надо отметить. За пеленой дождя до странного яркими стали тенты опустевших летних террасок кафе и тенты магазинчиков. Пальмы качались от ветра, трясли шевелюрами. Продавцы хот-догов ретировались от своих тележек под широкие навесы сувенирных лавок.

Ой, а как вообще-то мало людей было. Таким курортный городок обычно не увидишь.

– Будет странно, если мы заявимся к нему в такой ливень, – сказал Мэрвин.

– А вот мы какие.

Я знал, и он знал – сейчас не придем, значит вообще не решимся.

– Ого, смотри, какие дешевые солнечные очки!

– Да не отвлекайся ты, придурок! – Я комкал в руке взмокшую бумажку с адресом. Чернила расплылись до полной

неразличимости, однако каждая буква, каждая цифра так в меня въелась, вгрызлась, всосалась, что можно было не париться – я не забуду.

И сейчас этот адрес помню, Роуз Авеню, 16. Никогда больше там не бывал и никогда не буду, а помню.

Мы прошли мимо симпатичного граффити с Венерой Боттичелли в джинсах и топе, Мэрвин сказал:

– Ого, прикольно вообще-то.

А я был глухой ко всей красоте, ко всему прекрасному, меня тошнило, как с перепоя. А все вокруг было таким радостным, миленьким, и еще добавляла очарования куча псевдоитальянских домиков с аркадами, на первых этажах которых тату-салоны соседствовали с крошечными супермаркетами. Не верилось, что здесь живет человек, которого мы прикончим, пусть тысячу раз косвенно. Ой, не было веры, а было сумасшедшее, физическое отчаяние и желание, чтоб все закончилось, да поскорее.

Жил Кевин на втором этаже одного из таких непримечательных домиков. Первый этаж делили магазин сувениров и пиццерия «Лучшая в Венеции», около двери которой мужик в фартуке курил вонючие сигареты.

Мы долго искали вход в жилую часть дома, наконец он нашелся позади здания, рядом с мусорным баком, облепленным левацкими наклейками «Протестуй!» и «Сопротивляйся!».

– Ну, чего? Покурим?

Покурили, забившись под навес над дверью, посторонились, когда вышел здоровый татуированный мужик.

– Надеюсь, это не он, – сказал я, и мы с Мэрвином чуть не покатились со смеху.

А вот когда уже стояли перед простенькой, железной, ничем не примечательной дверью квартиры, то совсем не смешно стало.

Открыл нам молодой паренек, патлач такой курносый, с калифорнийским загаром и в футболке, на которой был изображен листик конопли.

– Мистер Чейз? – спросил я.

Он кивнул, неуверенно улыбнулся.

– Да? Что такое?

Не то чтобы он был под кайфом, скорее уже отходил, оттого казался очаровательным и беззащитным. Не был он похож на Гитлера, вот и все. Вообще не был похож на чувака, который чего-то там добьется.

– Кевин? – уточнил я. Он кивнул. Кевин Чейз, значит.

– Чем могу помочь-то, пацаны?

Мы с Мэрвином так и глядели на него, он начал чесать затылок, совсем без раздражения, скорее как-то растерянно.

Наконец я сказал:

– Извините за беспокойство.

А Мэрвин с улыбкой добавил:

– Сегодня ваш самый счастливый день! Вы кто по гороскопу?

– Рыбы.

– Ну и отлично.

И мы, не сговариваясь, дали деру. Дверь захлопнулась не сразу. А мы выбежали из подъезда и все бежали, бежали, бежали, до самого океана, по которому хлестал дождь.

Я, не успев еще толком отдышаться, вдруг сказал:

– Наверное, мир, который нужно спасать таким способом, и должен погибнуть, ну а чего теперь.

– Наверное, – сказал Мэрвин, низко наклонившись, уперев руки в колени.

И мы с ним плюнули на все да поехали обратно, и по дороге все безудержно смеялись, уже и не вспомнить, над чем. Такое у нас было облегчение, такое счастье.

Я не видел в Кевине Чейзе темноты, спрятанной внутри костей и крови, ее могла увидеть только кошка. И потому он мне казался человеком, как все люди. И, может быть, или точно-точно даже, я был куда больше прав, чем мисс Гловер.

Ой, нескончаемая ночка, вечная ночка, а не жизнь. Но так мы тогда угорали, вспоминая лицо Кевина Чейза, его растерянный укуренный вид, что чернокожая тетька повернулась к нам, чтобы сделать замечание.

– Извините, – сказал Мэрвин. И мы снова рассмеялись, не удержавшись. Она только поцокала языком да головой покачала.

– Думаешь, мы хорошие люди?

– Не плохие так точно.

Ой, не могу, до сих пор смеяться хочется, хоть и от другого теперь. Потом, когда мы вышли из автобуса, в свежий после дождя, сияюще чистый город, Мэрвин вдруг сказал:

– А я думал, что не испугаюсь. Я трупы видел, и все такое.

– Да и мамка у тебя убийца вообще.

– И мама опять же. А в глаза ему посмотрел, и все понял. Не могу.

Это и во мне отражалось. Я тоже понял – живой человек, настоящий, прям всамделишный, как же с ним так можно-то, а главное – зачем?

Пусть горит, думал я, здесь все синим пламенем. Пошли они в жопу со своим миром, со своим благом, со своей математической добротой.

Вечером мы с Мэрвином сидели у теплотрассы, на которой грелись коробочки с китайской едой (жареный рис и приблуда

какая-то к нему из кошатины). Мы все рассказывали Алесю, наперебой и взахлеб, будто семилетки.

Алесь задумчиво кивал, потом взял свою коробочку, стал вилкой выуживать из риса кукурузинки.

– Понятно. А дальше?

– Ну, дальше мы ушли, чего. Купили винища у беспринципного в кепке, – так мы называли сговорчивого продавца в алкогольном магазине. – И стали дико бухать.

– Да, Боря, я вижу, – сказал он. – Что вы дико бухаете. Но я имею в виду, с мужиком-то что будете делать?

– Ничего не будем делать, – сказал Мэрвин. – Бабуля-убийца до него не доберется, артрит не позволит, или ревматизм, или что там?

– Слабое зрение, – сказал я. – Недержание мочи. Альцгеймер. Все, больше я не знаю минусов в старости.

Мы засмеялись, а Алесь так и продолжал смотреть на нас прозрачными, небесными глазами.

– Ага, – сказал он. – В этом и проблема. Она до него не доберется.

Мы с Мэрвином переглянулись. Алесь выщепил кусочек мяса, подул на него.

– Ого, – сказал он. – Горячий.

– Ты серьезно, что ль?

– Серьезно я. А как еще?

Такое у меня было чувство, что он, сука, немцам продался или чего-нибудь в этом роде. Вот мы были вместе, а раз – и уже между нами стена, что у твоих китайцев страну рассекает.

Мэрвин потер переносицу, прислонился к трубе теплотрассы, выругался на польском, обжегся, видать.

– Ребят, хорошо, конечно, что вы добрые такие, – сказал Алесь. – Но плохо, что из-за этого куча народа умрет. Это вы не видите, а она видит. Как все будет.

– Может, старая из ума выжила, – сказал я.

– Не выжила она из ума, ты это тоже знаешь.

Никаких у него эмоций не было, он даже и не осуждал нас, если по-хорошему-то. Смотрел в душу и ждал, что мы сами себя осудим. В темноте он казался почти светящимся. Призрак будущего Рождества прям.

– И чего тебе надо-то? – спросил Мэрвин.

– Мне? – Алесь искренне удивился. – Ничего мне не надо. Я просто спросил, что вы делать собираетесь.

– Ты так спросил, знаешь ли.

– Просто не понял сначала, что вам плевать.

– Нам не плевать вообще-то!

– Ну, я имею в виду, что вы-то жизнь хотите прожить, руки не замарав. Это хорошее желание, почему нет-то?

Смотрели мы на него волками, конечно, а Алесь только улыбался растерянно. Тут к нам Андрейка подошел, и мы замяли разговор.

Домой я возвращаться не решился, не из-за отца на этот раз, а из-за старушки-соседки. Так я боялся, что мисс Гловер на меня посмотрит как-нибудь по-своему, и я сделаю все, что она скажет.

Нет уж, если хочет кого-нибудь прикончить, пускай такси возьмет.

Был ли я против того, чтобы Кевин Чейз помер? Мне этого не хотелось, я ему в глаза смотрел, а как посмотришь на человека, уже и не хочется, чтоб он подох. Такое и с врагами бывает, не то что с укурками, случайно встреченными на жизненном пути.

Но стал бы я останавливать миссис Гловер, шествующую под руку с водителем социального такси?

Ой, нет. Ну кто его знает, может, Кевин этот вправду детей крокодилам станет кидать, как у него кризис среднего возраста грянет.

Лицемерная, конечно, позиция. Правду Алесь говорил – руки марать не хотим. Но, может, если бы в мире никто не хотел замарать руки об убийства, их и не было бы вовсе. Махатма Ганди вот призывал зло в мире не размножать. Без нас его много.

Да, а весь следующий день мы с Мэрвином провели у него дома. Ванда шастала туда и обратно, иногда заглядывала к нам в комнату, чем-нибудь очень возмущенная (они хотят запретить аборты в Техасе! кто видел мою помаду, мальчишки?! нет, серьезно, я даже не могу взять кредит!).

Я на нее смотрел и хотел найти на ней Каинову печать, или как там. Ну не может же она, много лет уже убийца, выглядеть точно так же, как любой другой человек.

Не было у нее ни уродливых шрамов, ни холодного блеска в глазах, ни даже особого, омертвевшего выражения лица (я так читал), во всем она была подобна мне. Ванда казалась, да и являлась красивой, обаятельной и эмоциональной женщиной, я на нее любовался и думал: как же ты так скрываешься, психопатка?

Когда мы пили чай, она меня обо всем расспрашивала, как живу я, чего там отец мой. И вот только тогда, когда речь о папашке заходила, появлялось в ней какое-то пристальное, необычайно спокойное внимание, обычно ей не слишком-то свойственное.

Вот я и подумал: не стоит их с отцом знакомить. Пускай лучше жидовка будет у него.

– Плохой он человек-то? – спросила Ванда, насыпая мне еще сахару в чай (уже скорее требовался чай в сахар).

– Да не то чтобы, – ответил я как можно более непринужденно. – Нормальный. Не без недостатков, конечно.

Когда мы с Мэрвином ушли в комнату и Мэрвин уселся делать счастливые бусы Марине на день рожденья, я спросил:

– Думаешь, примеривается?

– Чего?

– К отцу моему примеривается?

Мэрвин нанизывал одну гранатовую бусинку за другой, все время слюнявил леску, хотя это было без надобности. Тоже нервничал, ясен хуй.

– Да хрен ее знает. Поди разбери. Он же не убил никого.

– Ну тут я, положим, не все знаю.

– Тогда мне этого не говори. А то вдруг мама меня пытать будет. Я быстро сдамся.

Мэрвин принялся выбирать висюльку, остановился на полумесяце, и я вспомнил браслет у Марисоль на щиколотке.

– Вот почему я и говорю, правда их знакомить не надо. Любви у них не будет. Убьют еще друг друга. Да, Борь?

– Нам такого не надо.

Я выглянул в окно, на улице стояла моя мама. Она помахала мне рукой, и я ей кивнул. Мокрые следы вели куда-то влево, но обрывались внезапно. Откуда она на самом деле приходит? Вот бы проследить самое начало ее пути. Неужели по темноте подземельной добирается ко мне, из могилки? Ой, да кто там разберет? Может, из самого моего детства приходит, из шести моих лет.

Когда Мэрвин закончил с подарком для Марины и мы сидели на полу, раскладывая камни по энергетикам и качествам, а я ему рассказывал про то, что евреи – это дети Сатурна, потому что они жадные и завистливые, Мэрвин вдруг сказал:

– Я знаешь чего боюсь?

– Что я поехал на этой Марисоль? Что типа я зря читаю про евреев плохое? Я антисемит теперь?

– Да нет. Я про себя.

– Вот всегда ты про себя.

Мэрвин открыл окно, закурил и кинул пачку мне.

– Вот в детстве мне крови меньше нужно было, чем сейчас.

– Ну, организм растет. Слушай, а ведь обычные летучие мыши не вампиры, просто шипят стремно.

– А тут недавно семейная тайна открылась. Мы с мамой теперь про него говорим, я вроде взрослый. Мамкин хахаль, он же отец мой, утверждал, что так решил уже его Отец. Нелюбимых

детей лишил благословения «питаться от жизни самой», или типа того. Но хрен знает, чем обычные летучие мыши так провинились. Кстати, в Амазонке, что ли, есть те, которые еще вампиры. Ты меня что, вообще не слушаешь?

Я закурил, подошел к окну.

– Да слушаю, чего там?

Внизу грузчики вытаскивали коробки с газировкой, ставили их, о чем-то своем смеялись и снова принимались за дело.

– Вот, – сказал Мэрвин. – Меня волнует, что мне все больше крови надо. И старая, гнилая мне хуже и хуже помогает спать. Уже почти не работает. Может, вообще только детям такая положена. А потом непереносимость будет. Мертвой крови мне уже литр выдуть приходится. И живой надо все больше.

– Ты на что намекаешь-то?

Тощий кот примеривался для прыжка на ничего не подозревающего голубя, дети тащили маму к лотку с мороженым – такая обычная жизнь, и чего она не может длиться и длиться сама по себе?

– На то, что вдруг взрослые летучие мыши людей убивают.

– Да не думаю. Ты ж должен добро нести и облегчение в мир.

Я обернулся. Мэрвин расхаживал по комнате, театрально заламывал руки.

– Ну смотри, не в логике Отца твоего, который главная мышь летучая, делать, чтобы ты приумножал боль.

– А коты ее не приумножают, что ль? Или волки?

– Ну так у них и повод соответствующий. Они сорняки вырывают.

И как я цинично сразу об этом заговорил – память предков, значит.

– А даже если в норме не убивают, вдруг я не сдержусь? Вдруг меня не учили, поэтому я ничего не умею? И если мне будет надо все больше, и больше, и больше?

Так его взбудоражило все.

– Кроет тебя?

– А ты как думаешь? Не хочу быть убийцей.

– Что вы там шумите, мальчишки?

– Ничего, мам! – крикнул Мэрвин и шепнул: – Может, ее это обидит, не знаю.

– Слушай, Мэрвин, ты нормально себя контролируешь.

– У меня все ебало в стекле было, когда мы тусили тогда у Эдит.

Мы помолчали. Мне так хотелось поддержать его, сказать: хорошо все будет, братан, все славно сложится.

Ну да, жизнь, она сложная до самой могилы, вот там все

просто.

– Слушай, я буду за тобой следить. Если ты при мне будешь не в адеквате, я тебя вырублю.

– А если я стану берсерком? Или тебя рядом не будет.

Он сел на кровать, и я подошел к нему.

– Ну, слушай, глянь-ка на меня. Духи ж не дураки.

– Дураки они, иначе на хрена человека создали и все разрушили?

– Ну, были дураки, да исправились. Если б летучих мышей создали, чтоб только ужасы приумножать, вы вымерли б давно. Вас бы волки и перебили всех.

– А ты думаешь, чего нас так мало?

Мы оба засмеялись, только Мэрвину-то весело не было. Я не знал, что ему сказать.

– Я верю, – ответил я, наконец, – что хоть что-нибудь в этой ебаной Вселенной должно быть устроено хорошо.

– Ты меня, если что, правда выруби.

– Да с радостью.

К ночи у Ванды завелись клиенты, и мы ретировались. Я подумал, можно уже и домой вернуться. Снова зарядил дождь, и не погуляешь. Можно было б, конечно, к ребятам в теплопункт забиться, да только ехать никуда не хотелось. Ничего не делали, а вымотались вконец.

Мы с Мэрвином брели под дождем, ели мокнущие бургеры, запивая их дождевой водой – только рот открывай.

– Но ты же все еще мой лучший друг?

– Не. Ты мне не нужен. Уходи.

– Серьезно, Боря, послушай.

– Не хочу уже тебя слушать. Я тебе сказал: мне все равно, даже если у тебя бешенство.

– Ты не мудрый. От него и вакцины нет.

Бургер размок совсем, стал противный, я постарался побыстрее запихнуть его в рот, Мэрвина это ужасно рассмешило. И забыл он о печали своей.

В нашей высотке горело уже много-много окон, а мы так продрогли и промокли, что мне было почти все равно, встретим ли мы мисс Гловер.

Впрочем, в такое время она обычно уже спала.

Мы поднимались, обсуждая польско-русскую дружбу вообще и нашу в частности, чего-то друг над другом подтрунивали, и тут все как рукой сняло. Добравшись до последнего этажа, мы увидели Алеся. Он стоял на лестничной клетке, курил, глядя куда-то вверх, на рассеянный свет от люминесцентной лампы.

Так мы и остановились, глядя на него.

– Ты что тут делаешь?

Он мог бы сказать «вас жду» или еще что-нибудь такое. Я бы, наверное, так сказал. Ой, про какую только ложь не думаем, что она святая.

Алесь поглядел на нас, пожал плечами.

– Да просто.

И так это тупо прозвучало, что во всем мы сразу уверились.

Взгляд у Алеся был беззащитный и спокойный, этот его обычный неземной взгляд, с сумасшедшинкой такой. Это-то меня больше всего и поразило, не изменился он и кем-то другим не стал. Как не случилось ничего.

Мы так и застыли, словно в фильме Тарантино, пялились друг на друга. И я вдруг прорычал:

– Ты чего, сука, человека убил?!

И кинулся на него, и все это показывалось мне чуток с другой сторонки, как на картине, у меня угол зрения будто бы сдвинулся. Дрались мы, может, минут пять, исступленно, зло, и хоть это скорее я Алеся бил, не сказать, что он был агнец безответный.

Мэрвин и разнять нас не пытался. Стоял, должно быть, да пялился, может, ставки делал, а может, ни о чем не думал.

Так оно, наверное, и полагается в глубоком шоке – ни о чем не думать.

Потом Алесь исчез, и я долбанулся об пол, нос себе разбил.

– Сука!

– Боря!

– Сука, я знаю, что ты здесь! Я про тебя все запомнил!

Я утирал кровь, а она все хлестала и хлестала, как будто мне отец вмазал. Я и не думал о том, дома он или нет, выйдет ли на шум. Голос мой таким сумасшедшим эхо отдавался в подъезде.

– Серьезно? Думаешь, дело хорошее сделал? Думаешь, можешь собой гордиться?!

Мэрвин положил руку мне на плечо, ощутимо сжал.

– Боря, успокойся-ка. Не ори так.

– Выходи, мразь!

– Боря!

Свет в подъезде мерцал, от маленького, темного окна несся цокот разгулявшегося дождя, цифра «15» была заляпана пепельными кружочками. Вот где я оказался этой ночью, и вот кем я был. Кровь моя кап-кап-кап прямо на пол, а я и не думал, что надо ее как-нибудь остановить.

– Слушай, Боря, он ушел небось!

– Ушел небось!

– Я тоже злюсь, но…

Он хотел сказать «что мы можем с этим поделать», но я вдруг

подумал, а что мы вообще можем-то? Алеся не было, и все следы как хуем смело. Я принялся колотить дверь мисс Гловер. Я думал, она никогда не откроет, а Мэрвин прыгал рядом со мной со всеми этими:

– Успокойся, давай с тобой успокоимся!

И:

– Я понимаю, тебе обидно, мне тоже ужасно обидно!

Хоть все свое польское обаяние включи, хоть всю польскую обходительность вруби на полную, ничего не сработает, думал я. Буду колотить в дверь, пока не откроет старушка. Достоевщина какая-то началась, а Мэрвин все хватался за голову.

Наконец, мисс Гловер открыла дверь. На голове у нее были бигуди, придававшие ей сходство с Медузой горгоной. Мисс Гловер уставилась на меня холодно и сине.

– Что же такое происходит, Борис?

– Что, довольны вы теперь?! Хорошо вам теперь?! Убили человека, а он был как все другие люди! Может, у вас от старости крыша поехала! Может, все не так было, как вам думается! Может, это я виноват!

И она сделала нечто для мисс Гловер немыслимое – обняла меня. Прижала так к себе, с чувством, без любви, но с какой-то досадой.

– У тебя, Борис, в последнее время гормональные бури, видимо. Сколько я уже слышала твоих криков? Я, конечно, все понимаю, молодой организм, но…

– Убили вы его, убили!

– Потише, потише, Борис.

Я не хотел на самом-то деле, чтобы мисс Гловер меня обнимала, но в то же время пускай ее, куда ей старческую-то свою ласку тратить. Ой, а знаете, что еще надо обязательно сказать? Больше всего-то я злился не на нее, а на Алеся.

Потому что где-то в глубине души я видел мисс Гловер как неотвратимую силу порядка, без стыда, без совести, без страха. Как слепую суку Фемиду, хотя от юридических концепций вроде презумпции невиновности она и была далека. Но Алесь-то котом не был.

Его не затачивали, как нож, не заряжали, как пистолет. Да ему даже не мурлыкали на ухо старушечьим голоском о мертвых женщинах да детях. А он – вот так.

Злился и на себя, конечно, что я сопливый гуманист, что мне стыдно должно быть.

А мисс Гловер, она гладила меня и говорила:

– Давай-ка успокойся, ты же такой грязный, мне ужасно не хочется тебя трогать дольше необходимого. Бедный, бедный

крысеночек.

– А меня обнимете?

– Ни за что, молодой человек.

– Ну почему вы так? – спросил я.

Может, и другое имел в виду, даже противоположное: а я почему так? Почему мы вообще все так – это вопрос открытый.

Мисс Гловер спросила, хочу ли я чаю, но я только покачал головой.

– Труп у вас там.

– Нет здесь тела, не беспокойтесь. Этот русский юноша мне и с этим помог.

– Белорусский, – сказал Мэрвин.

– Это уж точно неважно. Словом, нет здесь ничего подозрительного. Чистая, хорошая квартира. Заходите, вы все мокрые. Простудитесь, а потом, не дай бог, заразите меня. В моем возрасте болеть совершенно нельзя.

Она мягко, но настойчиво затянула нас в теплую квартиру, где пахло не кровью, не мясом, а бисквитными печеньями. Не как у Кинга, а как у Пруста.

С фотографий на нас смотрели ее мертвецы, а мы только озирались обалдело, как будто в первый раз оказались в таком чудном месте.

Мисс Гловер с невероятной прытью сама налила нам горячий чай, хорошенько сдобрила его имбирем. Может, боялась, что мы в ментуру заявим. А может, я ее недооценивал.

Мы с Мэрвином сидели на диванчике с атласной обивкой, и мисс Гловер то и дело протягивала мне влажные антибактериальные салфетки.

– Утрись. Давай, еще раз.

Долго-долго мы молчали, часы выстукивали секунды, минуты, казалось, что даже и часы. Мисс Гловер наконец сказала:

– Конечно, вы не котята.

Мы покачали головами.

– И птенец, разумеется, тоже не был котенком. Просто он ответственный. Это компенсирует некие недостатки.

Она сдержанно засмеялась.

– Остроумно вы унизили всех других детей духа, – сказал Мэрвин.

– Да, спасибо. Я знаю. И я не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватыми. И чтобы ваша трогательная межвидовая дружба оказалась разрушена. И, разумеется, чтобы вы считали себя просвещенными гуманистами, но это меньшее из зол.

Мы молчали, пришибленные. Мэрвин наконец выдавил из себя:

– Да все нормально.

Не было, конечно, нормально. Мисс Гловер продолжала:

– Пока что вы еще детеныши, но скоро вы увидите, что мир не такой простой и черно-белый, как вы можете себе придумать.

Ой, от столетней-то бабки, или сколько там ей было, это звучало внушительно.

– И пейте чай, имбирь отлично справляется с зачатками простуды. Я вас переоценила, это правда. Но молодой человек, вспомнила наконец-то, Элис…

– Алесь, – машинально поправил ее я.

– Да, конечно, Алес. В общем, он тоже не получил от процесса никакого удовольствия. Он просто знал, что так надо. Единственной его защитой была элементарная логика.

Она нас вроде и отчитывала, но так хотела позаботиться, обогреть, что все равно было дико трогательно. И не мог я на нее злиться, хотел, а не мог больше. Смотрела мисс Гловер на нас самыми синими глазами на свете. Божий одуванчик вообще. Такая не то что человечка – букашечку на тот свет не спровадит.

– Мальчики, я хочу, чтобы вы мне хоть что-нибудь сказали.

– Да.

– Конечно.

– Этого достаточно. Хотите печенья? Это «Мадлен».

Вот так. Угадал я с Прустом.

Так мы и просидели у нее всю ночь, почти до самого рассвета, и, честное слово, почти ничего не говорили.

Простил ли я Алеся? Да, конечно, я его простил. В этой жизни всех надо прощать.

Глава 16. И повесили его

Да, значит, был у мамки родич, дай бог памяти, не то троюродный, не то дальше, жил в Киеве. Она его и видела-то на похоронах только, а всю историю узнала от его женушки.

Милая такая была девчушка, глазки-пуговички, розовый ротик. Немножко с ума сошла, но это ничего.

Сам он вроде Саня был. Этот Саня, когда люди стали делить нашу огромную страну, тоже захотел себе кусочек. Отжимал заводы-пароходы с бравыми ребятками вместе. Жил – не тужил, не то что в Египты гонял, аж до Ниццы добрался, до Ибицы. Завтракал черной икрой, трюфелями обедал, а ужинал фуа-гра, и уже во Франции.

Короче, мужик пожил. И называли его теперь не Санька, а Александр Петрович. Разве оно не чудно? Закончил он, правда, как Санька.

Ну да, короче, встретил мадемуазель, влюбился, быстренько сделал ее мадам. У него деньги крутились большие, и все круче и круче становилось, все горячее.

Дама-то его знать не знала, как дела обстоят. Думала, честный бизнесмен, страну с колен поднимает, а вот как оно вышло.

Да, она мечтала детей, и много, в таких-то тепличных условиях, уже беременная была, и срок большой, когда к нему в дом ворвались серьезные мужики. Совсем серьезные. Прям без шуток.

Вот они Саньку и повесили на глазах у его бедной беременной жены. А она его любила. Тоска это, конечно, такая любовь, то Ниццы да Ибицы, а потом одна могилка на Северном кладбище под Киевом.

Ребенка она родила хворого, дурочку какую-то, а оно и неудивительно, только обидно.

Санька-то хоть пожил.

Пожил, а толку-то? Что после себя оставил? Ни денег, ни честного имени, одна доченька-дурочка. И мамка мне всегда говорила:

– Санька был неправ, он и сам не мученик, он и сам, может, людей вешал.

Такая там грязь, – мамка мне говорила. – Даже разбираться не стоит.

Вот мне бы ту историю не сейчас вспоминать, а тогда. Она у меня из памяти выветрилась на долгое-долгое время. А ведь история-то поучительная, даже красивая по-своему.

И чего я про нее не вспомнил?

* * *

Хотя нет, сейчас станет понятнее, почему я всю эту историю вспомнил, она же о бандитах, и я какое-то время бандитом был. Да, значит, возвращаемся ко мне. Теперь расскажу, какое у меня случилось приключение, когда было мне девятнадцать годков. Вроде и взрослый мужик, ну почти. В колледж я, конечно, поступать не собирался. Это у нас дома каждый может уму-разуму научиться, а у зубастых капиталистов либо въебывай, как скотина, жизнью не живи, либо денюжку плати. Справедливо, может быть, да как-то оно неправильно.

Короче, вроде у папки денег было дохренища, но о колледже я и думать не стал.

Чем мы с Мэрвином занимались? Ну, не мошенничеством, нет. Не то чтобы все это было честно, прекрасно и светло, конечно. Подешевле купили, подороже продали, как-то так. Торговать мне нравилось, я это умел. Зубы заговорить я любому могу, а тут знай бери дешевый фильтр для воды да всучивай его реднекам втридорога.

По Америке мы поездили, конечно, как Ильф с Петровым. По закуткам ее, по норкам полазили. Были в горах Джорджии и в лесах Мэна, в золотых от песка мормонских деревушках Юты, и даже в настоящей индейской резервации. Что продавали? Да что купим в одном штате, то в другом продадим. Фильтры, принтеры, тостеры, посуду, телевизоры, да все на свете. Как чутье подскажет, то мелочовки накупишь, а то техники дорогой немножко. Со временем перестали ошибаться, и денюжка появилась. Ну, небольшая, а на жизнь хватало.

Так и было, поездим, заработаем чего, да и возвращаемся домой. Перекати-поле.

Но нам это все было просто чрезвычайно весело. Мы все время над чем-то смеялись, я никогда в жизни (а ведь не сказать, чтобы я был чувак невеселый) так не угорал, как тогда. И какая же это работа, путешествовать вместе с лучшим другом да пялиться, какие у людей дома.

Целевая аудитория у нас была, надо сказать, интересная. Люди, которые не пользовались Интернетом. Мы забирались в самые-самые дебри, туда, куда и Бог не заглянет. Видели столько заброшенных угольных шахт, столько свалок, столько разваливающихся домов – и столько прекраснейших мест: хрустальные лесные озера, бескрайние кукурузные поля с

одинокими водонапорными башнями, затерянные в тенях и ветках мостики через быстрые горные речки.

Ну да, а людей-то разных сколько видели, то сектанты какие, то хиллбилли, для которых приезд незнакомца, да еще и говорящего с акцентом, – это событие, по значимости стоящее сразу после свадьбы и похорон.

Видели художников, сбежавших от мира, видели девчат, носивших кольца целомудрия (которые, значит, им дарят отцы после первого женского дела, и они не снимают такие колечки до свадьбы), видели бывшего сенатора Оклахомы, не то натурально сенатора, не то шизика какого-то, им просто прикидывающегося.

Ой, а были бы мы в фильме ужасов, нас бы прикончили давным-давно.

Маньяка не видели ни одного, но то, может, потому, что гоняли мы на своем купленном в Комптоне подержанном «Додже Челленджере», а не катались автостопом.

Вообще-то я чему научился, пока носился туда-сюда с принтерами да фильтрами по всяким стремным дырам – люди, они добрее, чем кажутся. Вроде бы сектанты да реднеки сплошные, должны были б нас уже линчевать и повесить на заборе, а они поили холодным чаем в жаркие дни и кофе нам в термосы наливали зимой. Простые, хорошие люди.

Мы их немножечко облапошивали, самую только капельку, но без этого дела не делаются. Кушать нам тоже хотелось. Но иногда бабусе какой-нибудь или вдовушке с ребенком я мог отдать что-нибудь бесплатно. Мэрвин меня за это ругал, говорил, что мы терпим убытки.

А по ночам, в отличные, теплые ночки то бишь, мы лежали под куполом неба и пялились на звезды, которых в Лос-Анджелесе так мало из-за смога. Тогда мы мечтали о том, что будем делать дальше. Не вечно ж нам по стране мотаться. Мэрвин хотел взять кредит на колледж, стать режиссером или типа того, а я, если уж фантазировал, то только о путешествиях, о том, чтобы мир посмотреть. Я понятия не имел, кем хочу быть, и не очень-то старался узнать.

Мне нравилось жить здесь и сейчас, есть хот-доги на заправке, рассказывать о преимуществах кухонных комбайнов незнакомым мне людям и вести «додж» сквозь ночную Америку.

А в лесах мы были в таких (где-то в Огайо, кажется), что там олени попадались совсем непуганые, ты на него пялишься, и он на тебя в ответ.

Ну а холодные ночи, конечно, мы проводили в мотелях. Вырубали звук в дурацких передачах и озвучивали их сами, пока я не засыпал. А утром – стакан апельсинового сока, хлопья с

молоком и дорога-дорога-дорога.

Мамка навещала меня чаще, чем в Лос-Анджелесе. Может, волновалась, а может, это я в ней нуждался. Почти все время она, как маленькая девочка, лежала, свернувшись калачиком на заднем сиденье машины, по-детски покусывала большой палец. От нее в «додже» всегда пахло холодной водой и сладостью мертвечины. Когда Мэрвин, нажравшись моей крови, спал на заднем сиденье, мамка оказывалась рядом. Тогда мы говорили.

– Отца навещай. Он скучает.

Ой, скучал он. Всякий раз, когда я, сунув монетку в автомат, набирал его номер, все заканчивалось дикой руганью. И это, наверное, означало, что папашке вправду было без меня тоскливо. И мне его, надо сказать, не хватало.

Я часами рассказывал маме, где мы были, и что видели, с кем поболтали, что продали. Под тачкой текла дорога, и я видел время, ну серьезно. Дорога и есть воплощенное время, ход минут, часов, все перед тобой – в пространстве.

– А у вас там никак непонятно, как моя жизнь пройдет? Есть такая теория, что после смерти все время схлопывается в точечку. Там все вещи одновременно происходят.

– Ой, Боречка, сыночек, не знаю, что будет. Знала бы, так я б тебе сказала.

– А у тебя-то что вообще?

– А что у меня? У меня ничего не происходит, я же умерла.

И как обухом по башке.

По друзьям вот своим скучал неимоверно, их мне не хватало точно. Эдит поступила в Университет Калифорнии, на историю искусств или что-то там подобное, культура и искусство, вроде бы. Увлекалась она теперь то советским авангардом, то французскими символистами, то Брейгелем и Босхом. Спросил ее, значит, почему искусство, а она такая:

– Потому что это единственная причина, по которой я не стерла бы эту планету с лица земли, если бы была Богом. Доступно? И это интересно, вещь и философия. Дух вещи, дух времени.

Ну и пошла заливать, дальше я с трудом понял, Хайдеггер опять же как-то всплыл, потом Панофский.

А моя Одетт готовилась поступать в Массачусетский технологический, делать роботов.

Алесь, сука, работал официантом в каком-то уродливом кафе на Венис-Бич. Ну, мы уже помирились, не без осадка, конечно, и все-таки дружба у нас не расстроилась, не разошлась по швам.

Марина и Андрейка перебивались случайными заработками, жили в съемной конуре вместе с Алесем и тараканами. Мы с

Мэрвином им предлагали: давайте с нами, будем гонять по стране, вам только тачку бы, а остальное устроим. А ребятки все отказывались, говорили, не по ним это.

А и все равно, хоть на улице не живут. Уже личностный рост.

Как мы приезжали, так обычно с ними и кутили, у них с деньгами напряг, а так покормим, напоим, и вроде им не стыдно. В клуб ходили, там Андрейка Мэрвину показывал, как побыстрее да помедленнее себя сделать. Я иногда тоже чего-нибудь съем да занюхаю, а то и настроения нет.

Вот все случилось как раз, когда у нас с Маринкой вообще не было настроения.

Я-то в скверном состоянии духа пребывал. Отец мне еще утром, когда я заявился, с порога бросил, что я мог бы и ямы копать, раз жизнь моя ничего не стоит все равно.

А что я ненавидел, так это любые напоминания о том, кто я есть. Нет уж, никаких мне тут крысиных историй, никаких долгов перед голубой планеткой.

У Марины были свои причины.

– Мне девятнадцать, Борь, я кто такая-то? Какую я жизнь проживу?

В клубе было шумно, да мы с ней и не танцевали никогда, так что пока Мэрвин, Андрейка и Алесь отрывались (у Алеся, надо сказать, вид был совершенно эпилептический), мы курили у заднего выхода, сидели на ступеньках под фиолетовой люминесцентной лампой.

На кирпичной стене перед нами высвечивались нечитаемые граффити. Где-то далеко раздавался шум машин. В просвете между домами была видна сверкающая вывеска дайнера, где мы ужинали. Люди выходили покурить и снова скрывались в душных внутренностях клуба, а мы сидели и сидели, и казалось, что так будет всегда.

– Читаешь книжки, – говорила Марина. – А они тебя жить не научат. Вот о чем меня никто не предупреждал.

На губах у нее поблескивала помада, темный такой, холодный тон, фиолетовый свет делал его почти черным.

– Ага, – сказал я. – А потом барахтаешься, как дерьмо в проруби. Не знаешь, чем себя занять. Хотелось великого, а получилось… Вот! Кричали «свобода», «равенство», «братство», а получилось одно лишь блядство!

– Я думала, в космос полечу. А почему я так думала? Кто я такая-то? Без роду без племени, из дома сбежала, документов нормальных – и того нет. Меня и отослать-то некуда, я – никто.

– Может, поэтому разумнее всего депортировать тебя в космос.

Марина засмеялась.

– Такой ты дурацкий, Борька. Я вот тебе что сейчас расскажу. Когда мне так грустно, как нам с тобой сегодня, я вспоминаю счастье.

– Ну-ка, сейчас про водку что-нибудь будет.

– Идиот, – она щелкнула меня по носу, как большое, доброе животное. – Когда я была маленькая, мы всем детдомом поехали в Евпаторию. Такой городок, знаешь, хороший, вроде простой, а красивый – жуть. И весь трамвайными рельсами испещрен. Трамвай там – главный транспорт. А какое море, пахнет оно, может мне и кажется, конечно, ярче, чем здесь океан, и кипарисы такие стоят.

Соскакивала она с прошлого на будущее, будто человек при смерти, не слишком понимающий, где он находится. Пьяная была.

– Помню, мы, когда погулять сбегали, петляли между обычными панельными коробками и воздухом этим дышали. А потом нет-нет да и выйдешь к морю. На набережную. Там недалеко была улица, как же она называлась? Мы ее называли Бродвеем. Длинная-длинная улица, вся в ларечках с сувенирами, развлекаловка там всякая была вроде тира, клубики, кафешки, еда всякая вкусная, хот-доги там, попкорн, сахарная вата, мороженое! Чего там не было вообще? Когда ходили всем отрядом, нам денюжку давали, две гривны – мороженое, три – хот-дог, и сейчас помню. Были старые, скрипучие аттракционы, со ржавчиной даже, но мы не боялись. Я купила себе там красивое колечко, его потом потеряла, и штучку такую, знаешь, в нее стержень от ручки вставляешь, в кружочек такой, и рисуешь красивые узоры. Еще брелок с ракушкой. И браслет с дельфином. И…

Она запустила руку под воротник, вытащила монеточно-круглый и монеточно-медный амулетик с черепахой. Никогда она с ним не расставалась, а я и не спрашивал – откуда.

– Это для счастья.

– Ну ты прям как Мэрвин.

– Я его ношу не потому, что верю. Просто он у меня ассоциируется с тем временем. Там отовсюду музыка гремела, даже голова болела. И там тетенька рисовала мой портрет. Красивая тетенька, и портрет красивый. Бесплатно рисовала, потому что я детдомовская. Я потом его в трубочку сворачивала и в тумбочке хранила. А когда уезжала сюда – забыла. И мне так нравилось, что я была Мариной-у-моря, хотя не то чтобы я фанат всего морского. Ой, а еще у меня оттуда эфирное масло было, розовое, и бальзам для губ.

Она все перечисляла эти девичьи штучки, а я пялился на нее во все глаза, то молодая женщина сидит со мной рядом, а то совсем ребенок.

– И там была соляная пещера! В темноте сидишь и дышишь солью! И после обеда мы все строем ходили пить фиточай. А мне назначили массаж и такое, не знаю, как объяснить. Грязевые штуки на меня лепили, а в них электричество, и от этого вкус во рту совсем медный.

Глаза у нее сверкали, она казалась еще пьянее, до невероятности просто, а мне все так хорошо представлялось, и это море, и пляжи песчаные, о которых она рассказывала, и череда гостиниц недалеко от них.

Вроде люди выходили, входили, совсем рядом стояли, прикурить у нас просили, а разговор вышел такой доверительный, такой свойский. Марина улыбалась, у нее было мечтательное, какое-то незнакомое выражение лица. Мы жались друг к другу, курили сигаретку за сигареткой из одной пачки, и я так внимательно ее слушал.

Мне даже не нужно было ее целовать, чтобы понять, как мы близки.

В общем, было так хорошо, счастливо, сочно, и тут чую – запах лисий неподалеку. Я напрягся, конечно. В детстве мне нравилось чуять своих, а теперь я их стыдился и избегал. Такой я ренегат, значит, лютый позор просто. И чем больше я понимал про себя, что заниматься крысиной работой не стану, тем тяжелее мне было думать о том, что кто-то ею занимается.

Я бы с радостью отдал всю свою крысиную часть, да кто возьмет-то. Очень я старался жить человеческой жизнью, но человеком не был.

Вот, значит, почуял этот запах и подумал: пройди-ка ты мимо, не надо мне с тобой говорить, и не о чем. Все настроение мое сразу испортилось, тоненькое, как паутинка, счастье кто-то на палку намотал. Запах все сильнее и сильнее становился, так что я подумал: выйдет сейчас этот лис сюда, сигареточку потянуть.

– Слушай, а хочешь, погуляем? Потом за ними вернемся. Чего так сидеть, разговоры разговаривать, а?

Я уже поднялся, и тут он дверь открыл. Мы замерли друг напротив друга. Лет ему было, может, тридцать, чуточку больше, чуточку меньше – непонятно. Он был тощий, изящный, с вытянутым, немножко непропорциональным лицом. Я почему-то сразу подумал про египетского Анубиса, хотя передо мной стоял лис, вовсе не шакал.

Мужик он был просто невероятно обаятельный. На нем

переливался в фиолетовом свете хороший, пижонский костюм, он улыбался загадочно, как Мона Лиза, и чуть щурился от дыма сигареты, которую сразу закурил. Сигаретка потянула чем-то вишневым, дорогим.

Мы глядели друг на друга, пялились прям. И я уже хотел отвернуться, пойти с Мариной куда-нибудь, пропустить еще по стаканчику, может, как вдруг мужик мне сказал:

– Борис, ты не мог бы уделить мне минуту внимания?

Он знал, как заинтриговать собеседника в первую же секунду. Один из принципов успешной торговли такой. Клянусь, я этого мужика в первый раз видел.

– Ну, – сказал я. – Может и могу. А ты кто вообще?

Марина смотрела на меня обеспокоенно. Я понимал почему. Мужик это явно был серьезный. Как бы вроде хлипкий, вроде одет по-модненькому, вроде лицо располагающее, а что-то в нем чувствовалось этакое.

– Надеюсь, я твой друг. Мне хочется думать, что мы могли бы стать отличными друзьями. Ну что, пройдемся?

– А подружка моя?

– Если мисс…

– Кеменова.

– Мисс Кеменова, – сказал он без запинки, – не против, я бы хотел поговорить с тобой отдельно. О делах.

– У нас с тобой никаких дел нет, – ответил я со всей своей настороженностью, со всей неприязнью к зверям и их проблемам.

– Но могут быть, ведь так?

И все-таки я человек любопытный, мне хотелось узнать, чего ему надо. Может, Уолтеров дружок. Сотрудники Уолтера друг на друга похожи не были, взять хотя бы папашку и его Марисоль или, к примеру, родителей Эдит и Одетт. Так что их на глаз не определишь.

К этому я склонялся, опять долбаный Уолтер, которого отец не называл иначе как «занудный хуеплет». Уолтера я ненавидел в основном за то, что он постоянно подкидывал папашке задания. Раньше, когда все происходило естественно, найдешь ты по чуйке каверну да закроешь ее, пока ищешь новую – немножко восстановишься. А Уолтер кидал отцу адрес за адресом. Думаю, у него были тогда поисковые крыски, слабые здоровьем выродки. Они составляли карту, а уж ребятки вроде папы, сильные, выносливые, занимались настоящим делом. Ну, это мне так кажется. Когда Уолтер заинтересовался мной всерьез, у него уже все трещало по швам.

– Марин, пойдешь к ребятам?

– Да без проблем.

Мужик одарил ее прекрасной, расслабленной улыбкой и вытащил из кармана бумажник.

– Спасибо огромное. Я был бы очень рад, если бы вы купили что-нибудь себе и своим друзьям.

Марина вскинула бровь, но в конце концов благодушно приняла купюру. Напор обаяния у мужика был знатный, конечно. Марина аж улыбнулась ему в ответ.

– Пойдем погуляем?

– Нет, ты мне сразу скажи, у нас с тобой проблемы какие-то?

Он улыбнулся мне со всей сердечностью, на которую способен американец.

– Никаких. Это скорее предложение. Выгодное.

Лисий, озоновый запах был такой густой, что я чувствовал себя еще пьянее. Лисы дурманят, такая у них работа.

– Меня зовут Бадди.

Я так никогда и не узнал, это было такое имя или кличка, вроде «Дружок».

– Приятно познакомиться. Ты меня откуда-то уже знаешь. Откуда?

– Я наблюдал за тобой некоторое время.

– Звучит стремно.

Он засмеялся, легко, радостно, со сладостью и со спокойствием.

– Я понимаю.

И, почти против воли, я с ним пошел. Это было ужасно неправильно. Но я не пожалел.

Когда мы отошли от клуба, оказались около подземной парковки, Бадди сказал:

– Если бы я был твоим врагом, то тут бы я тебя и застрелил.

Он выставил указательный и большой пальцы, изображая пистолет.

– Паф!

– Не смешно ни хрена. На моем месте ты б не смеялся.

Но я смеялся.

– Возможно. Борис, мне от тебя кое-что нужно. И я готов щедро за это заплатить.

– Ну-ка?

Тут я напрягся еще больше.

– Твои крысиные навыки.

Я, конечно, развернулся и пошел.

– Даже не думай. Я не закрываю каверны.

– О, нет, на каверны мне плевать, – ответил Бадди так напевно, спокойно, будто мы продолжали разговор лицом к лицу. – Мне нужно совсем другое. Для начала твой нюх.

Тут, надо сказать, я совсем заинтриговался. Свет вокруг был такой холодный, яркий, казалось, под ним совершенно невозможно врать. Бадди закурил еще одну сигарету с вишневой отдушкой, сел на бетонный блок, ребячливо поболтал ногами. Я смотрел вниз, туда, где были огромные, черные тени машин. Я был пьяный и залипал – не лучшее состояние, чтобы принять самое важное в жизни решение.

– Каждый, по крайней мере я так считаю, должен сам выбирать, как жить. И никто никому не обязан.

Вот он мне сразу и понравился. Бадди мягко, ласково улыбнулся.

– И я выбрал.

– Чего, в правительственных кабинетах сидеть не хочется?

– Не хочется, хотя по сравнению со многими другими детьми духа у меня завидная участь.

Бадди помолчал, затушил сигарету. Было в его движениях что-то удивительно легковесное, безмятежное, как будто он просветленный буддист, за жизнь до выхода из Сансары, не меньше.

– Лисы – превосходные манипуляторы, – сказал он, и я почувствовал эти теплые волны вокруг, он заставлял меня сосредоточиться на его словах, демонстрировал. – Но наши способности слегка преувеличены, иначе в мире не было бы принято ни одного неверного политического решения.

И вправду, я чувствовал себя в здравом уме и светлой памяти, мне не хотелось немедленно согласиться на все его предложения.

– Если я скажу тебе сейчас, иди-ка в крестовый поход на Ближний Восток, за Иерусалим, за Гроб Господень и за Прекрасную Даму, ты только покрутишь пальцем у виска.

И я покрутил.

– Но в то же время ты сосредоточен на мне, более восприимчив, тебя меньше отвлекают твои повседневные заботы. Ты мне внимаешь.

И вправду. Я обнаружил, что не думаю ни о чем, кроме его слов, что разбираю их по косточкам.

– И если мне удастся привести верные аргументы, ты согласишься на мое предложение. Я уверен.

Не то чтобы он меня гипнотизировал. Скорее наоборот, сознание мое было совершенно, приятно ясным. Если бы Бадди не предупредил меня, что оказывает сейчас какое-то там лисье влияние, я бы подумал, что протрезвел и настроение у меня улучшилось, только и всего.

– Я хочу быть с тобой честным, Борис. Настолько, насколько это возможно.

– Тогда откуда ты знаешь мое имя?

Бадди пожал плечами.

– Я за тобой следил. Не сам, конечно. У меня дел достаточно. Собирал информацию. Кто такой, как живешь, как часто бываешь в городе. Но, самое главное, занимаешься ли нашими звериными делами. Мне не нужен кто-то, готовый жизнь свою положить ради сомнительных идеалов. Меня интересуют животные, живущие сегодняшним днем.

Бадди был со мной искренним, ну или это я так думал.

– Я еще никогда не работал с крысами. Но мне бы очень хотелось. Чрезвычайно выносливые, с лучшим обонянием, огромным количеством незаметных братьев и сестер. Представляешь себе, какую пользу ты можешь принести?

Старательно он так обходил свою цель, круги вокруг меня наворачивал. Вроде как я уже понимал, к чему Бадди клонит, – по часам его, манере разговора, особой изворотливости, но сказать об этом вслух не мог.

Бадди пригладил волосы, поглядел на небо, а я ничего, кроме него, не видел, ни о чем не думал. И не вспомнить уже, что вокруг было, ездили ли мимо нас машины, ходили ли люди, летали ли высоко над нами самолеты. Обычно я все мелочи подмечаю, а тут как выключили меня. Я был отдельно от всего на свете, Бадди стал и портретом, и пейзажем, и натюрмортом, и только на него я смотрел.

– Мне необходим маленький помощник. Твои братья и сестры могут проникнуть в любое или, по крайней мере, почти в любое помещение. Они могли бы узнать для меня кое-что. И ты мог бы для меня кое-что узнать.

Такой у него был тягучий, карамельный голос, тянется, тянется сладкая нить, а ты за ней только следуешь.

– Кокаин. Ты пробовал кокаин?

Я молчал. О таких вещах вслух да в ненадежной компании стремновато. Один раз пробовал, ну конечно понравилось.

– Вижу, что было, – сказал Бадди. – Ну да ладно. Мне требуется хороший нос. Чтобы проверять чистоту товара. Моя, так сказать, переносная химическая лаборатория.

– Чего, о людях, что ль, заботишься?

Бадди засмеялся:

– Это у нас в крови, – и тут же он стал чуть серьезнее. – На самом деле нет. Раз уж я раскрыл тебе самый главный секрет, можно говорить и о тонкостях. Чем более чистый продукт к тебе попадает, тем больше ты сможешь добавить примесей и, соответственно, заработать сам.

Он говорил, как старший брат, которого у меня никогда не

было. Может быть, потому что Бадди знал, что на мне сработает. Меня не оставляло ощущение, что тон он выбрал соответственный мне, как иногда кавалер выбирает платок в нагрудный карман под стать платью дамочки.

– Это маленькая помощь. Без нее я вполне могу обойтись. Но нет предела совершенству.

Он цокнул языком, снова глянул на меня со странной ребячливостью, неожиданным смешком.

– И плачу своим людям я хорошо. Очень.

Фразу эту он будто в фильме подслушал, и сам это понимал. Бадди любил над собой посмеяться.

– Ты мне чего предлагаешь?

– Ты все прекрасно понял, Борис. Ты сообразительнее, чем хочешь казаться. И мне кажется, что у тебя проблемы с самоопределением.

– Нет у меня никаких проблем.

– Значит, я ошибаюсь, – спокойно согласился Бадди. – И тем не менее, подумай обо всем об этом. У меня нет нужды в том, чтобы за тобой бегать. Я предлагаю один раз, и это – хорошее предложение.

– Слушай, – вдруг спросил я. – Но ты-то почему не занимаешься своим делом? Все бы у тебя было: и власть, и деньги. Знай себе сиди, разговаривай с сильными мира сего вот так приятно.

– О, – сказал Бадди. – Это тема для долгой беседы, даже слишком. Если коротко, я верю в то, что наша молодежь должна выбирать сама. И нет ничего страшного в свободе. А вот попытки сохранить мир таким, какой он есть, наоборот, ведут к провалу. Анитья.

– Чего?

– Один из трех признаков существования в буддизме. Все в мире изменяется, и мы с этим ничего сделать не можем.

Бадди вздохнул:

– Ну да ладно, я стараюсь как можно меньше этим заморачиваться. Важно другое: понимаешь ли ты, что не обязан проживать человеческую жизнь, если отказался от звериной? Ты можешь использовать свои преимущества в борьбе за выживание. Разве тебе не повезло больше, чем другим? Если отбросить наши так называемые долги перед миром, мы намного сильнее, чем люди. И за это стоит вынести благодарность нашим мистическим родителям.

А мне все казалось, вот умру – тоже с кем-нибудь так буду говорить. У нашего разговора был призвук чего-то загробного, итогового. Так мягко, думал я, нужно говорить с мертвыми. И мне

бы правда хотелось, чтобы мою мамку вот так приветливо и спокойно встретили там, где все уже новое.

Я думал о Бадди почти как о божестве. Маленьком буддийском божестве. Он пришел ко мне из ниоткуда и предлагал новую жизнь. Конверсию.

Я не собирался думать о будущем, хотел судьбы, знака, и вот увидел его.

– Ты ведь понимаешь, Борис, что нельзя вечно бегать от своей природы. Это создает напряжение. Но природа, друг мой, неразумна. Ее можно направить в иное русло. Получить с нее выгоду.

Хороший костюм. Хорошие сигареты. Хорошо поставленный голос. Конечно, я впечатлился. Мог ли я тогда отказаться? Однозначно, да. Бадди не воздействовал на мою волю, только на мою концентрацию. Но иногда, и это жутковато, кажется мне, что я так думал, потому что он этого хотел.

А может, и глупости. В любом случае, о своем решении я не пожалел и потом, много лет спустя, когда Бадди уже не было рядом.

– Работа несложная, – добавил Бадди. На этот раз он предложил мне сигарету. У дыма был яркий, нехимический привкус вишни.

– И денежная, куда без этого. Мы с тобой поладим, я уверен. А главное, жизнь у тебя теперь начнется интересная. А поехали вообще-то ко мне в гости!

Была в нем какая-то подкупающая доступность. Не доверчивость ни разу, не открытость, а именно доступность. С ним можно было поговорить на любую тему, к нему можно было приехать в гости, хоть в два часа ночи.

– Ладно, поехали, – сказал я.

Думал, конечно, может он меня на цепь посадит и будет мне пробы кокса приносить, но думал несерьезно, параноидная шуточка такая была. Ему хотелось доверять.

А если не ему, то кому вообще?

У него была тачка с водителем, прям натуральным суровым мужичком: морда кирпичом, выправка, бритый затылок и наверняка пистолет в кармане. С ним Бадди тоже общался по-свойски.

Если только он называл себя не прозвищем, то мать Бадди обладала просто феноменальной интуицией. Он и вправду был всеобщий дружок.

Я написал смс-ку Марине, получил краткий, но емкий ответ, вернее даже вопрос: ты что, с ума сошел? Ты больной?

Мы ехали по ночному Лос-Анджелесу, который был весь в

огнях, и я впервые, может, за всю свою жизнь думал о том, как сложится все в самом конце.

Хотел ли я связываться с криминалом? Ой, сейчас навру, что не хотел, что был не виноват, что Бадди на меня воздействовал, да и вообще дело молодое было.

Только вот я хотел. Все это казалось мне веселой игрой. Мальчишки вообще-то любят пистолеты.

Бадди весело болтал о чем-то с водителем, меня отпустило, я чувствовал себя, как после таблетки «Тайленола», когда спадает температура. Я приник к окну да все любовался городом, он казался мне незнакомым и совершенно чужим.

Ай, даже и не скажешь сейчас, печальный это был день или счастливый. Я одно только знаю точно, что за солнцем всегда следует дождь и наоборот, и все в мире неоднозначно и переменчиво. Анитья. Запомнил.

Чему-то важному меня Бадди научил, не только бандитской премудрости.

От его водителя пасло человеком, и почти всю дорогу я молчал, мне вдруг стало ужас как неловко.

А дома у Бадди пасло благовониями, и в холодильнике стояли почти одни только бутылки с дорогим винишком. И все стены – в лотосах, а дверь на кухню – вовсе не дверь, а нити бусинок, как в фильмах про Индию.

Был бы он побогаче, завел бы себе бенгальского тигра, сто пудов.

Всю ночь мы с ним пили масалу и винище, о чем-то болтали, я ему, для себя, между прочим, незаметно, всю свою жизнь рассказал, в самых сочных подробностях. Это дело я люблю, а?

Вот, и Бадди вел себя так славно, все вопросы задавал да кивал, сочувственно так, будто психотерапевт или священник. Я то смеялся, то чуть слезы не лил, а он все с этой не подверженной изменениям полуулыбкой на меня глядит.

А к утру я понял, что ничего о нем не знаю. Что он мне ничего не рассказал, хотя, клянусь, я спрашивал. Задашь ему вопрос, он от него уклонится, ловко, как от фехтовального выпада, и что-то свое, нейтральное скажет, спокойно-философское.

И, кстати, надо сказать, при всем его увлечении буддизмом, общей вежливости и какой-то внутренней интеллигентности – у него была совершенно бандитская рожа. Узкое, породистое лицо жулика.

– Вот, – сказал я ему, когда небо за окном уже просветлело, – мы с тобой всю ночь проговорили, а я не знаю, кто ты и откуда. Я же тебя спрашивал. Из какого ты штата?

– Спрашивал, – ответил Бадди. – Мне приятно, что ты заинтересовался. Хочешь гулаб джамун? Это такие штучки из сухого молока, обжаренные в масле и вымоченные в сиропе с розовой водой.

– Ты хоть в Индии-то был?

– Я купил их в индийском магазинчике. Целую банку. А ты, значит, во всех штатах уже побывал?

– Кроме Айовы.

– И правильно. Нечего там делать.

– То есть, ты из Айовы?

– Господи, слава богу нет! Слушай, Борис, а каково это быть русским в Техасе?

– Довольно сложно. Там мы с Мэрвином обычно говорили, будто мы из Чехии. Никто не знает, что такое Чехия. Один мужик думал, будто это город в Польше.

– Прикольно.

– А мой отец до сих пор называет Чехию Чехословакией, приколись?

Бадди засмеялся, хотя мне думалось, что основная ирония ситуации от него ускользала.

– Нет, знаешь, ты должен попробовать эту индийскую сливочную помадку. Она называется «бурфи».

– Вкуснотища, конечно. А может, ты индус?

– А я похож на индуса?

– Вообще-то нет, но мало ли.

Конечно, похож он был скорее на американца, который алчет мудрости Востока, перечитав Керуака. Но точно я ничегошеньки о нем не знал.

С точки зрения того же самого буддизма он был, можно сказать, идеалом, в нем была какая-то странная постоянность наряду с бескачественностью. Он был, ну вот как у Музиля, «человек без свойств».

Ему везло далеко не всегда, но какую хорошую мину он умел состроить.

Рассвет лег на белые лотосы дорогих обоев неописуемой красотой, они порозовели, налились жизнью. Мы с Бадди пили молоко со специями, потому что чай к утру закончился. На столе стояли пустые бутылки из-под винища, в которые мы напихали сигаретных бычков.

– Слушай, а как ты вообще решил ничего такого не делать? Ну, не заниматься работой.

Он поглядел на меня так, будто сам вопрос казался ему странным.

– Просто решил, и все. Разве для этого нужен какой-то

особый повод? Какая-то психотравма? Я просто не хотел этим заниматься. Душа не лежала, так у вас, русских, говорят?

И это было максимально честно. Ему и за шкуру-то за свою трястись нечего было. Не хотел, да и все на этом.

Бадди покатал ногой еще одну бутылку на полу, старательно, как больной на физиотерапии.

– Откровенно говоря, я не думаю, что в нашем поколении больше тех, кто отказывается работать. Просто это всегда считалось подлостью, поэтому об этом обычно молчат.

– А теперь говорят: хочется жить, и жить хорошо.

– Разве это плохо?

Я пожал плечами. Меня так воспитывали, что это плохо. Да я и согласен был быть плохим. А тут появился Бадди и говорит мне, что нормально хотеть себе всего хорошего. Как Одетт говорила: «Живи долго и процветай», смешно расставив пальцы.

– Так что? – спросил Бадди. – Согласен ты поработать на меня?

– Уже и согласен. Мне интересно это все. А пушка будет?

– Ну что ты сразу за пушку-то хватаешься? Решать дела надо, по возможности, мирно. Это важно. Нечего приумножать насилие и боль.

Три чемодана самозабвенного самопожертвования.

Бадди легонько пнул бутылку и повернулся ко мне.

– Так вот, про кокаин. Сложность вот в чем: человеческий нос, как, впрочем, и лисий нос (от братьев и сестер нам обоняния не досталось), и носы большинства детей духа, этот запах различить не могут. Но ты – другое дело. В основном кокс мешают с анальгетиками. Иногда это можно почуять, иногда нет, в зависимости от пропорций. Но я хочу, чтобы ты натренировался так, чтобы вычислять мне, насколько перед нами качественный продукт. Там каждый грамм – золото.

– К чему стремится капитализм? Снизить расходы и повысить прибыль.

– Правильно. Видишь, вот главный урок Америки. Нам требуется снизить расходы и повысить прибыль. Очень точная формулировка. У меня есть контакты в Колумбии, Перу, Боливии, Эквадоре. Понимаешь?

– Крутой, что ли?

Бадди расслабленно, едва заметно пожал плечами.

– Немного. Подожди-ка здесь, Борис. Сейчас начнем твою тренировку. Ты, кстати, ощутил запах от кокса, когда пробовал?

– Ага. Сильный. Я еще удивлялся, что другу не пахло.

– А эффект тебе как?

– Хорошо запомнился.

Бадди засмеялся, и я махнул на него рукой.

– Прости, Борис. Просто если бы тебе продали настоящий кокс, было бы как минимум «потрясающе», а так с тем же успехом ты мог и «Тайд» нюхать.

Бадди пружинисто, не для рассветных, пьяных часов ловко встал, исчез за дверью, и я еще долго слушал, как он напевал «ом мани падме хум». На русском это звучит очень красиво, кстати, но уже не вспомню точный перевод. Что-то там про то, что все сокровища получает тот, чье сердце открыто.

Вернулся Бадди с пакетиком белого порошка. Аккуратно выстелил мне дорожку, и такой:

– Вперед.

Запах ударил мне в нос сразу же, очень яркий и очень своеобразный, не описать и не объяснить, ни на что это не было похоже, горькое, сильное, как бы травяное и химическое одновременно.

Ну и я нюхнул. И сразу – счастье, процветание, я царь и бог всего на свете. Вдарило в меня, выстрелило, а я и рад. Мысли скачут, одна быстрее другой, одна другой гениальнее. Тогда я еще раз, и еще нюхнул.

Не советую эту хуйню.

Глава 17. Удовольствие неземное

Еще у папки была сестра, ну или даже не совсем. Падчерица двоюродного дяди его. Она, значит, училась-училась в универе, а как Союз распался, у нее мамка тоже, того, проиграла битву с энтропией. Осталась девчонка одна с отчимом, а тот ее и не любил никогда. Из дома сбегала, чем только не зарабатывала, может и хуи сосала, этого не говорила, но об этом как-то думается.

В общем, села она на героин в девяносто шестом, может, году, да в городе Екатеринбурге – это запомнилось.

Про героин она, у нее было прекрасное имя, Светлана, говорила следующее:

– Самое паскудство, оно не в ломках, не в том, что ты себя уже не помнишь, это-то может и хорошо как раз. Самое паскудство в том, что, попробовав героин, ты уже знаешь, что большего удовольствия в твоей жизни не будет. Удовольствие неземное. После него жить нельзя.

У нее были пустые, тусклые глаза, безо всякого значения и смысла в них, и взгляд такой холодный-холодный, как у трупа, без блеска совсем.

– Вот о чем я жалею, – говорила она. – После этого вся жизнь закрыта. Тебя уже ничего не порадует так, ты со всем будешь сравнивать героин, и не в пользу всего. Счастливой я уже никогда не буду.

Она к нам и приехала, чтобы переломаться. Я маленький еще был, она со мной сидела, пока отец был в Норильске и дальше. А в Снежногорске-то что? Какой там героин, там и клей-то не всегда купишь. И пути назад нет, по воздуху и только так (единственное сообщение), ногами никуда не дойдешь.

Вот, и мне помнится, как она смотрела телик, будто мертвецки пьяная, явно ничего на экране не видя, из носа у нее текли сопли. Она была тощая как щепка и много плакала. Мне ее было до ужаса жалко.

А папка, что папка? Трахал ее, наверное. Ну, это я так думаю. Не своя же кровь все-таки.

Светочка грызла ногти до мяса, надолго запиралась в ванной, не могла есть и спать, ее все время блевало. Такая была у меня нянька. В конце концов она сбежала. Как-то утром я нашел на кухонном столе записку.

«Прости, Боря, у меня срочные дела».

Она была не злая девочка и вовсе не хотела меня ранить.

Все, пропала насовсем, я так думал, сторчалась. Наверное,

она и долбала героин еще пару годков. А потом папка от каких-то родственников узнал про нашу Светочку.

Что Светочка-то, оказывается, в каком-то сибирском медвежьем углу на монашеском попечении. Ничего не говорит, никого не слушает – о душе своей думает.

Монашки-то ее и спасли, наверное, может, и сейчас жива. Ну так чего там? Могла бы, например, полюбить меня или природу сибирскую, ан нет.

От неземного удовольствия земные не помогают.

А я-то что? Я – жалею. Ой, в жизни о чем не пожалеешь, того и не было с тобой. Но тут все по-настоящему. Сколько я сам у себя радости забрал, чего себя лишил – это уже не подсчитать.

Есть такой стереотип, прикольный, веселенький, что наркотики подразумевают яркую, насыщенную жизнь. На самом-то деле глядишь, как лошадь с шорами, вперед-вперед-вперед, к одной единственной цели.

Мне исполнилось двадцать лет. Я уже полгода батрачил на Бадди, и мне нравилось. Втянул в это дело Мэрвина, попросил Бадди ему, как зверик зверику, подсобить с работкой, и Бадди все понял.

Мэрвин-то ничего полезного для Бадди не умел, так что носился у него на побегушках.

Тут я выступил вот с чем. Сидим мы один раз с Бадди, угасились кокосом по самое не могу, и я ему говорю:

– Научи меня всему. Я тебе помогаю.

– Помогаешь мне кокос нюхать. – Бадди расслабленно улыбнулся.

Он умудрялся сохранять свою вальяжность даже под коксом.

– И следить!

И то и другое было весело. Я с видом эксперта сидел, когда Бадди договаривался о товаре, смотрел в серьезные бандитские рожи, а потом незаметно чиркал указательным пальцем о большой. Нервное движение, соринку, может, скинул, но в зависимости от этого сделка срывалась или совершалась.

А вот что меня больше всего поразило, так это какие они все деловые люди. Вроде пушка у каждого, а сидят что твои топ-менеджеры. И все мягко стелют, предупредительные такие.

Вот все-таки воспитывает пушка в человеке какую-то вежливость, обходительность, внутреннюю интеллигентность. А как знают, что у тебя пистолета нет, вдруг становятся таким быдлом, что глаза слепнут.

Еще я следил, что даже веселее. Я договаривался с братиками и сестричками, объяснял им (и это, да, было сложно), куда

пробраться и кого послушать. А они передавали мне, что услышали. Дальше начинался испорченный телефон. Они запоминали поток сигналов, для них-то совершенно не имеющий смысла, воспроизводили его мне, как умели, в совсем другой звуковой системе, и чего-то там (чаще все-таки имена) различить я мог.

На расшифровку послания у меня могло уйти полдня, но Бадди говорил, что это надежнее жучков, хотя бы потому, что их ищут и находят, а крыс – нет.

Вот, и все это было весело, но как-то пресно, для настоящей-то бандитской жизни. Мои нелегальные делишки? Смотреть на постные рожи, слушать писклявые голоса десятков братьев и сестер (каждый запоминает свой кусок, так удобнее).

– Я хочу, – сказал я тогда, – стать как ты. Всему научиться. Я тут, значит, тебе помогаю. Вот я себя в этом хочу найти. Научи меня быть бандитом. Прям настоящим.

Тут-то я уже стал задумываться о будущем. Если уж я во все это вляпался, то не мелкой сошкой же быть. Хотелось пойти дальше, набраться опыта. Освоить, так сказать, профессию. Все-таки была во мне тяга к учебе.

– Ты же понимаешь, что начать придется не с руководящей должности.

– Понимаю.

С людьми Бадди я практически не пересекался, разве что с телохранителями, надежными, неразговорчивыми парнями, вернувшимися из Ирака и не знающими, куда себя деть. Один был Филл, а другой вроде как Джексон, как Поллок. Так он и сказал.

– Ты не думай, – добавил я. – Бадди, я хочу понимать, кто я, и где, и что я. Я тебе не приложение к носу. Я могу быть полезным.

– Можешь, – сказал Бадди, задумчиво постучав пальцами по столу, это была узнаваемая, кокаиновая дробь. Бля, этот-то звук я везде узнаю, он мне иногда даже снится. – Я смотрел один стендап, и угадай, что я оттуда вынес?

– Жить тяжело и больно, а в конце еще и умираешь.

Бадди засмеялся.

– Это не моя шутка. Это моей подруги. Вот еще я чужие заслуги буду себе приписывать.

– Ну да ладно, – сказал он. – Что я узнал-то? Русские – самые жуткие из белых.

Когда он мне объяснил, чего хочет, я сразу и спросил:

– А поляки? Поляки – жуткие?

– Не очень. Но друга своего можешь взять.

Так мы с Мэрвином стали шестерами навроде коллекторов. Припугивали должников. Бадди и игорным бизнесом чуточку

занимался, а людей, которые не считали проигрыш чем-то серьезным, всегда было в достатке.

В основном-то мы с Мэрвином следили за ними, проводя полдня в жаркой машине и долбая кокаин. Самой работы-то там минут на пятнадцать.

Должничков было то густо, то пусто, мы месяцами могли сидеть без работы, а потом не вылезать из тачки, дурея от калифорнийского солнца, готового протушить нас, как брокколи.

Ничего не хочу скрывать, мне их всегда жаль было, всех до единого. Я себе представлял должников так: накокаиненные чуви в старых костюмах от Армани, спустившие папкины миллионы на автоматы. А оказывалось, раз за разом и неизменно, что это серенькие, частенько лысеющие (уж какая тут корреляция, хуй поймешь) мужички с печатью глубокой печали на обычных, совершенно ординарных лицах.

Ой, никаких приключений, сплошной бизнес. Ото всех сердце разрывалось, честное слово.

В общем, в тот-то раз мы тоже сидели в безнадежно перегретом за день «додже», в два часа ночи, и нюхали кокс с приборной панели, от этого замкнутое пространство становилось совершенно невыносимым.

Лично мне хотелось выйти из машины и орать. Очень сильно. Мэрвин говорил:

– Ты не представляешь, они все делают так неправильно. Надо со всем свериться, все понять, все увидеть. Что там сегодня по звездам, пустят тебя денюжку заработать или тебя будет от нее отталкивать.

– Пошел ты в жопу, Мэрвин! Не могу больше это слушать! Хоть бы раз, не знаю, про Гегеля поговорил, хоть бы слово умное от тебя услышать.

– И, поверь мне, я выведу формулу. Что-нибудь особенное. Чтобы выигрывать. Я буду знать день, когда сорву куш.

– Ты, сука, меня так заебал, не представляешь себе даже!

Мы друг друга перебивали, но казалось, что наши слова льются параллельно, не смыкаясь, две отдельные мелодии на одном нотном стане.

За мистером Коулом Полсоном мы следили уже неделю. Кое-чего про него понять успели. В целом все как всегда – выпивает, по пьяни вдруг возомнил себя мистером Удачей и проиграл деньжищ таких, что надо закладывать квартиру. Жил он в Даунтауне, не так далеко от меня, частенько засиживался в баре и, конечно, возвращался далеко за полночь, глядя на темный мир несчастными глазами навыкате. Такой это был смешной человечек.

Смотрим – там бомж толкает коляску, спизженную из супермаркета, тут кот нырнул в мусорный бак. Тишина, спокойствие, а нам весело, мы аж дрожим.

И вот он появился, а сегодня был день икс, собственно, сама работа. Короткий разговор, он их всех впечатлял. Особенно если они и раньше замечали нашу тачку.

Мы с Мэрвином вылетели из машины, ужасно нелепые, почти вывалились и направились к мистеру Полсону, который нас и не замечал как бы. Пьяненькая мразь, думал я, ничего-то ты еще не знаешь, ой как жалко тебя, моя бы воля, так в лоб бы поцеловал да отпустил на все четыре стороны.

Первым вступал Мэрвин. Его роль обходительного поляка удавалась ему на сто процентов, прям овации, и в зале каждый зритель пустил по скупой слезинке.

– Мистер Полсон! – окликнул его Мэрвин. – Здравствуйте!

Он обернулся, посмотрел на нас без интереса, только спустя пару секунд (ой, алкоголь-то – это депрессант, специфический нервный яд) сверкнул волнением.

– Кто вы? Откуда меня знаете?

– Я думаю, ты и сам все понимаешь, – сказал я.

Подал голос и замолк сразу же, рот-то захлопнул. Ой, я не хотел жалость показывать, у меня другая роль была.

Акцент, и мой и Мэрвина, слух мистеру Полсону резанул, на то и расчет. Впечатляет, когда среди ночи к тебе подходят незнакомцы, но еще круче, когда они совсем чужие.

– Помнишь, – сказал я Мэрвину на русском, – у «Гражданки»: «Раз иду по переулку, вдруг ко мне подходят двое, говорят: а ну, отдавай свое сердце».

– Точно, – сказал Мэрвин на польском. – Хотя я не все понял, что ты сказал.

Панславянизм, каким он должен быть.

Мистер Полсон смотрел на нас обеспокоенно. Он не знал, о чем мы говорили, и это его тревожило, трезвило.

Мэрвин снова перешел на английский.

– Так вот, мистер Полсон, пора бы вам деньги-то отдать.

– Но у меня их нет. Я бы отдал.

Он еще не просил, не умолял, просто пробовал воду на ощупь, нырнуть ли. Все они говорили именно это. Потом деньги появлялись. Опыт у меня был небольшой, но на моем веку двойное дно находилось у каждого кошелька, даже очень скромного с виду.

Мистер Полсон сделал один шаг назад. Инстинктивный. А глазки-то забегали. Думал небось, как его угораздило связаться со славянской мафией.

– Этнические группировки, – это мне Бадди говорил, – почему-то впечатляют больше. Даже обидно.

А мистер Полсон повторил с чуть более заискивающей интонацией:

– Нет денег. Я искал.

– Мистер Полсон, вы плохо искали. Но вы можете поискать еще. Мы просто хотим вам напомнить.

– Я сейчас полицию вызову.

– Не волнуйтесь, мы не собираемся вас бить или что-нибудь в этом роде. Двадцать первый век на дворе. Вам нужно собраться и понять, где вы можете достать денег. Это чисто деловой вопрос. Возьмите кредит.

От кокаина дробь Мэрвиновых слов становилась все чаще и чаще. Может, мистер Полсон понял, что мы еще и упоротые, глаза у него стали совсем испуганные.

– Вы не понимаете! Я недавно развелся!

– Мы все понимаем. Поэтому, мистер Полсон, у вас есть еще неделя. Посмотрите на это с другой стороны. Сегодня у вас все будет хорошо. И еще неделю у вас тоже все будет хорошо. Это точно.

Я уже чувствовал: мистеру Полсону будет достаточно одного раза. Кое-кто дотягивал до второго. После третьего-то ломались все.

Ой, я был за него рад, что ему много не надо. Нервы целее будут. В чем кайф-то людей мучить? Пусть даже пальцем к нему не прикоснулся, а мучаешь все равно.

Тут уж пора было мне вступить. Я-то свою роль не любил. Торговать мне нравилось куда больше, нужно было стараться обаять собеседника, найти подход, шутки там шутить.

А тут знай свое гни.

– А мне, кстати, кажется, что деньги-то у тебя найдутся, мужик. Вот у тебя тетенька есть. Ты к ней ездишь.

Сестра это была или любовница, этого я не знал. Ставил на любовницу, как-то она зажигательно мистера Полсона чмокнула при встрече.

– У нее машинка хорошая. Новенькая. Качественная. Славная машинка. Красная.

Я помолчал, изучая его лицо. Взгляд у меня из-за кокаина, должно быть, совсем расфокусировался, и это, я надеялся, придавало мне жути. Я уже представлял, как мистер Полсон трясется и потеет, рассказывая своей даме обо мне, говорит что-нибудь вроде: вид у него был совершенно неадекватный.

– Вот, – сказал я. – Все ты понимаешь, вижу, что понимаешь. Любит тебя тетенька?

Он только закивал. Мэрвин его чуточку расслабил, казалось бы, пронесло, а вот оно как. Старый как мир прием, и ничего нового-то придумывать не надо.

– Хорошо. Если любит, пусть машинку продаст. Немножко денег отдашь, у тебя времечко появится, чтоб еще найти. Ты ей по гроб жизни должен будешь, тетеньке своей.

– Что? Что вы сказали?

– Про гроб жизни. Это на русском. Поговорка такая. Значит, пока не умрешь. Пока тебя не положат в ящичек. Ты попроси тетеньку.

Мистер Полсон смотрел на нас во все глаза, и у меня было странное ощущение, будто он стоит перед нами голый. Или очень маленький.

Где-то вдалеке, за ним, я увидел силуэт своей мертвой мамки, с которой всегда капала вода. Ой, ты не вовремя.

– Не надо бояться, – сказал Мэрвин. – У вас все-таки еще есть время. Может, сразу вся сумма обнаружится.

– Давай на этом и распрощаемся. Время у тебя есть. И в следующий раз должно еще что-нибудь быть. Ты же честный человек. Я прям надеюсь.

Ой, думал, обоссыться он, но вдруг мистер Полсон весь подобрался, кивнул.

– Да, я постараюсь.

Прям школьник, который пообещал исправить двойку.

– Ну, тогда мы к вам больше претензий не имеем. Может быть, даже не увидимся никогда, – сказал Мэрвин. – Приятно было познакомиться, мистер Полсон.

А я подался к нему, оскалившись.

– Ну, иди по делам.

Мистер Полсон отшатнулся от меня, развернулся и посеменил навстречу спасению, в подъезд. Я засмеялся, а Мэрвин, хотя ему тоже хотелось, сдержался.

– Ну, чего, когда сломается? – спросил Мэрвин.

– Да на пятый день принесет, я уверен.

Мы вернулись в машину, допили колу в стаканчике из «Вендис», занюхали еще чуточку, чтобы освежиться. Бадди прикармливал нас дешманским кокосом. Я тогда ему был очень благодарен. Это потом, когда у меня руки тряслись так, что я стакан держать не мог, мне все на свете проклясть хотелось.

– Может, поехали куда-нибудь, выпьем? – спросил я.

– Не-не-не. Кася хочет, чтобы я иногда приходил домой. Ну хотя бы ночью.

Кася была скучная, тощая и дурная девчонка, единственное достоинство которой состояло в том, что она полячка.

– Ну, как знаешь.

Мэрвин все предлагал меня подвезти (тачка была и моя, и его, мы обычно так решали: кто дальше от дома, тот ее и забирает), но я вылез из машины, мне недалеко было.

Ночь стояла душноватая, влажная. В Лос-Анджелесе я почти отвык от смены времен года, для меня здесь все время было жарко, кто бы что ни говорил о комфортном климате.

Иду, а за мной мамка, как всегда, шлеп-шлеп-шлеп, как по лужам. Ой, я тогда обернулся, а ее не видно.

– Что? Не любишь меня больше? Все? Плохой я теперь сыночек? А чего ты тогда меня оставила?

Не, ну я не был в депрессивном каком-нибудь состоянии, даже наоборот. Я обвинял ее с жаром, как в каком-нибудь «Законе и порядке» (неоновые буквы заставки зажглись у меня под веками). Я был такой маленький, а она хуй на меня положила и умерла, незаконно это и непорядочно.

Я не грустил, а только злился. Мусорный бак вот перевернул, из него повылезали братишки и сестрички, поглядеть на меня, чего шумлю.

– Ну все, все, успокоился уже.

Старенькая сестричка привстала на задние лапки, спросила у меня, не больно ли мне, и я покачал головой. Вытащил из кармана шоколадный батончик, развернул да кинул родичам.

После этого короткого приступа ярости вновь захорошело, и я уже смеялся, шел да хохотал до самого дома. Поднимался по лестнице почти бегом.

Отец сидел на кухне, бухал водяру.

– Эй! Привет! Чего, как ты тут? С ума не сошел еще? Как погружение, алконавт?

– Борь, – сказал отец голосом, не предвещающим ничего хорошего. – Иди-ка сюда.

А чего я ему, маленький, что ли?

Прихожу на кухню, а там шторы раздернуты, и неожиданно – звездное небо, чуть ли не как у Ван Гога, у меня от кокаина свет в глазах так расплывался. Вот что меня всегда поражало: драма нашей жизни происходит на фоне таких потрясающих декораций. Пьеска-то дешевая, но обставили что твои Дягилевские сезоны.

Отец сидел неподвижно. Одна бутылка была пуста, вторая почата. Взгляд у него сверкал знакомый, немигающий.

– Это я у тебя хотел спросить, – сказал отец. – Как твои дела? Хорошо идут?

Голос его не выражал ничего. Он вообще-то даже не производил впечатления живого человека – в последнее время стал бледнее прежнего и все-все-все время кашлял. Но в этот

момент отец был жутким. Тень себя самого, а так меня испугал.

Тень, блядь, отца Гамлета.

Работал телик, но я ничего не слышал. Его отсвет падал на отца, высвечивал правую сторону лица, делал один его глаз светлее другого.

– Хорошо идут, – сказал я. – Славно.

– И костюмчик себе купил.

На тачку, на квартиру бабла пока не хватало, но вот хорошей одеждой я уже разжился. Бадди мне объяснил, как важно выглядеть отлично.

– С этого, – сказал он, – все начинается.

Вот чему Бадди меня научил: выглядеть надо дорого, жить-то можно в комнатушке с одной кроватью, питаться лапшой быстрого приготовления, но от одежды зависит успех. Годный шмот – инвестиция в будущее, во как.

– «Армани» типа?

– Это «Бриони».

– Ну да. Понятно. Хорошо стал жить. И у меня денег не просишь.

– Не прошу.

– Бабла еще оставил.

– Оставил. Вдруг тебе надо.

– Хороший сын.

Шизогенный у нас выходил диалог. Я вообще не понимал, что папашке надо, а в лице у него ни кровинки, ни искорки – тоже не додумаешься.

– Ну что такое? Что?

– А у тебя нет идей?

– Ты можешь со мной нормально говорить или нет? Чего ты привязался? Чего тебе надо?

Я нервничал, и он это видел. Отец склонил голову набок, рассматривая меня с пристальным, странным, предъяростным любопытством. Потом он запустил руку в карман и вытащил пакетик (в такие, знаете, бисер насыпают) с кокаином. Мой неприкосновенный запас.

Папашка выложил его, как Флеш рояль за покерным столом, как доказательство своей правоты в споре, который я даже не начинал.

– Это, сука, что такое?

– Ну, попробовал бы, узнал.

И тогда он мгновенно, с невероятной для его состояния (вечно пьяный, вечно больной) ловкостью, поднялся и двинул мне. Хорошо так. Зуб пришлось делать новый, лучше прежнего.

Давно он меня не бил, чем взрослее я становился, тем все

реже это со мной происходило. Но в этот раз мне не было больно, кокс – здоровский анальгетик, хотя его эффект уже начинал рассеиваться. И в этот раз мне не было страшно, вот когда он меня все-таки ударил, страх как рукой сняло. И я ебнул ему в ответ. Тоже по-настоящему. Тогда все было по-настоящему, удовлетворилась моя, как сказала бы Эдит, страсть к реальности, завершилась погоня за ней.

Я ощущал все с небывалой четкостью, и звучит очень-очень странно, но это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Я не ненавидел отца, не полностью во всяком случае, но как же я рад был ударить его снова и на этот раз не убежать.

Кровь на его губах, которую я видел, кровь на моих губах, которую я чувствовал, – мы были так похожи, так нерушимо связаны, и в этот момент я подумал, что никогда его не потеряю.

То есть ощущение такое, какое испытывают, наверное, телочки, бьющие парную татулю с подружками, или мужики, которые братаются в армии, или те, которые узнают о беременности своих девчонок. Люди очень разнообразно строят отношения, но все они стремятся к вечности. Вот тогда я к этой вечности прикоснулся. Я оскалился, готовый ударить отца снова, а он сплюнул кровь в стопку из-под водки, поглядел на меня.

– Ладно, – сказал он безо всякой униженности, наоборот как бы и с гордостью за меня. – Тогда давай поговорим.

Сел я, так сказать, за стол переговоров и уставился на него.

– Чего ты хочешь от меня? Чего тебе надо?

Мне показалось, что он, как в старые времена, ухватит меня за подбородок, будет давить, пока десны не станут горячими от боли. Но отец сидел неподвижно. Пакетик с кокаином лежал между нами.

– И чего? Хорошо оно?

– Славно.

– Я-то думал, ты свою жизнь захочешь с пользой потратить. Думал, раз тебе не надо великих целей, может, приличным человеком станешь. А ты урод уродом. Наркоша вроде тебя того не стоит. Знал бы, кем станешь, я бы тебя заставил.

– А теперь не можешь заставить, а? Потому и злишься?

– Блядь, Борька, ты ебнутый? Я тебе шанс хотел дать, на нормальную жизнь. А ты ничего не умеешь. Ничему не хочешь учиться.

Ой, да я учился, только как же ему это объяснить было.

Отец к таким речам был не приучен. Это вроде как он мне мораль читал, да не про землицу, не про тьму тьмущую, а про всякие там «скажи наркотикам „нет“» или «выбери чистое будущее». Не привык он к этому и слова с трудом подбирал.

Не было в его голове словаря по такой теме. Сам не умел себя беречь.

– Все равно ты себя убиваешь, – выдавил из себя отец. – Что толку, что ты небо коптишь, работу свою не выполняешь, свой долг, если ты все равно себя убиваешь?

Он не у меня спрашивал, у кого-то выше, лучше и мудрее меня. У Бога, может. А смотрел на меня, пристально так и жутковато. Я подумал, что сил меня убить у него все-таки достанет, примерился, что ебну его бутылкой, если чего.

Повторил он задумчиво:

– Ты себя убиваешь.

И я в этот момент ясно понял, как в зеркало поглядел, что именно у него болит. Я мог сделать ему еще хуже. Глядим друг на друга, и я ему:

– А может, я ничего другого больше и не умею.

Все. Взгляд у него стал мутнее, холоднее, ой, в такой морозной воде мамка моя тонула. И я понимал, в этот момент он решает, броситься на меня или нет.

Не бросился, потух.

– Я умираю, – сказал.

Смотрел я на него и думал: господи, да как же ты можешь умирать, ты ж не жил никогда, ты всю жизнь только одно и делал, что дох, как собака.

– Чего?

– Чего слышал. Пасть захлопни. Я знаю, что скоро умру. Пиздец мне. Так тебе доступнее?

Это была странная минута, невероятная – я не верил ему, и я знал, что он абсолютно прав. Я видел это где-то, в лице его, во взгляде. Пока все это было смутно, никакая не печать смерти, ничего такого, легчайшая тень из мест таких далеких, что лучше о них и не думать.

Смерть, так я тогда все ощутил, это пространство. Бессолнечное, безвоздушное место, какая-то сплошная пустыня, в которой одна только ночь, беззвездная, бесшумная, сплошные отсутствия.

И вот это пространство, казалось, дохнуло на мой привычный мир, дверь в него приоткрылась.

Я себя не обманывал, старался не делать этого.

Меня продирала дрожь, я глядел на отца почти с ненавистью.

– Доигрался, значит.

– А ты не доиграешься? Ты – сука неблагодарная, Боря. Я дал тебе шанс, а ты спустил его в унитаз.

Вот почему он хотел со мной поговорить. Знал, значит, что немного у него времени, чтобы мозги мне вправить. А я в этом не

нуждался, и нечего было меня лечить.

То пространство, темное подземелье, чье присутствие я ощутил, все росло и росло, вот-вот весь мир проглотит.

– Ты работать-то прекратишь?

– Не прекращу.

И мы снова надолго замолчали. Отец подтянул к себе бутылку, сделал глоток прямо из горла.

– Чего мне терять-то?

– Вскрывать тебя будут. Пожалей людей.

Отец прополоскал рот водкой, сглотнул.

– Я тебя жалею.

– А ты все о своем.

– Ты зачем эту хуйню попробовал?

– Не знаю. Интересно было. Твое какое дело?

Я вдруг понял, что у отца нет больше власти надо мной. Никакой. Что его день – вчерашний, а мой – уже завтрашний. Я откинулся назад, покачался на стуле, глядя на него.

– Деньги-то я зарабатываю. Ты уж не беспокойся. Денег у меня будет много.

– А у тебя хоть что-нибудь, кроме денег-то, будет?

Тут уж я мог бы сказать, а может и стоило, за все те годы, что-нибудь вроде: я-то буду живой, жизнь у меня будет.

Но я сдержался. Потому что часть меня, может самая важная даже, любила его отчаянно и так же отчаянно не хотела терять.

Отец закурил, выпустил дым прямо мне в лицо.

– С бандюгами там якшаешься?

– Работу работаю. И не твое дело какую. Вот время твое подошло, и что-то узнать обо мне захотел, а? Нет, сука, не выйдет у тебя. Хороший теперь стал, да? Любишь, волнуешься? Теперь Борька плохой, блудный сын.

Отец вздрогнул, а я вдруг понял, что сказал. «Время твое подошло» сказал, и очень уж похожей формулировкой отец своего собственного папку, уже мертвого, одарил.

Прошло твое время. Время твое прошло.

Отец глядел на меня во все глаза, но слабости в нем не чувствовалось. Он заранее смирился со всей дурнотой, тошнотой, ужасом жизни, ему не надо было поблажек. Он знал, как все закончится. И для нас с ним – тоже.

– Пообещай бросить.

– Пошел ты на хуй, папаня. Слышал меня? Пошел в пизду.

Я взял бутылку, плеснул водки в рюмку с его кровью. Глядел, как кровь разбавляется, как розовеет.

– Там тебе самое и место. Ты всю жизнь на могилки хотел, пожалуйста! А я, я буду жить! Буду дышать. Думать. Говорить.

Стану зарабатывать деньги. Много денег. Книжки буду читать. Любить буду. А ты помрешь. Потому что так все устроено. Потому что ты этого хотел.

Махнул я рюмку с кровью отца моего и, видит бог, вкуса не почувствовал, ой никакого, другим занят был.

– Ну, удачи тебе. Надеюсь, долго ты мучиться не будешь. Я тебя и жрать не стану. Схороню тебя так. В землице американской. Первостатейно схороню. Никто не прикопается.

Я вскочил как ужаленный, схватил пакетик с кокаином, сунул его в карман и пошел из кухни вон.

– Сука, блядь, – сказал я на прощание.

А отец вдруг ответил, голосом странным, скрипучим, хлипким, как прогнившая дверь. Куда она вела – хуй знает, его было не прочесть.

– На меня посмотри.

И я посмотрел. Он удовлетворенно кивнул.

– Чего, думаешь, не вернешься сюда?

И он мне улыбнулся, странно, криво, неумеючи. Зубки-то у него почти все были искусственные. А ведь ему было-то, господи, пятьдесят лет.

Я пулей вылетел из дома, бежал вниз по лестнице и прижимал к уху мобильный. Телефон у Эдит был отключен. Ой, как она мне была нужна, как я хотел увидеть ее тотчас же. Чтобы она просто послушала о том, что со мной приключилось, покивала бы, сказала бы какую-нибудь заумь.

Я решил нагрянуть к Эдит неожиданно. Вызвал такси, постоял, покружился, подождал. Ну, как тут усидишь на месте? В виски мне как по раскаленному гвоздю забили – отчасти из-за кокса, отчасти из-за того, что отец про себя сказал.

Как так умирает? А я-то рад?

И то было, и это. Ой, врут, что люди простые, что люди любят или ненавидят. Правду говорить надо. Правда, она в том, что нет ничего простого и правильного. Мне было больно, я волновался и был расстроен, уже думал, как все обставить с его похоронами и боялся представить его мертвым, я сочувствовал ему, и я хотел плюнуть ему в лицо, я смеялся над ним и плакал. То есть на самом-то деле я не смеялся и не плакал, только башку все чесал, а залез в такси, так и стал курить одну за одной, пока не приехали, сигареты изо рта не выпустил. Таксист со мной и не заговорил даже, только спросил, куда мне, и тягостно замолчал.

То ли у самого у него что-то приключилось, то ли я к общению как-то не располагал.

В Пасифик Палисейдс было тихо, ни птичка не крикнет, ни машина не пройдет, один только шум океана, бесперебойный,

мерный. Я снял ботинки и носки, шел по теплому песку босым.

О чем-то я должен был крикнуть в такую тихую ночь, да не придумал о чем.

Эдит небось спала, не хотелось ее будить, но я так соскучился, и я так хотел посидеть рядом, вместе с ней надо всем подумать.

Это странно, но мы, пойдя совершенно разными дорогами, не расстались, не отдалились друг от друга. Вот Эдит училась в рафинированном универчике, готовилась стать зернышком в поле академической науки, а кем был я?

Ой, да лучше и не отвечать, есть такие вопросы.

Лег я в конце концов на песок да глядел на небо. По нему плыли молочные, тонкие кружавчики облаков.

– Ой, Боречка, – сказал я. – Почему с тобой все это приключилось?

Вот я далек от мысли, что все сплошная судьба. Кто знает, кому что выпадет, а все же и сами чего порешать можем. Виноват я был, да перед собой в первую очередь. Но жить с этим можно. Так я решил и, наконец, поднялся самым непостижимым образом.

Эдит мне не открывала. Я все звонил и звонил в дверь, потом звонил ей на мобильный, и, когда уже плюнул на все, дверь распахнулась, меня обдало теплым, оранжевым светом, чем-то домашним.

И знакомым, сладким, прекрасным запахом Одетт. Я обернулся.

– Ты так надрывался, – сказала она. – Я тебя прям пожалела.

Волосы ее были собраны в обычную прическу (лет в семнадцать Одетт полюбила носить две гульки на голове, как рожки или мышиные ушки, и с тех пор своей привычке не изменяла), но некоторые пряди выбивались, и было видно, что они мокрые. Как они блестели во все наступающей тьме, с которой боролся прямоугольник оранжевого света. На Одетт была длинная майка с надписью Pride на радужном фоне, лифчика под ней не было. С трудом я заметил под майкой джинсовые шорты, коротенькие-коротенькие, светлые.

– Где Эдит? – хрипло спросил я.

– У нее киноночь. Смотрит там Висконти со всякими другими снобами.

– А ты как, душа моя?

– Что это ты шекспировским слогом заговорил?

Секунду я решал, правда, значит, или вызов. Выбрал правду.

– У меня вроде как отец помирать собрался, и я всю ночь долбал кокаин.

– Какой ты непосредственный.

Одетт поглядела на меня, раздумывая, потом отошла от двери, тень ее, легшая у моих ног, исчезла. А я и тени был рад, конечно.

– Проходи. Хочешь кофе? Или тебе нельзя? Наверное, тебе нельзя. Ты ведь все еще под кокаином?

– Да уже не особо. Он быстро выветривается. Можно всю ночь гасить.

– Спасибо за интересную информацию.

Вела она себя и холоднее, и приветливее обычного. Не то жалость ее вправду взяла, себя вспомнила, когда у нее отец умер, не то любопытно стало.

Дома никого не было. Мать Одетт, Мария, и отец Эдит, Морис, вечно были в разъездах. Дочки сорнячками росли.

– А ты что не в универе своем?

– На выходные приехала. У нас сессия с Колином по «Миру Тьмы».

Ее птичий, задротский язык я уже понимал. Она мне, если уж мы сталкивались, обычно присаживалась на уши по поводу своего «Мира Тьмы».

– Помнишь я тебе рассказывала? «Мир Тьмы» как наш, только мрачнее. Я в той истории играю за Малкавианку. Малкавианы – это такой клан сумасшедших вампиров. У моего персонажа эпилепсия, и вот я думаю, это все же скорее неврология или психиатрия? Можно ли взять Малкавиану неврологическое заболевание? Вот за Тореадора было легче, играла я одного паренька…

– А чего тебе в «Мир Тьмы»-то играть, ты в нем живешь. Вот тебе мир, вот тебе тьма.

Она засмеялась.

– Чтобы отвлечься.

Раньше-то она в DnD гоняла, вот уж легче было понять. Сказала, что все русские хаотики – нейтралы. Даже обосновала как-то.

– А как учеба идет у тебя?

– Сказочно! – сказала Одетт. – Только много лишних предметов. Упоролись бы мы уже в конструктивное программирование. Пока просто программить учат. Я уже много умею. Самое интересное сейчас – обзор современных робототехнических устройств. Но еще есть химия, к примеру, химия бесит. Но у гуманитариев все еще хуже. Колин вот по приколу выбрал себе предметы: основы христианского богословия и эволюционную теорию. Он теперь биолог-теолог.

Она звонко засмеялась, уверенная в том, что я знаю, кто такой Колин.

В ней было, знаете, очарование болтливой малышки, в этих ее длинных монологах всегда оставалась какая-то подкупающая, бесполая нагловатость.

Как мы в дом зашли, сразу я напрягся. Слушал ее, правда, внимательно, но что-то было не так.

– Колин Бейтс, ну, помнишь его?

– Да наверняка, – я зубасто ей улыбнулся, а сам пытался понять, что ж такое-то.

– А что там с отцом-то твоим?

– Болеет.

– О. – И тут она сказала самую отмороженную фразу, которую в этой ситуации можно было представить: – Ну ничего, вот он умрет, и тебе станет легче.

– Чего?

Одетт обернулась ко мне, и по глазам ее я увидел, что она меня жалеет. Что ей правда за меня грустно, просто она по-другому помочь не может, других слов не знает.

– Тебе кофе с сахаром?

– Да. Две ложки.

– А, точно! У тебя так будет диабет. Это чудовищно вредно.

Тут я понял, в чем дело, меня мгновенно этим знанием проняло. Она хорошо отмылась, уже несколько раз после того, как все случилось, но от нее все равно пахло чужим мужчиной.

– А мальчик у тебя есть? – спросил я.

Не мальчик, но муж, блядь.

Одетт почесала нос, потом отвела взгляд.

– А тебе какое дело, Борис?

Она приподнялась на цыпочках, чтобы достать блестящую банку с молотым кофе. А я так и стоял, обалдевший от этой новости. Кто-то ее трахал, мою Одетт. Пока я тут преданно ждал, когда у нее начнется охота до мужика, кто-то ее, значит, оприходовал.

– Нет, ну скажи.

Я заискивал, нежничал, а внутри у меня все сжимало, кололо, резало. Да я с ума сходил.

– Борис, отстань. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. А что, если и есть? Кстати, классный костюмчик. Эдит бы оценила.

Одетт хотела сказать что-то еще, но не успела. Потянулась за чашкой, но я в эту секунду подался к ней, сгреб ее, такую маленькую и в тот момент невероятно испуганную, и впервые в жизни поцеловал. Чашка грохнула о столешницу, разлетелась, и я вспомнил тот старый стакан со щеглом и его осколки в крови.

А потом уже ничего не помнил, так мне было сладко и правильно.

Нет, с девчатами у меня проблем не было. Я все время с кем-то встречался, только что не очень долго, все время влюблялся, страстно и как будто раз и навсегда, а потом быстренько остывал. Константой в моей жизни была Одетт, такой яркий огонь она во мне пробудила, что он никак не затухал.

И вот я ее целовал, мою, долгожданную, любимую, прекрасную-распрекрасную, невероятную, пахнущую так остро, горько и сладко, тысячу раз сладко. Она сначала замерла, испуганная, маленькая мышка, свела плечи, пискнула как-то затравленно, а потом вдруг стала отвечать, сама подалась вперед, ко мне подалась, и обняла так крепко, прижалась всем телом.

Под шортами она уже была влажная. От одного-единственного поцелуя. Нет, серьезно, у меня были девчонки, которые любили ебаться. Вот, ну, к примеру, Нэнси. Нэнси вообще-то зависала в Голливуде, пытаясь найти работу. Она даже снялась в массовке в какой-то серии «Во все тяжкие», чем безусловно очень гордилась. Пела – атас просто, очень хорошо. И любила сосать хуй, говорила, сперма полезна для связок. Вот это, думал я, девчонка любит секс и умеет им заниматься.

Одетт была другой, такой, какой я уж точно не ожидал ее увидеть. Мне казалось, что она вся такая холодная, капризная принцесска, казалось, что и в постели будет думать о Германии или типа того. А в ней нашлось что-то первобытное, страстное, и господи боже, я себя не хвалю, но стонать она начала, как только я коснулся губами ее шеи.

Целовались, ласкались мы не так чтобы долго, но жадно, с голодом, с какой-то даже тоской о том, что это только началось, а уже заканчивается. Я завалил ее прямо на пол, оставил ей укус на загривке, пока стягивал с нее шорты. Она была влажная вся, это было круче, чем признание в любви. Я сам себе не верил, что со мной это происходит. Не должно было, я этого не заслужил, особенно сегодня.

Вот ты мечтаешь о ней, об одном поцелуе прекрасной дамы, а тут она лежит под тобой и гортанно вскрикивает, пока ты трахаешь, трахаешь, трахаешь ее, прямо на грязном полу.

Я ей что-то шептал, не «я тебя люблю», конечно, нет, это в сердце у меня хранилось, в самой глубине, за семью замками. По-моему, я шептал:

– Тихо, тихо, т-ш-ш.

И шептал я не на английском, но она как-то, по интонации, что ли, все понимала, зажимала сама себе рот с детской, какой-то вдвойне заводящей непосредственностью.

А я думал, был у Одетт еще кто, кроме того, из-за которого я тут ее, прямо на полу? А если и был кто, то со всеми она, какая

сейчас была? А как ты себе эти вопросы не задашь?

Подумал еще, в коитальном, так сказать, угаре: назовет меня чужим именем – убью. Но она меня никак не звала, только стонала так протяжно.

Это я потом узнал, что у нее всегда так, что она и заплакать может, когда ее трахают, а тогда все боялся, что больно ей делаю, по голове гладил, целовал ей скулу, висок, но не замедлялся, нет.

Очень мне ее хотелось, так что невозможно было.

Такое у меня настало счастье, я ее любил, и вот она у меня, подо мной, даже лучше, чем я думал, такая податливая, теплая, звериная. А говорят еще, что немочки отмороженные.

Мы с ней вообще ничем не озаботились, я понятия не имел, пьет ли она какие-нибудь там таблетки. Но, а я это чувствовал, сегодня ничего и не могло получиться, плохой день для этого самого. Может, Одетт это тоже знала, а может, ей мозги отшибло.

В отличие от других страстных девчонок она была ласковой, не было в ней иступленной злости, с которой они царапались и кусались, с которой кричали. Она была податливой, нежной, чудной-чудной, просто замечательной.

В первый раз все у нас быстро закончилось, я так ее хотел, и вот уже лежал на ней, вылизывал ей загривок. Я хотел вылизать ее всю, чтобы она мной пахла.

– Борис, дай мне перевернуться.

– Подожди.

Я чувствовал, как у нее сердце билось, самое страшное таинство слышал, как у нее легкие раскрываются. Я любил ее, господи, в тот момент еще сильнее, потому что она стала моей, потому что, когда перевернулась, такие у нее были раскрасневшиеся щеки, потому что говорила она хриплым, будто после сна, голосом.

Она смотрела на меня безо всякого стыда, без вины за случайный секс, глаза у нее были мутные, туманные, теперь совсем как с фаюмских портретов, как у тамошних мертвецов, смотрящих на туман небытия, обволакивающий их.

Я каждую веснушку ей целовал, я ее раздел, рассматривал ее тело, я б ее по суставчикам разъял, чтобы ничего не пропустить.

Второй раз мы снова все сделали на полу, только я ее перевернул, смотрел ей в глаза, в ее прекрасные, невероятные, энкаустические глаза.

И она целовала меня сама, с каким-то искренним, ласковым, живым драйвом. Она впервые не была холодна, вот чего.

Потом мы делали это в комнате, в ее кровати, и я вжимал ее в подушку со значками даров смерти из «Гарри Поттера». Когда я проходился языком по ее телу, вылизывал ей плечи, ребра, бедра,

коленки, щиколотки, она так дрожала.

Короче, мы всю ночь занимались этим. Я ее так хотел, как подросток, даже когда мы устали. Тогда пошел в ванную, как бы помыться, и еще понюшку загасил, чтобы дольше, слаще ее трахнуть.

Угомонились мы, когда в окно уже бил солнечный свет. Господи боже, то было самое яркое солнце в моей жизни, лучи его были золотыми, она вся была в свете и в синяках и засосах, которые я ей оставил.

Я задернул темные шторы (необходимы любой девчонке, привыкшей по ночам играть в компьютерные игры), и мы оказались в полутьме. Одетт так пахла мной, моим телом, и еще одурительнее – самой собой, обнаженной, взмокшей от пота. К тому моменту, как я вернулся в постель, она уже засыпала, а мне сон не шел. Я целовал ее волосы, обнимал ее и ни о чем не думал, но и не спал. Шатал языком зуб, который так ослабел от удара отца, от того, как Одетт орудовала языком у меня во рту.

Подумал, подумал, да и выдернул этот зуб. Почти и не больно было.

Положил его под подушку. Для зубной феи.

Глава 18. Да кому ты такой нужен?

Ой, двоюродный мамкин дядя – вообще песня. Ему на производстве руку откорнало. Работал он вроде как на консервном заводе, и вот такая с ним приключилась драма. Он с горя уехал из Минска в Могилев, к родичам. Пил – свинья свиньей, но ему простительно. Приняли его две родные сестры, одинокие тетьки, ухаживали за ним, следили, чтоб не кинулся с балкона (повеситься-то ему несподручно, застрелиться не из чего, а травиться не по-мужски как-то). Бабы они были сердобольные, но били его, когда нажрется, с силой, с желанием перевоспитать. Устроился он тогда работать вахтером, чтоб людям глаза мозолить.

Он-то молодой был в то время, и как же ему было обидно, люди-то на танцах, в кафешках, в кино, мороженое едят и целуются, особенно летом спасу от них нет. А он – человека кусок.

Ой, да кто его будет винить-то за то, что не доходило до мужика, что все мы равны, что нет любви в мире, которая руки да ноги считает, что человек всегда человек, чего б не было у него, одно только плохо, когда души нет. Короче, это все хорошо, правильно, да только плохо человеку, у него все трепещет, все отсутствия напрягаются (фантомные боли, значит), и он хочет только, чтоб и его любили тоже. Можно понять, отчего озлобился, чего не так-то с ним. Вот, значит, вахтером при каком-то НИИ хренологии проходу никому не давал, и вдруг – ба, влюбился!

Она была лапочка, умница, глазастая, с золотыми волосами работница пищепрома. Красилась тенями «Елена» от фабрики «Рассвет», и чуточку лилового всегда мешала с румянами, как она говорила, «для картинности».

Не замечала его, ясное дело, заглядывалась на молодых аспирантов, а он тосковал, выл с горя, у него любовь была до небес, как вавилонская башня. И тоже все кончилось непониманием.

Вот, значит, купил он ей тени «Елена» от фабрики «Рассвет», коробочку, по форме она была как рыбка, сунул в карман, взял еще цветов. Не мог он, понимаете, в одной руке нести подарок, а в другой – букет. Подошел к той девчонке, а звали ее Люсенька, сказал:

– Людмила, я вас люблю, давайте вместе гулять!

Ой, а она такая скользнула красноречивым взглядом по его пустому рукаву и сказала:

– Да кому ты такой нужен-то?

Затаил мужик боль в глубине сердца, как занозу, и пошел домой. Тени «Елена» от фабрики «Рассвет» отдал старшей сестре, та прорыдала от счастья два часа, а он и не рад.

Лег, значит, и лежит, не шевелится. Сестры ему носили сливы и абрикосы (то лето было, пора любви, значит), а он их не ест. Два месяца так пролежал, только на работу вставал как автомат, но и там сиднем сидел, без движения почти. Потом отпустило мужика, стало ему спокойнее, с чем-то в себе смирился, может, и говорит сестрам:

– Пойдемте, девочки, я вам картошку пожарю.

Опять все плакали от счастья.

А через пять лет встретил свою Юлечку, младшего технолога, умницу-девочку, которая руки не считала. Там даже хеппи-энд был, дети пошли, один в девяностые поднялся хорошо, у него в Минске пять ларьков было, все с поддельным польским косметосом Ruby Rose.

А тени «Елена» от фабрики «Рассвет» ушли в прошлое вместе с такими вот романтическими историями.

Что касается меня, я был таким счастливым. Прижимал к себе Одетт, маленькую, хрупкую мышку. И сейчас помню, как она тогда дышала, как вздрагивала во сне. Так мне и не удалось заснуть, это я с кокосом перебаловался. Пролежал без сна, все притягивая ее к себе, она мне порядочно руку отлежала, так что пальцы едва шевелились, вот потому и вспомнилась та давняя история.

Кокс выветрился и должен был оставить после себя депрессняк, но любовь, может быть, и вправду спасает. Чувствовал я себя славно, вот прям кроме руки, кровь туда поступала слишком уж ненадежно. Во всех остальных моих частях царили мир да благодать.

Я заполучил ее, и теперь изучал выбритый клинышек волос, идущий по ее затылку, изгиб шеи, пухлые, сухие со сна губы. Я приподнимался и смотрел на нее, а Одетт, чувствуя мой взгляд, шевелилась во сне.

В конце концов я осторожненько высвободил руку, которую тут же пронзило звоном и нестерпимым зудом, пошел в ванную – пожевать пасту, и вспомнилось мне, как я был еще подростком, и Одетт дала мне бинты для Эдит. В тот день я в Одетт влюбился, минуты за три до того, как получить бинт.

Вот, вернулся, лег обратно, и тут она зашевелилась. На то и расчет был. Сразу я ее поцеловал, свеженький, умытый, а губы у нее после сна были невероятно горячие, шершавые. Она ответила мне, потянулась, пробормотала что-то, обнимая меня. Еще разок мы все сделали, и потом она минут пять полежала, молчаливая,

водила пальцем по моей шее с интересом маленькой девочки.

– Ты знаешь, – сказала она, – я с детства в этом смысле так часто тебя представляла.

И тут же, не давая мне развить тему, она добавила:

– Представляешь, как разозлились бы мои предки из Кобурга, что я с тобой переспала?

– Ой, да, может, ты и сама русская, – сказал я. – В каком вот году твоя бабка родилась?

Она засмеялась.

– Ты ужасный, Борис. А как это ласково? На твоем языке.

– Боря.

– Боря.

– Это как бы просто нормально. Неофициально. Еще ласковее – Боренька. А совсем ласково – Боречка.

– Боречка. Боренька. Боречка – это, наверное, для секса. А Боренька, когда о чем-то просят. Вроде как «Боренька, пожалуйста, не уходи».

Теперь уже я смеялся. Одетт вдруг посмотрела на меня странно, глаза у нее стали круглые-круглые, совсем печальные.

– Где твой зуб?

– Ты съела.

– Нет, я серьезно. – Одетт погладила меня по щеке и тут же засмеялась. – А, я знаю, это у тебя цинга. Потому что ты сидел в ГУЛАГе.

– Вообще, если уж мы хотим быть совсем точными, то ГУЛАГ – это подразделение НКВД такое. А лагеря – это части системы ГУЛАГа, – вот как я перед ней понтануться пытался.

– Этому тебя в ГУЛАГе научили? А у тебя кто-нибудь там сидел?

– Кто сидел, а кто и сажал. По-разному.

Она была такая игривая, любопытная, противная девочка, сказка просто. Одетт прижалась ко мне ближе, заглянула в глаза.

– Нет, ну серьезно, что с зубом, Боря?

Мое имя она произнесла старательно, как на уроке.

– Выбили.

– В уличной драке?

– В домашней, – засмеялся я.

Одетт потянулась к тумбочке за бальзамом для губ, изобразила жаждущую в пустыне, ползущую к воде.

– Не могу достать! Боря, помоги!

Я передал ей жестяную коробочку с бальзамом, Одетт намазюкала им губы и так запахла медом. Она у меня под боком пригрелась еще на какое-то время, а потом вдруг вскочила, схватила мобильный.

– Ух ты, вот это я опаздываю!

А я думал, как все просто, как правильно.

– Ладно, без меня меня не начнут, – сказала Одетт. – Но все же заставлять всех ждать – просто ужасно. Там пицца, кола и пятисотлетний коварный Старейшина.

– Господи боже мой.

Она ходила по комнате голая, безо всякого стыда, выбирала, что надеть, а я лежал и смотрел на нее. Мне было чуточку неловко вылезать из-под одеяла, я этого и не сделал, пока Одетт не скрылась в ванной. Я слышал, как она поет, нервно, немелодично. Тут же из ласковой, нежной девочки Одетт превратилась в дерганую мышку.

Я надел свой помятый костюм, долго стоял перед зеркалом, рассматривая такого замечательного себя – тощий, без зуба, в несвежем «Бриони», только что из постели девчонки, о которой мечтал со школы. Во рту у меня еще оставалась сладость ее бальзама для губ.

Она вышла, скользнула к зеркалу передо мной, и я тут же притянул ее к себе.

– Ты это видишь? – сказала она, ткнув пальцем в один засос, затем в другой.

Под кожей – маленькая лужица крови, лопнувшие сосудики, сувениры ото всех часов, когда она моей была.

– Вижу, – сказал я, и Одетт шумно, раздраженно выдохнула.

Она вывернулась, вернулась с платком, повязала его на шею и вновь замерла перед зеркалом.

– Незаметно? Как думаешь?

– Ну, вообще-то это такая очевидная уловочка, не думаю, что кто-то у вас там такой наивный. Хотя это ж задроты. Сойдет им.

Я стянул с нее платок, повязал ей его на русский манер, притянул Одетт к себе поближе.

– Я тебя увезу в Россию. Будем с тобой жить хорошо. Дети будут. И роботы. Будешь сидеть дома и делать роботов.

Одетт засмеялась.

– А запчасти мне приносить будешь? Иди лучше медведя завали.

Почти без паузы она добавила:

– Ну все, пора. Извини, завтраком не накормлю.

– Вот, а я думал ты сразу станешь суп варить.

Она обернулась ко мне, сощурилась.

– Такой ты ужасный.

– Вот это-то тебе и нравится.

И тут она чуть заметно, но все-таки покраснела. Я ущипнул ее за щеку.

– Пошли. Раз уж ты спешишь к пятисотлетнему вампиру.

В такси мы целовались снова и снова, так что водитель кидал на нас все эти приятные, завистливые взгляды вроде «молодежь пошла» или «эх вы, постеснялись бы!». Но мы не стеснялись. Я гладил ее обтянутые серыми джинсами коленки и шептал ей:

– Такая ты хорошая, такая славная, такая красивая.

– А стихи мне будешь читать?

– Я знаю только у Маяковского про мертвую Марусю. Там, знаешь, в гробу Маруся спит.

– А почему она там спит?

– Отравилась из-за несчастной любви.

Вот остановил мужик тачку у какого-то антикафе, и Одетт вывернулась из моих рук, помахала мне по-детски.

А потом я никак не мог дозвониться до нее, ни вечером, ни на следующий день. Приехал, а она уже умотала в Массачусетс. Мне открыла Эдит.

– Где Одетт?

– Привет, Борис.

– Нет, ну где Одетт?

– Одетт уехала. Кстати, она сказала мне, чтобы я ни в коем случае не говорила тебе номер ее кампуса. Интересно почему?

– Вот сука.

– Следи за языком, это моя сестра.

Эдит увела меня на кухню, и я всю ночь пил водку и говорил обо всем, как и хотел, с надрывом, с ужасом, по-настоящему. Вот, мой отец умирает, а ее сука-сестра кинула меня, а я-то подумал, я-то понадеялся.

– Не надо было думать и надеяться. Две самые вредные вещи на свете, – сказала Эдит.

– А что надо-то?

Я подтянул к себе стакан, плеснул туда еще водки.

– Развеяться, я полагаю.

Эдит подтянула к себе телефон, на заставке у нее красовалась какая-то картина Алоизы Корбаз, динамичная, яркая, вся в красной гамме, с девчонкой, похожей на матрешку, нарисованную первоклассницей.

– Ну или пиши сонеты, как Петрарка.

– Сука Одетт еще жива.

– Лаура тоже еще двадцать один год здравствовала после их судьбоносной встречи.

Сердце ему бередила. Эдит помолчала и добавила:

– Мое мнение такое: тебе нужно уехать из города. Отвлекись.

– Куда бы тогда скататься?

– В Амстердам.

– Что?

– Ты спросил куда, и я назвала город, который мне нравится. Если хочешь дельных советов, то зайди на туристический сайт Орегона. Пошли наверх, я буду писать эссе по Брейгелю, а ты пей.

– Ты тоже будешь пить.

– Безусловно.

Ночь мы провели чудесно, а утром я, с адским похмельем, поехал к Мэрвину. Он открыл дверь.

– Где, блядь, кока?

– Господи, Боря, ты скоро станешь Кейджем из «Крыс на кокаине».

– Мне нужна гениальная идея! Срочно!

Мэрвин пропустил меня. В квартире пахло невыносимым лимонным шампунем Каси.

– Все, бросай свою кислую девчулю. Поедем с тобой туда, не знаю куда.

– Зачем?

– За тем, не знаю за чем.

– Прозреваю тут какую-то игру слов, но не понимаю ее.

Закинулись мы коксом в узкой ванной, заставленной Касиными кремами, и я выпалил:

– Мы поедем как можно дальше от Массачусетса! В место, как можно более отдаленное от технического прогресса! И как можно менее ассоциирующееся с прогрессом вообще!

– В Россию?

– Ты идиот, заткни хлебало, а то я тебя ударю. Мы поедем в тоталитарную жопу типа Теннесси! В Теннесси!

Под кокаином оба мы были в приподнятом настроении, нас охватило общее желание действовать. Мы быстренько отзвонились Бадди, убедились, что в ближайшую неделю мы ему не нужны. Потом, ой вот смех-то, мы купили два ящика фильтров для воды (на юге эти штуки были актуальны и в конце две тысячи десятого). Нам уже не нужно было зарабатывать вот так вот, взяли мы всего ничего, но без товара ехать было бы непривычно и неприкольно.

Мы нахреначивались каждую ночь и пьяными гнали по хайвею, жалуясь на жизнь и женщин.

– Знаешь, – сказал как-то Мэрвин, разглядывая карту. – Не так уж Теннесси далеко от Массачусетса. Формально мы вообще-то к нему приближаемся.

Сука, просто метафора моей жизни.

– Ну и ладно. Зато от Калифорнии подальше. Открой окно и вруби радио! Нет, я врублю радио! И погромче! Погромче!

А играла совершенно нелепая и одновременно невероятно

подходящая песня – Strawberry fields forever, какой-то кавер. Мы неслись по ночным дорогам Аризоны, свободным и чистым, по выжженному солнцем добела Нью-Мехико, по золотому Техасу, мимо коров, кактусов и дешевых дайнеров, и въезжали в осень.

Осень, да. Уже в гористой, красноватой Оклахоме стало ясно, как я от нее отвык. Мы проехали через просторный Арканзас и въехали в лесистый, рыжий, рубиновый, совершенно осенний Теннесси.

– Какая красотища!

Мы петляли по штату, по самым маленьким дорожкам, и вот тем утром мы стояли у горной речки, вода была такая быстрая, что походила на туман, она несла с собой листья и даже камушки.

– Охереть, да? Река прямо у дороги. Во природа.

– Да, – сказал Мэрвин. – Ничего себе. Может, рыбы половить?

– На что, на хуй, что ли? Тут фантазия нужна.

И мы полчаса мастерили удочки из палок и проволоки, споря, как оно лучше ее заново изобрести. Рыбу пытались ловить на «Поп-Тартс» с корицей, которые сами грызли. Но то ли рыба рядом с шоссе не водилась, то ли ей не нравилось наше угощение, ничего-то мы и не поймали. Два часа сидели.

Почти все фильтры мы к тому утру распродали аборигенам, но возвращаться не хотелось. Я был таким свободным.

Пока Мэрвин сидел с удочкой, я заметил, как дрожат у него руки. Кокс он использовал еще и почаще меня – чтобы снимать весь ужас бессонницы.

– Ты уже что-то совсем.

– Чего? – огрызнулся он.

– Ты всё, пора тебе спать.

Если так присмотреться, у него и голову-то потряхивало чуток. Он так странно выглядел на фоне этой вечной, прекрасной природы – маленький и больной. Вокруг рубиновые деревья, птицы, от окрика взмывающие вверх, хрустальный осенний воздух, туманная вода той чистейшей речки, а он – страдает. Вот как раз в тот момент, когда ясно, что мир не для страдания создан.

Он был такой незначительной фигуркой во всем этом пейзаже, сидел скрючившись, подошвы кроссовок промокли, бледный, как «Больная девочка» Мунка. Сидел и как будто бы ничего не значил. А ведь это был мой лучший друг.

Это, понимаете, как раненого оленя в лесу увидеть, а он лупает глазами своими бездонными, и из него кровь толчками. Как же оно, такое прекрасное, и умирает, думаешь.

– Да отвали, мам.

– Слушай, ну уже край, правда. Надо ж спать хоть иногда.

А синяки у него были под глазами чернющие, как тьма с другой стороны мира.

– Что надо? Тебе надо, ты и спи.

Сразу он хмурый стал, неразговорчивый. А глаза у него горели, как у умирающего. Крючки у нас были из загнутой, заточенной проволоки, взял я свой и процарапал на ладони линию жизни.

– Ты чего делаешь, долбанутый?

Мы с Мэрвином даже немного подрались. Сначала я хотел заставить его пить, а он все головой вертел, пинал меня по ногам, а потом как вцепился мне в руку, мгновенно поменявшись, потеряв все человеческое.

Он мне всю царапину раскровил, но ему оказалось мало, и, прежде чем я сумел его отпихнуть, Мэрвин вцепился в самое мясо, зубы его прошли сквозь кожу.

– Блядь!

Больно было, ясен хрен, и даже страшно немного, таким детским, пиявочным страхом, когда стоишь в речке и видишь сквозь пленку воды, как телепается мерзкая, черная тварь, как наедается кровью твоей.

Чуть кусок из меня не выгрыз, честно, и пил много, тянул прям. Я бы мог его и стряхнуть, да только не ради того, чтобы Мэрвина подразнить, все затевалось.

Вот я чуточку потерпел, пока он кровь мою пил, и понял, что нужно ему вправду больше, чем когда мы были детьми. И дело не в растущем организме, это уж я наверняка знал.

Наконец Мэрвин уснул. Я его запихнул в машину, дверь захлопнул, поглядел на свою руку – на месиво из кожи и крови на ладони. Охуел, конечно, изрядно. Кровка-то капала, и ее рубиновость здесь была как нельзя кстати, как-то гармонировала со всем вокруг. Я оставил на этой вечной земле капли своей крови, пока искал аптечку. Нашел, кое-как руку перевязал, подумав, что на продажах это скажется скверно, неторопливо тронулся с места и отправился дальше по дороге, на которой никогда не бывал.

В этом всегда присутствовал элемент сюрприза, игры, азартное желание увидеть что-то еще.

Воздух был холодный и совершенно прозрачный, по-осеннему так. В этом далеком-далеком от моего дома месте мне вдруг захотелось обратно, в Снежногорск, к быстротечному лету, к панельным многоэтажкам, к городу детства моего и бесконечному боку тайги, к которому он был повернут.

Ой, ностальгия, значит, это тоска по Родине, прежде всего-то. А уж потом всякое такое остальное.

Мэрвин сопел на заднем сиденье, я знал, что он не проснется ни от музыки, ни от того, как нас потряхивает на горной дороге. Никого вокруг не было, лес да лес, тыквенно-рыжий, праздничный.

Я курил и глядел на мир открытым, детским взором, который, думалось мне так, я к тому времени давно потерял. Кайф, конечно.

И вот, а утро было в самом разгаре, когда я подпевал Джоан Баэз, стараясь не выпустить сигарету изо рта, и полагал это основной проблемой в своей жизни (отступили отец и Одетт, далеко, куда-то за горизонт), машина вдруг заглохла прямо на ходу. Меня тряхнуло, сигарета выпала изо рта, ударилась о лобовое стекло и рухнула на приборную панель. Я быстренько поднял ее, затянулся, обернулся, чтобы посмотреть на Мэрвина. Он упал, конечно, но не проснулся, только руки под голову положил, подушка вроде.

Я вылез из машины, открыл капот, поглядел туда. В машинах я не так чтобы разбирался, вот Алесь, он это умел. Вспомнил я, значит, что Алесь предсказывал нашему «доджу», когда мы его в последний раз лечили, генераторную смерть.

Короче, сначала я долго искал в багажнике вольтметр, чтоб проверить, чего там у аккумулятора, как у него дела. Оказалось, все нормально, есть на чем побегать, а стоит.

Потом я долго ругался, пытался завести машину, туда-сюда, обратно, но приятно никому не было, это уж точно. В конце концов я заметил, что топливный бак не шумит, когда я пытаюсь реанимировать тачку, там все тихо и мирно.

И я знал, что это пиздец. Теперь ее надо было отгружать в первый же провинциальный автосервис, а мы стояли посреди леса, только птички пели да я матерился. И никаких других звуков. Связь в этой глуши не ловила, я для надежности еще мобилу Мэрвина глянул – никак.

В общем, я сказал Мэрвину:

– Посторожи.

Сам себе посмеялся, короче, и пошел по дороге, надеясь выйти хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди.

Шел я долго и безрезультатно, пока не увидел тропку, вытоптанную достаточно хорошо, чтобы предположить – по ней частенько ходят люди. Я-то уже все на свете проклял, особенно нашу с Мэрвином манеру заехать в какую-нибудь жопу мира и там потеряться безнадежно.

До людей, так я рассудил, по трассе-то обязательно дойдешь, но когда? А тут и рядом кто может быть.

Некоторое время я углублялся в осенний лес, шел по палым,

влажным от прошедшего ночью дождя листьям, надо мной все небо было в сплетении веток, а само – прозрачное, только в облачках, белых как молоко. То веткой хрустнешь и птиц спугнешь, тогда замелькают, зашумят крыльями. А как землей пахло, влажной, густонаселенной жучками да червячками, лесной землей.

Что это было за место – спокойствие неземное. Я и позабыл все, уже и на «додж» не злился, ни на что не свете, шел и все язык пихал в десну, где зуб был. Вот он там жил себе, сбоку, поесть поможет, девчонку куснуть, а теперь расстались с ним навсегда.

Вот, представлял я, Одетт нашла его и орет.

Но думал без мстительности, без пустой мелочности, без обиды. Я весь тут очистился, в себя пришел. Шел по тропинке, все вниз да вниз, по наклонной значит, и вдруг ощущаю явственный птичий запах. Отлично, подумал, еще и свои.

Ой, а я о всех зверях земных и подземных, о птицах небесных все равно думал, что они – свои. Триста раз с ними зарекся иметь хоть что-нибудь общее, а все-таки успокоенно рассуждал, что кто-то здесь есть, кто меня во всем поймет, кто покивает утвердительно, когда скажу, что на запах пришел.

Вышел я к прекрасному маленькому озерцу, оно было по-осеннему печальным, красивым, как иллюстрация в детской книжке. Вода словно зеркало, и все золото в ней тонуло, а по берегу – камни да камыши.

У озерца был деревянный мостик, знаете, с каких рыбачат, маленькая такая пристань. Я на ней постоял, попинал листья, вдаль посмотрел. Дерево было измокшее, старое, того и гляди конец мостику, к воде печально клонились желтоватые стебли осоки.

Место было, при всей его красоте, грустное. Пахло яблоками, и я подумал: вот здесь бы умер. Подумал, что здесь это не страшно. Все вокруг умирает, а ты чего?

Поднял с мостика камушек и запульнул его в озеро, он весело проскакал да и потонул, конечно. Круги по воде пошли. Обернулся я и увидел дом. Сразу его не заметил, сперва меня захватила волшебная здешняя атмосфера. Домик был небольшой, крепко сбитый, очень американский. Со второго этажа глядели узкие окна почти в человеческий рост, был флюгер и выдающееся из черепичной крыши пятнышко чердачного окна, и, знаете, все такое, как у Натаниэля Готорна – старый, осенний дом, еще пахнущий набожностью и строгостью пилигримов.

Вот что меня сразу удивило – дом не был украшен к Хеллоуину, а ведь пора. Никаких паутинок, никаких скелетов и глазастых тыкв, отсутствие всей этой жути и казалось

жутковатым. Подумал я тогда, что попал, наверное, в какой-нибудь фильм ужасов. А потом плюнул на это и пошел к крыльцу. Ужасы ужасами, а эвакуировать машину надо было. И это сколько придется прождать, в такой-то глуши?

В саду были одни яблони, и яблоками, зимними сортами, пахло на весь мир. Я сорвал одно, сладкое, красное, как для Белоснежки, захрустел им.

В дверь звонить не пришлось, она распахнула ее, как только я подошел.

– Вот это да! А ты предупредительная.

– Я тебя сразу почуяла, – сказала она. – Ты что, русский?

– Не поверишь, но прямо из Сибири.

Я отбросил огрызок яблока. Она нервно, отрывисто хохотнула. Девушка эта казалась полной противоположностью Одетт, и это меня в ней так подкупило. Она была блондиночкой, солнце вызолачивало ее еще больше. У нее были светлые, наивно распахнутые глаза и пухлые, розовые губы. Вся она такой ангелочек со старенькой открытки.

– Что ты за пташка?

– Соловей, – ответила она настороженно.

В ней была готовность куда-то прыгнуть, куда-то убежать, куда-то окунуться. Я от этого почти сразу в нее влюбился, от искрящего напряжения.

– Меня зовут Борис.

– Имя, как из фильма про русских.

– Теперь скажи-ка мне свое, чтобы я мог ответить подколкой на подколку.

Слово «подколка» вызвало у нее восторг, она вся напряглась, но в то же время заулыбалась. Как маленькая девочка, которая хочет выматериться.

– Модести.

Типа скромница. Тут я, конечно, засмеялся.

– Да, мы с тобой из разных миров.

– Это точно. Ты даже не представляешь, насколько наши миры разные.

На ней было скромное платье, длиннее даже, чем у Эдит, почти доходившее ей до щиколоток. Такое милое платьице с рукавами, с воротничком.

– Дай угадаю, твой папаша выстрелит в меня, если я сделаю еще шаг вперед?

Тут она захохотала, глотая воздух.

– Значит, подколка засчитана?

– Засчитана, – сказала она, смакуя слово.

Мы смотрели друг на друга, она чуть склонила голову набок,

по-птичьи, Алесь так тоже делал.

– Знаешь, я всю жизнь тебя ждала, – сказала Модести.

И я поцеловал ее.

Все произошло так стремительно, что теперь оно помнится плохо, воспоминание о ней в то утро исчезающее, прекрасное, оно мерцает и меркнет, а потом вновь проявляется передо мной.

Вот мы целовались в прихожей, где тоже сильно пахло яблоками, и шаги мои были гулкие, по деревянному-то полу, и она дышала часто. У меня такого никогда не было, даже с Нэнси, которая любила сосать хуй и сообщила мне об этом на первом свидании. Я всегда знал о девушке хоть чуточку больше, чем ее имя.

А тут мы говорили, может, три минуты, даже меньше, и вот уже целовались, как умалишенные, в прохладной прихожей дома, который я даже не успел рассмотреть. Она вплетала пальцы мне в волосы каким-то романтическим, вычитанным в книжке, неудобным жестом, а я вылизывал ей шею, и она вздрагивала.

Короче, не то чтобы ей оказалось суперски, в конце концов, мужика у Модести до меня не было, я в этом убедился, но для нее все это, может, стало особенным, ярким, удивительным. Сказочным.

Да и для меня тоже, надо сказать. Вот я уехал от моей Одетт, от моего умирающего отца, застрял посреди шоссе, располовинившего лес, и попал в такое сказочное место, в этот странный, вневременный дом, пахнущий деревом, пахнущий поздними яблоками, где жила эта странная девушка, скромная и шлюховатая, неожиданно для меня готовая к чему угодно. Все самое волшебное снова случилось со мной на полу, мы толком и не разделись. Всю дорогу я придерживал ее голову, чтобы она не ударилась о дверной косяк.

Потом мы долго целовались, она доверчиво на меня глядела и спросила вдруг:

– Слушай, а когда неземное удовольствие?

– Раз на пятый, наверное. Мне так подруга рассказывала. Но точно я тебе ничего не могу сказать. А тебе совсем-совсем не понравилось?

– Двойственные чувства, – серьезно ответила Модести. – И много вопросов к авторам, которых я читала. Представляешь, ездила в город, брала книжку, и нужно было читать весь день, а вечером – назад. Упаси боже я с ней вернусь.

– А все зря. Никакой там правды нет.

– Это уж точно.

Модести снова порывисто поцеловала меня. Я застегнул ширинку, потянулся. Теперь я смог рассмотреть дом. В нем не

было никаких украшений, серьезно. Одни голые стены, без обоев, без фоток, без картинок. Мы лежали ногами к гостиной, там были только три простых кресла и некрасивый камин.

Потом, когда я прошелся по первому этажу, стало понятно, что книжная полка, телик или еще что-нибудь такое нигде не прячется. Просто ничего нет. Меблированная комната, как у Ремарка. Хотя какой Ремарк, все тут отдавало «Алой буквой» и «Домом о семи фронтонах».

Затем мы пили чай с яблочным джемом, самым вкусным на свете, и Модести мне кое-что рассказала:

– Я ничего в жизни не видела. Ничего-ничего. Мне двадцать два года, и, господи, я как ребенок. Я хотела бы поехать в Нью-Йорк, знаешь. Или в Новый Орлеан. Я столько хотела бы увидеть и узнать.

Соловьи, как говорили ее родители, несли людям благочестивые мысли, очищали их ум от дурного. Этим занималась и Модести, когда летала. В отличие от Алеся она никуда не исчезала, а вправду приподнималась над землей, она мне показала. Стоит девочка, а закроет глаза, и вот ее ноги уже над землей.

– Мы с родителями посвящаем этому много времени. Все вечера. Путешествуешь по мыслям людей и наводишь там порядок. Ты знал, что души, они как дома́? У кого-то квартирки, у кого-то особняки. На самом деле целыми днями убираешься. Просто кошмар. Там столько безделушек. Я всегда кладу людям красивые вещи. Чтобы они думали, как мир прекрасен. Но я сама его не видела. Знаешь, бывает, когда подумаешь как бы совсем неожиданно о чем-то хорошем. Это случается, когда тебе очень плохо. Так вот, это я делаю. И другие соловушки.

– Всегда? Я себя прям уважать перестал.

Она засмеялась, зачерпнула ложкой желтый, пахнущий яблоком, медом и корицей джем.

– Нет, что ты. Нас на всех не хватает. Но иногда бывает, что такая мысль как чудо. Как будто она чужая. И в тот самый момент, когда тебе так нужно что-то светлое. Я стараюсь делать так. Папа мой очень любит приходить к преступникам в тюрьмах. Это совсем другое. Но в целом Матушка учит нас приносить благочестие. Петь добрые песенки.

Я потянулся к ней, поцеловать. Губы у Модести были сладкие от джема.

– А мое место в этой истории, оно какое?

Модести засмеялась, прижала палец к моим губам. У нее были очень-очень коротко остриженные, совсем не девичьи ногти.

– Я всегда боялась уехать в город и не вернуться. Думала,

если буду совсем одна, отец найдет меня. Он любит наказывать меня, и маму тоже.

Модести села ко мне вполоборота, оттянула воротник платья, и я увидел длинные полосы, как от плетки, идущие по ее загривку.

– Но в детстве, еще давным-давно, я поклялась себе, что мама и папа уедут продавать яблоки, на осеннюю ярмарку, а я буду дома, и, если вдруг сюда заявится какой-нибудь красивый молодой человек, я попрошу его украсть меня.

– А я красивый молодой человек, правда, что ли?

– У тебя очень открытое, искреннее лицо. Ты красивый, и кажется, что очень добрый.

– Это у нас семейное. У отца моего тоже табло возвышенное, а у дяди так вообще было, но оба алкаши. И я алкаш.

Она засмеялась.

– Да хоть наркоман.

– И наркоман.

Модести посмотрела на меня внимательно и снова поцеловала.

– Значит, я тебя спасу. Ты же меня спасешь?

– Спасу от всего на свете. Я вот девчонку любил, а она как раз меня кинула. Я такой грустный сюда ехал, просто ад.

Кстати, про езду. О машинке-то своей я и не думал. Вернее думал, а потом такой: ну и ладно, Мэрвин еще часов пятнадцать проспит. Здесь время будто остановилось, здесь сладенько тянуло кедром от стола, шел пар от чая, и все было волшебным в этом пуританском доме.

Мы с Модести ни в чем не были похожи, но оба быстро уверились в том, что судьба свела нас вместе. В конце концов, может и правда меня она ждала все это время.

– Слушай, а с немолодым и с некрасивым ты бы сбежала?

– Сбежала бы, – сказала она.

– А врала бы ему, что он молодой и красивый?

И снова Модести засмеялась. В пустом доме этот звук разносился так далеко.

– Вот мы приедем в Лос-Анджелес, и я буду кра-ситься.

Личико у нее было свежее и ангельское, краситься ей было совершенно ни к чему.

– А музыку ты какую любишь?

– Никакую. Я только в городе ее слышу. У кого-то из машины или в кафе. Мне нравится такая песня, про капли дождя, которые падают на голову.

Я напел, и она ее узнала.

– Точно! Точно эта!

– Я тебе всю дорогу буду петь. Нет, лучше радио включу. А приедем домой, и тогда будут песни.

А куда домой-то? У меня было достаточно баблишка, чтобы снять квартиру, но сейчас-то, формально, дома не было и у меня. В этом тоже обнаружилась какая-то романтика.

Вот мы попили чай, и Модести ушла помыться, переодеть юбку с кровавым пятном, а я остался сидеть. В окно заглядывала ветка яблони, прохладный ветер ее чуточку тормошил, а в остальном было только белое небо, как в раю, как в самолете.

А может, вправду судьба? Я был бы не против такой судьбы. Сказочка, может, с хорошим концом. Увезу ее, думал, да сделаю самой счастливой на свете. Она – хорошая девушка, всего в мире заслужила, чего захочет.

Так я думал, сам своими мыслями загипнотизировался, поэтому, может, и не заметил, как соловьиный запах усилился. Услышал только шум подъезжающей машины.

– Модести! – крикнул я. – Модести! Кто-то едет! Родители, может, твои?

Я, конечно, так и думал, что отец у Модести – поехавший мужик. Взял на кухне ножичек, решил, мало ли, придется из себя тоже ебнутого строить.

Ой, ну чего я недооценил, как все они тут повернуты на своих обрезах? Поехавшие.

Этот хрен, такой мужичок из «Американской готики» Гранта Вуда, как ворвется в дом с ружьем наперевес, и я ножик-то сразу положил.

– Добрый день, сэр!

– Закрой рот, крыса, – выдавил он.

В его глазастости было что-то схожее с глазастостью Модести, но вот очарования ему сильно не хватало. За ним семенила серенькая от трудной жизни женщина в платье с белым накрахмаленным воротником. Вид у нее был очень обеспокоенный. Только вот явно не пушкой в руках у ее мужа.

– Позвольте мне все объяснить!

– Модести, – сказал он.

Она показалась на лестнице, бледная, перепуганная.

– Модести, ты… – начала ее мать.

– Не говори с ней, Мерси.

Отец глядел на Модести всего секунду, потом его большие, светлые, выпученные глаза снова уставились на меня.

– Ты, крыса, что ты делаешь в моем доме? Рядом с моей непорочной дочерью.

Тут я начал смеяться.

– Делаю ее порочной.

Нет, серьезно, я ничего такого не хотел, но все трое соловушек побледнели пуще прежнего, а отец Модести как передернет затвор, от щелчка я сразу же замолчал, только спустя пару секунд снова открыл рот.

– Лишнего я сказал, да? Мистер…

– Не твое дело.

– Бейкер, – прошептала Модести.

– Мистер Бейкер, вообще-то мне нужно воспользоваться телефоном. Я не хотел доставлять вам неудобств, просто мне нужно было позвонить. И вот ваша дочь предложила мне выпить чай, и теперь я хочу просто…

– Я знаю, что нужно тебе и всему твоему грязному племени.

Господи, неужели чокнутый мужичок отстрелит мне яйца за то, что я трахнул леди Амиш?

– Ты, – сказал он Модести, – нечестивая сука. Ты нарушила завет Матушки.

Я слышал всякие разные сказки про жутких протестантских сектантов, но раз за разом все они оборачивались дурацкими выдумками. Обычно странные личности в глуши оказывались приятнее, чем думается на первый взгляд.

Впрочем, мистер и миссис Бейкер-то христианами не были, и насколько серьезно их Матушка-соловушка относилась к убийству незнакомых людей, я понятия не имел.

– Спускайся, Модести.

Тут я уже стал ее понимать. Будь я на месте Модести – сбежал бы с первым попавшимся, и с некрасивым, и даже не с парнем.

– Спускайся, или я убью его.

Модести побледнела пуще прежнего, едва не упала, запутавшись в длинной юбке.

– Быстрее.

Мистер Бейкер снова обратился ко мне.

– Ты, грязное животное, соблазнил мою дочь и увел ее от благочестия. Ты сломал ее.

– Да она ж не игрушка, чтоб ее сломать. Что вы, в самом деле, никого я не ломал. Клянусь. Давайте замнем это дело, и я не буду звонить копам.

Тут мистер Бейкер впервые улыбнулся.

– Не будешь, это точно. Во двор. Оба.

Ну, я-то не считал, что хорошее дело – спорить с человеком, у которого ружье. Умереть от пули – это очень быстро. Так быстро мне не надо.

Мы с Модести вышли во двор, в прекрасный, весь в яблоках, двор. Она взяла меня за руку, ища защиты и извиняясь

одновременно.

– Ну-ну, – сказал я. – Выше нос.

Я еще не знал, что буду делать. Только надеялся, что мистер Бейкер не выстрелит мне в спину. Ой, странное это дело – человек под прицелом ружья. Мы готовы делать все что угодно, чтобы прожить еще хоть минуточку, хоть секундочку.

Я вот, а это далеко не опыт, необходимый каждому, копал себе могилу.

Почему евреи копали себе могилы? Потому что они хотели жить. Звучит, как чернейший анекдот, но разве это неправда?

Всякий хочет прожить еще чуточку, капельку хоть.

Миссис Бейкер, молчаливая и послушная, принесла мне лопату, кинула ее передо мной, отозвавшись на голос мистера Бейкера:

– Не подходи к этой грязной твари. Он может быть заразным.

Вот это были средневековые стереотипы. Да и на больного я похож не был. У меня и язвочек не осталось, ни одной, и костюмчик отличный, я был хорошенькой, декоративной крыской, ухоженной. Ну какой я заразный?

– Вы же любите рыть, так?

– О, обожаем. Наше любимое дело.

– В таком случае у тебя будет возможность заняться им перед смертью.

– Вот это удача, сэр!

Модести стояла ни жива ни мертва, вцепилась мне в руку.

– Отпусти, ладно? – мягко сказал я.

– Он же тебя убьет!

Тут миссис Бейкер проявила свою паскудную натуру в полной мере.

– Ты думаешь, он умрет один, Модести? Ты опозорила нас перед Матушкой. Ты пойдешь в могилу с этим мужчиной. Вместо того, чтобы сочетаться законным браком с мужчиной твоей крови и продолжить свое святое дело, ты…

– Господи боже мой! Я лучше начну копать! – сказал я.

Страшно, конечно, было. А кому оно хорошо, когда вот так можешь жизнь закончить? Жуть брала, тоска, но отчаяние – этого не было. Я думал: будь смелым, Боречка, смелым будь и сильным. И жди своего момента. Удачу выгадай.

– Две могилы рыть или одну? – услужливо спросил я.

– Одну.

– Но большую, я правильно понял?

Как мне хотелось засмеяться. Честное слово, намного больше, чем заплакать.

С тем, как я копал, отдельная штука была. Что-то такое

естественное в этом чувствовалось, природное. Мое место в жизни мне открылось очень ясно. А может, никакой это не Ламарк, а чистый Дарвин, может, поколения моих предков, и я в том числе, были заточены под рытье земли, сколько тысяч лет все ямки копали да могилки.

Работа спорилась, я делал это быстро и хорошо, словно всю жизнь только и копал.

Копаю, копаю, а потом смотрю – мамка моя в яме лежит. Глазки у нее открыты были. Она смотрела.

– Мне бы ему двинуть, – сказал я на русском. – Только вот когда? Лопатой мудака отхерачу, как звать его, позабудет.

У мамки были потухшие глаза, цветом – в черную землю, которую я рыл. Изо рта выполз белый червь.

– Я тебе все подскажу.

Я улыбнулся ей, поймал недоуменный взгляд миссис Бейкер. Модести плакала у меня за спиной. А страшно умирать молодой, то конечно. Особенно когда и жизни не было.

Мамка глаза закрыла и лежала в яме недвижно – веки синие, губы синие. А у меня большая работа спорилась, я даже не устал, свеженький-свеженький был.

Вот готова была яма.

– Ты и тебе подобные мерзкие твари все-таки дети духа. Хоть и с противоположной стороны, – сказал мистер Бейкер, самодовольный, как индюк. – Поэтому, ты имеешь право на последнее слово. Ты будешь первый. Я хочу, чтобы Модести видела, как ты умрешь.

Я все еще держал в руках лопату, расслабленно, но надеясь, что они не обратят на это должного внимания.

– Да, конечно, – пробормотал я на русском. – Будет тебе последнее слово, сука, блядь.

– Что ты сказал? – спросил мистер Бейкер, чуть подавшись ко мне.

Дуло ружья оказалось еще ближе к моей груди. Мамка в моей могиле открыла глаза.

– Сейчас, Боречка.

Но я и так знал когда. Подсказывать мне уже ничего не надо было. Ну, умру так умру, подумал, секунда всего осталась, а ее тоже жалко было. Хуйнул я его лопатой по рукам, он выстрелил, а ствол уже влево ушел, пуля вгрызлась в землю, которую я из ямы набросал. Вторым ударом, пока он не опомнился, я рассек ему запястье. Выбил я ружье из рук мистера Бейкера под визг миссис Бейкер. Тут же схватил оружие, потому что увидел, как миссис Бейкер рванулась вперед, как собирался вцепиться в рукоять ее муж. Я успел раньше.

– Так, сука, я тебе сейчас мозги вышибу нахуй. Еще хоть одно ебучее слово, и я расхерачу тебе череп, я клянусь.

Тут я понял, что говорю на русском.

– Извините. Я имел в виду, что еще секунда, и я тебе мозги вышибу. Сука, насколько ж было б легче, если бы в вашей дыре ловила мобила. Сука, просто пиздец. Пиздец. Пиздец просто. Модести, иди в дом, позвони и вызови эвакуатор. Мы на шоссе рядом с вашей тропинкой стоим.

– Но, Борис, у нас нет телефона.

Я так ржал, а мистер Бейкер прижимал к себе окровавленную руку, как ребеночка, а миссис Бейкер бледнела пуще прежнего.

– Тогда пошли на хуй еще раз. Мы забираем вашу машину. Чего у вас там? Маньячного вида пикап? Ключи, блядь, сюда дал, пока я тебе яйца не отстрелил!

Мистер Бейкер сплюнул себе под ноги, но миссис Бейкер довольно оперативно залезла в карман его поношенных брюк и кинула мне ключи, они заблестели в пожухлой осенней траве.

– Модести, подними, пожалуйста. Все, прощайтесь с дочкой. У нас с ней все будет хорошо, буду ебать ее каждый день, а вы яблочки собирайте.

Уроды, блядь. Но я верил. Верил в любовь, и в спасение, и даже в милосердие, потому что яйца мистеру Бейкеру не отстрелил.

А молочное небо над нами теперь казалось мне обещанием чудесного будущего, оплаченного мной сполна.

Глава 19. Жизнь твоя

А мамка моя в юности, в шестнадцать вроде бы лет, досматривала тетку старую. Та тяжело умирала, по сложной болячке, и мамка ходила к ней каждый день, дерьмо из-под нее выгребала, готовила ей бульончики, пела песенки.

Тетку мамка не то что любила, но жалела – очень. У тетки жизнь была не сахар, а сплошная соль, много работала, ничего не видела, от земли не разгибалась, всю жизнь в колхозе, а тут еще страшная смерть.

Иногда тетка плакала от благодарности, от того, что к ней еще кто-то ходит, она жутко боялась умереть одна. Мамка ей говорила:

– Я тебя, теть Люб, не оставлю. Приходить буду каждый день, хоть сто лет.

Тетка на то смеялась хрипло и страшно, булькающе так.

– Сто лет не надо, – говорила она.

Сначала ей было сложно, все она стонала, у нее и боли были, и страхи, а потом вдруг приходит к ней мамка, а на столе горячий обед, пирожки с яйцом и рисом.

– Садись, Катенька, – говорит ей больная, тощая тетка. – Будем праздновать.

– Что праздновать, теть Люб? – спросила мамка.

– Будем праздновать, что смерти нет, что везде свет, и тьмы не будет. Мне был сон, и я видела, как светло вокруг, и что там, куда мы уходим, ничего страшного нет, а есть чья-то доброта, кто-то будет любить нас, как детей.

Мамка не знала, что ей сказать. В общем, тетка простила себе грехи (а что, все как у всех, воровала из колхоза и на аборты ходила) да просветлилась маленько, хоть умирать не страшно.

Она ела пирожки с рисом за двоих и говорила:

– Не надо бояться, что уходим. Вам тут грустить, страдать без меня.

Это она себе польстила. Только мамка моя у нее и была.

– Вам тут пить за меня, кутить за меня. У каждого создания своя роль.

Это да, мы все как в детской книжке, и когда перелистываешь страницу, такая грусть нападает.

– Когда уходит кто-то, это большая тоска, ведь стало меньше на человека, зверя или птицу, и они не повторятся больше. Но когда уходишь сам, оставь другим тосковать. В мире большая любовь, нас учат только про тьму, но ты погляди на солнце. Разве можно его создать без огромной любви?

Она говорила и плакала, и ела пирожки. Мамка слушала ее, раскрыв рот. Никто такого ей в книжках не написал, по телику не сказал, она узнала это от старенькой тетушки, у которой и зубов-то толком не осталось, чтобы внятно говорить.

– Верить надо в это, – сказала тетушка. – Ничего на свете не страшно, если веришь, что все не зря. Хуй ей, смерти этой.

Мамка почему-то тоже заплакала. Ой, всем умирать, чего не поплакать? А тетушка гладила ее по голове и говорила:

– Я тебя люблю, Катенька, я умру и все равно тебя любить буду. У любви нет края, все в мире бесконечно, ты умрешь уже, мы уже встретимся, а моя любовь к тебе будет жить здесь. Это как тьма, только наоборот. Это то, почему завтра солнышко встанет. И послезавтра тоже.

Умерла она через месяц. Пока умирала, так вцепилась в маму, что у той навсегда остались четыре полумесяца на левой ладони. Ой, живое хочет жить, пусть даже со смертью и можно построить свои отношения.

И вот мне теперь интересно, уже и мамка моя померла давно, а любовь-то тетки с красивым именем Любовь жива?

Может и жива, кто ее знает. Нет прибора, чтоб измерить, сколько в мире любви. Может, ее вообще немерено, ох.

Да, ну и про любовь. Короче, в жизни иногда есть сказочные начала, и их даже много, но вот с чем туго, так это со сказочными концами (тут оставим место для шутки, чтобы не при дамах).

Мы с Модести месяц где-то считали, что это любовь, невероятная, волшебная, как в книжке, а потом стало ясно, что это ад.

Ничего-то у нас с ней не сложилось, не вышло. Мы были из разных миров. Она быстро научилась курить, ругаться и целыми днями читать, мы стали чуть-чуть похожи, и все же в нас обоих катастрофически не хватало терпения, смирения и что там еще надо?

Я ей говорил:

– Сука, блядь, ты – сука! Заткни, блядь, пасть, я тебе сейчас башку разобью!

Она мне кричала:

– Ты удолбанный подонок, лучше бы тебя папа застрелил! Что ты несешь вообще? Только подойди ко мне! Надо было сбежать одной! Все лучше, чем с тобой!

Понимаете? Я себя ужасно стыдился, я был себе противен, но я не мог с ней жить. Мы ругались из-за всего: я разбил чашку, и она уже орет, она задержалась на какой-нибудь очередной открытой лекции, и ору уже я. Она выгоняла меня, пьяного, из дома, я швырял ее вещи с балкона. Все очень скоро превратилось

в катастрофу, и моя диснеевская принцесса оказалась ужасной ведьмой, ну и сам я из принца превратился в злодея.

Мы мучили друг друга, трахались так, будто дрались, она прижгла меня сигаретой, я оттаскал ее за волосы.

Короче, самое-самое странное во всем этом было то, что мы друг от друга такого не ожидали.

У меня раньше с девчонками всего этого, господи, вот правда не случалось. Ссорились, конечно, горячо, но никогда я не чувствовал себя такой мразью.

Однажды Модести удивительно спокойно сказала:

– Мы с тобой оба ужасно покалечены. Нас с тобой обоих надо долго лечить.

Я закурил, долго затягивался и выдыхал дым, не знал, что сказать. Ну, как покалечены, ну, может она. А у меня-то жизнь поприличнее была. Но тут все пошло по пизде, капитально причем. Отец мой болел, и я его досматривал, ездил к нему, покупал лекарства, готовил ему еду. Мне все время было очень плохо, я как будто очнулся у кого-то в пасти и кто-то меня пережевывал.

А тут еще она.

Как мы ненавидели друг друга, как мы друг друга любили. Я думал, это судьба, а это была тяжкая доля. Самое ужасное, знаете, не то, что я ненавидел ее, а то, что я ненавидел себя с ней.

Короче, октябрь – сказка, ноябрь – кошмар, в декабре – ад, а в январе наконец я пришел домой с наличкой и бросил сумку на стол.

– Модести.

Она готовила ужин, вздрогнула от моего голоса, порезала палец и прижала его к губам, резко обернулась, уже взвинченная.

– Что?

– То. Забирай деньги.

Она глянула на сумку.

– Тут достаточно, чтобы ты сняла квартиру, и тебе хватит на первый взнос за учебу. Дальше крутись сама.

Вот у нее какая была страсть. Она хотела учиться. Хотела стать филологом. Представляла это так: целый день читать книги и разбирать их по косточкам.

Модести смотрела на меня, потом убрала руку ото рта, на нижней губе у нее было пухлое, красное пятнышко.

– Что? – повторила она.

– Ну нельзя же так, – сказал я. – Невозможно же так. У нас не выйдет.

Я ей так и не сказал, что отдал почти все бабки, которые у меня были, все мои накопления, на машинку, на квартирку, на

все на свете. Я остался с баблом на еду да с баблом отцу на лекарства. Хоть кокс от Бадди был дешманский.

Модести спросила:

– И я за это ничего тебе не должна?

– Выметаться отсюда должна к чертовой матери.

Мы засмеялись, и Модести вдруг заплакала. Она подошла ко мне и прижалась губами к моим губам так, словно мы никогда не спали.

– Ты все-таки хоть чуть-чуть, но принц.

– Чуть-чуть, блядь. Манатки свои собирай, чтобы завтра тебя здесь не было.

И я поцеловал ее в лоб.

Так закончилась моя сказка, и оказалось, что это вовсе и не сказка никакая, а просто жизнь. Вернулся, значит, с небес на землю, а на земле у меня отец умирает.

Модести уехала в Нью-Йорк, и я остался один.

Сначала жил на две квартиры, то у отца, то на съемной, а однажды у папашки кровь из носу шла чуть ли не всю ночь, я ему тазик подставлял.

И я вернулся домой. Он ведь так и думал, что я вернусь.

Отец менялся. У него был сильный тремор, он и стакан-то в руке не мог удержать. Боли в груди не давали ему покоя, а температура не спадала ниже тридцати восьми.

Он выплевывал куски собственных легких, господи, серо-розовые, со страшными прожилками. Боже мой, какие ужасы, сейчас вспомнишь – дрожь берет, а тогда я жил с этим, каждый день спускал в унитаз куски его легких, потому что они не пролазили в раковину.

Был бы он человек, он бы умер за пару дней или даже часов. Но он, почти что труп, жил и жил, и я не мог видеть его таким.

Отец все равно пил, все равно курил, с упорством и каким-то отчаянием первым делом с утра засовывал в рот сигарету.

Господи, он был уже кусок мяса, но как я не хотел, чтобы отец умирал. Целыми днями мы сидели вдвоем, я дышал одним воздухом с ним, умирающим, и каждый раз, когда я выходил за лекарствами, или за едой, или попугать должников, мне хотелось биться головой, орать, потому что я не там, не с моим отцом.

И в какой-то степени я всегда был там, где меня не было. Когда сидел с ним, думал о том, как оно на улочке, что друзья мои делают, а выберусь куда-нибудь, и страшная тоска, и сразу вспоминалось, как хрипло папка дышит.

У него страшно болело сердце, он не говорил, но это всегда было видно. Отец держал на нем руку, словно хотел вырвать его из груди, посмотреть, починить.

Он с достоинством принимал мысль о том, что умирает. Шутил, смеялся, уже нечеловечески как-то, глядел откуда-то не отсюда.

– Чего, Борька? Я тут спиртом заливаюсь, чтоб тебе меня жрать было не противно, а ты еще рожу кривишь.

– Да кривлю, папаш, потому что блевать заебешься.

Мы курили на кухне, и на рассветное небо он смотрел особым взглядом.

А он был мой бог в каком-то смысле, я его любил, я не верил, что он может умереть. Я не верил в его уязвимость. Он был как из железа всю его жизнь, жрал водку, курил, закрывал каверну за каверной, не жалея себя.

И перед смертью не пожалел. Не было в нем безнадежности зря прожитой жизни, хотя что он хорошего в ней видел, что правильного, доброго?

Глаза у него стали еще светлее, как будто выходил из них весь цвет. Он был не старый мужик – пятьдесят лет, а от болезни весь как будто даже помолодел, может, потому что отощал до совсем уж пиздецового состояния.

Было в его смерти и что-то красивое, его туберкулезно-утонченное лицо светилось этой близкой тайной.

Я любил его как никогда, хотя он требовал обезбола и клубничного молока, словно какая-нибудь беременная баба.

– Умирать молодым отлично, – сказал он. – Хорошо б еще быстро. Чтоб ты дерьмо за мной не убирал, а то потом ненавидеть будешь. Даже если будешь думать, что любишь.

– Да тебя и так есть за что ненавидеть, так что расслабься и получай удовольствие.

Иногда он так задыхался, что я тянулся вызвать скорую, но он как-то из последних сил мотал головой.

– Да что они сделают, чего ты не сделаешь? Иди лучше картошки почисти.

И его как-то отпускало.

Бывали и другие штуки. Тогда после мучительных приступов он бросался вещами, кричал, разбивал стулья о стену. Его приводила в ярость физическая слабость.

Однажды я нашел его лежащим на полу. Отец похлопал рукой рядом с собой, и я тоже лег. Губы у него были розовые от крови – теперь кровь снаружи, а не изнутри, делала их розовыми.

Мы смотрели в потолок, чистый-чистый, самое чистое место в нашем доме, и я думал про волшебный свет тети Любы. Куда бы ни ушел отец, я бы хотел, чтобы его там любили. Пусть он даже этого не заслужил.

А может, все мы заслужили. Может, и заслуживать не надо.

– Если бы ты мог сейчас оказаться в любом месте, то в каком?

– В Москве, это точно.

– А хочешь, в Москву полетим? У меня на две недели дела, а потом полетим с тобой, поглядим.

– Может, там и умру. Хорошо бы. Там мне легче умрется, это точно.

И я был готов заплакать, но знал, что отец будет смеяться.

Иногда он становился таким уязвимым. Однажды я застал его ходящим по комнате, убаюкивающим себя. Отец напевал:

– Ты да я да мы с тобой, здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля.

Отец глянул на меня, взгляд у него был такой тоскливый.

– Чего тебе? Песня такая была. Мы ее в пионерском лагере пели. Хорошая песня. Добрая.

А в другой раз спросил:

– Ты как думаешь, с Катечкой-то я встречусь?

– Встретишься, ясен хуй. А как я умру, так будем всей семьей.

Он криво улыбнулся, губы у него все были в трещинах, в ранках.

Мы так никуда и не поехали, на той неделе ему стало хуже, и он едва передвигался по квартире. Ночами я сидел у его кровати, пока он пытался заснуть. Я сам почти не спал. Мир того времени я помню темно-серым, как старую фотографию. Я крепко сидел на коксе, но он только бодрил, никакой тебе эйфории, никаких гениальных идей.

– Ты жалеешь о чем-нибудь? – спросил я.

– Жалеть не о чем. Я хорошо прожил жизнь и делал то, что должен был. Вот до того, как стал умирать, жалел, бывало. Мог бы легче жить, приятнее. А теперь, наоборот, легко и спокойно. Я нигде от себя не отступился, нигде себя не предал.

Он потянулся за сигаретами, закурил. Только огонек его сигареты в темноте, остального я не видел, шторы были задернуты, а ночь черна.

– Теперь, знаешь, как выполненное домашнее задание. Когда уже учитель по классу идет, собирает тетрадки, и тебе нечего бояться.

Я гладил его по мокрым от пота волосам, по горячему лбу, как ребенка. В те дни я кормил его детской едой, всякими пюрешками, прям с ложки. Отец смеялся:

– Вот видишь, местами с тобой поменялись. Для того и нужны пиздюки, а больше ты ни для чего не нужен.

Но ему жаль было со мной расставаться. Он мне сказал:

– Хотел бы я увидеть, каким ты вырастешь.

– Я взрослый уже.

– Когда тебе тридцатник стукнет, вот ты каким будешь? А какая у тебя будет жена?

– Одетт будет моя жена.

– Не можешь девчонку ту забыть?

– Из головы не идет.

– Так бывает, – сказал отец хрипло, но как-то расслабленно. – Это любовь, это хорошо. Самая важная способность – уметь кого-то любить. Можно быть последней паскудой, но надо любить хоть кого-нибудь. Без этого дела не сделаешь. Вообще никакого. А что твоя Одетт? Не приезжает?

– Не-а. А на летние каникулы собирается в Берлин. Приколись? Она меня избегает.

– Круто она тебя избегает. Аж в Берлин.

– Это худшее место, где можно скрываться от русского человека.

Мы оба засмеялись, но отцовский смех-то порвался кашлем. Я любил его, и в то же время полнился тайным самодовольством – я-то не буду так умирать. Я не буду харкать кровью и выплевывать свои легкие. Я не буду распадаться на волокна. Я бы предпочел инфаркт.

Отец это как-то заметил, каким-то потаенным зрением увидел, махнул на меня рукой.

– Ой, да какая смерть приглядная, Боря? Все помучаемся в последние времена.

У него было очень ясное сознание. Он много читал, да все с карандашом, какие-то вещи из книг выписывал, пытался что-то понять.

– Я хочу знать, – сказал отец. – Вот если про школу, а я все про школу, счастливое было время, то в последние минуты перед концом контрольной так голова работает хорошо. Судорожно дописываешь.

Он помолчал и добавил:

– У меня и было-то два счастливых времени. Даже два особенных момента выбрать можно. Вот я в школе учился, и мы с пацанами в казаки-разбойники играли, а вот я с мамкой твоей в первый раз.

Я съездил к Эдит и привез от нее альбомы с живописью и офортами Рембрандта, очень качественные, просто атас, не то что в Интернете гугануть. Отец рассматривал их целыми днями.

– Какая красота, – говорил он. – Тебе не хочется плакать, когда ты видишь это?

– Не знаю.

– Свет на лицах, удивление какое-то от того, как человек

велик.

И я вспомнил, как был подростком и отец рассказывал мне о светящемся, прекрасном лице Эсфирь, когда мы стояли перед картиной в Пушкинском музее. Стояли долго, отец не давал подойти каким-то китайским туристам, потом немецким. Глядел и глядел, словно эта картина была написана для него.

Тогда он впервые объяснил мне про этот свет, ощущение внутренней силы, саму жизнь.

Теперь я думал, может, это тетя Люба и имела в виду. Может, у Рембрандта тоже было особое зрение, только видел он не тьму.

– Эдит сказала, что для нее существуют два прекрасных способа моделировать свет и тень, один изобрел Рембрандт, а другой – Караваджо.

– Караваджо вроде бошки отрезанные любил.

– Точно. И человека убил. А потом сбежал куда-то. Эдит мне интересно рассказывала, но я все забыл.

– Зря ты забыл. Надо знать искусство. Бабы – это жизнь, война – это смерть, искусство – это душа. А водка – все сразу.

– Мудрая какая мысль, сам придумал? – скривился я.

– Суммировал из всего понятого.

Отец почесал нос (это ведь мой, мой, мой жест, от отца перенял, когда он умер, я остался с этим жестом).

– Но, если серьезно, искусство иногда может дать ответ на самый главный вопрос. Смотришь на картину, читаешь книгу, да хоть музыку слушаешь, и тут оп-па! Ответ на твой самый сокровенный вопрос! Ты его, может, скрывал от себя самого, ото всех на свете. Но вот он вырвался, высветился. И ты смотришь на все другими глазами, глазами человека, жившего сто, двести, триста лет назад. Ты вышел из себя, вернулся, а там ответ.

Он надолго замолчал, эта речь его утомила. Я пошел заварить ему чаю, вернулся, а он уже спал, обняв альбом Рембрандта, как мальчишка книжку о войне.

В ясном он был сознании, в светлом. До последнего дня. А тем утром что-то с ним случилось, он метался в постели, звал меня мамкиным именем.

– Катечка, Катечка, – говорил.

На лбу у него выступила испарина, и я знал, что это не обычный пот, а тот, как его там, предсмертный. Потец, что ли. Я в слезы, а он хвать меня за руку.

– Господи боже мой, Катечка, мне так больно. Это все потому, что я виноват! Это потому, что я был плохим! Господи, с чего я вообще взял, что я что-то могу? Что я что-то сделал. Ты умрешь, от тебя и следа не останется, а темнота будет жить. Всюду одна темнота, а ничего больше нет. Как я не видел, что ничего больше

нет?

У него на глазах выступили слезы, он много, прерывисто говорил, я едва его понимал. Его то и дело раздирал кашель, вся подушка была в крови.

– Катечка, где Боря? Позови его!

– Я Боря, папа, я Боря и есть.

– Мне ему сказать надо важное.

И тут я понял, что отец не путает меня ни с кем, он меня не видит, а разговаривает с мамкой. Как я с ней разговариваю.

– Я здесь, – крикнул я, неизвестно почему я думал, что это поможет. Не помогло ничего, но минут через пятнадцать отец вдруг посмотрел на меня.

– Боречка.

Боречка, значит.

Я обернулся. Мамка стояла в углу, мокрая, темная, как тень. Она молчала.

– Я Кольку убил, – сказал отец. – Убил его. Это я его так, что он умер.

Он заплакал, слезы были горше некуда.

– Чего? В смысле?

– Убил его.

Глаза у отца были странные, безумные, я такого не видел, даже когда он был мертвецки пьян или невероятно зол.

Я не знал, что и думать. Взгляд отца блуждал по мне, цеплялся за меня, и я все понял про четыре полумесяца у мамки на ладони. Моментально.

Дядю Колю он убил, значит? Как так-то? Я не верил, верить не хотел. Нет, ну врачи бы в морге сказали, если б у них подозрения были. А отец после этого жил как жил, с ментами говорил, и они ему тоже ничего: несчастный случай да несчастный случай. То ли все вокруг идиоты, то ли он с ума сошел перед смертью. С другой стороны, в детстве я думал о том, что мог отец дядю Колю прикончить, тоже не отнять.

Он кричал, страшно кричал, про дядю Колю, про то, как мать мою любил, про то, что ему больно, что ему очень-очень больно. Я боялся хуйнуть ему морфия. Я боялся его убить, когда он уже умирал.

На короткое время отец потерял сознание, очнулся задыхаясь. И вдруг сказал мне:

– Клубничного молока хочу. Перед смертью.

– Пидорское какое пойло, – выпалил я.

– Давай, Борь, перед смертью хочу.

Я сходил на кухню, клубничного молока у нас не осталось.

– Нет его.

– Так сходи и купи.

Голос у него был слабый, но я видел, сколько напряжения он вкладывает в каждое слово. Сердце рвалось от жалости.

– Хорошо, – сказал я. – Ладно, сейчас. Только подожди меня, я тебя умоляю. Я хочу, чтобы ты хоть стакан выпил. Это вкусно.

– Блядь, я знаю, что это вкусно. Двигай давай.

И я пошел в круглосуточный супермаркет, где меня трясло так, что кассирша спросила, не вызвать ли мне врача.

– Нет-нет, – ответил я с необычайной вежливостью, какой-то несвойственной мне вышколенностью. – Все нормально, спасибо вам.

Я вышел на улицу, и мне стало так холодно, как будто я разом проглотил брусок мороженого. Лифт, сука, сломался, и мне пришлось подниматься по лестнице с этой ебучей канистрой клубничного молока.

Каждый шаг давался мне нелегко, я весь дрожал. Я думал: только бы ты был живой, только бы ты еще существовал на свете, тогда я буду поить тебя клубничным молоком и дождусь последнего удара сердца.

Но у меня было безупречное, острое чувство – он все, кончился, расходимся, ребята.

Это ощущение было сильнее догадки или интуиции, сильнее всего на свете. Ни прежде, ни позже я никогда ничего подобного не чувствовал. Но, господи, стоило ли сомневаться? Это был мой отец, и он отослал меня, потому что не хотел, чтобы я видел его в таком состоянии. Потому что не хотел, чтобы мне было больно. Потому что не хотел унижаться. Да сколько могло быть причин?

А я тогда кто? Трус или дурак?

Как ему, наверное, было страшно одному. Нет хуже, чем умереть в одиночестве, когда никто не прикасается к тебе, не смотрит, не удерживает твою душу. Не слушает, что там твое усталое сердце.

Я открыл дверь, и сразу все оказалось правдой. Я не слышал его астматического дыхания.

Невероятно спокойно, я сам себе удивился, я пошел на кухню и поставил канистру с клубничным молоком в холодильник. Потом, значит, достал из кармана сигарету, закурил и вернулся в комнату.

Он лежал на кровати в той же позе, в которой я его оставил. И я подумал: может, не мучился?

Я боялся к нему подойти, трупы они всегда такие сказочно неподвижные, в картине, в скульптуре больше жизни.

Я не верил, что его нет, что это не шутка, что он не встанет скалясь, не засмеется. Не верил, что больше не услышу его

голоса, что не увижу, как меняется выражение его лица. Что это последний предел, за которым, дальше, с ним ничего не будет. Никакого нового дня.

Я курил и глядел на него издалека – легонький скелетик под байковым одеяльцем (он все время мерз, просто все время). Мне казалось, я даже знал, когда это случилось. Может, я выходил из магазина и, холодея, почувствовал его смерть, может, я все-таки услышал последний удар его сердца.

Я не плакал, но горе мое было безмерным. Мы все-таки очень связаны с нашими родителями, и правильно говорят, что кровь не вода. Само существование мое было им обусловлено и подготовлено, и, в конце концов, именно отец сделал меня тем, кто я есть.

Он не хотел, чтобы я был с ним в смертную минуту, не хотел, чтобы это осталось со мной на всю жизнь, и в этом смысле, господи, он всегда был хорошим отцом.

Сигарета уже догорела, столбик пепла держался каким-то чудом, я не шевелился. Чтобы заставить себя делать хоть что-то, я думал о том, как отец лупил меня. Это да. Смертным боем он меня бил.

Но вспоминалось ярко почему-то только хорошее. Как он рассказывал мне что-то или чему-то меня учил, как приезжал праздничный, пахнущий большим городом, когда я был маленький, как гладил меня по голове и как смеялся над моими шутками. А главное, оказалось, внезапно, только после его смерти, что хорошего у нас было немало.

Я весь заледенел. Вместе с его смертью пришла и старая тоска по маме, полоснула меня снова, как в первый раз. Я понимал, что теперь остался один. Понимал я, и что моя очередь умирать – следующая. Я уже не мог беззаботно смотреть на мир, не примериваясь к тому, какой будет моя могила.

И я жалел его, боже ты мой, он не заслуживал такой боли, такой печали, такого ужаса перед жуткой, вечной ночью, которая для него уже наступила.

А за окном светило солнце, и я подумал, что утром умирать страшнее – весь день впереди. День, который можно было прожить.

Ночь – естественное время для смерти, я как-то читал, не поручусь, правда ли это, что большинство людей дотягивают до ночи. Если это так, то, наверное, они хотят себя обмануть, принять смерть за сон. А ночь будет очень долгой.

Я закурил еще одну сигарету, комната наполнялась едким табачным дымом, за ним отец казался призраком, в нем, конечно, уже появилось что-то макабрическое, киношно-восковое. Я

щелкнул зажигалкой и держал ее под ладонью, пока боль не стала невыносимой. Потом я позвонил в скорую (нельзя же сразу в морг, как-то цинично) и пошел за деньгами.

К тому моменту, как мне его вернули, я потратил последние деньги на гроб. Остался буквально без гроша в кармане, работать-то в ближайшее время я не собирался. Хорошо, думал я, хоть еда на неделю у меня будет. Обхохочешься.

Я сам его переодел в хороший костюм, с галстуком даже. Первую ночь мы должны были провести вместе. Это нужно, чтобы попрощаться. Чтобы запомнить, как он выглядит, в отпущенное время поцеловать его и прикоснуться, потому что тело его исчезнет, перестанет существовать как целое.

Уложил папашку в гроб, поставил его посреди комнаты, на стульях устроил, и сам сел рядом.

У него было такое выражение лица, какого я никогда прежде не замечал. Отец стал вдруг очень похож на дядю Колю. Природное возобладало в нем над социальным. Исчезло все свойственное именно отцу, его особое выражение, остались черты семьи, чистые гены, анатомия его лица. Именно эта обезличенность пугала меня больше всего. Смотришь на него, и уже невозможно сказать, что это был за человек.

Всю ночь я не смыкал глаз, смотрел на его лицо, старался запомнить все это сложное, неповторимое соотношение черт. Мы были очень похожи, господи, я видел это как никогда ясно.

Я глядел на него, уставал, затекала спина, шея, мне хотелось зевать, я нюхал кокаин, курил, отходил поссать и все такое, в чем и заключается жизнь, а отец лежал, ему ничего не было надо.

Отвернувшись, я тайно надеялся, что не застану его в том виде, в котором мой взгляд его оставил. И всегда заставал.

Утро было невыносимым, невозможным. В пять, когда горизонт только чуточку просветлел, позвонил Мэрвин, спросил, приехать ли ему.

– Нет. Пока я не доем, не надо. Потом. Может, мне нужна неделя. Не знаю.

– Понял тебя. Это личное. Если будет нужна помощь, позвони, ладно?

– Ага.

В десять утра позвонила Эдит, и все повторилось.

Потом – Маринка, Андрейка, Алесь. С ними (кроме Алеся, конечно) договориться было значительно труднее. Они не понимали, почему мне нужно столько времени, почему я не хочу все организовать как надо, у них был миллион вопросов. А я вообще без сил, никаких ответов.

Должно быть, они подумали, что я сошел с ума. Может,

Мэрвин и Алесь на них как-то повлияли. В любом случае, меня никто не беспокоил.

Утром я наскреб мелочь, лазая под кроватями, исследуя полки на стеллажах, и пошел в строительный магазин. Там я купил топор. Я мог справиться и обычным кухонным ножом. Зверики сильные, все, без исключения. Мог бы справиться, да ну его. Я хотел, чтобы все было быстро и удобно. Я хотел это выдержать.

Мне нужно было съесть все. Я впервые понял (никогда не задумывался), почему отец целовал мамкины зубики, один за одним. Потому что он раскроил ей череп и вытащил мозг.

Такая вот правда.

И впервые выяснилось, сколько он для меня сделал. Тогда то, что осталось от моей мамки, выглядело как кусочки сырого мяса на прилавке. А глаза, мозг, соски, кожу, волосы – все это съел он. Мне досталась, можно сказать, лакированная картинка. Приукрашенная версия реальности.

Я расплакался, когда занес над ним топор. Только тогда до меня дошло, что в каком-то смысле я вижу отца в последний раз. Я закрыл глаза, но слезы текли и текли, как у девчонки, в носу шумели сопли.

– Нет, – сказал я. – Пожалуйста, я же не могу.

Но так делали все крысы до меня. И так будут делать после меня. Однажды мой собственный ребенок, мой сынок, моя дочка, съест уже меня, чтобы я стал частью будущего.

Я почувствовал холодную, влажную мамину ладонь на своем лбу.

– Давай, Боречка. Так нужно, тебе и ему. Это большая тайна. И великий дар нашей Матеньки. Ты не сделаешь ему больно.

Ой не сделаю. Это я понимал. Ничто в мире больше не в силах было причинить ему боль.

И все-таки – сопротивление. Я не мог разъять его тело на части мясной туши. Не просто так.

Я пытался вспомнить, как ненавидел его, но в тот момент я его любил.

– Я хочу разозлиться. Помнишь, как он сломал мне ребро?

Мамка сказала:

– Разозлиться, Боречка, будет легко. Но ты не должен. Тебе нужно сделать это со всей любовью, на которую у тебя сердце способно. Поплачь.

И я поплакал, наклонился к нему и поцеловал в лоб, холодный, скользкий от моих слез.

Нужно было оставить только зубки да косточки. Мне предстояла большая работа. Со всей силой и всей благодарностью

к нему, как к моему отцу, со всем желанием того, чтобы он жил, хоть как-то, хоть где-то на этом свете, я опустил топор и первым делом отсек ему голову.

Я все неумело делал. Хотя, наверное, умения-то ни у кого нет, жизнь не готовит нас к смерти. В основном, потому что мы сами такие: нет уж, давайте без этого.

Первая порция: просто мясо с костей. Не так уж и противно, убеждал себя я, главное начать. Чему я радовался – он был такой тощий, его было так мало в мире, что я рассчитывал справиться быстро. Всякую жесть я оставил на финал.

Я достал из холодильника бутылку водки, холодненькой, с потком, налил в рюмку и со звоном поставил ее рядом с тарелкой.

– Я люблю тебя, пап, – сказал я, опустошил рюмку и принялся за еду.

Я справился за четыре дня, беспробудно бухая и, в перерывах между завтраком, обедом и ужином, убираясь на кухне. Я подумал, что никогда не смогу привести все в порядок. Крови было, как на бойне, и всюду осколки костей, какие-то кусочки, штучки.

Понимаете, я думал, я не смогу все очистить, а я очистил. Пространство – это просто пространство. Для тебя тут произошло все самое важное, но последствия этого можно убрать из реальности.

А вот из тебя самого они никуда не деваются. Я не смог жить в этой квартире, для меня она навсегда осталась грязной.

На четвертый день я, пьяный в жопу, уже звонил Мэрвину.

– Готово, готово, все. Ни волосинки, ни ногтя.

– О. Да. Конечно. Я сейчас приеду.

Он приехал, а в квартире было чисто, все блестело, да в гробу одни чистые косточки. Это я столкнулся с кровью, с грязью, с ужасом всей этой плоти.

Я плакал, сидя на полу, плакал как ребенок. Мэрвин заглянул в гроб и присвистнул.

– У меня нет денег, – сказал я. – Надо место на кладбище, надо помянуть.

Я так его любил, а теперь остается только помянуть.

Прежде чем Мэрвин успел что-либо ответить, я вдруг мгновенно собрался, словно меня ударили, и достал мобильный.

– Бадди поможет.

– Бадди поможет, – согласился Мэрвин.

Я понял, что в этот момент он меня побаивается.

– Ты, сука, ебаный вампир.

– Чего?

– Того. Это традиции крыс. Всех крыс. Я не ебнутый.

– Конечно, не ебнутый. Всё в порядке, Боря. Я хочу помочь.

Но с Бадди я договаривался сам. Он охотно вызвался помочь, деньгами и всем остальным. Но мне нужны были только деньги.

Все мои друзья, серьезно, каждый, пытались мне помочь, взять что-то на себя, поддержать меня, но я делал все сам. Мне было важно проститься с ним правильно, и я не думал, что кто-нибудь, кроме меня, знает, как он хотел.

Главная правда заключалась в том, что отец не думал, что подохнет так далеко от дома. Ему вот хотелось в Россию, а я его не повез. Чего, спрашивается, испугался? Что он коньки откинет по дороге? Так какая разница, если мы оба точно знали, что все заканчивается.

Теперь я винил себя за все, что для него не сделал. Мне было невыносимо душно без него, я не мог дышать, и если бы мамка не гладила меня по голове ночами, я бы, наверное, вообще не спал.

– Тише, тише, скоро папа придет, – говорила она. – Папа любит тебя, Боречка, и папа придет. Ты все сделал правильно. Ты хороший сын.

– А он хороший отец, мама? Он, блядь, был хорошим отцом?

Она промолчала, глядя на меня темными, даже совершенно черными в тоске той одинокой ночи глазами.

– Другого не было у тебя. Но он старался. Я думаю, что он старался как мог. И у него получилось лучше, чем у его собственного отца.

– Это да. Мне даже ни разу не пришлось использовать против него холодное оружие. До его смерти.

Мамка глухо засмеялась.

– Мы любим тебя, Боречка. Как нам тебя не любить? Такой ты был маленький, такой хорошенький – наша с Виталиком любовь. А теперь погляди на себя, взрослый совсем. Он тобой гордится, я знаю.

– Вы встретитесь?

– Все встречаются, для того и нужна смерть.

С похоронами я старался не облажаться, не лохануться, не продешевить. Опыта у меня никакого не было, так что все выходило так суматошно, так неправильно. А кого приглашать? Из тех, кто с отцом был связан непосредственно, я знал только Марисоль. Здесь у него не было друзей, одни коллеги. Я думал, что «хуесосов с работы», как он их называл, отцу бы видеть не хотелось.

Копаясь в его мобильном, я чувствовал себя отвратительно, как будто после его смерти глядеть в его телефон еще подлее. Позвонил в итоге одной Марисоль. Уолтер пошел на хуй.

А кто еще? Ну, мои друзья, просто потому, что они хотят быть рядом со мной в этот сложный день.

Ну, мисс Гловер, потому что они с отцом иногда здоровались, хотя и не без неприязни.

Ванда вообще хотела отца убить.

Бадди, ведь он помог, хотя они с папашкой никогда не виделись.

Ну, как-то так.

Впрочем, мамку мы хоронили вдвоем, так что отчасти это был аншлаг.

Ой, после того, как я его сожрал, как он исчез, а остались зубки да косточки, я как бы окаменел. Ждал его. Он был мне нужен. Я не мог поверить, что остались только зубки да косточки, что ничего не сработает. Но в то же время эти мысли грызли меня, думал, не успокоюсь, пока не увижу.

Ну как ты там, папа? Встретился с Матенькой, и она вручила тебе орден «За трудовые заслуги»? А ради чего еще? Ради чего еще ты себя угробил?

Ответ у меня был. Ради меня – не в целом, но в том числе.

А вот еще на один вопрос я себе никак ответить не мог, все от меня ускользало, пряталось. Он так легко отпустил меня в мою другую, странную, новую жизнь, потому что хотел, чтобы я был кем-то другим, или потому что знал, что никем другим я не стану?

Ой, тьма-тьмущая таких вопросов, на все не ответишь. Знай себе сиди, в ночь вглядывайся да вопрошай, а жизнь-то проходит.

Явился отец утром перед похоронами, когда я завязывал галстук.

– Хорошенький костюм, – сказал папка, и я вспомнил, как он в последний раз ударил меня и как я в первый раз ударил его.

– Это «Ральф Лорен».

– Я все равно только «Армани» знаю.

Я видел его в зеркале. Желтые белки глаз, струйка крови, текущая изо рта, посиневшие десны.

– Я справился?

– Лучше, чем я ожидал, – ответил он чуть погодя. А я в отчаянии подумал, что Матенька обманула нас. Почему я должен был видеть его изможденное болезнью тело, маму, убитую холодной водой? Почему я не мог увидеть их молодыми, счастливыми, хотя бы почти живыми.

– И как ты там?

– Не знаю. Не могу знать. И закрой рот, о таких вещах не спрашивают.

Он сел рядом и долго, пристально смотрел, как я застегиваю

пуговицы пиджака.

– Руки дрожат.

– Дрожат.

– Страшно тебе?

– Что тебя потеряю. Что зарою в землю.

– Там от меня ничего и нет. – Отец постучал кулаком по крышке деревянного гроба. Звук вышел какой-то странный. – Ты лучше сюда смотри. На меня.

От кашля сосуды в глазах у него часто лопались. Уголок левого глаза заплыл кровью.

– Я тебе место купил. Хорошее.

– Хорошее место за океаном. Ты нормальное купил.

– Тогда нормальное. Я подумал, там тебе хорошо будет лежать. Косточкам да зубкам. Это на холме, тебе не будет глубоко. И там, если встать, видно все на свете, даже город чуть-чуть.

– Славно, Борь. Только я не встану.

– Славно. Ну да.

Натянуто мы так поговорили, а потом в дверь позвонили.

– Подожди, – сказал я, а отец исчез. Я не успел спросить его, каких цветов ему надо, и надо ли цветов.

Ой, вся жизнь как херовый анекдот.

На пороге стояла мисс Гловер. На ней было черное бархатное платье, в котором, я уверен, к ее-то годам она многих схоронила. На седую голову она нацепила шляпку с вуалеткой, губы ее были тронуты холодным, невызывающим розовым. Прихорошилась-то, ей самой, должно быть, все это в удовольствие.

Вообще от кого-то я слышал, что старикам похороны в радость, пока не ихние.

– Мои соболезнования, Борис, – сказала она. – Мне жаль.

А я посмотрел, посмотрел на нее, да и вспомнил об Алесе. Весь я снова похолодел, затрясся. Мне надо было попросить его облегчить отцу смерть. А я и не додумался, не догадался, я таким идиотом был.

Из-за меня отец умер мучительно и одиноко. Меня затошнило.

Господи, а если ничего-то и нет там, за горизонтом всех дней? Если Матенька дала мне только хорошую память? Что ж тогда, в небытие он ушел страдая, потому что у меня мозгов не хватило додуматься?

Мисс Гловер, не догадываясь, что я ее даже не вижу, взяла меня за руку.

– Какая у тебя холодная ладонь, Борис. Пойдем, я налью тебе кофе. И обязательно с сахаром.

Я послушно и молча, как малыш, пил приготовленный ею кофе, по-взрослому крепкий, страшно горячий.

– Когда назначена церемония?

Церемония. Ой, не то это было слово, конечно.

– На десять тридцать.

Мисс Гловер глянула в окно.

– Погода, конечно, не располагает к торжественным мероприятиям.

Тогда я тоже посмотрел. Дождь лил стеной. Мисс Гловер на фоне смазанных силуэтов в окне казалась невероятно контрастной, графичной, как в комиксе. Она достала из сумочки маленькую жестяную коробочку, вытащила тонкую сигаретку и попросила у меня прикурить.

– Знаешь, Борис, мы, кошки, верим в то, что наши мертвые спят и не видят снов. Но будет время, когда они очнутся, и все мы снова обретем друг друга.

– Красивая история. Как про зомби.

– Принесу-ка я тебе миндального печенья. Не надо давиться кофе.

Она сходила за печеньем, и я долго макал его в кофе, пока мне не позвонил Бадди.

– Я подогнал машину, Борис!

Минут через десять появился Мэрвин, мы вдвоем вынесли гроб, а мисс Гловер торжественно следовала за нами. Погрузили мы папкины зубки и папкины косточки в катафалк, а я все равно не верил.

Бадди крепко меня обнял и положил мне в карман пакетик с коксом.

– Мои соболезнования.

– Скорее уж «мои поздравления», – сказал я. – Такой он себе был человек. Хотя и дождь.

– Что?

– Примета такая. Говорят, если дождь, то как бы в честь похорон, значит, человек был хороший. В дождливые дни хоронятся только хорошие люди. Ну смешно, ей-богу.

В машине я сидел тихонько. Вот отец уже появился, а мне все равно было глухо, как в гробу. Словно я сам там лежал.

На кладбище под одним зонтом уже стояли Марина и Андрейка. Алесь мок под дождем спокойно, не замечая воды, совершенно бесстрастно, что придавало ему жутковатый вид. Они все обняли меня, тепло, нежно и обеспокоенно. Какие у меня хорошие друзья, так я тогда подумал.

Вскоре подъехала Эдит, она поцеловала меня в щеку и сунула мне бутылку минералки и какие-то таблетки, а потом долго

держала за руку.

– Мне жаль.

– Да. Ага. Спасибо.

Последней появилась Марисоль. Она сдержанно кивнула мне, подошла к гробу, стоявшему на подпорках, приложила к нему руку. Мне очень захотелось прогнать ее, но она была единственным человеком, по-настоящему близким отцу.

Ой, смех и грех, приложила руку к его гробу, как к сердцу любовника.

А я его сердце съел.

Так мы и постояли, разношерстная компания, бандиты, бабуля, бывшие беспризорники и блядь. Отец бы оценил, надо думать.

Надгробную речь держал я:

– Большинство из вас плохо его знали, а некоторые не знали совсем.

Марисоль скривилась, и я подавил в себе желание улыбнуться.

– Он не был хорошим человеком. Не в том смысле, в котором мы привыкли думать о хороших людях. Но он был достойным, сильным и смелым. Иногда это приносит больше хорошего, чем доброта. Он был здесь нужен, без него будет не так. Я не знаю, как объяснить вам, какое место он занимал в моей жизни, в мире, везде. Наверное, нет способа рассказать о близком человеке и сохранить его навсегда. Спасибо вам, друзья, за то, что вы пришли сюда. Я не хотел бы, чтобы он там, где-то, думал, что был совсем уж одинок. У него был я, и благодаря ему, не в последнюю очередь, у меня есть вы. Так в жизни все устроено. Это судьба.

Почему-то мне представился Мэрвин, показывающий мне большой палец аккурат после заключительного слова. Но Мэрвин стоял с постной рожей, я даже чуточку расстроился.

Яму я копал вместе с могильщиками, быстрее них и лучше, надо сказать. Зарывал гроб и вовсе один, всех отогнал. А люди под страшным дождем окружили меня и глядели, как я орудую лопатой. Это был кадр из какого-то артхаусного фильма ужасов, честное слово.

– До свиданья, – шептал я. – До свиданья. До свиданья. До свиданья.

Я не верил в «прощай», просто не хотел верить. Спиной я чувствовал его взгляд. Его присутствие. Это успокаивало. Все кладбище было в черной плесени, а в земле сверкали небольшие каверны. Я не стал закрывать их, хотя мог сделать это незаметно.

Теперь я увидел, как умирают от тьмы.

Когда я прибивал лопатой холм мертвой земли, ничуть не

устав от работы, наоборот чуточку успокоившись, за спиной я услышал:

– Мистер Шустов. Борис.

Сука Марисоль, подумал я, все ему передала, чтоб ей пусто было.

Я обернулся, сразу отбросил лопату, просто чтобы не врезать Уолтеру. Он изрядно постарел с нашей последней встречи. Ой, время-то идет, время всем враг. Мой отец-то и вовсе умер.

Дождь закончился, и теперь все приобрело глубокие, печальные цвета пасмурного дня.

Интересно, подумал я, а есть у Уолтера щенки, которые будут тоскливо выть, когда его не станет?

Что тебе крыски, Уолтер, что тебе крысиные отцы и дети?

На нем был добротный черный костюм, унылое выражение лица соответствовало случаю, но то ли я к нему был предвзят, то ли нечто безразличное, механическое в повадках с головой его выдавало.

Его спокойное, печальное лицо я, сука, не забуду никогда. Лицо стареющего приличного человека.

– Мне жаль, – добавил он, когда я не отреагировал.

Я сделал шаг к нему, задумчиво кивнул.

– И мне жаль, – сказал я, а потом двинул ему по яйцам, он рыбой захватал ртом воздух, всхрапнул, а дальше я не знаю.

Не доставил себе такого удовольствия поглядеть, пошел, а куда и сам не думал. С кладбища вон, и мне хотелось прийти в какое-то другое место, в другое время.

За спиной у меня остался отец и его простой русский крест среди американских надгробий.

Рядом с массивной белой с золотом табличкой «Роуз Хиллс», обсаженной алыми (и покрасневшими еще сильнее после дождя), белыми и фиолетовыми цветами, я вдруг увидел дядю Колю. Он стоял, глядя на печальный, пасмурный свет – после дождя небо не разгладилось, не примирилось.

Я не ел дядю Колю, я ел торт «Прага». Но мой отец дядю Колю съел и, может быть, убил. Уж точно он его любил. Знаете, так оно иногда бывает у крысок.

Я поглядел на дядю Колю, и он помахал мне рукой, обезоруживающе жалко улыбнулся.

Я бы с ним поговорил, но не мог остановиться. Все шел и все думал о папке моем, о красивой цифре, от которой мне не было покоя.

1961–2011.

Часть III. Был мудрым

Глава 20. Тихий ужас

Значит, один из папкиных дядек, звали его Миша, пил и читал немерено, так, что самому было не в радость. Когда его спрашивали, как же так получилось-то, Мишка, что ты делаешь то, что тебе не в радость, да еще и всем другим этим досаждаешь (любил он выпендриться какой-нибудь заученной фразочкой или прийти пьяным под дверь к кому-нибудь из родственников и канючить), тогда он отвечал:

– Я чувствую глубокую вину за человеческую природу. Она повергает меня в тихий ужас.

Видимо потому, что ужас был тихим, Миша не мог кричать, его никак не хотели лечить, а лечиться он хотел, но в дурке и без него хватало по-настоящему больных да поехавших. А если б кричал, его бы немедленно повязали, чтоб не нарушал покой течения социалистической жизни.

Вот, значит, но в целом-то у него все было хорошо, работа-зарплата, жена не гулящая, ну разве что детишек они не прижили. Миша считал великим грехом приводить в мир еще одного человека (а тем более двух, бывают ведь близнецы).

– Какой толк, – говорил Миша. – Чтобы человек пришел на землю, немного погрешил и непременно умер.

Не был он сильно верующим, скорее «грех» у него был нечистотой, общей измызганностью, изгвазданностью человеческой души годам этак к сорока. Когда ему говорили о детях, он горько плакал.

Родственники, конечно, его всячески этим давили. Надо же продолжить род, ответственность есть перед миром и все такое прочее, делай-ка крысят, да побольше, пооперативнее.

На что Миша отвечал:

– Я люблю своих детей. Я люблю самую идею своих детей, каждого из возможных, и только поэтому я никогда не дам им родиться.

И вот однажды мой пьяный в слюни отец, рассказывая эту историю, сказал вот что:

– Мишку я в какой-то степени понимаю. Понял хорошо, когда ты родился. Но вот что я подумал: если по-настоящему любящий родитель никогда не даст ребенку появиться на свет, любил ли нас Бог?

– Ну, он не знал, что все пойдет не так, и вообще мы у него скорее незапланированные дети, я так думаю.

Отец закурил, глянул на меня.

– А ты никогда не думал, что раз он всемогущ и всеведущ, то

он знал, что дети его будут играться и создадут людей и что в конечном итоге это все приведет к катастрофе.

Но я никогда так не думал. Господа я любил всем сердцем, куда больше Матеньки, может потому, что он был далеко-далеко.

Сейчас объясню почему: ну разве не прекрасно, что есть что-то, перед чем отступает небытие, и пусть наша жизнь, в масштабах вечности, не длиннее жизни жучка-паучка, пусть она только звездочка на небе и к утру от нее не останется следа, а мир все еще будет существовать, пусть она, кто там это придумал, искорка от пляшущего костра какой-то общей витальности – разве нет в этом великой любви, которая хоть ненадолго, но победила смерть?

Ну почему мы не думаем о жизни с точки зрения ее начала, а не непременного конца? У жизни есть финал, это точно, еще никто его не проебал, спешите видеть. Но разве не так же непременно ее начало?

Удача раскрыть глаза (ну или уши тем, кому не повезло с глазами, хоть кончиками пальцев потрогать, это для тех, у кого и с ушами проблемы) и поглядеть на свет, пусть даже времени у тебя сущая ерунда, – это победа над гибелью, безусловный выигрыш у настоящей вечной темноты, по сравнению с которой смерть – просто игрушечка, кошмарик.

Вот что я думаю, и поэтому в первый раз отнять жизнь мне было невероятно тяжело.

Я стрелял не потому, что мне было любопытно или я разозлился. Мне пришлось стрелять, потому что я не хотел умереть. Мужики были лихие, но наебать нас не вышло.

Я стрелял, потому что мне хотелось жить. Ой, я к тому времени уже был очень богатым, и мне все думалось, что можно чистеньким остаться. Думал, жизнь проживу и руки-то не замараю, ну хотя бы чисто формально. А на самом-то деле, как влез в эту хуйню, готовься к крови, всегда к большой.

А когда думаешь об этом, то представляется «Путь Карлито» или «Лицо со шрамом», лакированная картиночка, в которой убийство совершается быстро, легко и потом не снится.

А оказывается, попал ему два раза в грудь, кровь хлещет, и ты уже знаешь, что он не выстрелит, а кошмары только начинаются.

Вот это надо вспомнить, день, когда я понял Мишку, хотя бы отчасти, и стало мне в жизни так тоскливо, что захотелось пить и читать немерено.

Мы с ребятками разъехались по домам, как ни в чем не бывало, разве что каждый из нас был бело-зеленый от подкатившей тошноты. Я не боялся, что меня поймают, этого не было, хотя мы и оставили три трупа на складе.

Я даже хотел, чтобы меня поймали, чтобы меня как следует посадили, чтобы у меня было что-то, чем я перед вечностью мог бы потом оправдаться, мол, претерпел за это.

Мужика того я долго не помнил. Или лучше как-то так: лица его точно не помнил, обычная кубинская рожа, тяжелый взгляд, темная кожа. Зато я хорошо помнил, помню и всегда буду помнить этот момент, когда пуля в живое тело вгрызлась, и оттуда кровь, как начинка из пирожка.

А у пуль-то, ох, в темноте свет есть, и с полсекунды – маленький хвостик, как у падающих звезд.

Мэрвин вроде бы попал в лампочку, и мы остались в полутьме, я подумал, если б не это, успел бы не я, а мужик, и что? Да ничего. Я просто оказался быстрее, природа моя звериная быстрее его человеческой.

Такая, в сущности, нечестная игра, на одних весах нас измерь, получается, что равны, оба бандиты, оба с разумом да с сердцем, наверное, с какими-то принципами, а на других я, по Дарвину, потяжелее буду.

Мне все было отвратительно. Я звонил младшим ребяткам, чтобы они там подубрались, а сам был где-то в другом месте.

Приехал домой, долго стоял под душем, думал, блевану или нет. Такая она, проза жизни. Переоделся, поглядел в зеркало, чтобы посмотреть на лицо убийцы.

Мне было двадцать пять лет.

Дома мне стало невыносимо, но оказалось, что на улице тоже. Движение, однако, придало всему какой-то смысл.

Так я пришел в Покровский храм.

Не то чтобы у меня были какие-то особенные религиозные воззрения, не то чтобы их, напротив, не было, однако в тот момент что-то потянуло меня внутрь, смотреть на золото иконостаса.

Храм был маленький, узкий, с чисто выкрашенными стенами, он густо пах свечным воском и ладаном, в нем тяжело и приятно дышалось. Я почувствовал себя странно.

В дорогущем костюме, с пистолетом в кармане, весь мирской с головы до ног, я предстал перед жизнью вечной. Оказалось, что в этом маленьком храме я сам словно песчинка, такой крошечный пред очами святых и ангелов.

Я смотрел на то, как золото огня играет с золотом икон, как нетварный свет нимбов освещается нашим, человеческим пламенем тоненьких свечек.

Все там сияло, сверкало, и свет был мягкий, неземной, такой, может, перед смертью полагается. Какая была красота в прекрасных, линеарных ликах, в глубокой грусти и печали,

которую можно было прожить с этими людьми, и в их тайной радости.

Если они были правы, однажды мы все предстанем перед Господом, всем нашим миром, и какими же крохотными мы покажемся себе тогда. Я буду стоять рядом, например, с да Винчи и Чингисханом, но тогда у нас будет больше общего, чем различий.

Ой, какой там лился теплый свет, я даже на секунду забыл, что убил человека, да, убил его, когда он пытался продать мне партию наркоты, а потом грабануть меня по-тупому.

Я забыл об этом и стал легким-легким, перед глазами все плыло, на тысячи солнц распались огоньки искусственных свечей на люстре.

Люди ставили свечки – за здравие и за упокой. Подумал, может за упокой поставить? И вспомнилось все немедленно. Слезы у меня сами полились.

Я рухнул на колени перед деисусной композицией (как-то мне Эдит объясняла: это когда Дева Мария и Иоанн Креститель просят за всех нас помилования у Христа). Для деисуса, кстати, это было очень необычное произведение – Иисус не был изображен в виде великого судии, царя всего мира, как у Эдит в книжках. Он был распят.

И от этого мне стало еще пронзительнее, еще тяжелее, от какой-то его беззащитности, что ли, от того, каким она делала меня самого. Внизу горело множество свечей, и я все боялся затушить их слезами, как маленький мальчик.

Я смотрел на печальный, пронзительный лик Христа и думал о том, что я наделал, мне было больно и плохо, я плакал, как ребенок, осознавший впервые, что кому-то бывает больно от его дел.

Люди ходили мимо меня, не трогали, и я был им благодарен.

Когда девчонка стоит на коленях в церкви и плачет, всем понятно – аборт сделала. А когда мужик? Ну, может, с войны.

А я с войны как бы, причем на нее я пошел добровольцем, а война эта несправедливая, ой несправедливая. Боль одна от нее, во все четыре стороны, всем больно.

Слезы лились сами, кровью из раны, воздухом из легких.

Я плакал до больного сердца, я хотел не прощения и не искупления даже, а невозможного – повернуть время вспять. Чтобы, знаете, не влезать в это дело, никогда не видеть того мужика, которого мне пришлось убить.

Я не думал о том, чтобы изменить свою жизнь, пойти отшельником в пустыню Невады. Не было таких мыслей, честное слово. Было страшное сожаление об одной-единственной точке на

моем континууме. Но и это уже много.

Два года назад (мне было тогда двадцать три, я уже крепко сидел на кокаине и много знал о том, как его доставать и как от него избавляться) Бадди арестовали вместе со многими его ребятами. Нам с Мэрвином повезло не оказаться в плохом времени и плохом месте, мы отсиделись и стали думать.

У нас имелись знания, имелись какие-то контакты, имелся стартовый капитал, нам нужны были хорошие, надежные ребята и немного везения.

Сложнее всего было уговорить Марину. Алесь и Андрейка, в общем-то, почти сразу врубились в то, что бабла может быть много, а работа будет интересная. Но нам нужен был Маринин холодный ум, ее способность к планированию.

Полгода я ее уговаривал, демонстрировал ей денежки, просил, умолял, а она ни в какую. Наконец, мы сделали ей документы, и она первые смогла почувствовать себя свободно в стране, где жила столько лет.

– Я теперь легальная, – сказала она, рассматривая свою фотографию на ID-карте с красивой надписью «Калифорния».

– Ее не заберут? – настороженно спросила Марина, водя пальцем по схематическим, каким-то авангардным елочкам, по долгожданному пластику, по своему билету в нормальное будущее.

– Она прозрачная как стеклышко, – добавила Марина.

Заглянул я ей в глаза да сказал:

– Помоги нам, пожалуйста. Нужно нам порядку, бухгалтерия там. А мы только тебе доверяем.

Марина нахмурилась и сказала, что подумает. Через два дня дала ответ, он был «да». Так все мы оказались на обочине общества. Не было больше никого, кто сказал бы мне остановиться.

Эдит считала, что я волен поступать так, как мне вздумается, Одетт вообще не хотела об этом слушать, сразу же махала руками и орала:

– Нет! Если меня будут допрашивать, я не хочу ничего о тебе знать, а то вдруг тебя из-за меня посадят!

А кроме них у меня и не было никого. Из живых, во всяком случае.

Отец и мать мои в землице на разных континентах, а как придут, так чего-нибудь по поводу моих дел обязательно скажут. Но кому надо мертвых слушать? Дядя Коля тоже меня осуждал, головой качал и глядел кротко. Говорил:

– Боря, найди себе приличную работу, а если будет скучно – пей.

Высокая мудрость, значит.

А дела у нас шли в гору, бабла было все больше, даже счастья прибавлялось, а говорят, не в деньгах оно. Я много мог себе позволить, я мало чего боялся. К двадцати пяти годам я был, как бы это сказать, бизнесменом средней руки, достаточно обеспеченным, чтобы иметь четырехкомнатную квартиру в Западном Голливуде, и недостаточно обеспеченным, чтобы замаливать грехи, отстраивая школы и храмы для русскоязычной диаспоры.

И, понимаете, со многими нюансами работы Бадди я столкнулся впервые. Ой, а так-то это тоже бизнес, купил-продал, та же самая игра. Значит, подешевле купил, подороже продал, проконтролировал, чтобы дилеры у тебя из кармана не воровали, чтобы все чистенько было у поставщиков. Ты как бы владелец магазина, которого нет. Есть у тебя поставщики, есть продавцы, а офис твой там, где оно все от глаз скрыто.

В целом обычно все идет тихо, гладенько, умирать никому не хочется, тут естественные предохранители работают. Так что я долго приучал себя думать, что разница между мной и обычными бизнесменами в пушке и товаре, не в качестве души моей бессмертной.

А оказалось вот как.

Я стоял на коленях, и сверху было столько золота, будто небо мне открылось с какой-то другой стороны, с обратной, с горней. Взгляды ангелов прошивали меня насквозь, мне казалось, будто эти энкаустические существа из цвета и линий видят меня обнаженным и беспомощным, как патологоанатомы в морге.

Но я не думал, что они будут копаться в моих внутренностях, резать тело мое. Было во всем высшее милосердие, которого я не понимал.

Я был глупый-глупый, ребенок, бегущий к родителям оттого, что дал в глаз соседскому мальчишке, и теперь все стало странным.

Может быть, мы считаем Бога отцом своим оттого, что все тоскуем о детстве, а может, Бог наделил нас любовью к детям, подобной его любви к нам. Этого никто знать не может, да только хотелось бы.

Мне казалось, я могу плакать всю вечность, до самого великого возвращения Господня.

Ой, я встал, утирая слезы, прислонился лбом к иконе, а в кармане у меня был пистолет, и он в тот момент так отяжелел. Вот тогда я и понял, что нечего мне здесь делать, что я сюда пришел, чтобы до Бога докричаться, каким бы он ни был взаправду, а на самом-то деле докричаться надо было до себя

самого.

Все это золото, весь свет, прекрасные и печальные лики, они были далеко от меня, а я все ползал в какой-то грязи, в кровавом месиве.

Я не готов был себя простить, разве не эгоистично думать, что я могу спросить у Бога: можно?

И он скажет: можно, Боречка, живи, как тебе оно надо, хочешь – людей убивай, хочешь – кокос загоняй.

Нет, не так оно в жизни делается, ну, если жизнь, она хоть чуточку справедлива – то не так.

Боль на меня напала, но это была честная боль. Я убрался из церкви, поглядел на золотой куполок с крестом, искрившийся на солнце, утер свои слезы. Позади купола было синее небо, по которому ветер гнал облака. Я стоял и думал: никогда не забуду кровь у него на рубашке, не забуду, как пуля человека убивает, как был живой, стал мертвый, а ты виноват.

Думал, что никогда не смогу солнышку порадоваться, чистеньким небесам, красоте хорошенькой церковки.

Я был беспредельно далеко от всего, в каком-то сером пространстве, похожем на то, в котором умирал мой отец.

Мне стало страшно от жизни, страшно от смерти. Я был близок к тайне, подобравшись к которой люди поворачивают назад, из самого ада выбираются. Дело не в том, что я собирался креститься и от всего отречься. Я почувствовал саму идею милосердия и любви, она была разлита в воздухе.

И, господи, как легко это потерять.

Стоя перед церковью, я пообещал (кому – до сих пор не знаю), что буду лучше, хотя бы чуть-чуть, ну, насколько смогу. Шел обратно и уже не плакал, солнце мне слезы высушило, остался только неприятный жар в груди.

Все я проебал, правильно я оттуда ушел, потому что я был пустой, глупый, не готовый ничего менять.

В туалете кинотеатра долбанул коки, чтобы взбодриться, и сходил на мультик «Звериполис». Долго угорал, конечно, с человечных, прямоходящих зверей. Как про меня, только меня от обычного мужика не отличишь, ни шерсти, ни хвоста.

А после мульта уже я был успокоенный, веселый, привычный.

У кинотеатра меня ждал отец. Я потягивал пепси из картонного стаканчика.

– Чего?

– Хуево тебе? Хоть немного?

– Как сердце свое съел. Не знаю, поймешь ты, нет?

Отец следовал за мной. Из носа у него шла кровь, капала по тротуару. Никогда они с мамкой не встречались, я их вместе не

видел. Нет счастья в смерти.

– Больно должно быть, тогда душа живая еще.

– Я ведь себя защищал, если так-то.

– Бабло ты свое защищал первоначально-то.

Он был как мой отец, и в то же время он говорил, может, то, что я сам себе сказал бы. Это очень сложный вопрос, наши ли это мертвецы, или мы сами себе мертвые все-таки. Я обернулся.

Отец утирал нос рукавом застиранной рубашки, лоб у него блестел от предсмертного пота.

– Может и бабло, ну так не я ж все начал.

Мимо меня проплыла необъятная тетка, одарила меня этаким обеспокоенным взглядом. Хорошо, что на русском говорил.

Отец сказал:

– Как живем, так и умираем. Ты об этом подумай. Вот я как жил, так и умер.

– Ну вот от пули, небось, оно поприятнее. Я, может, и не против.

Пошел я быстрее, но он мне вслед:

– Ты, мать твою, думаешь, что я тебе Призрак будущего Рождества? Живи ты как хочешь, только ничего здесь не поправишь, ничего назад не вернешь!

Я выбросил стаканчик и поискал в кармане сигареты. Душа у меня по ощущениям была чернее черного, нигде я не находил ответа.

Но я все-таки понимал, что плохо ищу. Это здорово, когда все понимаешь, тогда между тобой и миром никаких недомолвок нет, справедливость какая-то даже появляется.

День только начинался, и хотя я не спал всю ночь, приехал домой под утро, помылся и ушел бродить, усталости не чувствовалось, я существовал в особом режиме, казалось, могу пробежать тридцать километров, неделю бродить в лесу. Меня колотило от адреналина, поэтому я перехватил Одетт, она как раз была в городе, с ланча и повез к себе.

Дома, в месте, где я хотел выть от безысходности еще некоторое время назад, на этом же адреналине я ее сладко оттрахал. Обо всем забыл. Женщина лучше «Ксанакса» и «Золофта», слаще нее еще ничего не придумали.

С Одетт получилось в итоге так. После того как отец кончился, я так страдал, ну так страдал, в конечном итоге взял тачку и поехал в Массачусетс, в Кембридж, городок бездельников.

Там я долго плутал среди корпусов из стекла и металла, похожих на инопланетные постройки. Приплатил кому надо, мне и сказали, где Одетт Маутнер учится, где живет. Ой, врут, что у кого-то чего-то не купишь. У всех все купишь, всегда так было.

Может, и бесплатно бы сказали, да я не пробовал. Я с букетом цветов заявился, такой милый поклонник. Мне надо было точно знать.

Я ее ждал после электива по экономическим аспектам робототехники или еще чему-то такому, она вышла, веселая, хоть и усталая, пока шла – грызла ногти. Я ей посигналил, высунулся.

– Привет!

– Чего ты тут делаешь? Уезжай! Мне не надо, чтобы ты меня караулил!

Одетт свернула на узенькую дорожку, на тачке за ней было не проехать, а догонять при людях не стоило.

Ночью я притормозил у ее кампуса, сидел с кофе до двух ночи, когда она вышла ко мне в тоненькой ночной маечке и наспех надетых джинсах (одна штанина задралась, обнажив ее щиколотку).

– Что тебе надо, Борис?

– Давай почеловечнее как-нибудь. У меня отец откинулся.

– Бесчеловечно использовать это как основание для того, чтобы за кем-то следить и…

Но договорить она не успела, я притянул ее к себе и поцеловал. Ебались мы прямо в машине, было ужасно неудобно, я до звезд из глаз сильно ударился головой, а она что-то себе потянула.

Да только оба мы какую-то жажду удовлетворили, что-то важное получили. На рассвете, когда она пошла обратно, я спросил ее:

– Эй, а проблемы с комендантами у тебя будут?

– Боря, коменданты у тебя в Средневековье. Сейчас у всех электронные карточки.

Через пять минут она вернулась, выяснилось, что карточку Одетт проебала, и мы ползали по машине, искали, смеялись. Потом позавтракали в студенческой кафешке фруктовым салатом с ванильным соусом, одним на двоих, и расстались влюбленными.

Я думал, это навсегда, приезжаю домой, позвонить хочется, а она снова трубку не берет. Так было много-много раз. Я ее к себе приучал, как зверечка.

Она от меня бегала, а я ее догонял, мы играли в старую-старую игру, между мужчиной и женщиной всегда такое происходит, если у них большая любовь, я в это верил.

Вот стоило расслабиться, убедиться, что у нас с Одетт все в порядке, как она исчезала из моей жизни. Играла она со мной, вот чего. И я кричал, что ненавижу, и посылал ее на хуй, а только мне эта игра тоже нравилась, был в ней азарт.

Год назад Одетт впервые меня пожалела. У женщин вся любовь начинается с жалости. Если не пожалеет – никогда не полюбит искренне, одна страсть будет, или расчет, или восхищение даже, но без жалости у них нет настоящего чувства, оно не рождается.

Тогда умерла мисс Гловер, мне пришло приглашение на похороны от какой-то ее дальней родственницы, предприимчивой кошечки лет этак сорока, она распоряжалась похоронами, и у нее были какие-то там наполеоновские планы насчет французских пирожных, я ничего не запомнил.

Пусть мы с мисс Гловер виделись разок или два с тех пор, как я переехал, у меня было ощущение, что уж она-то подождет, когда у меня дел будет поменьше, когда мне захочется к ней съездить. А оказалось, ее время шло так же, как и любое человеческое, как и всякое звериное – никаких поблажек.

Взяла и умерла, меня не спросила.

– Она мучилась?

– Нет. Сердечный приступ.

Ой, сердце у нее было, это да, маленькое, конечно, но жила не без него.

Вместе с мисс Гловер ушло из моей жизни что-то такое важное, нужное, завершился какой-то этап, который продолжался и после смерти отца. У меня порвалась связь с детством, ощущение было как от воздушного шарика, который выскользнул из рук, и его уже не поймаешь, не ухватишь за веревочку.

Что-то кончается, что-то начинается, такова жизнь, но как же это, блядь, иногда тяжело.

Короче, тогда у нас с Одетт как раз был очередной загул, я ей все сказал, и она согласилась пойти со мной на похороны, хотя и повторяла, что это просто ужасно скучно, что похороны она ненавидит, и что я вообще уже.

На похоронах я впервые увидел мисс Гловер некрасивой, осунувшейся. Ее желтоватое лицо, испещренное морщинами, напомнило мне лицо какой-то старухи, которая испугала меня маленького в Норильске. Это просто больная какая-то была, сумасшедшая бабка. Я тогда сидел дома один, и вот она пришла под дверь папиной квартиры, в дверь позвонила и стала голосить:

– Как оно все внезапно, как внезапно все кончилось, а я-то думала, будем вечно кутить, где ж я теперь?

Она себя то спрашивала, то хлопала по щекам – сумасшедшая, морщинистая, предсмертно желтенькая. А я смотрел на нее в глазок, заставлял себя смотреть, чтоб преодолевать страх.

Вот такой старухой в самом конце стала мисс Гловер. Весь

лоск из нее ушел, все обаяние, теперь это было только тельце, маленькое, сухонькое, все в пудре.

А сколько положили цветов, белых лилий, их нельзя было посчитать. Весь зал прощания в них утонул, а официант разносил шампанское «Кристалл» и нюхательные соли – все как мисс Гловер хотела.

Мы с Одетт были единственными молодыми, а еще, кроме нас, там все были коты. Ужасно это оказалось неуютно. Вроде и понимаешь, что все эти стареющие роскошные тетеньки и мужички во фраках не собираются разорвать тебя на маленькие кусочки, а что-то такое в воздухе все равно витает. Зашли однажды крыса и мышь на вечеринку к котам. Анекдот, значит.

Правда, с панчлайном не сложилось, мы постояли, удушенные лилиями, потом я прижался губами к щеке мисс Гловер.

– Спокойного сна. И спасибо за все. Хотя вы временами были прям очень ужасная. Но, наверное, вы можете собой гордиться.

Я говорил на русском. Это было только для нас с ней, мисс Гловер мой язык знала, да и теперь, там, куда ее прибрали, у нее вряд ли были проблемы с пониманием.

Когда мы с Одетт вышли, она сказала:

– Ужас. Ее родственница решила сэкономить на гробе. Такой красивый гроб, но в нем уже кто-то лежал. Я у него спросила.

– Мисс Гловер бы это не понравилось. И зачем ты разговаривала с гробом?

Эта ее привычка, болтать с вещами, никак не укладывалась у меня в голове. Я даже не представлял, как это происходит. Одетт говорила, что контуры предметов начинают вибрировать и голос идет как бы оттуда, от этой странной, светящейся, как воздух после дождя, ауры. Мне было сложно как-нибудь это себе уяснить, какая такая аура, и как так, говорит даже не вещь, а словно бы ее рамочка.

– Скучно было, – ответила Одетт. – Хотелось поболтать, но на похоронах это не очень принято.

Она расстегнула черный пиджак, под ним оказалась белая блузка с принцессой Селестией из «Моего маленького пони» (я всех этих сук знал, просто пиздец).

– Могла бы что-нибудь поприличнее надеть.

– Да под пиджаком не видно.

Мы сели в тачку, тогда я еще ездил на отцовской BMW, скорее из сентиментальных чувств, покурили. Мне хотелось секса, ей явно тоже, но после похорон она как-то посерьезнела. И неожиданно сказала вот чего:

– А ты ее любил.

– Нет, не любил, но привязался вообще изрядно.

Ее сигарета потухла, и Одетт наклонилась ко мне, подкурила от моей, заглянув мне в глаза неожиданно доверчиво и печально.

– Мне правда очень жаль. Ты такой чувствительный.

Одетт протянула руку и коснулась моей щеки, прижала маленькую, золотую ладошку, и я поцеловал ее пальцы. Мы смотрели друг на друга, и между нами такое мелькнуло, как в книжках про любовь, странное, живое, маленькая птичка в надежных руках.

Она не умела меня утешить, но ей хотелось. А я слышал, вот в исламе, к примеру, намерение даже важнее того, совершено действие или нет. По-моему, очень мудро.

Потом мы поехали в рестик, я точил устриц, а она – какой-то неаккуратный мишленовский десерт. Но я смотрел на нее уже другими глазами. Помню, рассказывал ей что-то про пентеконтаэтию, про Перикла, про демократию, а она копалась ложкой в карамельных чешуйках.

– И не подумаешь, что ты столько про греков знаешь.

– Я и про римлян много знаю. Только тебя этим не впечатлить. Я маленький «Жизнь двенадцати цезарей» обожал читать.

– И кто был твой любимый цезарь?

– Калигула, наверное, он вообще забойный. Но сентиментальные чувства были к Клавдию. Он мне напоминал моего дядьку. Его грибами отравили. Клавдия, не дядьку. Дядька голову разбил.

А может, отец мой ему башку-то расхуярил, ой, у каждого в семье, если покопаться, все двенадцать цезарей найдутся.

Что касается дяди Коли, он мне ничего путного не сказал.

– Не помню, – говорит. – Как умирал. Даже голова не болела, просто теплота какая-то везде и уносит, как волной. Как бухали, как упал – кто его знает. С Виталиком бухали, а потом умер.

Вот иногда бывает: разговариваешь со своими мертвыми, а толку чуть.

Одетт, короче, глядела на меня, глядела, а потом засмеялась.

Я сказал:

– Сегодня я повезу тебя к себе домой. Останешься со мной.

– Иди постой в очереди за талонами на талоны.

Одетт помолчала, достала свой очередной бальзам для губ и сказала:

– Но я останусь. В качестве исключения. Надо же тебя как-то поддержать.

И вот так она пришла в мою жизнь по-настоящему, вместе с ее раскиданными по сумке пахучими, непременно «круэл-фри»

натуральными бальзамами в смешных упаковках, с безуспешными попытками научить меня играть в словесные ролевые игры, железяками, раскиданными по полу, и маленькими существами, которых она создавала из мусора.

Мы так и не съехались, но, приезжая на каникулы, Одетт могла жить у меня неделями. Теперь-то это уже напоминало отношения.

То Рождество, а случилось оно не так уж сильно после похорон мисс Гловер, мы тоже провели вместе. Помню, она глядела в экран ноутбука, по американской традиции, чуждой ей настолько же, насколько и мне, смотрела «Эту замечательную жизнь».

Я в тот день ничего не праздновал, а она вся оделась в белое и красное, подарила мне книжку про птолемеевский Египет и танцевала под Синатру. Я, конечно, ворчал, мол:

– Это не наша с тобой культура. Хочешь глянуть какое-нибудь старье, вон «Бульвар Сансет» – хороший фильм.

– Его любит Эдит. Я из принципа не люблю ничего, что любит Эдит. «Эта замечательная жизнь» – отличный фильм. Иди посмотри со мной. Он добрый.

– Не хочу я. Обман это все.

Но Одетт все-таки усадила меня перед ноутбуком, поделилась «Эм-энд-эмсом» с арахисом, и так мы провели славный-славный вечер, может быть, самый славный из всех. А ночью пошли гулять, и весь город дышал бренди, индейкой и мятными леденцами.

Мы оба были тут чуточку чужие, но звезды над головой были такие яркие и редкие, что на эти мелочи и внимания-то не обратишь.

– Ты чувствуешь себя старой, потому что ты из Старушки Европы?

Одетт засмеялась.

– Хочешь поцеловаться под омелой, как в кино?

– Сопливо как-то.

Но она поднялась на цыпочки и коснулась моих губ, осторожно, по-детски, как в первый раз.

Она смешная, конечно, много о ней такого можно вспомнить.

Ну и да, короче, стало нам с ней хорошо и долго было заебись.

А в тот день, когда я человека-то прикончил, трахаться было по-особенному, как будто я из могилы к ней пришел, ну не знаю, как еще сказать. Типа как у Жуковского, будто я был ее мертвый жених.

Тогда (Одетт лежала у меня на руках, чуть подрагивала, как

от температуры, после хорошего секса с ней такое бывало) я впервые подумал о ребенке.

Ой, не то чтоб мне железно надо было продолжить мой род залупкиных королей Шустовых, но одиноко стало на свете, когда подумал, что из этой маргинальщины один я у себя остался.

Мной овладела совершенно животная жажда, я хотел продолжить себя во времени или, что даже более важно, хотел продолжить своего отца. Сердце у меня стало неспокойно от того, что подумал: умру, и не будет никого на свете такого, как мы с отцом.

– Выходи за меня замуж, – сказал я. – Будешь рожать мне детей. Троих крысят.

– Иди выпей антифриза.

– Я серьезно. Будешь дома сидеть. Всем тебя обеспечу.

– Иди пожалуйся на государство на кухне.

– Горя не будешь знать, обещаю.

– Иди стукани на соседа, что он пожаловался на правительство на кухне.

– Серьезно, Одетт, все красиво сделаем, платье белое у тебя будет.

– Иди полмира захвати.

– Одетт.

– Иди блины с икрой поешь.

– Одетт, почему ты никогда не говоришь что-нибудь вроде «иди таблицу Менделеева открой» или «иди телеграф изобрети»?

– Иди автомат изобрети.

– Ты меня бесишь. Ты вообще хочешь детей?

Одетт потянулась, поцеловала меня в губы, тягуче, томительно так. Она прекрасно пахла собой, сливочно и терпко, и сладко – апельсиновым гелем для душа.

– Хочу. Буду с ними «Мой маленький пони» смотреть и читать им «Хроники Нарнии».

– Ну и все тогда. Давай сделаем ребенка. У тебя как раз день нужный.

– Фу, вот это ты мерзкий. Я же не сказала, что хочу детей сейчас.

– Ты уже скоро старая будешь для детей. Моей маме было двадцать два, когда она меня родила.

– Ага, уже год как срок годности вышел. Всё, иди с предприятия поворуй.

Я закурил, она вырвала у меня сигарету, глубоко затянулась и выпустила три колечка дыма.

– Смотри лучше, как я умею.

«Детский сад».

Я пальцем написал это у нее на лбу, и Одетт засмеялась.

– Ничего не поняла.

Тогда я взял ее руку, стал водить ногтем, едва-едва касаясь, по нежной тыльной стороне запястья, и от каждой секунды сердце мое выпрыгивало из груди. Кожа там была невероятная, ни у одной девчонки не было такой нежной шкурки, клянусь.

– Что это ты пишешь? Что-то романтичное?

– Пытайся понять. Ну, визуализируй мои движения, как бы мысленную линию проведи. Давай заново.

– Это «Д».

– Точно. – Я вел дальше.

– Ничего не понимаю. Сдаюсь.

– Дурочка.

– Что?

– Это как дура, только дурочка.

– Господи, и это ты на мне написал? Какая дурочка? Ты больной. «Детский сад». Я угадала с первого раза, дурак – это ты. Я просто с тобой играю.

Одетт навалилась на меня, стала водить пальцем по моей руке.

– Что это?

– «Д».

– Нет. Давай еще раз.

– «Д».

– А ты настойчивый. Это как спор с тобой.

В постели мы провели весь день, играли и трахались. То есть я об этом прям много говорю, но, чтоб понять нашу с ней любовь, это важно – мы дохуя трахались, у меня ни с кем так не было.

Это очень странная штука; иногда, когда очень сильно к кому-то тянет, ты вдруг становишься таким ребенком, много смеешься, и все вокруг становится ярче и больше, как в детстве.

Читал я одну статью, опять же, там было про то, что это эволюционно важный механизм, самец и самка становятся игривыми, как ребятишки, чтобы доказать, что они не собираются причинять друг другу боли.

Природа – штука безжалостная, и в самый важный момент ее нужно смягчить. Вот отчего влюбленные – как дети.

Мы играли в игрушку на мобиле Одетт, там нужно было за большую, зубастую акулу кушать людей и рыб, Одетт кричала, и я кричал, мы смеялись. Вот какое дело, старый буду, стану вспоминать мою любовь, и среди поцелуев и вздохов «Боречка», когда я входил в нее, вспомнится мне непременно и безвкусно-яркая игруля про большую рыбину.

– Купи медузоеда! – говорила она. – Это такая абилка, чтобы

медузы тебя не жалили. Стоит двадцать кристаллов!

– Двадцать – это что-то дохуя!

– Это игра, здесь нельзя торговаться! Но можно в словеске. Хочешь поиграть в «Мир Тьмы»? В линейке оборотней есть крысы.

– Смотри, Одетт, это я жру тебя.

– Откуси ей ноги! Скорее!

– Надо тебя к психиатру отвести.

О чем мы говорили? Да о всякой чуши, в масштабах вечности это все ничего не значило, но так было согрето моим теплом, так напиталось моей радостью, что лучше диалогов и у Шекспира не сыскать.

Заснул я, может, к двум ночи, убаюканный руганью Одетт, когда она засела за приставку. Новенький, серебристый плейстейшн я купил специально для нее, как и отменный плазменный телик.

Квартира у меня была шикарная, но необставленная, необжитая и оттого неуютная. Я как будто никогда не собирался тут жить, все казалось отчужденным, гостиничным. Иногда я покупал вещи от какого-то внутреннего голода и даже не распаковывал их.

В темноте силуэты коробок были как надгробия. А уж если они громоздились друг на друге, то превращались в настоящие тумулусы.

Я все чего-то ждал, словно сидел на чемоданах. Было столько денег, а куда их?

Ну, короче, хер с ним, так я жил, хорошо, но неприкаянно, и окно всегда было открыто, ветер гулял по этому огромному пространству. Нет уж, я знал, какой прок в богатстве, знал, что лучше, когда деньги некуда тратить, чем когда денег нет, а тратить надо.

Заснул я, как погрузился в океан, голова кружилась, и меня долго качало на странных, теплых волнах.

А потом мне приснился тот мужик, лица его я так и не вспомнил, во сне оно тоже не проявилось. Мы с мужиком сидели на вокзале, и он сказал:

– Ну, скоро мой поезд.

Почему-то он по-русски говорил.

– Серьезно, так быстро?

– Ага. Тут расписание. Ну, бывай, Борис, спасибо, что подождал тут со мной. Я вот курицу-гриль купил.

Я посмотрел на сверток в его ухоженных руках – сальная фольга, косточка торчит, потом глянул на две дырки у него в груди, оттуда толчками вырывалась кровь, пачкала рубашку. Он выглядел как детская игрушка, знаете, которую надо давить, весь

был странно обмякший.

– Как же ты ее есть будешь? – спросил я. – Эту курицу.

– А никак. Я только понюхаю.

Тут-то я и проснулся, открыл глаза, захватал ртом воздух. Одетт, теплая моя девочка, рядом лежала, на ее лицо падал нервный свет мобильника. Она в наушниках смотрела серию «Ходячих мертвецов». Выражение ее лица было предельно сосредоточенным, как на уроке.

Настроение, значит, было поганое. Она смотрела «Ходячих мертвецов», только когда ей было очень плохо. Так снимала стресс.

Я притянул Одетт к себе, поцеловал ее в шею, она была теплая и податливая, мгновенно прижалась ко мне, но душой куда-то ускользнула.

– Чего тебе?

– Ласки хочу.

– Не видишь, я смотрю на Нормана Ридуса!

Она быстро поцеловала меня в губы и отвернулась. На экране кто-то крошил кого-то бензопилой.

– Почему ты не любишь зомби? Могли бы с тобой смотреть фильмы про них!

Одетт зафырчала, обхватила воображаемую бензопилу, уронив телефон на одеяло, один наушник выскочил из уха.

– Слушай, я ел своего мертвого отца, я ел свою мертвую мать. Трупы меня не пугают. Для меня это гастрошоу.

Она засмеялась, и я отложил в сторону ее телефон, притянул Одетт, почти уложив ее на себя.

– Тебе грустно?

– Нет! С чего ты взял?

– Ну, я тебя знаю. Ты печалишься, поэтому смотришь сериальчик. Я уже замечал.

– Ты слишком много знаешь. Теперь мне придется тебя убить.

– Эй, но пушка же у меня. Это должна была быть моя реплика!

– А я убью тебя голыми руками.

Ее ласковые, почти детские пальчики коснулись моей шеи, она легонько надавила, но нежно-нежно.

– Дай только перед смертью спросить: ну чего ты грустишь?

– Да просто задумалась, – сказала она. – Я не знала, что ты проснешься. Разбудила тебя?

– Мне сон был.

Я оглаживал ее тело, всегда готовая, всегда горячая, сейчас она была на удивление расслабленной. Положила голову мне на грудь, стала слушать сердце.

Когда на ней не было никакой одежды, я всегда укрывал ее одеялом. У меня было желание спрятать ее наготу, даже когда мы были одни. Пока я возился с одеялом, Одетт вдруг сказала:

– Я думала о папе.

Я замер, боясь ее спугнуть. Никогда мы не говорили о ее отце.

– Его звали Петер. Петер Кратц. Кратц – вот какая у меня должна была быть фамилия. Я думала сменить, но возиться не захотела. Мама решила, что я не должна носить его фамилию. Она очень обижена. А я выросла и не стала париться.

Я гладил ее по мягким распущенным волосам, они кольцами спадали ей на золотые плечи, на полосу синего неона, идущую по спине.

– Ты его любила?

Одетт пожала плечами.

– Он был хорошим человеком. То есть, конечно, он изменил маме, но со мной всегда был очень добрым. У меня были игрушки из разных стран. И он меня любил. Всегда спрашивал меня, как я живу, чем увлекаюсь. Хотел, чтобы я училась, считал талантливой. Мне с ним было весело.

– Но грустишь ты не потому, что он умер?

Предположение было интуитивное, иногда песню слышишь в первый раз, а следующая строчка тебе уже известна. Так бывает.

– Да, – сказала Одетт, глянув на меня блестяще и как-то очень напряженно. – Как ты догадался?

– Что-то в голосе, наверное.

– Я грущу, потому я не грущу. Как-то так. Это сложно объяснить.

Одетт потянулась через меня, схватила бальзам для губ, щедро намазюкалась и запахла лимоном с мятой. Я взял сигареты, и Одетт откатилась на бок.

– А ты попробуй объясни. Хуже не будет, сто пудов. Ты же уже грустишь.

Я закурил, огонек сигареты моргнул в темноте и разгорелся рубином. Дал Одетт затянуться, она выпустила дым и сказала:

– Когда я узнала, что он умер, когда мама в истерике кинула в стену телефон и такая вся «папа умер, Одетт, господи», я просто открыла банку колы и сказала «ну, это ужасно». Мы сидели на кухне, я пила колу, гладила маму по плечам и ничего не чувствовала. А ведь он меня любил. И я его, наверное, любила. Или нет. Вот тебе было больно?

– Да. Но боль не меряет любовь, я так думаю.

– А что меряет?

– Ну, то, как тебе хорошо. Как тебе хочется приласкать

человека, ему что-то приятное сделать. Когда он жив. Мертвым оно что? Им не надо, чтобы тебе было больно. И папка твой бы этого не хотел.

– Ты понимаешь, Эдит переживает, ты переживаешь, а я потеряла близкого, и мне наплевать. Я никогда не плакала о нем. На похоронах думала, как бы поскорее попасть домой, почитать, поиграть. Все стояли в черном, мама кричала, а я думала: как скучно, только бы она на гроб не бросалась, а то стыдно будет.

Одетт прижалась ко мне, зажмурилась, словно пыталась выдавить слезы.

– А теперь, понимаешь, моя мама и отец Эдит, они превратились в маму Эдит и моего отца. Все время в разъездах, в каких-то ужасных странах с малярией и террористами. Мне кажется, они какую-то программу выполняют. Вот они любили, а их предали, и в то же время им так больно от смерти, и теперь они хотят все переиграть. Новую сказку со счастливым концом. С героями. А я? Мама никогда не любила меня так, как папа. И теперь я как бы одна. И мне жаль себя, а его не жаль. Я иногда его даже немножко ненавижу.

Одетт взглянула на меня:

– Боренька, – сказала она. – Я ужасная сука, да?

– Не-а. Совсем нет.

Я затушил сигарету в пепельнице, поворошил ею другие окурки.

– Ты никогда не думала, что любовь у тебя была так велика, что все наоборот? Боль была невыразимая, и у тебя случился шок. Знаешь, когда руку оторвет, ты можешь не чувствовать ничего. Нет боли, и все, одно оледенение.

– А если не так?

В тот момент она была маленькая девочка, меньше, чем когда я ее встретил, совершенно беззащитная перед самой собой. Она не могла даже пролить слезы над этим всем.

– А если нет, так разве ты была плохой дочерью?

– Ну, один раз я разрисовала его папку с документами.

– А он что?

– Хранил ее потом все эти годы.

Я поцеловал Одетт в висок, быстро-быстро билась жилка, она так синела в слабом ночном свете.

– Если он тебя любил, так было за что. Априорно только кошечка котят вылизывает.

– Я просто маленькая была.

– Но почему-то ведь он и шалости твои хранил, и думал о тебе.

– Я думаю, он и в последнюю секунду обо мне подумал.

И тут она расплакалась.

– Я ужасная, ужасная.

Так я ее гладил, так ласкал, как ребенка.

– Тихо-тихо, смотри, как тебе больно. Ну разве дурному человеку больно от того, что ему не больно? Так не бывает. Ты себя мучаешь, потому что любила и потому что благодарна ему.

А она плакала, и важны ей, наверное, были не слова, а интонации. Я и думать забыл о мужичке с дырами в груди. Рассуждал, как ее, маленькую, успокоить, укачивал, как ребенка, песни ей пел про волчка и про Дунай, как моя мертвая мама мне пела, когда я сильно болел.

– Тихо-тихо. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю.

– А что это значит? – спросила Одетт сквозь слезы.

– Значит, что не надо спать у края кровати. Там дальше волк фигурирует. Откусит тебе печень.

Одетт засмеялась, хотя слезы у нее еще текли, я их утирал. Как бы я ей помочь хотел. Вот вернуться бы во времени назад, сохранить бы ей отца, и может даже мы бы не встретились никогда, но какая у нее была бы радость каждый день. Она бы даже не узнала никогда, какое это счастье – не потерять отца так рано.

– Какой ты мрачный русский.

– Пошлешь меня куда-нибудь опять?

– Никуда не пошлю. Я, может быть, люблю тебя, Боренька.

Я признавался ей много раз, а она мне впервые такое сказала, я даже опешил.

– Серьезно, что ли?

– Не знаю.

– Ну, неважно. Мы с тобой не расстанемся. У нас будет любовь всю жизнь. Мы будем очень богаты.

Я обнял Одетт крепче и, мне казалось, никогда теперь не выпущу ее, никуда. Так и жизнь пройдет.

– И умрем мы с тобой в один день, будем жить долго-долго, а потом утонем на яхте, и нас похоронят рядом. Нам будет девяносто четыре и девяносто два, соответственно. Даже тогда мы будем счастливы.

– Это, интересно, как? В детстве я думала, что, когда человек умирает, если он был хорошим, то попадает в свои лучшие воспоминания, а если был плохим – то в худшие.

– А это какое воспоминание?

– Оно одновременное. Я грущу, но я с тобой.

Она помолчала и вдруг спросила:

– А ты? Что ты чувствуешь? Днем я не замечала, но сейчас мне кажется, что ты был странный.

Я не знал, что ей ответить. Про мужика рассказывать не хотелось. Потом, много дней спустя, по пьяни, все я ей разболтал, но тогда сохранил свою тайну. А теперь жалею: и зачем я умолчал в ту ночь? Ночь была вся из серебра, тонкая, печальная завеса темноты, и все надо было под ней доверять друг другу.

– Не знаю. Думаю про все. Про всю свою жизнь в целом. Я недавно фильм смотрел, он старенький, седьмого года. Там, значит, злой коп похитил дочку партийного такого деятеля, генсек райкома это называется. Вот и, значит, дочка все угрожала, то папочкой, то женихом-десантником, который в Афганистане служит. Короче, много там чего было, и в какой-то момент прилетает самолет с гробами цинковыми. Злой коп, короче, нашел среди мертвецов жениха той девчонки, которую похитил, забрал его и вывалил из цинкового гроба труп прям на постель, к которой она прикована. И говорит такой: жених приехал!

– Фу.

– И я подумал: ни хуя себе. А потом подумал: да это же вся моя ебаная жизнь в одной метафоре.

Одетт помолчала, погладила меня по голове, сначала мягко-мягко, а потом крепко обняла.

– Бедные мы, бедные.

Глава 21. Батя на час

Ну, один мамин двоюродный племянник, значит, рос без отца, с мамкой да с бабушкой, жил впроголодь, в универе кубики бульонные жрал, а потом вдруг годно ушел в бизнес.

Чем-то он там занимался этаким, не то моющими средствами, не то шампуньками, и в конечном итоге жить стал хорошо.

От отца не было ни слуху ни духу все его детство, хер бы с алиментами, мальчишка и рожу-то его забыл. И вот, объявляется тот вдруг в четыре утра, ночной ковбой, в новенькой квартирке этого пацана (тогда уже парня, конечно). Вот я имена забыл, а надо бы их назвать. Давайте так: сынок будет Леха, а мужик, ну, Иван Иваныч, так как ничего примечательного в нем не было.

Дальше, значит, немая сцена, встретились Эдип и Лай, засветились по-рембрандтовски лица, Симба смотрит на Муфасу. Леха говорит:

– Чего тебе, мужик?

Отца родного, значит, не признал. Иван Иваныч чешет в затылке и говорит:

– Привет, сынок. Прости меня за долгое отсутствие, скучал по тебе, сил не было, рвался сердцем.

Ну нет, не так он, наверное, сказал, это уже я за него говорю. Я думаю, сам-то он говорил вот что:

– Слушай, Леха, сын, привет, поговоришь со мной? Пошли кофе попьем, потрындим.

Ну Леха сразу смекнул, зачем тут Иван Иваныч, жизнью битый и немного наученный, объявился. Сказал:

– Ну пошли, поговорим.

Сели на кухне, стали пить кофе. (Леха – очень серьезный человек, надо понимать, он всегда пил только кофе, ни компот в детстве, ни впоследствии водка его не прельщали.)

Иван Иваныч ему сказал:

– Леша, вот так сложилась наша жизнь. Мать у тебя – сука, мы с ней не сошлись характерами.

Леха сказал:

– Ты бы поосторожнее.

И Иван Иваныч живо сменил стратегию:

– Мать у тебя женщина своеобразная, я хотел сказать, как и ее мать. Ну да ладно, жизнь я все-таки тебе дал и первые четыре года оной выполнял все свои отцовские обязанности. А ты меня хочешь выставить прямо-таки злодеем. Я не злодей, просто пошел своей дорогой.

– Ну и иди своей дорогой, – сказал Леха. – Иди, чего сидишь?

Леха был человек обидчивый, но справедливый.

– Мне денег немного надо, у меня долги есть. Ты же не оставишь в беде своего старого отца? Я теперь ночной сторож в детском саду. А был, помнишь, инженером.

Инженером он был. Ой, обхохочешься. Был он, в самом-то деле, младшим научным сотрудником задрищенского НИИ в сорок пять лет. Достиженьице. После этой ремарки уже не хочется называть его Иваном Ивановичем, Иван Иваныч титулов не заслужил, нечего перед ним расшаркиваться.

Леха ему в ответ:

– Не могу, отец, дать тебе денег, все пускаю в производство, сам живу хорошо, но без изысков.

Поглядел Иван Иваныч вокруг, а там на холодильнике магниты из Хургады, кондей новый стоит, в вазочке конфетки-трюфеля французские, а на плите написано по-итальянски.

– Врешь ты мне, – сказал Иван Иваныч. – Дай десять тысяч, тебе ничего, а я другу долг верну. Я же тебе игрушки дарил, я же в семью вкладывался. Отдай свой долг. Я тебе посчитаю, это десять тысяч.

Иван Иваныч сменил обличье, Леха же в лице не изменился.

– Вали отсюда, – сказал Леха. – Батя на час мне не нужен.

– Что же ты, отцу не поможешь? Ладно, хорошо, ты не хочешь, чтобы я сюда приходил, но один раз только помоги, больше не увидишь меня никогда.

Леха почесал башку и ответил:

– Нет желания. Извини.

– А совесть-то у тебя есть?

– Ты знаешь, – сказал ему вдруг Леха. – Я почему успешный человек? В детстве никто меня никогда не бил, никто не говорил мне: не ври, Леша, будь мужчиной, Леша, не плачь, дерись, Леша, в армию, Леша, иди. Никто не говорил мне: Леша, ты должен быть честным человеком, поэтому я им не стал. Я стал богатым. В какой-то степени я благодарен тебе за отсутствие твоего отцовского воспитания.

Закурил Леха хорошую, импортную сигарету, достал из кармана кожаный бумажник и сказал:

– Я оцениваю это в пять тысяч.

Вот такая история. Это я к чему? Иногда отсутствие воспитания, как мудро заметил Леха, это тоже воспитание. Те, кого у нас нет, влияют на нас не меньше, а иногда даже и посильнее тех, кто у нас есть. Мозги у нас так работают, чтоб все дырочки были залатаны, – этого надо человеческой душе.

История мне та вспомнилась, и я ее даже Мэрвину рассказал, а он все одно:

– Нет, ну ты представляешь? Сам меня нашел.

Радость у него была великая, весь светился, ходил по комнате из стороны в сторону, маячил. Я лежал на полу. Я был крепко под водкой, коксом не полировал, так что сложно было не то что встать, а и глянуть на Мэрвина под определенным углом. Взгляд мой упирался в какие-то дорогущие экспрессионистские сопли на стене, и Мэрвин попадал в мое поле зрения и пропадал из него.

– Господи, – сказал я. – На хрена тебе была эта картина?

– Ты не понимаешь. Это искусство. Цены на него все время растут.

– Это даже не Поллок.

– Не, какой-то его подражатель. Но лет через тридцать, может, выдам за Поллока каким-нибудь лохам. Ты меня вообще слушаешь?

– Слушаю тебя, чего ты сразу?

Мэрвин кинул мне сигареты, и я закурил. Дым поплыл к потолку, оформленному созвездиями. Мэрвин, в отличие от меня, крепко приноровился к богатству, хотя и постоянно был не при бабле – много проигрывал. Квартирку он оформил хорошо, под самого себя. Все здесь было дорогим, красивым, не то апартаменты плейбоя, не то логово средневекового астролога, всего в достатке. С одной стороны – новенькая, сверкающая техника и мягкие ковры, на одном из которых я сейчас лежал, и стеклопакеты, благодаря которым с улицы не доносилось ни звука, и все эти абстрактные экспрессионисты. С другой стороны – звездное небо, нарисованное на потолке, средневековые астрологические трактаты в рамочках, черные-черные занавески, как в кино про колдуна. Даже на книжных полках все тот же контраст: Айрис Мердок и аль-Фараби.

Иногда что-нибудь особенно дорогое Мэрвин продавал, чтобы рассчитаться с долгами. Вот теперь он остался, к примеру, без крутецкого телика, да еще и я докинул ему деньжат, подарил прям.

Я его спрашивал:

– Зачем ты играешь, Мэрвин, ну совсем без головы, что ли?

А он мне отвечал:

– Я верю, что у меня будет удача. Что это все просто испытывает меня на прочность. Кто не отступится, тот ухватит фортуну за хвост.

Я отчасти тоже в это верил. В смысле, я не мог представить другого финала его истории. Мэрвин убедил меня в том, что он – везунчик, но к двадцати пяти он проигрывался каждую третью пятницу. И возвращался, не унывая.

– Сейчас, – говорил он, – придется немного потерпеть,

ужаться, но оно того стоит. В конечном итоге это я буду смеяться.

– Смеяться будут автоматы, чувак. Не ты первый, не ты последний.

У Мэрвина определенно были проблемы, но мы оба крепко сидели на кокаине (хотя и не так люто, как в двадцать, кое-чему жизнь нас научила), так что не мне было морали читать. Один раз живем, в общем-то. Двоечники, отличники – все в гроб ляжем, так чего ради проживать жизнь правильно. Так я думаю.

Ну и вот, короче, когда Мэрвин позвонил мне и сказал, что я срочно ему нужен, я подумал: в долгах как в шелках, ну капец теперь.

А оказалось, его папочка нашел. Звонил, предлагал встретиться.

Мэрвин мешал себе водку с апельсиновым соком у бара.

– Я не могу успокоиться!

– Ой, я вижу. Слушай, я тоже волнуюсь, как оно все у тебя пройдет. Просто если ты настроишься на откровение – его не случится.

– А если не буду настраиваться на него, то случится? Если я как бы сделаю вид, что мне не важно?

Я постучал кулаком по голове.

– Ты все про ребят тех грустишь, Борь?

– Ничего я не грущу. Я волнуюсь за тебя. Ты себе много напридумывал.

– Мама говорит, что он буквально умолял ее дать мой телефон.

– Ванда всегда преувеличивает. – Я выпустил дым в сторону Большой Медведицы, он взошел к ней, густой как мех, а потом рассеялся.

– Тебе налить?

– Только без сока. Я, короче, как твой лучший друг, что хочу сказать? Он тебя никогда не видел. Даже если на мужика правда сентиментальная волна нахлынула, если он просто хочет познакомиться, то у вас нет ничего общего.

– Ну вообще-то пятьдесят процентов моих генов – от него.

– Слушай, я пытаюсь помягче, но я тебе скоро въебу.

– Злой ты человек.

Мэрвин сел на ковер рядом со мной, сказал:

– Лучше расскажи, что самое прикольное в том, что у тебя есть отец?

Мэрвин почесал затылок, неловко, обезоруживающе стеснительно, мол, извини, херню сказанул.

– В смысле, что был.

– Ну, в подростковом возрасте он заставляет тебя писать смс-

ки родственникам на дни рожденья и типа того. А потом, уже в юношестве, ты вдруг обнаруживаешь себя сохраняющим идиотские блестящие картинки типа «С Новым годом!», и чтобы они обязательно блестели, а то тетя Тоня не впечатлится просто так.

Мой мертвый отец хрипло засмеялся.

– Долбоеб, – сказал он. Его натуральные зубы были совсем желтые и этим отличались от искусственных, белых. Мэрвин протянул мне стопку.

– Нет, ну я серьезно.

– Я тоже серьезно.

Не мог же я ему рассказать, что пока отец был жив, был рядом по-настоящему, я всегда чувствовал себя в безопасности. В мире был кто-то сильнее меня, кто-то непобедимый, и это дало мне много уверенности, много значимости, мое место в жизни. Такого не получишь в без пяти тридцатник. Это дается рано, очень рано.

Я глянул на отца. Он стоял в углу, чуть склонив голову набок, глядел на меня с улыбкой человека, которому больно. С мамкой я мало что понял о даре Матеньки, мне было шесть, когда она ушла, слишком быстро от нее остались одни воспоминания.

Разницу между мертвым папашкой и живым я чувствовал уже очень хорошо. Они были похожи, но мертвый – притушенный, как засвеченная фотка. Такими я представлял тени в царстве Аида.

Был ребенком – не понимал, какой мамка у меня подарочек. В каком-то смысле я всего масштаба не знал, пусть о чем-то и догадывался. А теперь у меня был папка, который мой и не мой одновременно, моя сила и слабость – тоже моя.

Вот теперь и объясняй Мэрвину, что такое отец.

Что это такое, понимаешь, когда его уже нет.

Мэрвин сказал:

– Слушай, я не рассчитываю, что мы с ним станем друзьями навсегда.

Ковер казался мне невероятно теплым. За окном, откуда-то со стороны Чайна-тауна, метнулся в небо фейерверк, на всем ночном полотне засияли огненные клочки.

– А вдруг он совсем не такой, каким я его себе представлял?

– Слушай, тебе же было плевать на его существование еще два дня назад.

– Потому что еще два дня назад у меня был отец Шредингера. А теперь-то я знаю, что он есть. Ты как считаешь, мы похожи?

– Для меня все поляки похожи. Хотя, напоминаю, я его даже не видел.

Мэрвин толкнул меня в бок. Я приподнялся, опрокинул

стопку водки, которую Мэрвин поставил мне на живот.

– Нет, – сказал я. – Все понятно, отец и все дела, кровь не вода. Посмотреть на него правда любопытно. Но если ему от тебя что-то надо?

– Да что ему может быть от меня надо? Мама даже не сказала, кем я работаю.

– Так, может, он почву будет проверять.

– Какую почву, господи? Стареет мужик, а детей нет. И вот я, единственный и сияющий Мэрвин. Даже не ношу его фамилию.

– А у него какая?

– Мама никогда не говорила. А если ему не понравится мой польский?

Я снова приподнялся, теперь на локте, надеясь, что это придаст мне устойчивости, заглянул Мэрвину в глаза, со всей серьезностью прям.

– Ты не должен ему нравиться. Он тебя кинул. Вы с ним два незнакомых человека. Можете понравиться друг другу, можете – нет. И все. Ты не должен от него ожидать, что он вдруг исправит все ошибки молодости.

– А может, он мне хочет денег дать? Мне бы пригодились. Я тогда тебе долг верну этими деньгами.

– Я же сказал, не надо мне твоих денег. Просто держи себя в руках.

Выходить ему было, может, через час, а он так нажрался. Но уж получше меня был.

– Слушай, а почему вы вообще встречаетесь ночью?

– Потому что мы – ночные существа, – с гордостью сказал Мэрвин. – Это наше время.

– Ну, или у него самолет типа в два.

– Или так. А знаешь, что еще круто? Он такой же, как я.

Это вот Мэрвин сказал с особым значением, вознес слово «такой же» на пьедестал, а около него все остальные побросал. Ой, да конечно я понимал, почему ему важно увидеть отца, помимо всяких там мальчишеских чувств, неизжитых, неизбытых.

Мэрвин никогда не видел других летучих мышей. Крысы, я знал, в Лос-Анджелесе есть. Мы проходили мимо друг друга, я не нуждался в каких-нибудь крысиных советах, отец и мать всему меня научили. Достаточно было кошек, собак, встречались лисы, разные птицы. Звериков вокруг, в целом, было немного, но их присутствие ощущалось.

А вот летучих мышей я никогда не видел, запах Мэрвина был необычайным, уникальным в моей коллекции, а у меня нюх был куда тоньше, чем у других зверей.

В общем-то, Мэрвину нужны были советы. Природка его явно

выходила у него из-под контроля.

Во-первых, в наших вот кругах всем давно было известно, что Мэрвин – извращенец, после секса лакает кровь у шлюх, а потом отрубается часов на двадцать. Это Андрейка, для которого это было стремной причудой, растрепал, теперь каждый дилер в округе знал, какие там у босса предпочтения.

А Мэрвину нужно было все больше. Один разок мы с ним вместе кутили, и я видел, как он это делает. Три надреза – под лопатками, на ключице и на бедре, у самой вены, так что даже опасно. Я видел, как Мэрвин проникает в порезы языком, с животной жадностью, с жаждой жить. Отчасти оно, конечно, красиво было, девчонка (маленькая блондиночка с мутными глазами) сидела, раздвинув ноги, послушно ждала, пока он закончит с первой раной и нанесет ей другую, потом третью. Я-то помнил, как Мэрвин вырубался с одного глотка. Теперь это был целый ритуал.

Долбая кокаин, Мэрвин не спал неделями, но и выключить себя ему становилось все сложнее.

Когда он наконец уснул, внезапно, будто отключился, девчонка вопросительно посмотрела на меня.

– Да обдолбался, забей. Иди сюда, я тебя подлатаю.

Порезы были хорошо раскрыты его языком. Их так и хотелось зашить. В итоге я ту девчонку так и не трахнул, ни в одной позе ее нельзя было повалять по простыням, чтобы не раскровить раны. А у меня на такое не вставало. Это ж кем надо быть?

Короче говоря, самое страшное заключалось вот в чем: ему двадцать пять, и трех надрезов ему едва хватает. Задачка, детки: сколько лет будет Мэрвину, когда ему придется убить человека?

Вот чего я боялся.

Нет, отоспавшись, он пару-тройку дней, а под коксом, может, и недельку, выглядел вполне прилично. Вот, к примеру, у него был удачный день календаря, когда мы постреляли, кровь его совершенно не интересовала. Но чем дальше он удалялся от приема своей красненькой микстурки, тем сильнее было видно, как его корежит на самом физическом уровне.

Сначала легкая нервозность, дрожащие руки, все эти непременные спутники бессонных ночей. Чуть позже его потряхивало уже всего, глаза горели. И перед тем, как я знал: он сорвется, Мэрвин хотел уже не спать, бессонница переставала быть сутью и поводом.

Он по-настоящему хотел крови, вкус будоражил его, а душа Мэрвина вся обращалась к одному желанию, и это был не кокаин. Евреи, к примеру, считают, что в крови содержится душа. Поэтому они выпускают ее всю при правильном забое животного.

Это чтоб, не дай бог, душами куриц не наглотаться, когда в KFC зайдешь за крылышками. Может быть, Мэрвину нужны были кусочки души, чтобы отправиться в свое опасное путешествие.

– Я всякий раз немного схожу с ума, – говорил он. – Когда я там оказываюсь, всегда есть безумие, всегда кусок меня там остается. Спал бы каждый день – давным-давно свихнулся бы.

Небесные существа все сходят с ума, это понятно, от большой работы – большие горести. Но, и это был вопрос, который я принципиально не задавал вслух, разве Мэрвин со своей охотой до крови с ума не свихнулся?

Зачем, в принципе-то, делать три надреза, чтобы потом, как ты девочку ни повернешь, ей всегда было больно? К кому Мэрвин мог с этим пойти? Не к сексопатологу же? Я его понять не мог. У меня природа такая: я жру мертвых, а потом болею и умираю в их компании. Я не знал, что такое чужие беды. Не знал, как это: сходить с ума от боли и страха, как только тебе случится заснуть, а потом мучиться от невозможности отдыха, пока не озвереешь окончательно.

Жутковатая ирония, типа как в готических романах, заключалась в том, что Мэрвин платил дорогую цену за свое собственное страдание.

А цены-то росли. Везде инфляция, значит, и в природе тоже.

В тот-то день Мэрвин был бодренький, волнение его было естественным, не бессонным, не излишним, не в кровавую крапинку. В тот момент все казалось не таким уж драматичным: нормальный парень, со странностями, конечно, если поглядеть на эти звездные уравнения, но в остальном с ним порядок.

С течением дней, я знал, все меньше в нем будет оставаться человеческого, и в конце концов он спустит море бабла на достаточно терпеливую проститутку.

Вот что, летучие мыши – животные ночного неба, а на небе – звезды, поэтому Мэрвин искренне полюбил астрологию, такая у меня ассоциация. У него же циклы, как у луны: растущий голод, наконец полнолуние – момент, когда он распивает кровь, а затем силы его, полученные во сне, начинают убывать, и снова растет голод. Так ведь работает эта штука на небе?

Мы, крысы, земные зверьки, с небом я никогда не чувствовал родства, глядя на него, не находил успокоения. А Мэрвин – находил. И, может быть, особенная прелесть звездного неба для Мэрвина заключалась в том, что он чувствовал или даже знал – где-то на другом краю земли, в затерявшихся у Европы на востоке Карпатах, его отец тоже ощущает влияние этого огромного, растянутого надо всеми нами полотна.

Ой, мне ли не знать, как важно, чтоб родители были, не в

реальности, так хоть в голове.

– Боря, – говорил он тогда. – Ты и представить себе не можешь, до чего это странно – получить в наследство этот голод, кошмары, и не знать, как со всем этим обратиться. Может быть, он мне объяснит. Может быть, я просто делаю что-то не так, а?

– Есть такое подозрение. Я все-таки не думаю, что ты живешь правильно. Надо меньше резать проституток.

Он засмеялся, а потом снова, с надменным кивком головы, стал серьезным.

– Надо. И он мне расскажет, как справляется со всем этим. Мама никогда не могла мне помочь. Я до всего дошел сам. И теперь пришла пора себя проверить. Нет, ну как ты думаешь, я похож на маму?

– Да, мне кажется, ты мамин сын, скорее.

– Но какие-то черты ведь у меня от него есть.

– Слушай, он может быть прям убогим.

Мне ужасно хотелось уберечь Мэрвина от разочарований, сердце ему сохранить, а он все рвался расхуярить его об незнакомого мужика.

Ну, вышли мы, я брел за Мэрвином, пьяный и взволнованный отчасти не меньше него. Ночь выдалась непривычно прохладная, меня чуточку подзнабливало.

– Знаешь, что меня больше всего бесит в Лос-Анджелесе? Все-таки даже больше, чем десятидолларовое пиво.

– То, что все помешаны на суши, и обилие магазинов с косметосом?

– Звезд мало. Такое запудренное небо. Интересно, а он бывал в Америке раньше?

Мэрвин слезно просил меня посидеть в кафешке, где они с отцом собирались встретиться.

– Ну что ты как девчонка, – говорил я, а в душе знал: надо идти, а то Мэрвин потом нажрется и так проиграется, что весь год будет купоны в супермаркете собирать. Знал я и другое: Мэрвин хотел, чтобы я послушал, о чем они будут говорить. Чтобы сказал ему, как это было со стороны, запудрили ему, к примеру, мозги или все-таки нет.

Пятница была, а это значит: навстречу идут пьяненькие, все разговаривают громко, как-то привольно, такая доисторическая свобода вокруг. На летних террасках (всегдашних в Лос-Анджелесе) девицы светили загорелыми бедрами и покачивали в бокалах вино.

– Если вдуматься, – сказал я. – Почему хорошо умереть в старости?

– Можно, наконец, обмочить симпатичную медсестричку?

Жду не дождусь.

– Нет, – сказал я. – Это хорошо, ясен хуй, но главное – в старости ты на земле уже один. Пусть даже там ничего нет, но есть иллюзия, что где-то тебя уже заждались родители, любимые, друзья. Не так страшно, не так одиноко, когда вокруг тебя уже одни могилки. Тогда есть чувство, будто возвращаешься домой.

– Мрачно ты начал. Лучше посмотри, какая ночь чудесная.

Из какого-то бара лился заводной панк, ротвейлер поливал красный гидрант, пока его хозяин доказывал, что не должен был быть сегодня на работе. Вокруг кипела жизнь, и чего тосковать?

Может, права была мамкина тетя, и где-то мы все бесконечно любимы. Иначе зачем эти бары, гидранты, татуированные телочки с сигаретками в зубах, большая, прекрасная луна и скидки после полуночи? Хорошо же все устроено, грамотно.

Пьяный я частенько тосковал и маялся, у пьяного оружия нет, он обнажен до костей, плачет и смеется, не может себя контролировать, он снимает броню. В нашем мире большая доблесть быть пьяным. Алкоголики состоят-то из одной правды и соединительной ткани в печени. Когда смотришь на опустившегося бомжа, видишь, что там в человеке остается, когда с души у него три шкуры снять.

Что остается, то и есть. И если он добрый, значит, не зря жил на свете.

Был ли я добрый? Да хуй его знает. Мне бы хотелось быть добрее. Мамка говорила, что это самое важное – идти на свет.

Мы шли с Мэрвином, и я колупал себя, качал свое лиричное настроение, как ребеночка, а Мэрвин напевал песенку про «Парадайз-Сити», где все девчонки – милашки. Вот как его переведешь? Не райский же городок и не город рая, а?

– Знаешь, – сказал Мэрвин. – Если он мне не понравится, то пойдет к черту. Правда. Я не буду трястись над ним только потому, что у меня не было отца.

– Ты как баба перед первым свиданием.

– Но я знаю, что в глубине твоей широкой души найдется сочувствие и для меня.

– Нашлось. Держи.

Я засмеялся. Мы оба хохотали как безумные, остановились посреди улицы, и люди обходили нас, а мы смеялись, запрокинув головы, сам воздух, казалось, дрожал.

– Я достаточно пьяный, чтобы он понял, что упущено в моем воспитании?

– Даже более чем. Если бы ты был несовершеннолетним, он бы тут же отказался от родительских прав. Знаешь, что мне всегда было интересно, Мэрвин? Вот дамочка может подать на

алименты, если мужичок сдал ДНК на тест и оказался папашей.

– Ну.

– Вот, а может взрослый родитель так сделать со своим пиздюком и сесть ему на шею?

– Никогда не думал.

– А это актуально.

Мне вспомнилось, какими мы были после того, как прошлись по автостраде: безумными, совсем поехавшими и совсем счастливыми.

– Одиннадцать лет мы с тобой знакомы.

– Это на самом деле не прям уж очень много.

Сентиментальный, значит, момент. Поглядели друг на друга и все поняли про то, что мы друзья и будем ими всегда. Девчата бы обнялись.

Тут Мэрвин резко, пьяно развернулся у вывески «Мэлса» с неоновой блондиночкой на роликах прямиком из начала шестидесятых. Коктейли. Барное меню. Вот это нас тут привлекало.

– Хотел показать ему что-нибудь американское, – сказал Мэрвин. – Понимаешь? И, бога ради, не нажирайся. У тебя проблемы с алкоголем.

– Мне это будет говорить человек, которого автомат объебал на двадцать косарей?

– У нас у обоих проблемы, – заметил Мэрвин. – Все беды из семьи.

Внутри было душновато, посетителей еще сидело достаточно, но я знал, что это ненадолго. Полчасика, и люди либо решат завернуть в следующий бар, ночь-то продолжается, либо отправятся по домам – черта между этими двумя категориями населения проходила по тридцати годам.

Заведеньице было просторное, просто до зубного скрежета американское, ничего ребята не забыли: ни вздутых трупешниками кожаных диванчиков наставить, ни развесить плакаты на стенах (пин-ап девчонки и марки пиваса, разумеется), а начищенные до блеска музыкальные автоматы радовали глаз почти у каждого столика.

– Круто, да?

– Я б на твоем месте выбрал что-нибудь более польское. Мужик в обморок упадет от счастья.

Что меня всегда поражало в дайнерах, так это несоответствие, какой-то обалдело наглый китч – черно-белая Мэрилин Монро, и тут же «Будвайзер», строгий беленький столик на хромированной ножке и сразу же толстобокий музыкальный автомат.

– Так, сейчас пойду сяду. Я слал ему свою фотку. Он должен меня узнать. А ты пристройся где-нибудь неподалеку. Слушай, а он не подумает, что я уж очень хочу с ним встретиться?

– Да ни в жизнь.

По потолку шли длинные металлические балки, к которым, будто бы кое-как, крепились лампочки. Я видел и черную трубу воздухоочистителя. Честно говоря, все эти новомодные типа лофтовые помещения казались мне дурацкими, недоделанными, подзаброшенными, я не видел в них кайфа, свободы хорошо сделанного дела, но вот Мэрвин такое очень любил.

Я занял место под плакатом со старенькой тачкой, надо мной висела связка разноцветных воздушных шариков, я дернул один к себе, поглядел на логотип «Мэлс». В окно, косо прорезанное в крыше, глядела на меня ночь.

Мэрвин занял место так, чтобы смотреть прямо на меня. Караулил, значит, чтобы я не свалил покурить. Я не собирался, честное слово.

– Нет уж, не надо, – сказал ему я. – Пересядь. Я хочу пялиться на твоего папашу. Твою рожу я и так уже видеть не могу.

Он пересел, заказал у девчонки «Лонг-Айленд» и уставился в телефон.

Ну нормально, а я чего? И айпад с собой не взял, книжку почитать. Думал что-нибудь по-быстрому скачать на мобилку, но тут ко мне подошла девчонка, вчерашняя школьница, небось. У нее на голове болтались два каштановых хвостика, за которые ее так и хотелось дернуть.

– Привет! Что будете заказывать?

Губы у нее были измазаны вишневым блеском, в носу висело колечко, а на воротничке бейджик – Стейси. В разрезе глаз проглядывало у нее что-то азиатское, какая-то давняя кровь, уже, можно сказать, кровиночка.

– Кофе, – сказал я. – Покрепче. Еще пирог яблочный. Есть?

Раз уж Мэрвин сказал не нажираться, то я решил сам с собой поиграть в такого копа, типа как из «Твин Пикса», который любил кофе и вишневый пирог, все одно развлечение.

– Конечно! – сказала она и унеслась, по-детски тряхнув хвостиками.

Я даже не успел спросить, будет ли она подливать мне кофе всю ночь. Может, оно и к лучшему.

Хотелось покурить, так что я крутил в руках салфетки, стучал по столу и всячески с собой боролся – пропустить появление папаши Мэрвина не хотелось.

Кого я ожидал увидеть? Графа Дракулу, может? Или крылатого гусара в сверкающих доспехах? Нет, хрен там с

гусарами, определенно мысленно я скорее склонялся к Беле Лугоши. И у отца Мэрвина должен был быть длинный плащ с широким воротником, чуточку старомодный, конечно, но стилявый, как в немом кино.

А пришел, бля, мужичок лет шестидесяти, весь осунувшийся, маленький, по-славянски большеглазый. На нем был добротный, но без выебонов костюм, ладно скроенный, крепко, на века, сшитый. Такие через сто лет будут храниться в музеях.

Со своего места я отлично слышал, как мужичок сказал:

– Анджей Огинский.

– Мэрвин.

Фамилию свою он не назвал.

Анджей (а думать о нем как об отце моего лучшего друга я не мог) не был какой-нибудь там загадочной личностью, жутковатым вампиром из историй на ночь. Обычный, нормальный человек, неуверенный, неспокойный.

Глаза у него были усталые, выразительные, но какие-то потухшие, будто на плохом рисунке. Ой, господи, жалкое зрелище, может, я на него, конечно, зло держал, что он Мэрвина бросил и все такое, но у меня возникло стойкое отвращение к этим его подслеповатым повадочкам.

– Злишься? – спросил меня мой отец.

Он сидел напротив, губы у него были искривлены: не то больно стало, не то смешно – по нему никогда не понять.

– Ну, а чего он Мэрвина бросил, какой же он отец? – прошептал я.

– А я какой отец?

– Хоть какой-нибудь.

Вернулась Стейси, поставила передо мной тарелку с пирогом и стукнула о край моей чашки носиком киношного кофейничка. На секунду она загородила мне Анджея и Мэрвина, но я слышал, о чем они разговаривают:

– Я не хочу сейчас говорить тебе, что мы начнем все заново, что я могу быть хорошим отцом. Думаю, если мог бы, я бы не сказал тогда твоей матери всех этих ужасных вещей.

Они говорили на польском (за одиннадцать лет дружбы с Мэрвином я обучился понимать его довольно неплохо), но Анджей частил, как будто язык был ему плохо знаком, и он старался скрыть ошибки.

– Слушай, ну мне приятно, что ты со мной познакомился, – протянул Мэрвин так, что, в общем, не было понятно, приятно ему или что.

Я такого Мэрвина знал, вид у него был равнодушный, совсем не заинтересованный, прям Нарцисс, которому не терпится

глянуть на водичку. Так Мэрвин прятал волнение, желание понравиться.

– Я подумал, как ты там справляешься со всем этим? Никто ведь тебе не объяснял.

– В самое сердце, а? – сказал я своему отцу. – Но чуточку он припоздал с этим.

А так-то по ебалу еще дают за такие прозрения. Чтоб голова лучше работала.

– Не знаю, работает тут правило про то, что лучше поздно, чем никогда, или нет, – ответил Мэрвин.

– А он молодец, – сказал мой отец. – Не такой уж слюнявчик.

– Ты всегда его недооценивал.

Я возил кусочки теста в ванильном соусе, изредка отпивал кофе и слушал.

– Я подумал, – говорил Анджей, – чем ты занимаешься? Как сложилась твоя жизнь? Жив ли ты вообще?

Он что-то возил по столу, я не сразу рассмотрел зажигалку с польским орлом. Похвальный патриотизм.

– Помнишь, – сказал я своему отцу, – твою зажигу с серпом и молотом?

– Ну точно. Ты ж ее утопил.

– Тебе назло.

Отец хрипло засмеялся, сплюнул на пол сгусток плоти, который никто, кроме меня, не видел – бугорки альвеол и распоротые кашлем сосуды. Ой, вроде и кошмар, а я ко всему привык.

– Чего? – спросил мой отец. – Жутенько?

– Да нет уже.

– Я в Афган хотел поехать. Всех своими рапортами заебал. Дали отвод по легким. А мог бы быть другим человеком.

– Да куда уж, – сказал я, мешая сахар в кофе, крепком, как отцовская вера в советскую страну.

Анджей вот говорил:

– Мне стало стыдно. Это правда. Очень стыдно. Я даже не могу сказать, что был молод. Я был старше твоей матери, и все, что я мог ей дать, – деньги на аборт.

Это я видел затылок Мэрвина, видел, как напряжена у него спина, а Анджей Мэрвина знать не знал, для него не было тут тайных примет. Он, я понимал, видел самодовольного молодого человека, который такой херней не заморачивается.

Ой, каждый прячется, где может, куда душа пролезет, там и прячется.

– Давай-ка, – сказал Мэрвин, – ближе к делу. Денег у меня просить будешь, или что?

Взошла моя история, я аж устыдился. От мэрвиновского волнения, желания ему понравиться ни следа не осталось. Иногда все идет не так, прям вообще все.

Мой отец сказал:

– Да нормально Мэрвин с ним. Отец у него, что ли, ангел?

– А кто вообще ангел?

– Ну давай всех простим теперь.

Тут я увидел, что Анджей смотрит на меня. Ой, нечего пялиться. Сидит крыса, говорит со своими мертвыми, ты ей не мешай, мужик, ты на сына своего смотри. Анджей сказал Мэрвину:

– Хорошо, если так тебе будет легче, давай поговорим о другом. О тебе. О нас с тобой. Об Отце Крови, прародителе нашего вида.

– Отец Крови? Господи, компьютерная игра будто.

Но Мэрвин хотел знать. Может быть, это он хотел знать больше всего на свете.

И Анджей рассказал ему историю, которую я тоже с радостью послушал. Ой, интересно было. История такая: жил-был на свете Отец всех летучих мышей, до страшных пертурбаций в мироздании он летал по ночному небу и рассыпал звезды. Это было безобиднейшее существо, как и все звери тогда, он ничего не боялся и ничего не ненавидел. Он не пил кровь и не причинял боли скоту.

Потом случилась вся эта шняга с человечками, смертью и всепоглощающей темнотой. Тогда этот чудный зверь породил себе новых детей, вроде Мэрвина и Анджея, и заклял их очищать ночь для людей, уничтожать крупинки тьмы, которые те собрали за день.

«И пусть, – сказал он, – закрывая глаза, – ничего не боятся, потому что вы не оставите их».

Он заклял их пить кровь, потому что кровь есть жизнь, а во сне им требовалось умирать тысячу раз. Они принимали в себя кошмары так же, как мы принимали в себя болезни, нечто еще несуществующее для них становилось реальным. Невидимая работа.

Но чем дальше, тем больше находилось тех, кто боялся, не мог или по иным каким причинам сам себе был хозяин. И тогда ой как это актуально, Отец Крови проклял их жаждой. А утолив ее, они не могли ни уснуть, ни сделать свое дело.

С бессердечностью суки-эволюции Отец Крови наделил своих детей механизмом, который всякое дезертирство сводил к нулю. Чтобы жить, нужно спать, а чтобы спать, нужно пить кровь, которая во сне защищает от смерти.

Логика, конечно, безупречная, но был допущен существенный проеб, пробел так сказать, в знании природы страха, который привел к катастрофическим последствиям. Летучие мышки по-всякому старались скрыться ото сна, кто настойки из кактусов пил, кто отрезал себе веки, кто еще на какие ухищрения шел. И чем дольше они бодрствовали, тем сильнее отдалялись от своего духа и тем больше им нужно было крови, чтобы уснуть.

Тогда они стали убивать. Жажда была такой сильной, что контролировать себя они не могли, но и быть агнцами на заклание в чужих кошмарах тоже не хотели.

А убийство, как известно, приумножает скорбь мира, ужас и боль спускаются под землю, там прорастают болезнями, оттуда подрастают злом мирским и безумием застывают в воздухе, а из безумия берется новое зло. Мудро устроена не только природа, но и антиприрода.

В общем, совсем другую силу летучие мышки кормили да обслуживали. И тогда на них стали охотиться медведи, волки, коты и, в общем-то, многие другие зверики, такими вещами отродясь не занимавшиеся.

Их братья и сестры, кроме всяких амазонских летучих мышей, укрывали своих ребят, за что Отец Крови лишил их возможности приложиться снова к источнику всей жизни, они перестали пить живых существ и потеряли милость родителя. А предатели из теплых стран до сих пор вот рулят.

Такая крошечная история о геноциде маленького, но очень гордого народа. Сказка. Рассказ для какого-то фантастического журнальчика.

– А ты уши развесил, – сказал мой отец. – Вот что значит от себя бегать. Матеньку на коленях благодари за ее к тебе милосердие.

И я был к тому близок.

Ой, ты просто не хочешь страдать, а бежать тебе некуда, можно только ценой чьей-то жизни все реже и реже попадать в страшные места.

Да это и не выбор даже.

– С тех пор, – сказал Анджей, – мы очень стараемся держать себя в руках.

– Что ж ты мне, сукин сын, письмо-то по этому поводу не написал?! – спросил Мэрвин.

– Ты спишь? Ты много спишь, Мэрвин?

Но Мэрвин уже вскочил и кинулся ко мне, он сказал:

– Пойдем, Боря.

Дайнер уже совершенно опустел, а у меня в кружке плескались остатки четвертой порции кофе, меня изрядно

подташнивало, я даже не знал, от чего больше: вступили в союз кофе с водярой или потому что Анджей – безответственная сука. Всего в мире по чуть-чуть.

А ты, Боря, не безответственная сука разве?

– Кстати, – сказал Мэрвин. – Это Борис, мой лучший друг. И он русский.

Вот это перчатка в лицо, прям вызов на дуэль.

– Привет, – сказал я на русском.

Мой отец засмеялся. Господи, подумал вдруг я глухо, посреди пустого дайнера, где бесновался Мэрвин, посреди ситуации с Анджеем и всем таким, а ведь мой отец, умерев, стал больше смеяться. Что бы это могло значить?

– Мэрвин, подожди, я просто хотел, чтобы ты знал, что это опасно – ограничивать себя во сне, опасно все время увеличивать дозу крови, которую ты должен получать. Сколько ты пьешь? Полстакана? Стакан?

– Пошел ты в жопу, я и без тебя смогу посчитать, сколько мне осталось!

Мэрвин пулей вылетел из бара, а я сказал на польском:

– Жаль, он тебе не врезал, мужик. Я бы врезал, а у него душа добрая.

Я выбежал вслед за Мэрвином. Накрапывал легкий-легкий дождик, где-то на горизонте уже сверкала голубая, рассветная полоса.

– Как ты?

– Борь, это самый тупой вопрос на свете.

– Понял.

Мы некоторое время шли молча, а потом Мэрвин сел на тротуар и прижал ладони к глазам, будто старался спастись от мигрени. Было в этой его позе, в его точеной красоте что-то неопределенно микеланджеловское.

– Мог бы и сам догадаться, – сказал Мэрвин.

Я сел рядом с ним, положил руку ему на плечо.

– Это ведь логично, а? Я же говорил тебе об этом. Я этого боялся. Но я думал: ну не может же оказаться так. Все же логично устроено. Ты сам говорил – логично!

Мэрвин глянул на меня.

– А еще знаешь, что я думал? Если бы от крови можно было, наоборот, не спать, я бы убивал долбаных людей. Лишь бы не попадать туда.

– Слушай, ну сколько тебе сейчас надо?

– Ну, пока что не дохрена. Человека я так не убью.

– А можно все назад-то?

– Я не спросил.

– Пошли спросим.

Но, когда мы вернулись в дайнер, Анджея там уже не было, а усталая Стейси натирала тряпкой полы.

Неуловимый, блядь, папаша.

– Куда он пошел? – спросил я. – В какую сторону? Видела?

Но Стейси только пожала плечами.

– Слушай, а если тебе начать спать? Ну, типа хотя бы раз в три дня. Может быть, со временем получится уменьшить дозу? Ты укрепишь свою связь с духом и все такое.

– У меня есть другая идея. Пошло оно все на хуй. Я буду тянуть время, пока смогу. Ради чего мне страдать и мучиться? Знаешь что, я остановлюсь, когда буду близок к этому. Зачем страдать на пять лет дольше?

– А ты уверен, что у тебя есть пять лет?

– И я убил человека. Я уже его убил. Не из-за крови, из-за ебаного кокаина. Я уже мудак.

Он нес херню, это любому человеку в истерике свойственно, так что я к Мэрвину с пониманием.

– Но знаешь, на что я зол больше всего? Рядом со мной не было никого, кто объяснил бы мне, что происходит. Никого.

Мэрвин закурил, долго опалял зажигалкой кончик сигареты, потом обжегся, отбросил зажигалку на обочину, глубоко затянулся.

– И никакой он не политик. Он, блядь, портье в отеле. Мама врала.

– Ночной портье, – сказал я, и мы засмеялись. Мэрвин достал мобилу.

– Такси закажу. Поеду к маме. Я, блядь, сто лет так к маме не хотел.

– Конечно, с папой пообщаешься, так сразу к маме захочешь. Это все дети знают.

– Спасибо, что был со мной, – сказал Мэрвин со знакомым пафосом абсолютного отчаяния. Любил он поупиваться немножко своими исключительными бедами. Сказал ровно так, как будто скидываться с моста поедет.

И впервые, может быть, я подумал, а вдруг правда такое у него отчаяние?

Тогда я выпалил:

– У меня есть гениальная идея.

Она правда была. На поверхности лежала, мусором плыла по речке мыслей моих.

– Донорская кровь, – сказал я. – Как в сериальчиках про вампиров. И можешь расслабиться, жрать ее в неограниченных количествах, за большое бабло и в большой тайне. Это он ночной,

блядь, портье. А ты крутой мужик.

Он поглядел на меня, как ребенок, как маленький мальчик на летчика. Я изрядно охуел, конечно, мне не хотелось вот так, с тошнотой от кофе и бессонной ночи, решать его судьбу.

– Господи, – сказал Мэрвин, прижав руку к сердцу. – Господи боже мой. Так же делала мама, почти так! Только еще нелегальнее! Это как в анекдоте, понимаешь? А что, так можно было?

Подъехало такси, и я сказал:

– Ну, пешкариком пойду, лады?

Не хотелось мне на тупую голову обсуждать эту гениальную идею.

– Боря, ты меня спас.

– Не-не-не, я тебя не спас. Подумаем об этом вместе. Потом. Езжай к маме. Давай-давай, пиздуй в тачку.

– Я тебе так благодарен.

– Ты, скотина бухая, в тачку садись и уезжай отсюда.

– Теперь жизнь наладится.

– Давай уже.

Наконец я его отправил. Мне вдруг стало очень нервно. Я вроде бы подал ему хорошую идею, а вроде и подтолкнул к чему-то неправильному, к очередному обману.

Я был прав и неправ.

– Папа, – позвал я. Он был мне очень нужен именно в этот момент, но отца нигде не было.

К утру я дошел до своего дома и увидел, что на моей элитной скамейке в моем элитном дворе сидит совсем не элитный Уолтер. Костюм на Уолтере был в разы дешевле, чем в прошлый раз, когда я его видел. Он осунулся, даже выбрит был похуже прежнего.

– Чего тебе надо? Как ты меня нашел? – спросил я.

– Мистер Шустов…

– Как ты меня нашел?

– По запаху. Я нашел вас по запаху.

Я закурил и выпустил дым ему в лицо.

– Дела не очень, да?

– Вы правы, мистер Шустов.

Фамилию мою он произносил странно, как-то на немецкий манер.

– Поддерживать порядок оказалось куда сложнее, чем я думал. И это требует много денег. Одному человеку такая задача, может быть, не под силу. Даже нескольким. Но я верю, что мое дело вдохновит еще многих. Мы на пути к созданию по-настоящему функционирующей организации. Я только

репетирую.

Отрапортовал свое, аутист хренов.

– Вот этого не надо, – сказал я. – Рекламки свои лучше напечатай.

Уолтер выглядел очень усталым. Когда-то он был полон сил, надежд, у него была красивая мечта. Но не ему жаловаться, отец-то мой в землице, все от его красивой мечты.

Я глубоко затянулся, снова выдохнул дым. От ветра покачивались во дворе цепочные качельки, едва заметно поскрипывали. А между мной и Уолтером не хватало перекати-поля.

Мне вдруг вспомнилось, что как-то я тоже возвратился утром домой, а там Марисоль меня ждет, мозги помыть. И вот Уолтер теперь в такое же прекрасное утро явился не запылился.

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.

– Так что тебе надо? – спросил я, затушив сигарету о спинку скамейки совсем рядом с ним.

Я умел выглядеть угрожающим.

– Мистер Шустов, мне нужна ваша помощь. Сотрудничество.

– Серьезно, что ли?

– У меня не хватает крыс.

Охуел я от такой наглости изрядно, так и смотрел на него, приоткрыв рот. Серьезно, что ли?

– Померли все?

– Мистер Шустов, вы говорите жестокие вещи.

– Жестоко, что помрем все однажды, остальное перемелется. Я тебя спросил: передохли твои крыски? Как отец мой?

И Уолтер кивнул. Иногда хвалят за честность, но сегодня я был не из этих.

– Если мы запустим экологическую ситуацию в городе…

Экологическую, надо же.

– Так не запускай, – сказал я. – Чего тебе от меня надо? Ты мне отца убил.

– Ваш отец, мистер Шустов, был достойным зверем своего вида. Он не боялся.

– До самого конца не боялся.

А в конце все боятся. В детстве я мечтал умереть на сцене, как Миронов (ну, актером-то я при этом становиться не хотел, так что на сцену для акта умирания пробраться было бы сложно), а потом подумал, сколько б на тебя ни смотрело людей, все равно все они бесконечно отдалятся в оставшийся миг.

– Короче, – сказал я. – Ты меня не понял еще? Я не буду заниматься это херней.

– Мистер Шустов, нам требуется ваша помощь. Как крыса, вы

должны…

– Должен, а платить не буду. Если б всякий, кто должен, платил бы, люди б кредиты брать перестали.

– Мистер Шустов, люди могут погибнуть…

Но слушать я его не стал, пошел к дому. Там, внутри, в прохладном холле, вместо того чтобы направиться к лифту, я развернулся к лестнице. Где-то на пятой ступеньке меня настигло ужасное в себе разочарование.

Ничуть я не разумнее Мэрвина, в самом-то деле. Не взрослее. Одного мы поля ягоды. Бегаем от ответственности, и все наперегонки.

Глава 22. Волшебство любви

Вот я опять расскажу историю из моего собственного детства. Вообще это, если так подумать, не совсем и история. Скорее воспоминание, блистающее в темноте детства, откуда мы все по-настоящему выходим только к шести-семи годам.

Помнится мне и сейчас, как летом шел холодный дождь, и я сидел в кресле, такой маленький-маленький, а все вокруг казалось очень большим. У всего был масштаб, у всего было величие. На кухне пахло кофе, мамка мне обычно капельку наливала, черного кофе, как я хотел, чтобы скорее вырасти. Сколько там было-то? На донышке, и я макал туда печенье, длинную палочку из песочного теста, а потом ложкой вычерпывал размокшие крошки.

Запах кофе, запах дождя, запах отсыревших обоев и песочного печенья из жестяной коробки – вот что оттуда сохранилось ясно-ясно.

Сидел я, значит, ждал свой кофе и думал, что в жизни одна беда – умер дядя Коля, а в остальном все хорошо. Мне не было грустно, но я немножко размышлял о смерти. И вдруг у меня такое осознание возникло, что я тоже умру, как дядя Коля, и буду лежать в гробу, ждать, пока меня кто-то в лоб поцелует. Мама принесла кофе, и я его выпил, лег в постель, как это в дождь приятно, и чуть задремал. Потом проснулся, глянул на мамку.

Она сидела перед зеркалом, покачивалась, и стул под ней поскрипывал. И еще один был запах, очень-очень важный. Аромат дешевой косметики, такой прям, из перехода.

Мамка, смотря в зеркало, вдруг заметила, что я какой-то взвинченный, из-под одеяла хочу выбраться, вожусь.

– Ты что, Боречка? Я думала, ты уснул.

– Мам, а я умру?

– Умрешь, Боречка. Все умрем.

Говорила она это с невесомой, почти неразличимой печалью, легонько так затосковала, будто облачко над ней проплыло.

– А я буду в гробу лежать?

– Будешь, Боречка. Все будем.

Мамка поискала на туалетном столике нужную ей помаду, а я сказал:

– Нет, ты меня в гроб не клади. Я не хочу там лежать. Там тесно, там неудобно.

– Я тебя ненадолго положу, Боречка, а потом я тебя съем. И некому будет лежать.

Ой, ну был бы я нормальным ребенком, самым обычным,

маялся бы потом и по психотерапевтам всю жизнь шлялся. А тут не испугался и даже успокоился тем, что буду у мамы в животе, как до рождения.

– Не бойся, мой Боречка, – сказала мне мамка. – Во-первых, сейчас я налью тебе кофе и дам к нему печенья. Это тебя обрадует, жизнь – она чтобы радоваться и нужна. А во-вторых, однажды ты встретишь девочку, она будет для тебя лучше всех на свете, и с ней ты забудешь о смерти.

Как так, думал я, это как надо головой удариться, чтоб забыть, что умирать придется.

А вот дядя Коля так головой ударился, что вообще умер.

– А у дяди Коли, – сказал я вслух, – жена была. Она была не та девочка? Была у него жена, а он все равно умер. Это как так?

Мамка засмеялась, глянула на меня хитро.

– Все тебе расскажи, Боречка. А ты еще маленький, чтоб знать.

– Я не маленький уже.

– Так только маленькие говорят.

– Ты не дразнись. Скажи мне.

Мамка мазюкала губы перламутровой помадой «Руби Роуз». Розовый у нее отливал серебром, казалось, она ела жемчуг, и я представил ее ныряющей глубоко-глубоко, за вкусными ракушками.

А на реке я видел ракушки с жемчужными брюшками, как у мамки помада, да. Над черной водой там шло поваленное дерево, на котором я сидел, потому что купаться было холодно, только что ноги помочить можно.

– Ладно, – сказала мамка, выставив ногу в золотистой босоножке. Она никогда не ходила в тапочках, если скоро должен был приехать отец. Ей хотелось быть хорошенькой для него, вкусно пахнущей принцессой.

Он оставлял ее с синяками и ссадинами, а она встречала его с перламутровой помадой на губах и надушенная духами «Живанши».

– Послушай, Боречка, однажды ты встретишь девочку и у вас с ней сердца будут так близко…

– Как близко?

– Слушай-слушай, очень близко, так близко, что ты как звать тебя позабудешь, проснешься с мыслью о ней и уснешь с мыслью о ней, и это будет много-много раз. Тогда ты, Боречка, поймешь, что не зря жил на свете, и что оно все стоит смерти, и что после такой любви умирать не страшно.

Мамка была натура романтическая.

– Волшебство любви, – сказала она задумчиво. – У меня были

духи, которые так назывались. Я ими тогда надушилась, в вагоне-ресторане, в тот день, когда встретила твоего отца. Духи были не то польские, не то чехословацкие.

Ой, а она до последнего дня упрямо говорила «Чехословакия» вместо «Чехия», хотя страна эта перестала существовать через два года после моего рождения.

– А он пах «Шипром», так ужасно, на самом деле. Я была такая пьяная, что весь нюх себе отбила. Могла чувствовать только этот чудовищный «Шипр».

Мамка надавила ногтем на ямочку над верхней губой, снимая излишек помады, глянула на палец.

– Ты навсегда запомнишь, как она пахнет. Тебе это будет даже сниться. Волшебство любви, да.

Она сходила на кухню и принесла мне кофе с печенькой, села на диван красить ногти прозрачным лаком с блестками. А я слушал дождь да печенькой кофе мешал, и все думал, думал, какой будет та девочка, чей запах мне станет даже сниться.

Вот много лет прошло, уже и кости мамкины все хрупче и хрупче, уже и отец в могилу лег, уже и мне тридцатник, а иногда вспоминается вкус того кофе, слова из тех разговоров. В четырех стенах, когда дождь хлещет, все значительнее, гуще, может, я б и не запомнил ничего, если б за окном такого ливня не было. И зря б не запомнил, а то мамка мне тогда святую правду рассказала, самую главную на свете.

Я в самом деле помнил запах Одетт, помню запах Одетт и всегда буду помнить запах Одетт. До самой последней секундочки, и если есть что за горизонтом всех событий, то и целую вечность после.

Люди пахнут сложно, зверики – тем более. Это целая симфония, сложное произведение, длинное уравнение. Если бы запах даже самого непримечательного человека был романом, то не меньше, чем «Поминками по Финнегану».

А она, господи, она пахла, не знаю, Бхагавадгитой, наверное, Буддиными сутрами, египетской «Книгой мертвых», чем-то запредельным, чужим и изощренным. Хотя вам-то так не покажется.

Мышкой она пахла, крошкой-грызуном. Пахла девушкой с хорошим здоровьем. Пальцы ее всегда железом пахли. Всегда имелся на ней трудноперевариваемый, но по-своему прекрасный хор из запахов разных уходовых средств. Она пользовалась всякой модненькой веганской (хотя бургеры уважала не меньше), гуманной, здоровой косметикой, все время заворачивала в газовые камеры типа лавочек «Лаш», обмазывалась лосьонами, бальзамами для губ, кремами, так что становилась будто

египетская царевна, умащенная маслами.

Из этой же пахучей лавочки у нее были духи, наоборот степенно-европейские, бодренько-цитрусовые, с говорящим названием «Папин сад».

Ой, Фрейд бы посмеялся, его-то небось веселило, как мы от себя бежим, но к себе прибегаем.

В постели я любил припадать к ее виску, ключичной впадинке, сгибу локтя, внутренней стороне бедра – к всегда чуточку влажной, нежной, источающей больше всего ароматов коже.

Ой, да я ее любил, я весь дрожал от любви, вылизывая ее с головы до ног. И тогда она пахла мной.

За сколько там месяцев я умудрился расхуярить себе все счастье? Ну, может за четыре, за пять – максимум.

Я ее мучил. Я ее обманывал. И я, сам того не понимая, следовал за своим отцом туда, где от любви остается одна боль, никакого волшебства, никаких соплей – одни синяки на ее запястьях.

Началось все с того, что я понял: мне нужен от нее ребенок.

Во-первых, конечно, я хотел привязать ее к себе. Мне казалось, что она в любой момент ускользнет, хотя, и это, бля, было иронично, именно в то время Одетт не хотела исчезать и прятаться, она хотела меня.

А я, да, все попортил.

Мне казалось, если она родит от меня, то всегда будет моей, пусть даже мы расстанемся.

Мне казалось, она захочет за меня замуж.

Мне казалось, она будет нуждаться во мне.

Короче, лучше сразу перейти к тому, что там во-вторых. Я остался один. То есть на родине у меня были родичи, даже много, но только семейные связи у нас совсем расклеились, и я чувствовал себя астероидом, наворачивающим круги вокруг какой-нибудь хрупкой планетки. Я был одинок, но где-то неподалеку сверкало то, что мне нужно.

И, конечно, я думал о своей смерти. У моих родителей по могилке, и мое время тоже идет. Теперь уже никаких промежуточных звеньев между мной и землей.

Мне нужен был тот, кто меня сожрет, когда придет мой час, и все такое. Наследник рода залупиных королей.

Я так боялся смерти, что потянуло меня созидать, значит, жизнь.

Чего я только не делал – сначала прокалывал презервативы, потом крал ее таблетки, бля, поставила бы спираль – вытащил бы у нее спираль, честное слово.

Ничего не работало, Одетт тщательно проверяла резиновые изделия (иногда и ебаться уже не хотелось, как тщательно), тут же бежала за таблетками в аптеку и в конце концов закатывала мне оглушительные скандалы.

– Ну я хочу ребенка! Хочу! Что я могу сделать, если ты меня не слушаешь?

– Ты что, не понимаешь, что про ребенка ты вообще ничего не решаешь? Вообще. Никогда.

Ну и я тогда думал, поди запру тебя на какой-нибудь квартирке, посмотрим, как запоешь.

Но мне становилось стыдно, ой, души немножко осталось, если стыдно становится, это всегда благо – краснеть и болеть сердцем за то, что делаешь, за то, про что думаешь.

Одетт все время жаловалась на свою аспирантуру, что ей там не нравится, что она ожидала большей свободы творчества, что Фред – мудак и Уилл – мудак тоже, а Элис – самая большая сука во Вселенной.

– Ну так забей на это. Сиди дома и занимайся роботами. Делай самодельных, прославишься как изобретательница, а не просто твое имя будет стоять в каком-нибудь гранте. Роди мне ребенка.

– Ты вообще понимаешь, что эти вещи не связаны между собой никак, Боренька?

Она меня как будто немножко жалела. Не то понимала, чего это я так двинулся, хотя бы в каком-то там аспекте, не то что-то свое выдумала.

– Ты хочешь быть со мной или что? – спросил я как-то вечером. Одетт сидела в кресле перед теликом, вытянув загорелые ноги. Мы пересматривали пятую часть «Гарри Поттера». Одетт загребла побольше сырного попкорна, облизала пальцы и тут же потянулась за влажной салфеткой, не переводя взгляд на меня.

– Что?

– Ты будешь со мной?

– Буду, Боренька.

– Ты меня вообще слушаешь?

– Да.

И тут я взял ее за волосы, потянул к себе, зная, что причиняю ей боль. Тогда Одетт поцеловала меня и, я знал, сделала это из страха. Вот так все было, просто и буднично. Не грохнуло зловещей музыкой, я не сказал ничего злодейского, я не угрожал ей, но я сделал ей больно и по-настоящему ее испугал.

Так все худшее в жизни и сотворяется, ой, боже, безо всяких там театральных эффектов.

Но, еб ее мать, я почти ненавидел Одетт в те дни. Вроде и покаяться бы, а когда думаю об этом, все равно обида какая-то есть, даже горькая все еще.

Ой, одно хорошо, что себя ненавидел еще больше.

Короче, наши скандалы не отличались такой ожесточенностью, как моя ругань с Модести. Они были оглушительными, это да, мы шумели, швыряли вещи, и в то же время, когда все становилось слишком уж опасным, Одетт легко переводила ругань в шутку или в секс.

Секс был охуительнейший, надо сказать. Она мне никогда так не отдавалась, как из страха.

В сознании человека, в памяти, оно все сложно устроено, по полочкам не разложишь, в каталоги не заключишь. Вот мне плохо от того, что я ее пугал, от того, что больно ей мог сделать, от того, что я ее мучил.

А с другой стороны, ебать ее было сладко, и тихой-тихой, ласковой она почаще была.

Ненавидишь себя и жалеешь.

Клянешься, что больше никогда, что больше ни разу, а потом вспоминаешь, какой кайф дает власть над существом беззащитным и так приятно, притягательно пахнущим.

Но все-таки, и тут я говорю твердо как никогда, отношения эти были с ядом, они нас обоих убивали. Я не хотел становиться монстром, пусть даже оно иногда и приятно. Ой, а где в мире одно только горе, везде причудливо все с радостью смешалось.

В общем, таким я стал, и хотя у нас были прекрасно и пронзительно нежные ночи, дни стали просто пиздец.

Так что я на самом деле не удивился, когда Одетт сказала:

– Боря, мы должны обсудить кое-что.

Все вариации моего имени она обычно выговаривала очень старательно, с восторгом только выучившей слово малышки, а тут вдруг бросила походя.

Она пришла ко мне вся блестящая от капель дождя, на ее пальтишке, на волосах, под ярким электрическим освещением они превратились в сверкающих светлячков.

Октябрь был, но непривычно холодный, и дождей, словно в декабре. Осень как-то преждевременно нырнула в зиму. В Лос-Анджелесе я привык к тому, что дожди заменяют снег, и теперь непроизвольно у меня в голове зажигались новогодние огонечки. Настроение было прям прекрасное, сам себя обманывал. Я начал отряхивать ее.

– Вся мокрая, пошли чай пить.

– Нет, Боря, я ненадолго. Совсем.

Ну, тут я прям напрягся, конечно. За окном уже было темно,

и это как-то идеально совпало со взглядом Одетт. Она сказала:

– Боренька, отпусти меня.

– Чего? Ты что имеешь в виду?

Было у меня даже какое-то любопытство, желание разгадать ее, как кроссворд. Я никак не мог поверить, что все очень просто.

– Я не могу с тобой быть. Ты меня понимаешь?

Она плакала, и, я знал, вовсе не от страха.

– Это еще почему?

Я ничего не понимал, чесал в затылке так тупорыло, потом втянул ее за руку в квартиру, закрыл дверь.

– Не трогай меня!

Она стояла, обхватив себя руками. Маленькая-маленькая, темноглазая, с длинными, как у куколки, ресницами. Мне стало ее ужасно жаль, я протянул руку, чтобы погладить Одетт по щеке, но она отпрянула от меня как от прокаженного.

– Ты – наркоман! – выплюнула она.

– Тебя это пять лет не волновало!

Она поглядела на меня с раздражением, будто я испортил реплику, которую она должна была выдать согласно роли. Будто я не понимал, что это тоже игра.

И вообще-то обидно было. С наркотиками я не завязал, это уж точно, но старался долбать только по выходным (которых ждал с нетерпением). Я хотел стать лучше для нее, а сам был все хуже и хуже с каждым днем.

– И то, чем ты занимаешься…

– Ты понятия не имеешь, чем я занимаюсь. Ты даже никогда не спрашивала!

– А разве не ты мне рассказывал, как стрелял в человека?

– Четыре года назад! Хера себе ты медленная.

Она срочно искала хоть какие-то поводы, она, казалось, была удивлена тем, что я не верю ей. А я думал: глупости это все, она меня любит.

Ой, самоуверенный был. Зря я так на нее давил, конечно. А она глядела на меня во все глаза, старалась разозлиться, казаться серьезнее, сильнее. Но у нее был этот сине-серый шарфик Рейвенкло, на рюкзаке болтались какие-то анимешные значки, к воротнику цеплялась брошка с далеком из «Доктора Кто». Она выглядела как школьница.

– Я серьезно, – сказала Одетт. – Боря, это с самого начала было ошибкой. Я тебе не могу дать то, что ты хочешь.

И этим самым говорила она, конечно, что хочу я много и не по себе.

– Я имею в виду, что мы разные. Очень мы разные. С самого начала это нужно было понимать. Не надо было мне давать тебе

никакой надежды.

Она была такая хорошая, сладкая, горькая, плачущая девочка. У меня сердце наполнилось жалостью.

– Ну, ну, Одетт, т-ш-ш.

Я поманил ее к себе, но она покачала головой.

– Ты что, не понимаешь? Я тебя бросаю. Все. Больше я сюда не приеду. Больше ты меня не увидишь. Я вообще не вернусь в Калифорнию. Ты меня не найдешь.

Я так и глядел на нее. Ой, это как не найду-то? Ты просто никогда никого не искала, когда сильно хочешь.

– Ты мучаешь меня. Ты мучаешь себя. Нам обоим это не нужно.

В конце-то концов, Одетт говорила то же, что и Модести. Я выбирал травмированных девчат, и сам я был глубоко и, в каком-то смысле, невозвратно покалечен.

– Подожди. Тебе надо успокоиться.

Я очень старался быть рассудительным, такой, значит, умница при истеричной мадам. Мадемуазель, вообще-то. В этом-то и заключался корень проблемы.

Диалог выходил какой-то абсурдный, я не слушал ее, она не слушала меня, каждый гнул свою линию. Я даже не знал, что в таких случаях говорят?

Ну, все заканчивается, милая. Можно присунуть тебе в последний разок?

Раз уж мы теперь на «вы», может быть, выпьете чаю и аргументируете свое решение?

Вот бог, вот порог, славно, что ты уходишь.

Может быть, тебе нужно еще подумать?

Пошла в пизду, сука трахнутая.

У меня, может, миллион вариантов в голове пронесся, ни один не осел. А Одетт все смотрела на меня своими бездонными, удивительными глазами, словно ждала какого-то моего решения, словно ждала моего одобрения.

Ой, эти девочки с проблемами на тему папочки.

– И что ты хочешь услышать? – спросил я как можно спокойнее. – Надо, чтобы я тебе сказал: иди, любимая, ни в чем тебя не виню, все было прекрасно и ничуть не больно?

Так это уже Воннегут. А я не Воннегут, я не могу так красиво.

– Я хочу, чтобы ты меня понял, Боренька. Я любила тебя. И люблю. Но я не хочу быть с тобой связанной. Самое худшее на свете, наверное, быть с тобой связанной.

– То есть ты меня любишь, но я тебе не нравлюсь?

– Да. Это странно звучит, но лучше и не скажешь.

Она вся напряглась, сердечко у нее, я знал это, билось часто,

и все чаще, чаще. У маленьких мышек маленькие сердца.

– Боренька, – повторила она. – Отпусти меня. Я тебя обманула. Я с самого начала только и делала, что тебя обманывала.

– Не неси чушь, Одетт.

У меня земля из-под ног уходила, я не мог дышать. Одетт неожиданно сверкнула глазами, посерьезнела, будто хирург перед операцией.

– Значит, все-таки нужно это сказать.

Я так и замер напротив нее. Было у меня предчувствие, что сказанные ею слова изменят всю мою жизнь.

– Я с детства засматривалась на тебя. Меня заводило, что ты грязный, жутковатый, дикий. Что ты – уличная крыса. Что ты не уважаешь женщин, лепишь всякую чушь, можешь ударить. Все эти ужасные вещи, они мне нравились. Потому что они были так далеко от моего мира. Для меня ты был монстром.

Грязный, дикий. Теперь-то я был хорошенький и чистый. Что ей еще было надо?

И тут до меня дошло.

– Монстром?

– Монстром, – сказала она безжалостно, как бы толкая в меня скальпель.

Я замер.

– Но я не хочу так жить. Мне нужен нормальный парень. Ты возбуждаешь меня, потому что я больная. Потому что я неправильная. Но я хочу стать лучше. А ты – нет. Ты думаешь, господи, какой ты добрый. Но ты ожесточенный, пусть даже ни капельки не озлобленный, но просто невероятно ожесточенный. Ты как феральный ребенок. Ты можешь сколько угодно тачек купить, но у тебя звериная натура.

Она хотела говорить покрасивше. Это она умела. В словесках натренировалась, на драматичных моментах. А я стоял да охуевал. Приложил руку ко лбу, как температуру пощупал. Лоб у меня был горячий.

– И мне тебя не жаль, Боренька. На самом-то деле мне жаль женщину, которая купится на твои деньги, или на обаяние, или ей трахаться с тобой понравится – да что угодно. Она будет несчастной.

– Ты будешь несчастной, – сказал я, не очень, кстати, внятно.

– Что?

И я ударил ее. Я размахнулся и влепил ей, да так, что разбил губу. Она отшатнулась, чуть не упала и вдруг замерла. Глянула на меня, собирая языком кровь.

– Я люблю тебя, – сказал я.

Тут она засмеялась, хохотала и хохотала, как дурочка, и мне пришлось врезать ей снова, легко, чтобы привести в себя, и тогда она расплакалась. Вот только тут я понял, что натворил. Рухнул перед ней на колени.

– Одетт, милая, подожди. Я…

Мне хотелось обнять ее, успокоить, прижаться головой к ее теплым коленкам.

– Отпусти меня.

– Нет, пожалуйста, прости меня. Сначала прости меня.

– Ты больной.

Капля ее крови упала мне на макушку. Сочная, как первый шаг дождя.

– Отпусти меня.

Она говорила очень спокойно, хотя лицо у нее было мокрым от слез. Господи, как мне было жаль ее. Пусть даже ей было на меня плевать, пусть даже я ее не заслуживал, как я хотел просто ранку ей обработать.

– Отпусти меня, – повторила она. – Пожалуйста, Боренька. Отпусти меня сейчас.

Я взглянул на Одетт. Слезы на ее губах мешались с кровью.

– У тебя там ранка.

– Я знаю, – сказала Одетт очень спокойно.

Я хотел прижать ее к себе, поцеловать, и в то же время где-то в глубине, куда смотреть совсем не хотелось, у меня было желание вдарить ей снова. Так, чтоб думать забыла о том, чтобы от меня уйти.

Я сам себя испугался.

Тут ведь как: это все не была, как в кинчиках и книжках, высокая трагедия зверя внутри меня. Все произошло так естественно и просто. Ой, человеку бывает от себя больно-больно, и он старается, но стоит расслабиться, и все по той же дороге, по легкой дороге в ад.

Я врезал ей, и в каком-то смысле я не почувствовал того, что должен был.

У меня мир не рухнул. Я мог это сделать, не было у меня барьера, который у кого-то есть. Вот оно что: я через себя не переступал.

Ой, тоска, за мной были сто поколений, что через себя не переступали.

Вот я чего скажу, мысль крамольная, конечно, и все-таки пускай она будет. Хорошим человеком быть очень легко, когда у тебя всюду правила и внутренние границы. Легко быть хорошим человеком, когда тебе тяжело ударить женщину. Легко быть хорошим человеком, когда не можешь переступить через себя и

убить. Легко быть хорошим человеком, когда одна только мысль о краже вызывает отвращение.

И сложно быть хорошим человеком, когда ты все эти плохие вещи делаешь не задумываясь. Недостаточно поставить себе цель стать хорошим, недостаточно одного положительного заряда, желания добра (у меня оно было, честное слово, и было всегда). Нужно воспитывать в себе отрицание, отвращение ко злу. И только так, а вовсе не из желания хороших вещей хорошим людям, становятся праведниками.

Главное отказаться, а не согласиться. Вот как.

Ну, и я отказался. Я хотя бы попытался. Встал с колен, поглядел на нее. Совсем небольшой и ужасно тощий, я все равно был выше и сильнее нее. Одетт крепко обняла саму себя, покачалась на пятках. Слезы у нее прошли, и теперь Одетт смотрела прямо на меня. Во взгляде ее было и что-то торжествующее. Глянь, Боренька, я же тебе говорила. Вот кто ты такой.

Я протянул руку, чтобы стереть ей кровь, и тогда она завизжала. Быстро, воспользовавшись замешательством Одетт, я коснулся губами ее лба. Сладко-сладко поцеловал, в последний разочек, на дорожку, можно сказать.

И открыл дверь. Ебаный в рот, это было, может, самое тяжелое, что мне когда-либо приходилось делать. Дверь еще, сука, так протяжно, по-диккенсовски скрипнула.

Одетт не стала ждать, ничего мне не сказала – пулей вылетела за дверь, и я еще долго слышал, как она бежит по лестнице (этот звук преследовал меня, даже когда ее уже не было ни в подъезде, ни даже на моей улице).

А я стоял идиот идиотом и глядел на серый лестничный пролет. Голова болела немилосердно, как будто это мне двинули.

– Сука! – заорал я чуть погодя. – Ты – сука!

Захлопнул, значит, я дверь. Ой, у меня такое отвращение к себе было, но в то же время и такая злость на нее. Думал: до Страшного суда тебе, тварь, не прощу, до последней ночки.

Некоторое время я просто хуями ее обкладывал, орал и орал, пока в горле не запершило.

Я не верил, что это и все. Что вот она, любовь наша, утекла с кровкой ее, прямиком от пухлой губки до шарфика Рейвенкло.

Я пошел в душ, но и в ванной все о ней напоминало, ее черные, лашевские баночки, ее бритва, ее ватные диски.

Зачем-то я помылся ее гелем для душа, от него повсюду оглушительно запахло темным лесом, травами и деревьями, прохладой наступающей ночи. Хорошо хоть запах был не девчачий, горький, аптечный.

Пальчики Одетт еще ко всему здесь прикасались, время пока не стерло ее следов. Чистенький, пахнущий чащей, я расхаживал по квартире, туда и сюда, сходил с ума.

Где на земле справедливость? Так я думал. Где на земле любовь?

Тут надо ответить: в сердце у нас, другого места для любви нет. Если у тебя ее в сердце не водится, то тогда нигде не ищи.

Ну что я в тот момент знал о том, как быть с ней, как вообще с кем-либо быть?

Я еще не знал, как я люблю. Мне это негде было разглядеть.

И так я бесновался, туда пойду, сюда пойду, остановлюсь, покричу на нее, и блядь она у меня была, и сука.

А она была только испуганная девочка. И надо было мне поискать в себе побольше жалости, сочувствия к человечку живому.

Не выходной был, а хуй с ним, день особенный. Достал из сейфа личный свой запас, обдолбался хорошенько, так что через полчаса меня еще сильнее носило туда-сюда, словно листик осенью.

Пришла, как под кокосом частенько и бывает, гениальная идея поехать к Эдит, извиниться там перед Одетт, на коленях, может, снова постоять, сказать ей честно: жизнь без тебя не мила, вдарил я тебе зря, не хочу, чтобы так все закончилось.

В кокаиновой контрастности происходящего мне казалось, что она не может меня не послушать. История-то красивая. Ой красивая.

Нахреначился я так, что въебывался то в стол, то в тумбочку, то в дверь. Вылез едва-едва, а уж как на машине не разбился – я, честно, без понятия.

Положа руку на сердце, тогда мне было все равно. По пути в Пасифик Палисейдс я два раза останавливался, чтобы выдуть еще понюшку.

Короче, я обдолбался знатненько и в этом состоянии думал только: куда ж ты от меня денешься?

Думал, достану ее из другой страны, да хоть из иного мира.

Гляди, Одетт, какая у нас с тобой любовь великая, какой праздник сердца.

Я гнал по ночному хайвею, как списанная рок-звезда, как мужик из клипов восьмидесятых, как долбаный самоубийца.

И, когда я вспоминал ее слова, мне казалось, они пульсируют в воздухе, я слышу их за миллионы километров отсюда, они доносятся до меня из дыры в самом времени.

В хламину я был, конечно, и запах ее геля для душа прохладным, горьким облаком улегся вокруг меня.

Под кокосом люди дивные, иногда даже страшноватые. Но, и я клянусь в этом с чистым сердцем, я не думал о том, чтобы ее убить. Может быть, только может быть, я думал о том, чтобы убить себя.

До меня уже тогда потихонечку доходило, как я все проебал, как методично разбивал то, что ее со мной держало.

Думал прицепить к себе, а в итоге с мясом от себя оторвал. Так бывает.

Врубил музон, чтоб полегче было, чтоб мысли мои переорал, раскрыл все окна и несся сквозь дождь и ветер под небом в бельмах густых туч.

Вот не заиграла по радио Highway to hell, а как в тему была бы. Что там играло, уже и не вспомнишь, но в тот момент я был благодарен любым звукам, поступавшим извне. Музыка ревела, ветер шумел, я повернулся, чтобы достать из бардачка сигареты, и увидел мамку.

– Ты себя так убьешь, сыночек, – сказала она.

На губах у нее оставались еще размякшие кусочки кожи, свидетельство того, что в этом теле как будто бы недавно была жизнь. В этом смысле смерть всегда внезапна, даже когда очень предсказуема. Есть тело, будто оставленный в спешке дом, из которого ушли, а чайник с плиты не убрали, вещи не уложили в чемоданы. Наспех собрался хозяин, а от него нам теперь только холодеющее тело.

– Тебе-то какая разница? Ты же умерла.

– А я хочу, чтобы ты жил, Боречка. Зачем себя губишь?

Мамка посмотрела на меня печальными глазами, на ресницах поблескивали не то слезы, не то капли той воды, в которой она погибла.

– Почему? Почему я такой? – спросил я. – Ты меня родила, ты хотела воспитать меня хорошим человеком, или нет?

– Я хотела, чтобы ты был счастливый.

– Зачем я ее ударил?

– А зачем твой папа меня бил?

Я глянул на нее. У моей мамки на щеке – вечный синячок, папин последний. Она забрала его с собой в смерть.

– Потому что он ревновал, – сказал я.

– Потому что такова была его любовь, Боречка. Разве это правильно?

Она потерла синяк, кожа от него отошла легко, как бумага. Синеватая пленочка, а под ней скрывалась посеревшая плоть.

Мамка сказала:

– Так ты счастлив не будешь.

– Но вы же с папой были.

– Он сильно мучился. А я мучилась меньше. Мне больно из месяца один день, а ему тридцать. И смотри на дорогу.

Дорога была пустая, все, что выхватывал свет фар, стремилось в ничто, в пустоту.

– Я почему такой злой? Это моя природа?

– Нет такой природы. Есть ошибки человечьи. Вот когда ошибся, тогда не вали на природу.

Мамка с удовольствием вытянула ноги, похрустела косточками.

– Ты эту девочку любишь?

– Люблю.

– Она тебе снится?

– Снится всегда.

– Значит, я вырастила тебя хорошим. Если ты сумел кого-то полюбить.

– Вырастила, – повторил я с неожиданной обидой на нее.

– Ну уж как успела.

Мамка помолчала и добавила:

– Но дальше ты пытался сделать как лучше, но выяснилось, что тебя этому не учили.

Мамка меня не оправдывала, и этому я порадовался, но в то же время она и не смотрела на меня как на продолжение моего отца, как на текущую в своем русле реку. Я глядел на нее и знал, что у меня есть выбор.

– Чему тебя учила Матенька?

– Тому, что моя жизнь ничего не стоит.

– А из хорошего?

– Кто слабее, того она и любит больше всех.

– И ты слабее, в каком-то смысле. Оступаешься, губишь себя. Возможно, поэтому она защищает тебя.

Потом она долго молчала, только смотрела на меня тусклоглазо, мертво, а я старался вести тачку поаккуратнее. Я не знал, есть ли во всем этом смысл, но у меня возникло забытое и детское ощущение – мама знает, что со мной будет, наперед, и никто ее не обманет.

От машины до крыльца дома Эдит я прям бежал. Я все давил на звонок, а надо мной слились ветви вишни и яблони, словно обещание грядущего счастья.

– Одетт! – крикнул я. – Одетт, открой! Давай поговорим! Я не могу без тебя, Одетт! Я люблю тебя!

Еще б на асфальте или на землице свеженькой вывел бы формулу моей любви.

– Одетт! Я понимаю, что ты не хочешь меня видеть! Но послушай, дай мне стать кем-то другим!

Лучше, чище, честнее. Тебе более нужным, в конце-то концов.

Темень вокруг да тишина, только на кухне окно горело, да где-то у океана покрикивали друг на друга разбуженные кем-то чайки.

– Я люблю тебя, – сказал я совсем уж тихо.

Подошел, конечно, к окну, постарался заглянуть в теплоту кухни, скрытую кружевной занавеской, и тут неожиданно передо мной появилась Эдит.

Она открыла окно.

– Привет. Залезай.

На ней было строгое черное платье, миллион пуговичек, и все – застегнуты. Эдит поправила очки, сказала:

– Одетт тут нет.

– Где она?

– Я тебе не скажу.

Позади вился дымок от сигареты Эдит, оставленной в пепельнице. Я влез в ее дом, как раньше, когда мы оба были маленькими и смешными.

Эдит все еще жила с родителями. Или, скорее, стоило бы сказать, что родители Эдит иногда жили с ней.

Чем старше она становилась, тем больше дом принадлежал именно ей. Неожиданно комнаты заполнили репродукции картин, качественные, дорогие. Эдит хорошо относилась к подделкам, она называла их переосмыслениями.

– В каждом таком объекте жульничества скрыта история любви. Понимаешь? Иногда они дают ответы на вопросы, которые оригинал даже не задавал.

Периодически Эдит даже перекупала хорошие подделки. В основном стены ее дома признавались в любви к русскому авангарду и голландской живописи (я даже научился видеть разницу между Северным Возрождением и Золотым веком).

Все здесь было устроено по ее вкусу, преобладали темные тона и строгие формы.

Эдит ужинала. На столе стояли бутылка виски, чашка кофе и пачка сигарет, лежала ее толстая тетрадь с «Щеглом» Фабрициуса. Эдит по старинке выписывала все, что могло пригодиться ей для книжки, которую она писала.

– Рукой, – говорила она, – нужно выстрадать слова.

А книжка-то называлась (вернее, собиралась назваться) «Великая история подделок».

– Дело моей жизни, – говорила Эдит. – История искусства, которой все брезгуют.

Она мне читала отрывки, как по мне, так веселенький получался трактат о том, что копия в нашем постмодерновом

мире не хуже оригинала.

– Реабилитирую всех ублюдков, – говорила Эдит. – Они ведь, если вдуматься, очень талантливые художники. Думаешь, просто, скажем, подделать «Черный квадрат» Малевича?

– Да он сам его подделывал. У него ж таких много.

Эдит, конечно, чуточку мошенничала. Она ездила в запасники, где хранились подделки, и вытаскивала оттуда самые интересные истории. Ясен хуй, что истории эти рассказывали духи, а Эдит оставалась только косметическая работа – найти в архивах уже известные имена, даты и озаботиться документами.

– В каком-то смысле, – сказала Эдит, – я тоже мошенница. Мне это нравится. У меня с объектом моего исследования много общего.

Это да. Она тоже была почти настоящая, копия жившей когда-то девочки.

Мы с Мэрвином пошли одной дорогой, Эдит же выбрала совсем другой путь. Наши миры (ее выхолощенно-интеллектуальная университетская среда и мой мир «Пути Карлито») не пересекались, и в то же время в каком-то смысле для меня не существовало никого дороже Эдит.

Она понимала меня там, где все давало сбой, портилось, приходило в негодность. Понимала всю мою боль и то странное, обескровленное пространство, которое остается там, где тебе уже даже не больно.

И я был рад ее видеть.

Эдит, наблюдая, как я с юношеской прытью залезаю в окно, взяла сигаретку, затянулась.

– Я сидела и читала о кальвинистских корнях голландского натюрморта, – начала она монотонным, ничего не выражающим голосом. – Готовилась погрузиться в социологию религии и социологию искусства одновременно, но что-то пошло не так, и мне позвонила Одетт, в слезах и в ужасе, если можно так сказать. Она кратко рассказала мне о произошедшем и сказала, что сейчас приедет. Нет, ответила я, приезжать совершенно точно не надо. Я, как ты понимаешь, догадывалась, как скоро ты будешь здесь. Я взяла ей билет на самолет, не скажу пункт его назначения, думаю, она пролетает сейчас над одной из американских достопримечательностей. Над какой именно, к сожалению, тоже не скажу.

– Ты прямо-таки Сфинкс с загадками.

– Я прямо-таки да.

Она смотрела на меня спокойно, без какой-то особенной холодинки в глазах (ну, куда уж морознее все равно), но я как-то понял – злится.

Мы сели за стол, поглядели друг на друга. Ой, Господи, хорошо, что ты придумал дружбу, а то мы, заблудшие, натворили бы столько дел.

– Прости, – сказал я.

– У меня всё в порядке. Тебе не нужно извиняться передо мной. Более того, тебе не нужно извиняться перед моей сестрой.

Слово «сестра» Эдит произнесла как никогда жестко, прям продавила его языком, поломала, и ее немецкий акцент стал явнее прежнего. А я вдруг вспомнил Одетт, и как она на меня смотрела, когда я ударил ее.

В тот момент она стала необычайно похожа на Эдит, они вправду были сестры, хотя у них ни капли общей крови.

– Но я хочу перед ней извиниться! – сказал я. – Хочу, чтобы она меня простила! Что ей нужно подарить? Она же и так богатая! С бедными девчатами попроще!

Эдит смотрела на меня, как, наверное, медсестра в дурке смотрит на маленьких, больных мальчиков.

– Я имею в виду, Борис, лучшее, что ты можешь сделать, и сейчас я дам тебе прекрасный совет, от которого тебе лучше не отказываться, так вот, лучшее, что ты можешь сделать, это исчезнуть раз и навсегда из ее жизни.

Эдит помолчала, потом подкурила вторую сигарету от первой и добавила:

– Я серьезно. Никакого сарказма. Никакой гиперболы.

И в этот момент я все прекрасно понимал, мне даже не было обидно. Она не доверяла мне свою сестру, вот и все. Эдит не считала, что я мог бы исправиться.

Впрочем, вот эти все штучки-дрючки про всепрощение и искупление она никогда не поощряла. Именного этого и стоило ожидать.

Эдит налила мне выпить.

– Льда?

– Господи, льда.

Сердце мое остудить.

Эдит достала из холодильника формочку, принялась вытрясать из нее кубики льда.

– Ты не понимаешь одного, Борис, – говорила она. – Одетт считает, что она плохая и что она заслуживает наказания.

– Чего?

Часы на стене мирно тикали, отсчитывали минуту за минутой без Одетт в моей жизни, а меня блевать тянуло от того, что я должен буду провести без нее все оставшееся мне время, сколько Бог отвел.

– Она может к тебе вернуться. Потому что она чувствует себя

виноватой перед отцом. Плохой. Бесчувственной. Она может вернуться к тебе, и тогда она будет страдать. Так что проблема, собственно, не в том, что ты потерял ее навсегда, а в том, что если ты не хочешь сделать ее несчастной, ты должен отпустить первым. Я понятно объясняю?

Хорошо она объясняла, как хирург оперирует, так она объясняла. У меня сердце сжималось, и я словно бы лежал перед ней с грудной клеткой, расхреначенной до красного мяса.

– Так что, Борис, если любишь ее, а я верю, что по-своему ты ее любишь, дай ей испугаться по-настоящему и уйти.

Эдит налила виски и себе.

– Она – моя сестра. И я люблю ее. Совет этот поступает скорее от Эдит-сестры, чем от Эдит-друга. Но прислушайся к нему. Борис, ты живешь жизнью, которой она жить не сможет. И если вы, к примеру, создадите семью, это будет семья, в которой она погибнет. Твоя семья. Ты был счастлив в своей семье?

Ой, вопрос с подвохом, такие она любила очень.

Счастлив я был, и несчастлив – тоже был. Все оказалось бы очень просто, если бы я был только несчастлив, если б перевернул эту страницу, и книжку саму закрыл, и стал бы жить какой-нибудь другой жизнью.

Но было и столько классного, живого, что я стал плохо разбираться, у меня исчезла граница между нормальными и ненормальными вещами.

Мне, крохе, папашка очень неоднозначно объяснил, что такое хорошо и что такое плохо.

– Пятьдесят на пятьдесят, может.

В этой тесной кухоньке на меня смотрела с качественной репродукции вермееровская девушка с жемчужной сережкой, глядела пронзительными темными глазами Одетт. Жемчуг поблескивал как настоящий, чем проще эффект, чем мельче деталь, тем больше глубина воздействия, так Эдит говорила. За маленькими штучками скрывается бездна всего. Ой, а если б можно было Одетт красивую цацку подарить и все забыть.

– Примерно это я и ожидала услышать. Хочу напомнить тебе, что в четырнадцать ты сбежал из дома, потому что отец едва не разбил тебе голову.

– Ладно-ладно, я тебя понял.

Открыл я тетрадку, а там большими буквами: Kunstwollen, Ригль. И пространные цитаты на немецком – ничего не поймешь, хоть глаз выдери.

– Не отвлекайся.

Я глянул на Эдит.

– Ну что ты от меня хочешь?

– Чтобы ты понял, что ей не подходит твой отец.

– Мой отец умер.

Умер, да не совсем. Совсем умереть нельзя, как ты ни пытайся, ни одно damnatio memoriae не изымет тебя из мира.

Эдит протянула руку и легонько постучала костяшками пальцев по моей макушке.

– Живее всех живых.

Она откинулась назад, запрокинула голову, разглядывая лампочку в оранжевом плафоне.

– Но я знала, что ты полезешь в мою тетрадь. Покопайся еще. Там есть для тебя две подсказки.

– Ты что, мать твою, Джон Крамер из «Пилы»?

– Господи, я, слава богу, не ценю жизнь ни в каком виде. Листай.

Среди цитат и размышлений (разве время не является в каком-то смысле материалом искусства? и больше: разве смерть не является перформативным жестом, который формирует художника?) я нашел две распечатки, на хорошей фотобумаге (открыточки!) сверкал глянцем отлично знакомый мне брейгелевский зеленый.

Две картины, обе жутковатые и суетные. Одна была такая известная, что я даже ей обрадовался. «Вавилонская башня». Та, которая помрачнее, потемнее, да с дымком тучек.

Огромное, запущенное, заброшенное здание, которое никогда не будет завершено, никаких человечков, они уже рассеяны по земле, уже друг друга не понимают, уже стали русскими, немцами, американцами (ой, не надо мне тут, все очень условно).

Только зеленоватые тучи бегут надо всем, и глупости какие, в самом деле, собраться вместе и построить башню, чтобы пентхаус был в самом раю.

Один скелет остался, словно большое доисторическое животное умерло стоя, а вокруг какие-то корабли, домики – жизнь, одним словом, настоящая, простая, без великих стремлений.

Тоска в меня вгрызлась, злая, кусачая и холодная, как рыбина. У меня была своя вавилонская башня, я хотел построить любовь, а оказалось, что говорим мы с Одетт на разных языках. Рухнула наша башня, и раскидало нас так далеко друг от друга.

Вторая картина еще помрачнее первой была – «Калеки». Печальные безногие мужички с уродливыми протезами и уродливыми, глупыми лицами на мрачной зеленой травке – вот так вот.

Все в этой картине было таким тяжелым, трудноперевариваемым, болезненным. Человеческие кусочки, а

ведь живые, чувствующие. В московском метро мы с папашкой видели афганского ветерана без ног, у него форма была зеленая, как брейгелевская трава. У меня тогда так сердце сжалось, за что человек такое переживает?

И вот сейчас я смотрел на открытку с тем же ужасным чувством раскрытого сердца. Все это было темно и гнетуще, оно ударом по голове на меня опустилось.

Я тоже был кусочек человечка, и моя ненаглядная Одетт была кусочек человечка, и лучшая моя подруга, и лучший друг, и все мои знакомые, так-то уж.

Кусочком человечка мой отец в земле лежал.

Одно хорошо – все люди к старости от себя столько отщипнут, чтоб стать брейгелевскими калеками и так вот смотреть на мир.

А мы – уже.

Эдит сказала:

– Понял?

– Понял.

– Я люблю тебя, Борис, ты мой лучший друг, но я люблю и ее. Я хочу ей счастья.

Какое это хорошее человеческое свойство – кому-то хотеть счастья.

На мой перегоревший от кокаина, весь в черной копоти мозг слова Эдит оказывали странное влияние. Я ей безоговорочно верил, и все сказанное садилось на меня, как пыль. Кокосовый депрессняк, весь этот ужасный я, злая Эдит и рыдающая Одетт (всегда перед моими глазами) – разве мог я найти во всем этом какой-то свет?

– Ты права, – говорил я. – Ты права.

И у меня в душе была пустота и заброшенность, и ветер бродил такой страшный, густой, завывающий, от которого невозможно дышать.

– Давай, – сказала Эдит, подливая мне еще виски.

– Не могу я пить эту хероту. У тебя водки нет?

– Нет водки, я же немка.

– Ну хотя бы шнапса?

– Сегодня только англо-саксонская выпивка для Тристана, потерявшего свою Изольду.

– Иди на хуй.

– Пей-пей. Станет легче. Однажды станет легче. Со смертью эти глупости не работают, но с любовью, я уверена, все получится.

А что с человеком и случается-то, кроме смерти и любви?

Я залпом выпил весь стакан, и Эдит положила руку мне на

плечо.

Эдит спрятала от меня любимую, но, может, она поступила не только как хорошая сестра Одетт, но и как моя лучшая подруга.

Поступила правильно.

Глава 23. Кушай теперь

А одна из отцовских бабок, в смысле, сестер матери отца его, жила с таким мужиком, ни в сказке сказать ни пером описать.

Пил, бил, гулял – ничего не забывал.

Крови он ей попил прилично, да еще как-то вдарил ей, беременной, так что у нее выкидыш случился. Ну, короче, все как полагается – кровь, слизь по ногам, и она в слезах. Ира ее звали, вот, а мужик ее, по-моему, был Валера.

Детей они так после этого и не нажили.

Живешь, живешь, и вот – умирать пора, тогда и платим за все. Она была кремень-баба, дожила до девяноста пяти лет, много тайн в могилу унесла, но одну отцу моему рассказала, вроде предостерегла немножко.

– Женщины, – сказала, – они, может, всю жизнь и терпят, но умирают позже. Ты бы осторожнее с Катей своей.

У бабы Иры были пронзительные, сверкающие глаза, серые, по-старчески выцветшие и совершенно безжалостные.

Вот, значит, Валера по жизни был говно говном, хуже бати моего, так я по крайней мере по рассказу понял. Все сердце себе пропил, прогулял, а тут вот старый стал и больной, а жена пока бегает.

Ну и некому его досматривать было, родичи померли все, кто как, а он один на свете остался, наедине с девчонкой, которую когда-то обидел.

Старичок Валера был сухонький, слабенький, глаза у него все время слезились. Стал он сразу тихий-тихий.

Утром она его побоями с постели сгоняла. Он встанет, и весь день ему покоя нет, жена мимо пройдет – на ногу наступит, чаем горячим обольет; лекарства ему нужны, а она их туда положит, докуда ему пиздюхать и пиздюхать.

В общем, развлекалась она как могла, в лицо ему плевала, щипала за старческие щечки и смеялась.

Рассказывала это баба Ира и хохотала, а как смеялась, то отец описать не решился. Сказал:

– Внушительно так.

И всё.

А однажды у Валеры все кровка носом шла (привет из-под земельки, хотя много он не копал никогда, себя жалел), и она ему, ну, чтоб не сгинул, скорую вызвала и в больницу отправила. А что он там скажет? Как баба над ним издевается? Смолчал.

Вернулся, значит, он и говорит:

– Дай поесть, жена.

– Да, – сказала баба Ира. – Сейчас, ты подожди.

Взяла кастрюлю, взяла половник да налила ему в тарелку супу.

– Борщ, – говорит.

– А чем пасет, жена?

– Борщом.

И поставила перед Валерой тарелку с гнилой его кровью, водой разбавленной, да с очистками картофельными.

– Кушай теперь, – сказала.

Кто добро людям делает, тому слабым стать не страшно, не страшно довериться, он в любви живет.

А кто зла натворил, вот тот больше всех и боится немощи. Ему надеяться не на кого.

В жизни моей тоже зла всякого в достатке было, да позлее зла, чем у Валеры. В старости и у меня глаза слезиться будут, я так думаю. Ну это если она случится, конечно, если наступит.

Но откуда тебе прилетит – этого нипочем не узнаешь. Ко всему не приготовишься.

В общем, ладно, что было-то, Боря? Ты к чему это про месть шармань завел?

Сейчас расскажу.

Шла, значит, третья неделя без Одетт, все больше дождей, все больше ужасов земных. Ко всему прочему, кроме разбитого моего сердца (сам на тысячу кусков разъебал), я все время ощущал какую-то огромную каверну под землей. Она дозревала, что-то там бурлило, кипело какое-то адское варево.

Я ходил по асфальту, и мне от каждого шага эхо ее отдавалось, все вибрировало подо мной. Я знал, чувствовал, какая она была огромная, эта рана земли.

И я ощущал ее везде, я отовсюду мог определить точку, в которой она располагалась. Пусть она набухла за городом, весь Лос-Анджелес был пропитан напряжением, исходящим из темноты.

Уолтер звонил мне снова и снова, но я только посылал его на хуй.

– Могут быть человеческие жертвы, мистер Шустов.

А я сам себе был человеческая жертва, меня другие не интересовали. Часть меня, детская, отчаянная, думала: и хорошо. И пусть сгорит этот мир нахуй, и люди в нем все сгорят.

В конце концов Уолтер мне так надоел, что я перестал брать трубку. Думал: придет ко мне, уговаривать, сопли на кулак наматывать будет, мистером называть.

А он, видать, понял, в конце-то концов, звонки прекратились, в гости не приезжал.

А каверна жила, набухала, и я мог чувствовать всем собой – что-то будет.

Но в тот момент я жил своей маленькой жизнью, меня не было в большом потоке истории, и я ни во что большее, чем моя жизнь, не верил.

В тот день мы готовились к ответственному мероприятию, у нас горела хорошая сделка, много товара, чистейшего, как обещали (тут я всегда мог лжеца поймать за руку), оставалось только обменяться, так сказать. Мы ребятам чемодан бабла, а они нам – товар, который мы реализуем.

Настроение у меня не улучшилось, конечно, я страшно тосковал, но, во всяком случае, я был на нервах, это меня бодрило.

– Мужики, – сказал Алесь. – Непроверенные.

– Ну, я про них дурного не слышал, – ответил я.

– Ты слишком людям доверяешь. Может, от копов они.

– Да я не думаю, – сказал Мэрвин, закуривая. У него-то все было славно, донорской крови – хоть залейся, хотя заснуть ему, даже без кокаина, становилось все труднее и труднее. Я как-то шутканул неудачно:

– Приколись, а люди в аварии попадают, и им кровяки не хватает. Все Мэрвин попил, убийца мотоциклистов.

Так он мне чуть не врезал. Но в остальном у него все складывалось прекрасно, девчонка красивая появилась, сладенькая, с высшим образованием, с сиськами, с задницей и с итальянскими корнями, так что и пиццу, если надо, приготовить могла.

– Почему не думаешь? – спросил Алесь. Он у нас в команде отвечал за паранойю, все проверял, все перепроверял.

У Алеся-то никого не было, он все свободное время проводил не тут, частенько пропадал очень надолго. Я знал: никакой семьи у него не случится. На Алеся иногда и в работе-то рассчитывать нельзя было. Он мог впасть в кататонию, кричи не докричишься, зови не дозовешься.

С ним такое случалось, может, раз в пару месяцев, зато на несколько дней кряду. Та еще радость.

У каждой тварьки небесной свое безумие, своя пора страдать.

– Не знаю, – сказал я. – Мужики нормальные, когда мы договаривались, мне все понравилось.

– Помнишь, как оно в прошлый раз было с кубинцами?

– Неудачно вышло.

– И кокаин кубинский говно.

– Да кокаин-то был колумбийский. Эти этнические просто все на одно лицо.

Ну, знаете эти кинчики про бандитов, где все обдолбанные приезжают на сделку, а потом начинают стрелять? Короче, перед делом мы никогда не гасились, даже не пили. Чтобы потом гулять смело, необходимо для начала сделать дело, так ведь? Чтобы наступил потехе час.

Перестрелка у нас вышла только один раз, больше таких штук не случалось, но теперь мы всегда были готовы. Бдительность – лучшее оружие, это вам любой скажет, кто не только в этом, а в любом бизнесе был.

Всегда охватывал приятный мандраж: тебя потряхивает, ты готов умереть, убить, на что угодно готов ради, в самом-то деле, цели иллюзорной, будто в компьютерной игре. Товар, который еще не получен, вещь скорее абстрактная, чем реальная, главный приз в «Зарнице».

Алесь заряжал пистолет, Мэрвин варил кофе, а я пересчитывал деньги, и только Марина и Андрейка ругались про Крым. У них свадьба через полгода, а они все спорят, наш он или не наш.

– Ты не понимаешь, Андрей, – сказала Марина. – Там моя страна, там мои предки, там люди, которые говорят со мной на одном языке. Там история моей семьи, не в чужой стране, не где-то, понимаешь?

– А моих предков там что, нет, по-твоему?

– Вообще-то вы Крым и получили несправедливо!

– А вы его несправедливо вернули!

– Была историческая ошибка, и мы ее исправили. Главное люди, а не деньги. Желания людей!

Спорили они горячо, до криков.

– Боря!

О, подумал я, вот сейчас начнется.

– Что? – спросил я. – Вообще-то занимаюсь я важным делом.

Свеженькие, хорошенькие были купюрки, еще похрустывали.

– Боря, а ты что думаешь?

– Совет да любовь, счастья вам, приглашения на свадьбу рассылать в конвертах глупо, лучше по Интернету, а то прошлый век.

– Нет, про Крым! Что ты думаешь?

Я напел им веселую песенку, которая попалась мне в Интернете.

– И поэтому поймите, что не важен меда цвет, а важны любовь и дружба, доброта и солнца свет!

Там дальше, правда, было: мне вчера пришла записка «скажи всем, я не вернусь» и подпись «Советский Союз».

Так мне эта песенка в душу запала, что я специально к отцу

на могилку пошел, не дождавшись, пока он сам ко мне придет. Спел ему, значит, песенку, а он сказал:

– Заткнись-ка ты, Боря. Но песня хорошая. Но рот все равно закрой.

Сложные у него были чувства.

Ой, хорошо, когда и с мертвыми поделиться можешь.

Короче, Марина и Андрей на меня оба обиделись, обратно врубили звук на полную громкость.

– Ты не понимаешь!

– Это ты не понимаешь!

А я все понимал. Домой мне хотелось, на родину, только и всего. И чем дальше, тем острее я чувствовал это желание.

– Ладно, – сказал я, уложив бабло в чемодан. – Чтоб не спешить, заранее нужно выйти. Вы как думаете?

– Да рано еще. Может, поесть вам что-нибудь, ребята? – спросила Марина.

– Да не, пора уже. Ты пока позвони Патрику и пацанам. Сегодня вечерком могут подваливать за товаром.

Марину мы на закупку не брали никогда, была у нас определенная ответственность перед девочкой, тяжелый, значит, моральный долг был.

Она, конечно, обижалась, но все-таки не рвалась. Ой, помереть зазря никому не хочется, это и мужчине обидно, а уж тем более девочке.

– Ну, ни пуха ни пера, – сказала Марина.

– К черту, – ответили мы вразнобой.

Я поцеловал ее в щеку и вышел первым. Так-то катался на «мазерати», но я ж не дебил, чтобы на такой приметной машинке баблос или товар катать. Для дел был у меня старенький вишневый «шеви», рабочая лошадка.

Андрейка по делам ездил на таком же унылом зеленом «форде», краска с которого местами-то уже и пооблезла.

Баблишко я положил к себе.

– Алесь, ты к нам? – спросил я, когда ребята спустились.

– Ага, не могу больше слушать про Крым. В пизду Андрейку.

Между мной и Алесем навсегда осталась черта, мы ее больше не переходили. Я считал его своим другом, одним из лучших своих друзей, но была между нами (ой, сейчас, короче, будет ирония) зона отчуждения.

Я что-то не мог ему доверить, он что-то не мог доверить мне. Мы с ним были очень разные люди, но дела у нас велись удобно, отдохнуть вместе тоже могли хорошо.

Души вот у нас не сходились, но не с каждым же оно вот так – в самое сердце. А вот Мэрвин с Алесем ничего, у них дистанции

не появилось. Странное дело, мы в одну историю попали, но меня она от Алеся отвернула, а Мэрвина – нет.

Ой, ну не надо, хорошо я к нему относился, ценил по-своему. Вот только было всегда что-то, о чем мы оба умалчивали.

Очень уж у нас с ним разные были понятия о добре, о душе, о том, чем душу свою замарать можно.

Вот мы уже оба убили, в той перестрелке-то. Из нас, в общем, чистеньким только Андрейка и остался, а мы с Мэрвином и Алесем хорошо так постреляли. Но грамотно. Живы вот остались.

Ну, говорю, уже и я убил, и Мэрвин убил, казалось бы, разницы нет, а все равно было у меня ощущение, что я бы невинного человека под нож не отправил, за тысячу жизней бы не смог забрать одну.

Я в тот раз стрелял, потому что мне умереть страшно было. Только поэтому.

И такая, на самом деле, в этом штука была: это ж я, получается, за одну-единственную, жалкую свою жизнь Бори Шустова могу человека положить, а за тысячу прекрасных людей – нет?

В общем, разница между мной и Алесем на самом-то деле все-таки была, только я теперь не знал, кто из нас со знаком плюс. Неоднозначно оно получилось.

Я вел машину, глядел на дорогу, пел песенки. Мы встречались с кубинцами недалеко от Пасадены, в заброшенном коттеджике, который нашли пару лет назад почти что случайно.

– Они согласились встретиться на наших условиях, кстати говоря, – сказал я. – Это чего значит? Значит, что намерения у них чисты.

– Ты их прям защищаешь.

– Хочу оправдать в своих глазах кубинцев. Те-то еще и кокс говняный привезли, а тут чисто, мне кажется, будет. Такое у меня предчувствие. Ребят, а может, завернем на обратном пути в Пасадену? Пропустим по стаканчику.

– Ты ебнутый, сначала товар завезти надо, – сказал Алесь.

– Да слушай, а почему бы и нет? – спросил Мэрвин. – Есть что-то в этой идее. Мы правильно и всего на часочек припаркуемся. Надо было поесть все-таки. Марина всегда права, и почему мы ее не слушаем?

– Вот и я говорю! Пасадена – прелесть!

Этот крошечный, по сравнению с Лос-Анджелесом, весь выбеленный солнцем городишко я любил до безумия. Было в нем что-то европейское, может, мост, похожий на огромный римский акведук, а может, по-испански вытянутый купол ратуши, французские окна и аркады, как у палаццо, за которыми

скрывались витрины польских магазинчиков.

А какие там были рестики! Однажды мы с Одетт все выходные бродили по жарким улицам в толпе туристов и все равно задыхались от восторга и запаха цветов – глядели парад роз. Все было залито красным, будто кровью, господи, вся улица, съезжавшая вниз.

Мы остановились в симпатичном, недорогом отельчике с дурацкой неоновой розой на белоснежном фронтоне, и я встал пораньше, побродил по рассвету в поисках открытых лавок, чтобы кинуть ей на постель побольше цветов.

А во фруктовом салате Одетт попалось манго, на который у нее была аллергия, и она вся покрылась пятнами, обижалась на меня, а я смеялся над ней, что у нее щеки красные, как розы.

Мы до рассвета проболтали о какой-то удивительной чепухе, и я был счастлив, а потом пьяный нассал в бассейн и украл сэндвич из автомата.

– В высшее общество, – сказала Одетт, – тебе дорога закрыта.

Ой, да. Это уж точно.

– Кстати, как у тебя с Одетт? – спросил Алесь. Я как раз о нашей с ней Пасадене вспоминал и вздрогнул вдруг. Передо мной гладко текла прожаренная солнцем дорога, машин было мало, вокруг песок, колючки да пальмы, а вдалеке – прекрасный горный хребет. И меня вдруг все это перестало радовать, резко, неожиданно, как будто кто-то вырубил свет.

– А ты как думаешь?

– Ну, думаю, может помирились уже.

– Ты с ней помирись поди.

– А ты пробовал?

Но я не пробовал. И это, может быть, было самым моим важным любовным жестом. Лучше цветов в постель, лучше подаренных колечек с акулами и кулончиков с роботами, лучше любых выходных в любом городе.

Лучше, господи, нашего счастья было несчастье остаться одному.

– Ну, я пока не думаю об этом. Девчат много, знаешь ли. Мозг мне ебать не будет, и то славно, правда?

– Да славно, – сказал Мэрвин. – Ты, главное, сам мозгом не поедь.

Я открыл окно, прижал сигарету к прикуривателю и затянулся.

– Ой, вы-то все такие спецы по отношениям.

– Но ты правда сильно не расстраивайся, – сказал Алесь. – Она тебя не поняла бы.

– Не знаю, я вот тебя не понимаю, а у нас же с тобой хорошая

вышла дружба.

– Дружба – это не любовь, – мудро рассудил Алесь. – Тебе нужна девушка, которая будет на тебя похожа.

– А у тебя-то девушки нет, потому что ты один такой, особенная снежинка?

Алесь беззлобно засмеялся. Мэрвин сказал:

– Мужики, давайте поспокойнее.

– Да я спокоен.

– Ты, Боря, человек горячий.

– Не такой уж и горячий. Баба, видишь, недовольна, – сказал я.

– Специально ляпнул, чтоб от меня такое не услышать?

– Да заткнись ты, Алесь!

Ладно, была в нем одна очень неприятная штука. Алесь всегда говорил с одной, далекой интонацией бодхисатвы, поэтому каждая его реплика казалась весомой, философской почти.

– Что ты как девка? – спросил я. – Давай о чем-нибудь мужском лучше.

– О войне, что ли?

– О войне грустно.

Я вдруг подумал, а что бы сказал Алесь, узнай он, что я чую под землей готовую взорваться каверну и ничего с этим не делаю? Мне хорошо представился его взгляд, а вот что бы он на это ответил, я так и не смог придумать.

В конце концов, я радовался тому, что это моя маленькая крысиная тайна.

Мэрвин бы меня понял, сто пудов, но я и с ним не хотел на эту тему говорить. Рассказал одной Эдит. Долго-долго она молчала в трубку, а потом сказала:

– Это твое право, и никто не может тебя осудить.

– А ты бы как на моем месте поступила?

– Не знаю. Но это и неважно. Важно, как поступил ты. И никто не может сказать, что ты в чем-то виноват. Твои жизнь и достоинство тоже ценны.

Она, казалось, вовсе не испытала никаких эмоций, просто посчитала что-то в голове.

Мэрвин сказал:

– Слушайте, а если все же заедем в Пасадену, там есть приличные казино?

– Нет, – сказали мы с Алесем одновременно, и я обрадовался тому, что хоть в чем-то наши взгляды сходятся.

– Как думаете? – спросил я. – Пройдет-то нормально?

– Да должно бы.

Всегда мы это друг у друга спрашивали. Нервно курили и

думали, придется ли стрелять, придется ли умереть, придется ли убить.

Часть работы. Надо сказать, не самая беспонтовая. Был в этом особенный кайф.

Кому на войне слишком много крови, но немножко крови все-таки хочется, тому надо идти в бандиты.

А кому на войне слишком много смерти, но немножко смерти все-таки хочется, тому надо идти во врачи.

Мы насквозь проехали Пасадену, поглядели на белые южные домики под синим, гуашевым от жары небом. Необычная прохлада октября сменилась такой же неожиданной жарой ноября. Я с нетерпением ждал дальнейших перемен погоды. Синоптики обещали дожди и похолодание, но я им не верил.

Все вокруг было безмятежно ровным, плыло в мареве.

А как там Одетт? Вот о чем я снова подумал. Мне бы не стоило больших усилий найти ее где угодно, вернуть ее как угодно. Стоило больших усилий этого не делать.

Мэрвин болтал что-то о казино, о своей совершенно новой (ну конечно) технике, о том, что он все предусмотрел, и вот следующие шесть часов будут счастливейшими в его жизни.

– Посмотрим, – сказал я. – В зависимости от того, насколько хорошо все пройдет, я тебе поверю или нет.

– Я тебе говорю, я все посчитал. Сегодня планеты так сошлись.

– Слушай, – сказал Алесь. – У тебя планеты по-другому никогда не сходятся. Видишь казино, и они сразу выстраиваются в нужной комбинации.

– Парад планет, – засмеялся я.

– Вы будете смеяться, но парад планет крайне неудачная комбинация для игры.

– Господи боже мой, Мэрвин!

– У тебя отключается критическое мышление.

– Тебя надо полечить.

– Знаете, почему я ненавижу, когда вы собираетесь вместе? У вас нет ничего общего, кроме презрения к истине!

– Здравый смысл. Это называется «здравый смысл».

– Только так.

– Серые вы люди. Скучные, поверхностные. Вы не смотрите в глубину.

Ой, я такие глубины видел, теперь ни в жизнь на них смотреть не хочу, если честно. Мне бы все по мелководью, чтоб течением не унесло.

– Приедем скоро, – сказал я, сворачивая с шоссе на дорожку поменьше с односторонним движением. Здесь уж можно было

расслабиться, и я прибавил газу. За нами, я глянул в зеркало заднего вида, неотступно следовал зеленый «форд» Андрейки.

Доехали, а там красота неописуемая, коттедж был совсем рядом с лесом, который Анджелес. Лес Анджелес и Лос-Анджелес, понимаете?

Ой, когда нашли коттедж, так над этим ухахатывались. Значит, жили в Лос-Анджелесе, а потом уехали в лес Анджелес.

А коттеджик был хороший, небольшой, с бассейном, полным дождевой воды, дохлых насекомых и всякого мусора – никому не хотелось его чистить, мы только добавляли хлорки, маринуя все содержимое. Так что получалась такая почти светящаяся синяя жидкость, в которой плавали веточки, мотыльки и даже банка из-под «Будвайзера», появившаяся уже при нашем правлении (никто не признавался).

И сад был, только что никто за ним не ухаживал, все разрослось, одичало, под солнцем выгорело. От цветов остались одни засохшие головки, такой викторианский погребальный букет.

– С бассейном не лучше обычного? – спросил Мэрвин, пока я парковался.

– А ты все надеешься, что маленькие феи вычистили его за тебя?

– Кто тебе сказал, что я вообще планирую его чистить?

– Жребий. И, господи, как можно продолжать игнорировать факты? Ты жутко невезучий.

– Пошел ты на хуй.

– Сам ты пошел.

Алесь вышел из машины, потянулся, вдохнул побольше воздуха с жадностью человека, привыкшего к природе.

– Хорошо, – сказал он.

Припарковался Андрейка, а я втащил чемодан в дом, где было пусто и безвидно, совершенно мертво.

– Ну что, сколько там до их приезда?

– Полчаса, я думаю. Если с навигатором не запутаются.

– Да не дебилы вроде.

– Ну, хрен знает. Латиносы.

Мы стояли в доме, курили и смеялись, о чем-то разговаривали, мне дальнейшее плохо запомнилось, все очень скоро стало смазанным и сияющим.

Вроде бы Андрейка говорил:

– Не знаю, мы же не будем звать на нашу свадьбу дилеров. А больше у нас никого и нет. Что, по-домашнему, что ли, отмечать?

– Пригласи китайца из супермаркета напротив дома. Он милый чувак.

– Подарит вам ящик спэмской ветчины.

– Это мы любим.

Тут я услышал машину, Алесь и Мэрвин тоже напряглись много раньше, чем обернулся Андрейка. Мужики приехали на здоровом черном «Порше-Кайен». Долбоебы, конечно, я-то считал, что приметную машинку лучше спрятать.

В тачке они сидели чуть дольше, чем нужно было, словно проверяли нас на прочность: выйдем, нет? Но есть хорошее правило: выходить из укрытия, только когда деловые партнеры покинут машину. Я это задним умом понял, уже когда все закончилось – они подождали. Но не так долго, чтобы вызвать у меня подозрение тогда, в ту минуту. Выбрались все-таки, мы тогда тоже вышли, убедившись, что в тачке никого нет.

Их было четверо, одеты они были попроще, чем мы. Я хотел было пригласить ребят домой, обменяться, так сказать, товарчиком да разъехаться по своим делам, как тут один из них привлек мое внимание.

Я сначала не понял, чем именно, замер, завороженный.

У него было совершенно обычное, даже слишком неприметное лицо, отчетливое в смысле этничности, очень типичное. В нем ничего особенного не было, и в то же время что-то было. От него отчетливо пахло волнением, и следовало обратить внимание уже на это, но я только глядел на него во все глаза, пытаясь вспомнить, где бы мы с ним могли увидеться.

Ой господи, пара секунд промедления, а они чуть не стоили жизни другу моему.

Мужик уже выхватил пистолет, и тут до меня дошло. До этой минуты я не помнил лица чувака, которого я застрелил, совершенно не помнил – оно из памяти выветрилось. И тут все восстановилось, засияло передо мной, я разгадал сложнейшую в мире загадку и, господи, даже испытал удовольствие, как от решенной задачи.

Тот мужик, которого я убил, был очень похож на мужика, который стоял передо мной. Очень-очень. Уж кто он ему был, брат или племянник там какой-нибудь, я не знал, и мне не подвернулось случая понять.

Не последовало, знаете, речей типа «ты убил моего брата, теперь я вышибу тебе мозги, малпаридо!». Да мужик ведь и не знал, кто в его брата-свата стрелял. Свидетелей-то не осталось. Но, видать, постарался выяснить, с кем братишка дело имел, постарался выйти на нас и нас выщепить. Хорошая работа, жалко, жизнь – это не детектив и разгадку в конце не дают. Я бы не отказался услышать.

Он просто выстрелил, понимаете? У меня в это время палец

уже был на курке, но я стормознул, мне мешал образ моего убитого, он меня ранил до всякой пули.

А мужик-то и не знал, что это я его братца положил, так на него похожего. Не знал, что должен стрелять в меня, и выстрелил в Андрейку, который стоял совсем рядом со мной. На пару сантиметров ошибся адресом.

Первая пуля в Андрейку угодила, я даже не видел, куда именно. Мэрвин и Алесь уже стреляли, быстрые, правильные зверики, чувак слева смешно покачнулся и рухнул назад, а для меня мир остановился.

Вы знаете, как легко получить чужую пулю? Не надо никуда прыгать с криком «не-е-е-е-ет!», не надо демонстрировать чудеса акробатики.

Я, вопреки инстинкту, вопреки чувству, вопреки разуму просто подался вправо, заслонил его, от меня это не потребовало совершенно никаких усилий, кроме ментальных.

Да и тех было негусто, потому что, в самом-то деле, эти пули предназначались мне.

Боли я не почувствовал, мне всего-то и нужно было, что выстрелить самому. Я не с первого раза попал, меня хорошенько тряхнуло. Раз – в грудь, куда-то в центр, а два – в горло. Так я убил мужика, который был очень похож на парня, которого я тоже убил. История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой – в виде фарса. Кто это там сказал?

Ой, неважно.

Нет, я правда не почувствовал боль, не сразу.

Еще кто-то, я увидел, направил на меня пистолет, но его успел снять Алесь. Жизнь мне спас.

И я упал. Не от того, что собрался вдруг умирать, а элементарно оступился, еще и больно ударился головой о крыльцо.

Так, значит: одного убил я, другой умер еще до этого, третий вот меня хотел прикончить, а четвертый как будто всегда там валялся, кто его снял, Мэрвин или Алесь, я даже не знал.

– Боря! – крикнул Мэрвин. Я почему-то дрожал и холодел, а жара стояла для ноября просто неприличная.

Все так быстро произошло. Хотел бы я как-нибудь красиво описать, но там были сплошные «вдруг» и «моментально», никаких красот, никакого, если так вдуматься, экшена.

Знаете чего? В фильмах кажется, будто перестрелки очень красивые, потому что обычно врубают какую-нибудь музычку, есть эффекты, а у нас боженька даже не поставил джаз, под который можно умереть.

Все было по-дурацки, быстро, совсем не киношно.

Зевнуть не успеешь как следует, а уже мертвые лежат.

Я поднялся, принялся отряхиваться. Андрейка лежал, я встал над ним.

– Хера себе, – сказал я. Весь рукав рубашки у него был красный, прям мокрый. – В тачку его надо, в больницу.

Гениальная просто мысль, до сих пор собой горжусь.

И тут мне Мэрвин говорит:

– Господи, Боря, у тебя там в боку…

– Что в боку там?

Так и боль пришла. Не только в боку у меня было, еще и в руке, я ею шевелил, конечно, но как-то все было сомнительно. Жгло и горело, больше ничего не скажу. Чувствовалось это так: мне мозги отшибло, и везде было холодно, кроме тех мест, откуда кровило. Да и казалось, что это не кровь идет, а лава прям.

Я зашатался, сказал:

– Ого. Вот это да.

Андрейка сказал:

– Блядь.

– Блядь, блядь, блядь, – сказал Алесь. Все это напоминало несмешной анекдот про новых русских. А у меня так горело, господи. Я дал Андрейке руку, он поднялся, схватился за меня, весь белый.

Я словил две пульки (одна, как потом выяснилось, навылет прошла, в боку ничего не задела, между кожей и костями пролетела, прям повезло), но держался куда лучше Андрейки. Я был выносливый, ну конечно.

– Так, – сказал Алесь. – Их надо в разные больницы. С огнестрелом двоих нельзя.

– Да они же свяжутся друг с другом все равно! Копам доложат!

– Ну заплатим! – сказал я, ничего толком не соображая.

– Нет, ну почему нельзя в одну больницу?

Голос у Мэрвина был странный, интонации подпрыгивали, как мячик-прыгунок из автомата.

– Ты идиот, одного в Пасадену, другого в Эл-Эй. Борю в Пасадену, а то ему пиздец.

– Почему мне пиздец? – спросил я. – Мне совсем не пиздец.

Андрейка привалился к стене, задышал часто и сквозь зубы. А Алесь продолжал говорить так, будто нас с Андрейкой здесь не было. Будто мы умерли уже лет двадцать назад, а он только теперь решал, что с нами делать.

– Так, ладно, давай ты их отвезешь, а я с трупаками тогда разберусь. Блядь, а как? В лес их? Закапывать? Блядь, блядь! Это ж дом!

– Ну, не дом, мы все-таки тут не живем, – сказал я. – Эй, ребят!

И тут я понял, что ничего не сказал, мне это только показалось. Чем больше я терял крови, тем контуры вещей активнее размывались и все блестело в горнем, нетварном свете.

Потому и видят сияние, умирая, может только потому.

– Ты больной, Мэрвин? Ты, блядь, поехавший. Я не буду парковаться в больничке со двумя ранеными. Что я скажу? Дайте талончик на парковку и одного не забирайте, я его сдавать не намерен?

Тут я глянул на Мэрвина. Он был сам не свой, весь бледный, дрожащий. Можно было списать на страх, я поначалу о том и подумал. Мэрвин смотрел то на меня, то на Андрейку и в конце концов выпалил:

– Я с Борей!

Я-то, дурак, сначала подумал, что Мэрвин меня захотел везти, потому что я его лучший друг.

Так-то, да не так.

Андрейку потянул за собой Алесь, а я сам пошел к машине, сам сел.

– Да я в порядке.

– Пиздец, – сказал Мэрвин, пытаясь завести машину. – Ебаный пиздец. Сука.

Машина у него никак не заводилась, Мэрвин бестолково возил ключ, и в конце концов я сам его выкрутил.

– Пиздец, – повторил Мэрвин. – Его трясло.

– Да, подставили нас мужики. Ты все понял?

– Ты думаешь, это привет от тех еще?

– Ну, там один похож на того, которого я снял. Вот которого я сейчас снял, тот похож на того, которого я тогда снял, понимаешь? Неуловимый мститель.

– Ничего не понимаю, Боря. Говори на английском и не так быстро.

Я откинулся на сиденье, спинка была скользкая от моей крови. Все мешалось, все светилось, солнце вообще стало невыносимым, а двигались мы как раз ему навстречу.

– Мэрвин, поаккуратнее. У тебя раненый.

– Жаль, нельзя приклеить на машину такую наклейку. Какие, знаешь, клеят, когда ребенок в салоне. Алесь, кстати, оказался прав. Насчет этих ребят.

– Не-а. Они же не от копов.

Мы снова засмеялись, и вдруг мной овладело беспокойство.

– Слушай, не надо ни в какую больницу. Я выносливый, все могу выдержать. Не страшно. Мне совсем не страшно, я тебе

клянусь.

– В тебе две пули, – сказал Мэрвин. – Конечно, тебе надо в больницу.

А оказалось-то, что одна, но тогда этого еще никто не знал.

Я не хотел в больницу, она казалась мне страшным, пустым и чужим местом.

Иногда, а особенно в состоянии стресса, мы больше животные, чем люди. Это и обычных-то человечков касается, а уж тем более таких, как я. Вот, короче, в тот момент крысиного во мне сильно прибавилось, захотелось в убежище, в надежное гнездо, зарыться в темноту, в тепло, в великое ничто.

Я был ранен и нуждался в безопасности. К сожалению, моим древним крысиным инстинктам было совершенно невдомек, что в таких случаях куда больше безопасности предусматривает стерильная операционная.

Я глядел вокруг и ни на чем, никак не мог остановить взгляд, все искал, чем бы сердце успокоилось, а вокруг была такая пустота неописуемая, из всех вещей будто воздух выпустили.

И боль, все саднило, гремело, полыхало. Но я не терял сознания, ой господи, угораздило бы меня тогда потерять сознание, неизвестно, как бы все обернулось.

– Так, давай успокоимся, – сказал я. – Ты успокойся, и я успокоюсь.

– Блядь, Боря, тише.

Я глядел на Мэрвина. Он глубоко втягивал воздух, у него были совсем уж странные глаза, взгляд, как несущийся на тебя поезд. Это надо понимать, некрасивая метафора, конечно, но было вот так вот.

– Что? – сказал он. – Что ты на меня пялишься?!

– Я понимаю, что ты нервничаешь. Я тоже нервничаю.

– Ты истекаешь кровью!

– Ты меня что, этим попрекаешь? Я не ослышался?

– Да что за глупости, Боря?

Голос у него вот прям срывался. Нет, ну ясен хуй, это для любого стресс, перестрелки и все такое, но Мэрвин был уж слишком нервный для человека, в которого не попали ни разу.

– Ты в порядке?

– Ты тут истекаешь кровью!

– Ты имеешь в виду, что я не должен за тебя волноваться?

– Я имею в виду то, что я сказал!

Какой он был бледный, почти прозрачный прям, я видел, как на шее у него бьется и бьется синяя, самая синяя на свете венка. От того, как отхлынула у Мэрвина кровь, интенсивность синего стала почти мертвецкой.

Господи боже мой, был какой-то затаенный ужас в биении этой венки, такой непривычно яркой. Но я его еще не понимал.

– Боря, ты как? – спросил Мэрвин некоторое время спустя.

– Так себе. Отопление включи. Мне холодно.

– Жара такая.

– Тебе, может, и жара. Я завидую.

Мэрвин щелкнул рычажком, пальцы у него дрожали, словно у совсем пропитого алкоголика.

– Тебе вообще водить можно?

– Тебе, что ль, можно?

Некоторое время мы ехали молча. Мэрвин смотрел только на дорогу, пялился на солнце, за которым мы следовали. Я услышал, что он считает.

– Один, – шептал Мэрвин на польском. – Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

А потом он повторял:

– Девять, девять, девять, девять.

Девятка – его счастливое число.

И тут до меня дошло, почему Мэрвин так долго выбирал между мной и Андрейкой. Почему он выбрал меня.

Вовсе не из-за нашей с ним духовной близости, по крайней мере не только из-за нее. Мэрвин оставил Андрейку Алесю, потому что боялся перед ними запалиться.

Он терял контроль. Медленно, но верно. Самообладание его, казалось, идет вровень с ходом времени, по кусочку, по секундочке отваливается.

– Мэрвин, господи, ты ведь не…

– Нет! Помолчи! Не мешай мне смотреть!

Донорскую кровь Мэрвин пользовал без меры, вообще себя не ограничивая. И я не был уверен в том, что, если Мэрин сорвется, ему хватит того количества крови, которое я мог ему отдать.

Честно говоря, я был уверен, что не хватит.

Вот это было бы по-настоящему лоховски – пережить перестрелку и умереть от того, что твой лучший друг – вампир. Такой судьбы я себе не хотел, она меня никак не прельщала. Лучше бы уж, в таком случае, я красиво погиб, поучаствовав в последнем акте мщения, в шекспировской, блядь, трагедии.

А тут комедия прям, хоть и черная.

– Ты держаться-то можешь? – спросил я. – Ты смотри, а то на хуй пойди.

– Сам-то ты непременно справишься.

Конечно, сейчас, прямиком из моей памяти, вся эта ругань отдает тарантиновщиной, но тогда я просто старался отвлечь Мэрвина, занять его, дать ему возможность подумать над

следующей репликой вместо того, чтобы вгрызться в меня.

– У тебя в кармане есть нож?

Мэрвин засмеялся.

– Это вообще неважно, поверь мне. Пока я в адеквате, я могу решить, пользоваться мне ножом или как. Но если уж начнется, то я в тебя зубами вцеплюсь, как первобытный человек.

– Ой, хорошо, что мы это все проговорили вслух, даже легче стало.

Мэрвин засмеялся, но с горечью, как-то вообще невесело.

– Но я себя контролирую, – сказал он с определенным трудом. – Правда, контролирую. Не волнуйся. Ты мой лучший друг. Я себе не позволю.

– Уж я надеюсь, что не позволишь. У меня пушка. Я тебя застрелю.

– У меня тоже пушка. Будет дуэль.

И опять мы засмеялись. Я стал себя щупать, пытался найти раночку на боку, вот, нашел, даже пальцами туда залез, застонал, засмеялся (вспомнил о том, что девчатки же так развлекаются, пальцы в дырочки суют и тоже стонут, так по-детски этой мысли обрадовался).

Вот кто перед смертью младенец, а я был шестиклассник.

– Ты что делаешь, больной, не надо ее трогать, инфекцию занесешь!

– Да не страшно. Не страшно, я тебе говорю.

Не скажу, что я отчаялся от ужаса. Смерти боялся, разумеется, ясное дело, боялся и боли, но мне казалось, что дела у меня идут неплохо для моего положения. Я только в зеркале заднего вида подглядел, что мне так больно, я аж плачу.

– Блядь! – сказал вдруг Мэрвин. – Боря, мы тупые.

– Ты тупой, – ответил я, закрывая глаза. – А о мертвых либо хорошо, либо никак.

– Очень смешно. Ты чего на переднем сиденье сидишь? Чтобы всем светить кровавой рубашкой своей?

– Чтобы просто всем светить. Я – солнце!

Мэрвин съехал на обочину, остановил машину.

– Все, Боря, пора перебираться. Давай, пиздуй отсюда.

– Сам пиздуй, никуда я не пойду.

– Давай-давай. Не хватало еще, чтобы копы проехали. Быстрее.

Я попробовал выйти под палящее солнце, но получилось так себе, фактически я вывалился из машины. Ну ничего, ничего, правда. Солдаты ведь на войне справлялись и не с таким. А чего это Боречке на заднее сиденье никак не перебраться?

Мэрвин выскочил из машины, помог мне подняться. Я увидел

свою кровь на песке – красное на золотом.

Гриффиндор!

Одетт.

– Давай, Боря, давай, потихонечку.

– Господи боже, оставь меня здесь, иди дальше без меня.

– Ты издеваешься?

– Ну чуть-чуть совсем, думал, ты не заметишь.

Под палящим солнцем нас обоих трясло, как будто мы оказались посреди Снежногорска зимой. Без сомнения, это был один из худших моментов в моей жизни, просто кошмар.

Наконец Мэрвин усадил меня на заднее сиденье.

– Спасибо, – сказал я, но Мэрвин не шелохнулся. Конечно, я увидел его взгляд и сразу все понял. Тот самый, нечеловеческий. С таким он множество раз вцеплялся зубами в мою ладонь.

Но теперь это уже был не крошечный вампирчик Мэрвин.

– Стой-стой-стой, подожди…

Это я зря начал. Он человеческой речи, строго говоря, уже и не понимал. Бросился на меня, и я подумал – вцепится мне в шею. Сейчас это Мэрвину ничего не стоило, никаких терзаний.

Он был невероятно сильный, просто дикость какая-то, а я ослабел от потери крови. И мне нельзя было доставать пушку, его никак не припугнуть в таком состоянии, понимаете? Так что единственное, что я мог сделать, это оказаться достаточно ловким, чтобы столкнуть его с себя, выкинуть из машины. Боролись мы ожесточенно, один раз он зубами вдруг вцепился мне в щеку, слава господу, кусок не успел отгрызть.

Наконец с неимоверным трудом (пару раз я двинул его головой о потолок салона) мне удалось вытолкать Мэрвина из машины.

– Сука! – орал я, пиная его в рожу.

Он отлетел на полметра, а я захлопнул дверь и рванул на водительское место.

– Отсоси! – крикнул я, заводя машину. Мэрвин въебался в стекло, как зомби. «28 дней спустя» скорее уж, чем «Ходячие мертвецы». Повезло мне, что к тому моменту, как он догадался дернуть ручку, я уже успел надавить на газ.

Я стащил с себя окровавленный пиджак (крови на нем было недостаточно, но, может быть, этого ему хватит, чтобы никого не прикончить) и выбросил его в окно.

Господи боже мой, подумал я, может, надо было его вырубить?

Я сразу представил Мэрвина, которого забирают в психушку, а там он не может спать, чем бы его ни кололи, и только беснуется.

Ему, разумеется, ставят какой-нибудь экзотический диагноз вроде фатальной семейной бессонницы. А потом он загрызает медсестру.

Я думал остановиться, но не мог, наоборот, ехал все быстрее и быстрее, так что дорога должна была стать еще горячее под колесами моей машины.

Странное дело, я чувствовал себя нормально – адреналиновая встряска привела меня в порядок, даже боль отступила, и все вокруг стало ясным, по-нормальному контрастным.

Но соображать нормально – вот этого я не мог. Меня хватило только на то, чтобы отправить смс-ку Алесю, где вот наш Мэрвин теперь.

И я вырубил телефон.

Ехать в больницу – вот это была ужасная идея, я направлялся в надежное, темное и пустое место, какое было мне нужно больше всего на свете.

В свое гнездо.

Глава 24. Опойца

А самый младший брат папкиного отца, Костик, вот, короче, женился на человеческой женщине, все ей, конечно, рассказал, у них вообще любовь была. Уехали они, значит, после войны строить Байкало-Амурскую магистраль, там и обжились в каком-то небольшом сибирском городишке, под это дело специально возведенном.

Он по-тихому копал, от болезней стало ему тоскливо, и с горя мужик начал пить.

Был он спокойного нрава, достойный, тихий пьяница, до побоев никогда не опускался, даже не ругался громко, редко прогуливал работу.

В один такой себе день, уж точно не очень прекрасный, жена нашла его мертвым – упился до смерти метиловым спиртом, который ему кто-то из знакомых подогнал.

Все случилось уж очень неожиданно, мужичок так быстро умереть не планировал, и осталась новоиспеченная вдовушка одна-одинешенька – дети разъехались по институтам, знаний набираться (и никто из них нашей породы не уродился, надо сказать), а с родственниками мужа давно никаких контактов не было.

Костик ей, конечно, все говорил про то, что его надо будет отправить родственникам в гробу, чтобы съели его. Такая, говорил, традиция, очень важная для души моей, без этого мне там счастья не будет, горя нахлебаюсь.

Ну, пропаганда атеизма свое дело сделала, и жена Костика сочла все это опиумом для народа (пусть и такого странного, как мы, крысы), погребла его как положено, памятник поставила с серпом и молотом, написала:

«Так рано ушедшему, так долго любимому».

Только рано ушедший никуда не ушел.

У нас так: не съедят тебя, маешься пару лет, ничейной душой своей, а потом пропадаешь без следа, словно и не было тебя, ухаешь в черную яму, как в страшный сон. Ни искорки от тебя, так считается.

Но все это чудесами всякими сопровождается.

Во-первых, земелька нас просто так не принимает, если там не косточки, то она не дура, уж как-нибудь гроб-то вытолкнет, во-вторых, душа ничейного покойника, она всем видна, пока пропадом не пропадет, вот Костик людям и мерещился.

В городе прозвали его опойцой, говорили, можно увидеть, как он ночью шастает, потом под окном своим встанет и стоит,

смотрит.

Иногда Костик звал:

– Томочка! Томочка, зачем мне памятник с серпом и молотом, Томочка, мне бы только гробик до Нижневартовска доставить. Доставь, а?

Он был человек незлобивый и после смерти таковым остался. Сядет на скамейку и сидит синий.

Томочка чуть с ума не сошла, конечно, поседела вся, ночами не спала. Охуев изрядно, решила Томочка как-нибудь мужу подсобить и, под предлогом перезахоронения на малой родине, сообразила отправить гроб по адресу.

Значит, пришла на кладбище с могильщиками, с бумагой официальной, а гроб уже лежит, дожидается.

Ну, и поехал гробик в Нижневартовск. Привезли, доставили в квартиру одного оставшегося из братьев – старшего. Звали его, ну вы догадаетесь, Шустов Иван, и у него сыновей двое – Виталик и Колечка, обоим любопытно, чего там гроб приехал.

Гроб поставили, а под столом червячки белые шуруют, по всей квартире потом их еще месяца два находили.

– Вот, – сказал дед отцу моему и дяде. – Это ваш дядя, Костик. Очень хороший человек. На тебя, Колька, похож.

И открыл гроб.

Но у истории этой счастливый конец. Съели они Костика, и душа его успокоилась, место свое нашла и там отдохнула.

А мораль какая? Мораль, она в чем? Честное слово, тут даже есть жизнеутверждающая такая идея.

Мы все, живые и мертвые, составляем единую ткань мироздания, и никто нас не разлучит, так крепко мы связаны, сама смерть не отберет у нас любимых, и она бессильна.

А вроде бы высшее проявление черноты, в пику жизни жизнь забирает.

Когда я был маленьким и слушал о том, как в мир пришла смерть, пробралась сквозь разум человеческий во все сущее и отравила его, мне почему-то представлялось, что она воровала в небытие кусочки чего-то прекрасного. Высохла капля росы – тоже смерть, пусть и маленькая, исчезло из мира что-то. Бабочка сгинула – и это смерть, а красивая ведь была. И так до самых высоких материй. То ли в «Эдде», то ли в «Калевале» было такое: умирает скот, умирает друг, умирает и сам человек.

Копаешь или нет, все одно – отравлен мир.

А все-таки, разве в каком-то смысле мы не умудрились победить? Разве память – это не огромное полотно, где мы сплетаемся душами, где никто не забыт и ничто не забыто? Пусть моя память короткая, но у души, у сердца есть другая память.

Я наверняка об этом уже говорил, но тут обязательно повторю, без этого никак. Я хочу это золотыми буквами на планете Земля выжечь.

Пусть я не знаю первое дитя Матеньки, не знаю, чего ему хотелось, каким оно выросло и кем стало, но это дитя, повзрослев, воспитало своих детей и вложило в них что-то от себя, и эта крупинка, золотая песчинка вечной жизни, путешествовала многие поколения до самого меня.

Что происходит с призраками, которых больше никто не видит?

Господи боже мой, да ничего хорошего, таков наш мир, но разве не стоит держаться за него всеми силами? Делать детей и научные открытия, картины и книги – короче, быть?

Такая штука.

А я, в общем, поехал в свое гнездышко, о котором не знала ни одна живая душа.

Это была маленькая квартирка в Комптоне, где, как это обычно говорят крутые парни, даже копы ходят парами. Отличное место, чтобы затаиться. Очень крысиное.

Крыс, кстати, было достаточно. Я купил квартирку по дешевке, вроде бы хозяина пристрелили, а дочка его хотела свалить к едрене фене из этой дыры. Ну и мы славно договорились.

Я как бы тайно от своей жизни всегда чего-то такого ожидал, пусть и не был готов по-настоящему. На этой квартире я был только один раз, привез зубную щетку, пасту, мыло, бритву, ящик водки, ящик консервированных митболов (на хуя?) и ящик хлопьев для завтрака.

Ну да ладно, мог бы привезти и ящик яблок, и ящик помидоров – мне, крысе, и гнилое не впадлу есть, я бы мог с помойки питаться, только невкусно.

Еще привез аптечку, представлял, что все будет как в кино, приеду сюда с красивой девушкой (ну, по крайней мере, с Мариной), которую спасу от некоей транснациональной ОПГ, и она меня будет лечить любовью и неприкосновенным запасом обезбола и бинтов.

А ввалился я в эту квартиру сам-один, без ансамбля всякого.

На что ставка мощная была, так это на Комптон. Тут если и увидел кто мой марш-бросок от машины до подъезда, так язык себе прикусит. Никому в Комптоне не хочется связываться с бандитами, даже с белыми. Уж очень хорошо этот городок научен криминальной статистикой.

Привалившись к двери, я вдруг осознал, какие мы были тупорылые. Во-первых, Мэрвин не додумался меня перевязать, а

потом я сам не додумался себя перевязать, и я только надеялся, что хотя бы Алесь с Андрейкой спохватились.

Это в фильмах едешь в тачке и зажимаешь себе пальцами лишнюю дыру, а в жизни не зря в средней школе преподают первую помощь. Телика пересмотрят, а потом едут, значит, в красных рубашках, хлещут кровью.

Я-то выносливый, я верил, что мне ничего не будет, а вот за Андрейку волновался.

С другой стороны, этим я всегда утешался, в войну люди еще и не такие невозможные вещи совершали, перевязать-то всех раненых не успеют даже самые ловкие медсестрички.

А нам с Андрейкой вообще свезло, кровили, конечно, но не до смерти, это уж точно.

В общем, тут бы мне позвонить Алесю, сказать, где я есть, но Алесь, я знал, приедет за мной. А у меня было животное желание покоя и тишины, чтобы меня не трогали, даже (и особенно) если умирать придется.

Для начала я сполз вниз, как-то очень мягко и незаметно, пролежал на полу минут пять, и перед глазами у меня расцветали и гасли световые круги. Прекрасное зрелище, будто потолок витражный – никогда не забуду.

В квартире было пусто, пахло нежилым помещением, обеспокоенные запахом моей крови, пищали на кухне братики и сестрички.

– Тихо, – сказал я. – Все в порядке. Никому не надо волноваться. Всем опустить оружие.

Я поднял руку и посмотрел на свои пальцы. Они были в крови, и я подумал о том, что оставил жуткую метку на двери.

– Так, – сказал я. – Соберись, господи боже мой. Давай, Борька, кто, если не ты?

Ой, как мне нужна была тогда мамка, как мне нужен был папка, дядя Коля даже.

Я, шатаясь, встал. Адреналиновая вспышка, на которой я ехал сюда, угасла, и я остался наедине с фактами.

Здоровущая, вкуснющая сделка – всё. Я, возможно, тоже всё, мужик, который хотел мне отомстить, уж точно всё.

Никакой больницы, думал я, чтобы люди в дурацких белых халатах, и чтобы я перед ними был таким беззащитным, чтобы меня усыпляли – нет уж.

Сильнее всего хотелось забиться куда-нибудь под кровать, в этом было мало человеческого.

– Успокойся, – сказал я. – Успеешь.

Как я мечтал хотя бы лечь на кровать, пусть она была без постельного белья, не родная мне, но я думал о ней, словно о рае

земном.

– Так, сначала дела, а потом исполнятся все мечты. Я тебе обещаю.

Подумав, я добавил:

– Ну, кроме Одетт. Этого не будет, мужик, даже не думай.

Вот умру я, и она будет плакать, подумал я, распечалится за меня, разрыдается. Эта мысль придала мне немножко сил, я добрался до ванной, врубил свет. Подкапывало из крана, по батарее полз паук с лапками-ниточками. Американцы называют их «папочка – длинные ноги».

– Привет, – сказал я крыскам, заглянувшим ко мне. – У меня тут, как видите, проблемы.

Братишки с сестричками так и смотрели на меня, печально и понимающе.

Я открыл ящичек под раковиной, вытащил аптечку и грохнул ее об раковину.

– Сука!

Я не знал, с чего начать. Наверное, подумал я, надо вытащить пулю, потом обработать рану, потом перевязаться, а дальше все на мне заживет как на собаке (только не на собаке).

Я стащил рубашку, стал ощупывать рану на боку, чтобы убедиться – пули там нет, прошла навылет. А вот в руке была, я ее даже чувствовал, когда машину вел, когда дверь открывал, при движении в общем.

Раскрыв коробочку с красным крестом на спинке, я в нее бестолково поглядел.

Вот тупорылый.

Значит, взял пинцет, облил его антисептиком и в плоть свою полез, пулю доставать. Ох и разорался.

Кусочек металла, господи, а сколько боли. Пулю я спустил в унитаз, там, в канализации, ей суждено было потонуть от тяжести и никогда не быть найденной. Незавидная судьба.

Я себя сам обработал, сам перевязал, сам себе посильную помощь оказал и понял, что не знаю, а дальше-то чего?

Постельный режим, перевязочки, медсестрички дезабилье. А вот если ты один и в люди тебе совсем не хочется?

Углядел себя в зеркале – бледнее покойника. Кошмар, конечно.

В общем так, доковылять я еще смог с мокрой тряпкой до двери, почистил ее немножко, капельки крови подобрал с пола, стер с ящичка, с аптечки.

– Вот, – сказал я. – Теперь все прилично.

И подумал: было бы смешно, если бы я немедленно умер. Умереть не случилось, но в сон меня потянуло страшно. Рухнул я

на свою вожделенную, ненаглядную постель и совсем не ощутил, мягкая она или твердая.

Это была поверхность, на которой, после всех трудов земных, можно было лежать. И я немедленно отключился, попал в беспокойный сон, где снилось мне, что я лежу в гробу, на мягкой подушечке, а надо мной Одетт плачет и слезы ее солят мне губы.

– Не плачь, – сказал я. – Все в порядке, это не потому, что я тебя любил. Я не потому умер. Я умер, потому что у меня нет доверия к здравоохранению. Потому что я хотел побыть в темноте.

А она не глядела на меня, а только плакала и говорила:

– Бедный мой папа.

Очень я обиделся и с тем проснулся.

А дальше началось мое выздоровление.

Первым пришел дядя Коля. Это было, когда я проснулся, слопал без аппетита полпачки медовых хлопьев и пошел себя перевязывать. Я стоял идиотом, в зубах зажав бинт, когда увидел за спиной дядю Колю. Он смотрел на меня грустно, из-за кровавых подтеков под глазами, из-за синяков он напомнил мне панду.

– Давай я тебе помогу, – сказал дядя Коля.

– А ты сможешь?

– Сейчас смогу. Ты только не шевелись и мне не мешай.

Дядя Коля почесал затылок, так нелепо и так по-детски, а когда убрал руку, ладонь у него оказалась вся в густой крови.

– Но ты мне особенно не доверяй. Я умер пьяным, поэтому я всегда немножко пьяненький.

– Это, наверное, скорее хорошо.

– Виталик меня сильно любил, поэтому теперь можно мне тут быть.

Ой, великая загадка всего. Откуда они приходят, частями ли, не выдумка ли это моя, не сам ли я себя стоял перевязывал?

Не сам. Дядя Коля все делал очень старательно, иногда вздыхал.

– Как же ты себя так, господи боже мой.

Моя фразочка любимая у него на языке, а ведь умер он, когда мне четыре года было.

– Что, плохо все?

– Ну, не плохо. Но шрамы будут. Их бы зашивать.

Он был такой печальный, прям ангел, и глаза от синяков еще больше сделались.

– Боишься?

– Ничего я не боюсь.

– Смелый ты какой, и вырос ужасно. Посидеть с тобой?

– Посиди.

Я снова забрался под одеяло, меня знобило, я хотел согреться, а дядя Коля встал в углу и сказал:

– Не там ты где-то.

– В смысле, не в больнице?

– Нет. Говорю, не там ты где-то, где тебе быть надо. Не так живешь.

– Ты имеешь в виду, что я копать не хочу? Пошел ты.

– Да хрен с ним, с копанием-то. Всего не поправишь.

Взгляд у дяди Коли был спокойный, умиротворенный, упокоенный. Он глядел на меня с прощением за все мои прегрешения, сразу и оптом.

– Себя не поправишь, вот что главное.

– А уж это ты загнул. Я тебе о чем говорю? Говорю о том, что ты ничего не строишь, а разрушаешь только. В жизни надо строить. Ты зачем все разрушил?

– Ну что, Призрак прошлого Рождества? Чего ты мне покажешь? Счастливое детство? Или, может быть, меня младенцем?

– Ну что ты лепишь, Борь?

– Рождественскую песнь.

– Это что такое?

– Да Диккенс написал историйку. Я, правда, ее не читал, но мульт смотрел. Там про собак было. Про злого бульдога-бандита. Он уже после твоей смерти вышел, этот мультик. Ты не видел. А я его по видику крутил и крутил, до тошноты просто. Там была песня раскаяния, когда бульдогу мозги промывают. Очень клевая. Типа «очисть свое дело». Как бы как в ментовке дело. Понимаешь?

– Ничего я не понимаю, я же умер.

– Ну и я ничего не понимаю, я чуть не умер.

Перевернулся я на другой бок, а взгляд дяди Коли все за меня цеплялся, я его чувствовал.

– Да что? Я хочу, чтобы ты со мной побыл, не гляди только так.

– Почему ты умереть-то хочешь?

– Я? Если б я хотел, то я б сегодня воспользовался шансом. А мне жить хочется, и любить, и все такое прочее.

– Тогда почему ж ты этим всем занимаешься?

Он так и стоял в углу, где иконкам висеть бы. Я привстал, поморщившись от боли.

– Потому что такие в этом мире правила. Хочешь больших и легких денег – добро пожаловать. Потому что я много ошибок совершил, которые и привели меня к сегодняшнему дню. Потому что весело это. Устраивает тебя?

– Глупый ты.

– Ты больно умный, смотрю.

– Но человек все-таки неплохой. Раскаиваешься. Больно тебе.

А я и не знал, за что я каюсь, меня все ранило, вся жизнь – боль. Я не хотел вспоминать о своих прегрешениях, потому что как их посчитаешь, так только слезы лить.

– Странно, – сказал я. – Вот ты умер, а почему-то все равно думаешь, что можешь меня отчитывать. Я такой, какой я есть. И мне плевать, что вы все там думаете. Вот оно то, чему научили меня. Все мы здесь гости, и я уж хочу знатно покутить, прежде чем возвращаться туда, не знаю куда.

– Ладно, ладно, я понял, что хочешь.

Дядя Коля отвернулся к окну, и я освободился от взгляда его особенных, печальных глаз.

– А все-таки, – сказал он, – ты себя счастливым не сделал. Девочку ты зачем ударил?

– Не знаю я. Потому что мог. Потому что я плохой.

Испорченный. Вот каким я себя чувствовал. Мусорной банкой на свалке. Скатертью с пятном.

– Нет плохих людей, – сказал дядя Коля. – Это я точно знаю.

– Тебя, может, брат твой убил.

– Даже если убил, не со зла он.

– Это ты зла не помнишь.

Я засмеялся, а дядя Коля кротко вздохнул.

– Выпить бы. А то трубы горят.

– А тебе оно надо еще?

– В особенных случаях.

– А сегодня особенный случай?

– Твой день рожденья.

– У меня день в апреле будет, в следующем, так сказать, году.

– Это календарный, ты про него забудь. Сегодня должен был умереть, а на умер. Чудо с тобой случилось. Ты думаешь почему?

– Бог пулю отвел?

– И нечего смеяться. Потому что в тебя Матенька верит.

– А я в нее может и нет. Забавно так получилось. Трубы у тебя, значит, горят?

Я с трудом поднялся, доковылял до кухни, из-под стола поблескивали хитро бутылки с водкой, я взял одну.

– А мне можно, дядь Коль, вот ты как считаешь?

– Сегодня все тебе можно. Да и вообще, ты живучий, что тебе сделается-то?

– А Андрейке что-нибудь сделается?

– Этого никто не знает. Но за себя точно не бойся, не раны у тебя, а подарки к Новому году.

– Это уж точно, хотя я о таком в письме Деду Морозу не писал, но спасибо.

Мы сели за стол, я и мой мертвый дядя.

– Как же так вышло, – сказал дядя Коля. – Ты же добрый малый. С детства был такой ласковый, такой жалостливый.

А это и не объяснишь, как во мне два меня уживаются.

Я глянул на холодильничек, крошечный такой, отключенный от сети.

– А включить можешь?

– Ну, могу.

– А то мне наклоняться больненько. Водицу живую остудим и тебя воскресим.

Дядя Коля засмеялся.

Включили мы холодильник, он заурчал довольно, в пасть ему я сунул три бутылки водки.

– Не грусти, – сказал я дяде Коле. – За меня не надо, это уж точно. У меня все хорошо.

А дядя Коля повернулся к окну, поглядел на начатый рассвет.

Весь затылок у него в крови был, вся голова, а спереди – почти не видно.

– Ты же единственное, что от меня на земле осталось.

– Да и не от тебя даже. Что, и перед тобой у меня долги?

– Никаких долгов. Я только волнуюсь. Что ты жизнь не проживешь счастливо. Что станешь совсем жестоким. А я хочу тебе только хорошего.

– Конечно, ты ж мой квартирант.

Дядя Коля снова развернулся ко мне, мы сидели друг напротив друга, словно играли в покер.

Я сказал:

– Все хорошо, у меня и антибиотики есть. Я живучий-живучий, ты не представляешь какой.

И тут я подумал: это ж у него, наверное, дыра в башке. От чего еще крыса помрет? А за кровью дыры не было видно, волосы слиплись, потемнели, спутались.

– Это Андрейке бы в больницу, он же человек. А я что?

– Да не про больницу я. Ты все понимать не хочешь. И не про земельку. Я про то, что ты с собой сделал, как сердце себе ожесточил, как человека убил, одного, второго, как девочку свою обидел. Ты бы о душе своей думал.

– Сам о душе думай, у тебя времени, небось, навалом там.

Так я и смотрел на него волком, ой, от того, как мне мозги полощут, я уже порядком устал.

А под водочку легче пошло.

Остудили ее, разлили по чашкам, оставшимся от прошлой

хозяйки (старые вещи она все тут бросила, налегке хотела отсюда уйти).

На моей чашке обернутая в радугу Мейбл из «Гравити Фолз» махала мне рукой.

– Господи боже мой, – сказал я. – Мы с Одетт смотрели этот мульт сорок, наверное, раз.

– Это твоя девочка, да? Такая темненькая, глазастая.

– А ты подсматривал, что ль?

Мы подняли чашки, дядя Коля нетерпеливо кашлянул:

– Ну, будем.

– Не будем, дядь Коль.

– А, да, точно.

Выпили, заулыбались. Дядя Коля сказал:

– Ну, хорошо все теперь. Я уверен, дальше будет только лучше.

– Э, как тебя сразу развезло.

– Дома не выпьешь.

– Дома это где?

– Это в домовине. Где косточки лежат, там тебе и всегдашний дом. Поэтому надо гроб хороший.

– А я отцу дешевый купил.

– Ну, он не привередливый. Жаловаться точно не будет. Да и что там, кроме гроба еще дом есть – это ты.

– Я же лучше гроба?

– Лучше, уж точно. Ты лучше Виталика даже.

Мы посмеялись, капля крови скользнула с затылка дяде Коле за воротник. Пили еще, еще, дядя Коля это умел, от каждой рюмки он добрел и говорил:

– Все славно будет, не надо переживать.

Да, это правда, бояться не надо, решил я, и язык у меня развязался.

– Неправильно я живу, – сказал. – Сам знаю. Я думал, что счастлив, что у меня деньги есть, девушка, а оказалось, что так оно все ненадежно. А я любить хочу. Я в жизни хочу только любить. Мне ничего другого не надо.

– Ну ты романтик, Боря, конечно.

– Не обязательно девочку любить. Можно дело любить. Можно родину любить. Надо обязательно к чему-то такому прикоснуться, а у меня что? Я думал жизнь – это есть в Майами персик без кожицы. А оно все не часть плана. Не часть красивой истории. И мне не нравится, каким я стал. Думаешь, тебе одному не нравится? Да мне тоже. Людей губить – этого я не хотел.

– У тебя, – сказал дядя Коля, икнув, – внутренняя неудовлетворенность жизнью.

– Может, поэтому ты мне все это и говоришь. Может, я тут один сижу?

– Да, может. Но ты слушай меня, я думаю, никогда не поздно жизнь поменять. Сам я так никогда не делал, всегда довольствовался тем, что бог пошлет, всегда думал, что, в случае чего, меня Матенька пригреет, а потом в суп попал. Нечего тут думать было. Так что я тебе говорю, пока дышишь, ты не бойся, что поворачивать некуда. Перед тобой весь мир, Боря.

– Вот знаешь, что смешно: еще пара лет, и я буду такой, как ты, когда умер.

– Не смешно на самом деле.

– Ну, извини тогда.

Дядя Коля взял бутылку, налил нам обоим, взглянул на меня мертвыми глазами.

– Ты не извиняйся. Я тебя всегда буду стараться оберегать. Защищать. Ты мой любимый племянник.

– Да единственный же.

– Да, у меня альтернативы нет, это точно. Но разве я от этого меньше тебя хочу счастливым видеть? Там, за гробом, в жизни важно только счастье. А оно у каждого свое, ты попробуй угадай.

Выпили. Я сказал:

– Есть хочешь? Фрикадельки в консерве у меня тут. И хлопья.

– Давай фрикадельки. С соусом они? А макать туда нечего?

– Фрикаделькой обойдешься.

Вилка в доме оказалась только одна, и мы передавали ее друг другу. Есть и пить с мертвыми – дело особенное. Он не насыщался, ел и ел, думал, весь ящик мне смолотит.

– Мне нужен красивый жест, – сказал я. – Чтобы вырваться. Я в такой пиздец попал, мне нужно, чтобы как в кино. Искупление.

Тут отец зашел на кухню, словно всегда тут жил. Потрепал дядю Колю по волосам, перемазав руки в крови, схватил бутылку и принялся искать чашку.

– Говно у тебя, а не жизнь, я так скажу. Я-то до последнего надеялся, что кем-нибудь станешь, а ты чего? – сказал он.

– Да, бля…

– Заткнись. И не жалеешь теперь никого, а в тебе одно хорошо было, что жалостливый.

Отец вытащил чашку с ромашками, плеснул себе щедро водки и все разом выпил.

– У тебя совести ни грамма. Ты ласковый человек, но больше у тебя нет нихуя.

Он сел передо мной, я взглянул в его глаза – сосуды полопались от кашля, белков и не видно почти, все с розовиной, будто у бычка.

– Слабый ты, Борька. Ну пусть не хотел ты работать, хуй с тобой тогда, но разве это все лучше?

– Программа у нас одна, – сказал дядя Коля. – Деструктивная.

– Ой, заткнись, Коль. Ты его послушай. Газет начитался, программа деструктивная теперь у него. Коль, ты сантехник, вот и не выебывайся. Иди вон раковину почини, там кран подтекает. Я чего сказать-то думал, а? Ты ж так не хотел мною стать. Чего случилось-то теперь? Страх у тебя был, что вырастешь как я.

– А я мог вырасти не как ты?

– Ну, не вырасти, может, и не мог, хер знает, к Фрейду сходи. Но стать кем-то другим можешь еще. Эта опция только в конце – всё, а пока живи, думай. Зря тебя, что ль, не ебнули сегодня?

Отец глянул на дядю Колю, хрипло засмеялся:

– Может, и надо было ебнуть.

– Ну что ты так с ним? Твой же сын.

– А как будто твой.

– Ты откуда пришел? – спросил я. И отец опешил, от неожиданности перестал смеяться.

– Сам в свое время узнаешь, не говорят о таком, да я и не знаю теперь.

Одновременно он каким-то образом жил в гробу, где косточки лежали, жил во мне и мне являлся, а также пребывал в каком-то совсем ином, неизведанном месте, о котором и сам ничего не знал, как только тут оказывался.

– Да мы и не об этом. Откуда я пришел, ты там тоже будешь. А пока голову-то включи.

Отец постучал дядю Колю по голове.

– Больно же, Виталик, я так умер.

– Ну ты терпи, чего.

Выпили еще, отец сказал:

– Музыку бы включить. Вот я об одном жалею, что в Афган не допросился. Я хотел делать великие вещи.

– Ты и делал, – неохотно признал я. Теперь-то, когда все мертвы, кроме меня, можно было об этом вслух говорить.

– Мне за это о́рдена не дали, медали не дали. А так бы остался орден или медаль.

Отец выхватил у меня из рук вилку, насадил на нее митбол, откусил половину.

– Ты, Борька, живешь как скотина. Ты думаешь, я тебе не хочу лучшей доли?

– Да я проебал уже все.

– Ну, проебал немного. Так заповедь одна: человеком будь хорошим.

– Десять заповедей, Виталик, я так помню.

– Ты не коммунист прям, – оскалился отец, зубы у него казались длинными, жуткими оттого, что с трудом держались в воспаленных деснах.

– Я и партбилет выбросил. Но вообще по существу, Борь, я с Виталиком согласен. Ты просто с пути сбился. Это бывает. Это нормально. Все ошибаются, отчего б не ошибиться-то. Не страшно это.

– Да я человека убил.

– Вот это пиздец, – сказал отец. Я заметил у него на рубашке комки земли, он их раздраженно стряхивал. – Но что теперь делать-то? Себя, что ль, на этом тоже порешить? Не убил бы, так помер бы. Ты убил, чтобы жить? Вот и живи.

– Это враг был, – сказал я. Мысль была успокаивающая.

– Человек это был, – сказал дядя Коля. – Ты из этого исходи. Но он бы тебя первый, это правда.

Отец сказал:

– Борька, у тебя кровит.

И мы пошли в ванную перевязываться, благодаря поддержке дяди Коли все прошло более чем сносно.

Неделю я не трезвел, мы бухали как скоты, пели, говорили обо всем на свете, и я почувствовал, что не один, не сам по себе, но в то же время в жизни у меня открылась бездна, рана незаживающая.

Все время живо вспомнилось, как Модести говорила, что мы с ней страшно искалечены.

Но как мне стать целым, вот что было неясно. Куда мне было податься, чтобы меня собрали?

Понимаете, такая черная бездна передо мной разверзлась, и оказалось, что я лечу туда уже очень давно. Мне надо было к солнцу, выползать на свет, а вокруг не было ничего.

Я любил Одетт, но где там выход?

Я любил людей, но где там выход?

Мне было очень хорошо и одновременно очень плохо. В сердце моем играли две мелодии, одна накрывала другую, получалось в итоге странно. Папка и дядя Коля не спали, вставал я, а они на кухне пьют, ложился – пьют, все пьют.

Голова у меня всякий раз трещала с похмелья, и отец мне заботливо наливал.

– На, на. Ты думай. Ты здесь для этого, чтобы подумать.

А они говорили про московские театры и про то, как земля от дождя сыра и в ней жарко становится, душно. Говорили про жизнь, говорили про смерть. Я никогда прежде столько не болтал, а уж я был поговорить любитель и охотник.

Иногда я рыдал не пойми от чего (хотя был простреленный

дважды убийца, что уж там), и отец брезгливо отворачивался от меня.

– Подотри слезки, слюнявчик.

А дядя Коля милостиво хлопал меня по плечу.

– Ну, ну, всякий хочет прожить жизнь правильно, но она же не уравнение, не пример. Ты выпей свою таблеточку. Тебе надо их вовремя принимать, а то рана гноиться будет.

– Да переживет он, что ты его нянькаешь? Борька, думай.

Но мне ничего не придумывалось, я нажирался вусмерть и говорил, меня было не остановить. Вот такое, к примеру, говорил:

– Вы знаете, вот о чем я много думаю, о Страшном суде. Это ужас что такое. Мне Эдит рассказывала, будто считается, что все там будут во цвете лет, так сказать, не молодые, не старые. Лет этак тридцати. Вот мне почти тридцать сейчас. Это что же, я таким предстану перед Господом однажды? А у меня останутся вообще человеческие чувства? Будем там, словно на экзамене, или все станет по-особому? Я хотел бы проникнуться, но никак не могу. Мне двадцатый век все испортил. Там все будут без одежды. И как бы вот я представляю, что я обнаженный и вокруг много других голых людей. О чем я думаю? О концлагере. Такую красивую мне историю испортил этот ужасный двадцатый век. Я не могу поверить в прощение. Я бы к себе не был милосердный. А вот вдруг Бог придет, а мы тут расшалились.

И я плакал, плакал, плакал, думая о мужиках, которых убил, о детях их, и о матерях.

Отец ответил:

– Ну, может, там и не будет ничего.

– Ты же оттуда.

– Кто меня знает, откуда я. Может, я одна только искорка, а вечность, она в темноте проходит.

– Но я думаю, там хорошо, – быстро сказал дядя Коля.

– И мертвые ничего не знают.

– Мертвым оно уже все равно, ты просто поверь.

Мы выпили еще, пахло водкой и землей. Я сказал:

– От всего отрекся, думал что-то найти. А вдруг не надо было?

– Да хватит тебе пиздострадать уже, – сказал отец. Он и дядя Коля глядели на меня. Лица у них были совсем мертвые – с живыми их не спутать.

– Сейчас у тебя темный час, – сказал дядя Коля. – Но мы не хотим, чтобы ты работал или не работал, был тем или другим. Мы хотим, чтобы у тебя все сложилось правильно.

– Ага, – сказал вдруг отец, пусть и очень неохотно. – Ты дурак, конечно, но я тебя отпускаю. Нахуя ты нужен-то?

Я налил себе еще водки.

– А, может, честно торговать? Я торговать люблю, в этом ошибки нет. Может, бизнесом заняться? Позаканчивать дела, и на спокойную работу?

Но подробно думать мне об этом было некогда, все происходило в пьяном угаре, слишком быстро оно менялось, сверкнуло что-то и исчезло, вот я в черноте и болен, а вот уже хохочу.

Лампочка на потолке горела с вечера и до самого рассвета, я не хотел погружаться в темноту. Это были мои мертвые, но в ночи, безо всякого источника света, я не знал, останутся ли они моими – все было особенным.

– Такое бывает раз в жизни, – сказал отец. – Когда очень тяжело.

– У меня вот вообще так не было, – сказал дядя Коля.

– Да ты жил легко, чего ты.

– И умер легко.

– Хоть это в смерти хорошо, что можно мало помучиться.

Пили, пели, смеялись, плакали, я еще блевал, а им все нипочем (некоторые плюсы того, чтобы быть мертвым). Как будто еще одну жизнь прожил на тесной, темной кухоньке, освещенной только голой лампочкой.

А потом пришла мамка.

Она вошла, вся в белом, словно в день их с папкой свадьбы, села за стол молча, бледная, с мокрыми волосами, глянула на меня прекрасными глазами и некоторое время молчала.

Это было особенное, сияющее молчание, меня озарило всем светом этого мира, окутало каким-то ощущением правильности происходящего, его необратимости и в то же время утвердительной силы.

Мамка смотрела с любовью, в глазах у нее (сухих, без блеска) была такая жизнь, такое торжество бытия над небытием, такая любовь ко мне, наконец, что я опешил. Мамка, как ангел, улыбнулась мне, сердце у меня екнуло, чуть не остановилось.

Я снова поверил в любовь и счастье, и в то, что я буду прощен, что где-то внутри у меня есть тяга к добру, к какому-то свету, к запредельному солнцу надо всеми нами.

Мамка улыбнулась так и сказала:

– Налей-ка мне выпить, сынок.

И я налил.

Она была особенной, в ней спрятался кусочек еще кого-то, кто любит меня, может, то была Матенька, а может, кто-то другой, бесконечно хороший и очень правильный. Само его существование было огромной надеждой.

– Не бойся, Боречка, малыш, – сказала мамка. Отец и дядя Коля почтительно молчали, она обращалась только ко мне. – Я всегда тебя очень любила. В тебе осталось от нас с папой много любви. А она может все. Разве это не так, Виталик?

Отец только кивнул. Мамка смотрела на одного меня, словно я был единственным в комнате видимым объектом. Или не в комнате, ну ее, комнату, – во Вселенной.

– Ты просто об этом забыл, – ласково сказала она, наливая себе еще водки. – Ты забыл, что тебя так любят. Потому что человек, который помнит об этом, никогда не потеряется.

– А чего теперь?

– Теперь вспомни, – сказала она, подалась вперед, и угол стола должен был больно упереться ей в живот, да только она больше ничего не чувствовала.

Да, в общем, подалась она вперед и поцеловала меня в лоб.

И я понял, что слезы у меня текут, как у маленького, много в жизни плакал, но не так. Такого у меня не было с шести лет, с самой ее смерти.

Эти слезы были не о гибели, не о мучениях, не об ужасах, а о какой-то огромной, непонятной, непознанной и прекрасной любви. Впервые за долгое время моей жизни я плакал от счастья, хотя, казалось бы, ну где там счастье, сидишь перевязанный, бухаешь – и то с мертвецами.

И мне открылся тот самый мир, над которым тьма не имеет власти, над которым вообще ничто не властно, ни я, ни кто-либо другой, ни математика, ни вера, ни даже время.

Я упал перед ней на пол (ой, ну чтоб не пиздеть, отчасти я пьяный был сильно, а отчасти, конечно, впечатленный) и уткнулся носом в ее колени, в ткань платья, пахнущего влажной землей.

Мамка положила руку мне на голову и гладила, гладила, а я все плакал.

– Пиздец, Боря, – сказал отец. – Просто пиздец, ну ты вообще.

А я не думал, что я там вообще. Я думал, что мамино платье пахнет не только могилой, но и дождем в лесу, и что земля, она везде одна и та же, хочешь – жри ее, раскаиваясь, хочешь – ходи по ней, улыбаясь.

Мамино платье пахло вспаханным полем и полем смерти.

Пахло кладбищем и садом.

Оно пахло миром.

А я думал, это только смерть. У меня было представление, будто все это одна лишь смерть. Мир не самая справедливая штука, но разве мы ему не под стать? Если уж прощать мир, то прощать надо и самих себя, наоборот, впрочем, тоже.

– Я люблю тебя, Боречка, – сказала мамка. – Когда ты у меня родился, я так плакала от счастья, я все-все в жизни сразу поняла. Потом, конечно, многое забылось, уже когда из роддома с тобой приехали. Но оно ведь того стоило. Вот ты взрослый, сильный мужчина, а был у меня на руках комочек маленький. Это такое чудо.

Она говорила о том, что мамка чувствует к ребенку, это да, но в то же время не об этом. Говорила о любви музыканта к симфонии и математика к уравнению. Говорила о любовниках. Говорила о чувстве отца к Рембрандту. О том, что доступно каждому и на всяком языке.

А я уже забыл, как оно все просто, как мало, если присмотреться, у счастья загадок.

Мамка сказала:

– Давай, Боря, будем пить и гулять. Мы пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми. Иногда потерпеть надо, но это ничего.

Мы пили еще вчетвером, мама пела красивым, дурманным голосом. Я знал, что, может быть, никогда больше не увижу их такими настоящими, но не грустил об этом.

Все уйдет, чего уж там, надо наслаждаться тем, что случилось, а после памятью об этом, и нечего вечностью всякой там упиваться.

Мне открылась мудрость, которая, может быть, открывается любому после запоя, но не каждый в силах ее запомнить и высказать.

Я уснул, слушая их разговоры, как будто был маленьким-маленьким, как будто переместился во времени туда, где был жив еще даже дядя Коля.

Туда, где я еще ничего не терял.

– Что, Колька, смелости не хватает?

– Да хватает мне смелости.

– Что ты к нему привязался, Виталик? Оставь его.

– А ты не лезь, без тебя разберусь.

– Ну вот, началось, вяжите Виталика.

А я дремал, дремал и не знал, сколько мне лет.

Очнулся я утром, отчего-то на кровати, хотя мне помнилось, что засыпал я на полу. Голосов на кухне не было слышно, и еще ощущение от квартиры такое характерное, пустоватое. Знаете, так бывает, когда гости ушли, и вот ты сам по себе, вдруг, внезапно, никогда к этому не подготовишься.

Бок болел и рука болела, но все было как-то терпимо, не страшно. Всё Матенькины дары – на мне без проблем заживали даже такие раны.

Голова, во всяком случае, болела сильней, да намного.

Походил я по дому призраком, поскользил тенью, пошел рот прополоскал от похмельной горечи, поискал, чего бы выпить. В единственной не опорожненной полностью бутылке водки оставалось на пальчик.

Выпил, конечно, и не жаловался, а куда деваться.

С аппетитом я погрыз хлопьев, поел фрикаделек. Потом поискал еще чего-нибудь на зуб накинуть, но нашел только древнюю шоколадку под кроватью, тоже явно оставленную прошлой владелицей, на мое счастье.

Я вернулся в кровать с еще одной банкой митболов в томатном соусе, улегся под старый плед и врубил телик.

Показывали «Властелин колец», я под него заснул, и мне приснилась Одетт, которая спрашивала, хорошо ли я себя чувствую.

– Хорошо, – говорил я. – Хорошо, Одетт. Я переполнен любовью. Во мне столько всего. Я – настоящий человек, я как все люди, я прекрасен все равно! Ничего не страшно, все поправимо! Будем жить!

– Да? – сказала она. – Не знаю. Новый штамм вируса, уже успевший прославиться как грипп «Калифорния», распространяется по Западному побережью Соединенных Штатов Америки. Вирус характеризуется высоким уровнем заболеваемости, смертность в данный момент составляет три процента. В настоящее время уже известно, что это реассортантный вирус, крайне устойчивый к лечению. Зарегистрированы первые случаи летального исхода в связи с осложнениями, однако врачи предупреждают население об опасности паники. Грипп «Калифорния», несмотря на новизну штамма, по прогнозам ученых, не намного превышает по летальности обыкновенный грипп. Вызывает опасения, однако, контагиозность заболевания, в данный момент тридцать пять стран сообщили о лабораторно подтвержденных случаях заражения этим вирусом. Ведение статистики, однако, осложняется проблемами с…

Я вскочил, открыл глаза. На CNN (видать, уснув, я локтем нажал на пульт) рыжая девчонка с серьезным лицом вещала о новом штамме гриппа. На картинке справа от нее был нарисован мультяшный серфингист в темных очках и медицинской маске.

– Вирусная пневмония является самым частым осложнением, которое дает грипп «Калифорния», поэтому заболевшим настоятельно рекомендуется лечиться в стационарных условиях. Может последовать резкое ухудшение состояния, при котором необходима будет неотложная медицинская помощь.

Я так и сидел, раскрыв рот, пока рыженькая перечисляла всем

известные средства профилактики, которые списком появлялись под красной с белыми косточками плотью логотипа CNN.

Господи боже мой, каверна прорвалась.

И я был уверен, что грипп «Калифорния», пусть даже и чуть более жуткий, чем сезонный, далеко не единственное, что в ней спрятано.

Глава 25. Чокнуться можно

А другая мамкина тетка отличалась дурным нравом, ни одного не было родича, который бы с ней не поссорился. Она жила под Гомелем и работала кассиршей на какой-то крошечной, едва ли отмеченной на карте станции. Звали ее Люся. Люся курила как паровоз сигареты «Дымок», пила как скотина и всех вокруг решительно посылала на хуй.

Обыкновенная провинциальная хабалка, в ней ничего такого не было, чтобы остановить взгляд – толстеющая тетенька с крашенными под вино волосами, в турецком сарафанчике и сандалиях с гомельского рынка.

Была в ней какая-то глубокая неудовлетворенность миром, экзистенциальная потребность его переделать, поэтому она орала на молодежь, отчитывала старушек с большими баулами и по каждому поводу грозилась вызвать ментов.

Никто ее не устраивал, ни блядищи, ни серые мышки, ни бандиты, ни интеллигенты. Люся ненавидела всех, и на энергии этой ненависти она вставала по утрам и шла заваривать свой «Нескафе», который ненавидела не меньше всего остального.

Жизнь у нее как-то решительно не удалась, дочка уехала в Москву, сын подался в Прагу, мужа она схоронила рано, хотя никогда из-за этого всего не переживала:

– Туда ему, суке, и дорога. И чтоб эти там тоже в своих Москвах и Прагах передохли.

В общем, так бы и жить ей, паскуде, на белом свете без любви и без печали, как тут по телику она увидела репортаж о мелкой девчонке с лейкозом (ну, как всегда, просьбы помочь, деньгами или чем там).

Тут впервые это жесткое, неуютное сердце подосжалось, Люся поискала мобильный, перевела немножко белорусских рублей и с чувством выполненного долга легла спать.

Но девочка не шла у нее из головы. Такие ангельские глазки и такое тельце, в чем только душа держится. Тетя Люся, казалось, повидавшая на провинциальной станции многое, если не все, вдруг стала плакать по ночам.

– Чокнуться можно, – ворчала она. – Кто так сделал, чтобы маленькие дети умирали?

Каждый день ей снилась девочка Олечка с ангельскими глазками и говорила:

– Почему, тетя Люся, мне нужно умереть?

А тетя Люся все пересылала ей денюжку за денюжкой, на лечение, на то, чтоб ребенок жил и радовался, и солнце видел,

как она говорила.

Тетя Люся сама не ожидала такого подвоха от своего сердца. У нее в голове не укладывалось, как так: девочка Олечка есть, и ее вдруг может не быть, она ляжет в гроб, неподвижная, опустевшая раньше времени.

– Нет, – сказала тетя Люся. – Я должна это остановить.

Наверное, она и вправду немножко сошла с ума, но разве это не здо́рово, сойти с ума в таком хорошем смысле?

Тетя Люся приехала в Гомель, купила в «Детском мире» большую, говорящую куклу и нашла больницу, где лежала девочка Олечка.

– Привет, – сказала Олечка, а тетя Люся смутилась, пожала плечами.

– Видела тут тебя по телевизору.

Добрых слов она никогда не говорила, ей было тяжело.

– По телевизору, значит, видела. Вот, держи куклу.

Олечка взяла куклу и улыбнулась.

– Спасибо.

– Вот тебе это дерьмо болтают, небось, – сказала тетя Люся. – Помрешь, на небо отправишься, будешь там летать и цветы собирать. Это все чушь собачья. Ты должна жить.

И тетя Люся пошла говорить с врачами и раздавать взятки, которые никто не хотел брать. Каждый день она приходила к девочке Олечке, приносила подарки, гуляла с ней по территории больницы и слушала ее нехитрые, детские истории. С бабушкой Олечки они стали настоящими подругами и один раз даже выкрали девочку Олечку, чтобы сводить ее в парк аттракционов.

Что, думаете, время слезы глотать?

Тетя Люся вместе с Олиной бабушкой искала донора костного мозга.

– Усремся, но найдем, – говорила она. Нашли Олиного единокровного брата (родители девочки Олечки погибли, когда она была совсем маленькой), уговорили его и спасли ребенка.

Об этом нам тетя Люся рассказала, позвонила в самый Лос-Анджелес.

– Извини, Виталя, что я тебя выблядком называла. И сын у Катьки хороший.

– Ты откуда номер взяла?

Так мы и не поняли, у кого из родичей она папин мобильный узнала, но это было и неважно. Даже отец не стал ее, такую просветленную, посылать с этой историей.

– Красиво, Люся, – сказал он. – И как Олечка?

– Ой, не спрашивай. Огонь-девка, хочет заниматься карате.

– В тебя вся.

Вот так вот. Мне и самому иногда интересно, как там девочка Олечка.

И мне хочется, чтобы у каждого когда-нибудь появилась своя девочка Олечка. Вот это надо успеть прежде, чем в гроб лечь придется. Пусть даже девочка Олечка будет не девочкой, и не Олечкой, и не живым существом совсем, да чем угодно, но пусть заденет сердце.

Вот я тогда сидел и слушал, переполненный любовью и страхом, последние новости о гриппе «Калифорния», и вдруг весь мир стал моей девочкой Олечкой.

Еще пару недель назад я так легко мог от этого откреститься, сказать:

– Тут у кого какая доля.

Или:

– Я погибну, и мир погибнет.

А сейчас язык не поворачивался такое ляпнуть, да и некому было.

Вот так, в недобрый час я телик-то включил. Лучше бы книжку почитал. Эх, была бы книжка.

Я уже представлял, как настоящая эпидемия (что там какой-то грипп «Калифорния», не хотите устойчивую к антибиотикам чуму «Лос-Анджелес»?) выкосит четверть мира. Я представлял мою Одетт, умирающую в больнице. Моих друзей. Совсем незнакомых мне, но неплохих людей.

Нет, тут меня надо понять правильно. Я не решил, что могу умереть за это все. Я хотел жить и знать, что моя Одетт тоже проживет свою долгую жизнь, знать, что мои друзья не обречены на страдания.

Я не чувствовал вины, я освободился от всего, во мне была только любовь, и эта любовь не требовала жертвы, правда.

И я не стал рыцарем без страха и упрека, не набрал сразу же Уолтера, не предложил свою помощь немедленно. Я все еще оставался собой, но что-то сдвинулось. В мире, может, и не было вещей больше и роднее, чем я себе сам, но разве меня не окружало множество прекрасных, живых людей?

Хотел бы я их смерти? Нет. Мог ли я рискнуть ради их жизни? Возможно.

Я не хотел умирать за кого-то, я хотел жить вместе с кем-то. Сохранить мир таким, каким он мне нравился.

– Блядь, – сказал я. – Сука, ну что ты лепишь?

– На данный момент это все новости, касающиеся прорыва гриппа «Калифорния».

– Слава богу.

Девушка скорчила серьезное личико, но как только картинка

сменилась, тут же заулыбалась.

– А тем временем в Техасе на ежегодной ярмарке зарегистрирована самая большая корова, она весит…

– Заткнись, – сказал я, выключив телевизор.

Я закурил, пощупал бинт на боку, потом бинт на руке. Если на то пошло, у меня в наличии имелись уважительные причины (аж две!) для того, чтобы никак в закрытии каверны не участвовать.

Было и несколько аргументов поменьше:

1. Справятся без меня.

2. Наверняка работы уже начались.

3. Я ничем не помогу, только костьми лягу за просто так, слишком уж мало я занимался крысиной работой.

4. Кому судьба умереть – тот все равно умрет, не от болезни сгинет, так от печали в любви с крыши кинется.

Но, если вдуматься, все это были такие глупости.

– Ладно, – сказал я. – Прошвырнусь, прочищу мозги.

В доме густо пахло перегаром, на митболы я больше смотреть не мог, и мне необходим был кофе.

За окном шел лютый ливень, аномальная жара снова сменилась аномальным холодом. За пеленой дождя все потерялось, казалось, пейзаж с равным успехом может быть моим, собственным и каким-то чужим, первобытным, обреченным на всемирный потоп.

Пальто бы мне, конечно, пригодилось. Отличные условия для гриппа «Калифорния». Когда он появился, этот первый привет из каверны, если заговорили о нем только сейчас?

У меня не было ответов на многие и многие вопросы, но я себя любил, я себя за все простил, и я знал, что если я буду что-то с этим делать, то не по принуждению, не по насилию себя над собой. Я не выиграю, это было понятно, медаль или машину, жертвуя своим здоровьем. Но я мог получить другое, много лучше – целый мир, который я любил.

Я не стал лучше понимать отца, умирать за что-либо, даже за самое прекрасное в жизни, мне не хотелось, я не чувствовал этой вечной тяги запечатлеть себя в вечности самопожертвованием.

Но, если от новой чумы умрет моя Одетт, или моя Эдит, или моя Марина, не потеряет ли все свой вкус? Мир не стоит смерти, это уж точно, а риска?

Ой, я задавал себе вопрос за вопросом, пытаясь втиснуться в застиранную моей мертвой мамкой рубашку.

На улице я тут же вымок до самых бинтов. Редкие машины заставляли воды моря расступиться и торопливо проезжали мимо. Дальше вытянутой моей руки мир был в тумане, запеленутый в

дождь, он представлял собой море возможностей.

Хочешь – уйди, а хочешь – останься. Может, не такой уж я был эгоист. Разве не разбивались все мои «не хочу умирать» о любовь?

Я добежал до первого попавшегося ларька, оказался под жестяной крышей, в которую барабанил и барабанил бешеный дождь, и взял фалафель у приветливого араба.

– Погода на улице – кошмар, – сказал он, протягивая мне пластиковую тарелку с нутовыми шариками.

– Да ужас просто. А кофе есть?

– Хороший кофе. Сейчас сделаю.

Хотел я ему смерти? Не хотел.

– До вечера бы хоть прекратился.

– Вам тут хорошо, а мне сейчас обратно идти.

– Да заходи ты, у меня еще на одного места хватит, посидишь, поешь.

Внутри ларька было тесно, душно от влаги и вкусно пахло мясом и специями. Араба звали Сулим, и был он не араб вовсе, а азербайджанец, дочек у него, значит, три, и одна совсем от рук отбилась, учиться не хочет. Сулим все подливал мне кофе, а я говорил:

– Хорошие девочки. Хорошие.

Хотел я им смерти? Не хотел.

От картонного стаканчика шел пар, он грел мне нос. Я чуточку пообсох, хотел заплатить за бесчисленные повторы кофейка, но Сулим замахал руками.

– Что ты, забудь. В такую погоду человек человеку должен помогать.

Попал, бля, в самый нерв моего внутреннего монолога. Я аж опешил.

– А в другую? – спросил я.

– Ну, помогать лучше всегда, но в другую погоду я бы тебя поесть сюда не пустил, кофе бы тебе не наливал. Чего тебе в сухом-то на улице не постоять, и на что тебе кофе, если не простудишься? Грипп ходит, слышал?

– Только сегодня услышал. Болел.

Я быстро замахал руками.

– Не гриппом. Просто болел. От людей отвык.

Сулим засмеялся:

– Я уж понял. А то бы знал, небось, если тем гриппом. Осторожнее будь.

– Ага. Спасибо. Счастья тебе и всего хорошего. Чтоб дочка за ум взялась.

Расстались мы добрыми друзьями.

То и дело раздвигая бесконечную занавеску дождя, я почти вслепую добрался до телефона-автомата, поискал в кармане четвертак. На стекле кабинки подростки маркером написали «звезды гетто».

Я набрал номер Эдит.

– Привет. Извини, не хочу включать мобильный.

– Борис, – сказала она, вздохнув. В голосе ее слышалась легенькая тень облегчения, едва крылом коснулась и исчезла. – Все вокруг тебя ищут.

– Уж я надеюсь.

О моем маленьком гнезде никто не знал. На то оно и было тайное. Значит, тест-драйв пройден. Успешно я затаился.

– Где ты был?

– В гнезде. У меня было беспокойство, мне не хотелось в больницу.

– Ты мог умереть.

– Это вряд ли.

Такие у нас с Эдит всегда получались отмороженные разговоры, прелесть просто.

Я спросил:

– Мэрвин и Андрейка в порядке?

– Да. Я позвоню Мэрвину?

– Нет. Мне нужно с тобой поговорить. Очень.

– Тогда приезжай. Я могу тебе чем-нибудь помочь?

– Оплатишь мне такси? А то у меня, кажется, бумажник промок.

– Хорошо. Я тебя жду.

Но мне повезло, купюрки оказались сухонькие. В такси я в основном спал, а когда просыпался, то думал, не расскажет ли Эдит все Мэрвину и остальным.

Если уж я собирался звонить Уолтеру (а этого я точно еще не знал), мне не нужны были всякие там Мэрвины, которые будут меня отговаривать. А как он вообще? Не чокнулся там?

Эдит стояла на крыльце, вокруг нее вился густой сигаретный дым, ее обрамляла яркая, влажная зелень сада.

– Борис, – сказала она, затушив сигарету, и вышла ко мне навстречу прямо под дождь.

Я обнял ее, и Эдит погладила меня по плечу.

– Борис, я очень волновалась.

– Я вижу.

– И говорю об этом совершенно серьезно, – продолжила Эдит, не обратив на мои слова ни малейшего внимания. – Более того, я догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить.

– Правда?

– Я тоже смотрю новости.

Эдит привела меня в дом, и я с радостью увидел знакомую кухню, знакомую лестницу.

– Одетт тут?

– Нет, конечно.

– Стоило попытаться.

– Безусловно, стоило.

Я взял сигарету из пачки Эдит, закурил.

– Я сделаю чай, и пойдем в комнату, – сказала Эдит. – Ты мне все расскажешь. Борис, ты уверен, что тебе не нужна медицинская помощь?

– Уверен, правда-правда не нужна. Только твоя личная.

Эдит заварила чай с бергамотом и вручила мне серебряный поднос, явно проживающий в ее семье не первое столетие.

– В мою комнату. – Она махнула рукой.

– В твоего дворецкого стреляли, Эдит.

– Как в детективе.

В ее комнате мягко пахло кремом для рук и сухо – книгами. Черные шторы были задернуты, темноту располовинивала только крохотная щелочка между ними. Словно молния, расстегнувшаяся на трупном мешке.

Эдит щелкнула выключателем. Ой, вы знаете, этот электрический свет в пасмурный день, синоним уюта, победа над депрессией природы.

Чего хотелось? Как в старые добрые времена забраться на кровать с ногами и почитать. В этом доме всегда было так тихо и просторно, как в фильме.

Я умел тут успокоиться, приложиться лбом к какой-то вечной тишине склепа. Поставил, значит, поднос на тумбочку, и Эдит тут же взяла чашку.

Она сказала:

– Итак, твоя проблема заключается не в том, что тебя два раза подстрелили?

– Нет. Удивительно, правда?

– Да. В таком случае, ты меня заинтриговал.

Эдит отпила бергамотовый чай, села на кровать и похлопала ладонью по месту рядом с собой.

Я сел и тут же почувствовал себя ребенком, словно кровать была заколдованной.

На подушке лежала старая книжка на немецком языке. Какие-то сказки, должно быть, или детские истории. Я взял ее в руки, она поразила меня тканевой шершавостью, сейчас таких книжек уже не делают, все они гладкие, глянцевые.

Эдит сказала:

– Это мне досталось от бабушки. Ее книжка.

Я повертел ее в руках, полистал. Судя по всему, история была о жизни человекоподобных котов в большом, красивом доме, похожем на нынешний дом Эдит. Всюду книжные полки, уютные подоконники, свечки и картины. Эстетское место, где закупорено прошлое. Коты в костюмах ходят с тросточками, кошечки в платьях обмахиваются веерами – ретроградная анималистическая утопия.

– Красиво, – сказал я.

– В самый раз для дождливого дня. Мне хотелось поднять себе настроение. Я думала, ты мертв.

– С крысами такое бывает. Забьются куда-нибудь умирать, под какую-нибудь трубу, и все разлагаются, разлагаются.

Эдит чуть заметно скривила губы, отобрала у меня книжку и всучила мне чашку с золотым узором по кайме.

– Умеют же немчики красиво жить.

– Хорошо, когда упоминают это, а не две мировых войны.

Мы засмеялись (взрослая она, в отличие от малышки, и трезвой это умела, хоть и очень тихо), потом Эдит задумчиво кивнула каким-то своим мыслям.

– Так что, Борис, кем ты себя чувствуешь?

– Ну, еще неделю назад я чувствовал себя сукой. Теперь чувствую себя человеком. Стало хорошо жить. Легко дышать.

– Слышала, нормальные люди так и живут.

– Ну и ладно. Пусть себе живут. В общем, я себя за все простил. Я люблю себя. Я хороший. Я был плохим, но теперь все изменится.

– Иногда ты очень наивный.

– Иногда нужно быть наивным, – сказал я. – Ты понимаешь? Нужно довериться всему этому сложному миру, и он выведет тебя к свету. Тут все не так уж глупо устроено.

– По-моему, ты чокнулся.

Слово «чокнуться» было от нее таким непривычным, что я замолчал.

– Думаешь, неправда все? И мир действительно устроен так глупо?

– Да нет, правда, разумеется. Точнее, полуправда, как и все в мире. Одна сторона бытия такая, – сказала Эдит.

А другая сторона, темная сторона, я знал, заключалась в том, что быть страшно, а там, в конце, дожидается огромная пасть смерти, и вся жизнь – просто конвейер, на ленте которого мы все едем в пустоту.

И нечего тут спасать, сама идея дохлая, гибельная.

– А если ты умрешь? – спросил я. – Если я потеряю тебя?

Мы знали, о чем говорим, нам не нужно было обозначать тему. Она понимала меня безо всяких лишних слов.

– И? – спросила Эдит. – Ты можешь рисковать собой или не рисковать собой, но однажды я умру. И это будет мучительно, потому что любая смерть такова. Ты никого не спасешь. Все, когда либо спасенные, мертвы или умрут. И все, кто кого-либо спасал, умрут.

Эдит смотрела на меня очень внимательно.

– Так зачем?

Я опешил. Не то чтобы я этих слов от нее не ждал, но я оказался к ним не готов. Эдит сказала:

– Глупо думать, будто ты можешь что-то изменить. Я даже не уверена в том, что имеет смысл спасать себя самого.

– Но разве правильно только и делать, что жить, пока живется?

– Нет. Но правильных ответов вообще не существует.

Дождь разгулялся сильнее, колотил, как в истерике, по окнам.

– Заметь, я не говорю о том, что тебе нужно или не нужно делать. Только о том, что нечто, что ты считаешь великим делом, на самом деле ничего не стоит.

– Ну, в масштабах вечности так точно.

– В масштабах вечности исчезнет вся планета, не то что мы с тобой.

Эдит улеглась на кровать, сложила руки на груди и сильнее прежнего стала напоминать покойницу. Ее любимая загробная поза, ее комната, запах дождя и чая с бергамотом – от всего этого я будто снова стал подростком, в этом была не только свобода, но и горячность, с которой я не мог справиться.

– Нет, ты мне скажи: что, вообще не стоит стараться?

– Ты хочешь знать мое мнение или подпитывать свои собственные проекции?

Эдит помолчала, затем добавила:

– То, что делал твой отец, было бесполезно. То, что делала моя мама, было бесполезно. Бесполезно и то, чем занимаемся мы. Нужно только найти себе занятие и дотянуть до своего маленького, персонального конца света. Занятие по вкусу, иначе все это вообще оказывается очень печальным. А лучшее, что мы можем сделать, это…

– Как сказал Раст Коул – дружно взяться за руки и вымереть.

– Без «дружно», Борис. Не уверена, что он вообще хоть раз произнес слово «дружно».

– Удивительно, что Раст Коул не стал твоей первой любовью.

– Неудивительно. Борис, послушай, ты погибнешь. Погибнешь

просто так. И ничего не изменится. Все эти люди все равно умрут.

– Но если ты боишься за меня и хочешь отговорить, это разве не значит, что не так уж оно все равно? Что там другие разные люди, которых кто-то любит. Что я так же люблю тебя, к примеру.

Но все-таки Эдит пошатнула мою веру, стену моей любви. Я смотрел на нее, ожидая услышать что-нибудь еще. Но Эдит молчала.

– Слушай, это же такая же математика. Они все равно умрут, и хер с ними. Сумма не поменяется. Такая же математика, как та, которую мы с тобой ненавидим. А жить надо не по циферкам.

А по чему надо жить? По буковкам? Это я к тридцатнику так и не понял.

– Ты умрешь, – сказала Эдит, резко вскочив с кровати. Она подошла к окну, открыла его и отправила недокуренную сигарету в дождливый сад. На меня вылился поток хрустального, серого света из реального мира.

– Ты уверен, что все твои эмоциональные аргументы в последний момент не превратятся в пыль? Тогда будет страшно. Очень.

Эдит говорила все это и почти светилась, в ней была неземная мудрость, перед которой любые аргументы, ну правда, бессильны. И ничего-то к этому не приставишь, ничего к этому не прибавишь и от этого не убавишь. Умирать страшно, а надо умирать. Жить хорошо, и хочется жить.

А сделанного не воротишь.

И я вдруг потерял всю свою уверенность, у меня растаяли мои доводы, и я тупо пялился в пространство.

Ну чего я мог самому себе предложить? Тут и посмертная слава, и вечная память не утешит такое горе. А я исчезну без следа, как отец мой исчез и как исчез его отец.

Эдит смотрела на меня. Глаза у нее как-то потемнели, словно она готовилась заплакать, но в такое я не верил.

Тут Эдит как-то подобралась по-особому и сказала:

– Но это твой выбор. Я просто тебя не понимаю. Но я хочу понять.

– Ой, понимал бы я сам себя.

Мне захотелось упасть перед ней на колени, чтобы она, как Верховная Жрица из колоды Мэрвина, дала мне ответ. Но в жизни дела так не делаются. И я стал искать свой ответ самостоятельно.

– Подумай, – сказала мне Эдит и снова вручила чашку с чаем, которую я отставил.

А меня крыло и крыло, казалось, что комната плывет, и грудь мне сжимало так, что еще чуточку сильнее, и что-нибудь там обязательно хрустнет.

Как там у Замятина было? Самая трудная любовь. Так называлась какая-то глава, я помнил, и эти строчки выплыли из меня, из моих пятнадцати.

Тут я вдруг очень остро понял, какая любовь – самая трудная, и все это не имело никакого отношения к антиутопиям.

Самая трудная любовь – к себе. Мы не умеем себя любить, либо обделяем, либо балуем, а как полюбить себя, словно ближнего?

Я должен был полюбить самого себя так, как любил ближнего своего. И только тогда у меня получится по-настоящему полюбить ближнего, дать ему милосердия и пощады. Из самоотречения каши не сваришь, я знал. Я уже видел, у меня живой пример был перед глазами. Ну, теперь неживой, так-то.

Я потер глаза до разноцветных кружков, до праздничных салютов. Взгляд мой блуждал, но в то же время я ничего не видел.

Всю свою жизнь я, алкаш ебаный, паскудный нарк, убийца, себя не любил. Потому и к Одетт у меня любовь не удалась, а ведь я был так близок. Мне не хватило понимания, что любовь – это не жертва, не боль и не власть.

Теперь я был переполнен любовью, но куда это все направить-то, чтобы снова не проебаться?

Наконец, взгляд мой остановился на репродукции Брейгеля. «Триумф смерти». В детстве я называл ее «махач скелетов и людей». Копия была отличнейшая, с сочными брейгелевскими цветами и очень точными линиями, все на картине двигалось, но не все жило и дышало. Смешно, конечно.

Я глядел на забавных и жутковатых скелетов, ликующих и всячески угрызающих человечков. Все гибло: гибли корабли в море, гибли здания в огне, гибли под ударами люди.

Вот люди, они – короли и крестьяне, а скелеты все одинаковые, крошат и крушат. Я глядел на это и думал об охровой запущенности всего, безрадостности и ужасе.

Какой наш мир маленький и хрупкий. Из ям, из каверн под землей вылезает смерть, и насколько бессмысленны перед ней все надежды и мечты, насколько бессильны люди.

А я любил это все, как я это любил! Мне не хотелось, чтобы умирали кардиналы, крестьяне и короли, ну или президенты, топ-менеджеры и офисные работники.

Пусть все они хоть секунду побудут так же счастливы, как я, приложившийся тогда к маминым коленкам.

Пусть полюбят себя, пусть полюбят других, и вот тогда мы заживем, а умирать для этого не надо.

Пусть в мире Брейгеля останутся пустыни в дыму и виселицы, да здравствует жизнь и радость, потому что все это так

быстротечно и хрупко!

Я не хотел «Триумфа смерти», не хотел разудалых скелетов по всей земле. Ну их нахуй, эти смерти с их триумфами, маленькими и большими.

Мой отец праздновал гибель во имя великой цели. Он не боялся. Он был из тех брейгелевских мужиков, которые махались со скелетами даже зная, что неизбежно проиграют. Вон ссаные румынские фаши говорили: «Кто боится смерти – не получит воскресения». Отец верил в свой долг умереть. Уж не знаю, думал ли он о том, что после всего Матенька встретит его, поцелует в лоб и простит ему все. Я даже не уверен в том, что отец искал какой-то награды в конце. Он любовался собой и своим умиранием, этого было достаточно.

А я – я хотел сделать то же самое, что и он, но по другим причинам.

Мне хотелось жить, долго и радостно, в мире, который я знаю и люблю. Не в идеальном мире. Не в том мире, который можно себе придумать. В нормальном, человеческом, где есть чего подрихтовать и есть на что смотреть с благоговением.

Я собирался сделать очень опасную вещь, но без самозабвения и ненависти. Я собирался постараться выжить там и быть счастливым, зная, что жизнь не всегда легкая и приятная штука.

Все, в конце концов, уперлось в мои желания. И я хотел, чтобы Одетт никогда не видела мир, который представил себе Брейгель. Я хотел, чтобы Марина и Андрейка поженились. Я хотел, чтобы Мэрвин завязал с азартными играми. Я хотел, чтобы Эдит защитила свою докторскую и написала свою книгу. Я хотел, чтобы Алесь перестал быть таким мудаком.

Чтобы жизнь шла как прежде.

– Если я хочу, – сказал я, с удивлением обнаружив в руках пустую чашку (и когда я успел выдуть весь чай?), – прожить то, что мне отпущено в мире, который мне нравится, я должен попытаться. Нахуя влачить жалкое существование в мире после ебучей чумы? Нет уж, если я там умру, я буду знать, что сделал все, чтобы жить хорошо. Если я там не умру, я буду жить хорошо. Вот тебе моя математика. Я хочу себе только хорошего. И поэтому я готов рискнуть. За самые прекрасные вещи. Я думаю, так люди идут на войну, так хотят жить, когда все закончится.

– Кому везет, а кому нет.

– Если мне не повезет, я не пожалею, потому что ничего не потеряю. Я не говорю, что я отдам этому дерьму всю свою жизнь, как отец. Не-а. Но если вдруг будет нечто действительно серьезное, я знаю, чего мне надо, чего хочу. И я никому не

должен.

Так меня это освободило.

– Эдит, – сказал я. – Спасибо.

– За что?

– За то, что ты у меня есть. И за чай. И за Брейгеля.

– За Брейгеля?

Я ткнул пальцем в картину. Эдит задумчиво кивнула, словно что-то все-таки поняла. Я обнял ее крепко-крепко, чуть слезу не пустил, честное слово, а Эдит сказала:

– Я надеюсь, ты выживешь. Вспомни, что было с тобой в прошлый раз. По сравнению с тем, что ты хочешь сделать, это ведь была такая мелочь, такая маленькая ранка.

– Точно. Но какие ж мы с тобой прекрасные, а? Разве мы не заслуживаем лучшего?

Эдит улыбнулась мне, неожиданно искреннее и тепло, протянула руку и неловко похлопала меня по плечу.

– Какая красивая история.

– Не веришь, что я выживу?

Она смотрела внимательно и холодно, такой был контраст с нежной улыбкой, и уголки ее губ вдруг опустились.

– Неважно, во что я верю. Ты верь. Кстати, напоминаю, что я одна буду знать, куда ты пошел, и отчитываться перед всеми твоими друзьями.

– Ну, половина из них все равно ничего не поймет.

Я помолчал, закурил и отошел к окну, соразмерил пафос жеста и слова с реальной жизнью и сказал:

– Одетт только не говори, без этого давай.

– О, ты себе льстишь, если думаешь, что она заинтересуется.

– Ты сама говорила, что Одетт меня любит.

– А такая у нее любовь.

– Ладно, мои подружечки, сестрички-социопатки, все равно будут по мне скучать, в это я собираюсь верить до конца.

Я затушил сигарету, швырнул ее в дождь, в печаль холодного дня.

– Я пойду.

– Удачи тебе. Я хочу, чтобы все было в порядке.

– Ой, а я-то как хочу. Кто представит?

Распрощались мы как-то неловко, Эдит явно не хотела меня отпускать, но и не хотела придумывать повод, чтобы меня задержать. А я уехал успокоенный, какой-то по-особому, торжественно решительный. В зеркале заднего вида еще долго после того, как дом Маутнеров исчез и его сменила ровная полоса дороги, я видел Эдит, стоящую на увитом зеленью балконе.

Я склонился к прикуривателю, затянулся сигареткой, и

телефон в кармане тут же странно, тревожно отяжелел.

Надо было звонить Уолтеру, а я не знал, что сказать. Меня терзала чисто социальная неловкость. Копать зараженную землю? Да сколько угодно. Сказать навязчивому мужику, что согласен на него поработать, – ну уж нет.

А без Уолтера волшебства не случится, это я тоже знал. Один я против такой каверны – это ничто, трата крысочки, там только если объединиться. Нас должно было быть много, и Уолтер наверняка старался это организовать.

– Нет, – сказал я. – Нет, Боря, не спеши. Это должно быть твое решение. Ни в чем себя не заставляй. Думай, музыку вот послушай.

А лучше сердце и разум. Мозг вот подкинул мне классное воспоминание о том, как однажды в Нью-Йорке я пил стеклоочиститель в отеле «Четыре сезона».

У меня тогда только появилась приличная денюжка, и я решил сгонять на отдых совсем один, пожить по-буржуйски, так сказать. И тут, утром второго дня, на меня напала такая звериная тоска, что прямо из предпраздничного, убеленного снегом Сентрал-парка я рванул обратно в отель.

Я заказал номер люкс, и, уж конечно, мне ничего не стоило заказать в номер бутылку хорошей водки, но не об этом я думал, когда по пути в комнату стянул с тележки испанской горничной жидкость для мытья стекол Better Life. Ой, я так прошу никого это не повторять, это все только для крысиных желудков и нервных систем.

Я открутил крышечку, выбросил распылитель и пил стеклоочиститель прямо из горла, глядя на то, как приодели этот шумный, яркий город Нью-Йорк к Рождеству.

Моя тоска была особой природы, тянула мне сердце, рвала мне грудь. Даже сверкающий, рождественский красный, которым, как кровавой коркой, покрылось все вокруг, казался мне блеклым.

Я чувствовал, как время уходит с ударами сердца, и вдруг измыслил свою жизнь как рассказ, в котором однажды будет поставлена точка.

И он закончится, и все закончится.

Потом я пялился в телик, бездумно глядя «Гремлинов», маленькие монстры превратились в смутные силуэты, все покрылось тенями, но я пил и пил, пока не вырубился.

Вот та тоска, острая, неясная и стремительная, нуждающаяся в алкогольном потопе вампиловская депрессия оказалась обратной стороной нынешнего моего подъема.

Есть в жизни смысл, есть в ней краса, и пусть смерть – беда, разве нет торжества в том, что мы умудряемся любить хоть что-то

несмотря на то, что все потеряем?

Я достал мобильный, для начала методично закрыл все приложения, потом стал листать журнал звонков, умышленно пропустив номер Уолтера несколько раз, прежде чем нажать заветную кнопочку «вызов».

Как сатану, блядь, вызывал, честное слово.

Уолтер поднял трубку сразу.

– Да, мистер Шустов?

– Привет. Я хотел сказать, что могу помочь. С каверной. Видел репортаж о гриппе «Калифорния», и вот.

Как неловко-то получилось, прелесть вообще.

Уолтер некоторое время молчал, затем спросил:

– И где вы были до этого?

– Ебать, даже не спрашивай.

– Но вы как нельзя вовремя, – невозмутимо продолжил Уолтер. – Дело в том, что многие крысы боялись приближаться к каверне в одиночку. Для одного-единственного существа, пусть даже очень выносливого, эта доза непереносима. Я взял на себя труд…

Бла-бла-бла.

– Я взял на себя труд, – повторил Уолтер с нажимом, будто понял, что я теряю интерес к разговору, – организовать ваших братьев и сестер со всей страны, даже пригласил некоторых граждан иных государств.

Господи боже мой, он что, отчет писал? Так Уолтер старательно избегал тавтологий, что я его еще меньше зауважал.

– Хорошо, отлично.

– Это большой проект. Очень. И от его успешного завершения зависит слишком многое.

– Да-да-да.

– Я имею в виду, мистер Шустов, вы должны отдавать себе отчет в том, что будут жертвы среди ваших собратьев. Неизбежно. Одной из этих жертв можете оказаться вы.

Уолтер помолчал, в трубке я слышал его мерное, чуточку по-собачьи хриплое дыхание.

– Да понимаю я, понимаю.

Уолтер продолжил молчать, словно я ничего не говорил, словно я не передал ему пас.

– Вашему отцу, – наконец выдохнул он, – я говорил то же самое. Я его не обманывал.

– Нет, вообще нет. Но у тебя были средства, чтобы не позволять ему работать на износ.

– Я этого не хотел.

– Но, как ты понимаешь, в природе крысы работают на себя.

Кто каверну нашел, тот ее и закрывает. А твоя мануфактура его убила. Разделение, блядь, труда.

– Вы хотите об этом поговорить?

– Последние девять лет. Знаешь, что мне интересно? Почему ты, сука, не выполняешь свою работу? Почему ты менеджер по вечеринкам, а не телохранитель далай-ламы?

Попал я в точечку. Уолтер снова надолго замолчал, но теперь грустно, тяжело. Я как-то интуитивно нашел нужный вопрос.

У Уолтера случилась (я об этом так и не узнал наверняка, но мысль была навязчивая, словно плохое предчувствие) всегдашняя беда земных животных – он убил кого-то в приступе ярости. Родного, может, человека, щенка своего там. Или кого-то совсем левого – тоже радости мало.

Собака никогда не тронет своего хозяина, но это не значит, что она не покусает никого.

И глупости я говорил Мэрвину о том, что в природе все устроено мудро, что он не может быть сделан как убийца. Мы, крыски и мышки, к примеру, погибали от болезней и катастроф, увеличивая горе, земные животные убивали, небесные существа сходили с ума. И все мы умножали печаль. Удача – это забрать больше зла, чем неизбежно оставишь.

Ну и, да, Уолтер тоже был трус. Занялся организацией праздников вместо того, чтобы честно нести свой крест.

Никто не идеален.

Я сказал:

– Ладно, успокойся. Мне неинтересно. И прости. Я правда зол на тебя, но сейчас это неважно. Важно то, что я хочу помочь. Я же могу быть полезным?

– Нам необходим каждый. Я рад, что вы, мистер Шустов, согласились. Вы – достойный сын своего отца.

– Про отца моего не надо.

– Как скажете.

Я припарковался у какого-то дешевого дайнера, но выходить из машины не спешил. Хотелось съесть здоровый жирный бургер и выпить молочный коктейль, ну просто неприлично сладкий.

– Я имею в виду, – продолжил Уолтер, – что вы, мистер Шустов, не обладаете необходимым опытом. И для вас эта авантюра может стать смертельной.

– Господи боже мой, это так в Гарвардах учат говорить?

– В Принстонах, – сказал Уолтер все тем же тоном, и я засмеялся. Оказывается, у мужика было чувство юмора.

– Я хочу помочь, – сказал я. – Ну сколько раз мне повторить? От меня что-то зависит по-настоящему? Я могу внести свою лепту?

– Каждый может.

И поэтому наш мир прекрасен, а теперь восславим Господа.

Я наконец вышел из машины, пробежался под дождем и нырнул в дайнер, не выпуская телефона. Плюхнулся, значит, на первый попавшийся красный диванчик, подманил официантку жестом и наугад ткнул в два пункта меню под надписями «бургеры» и «милкшейки».

Все это время я говорил:

– Я делал это только один раз. Не скажу, что мне понравилось. Но я верю в свои инстинкты. Разве мы не задуманы для этого? Не знаю, получится ли у меня, но я должен, просто должен попытаться. Хуй бы с гриппом, хуй бы с «Калифорнией», я знаю, что будет. Твоя сотрудница Марисоль, не знаю фамилии, мне рассказывала о Сварте Дауэн. Не о чуме, а о чумной старушке-крыске, которая на самом-то деле старалась всех спасти. Я долгое время хотел быть как можно дальше от всего этого, понимаешь? Долгое время хотел забыть. Но теперь я хочу быть Сварте Дауэн. Ты меня понимаешь? Я не как мой отец, я не хочу там сгинуть. Но я хочу попробовать спасти людей, живых людей. Я хреновый человек, да ты уж точно знаешь. Но мне это важно. Правда важно. Не думай так обо мне, будто мне все равно.

Я говорил и другие всякие-разные вещи, все уже не вспомнить. Меня прорвало, я хотел рассказать Уолтеру, случайному, в общем-то, человеку, самые личные вещи – о выборе, который я сделал.

Остановился я, только когда девушка принесла мне апельсиновый милкшейк и бургер с голубым сыром. Аж слюни потекли.

– Хорошо, мистер Шустов. Я вас понимаю. Вам не стоит объяснять мне все. Я правда понимаю.

И я это знал, у меня было ощущение, что Уолтер понимает меня как никто. Он, сука, исхитрился выполнять свой долг, не выполняя его. Исхитрился найти себе, так сказать, применение на стороне.

Я жевал бургер, а Уолтер говорил:

– Вам не стоит винить себя, мистер Шустов. Никогда не поздно помочь этому миру. И нет плохих способов это сделать.

Сеанс самопоглаживания засчитан. Я даже хотел это сказать, но уж очень вкусной была котлетка.

– Раз уж вы решились, я буду рад видеть вас в наших рядах. От вас не понадобится многое. Это не работа на полную ставку, как вы понимаете.

– Нет, хуй тебе, – сказал я неразборчиво, пытаясь справиться с бургером и утихомирить бурю негодования одновременно. – Это

исключительная мера. Я хочу помочь сейчас, и ты меня больше не увидишь. Если только в Калифорнии не найдется еще одна такая же каверна.

– Вряд ли.

– Это хорошо. Ну, давай ближе к делу. Встретимся обсудить?

– Нет, мистер Шустов, мы не встретимся. Завтра состоится закрытие каверны.

– Чего?

«Закрытие каверны», блядь, ух ты как пафосно.

– Завтра. Утром. В шесть утра начало мероприятия.

– А конец? – спросил я ошалело, хотелось засмеяться, но я не мог.

Тянул и тянул апельсиновый молочный коктейль через трубочку, никак тут было не остановиться.

– Этого мы не знаем. Как только все будет закончено. И если все будет закончено.

Могло случиться всякое, это да, в первую очередь выход новой чумы.

– Диктуй адрес.

– Это необходимо?

– Нет, я просто так спросил.

И он продиктовал. Я мог бы найти каверну и без циферок с буковками, но мне хотелось добавить в это все чего-то людского, простой человеческий навигатор, например.

Она за городом, в той стороне, о которой я и думал, конечно, по дороге на Вегас. Все предсказуемо.

– Лучше явиться чуть заранее, – сказал Уолтер.

На том и порешили, а потом я положил телефон на стол и некоторое время тупо смотрел на него, вслепую гоняя по тарелке ломтик маринованного огурца.

Завтра.

Чего-то такого я и ожидал, время не ждет, и без того тянули долго, но тут же пришли осознание, страх, меня крыло от близости моей вероятной смерти.

Одно дело спланировать нечто опасное, представить его себе, пусть даже во всех подробностях, другое дело оказаться за шаг до этого знаменательного события. С корабля прямо на бал!

Одно дело знать, что ты умрешь, а другое – диагностированный рак, который убьет тебя за год.

Кое-как, не помня себя и не считая сдачу, я расплатился и такой же странный, вымороженный доехал до дома. Перевязался, значит, и рухнул на кровать, врубил телик, «Энимал плэнет», от греха-то подальше.

Думал, ни за что не засну, никогда не засну, а вырубился

минут через пятнадцать совершенно обычным, ничуть не торжественным, не благородным, не печальным образом.

Глава 26. Котлован

Еще один мамин родич, хер даже знает, кем он ей там приходился, рассказывал ей маленькой этакую историю про судьбу. Сам он мужик честный и смелый, ликвидатором был в Чернобыле, смирял, так сказать, ядерный огонь.

– Ничего там страшного, – говорил. – И именно это страшно.

Много не рассказывал, но кой-чего мамка у него выспросила. Значит так, самому ему после Чернобыля хоть бы хны, он же крысочка, и его здоровье в целом мало что пошатнуть может, кроме чистейшей темени, так что, в общем, история не про него. А может, и про него, и про всех нас заодно, это уж сами думайте.

Короче, было у него два друга, Антоха и Петька, они вместе там служили, работали на крыше реактора, в самом, так сказать, адском пекле, гребли расплавленный графит.

Дядька тот, родич, он знал, что ему мало что будет с этой вашей радиации, он вызывался без страха и без раздумий, а вот Антоха и Петька, оба они понимали, что могут умереть. Но делали работу все равно, по той же причине, по которой поколения крыс роются в земле, вбирая в себя всякие ужасы.

Крепко эти мужики втроем дружили, выпивали много, считалось, будто водочка радиацию вычищает, смеялись, делились тем, что осталось у них за границей зоны, были героями, короче. А что потом?

Антоха уехал в Смоленск, Петька уехал в Чернигов.

Петька через два года умер от лейкоза, болел долго, мучительно, глядишь на него – одни глаза сияют, а сам – мертвец мертвецом. Жену и сыночка вот оставил.

А Антохе все ничего, приехал здоровеньким бычком, на всех медосмотрах пять с плюсом, они с женой к первой дочке еще одну потом родили.

Почему? В отделении радиологии только руками разводили. Дозы мужики ловили одинаковые, а дальше – судьба тебе или не судьба.

Петьке была не судьба. Антохе была судьба.

Никогда мы про себя не угадаем, но разве ж оно плохо? И в самой безнадежной ситуации один выберется, когда другой – нет. Вот Помпею ебнуло, сколько людей погибло, а ведь кто-то же спасся. Где-то я читал, что выжившие есть в девяноста пяти процентах авиакатастроф. Казалось бы, огромная железная хуйня рухнула с неба, а там люди внутри.

Всюду остается шанс, хоть бы и маленький. Так и из ада спастись можно.

Ну да ладно, короче, проснулся я в четыре утра и глядел на потолок, по которому бродили сизые тени деревьев.

В голове гудело, сердце скакало в груди, эта канитель меня, возможно, и разбудила. Но я не собирался отступать. Пусть страх, это все физиология, прах, главное, чтобы хотела душа.

Ой, господи, встал я, походил по комнатке (вернулся я домой, но не домой – в Комптон), завернул в ванную и попил водички из-под крана. Может быть, так же не спала Эдит. Да завтра уже все решится, буду я или не будет меня. Самое паскудное – ожидание, остальное терпится.

Хотелось увидеть родителей, но квартира была пустая до гулкости, так же было и в голове.

– Ну чего тебе? – спросил я. – Чего хочется?

На ум почему-то пришли строчки из детского стишка:

> Письмо само
> Никуда не пойдет,
> Но в ящик его опусти —
> Оно пробежит,
> Пролетит,
> Проплывет
> Тысячи верст пути.

Мобилу я включать не хотел (миллиарды пропущенных звонков и смутное чувство вины, нет уж), так что письмо нужно было писать стареньким методом. Да не на чем было. Ну, положим, ручка у меня имелась, но никаких блокнотов с собой. Я, конечно, поискал, вдруг под кроватью завалялся детский дневничок бывшей хозяйки, но нет, тайны свои она блюла лучше, чем кружки.

Так что я отодрал кусок обоев и сел писать. То, что я наворотил на этом куске обоев, мне до сих пор дословно помнится. Значит, так:

> «Дорогая моя Одетт, драгоценная моя! Вот я тебе сейчас пишу и еще не знаю точно, отправлю это письмо или нет. Я специально ничего для себя не решил, чтобы писать искренне, чтобы от тебя никакой правды не скрыть.
>
> Адрес твоей квартиры в Кембридже я помню наизусть, уж не беспокойся. Не знаю, там ли ты, но раз я тебя не ищу, может, ты уже и не прячешься.
>
> Я тебя не забыл и не забуду никогда. Я люблю тебя, и это не закончится. Мне ужасно, мучительно хочется

стать кем-то другим, хотя бы попробовать, но, наверное, это не нужно.

Послушай, единственное, что от меня требуется, – это не делать больно другим и себе. Я этого не умею, но, господи, я научусь, потому что это так прекрасно – быть с тобой, потому что я хочу еще, и теперь навсегда.

Ты мне не верь, не надо сразу, но однажды я докажу. Разве ты не самая прекрасная девушка в мире и разве ты не стоишь этого долгого пути?

Я любил как умел, как самого научили, вот так я любил. А теперь я буду переучиваться. Это долго и, наверное, нелегко, но я готов.

Человек должен такое узнать о себе, чтобы стать лучше, ты не представляешь даже. Не представляешь, потому что в душе ты прекрасный, чистый, светлый человек. И, даже если ты никогда не вернешься ко мне, знай, что этот путь я проделаю ради тебя, ради твоего сердца. Неважно, получу ли я его, в конце концов, важно, что ты вдохновляешь меня.

Так и должно быть у двоих людей, которые сильно запутались. Дай мне выбраться к тебе самому, и ты увидишь – я тоже стою того, чтобы быть со мной.

Я хочу увидеть, какой ты станешь через пять лет, через десять и через двадцать. Может быть, у меня никогда не будет детей от тебя, а у тебя никогда не будет возможности сказать кому-нибудь, кем я работаю, но пусть мы будем счастливы.

Подумай об этом, у тебя будет время, может быть, очень много времени.

А потом будь со мной, потому что я заслужу это.

Боря»

Я не стал прощаться, не стал писать ей, как буду скучать без нее в длинном, одиноком пути, который мне, может быть, предстоит, не стал писать, что она может не увидеть меня никогда, не стал писать, что хочу чуточку погеройствовать, не стал рассказывать о каверне даже в самых общих чертах.

Я не хотел и не собирался умирать, я планировал жить долго и счастливо, и мне хотелось написать ей слова любви, слова надежды, только они и были нужны тому, кто собирается вернуться.

Долго-долго я тупил и соскребал с моего письма остатки штукатурки, потом пошел помыться, перевязать себе раны. На улице хлестал страшный дождь, просто пиздец. Я держал письмо

у сердца, чтобы оно не промокло. В общем, купил конверт в ближайшем круглосуточном супермаркете, засунул в него свой кусок обоев, сложив в два раза, начеркал адрес, оперевшись на блестящий, пахнущий чем-то замороженным столик для сумок, и добежал до ближайшего синего ящика почты. Все, письмо исчезло в прорези, и у меня сердце отпустило, я стоял под дождем и смотрел на ящик, надеясь, что письмо не успело вымокнуть настолько, чтобы размокли чернила.

Наконец я сумел заставить себя заняться машиной, протер все пятна на сиденье и на двери с внутренней стороны (о внешней за меня давным-давно позаботился первый же дождь) влажными салфетками. Кровь хорошо смывалась, да и было ее не так чтобы прям очень много.

Ну и хорошо, ну и слава богу. Дождь так и хлестал, вообще с катушек слетел, видимость была херовая, но все-таки по дороге я заметил белый почтовый фургончик, по боку которого шли жизнерадостно-патриотичные красная и синяя полосы.

Что ж, письму своему я пожелал удачи, хотя и мне она бы пригодилась.

Я весь промок и дрожал, так что, проезжая через Даунтаун, я остановился у магазина с золотыми буквами «Ральф Лорен» и купил себе отличное, мрачное пальтецо. В бумажнике денег не хватило, пришлось расплатиться карточкой. Приветливая и сонная девчонка, казалось, была мне благодарна, я ее хоть чуть-чуть развлек.

Стоит ли говорить, что, когда я забил в навигатор адрес, оставленный Уолтером, то сразу понял, как безнадежно опоздаю.

Но ничего, ничего. Приеду к самой героической части, так я решил.

Дождь, блядь, не то что не прекращался, а только становился все более образцовым ливнем.

С навигатором, кстати, вышло смешно. Я сам себе был джи пи эс, сердце знало дорогу и без бегунка на экране. Я знал, где каверна, все во мне знало, все во мне следовало за ней. Почему птицы летят на юг? Откуда им, сукам, знать, куда повернуть? Кто объяснит?

Вот и тут было так, я просто знал, куда повернуть, и если изредка все-таки глядел в навигатор, то только для того, чтобы чуточку отвлечься.

Подъехал я, значит, а там уже кипит работа. Человек, может, пятьдесят было, все в ярко-желтых рабочих комбинезонах. Уолтера я нашел быстро.

– Я думал, вы не приедете, мистер Шустов.

Он сидел в машине, держал в руках картонный стаканчик с

горячим кофе, на сиденье рядом с ним лежали пончики. Рай земной.

– Скоро, когда покажется тьма, рядом будут дежурить машины скорой помощи.

– И сколько их?

– Вы же понимаете, что нам не нужно вызывать подозрения?

– То есть это такое количество, которое даже ответа не стоит. Я тебя понял.

– Мистер Шустов, пройдите к грузовику, Элисон выдаст вам лопату.

Элисон, серьезная, грузная собачка средних лет кивнула мне.

– Здравствуйте. Готовы присоединиться к работе?

– Безусловно.

– На вас не хватило рабочей одежды.

– Кто не успел, тот опоздал.

Вот такая я декоративная крыска, подумалось мне, буду рыть землю в пальто от Ральфа Лорена и в туфлях «Кавалли».

Знаете, что было во всем этом обиднее всего? Не эта безличность, не то, что за сильным крысиным духом пробивался запах собак и это наводило на мысли о пастухах и стаде, не то, что мне не досталось рабочей одежды, даже не перспектива скорой смерти.

Нарратив моей жизни тут дал сбой, я не был единственным, а был одним из многих. Намного приятнее стать героем-одиночкой, исключительным, избранным.

И так сложно быть винтиком в отлаженном механизме, так сложно делать свою работу среди других таких же, как ты. Никакого пафоса в этом нет, никакой красоты жеста.

В общем, взял я лопату и пошел к яме.

Мужики и бабы пели какую-то американскую народную песню, я ее не знал, и мне сразу стало как-то тяжко, стыдно даже. Словно я был новеньким в школе и мне предстояло прийти на первый урок. Я выделялся среди этих ребят: шмотками, акцентом, своим сраным опозданием. Так что я нарочно медлил, пока можно было.

Яма уже организовалась приличная, огромная, ну, представьте себе, пятьдесят человек копают. Это нам еще повезло – каверна была под пустырем, в сторону от шоссе, по которому мы с Мэрвином однажды ездили в Вегас.

А чувствовал ли я каверну тогда? Наверняка. Скорее всего, испытал легкое раздражение и поскорее о ней забыл.

В общем, я, преодолев неловкость, спустился, пристроился к одному из мужичков, который не горланил песни, и принялся копать.

Так пахло крысами, никогда в жизни я не чувствовал столько своих. Разные запахи, разные зверики – молодые и старые, относительно здоровые и совсем больные, красивые и такие себе, женщины и мужчины.

Пока что яма была недостаточно глубока, и я знал, в ближайшее время тьмы под лезвием моей лопаты не обнаружится. От дождя земля размягчилась, копать было легко и просто, я стал насвистывать песенку про заначку, ну, знаете, где смешная телка еще поет «я ходила туда, где раздают медали, я ходила туда, где раздают пиздюли, но ни там ни там мне ничего не дали, то ли не хотели, то ли не могли».

Прям вся моя жизнь.

Мужик рядом со мной, должно быть, копал подолгу и часто, руки у него загрубели от такой работы. Говорят, по рукам можно определить возраст человека, но у некоторых хуй ты чего определишь.

Земля под ногами у меня была не по-южному вязкая, не по-южному темная. Ею так одуряюще пахло.

Нет, если уж говорить честно, отчасти все вокруг было прекрасным: бледное небо, эта фистула в стороне от шоссе, голос Уолтера, который объявил в мегафон, что водой и едой распоряжается некий Тед. Сильно перефразируя Воннегута, я бы сказал, что все было прекрасным и ничуть не реальным, даже хлеставший по мне дождь казался призрачным.

Мои ботинки быстро стали грязными, они скользили, вымокли, на брюки налипли комья земли. Должно быть, выглядел я жалко. Но в то же время я ни капельки не уставал, как и тогда, когда взялся за лопату в первый раз, под взглядом отца Модести.

Я быстренько освоился, люди вокруг работали, плевались, смеялись, жаловались на дождь, весело матерились. Они меня больше не смущали.

Я сказал мужичку рядом:

– Привет.

Он молчал, и я, воткнув лопату в землю, повторил:

– Привет! Как дела?

Мужик звучно сплюнул и сказал с сильным южным акцентом:

– О, ты прости, я задумался. Дела неплохо. Вроде. Тебя как звать?

– Борис. А тебя?

– Коммунист, что ли? Реджи я.

Реджи был рыжий, почти беззубый мужик, такой стереотипный хиллбилли, что смешно даже. Выражение его лица казалось странным, наивно-глуповатым, но одновременно с тем хитрым. Он мне очень понравился, в нем было маргинальное

обаяние.

– Не, но отец у меня коммунист.

– Раз отец коммунист, ты тоже коммунист.

Прежде я никогда не общался с зарубежными крысами. Я знал, что здесь, в этой широкой яме, должно было поместиться прекрасное собрание американских маргиналов: всяких разных реднеков, жуликов, неудачливых панк-рокеров, чуваков из трейлер-парков, барных алкоголиков и, конечно, жителей Детройта.

И хотя нас с ними разделял океан всякого разного, я ощущал и родство, способность понять каждого из них.

– Это слухи, как то, что если тебя укусит коммунист, ты тоже будешь коммунист. Или как то, что если ты вступил в партию, то ты коммунист.

Реджи хрипло засмеялся, потом глянул на небо. Толстые капли разбивались о его плоский, наверняка не раз сломанный нос.

– И сигареточку не покурить, – сказал он. – Ну что за жизнь?

– Согласен.

– Но работа хорошая.

– Платят тебе?

– Никто не платит, сам приехал. У меня такое было чувство, что надо, а потом телик смотрю…

– Ой, я тоже телик смотрю, и ба! Вот оно! Дело всей моей жизни!

Мы засмеялись, потом Реджи хитро посмотрел на меня.

– А тебе и платить не надо, а?

– Ну, может, не надо. Хотя отказываться я б не стал.

Глаза у Реджи были голубые, от серого, пасмурного дня совсем уж яркие. Он невнятно сказал, потыкав языком шатающийся зуб:

– Странный парень этот Уолтер.

– Точно мутный, я тебе говорю.

– И мне не понравился. Я как увидел у него пончик, думал, лопатой пришибу. Мы тут работаем, а он пончики жрет.

– Паскуда.

Неприязнь к Уолтеру нас сразу же сплотила, я почувствовал себя еще уютнее. Под дождем, во время грязной работы слово «уют» в моей голове, конечно, не звучало, оно было из какого-то другого мира. Что мне было именно уютно, я понял много позднее.

– Круто копаешь, – сказал я. Реджи действительно справлялся куда быстрее меня.

– Да, практикуюсь.

Возраст Реджи было практически невозможно определить. Ему могло быть как тридцать, так и пятьдесят. Одно бесспорно – выглядел он плохо.

– Много, видать, практикуешься.

– Это да, точно. А ты нет.

– Не, я вообще один раз делал. В шестнадцать.

– А чего сейчас решил?

– Хотел помочь.

– Хорошее дело, – сказал Реджи, откидывая землю с лопаты. – Почему нет?

– А как тут вообще обстановочка?

– Да дружелюбная. Не рабочая. Хочешь – иди отдохни, хочешь поешь, хочешь попей. Никто не следит. Я ожидал, что будет как в тюряге.

– Был в тюряге?

– Брат там. Сел за убийство. Пристрелил какого-то парня в баре.

– Какая американская история.

Реджи гордо вскинул смешную, рыжую голову.

– Ребята прикольные. Вон Гил, например, мне выпить дал. У него и фляга есть, он делится. Эй, Гил!

К нам обернулся мужичок со скользким взглядом и самодовольным лицом сутенера.

– Чего надо, Редж?

– Дай махнуть!

– На.

Фляга оказалась у меня, и я сделал хороший глоток обжигающего, как в книжках, виски. В нос ударило, я взбодрился, вдруг пожалел, что не заехал в свой основной дом и не снарядился хорошенько.

Надо было все взять и раздать бедным, так сказать.

– А выпить ты любишь, – сказал Реджи, цокнув языком.

– Ой люблю!

– А кто не любит, – сказала женщина слева от меня. У нее были сальные волосы и посиневшая татуировка в виде бабочки на запястье, под картинкой шла надпись «всегда восемнадцать», лживая, учитывая, что тетенька выглядела как минимум на сорок. – Мэри.

– Борис.

– Издалека?

– Да нет, я давно здесь живу. В Эл-Эй.

– Повезло. А я из Айдахо.

– О, и я! – сказал кто-то сбоку. – Меридиан?

– Льюистон.

– Тоже дыра.

Я чувствовал себя самым ловким парнем на вечеринке, словно это я вовлекал ребят в разговор.

Нет, конечно, я не думал, что мы все станем добрыми друзьями, как в мультиках, но мне нравилось, какая вокруг атмосфера. Мы месили грязь, но я вдруг ощутил себя очень чистым, словно этот дождь отмыл меня и под слоем земли обнаружился сверкающий, свеженький человек.

Пусть для Уолтера, к примеру, мы все были помойными крысами, здесь, в грязи, я нашел такую чистоту, что глазам было больно.

– А кто боится? – спросил я.

– Ну, я боюсь.

– А мне плевать.

– Спорим, ты сдохнешь?

– Ну даже если и сдохну, то чего?

Через пару часов почти все выстроились в очередь у грузовика, чтобы получить горячий кофе и сэндвич с курицей и сыром. Выездное, блядь, мероприятие.

Еще знаете, что интересно? Некоторые остались копать, проигнорировали всеобщий, стихийно возникший перерыв.

– Чего это они? – спросил я у Реджи.

– Да небось им уже все равно. Думают, что тут и помрут, – легко ответил Реджи. Он и сам был не в лучшей форме, но бодро хлебал кофе, иногда отлучаясь, чтобы раздобыть где-нибудь бухла.

– Ну, если б я думал, что помру, я б, наоборот, кофейку попил.

– А ты об этом не думай. Думать так нельзя, это тебя губит.

– Да я и не думаю вроде. Я позитивно настроен.

– Кстати говоря, – сказала тоненькая девушка, вынимая из сэндвича курицу. – Очень полезно сосредоточиться на энергии из космоса. Ну, знаете, ци. Китайцы в это верят.

– Вот это шиза, – сказал я.

– Серьезно, – добавила она спокойно и размеренно, от нее сильно пахло травкой. – Китайцы могут лечить наложением рук. Европейцы тоже, но они от этого умирают.

– У них плазмоид лопается, – сказал я.

– Что ты несешь, чокнутый? – спросила она.

– Я чокнутый? Серьезно?

Девушка расслабленно улыбнулась.

– Меня зовут Мисти.

– Господи, сто пудов это не твое настоящее имя.

– Настоящее – Каролина.

Она мне понравилась, так стоически сносила все нападки на китайцев, а я их еще много предпринял.

Вообще-то к концу четвертого часа работы (а землю мы тогда уже вывозили на тачках по пологому склону, ведущему в яму), я уже знал многих.

Атмосфера была такая, что как-то совсем позабылось, что мы хотим раскопать смерть. Работа шла легко и приятно, мы с Реджи держались вместе, вокруг то и дело тусил кто-нибудь интересный, то дедок, видевший, по крайней мере по его словам, Хо Ши Мина, то девчонка, которая сломала позвоночник, катаясь на мотоцикле и с трудом научилась заново ходить, то парень, который пытался покончить с собой семь раз, то бабулька, которая в шестидесятые делала нелегальные аборты. Особенно интересно было слушать стариков, их было немного (мы, крыски, редко так долго живем), но они все были не по-старчески юркие и умненькие. Многие крысы приехали с женами или мужьями, оставили детей одних. Многие боялись умереть.

– Ну, – сказал высокий чернокожий парень по имени Кэлс. – Все равно же это кому-то делать.

– Что за инерция такая? – ответил я. – Ты подожди. Я тебе свою теорию расскажу.

И я рассказал все вот это про любовь и мир, про собственные желания, которые могут быть сильнее любого долга и с которыми он становится радостнее.

– Когда жизнь не оставляет тебе другого выбора, – закончил я, – действуй по ситуации, исходя из того, что ты любишь по-настоящему.

– Хорошая мысль, – сказал Кэлс. – Светлая. Но я люблю Галь Гадот.

– Ну и классно. Сделай это, чтобы она в кино сиськи показала.

– Ого, – сказал Реджи. – Ты как психолог.

– Я тут всем могу мотивации раздать. Этого дерьма у меня теперь навалом.

Ботинки у меня совсем размокли.

Ну да и ладно, подумал я, чего бояться заболеть, если исход известен. Чего бояться?

Ой нечего.

Меня вдруг охватил странный азарт, желание добраться (докопаться, во!) до самой сути. Я был готов на кровавые мозоли от лопаты, на грипп «Калифорния», на все на свете, только бы понять почему.

Почему мы, брошенные в безнадежную битву с энтропией, все равно делаем то, что хочет Матенька, пусть каждый по своим

причинам.

Может быть, подумал я, мы нуждаемся в кавернах не меньше, чем они нуждаются в нас. Вот он я, маленький, суетный, а теперь я причастен к чему-то главному.

Реджи сказал:

– Денек, конечно. Когда же это уже докопаемся?

Дождь заканчивался, потом лил снова, прятался и возвращался, словно игривый ребенок.

– Всю яму нам затопит.

– А затопит и ладно, не под фундамент же копаем, – сказал парень по имени Майлз, коммивояжер из Западной Вирджинии.

– Под фундамент, – ответила на плохом английском Жюли, французская бомжиха, которая проделала долгий путь сюда из самого Марселя. – Общественного здоровья.

Я засмеялся.

– Круто сказала.

– Мне всегда говорили, что я умею произносить речи. Могла бы стать чьим-нибудь пресс-секретарем.

– Это уж точно, – сказал Реджи. – Давай моим.

Совместная работа сближала нас всех, и уже не было разницы между конъюнктивитно-красноглазой Жюли и симпатичным, принарядившимся мной. Здесь, в яме, все были равны.

Я не знал, что будет дальше, но сейчас я на самом деле был счастлив. Вдруг грехи мои искупились сами собою, я был среди братьев и сестер, делал важное дело, нашел место, в котором я был в тему, нужен, даже необходим.

Ну да, я не был героем-одиночкой, Данилой Багровым или Гарри Поттером, я был одним из многих, но разве наше множество не было охуительным, прекрасным и по-настоящему человечным?

Под этим недружелюбным темным небом, всегда готовым разразиться дождем, с лопатой в руках, в разъебанных туфлях «Кавалли» и в испачканном грязью пальто «Ральф Лорен» я был счастлив.

Вдруг среди людей в рабочих комбинезонах я увидел своего отца в застиранной рубашке и в старых брюках, он был мокрый насквозь, трупно-желтоватый в холодеющем к вечеру свете.

– Скоро, – сказал он, ловко и сосредоточенно копая.

– Я знаю, – ответил я одними губами.

– А? Чего? – спросил Реджи.

– Да ничего. С отцом говорю.

– О, мама моя тоже тут. Карга старая. Копает.

Прям по Высоцкому все. Наши мертвые нас не оставят в беде.

Реджи среагировал как надо, как никто никогда не

реагировал. Он был крысой, и он понимал меня, как может понять только зверь одного со мной вида.

И я знал, что так здесь поймет меня каждый. Я мог подойти к любому и сказать, что мой мертвый отец рядом, что он здесь, со мной. Почему-то это было важно.

– Тебя есть кому съесть? – спросил вдруг Реджи.

– Нет. Маяться буду. Но в России у меня много родственников. Вообще в бывшем Союзе. В Белоруссии, в Украине. Я, правда, не думаю, что им сообщат.

– Если чего случится, я их найду, сошлю тебя.

– А у тебя есть кто?

– Племянница есть, четырнадцать лет ей.

– Слушай, а если она меня сожрет, я ей буду являться?

– Ну, будешь, только какая от этого радость, она ж не семья.

– И то правда. Не семья.

Я глянул на отца, он криво усмехнулся.

Скоро. Ну да. Я и сам это чувствовал.

– А занимаешься-то ты чем?

– Да кокаином, – сказал я.

– Вот чего, какое дело.

Почему-то мне казалось, что об этом можно говорить, что здесь говорят всё.

– А ты? – спросил я.

– Да фермер я. У отца вот маленькая шахта была, на берегу Уорриор-ривер, это в Алабаме. Но теперь она заброшенная стоит.

Мы поглядели друг на друга, взгляд Реджи стал еще ярче.

Да, скоро, все как сказал отец. Я чувствовал темноту, этот ужас, и все его чувствовали, по нашему, так сказать, котловану прокатилась не волна, а целое цунами напряжения.

Под тонким слоем земли, совсем недалеко, спала дрянь, которую невозможно себе представить.

Знаете, почему меня не мучили воспоминания о темноте все эти годы? Потому что даже в памяти ее почти невозможно воспроизвести, и все, что я могу сказать сейчас, – лишь отблеск, искорка от того темного огня, от моих шестнадцати, от моих двадцати девяти.

Наконец под чьей-то лопатой обнажилась наша смертная темень, я весь задрожал, ощущая ее; хотя я не обернулся, не посмотрел, меня уже не переставало колотить.

Реджи сказал:

– Ну, поехали.

И он воткнул лопату в землю, нервно сплюнул. Я знал, сейчас каверна будет перед нами. И я не хотел показаться трусом.

Взял, значит, свою лопату и копнул глубже. Так глубоко, что

ужас взял. Я почувствовал ее, Господи, лезвием лопаты. Откинув землю, я увидел весь ужас земной.

– Только сначала страшно, – сказал Реджи, утирая непроизвольные слезы. Где-то позади нас раздался вскрик отвращения. – Главное, копать дальше. Верхний слой снимаешь, а потом вгрызаешься в землю опять. Ее тут много, вот и придется поработать.

Казалось, Реджи говорил так медленно, чтобы оттянуть неизбежное. И я, повинуясь какому-то странному куражу, способному переломать даже вселенское отвращение, первым склонился к темноте.

Мне стало тяжело дышать, не от болезни, а еще от самой невероятности этой штуки здесь, в земле.

Вся темная плесень снаружи ничто по сравнению с ранами внутри.

Она была огромной, теперь я чувствовал это еще отчетливее. Я коснулся тьмы пальцами, покачался, чтобы не упасть туда, откуда нет возврата, а потом что-то во мне включилось, что-то, что все эти годы простаивало без дела, и темнота вошла в меня сквозь кончики пальцев, занырнула мне под ногти, и в нос ударил жар, глаза заболели.

– Неплохо, – сказал Реджи, а я утирал слезы, меня так тошнило, и все-таки я снова взялся за лопату.

– Спасибо.

Это странное дело, но теперь, много лет спустя после моей первой каверны, все казалось легче от того, что вокруг было столько моих собратьев. Иногда так бывает, что держишься на гордости, на желании доказать, что ты не трус, не лох, не слабак.

Этот ужас, разрыв в теле Вселенной, источник всех страхов, оказался во мне, и я немедленно ощутил себя больным.

Но я работал, потому что работали все. Коллектив – великая сила, это надо признавать. Ее нельзя недооценивать.

Реджи сказал:

– Работаем, работаем.

Он больше себя убеждал. Разговоры, которые разносились тут и там, тут же прекратились, так что слова Реджи в этой тишине прозвучали громко, почти повелительно.

Только теперь я почувствовал, как замерз под дождем, до того работа разогревала меня и я не обращал внимания на то, что до нитки вымок, на то, что совсем продрог.

Теперь меня знобило, и мир вокруг потерял защитную пленку, я стал таким чувствительным, легчайший порыв ветра продирал меня до костей.

– Так, – сказал я, вгоняя лопату в землю, чтобы добраться до

нового участка каверны. – Молодец, Боречка.

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит.

С другой стороны, в определенном смысле было намного легче, когда я делал это в первый раз. Каверну не нужно было раскапывать, я получил много тьмы, но в один заход. Впрочем, я не был уверен, что если бы мы сначала раскопали каверну, мое тело смогло бы принять столько одномоментно. Нужно было довериться инстинктам, а инстинкты вопили мне о том, что я должен продолжать копать.

Мы все заболели, этого словами не передать. Были веселые, счастливые, делали свою работу, без устали копали, а тут все смазалось, и я уже не знал, чего мне надо.

Хотелось, вот как, торт-мороженое, хотя у меня уже немилосердно болело горло. Этот воображаемый торт мне очень помогал, я представлял, как его покрывают мастикой и как украшают кремом, как под коржом притаился слой мороженого.

Не думай о том, что за пределами твоего понимания, Боря, не думай о том.

Думай о торте.

Чем дальше, тем хуже я себя чувствовал. Реджи рядом кашлял, сплевывал мокроту, у меня из носа текла кровь, перемешанная с соплями, раскалывалась голова. Вот будет отстойно, подумал я, если это натурально новая чума и я буду весь в бубонах.

Почему-то меня не волновала смерть, я о ней не думал, как-то я отупел в этом плане, в голове и в теле у меня было столько ваты, а торт-мороженое занимал все мысли, по крайней мере, я очень старался.

Я был вместе со всеми и вдруг остался один. Кто-то падал, поднимался, снова копал. Я уже не видел кто. Передо мной была цель, я чувствовал жар плеча Реджи, и на этом сигналы из внешнего мира заканчивались.

Самое удивительное, что в этом концлагере, где я, возможно, буду работать, пока не сдохну, я оказался добровольно. Вокруг нас не стояли немчики с автоматами и злыми собаками.

Я даже не знал, идет ли дождь, мне было абсолютно все равно, я онемел. Дыхание мое стало хриплым, пугающим, я почувствовал, как от головы отхлынула кровь, мне едва удалось не упасть в обморок.

Я ужасно не хотел опозориться, рухнуть на колени, к примеру.

Я копал и собирал тьму, собирал тьму и снова копал, стараясь ни на секунду не задуматься о том, что я могу уйти, если захочу.

Кто-то уходил, правда. Выходили, шатаясь, из ямы, иногда больше не возвращались. Можно было позволить себе отдых, кто запретит-то?

Но я сам себе даже думать об этом не давал, я знал – поднимусь наверх выпить горячего кофе или пожевать чего-нибудь, и все, адьос, Уолтер. Как в песне поется: если все такие суки, пусть я тоже буду блядь.

А я ведь пришел сюда для того, чтобы победить, не меньше. Никаких там американских «сделай или умри», ты просто сделай, Боречка.

Смешно, но со временем стало легче. Чем больше тьмы я принимал в себя, тем больше меня выключало из реальности, температура росла и росла, губы потрескались, ломило в теле каждую косточку, но уже сложно было сосредоточиться на себе самом.

– Что? – хрипло выдохнул я. – Ты как, Реджи?

– Херовато, – ответил он, сплюнув розовую слюну, в уголках губ у него собралась пена, как у бешеной собаки.

– Ага.

Этого простого диалога мне хватило, чтобы реальность хотя бы ненадолго перестала ускользать. Иногда так оно важно – просто почувствовать рядом живое, думающее существо.

Теперь я уже не мог себе представить, как копал, не уставая, все это время. Каждое движение превратилось в подвиг, работа у нас у всех продвигалась медленнее.

Темнело, а может, мне так только казалось.

Я почти ничего не соображал, все было таким тягучим, вязким, я делал шаг, наваливаясь на лопату, и мне казалось, что я преодолел километр. Самым сложным было склоняться раз за разом к темноте и собирать ее.

Вот это жатва, вот это колхоз – всем колхозам колхоз.

Мне хотелось, чтобы рядом оказалась мамка, чтобы она спросила, страшно ли мне.

И я ответил бы:

– Просто кошмар.

Мне так хотелось, чтобы меня, бедного, больного, пожалели. Я бы снова приложился к ее коленкам, к подолу ее платья, пахнущего миром.

Но рядом – уже никого, отец исчез, мамки и не было, дяди Коли – тоже. Даже Реджи как-то отдалился.

У меня перед глазами то и дело возникали картинки, то белый как сахар песок на пляже Санта-Моники, то высокая, мне, малышу, по макушку, трава за Снежногорском. Мне пахло морем и пахло полем. Золотая трава, неяркие цветы на тоненьких

стебельках, особый запах напитанной земли – я был так далеко от Снежногорска, но природа его вставала передо мной с невероятной точностью.

Я куда-то шел, но не мог понять куда. Нет, я не шел, я почти летел. Надо мной быстро передвигались облака, и я был маленький-маленький, в том возрасте, когда все они еще кажутся кораблями.

Я как бы раздвоился. Один я, состоявший как будто только из тела, копал и собирал темноту, не нуждался ни в каком высшем руководстве. Другой я, возможно только разум, куда-то двигался, что-то искал, о чем-то беспокоился.

Я завидовал спокойствию своего тела. Оно не боялось гибели.

Я думал о похожих на леденцы трубах теплостанции, за которыми начиналось поле. Желтое, зеленое море колыхалось передо мной, я нырял в него, ощущая движение в нем – каждого жучка, каждого клещика.

Все дышало ветром, шевелилось, стремилось жить. В крошечных норках обитали мышки, летели к цветам пчелы.

– Пчелы, осы и шмели – родственники? – спросил я у мамки.

– Но очень дальние, – ответила она. Мамка у меня была крошечная, но тогда она казалась такой высокой.

– Мама, почему у меня так болит голова?

– Потому что ты уже взрослый и на самом деле ты где-то далеко.

Ну да. Я уже взрослый, а мамка давным-давно мертва, уже и памяти нет, сколько лет. Я знал это.

Но в то же время поле, по которому я шел, было абсолютно реальным. Или, если поле дикое, оно как бы луг? Поляна?

Мы с мамкой нырнули под сень леса, где-то журчала речка, и я потянул мамку вслед за звуком.

– Я не боюсь, – сказал неизвестно зачем.

– Бояться не надо. Ничего страшного в жизни нет.

Речка оказалась тоненькой, маленькой, через нее перекинули деревянную дверь, покрашенную серебристым лаком. На ней блестела от солнца цифра «19».

Я наступил на дверь, она прогнулась под моей ногой, совсем размокла, грязная вода хлестнула подошвы моих ботинок. Секунда, и вот я на другом берегу, на маленькой кочке. Вокруг было какое-то болото. Мама сказала:

– Тут можно утонуть. Возьми палку.

Я нагнулся за палкой и увидел, что по моей штанине вверх ползет длинноногий паучок.

Открыл глаза и понял: снова пошел дождь. Он хлестал по мне с утроенной силой, дно ямы выстелила вода, но тьму она скрыть

не могла, оттого казалась черной, блестящей, а не грязно-коричневой, как ей полагалось.

– Реджи, – хрипло позвал я. Он глянул на меня, глаза у него были красные, почти слепые, голубая радужка тоже в крови, такого я вообще никогда не видел.

– Я нормально, – сказал он. И переспросил: – Я нормально?

– Нормально, – ответил я одними губами. Мне так не хотелось его расстраивать. Я уже знал, что он умрет. Вот так вот.

Как все было серьезно, ой.

– Реджи, ты держишься, – выдавил я из себя.

– Ну, спасибо, – сказал он, и сил у него словно бы прибавилось.

Реджи поудобнее перехватил лопату дрожащей рукой и наклонился к темноте.

Я выпрямился и оглянулся.

Далеко не все стояли на ногах. Я видел лежащих в грязи, их было человек десять-пятнадцать. Какие-то мужички-собачки спускались вниз, чтобы забирать тех, кто больше не может работать.

Вместо страха пришла гордость. Вот он я какой, не самый слабый, это уже точно.

Тут в мою щеку кто-то уткнулся горячими, сухими губами.

Как там звать-то ее, господи? Я тогда и не вспомнил сразу. Это была та Мисти-Каролина. Казалось, она стала еще тоньше, еще призрачнее. На шее у нее высыпали мелкие гнойные пузырьки, словно дозревшие прыщики.

– Больше не могу, – сказала она. – Но тебе – удачи.

И снова звонко поцеловала меня в щеку, как первоклассница.

– Тебе – удачи, – сказал я. – Тоже.

Но она мне не ответила, даже не обратила на мои слова внимания. Каролина уже брела наверх, дрожа и шатаясь, казалось, будто она идет с закрытыми глазами. Кто-то из песиков помог ей выбраться из котлована, и только тогда Каролина обернулась ко мне. Я так и стоял с лопатой в руках, глядел на нее во все глаза. А она помахала мне каким-то необъяснимо, почти предсмертно бодрым жестом.

Ну, стоило вернуться к работе.

Казалось, все это не кончится никогда. Время даже не растянулось – оно раскололось, и я застрял в каком-то его осколке. Цикличные движения полностью меня поглотили, раз за разом я повторял одну и ту же последовательность действий, словно компьютерная программа.

Белый как сахар песок Санта-Моники. Поля, поля, поля, короткое лето усеяно хрупкими, блеклыми цветами.

Тут мне пришло решение: буду жить – вернусь в Россию. Хотя бы краем глаза посмотрю на то, что сердце мне так тревожит. Прикоснусь к земле, на людей посмотрю, свой язык услышу на всей улице, во всем городе.

Все я там любил, сколько бы лет ни прошло, оно во мне было живо.

Мне хотелось счастья на своей земле, счастья своей земле, счастья вообще, на Земле. Я думал об этом, и боль, хоть чуточку, но отступала.

– Не надо бояться, – сказала мама. – Нет ничего страшного.

Ее голос шел из ниоткуда, он вселил в меня уверенность, что в мире есть нечто, что больше темноты.

Отчасти весь я обезболился, хотя я и чувствовал, как хлещет из носа кровь, как легкие разрывает кашель, как всего меня колотит почти в припадке.

Надежда, у меня была надежда. Я знал, что это закончится. И я знал, что буду жить.

Блеклые цветы, желтые поля, маленькая речка, над которой, как мостик, дверь.

– Куда она ведет, мама?

– Под землю, малыш.

Копай, копай, грызи, сука, ужасы земные. Сколько я от тьмы бегал? А не так все страшно.

В самый-самый момент ничего не страшно.

Я уже не знал, как продвигается работа. Передо мной всегда был только маленький клочок земли. Зрение так сузилось, я словно бы снова перестал быть частью целого и дрейфовал теперь умирающей клеткой по чьему-то огромному организму.

Я увидел, разве что, как падает Реджи. Он еще попытался удержаться за воткнутую в землю лопату, но не смог, ладони проскользили по черенку. Почему-то мне стало плохо от того, что Реджи занозил себе руки. Вот такая странная эмпатия.

– Ребята! – крикнул. – Ему нужна помощь! Эй, песик!

Ничего толком не понимая, я свистнул, потом наклонился к Реджи и приподнял его, чтобы он не захлебнулся, потащил на себе. Кто-то принял его у меня из рук, и я зашатался, словно без своей ноши ничего не весил и готов был взлететь.

Нет, ну серьезно, это сейчас мне кажется – ад реален, а тогда я стоял под дождем, запрокинув голову, и старался остановить неудержимо кружащийся вокруг мир.

Рядом со мной лежал мужик, чьего имени я даже не знал. И он абсолютно точно был мертв.

Для чего мы это делали?

Я вернулся на свое место, поглядел на темноту, которую не

успел собрать Реджи, наклонился к ней и надавил на тонюсенькую мембрану кончиками пальцев.

Раз – и это во мне, не дает дышать, жжет глаза и болит в каждой клеточке.

Я знал, что угроблю свое здоровье, что, может быть, теперь я проживу лет на пятнадцать меньше, чем мог бы. Но я покупал себе счастье.

Мама мне кое-что сказала, хотя я и не видел ее, голос раздался прямо у меня над ухом. Так вот, мама сказала:

– Какой ты сильный, Боречка. Я горжусь тобой.

И как любому мальчишке в любом возрасте мне захотелось оправдать мамину похвалу. Я продолжил работу.

Перед глазами темнело все сильнее, но я копал. А вдруг, думал я, мы не закончили и половины?

Одно пугало меня по-настоящему сильно, даже больше, чем смерть. Неужели, думал я, все эти усилия, все эти жертвы, вся эта любовь, все эти боли – могут оказаться тщетными?

Нет, я не верил.

От кашля все мои органы ходили ходуном, к горлу подкатывала тошнота. Кого-то рядом сотрясало в спазмах рвоты, сновали вокруг серьезные псы.

Жизнь продолжалась, и продолжалась уже как-то без меня.

Я снова воткнул лопату в землю, почему-то мне стало очень смешно, я смеялся и смеялся, хватая ртом воздух. Наверное, так сходили с ума средневековые хореоманы, того и глядишь захочется плясать, может даже петь.

Хорошие люди. Тут болели и гибли хорошие люди. Или даже пусть и не хорошие, даже пусть и не совсем люди, но самое ведь главное – неисчезающая трагедия живого, мыслящего существа. В этом смысле все мы просто отличные, все мы заслуживаем жалости.

Передо мной возник отец.

– Боря, – сказал он. – Боря, все пройдет. Тихо-тихо.

Отец поцеловал меня в лоб, и я с удивлением увидел, что мы с ним одного роста.

И не заметил, как вырос.

И не заметил, как вырубился.

Глава 27. Скучно в больничке

А вот когда папка в больнице лежал в самый первый раз, ему как раз после этого в Афган-то запретили, он там буянил.

Они с соседом, как пришли в себя, так начали воровать спирт, бухали как скоты, а медсестры с ними сладить не могли. Дядя Коля все папу навещал, возил ему фруктов, хотя отец просил овощей на закусь.

– И привези макарон, – говорил он. – Мы их на кипятильнике сварим, сахаром посыплем. Заебала каша, жить так нельзя.

Привезли в больницу из дурки подлечить психического, так папка и с ним задружился, вот его не обижал, а всем остальным от него был просто пиздец.

Короче, но суть не в этом, а в том, что однажды отец мой, невысокий, тощий паренек, избил другого больного, боксера с пневмонией. И, конечно, у папки была фора, потому что боксер поступил попозже и еще не подлечился, но, господи боже мой, как отец собой гордился.

Его потом чуть вместе с психическим в дурку не отправили, папка почему-то упрямо плел, что боксер оскорблял честь Советской армии. Что он подразумевал под этим, никто так и не узнал. Могли бы и отправить в дурдом, но опять у него поднялась температура под сорок, так он и пролежал еще неделю в соматической больничке, а потом замяли.

Дядя Коля его однажды спросил, выкладывая на стол пачку макарон:

– Ну зачем ты, Виталик, это сделал?

Больной ты урод, вот что, наверное, хотел сказать дядя Коля, но внутренняя мягкость, какая-то пухлая нежность его души не позволили ему.

– Скучно в больничке, – ответил отец.

Что до меня, в конце концов это ж моя история, то я выдержал. Ой, это главное на самом деле. Очнулся я через две недели. Ну, через сколько – об этом я позже узнал, а тогда открыл глаза и – ба, белый свет!

Я ничего не помнил о том, как валялся в больничке, мне прям мозги выжгло. Тяжело было приходить в себя – все давило, все совершалось с неимоверным трудом. Глаза открыть и то беда.

Но как я был счастлив. Вот он я, лежу значит, чувствую боль, чувствую радость, чувствую, что горло будто наждачкой выскребли. И как же это охуенно.

Понимаете? Это нужно понимать, я хочу нормально объяснить, это важный опыт, и все такое.

Мне была приятна даже боль. Даже тошнота. Даже ужасающие своей силой тиски, сжимавшие мою голову. Бля, я весь состоял из неприятных ощущений, но в тот момент я ценил их превыше неземных удовольствий.

Вот у Босха есть «Сад наслаждений», а у меня был «Ад наслаждений». Обхохочешься просто. Ну да.

Как было хорошо. Вся палата – белая-белая, на двери болтался рождественский носок, совершенно пустой. Да хер бы с ним, свой лучший подарок я уже получил.

Я еще ни о чем не вспоминал, ничего не понимал, я был переполнен каким-то животным восторгом, радостью узнавания. Мир был у меня как на ладони. Словно Адам, я мог всему дать имена.

Только через полчаса меня хватило на то, чтобы добрести до сортира и познать это великое счастье в жизни человека – мочиться самостоятельно. Я надолго замер у зеркала, никак не мог понять, сплю я или нет.

На меня смотрел отец. Волосы и глаза темнее, конечно, а в остальном – все то же. С меня сошел весь лоск, я отощал еще сильнее (казалось, куда бы), выглядел больным и изможденным, проявилась во мне наша мученическая порода, а вместе с ней и какая-то странная жесткость.

Я прислонил голову к холодной поверхности зеркала.

– Привет, – сказал я.

Хотелось выпить, вот чего хотелось. В остальном все было по-своему идеально.

Тут меня разобрал приступ такого кашля, что почти сразу ко мне забежала укутанная по всем правилам медицинской этики и эстетики медсестричка (волосы, маска, перчатки, все прочее). Так я понял, что нахожусь в инфекционном отделении.

А ну и правда, где бы еще? Тут запутанный клубок моих воспоминаний о котловане прибило обратно к берегам реальности. Что было после, так и осталось скрытым во тьме, ну и ладно. Не жалко.

Через пару дней пахнущая лисицей врачиха (главная, как потом выяснилось) с почетом перевела меня в терапевтическое отделение, не похожее на постапокалиптическую антиутопию. Она была обаятельная итальянка чуточку за пятьдесят, смешно морщила нос, когда говорила о Уолтере, и ее красивые, почти красновато-карие глаза напомнили мне об Одетт. Так что она мне сразу понравилась, эта лисица.

– Пришлось, конечно, подменить некоторые анализы. Официально вы переболели совершенно обычным гриппом.

– Даже не «Калифорния»?

– Абсолютно точно не «Калифорния», – она улыбнулась. – Вы не представляете, каких трудов мне стоило сохранить всех моих пациентов-крыс в тайне.

– Но оно того стоило, – сказал я. – Не благодарите.

– Поблагодарю.

Она легонько сжала мое плечо рукой.

– Вам по крайней мере полагается двойная порция десерта.

– Ради этого все и затевалось.

Я только улегся в своей новой, прекрасной постели и принялся отвыкать от двух навязчивых запахов инфекционного отделения: гноя и антисептиков, как ко мне пришел Уолтер.

– Я рад, что вы живы, мистер Шустов.

– А если б я умер, какая б история вышла красивая, а?

– Я благодарен вам за вашу помощь.

– Все закончено? Каверна, что с ней? – неожиданно для себя выпалил я.

Это и первое, что я должен был спросить, и последнее. До секунды, когда из меня вылетел этот вопрос, я вообще не думал о том, закрыта ли каверна.

– Уничтожена. Это была тяжелая работа, но вы с ней справились. Насколько я знаю, других каверн такого размера на данный момент не существует.

– И пока их не появится, – сказал я, – ты меня не увидишь.

Мы с Уолтером смотрели друг на друга. Он так и стоял, очень прямо и очень спокойно, выправка у него была идеальная, самоконтроль тоже. Ни словом, ни делом он не показал, что я его заебал.

– Но, – сказал я после паузы, кстати, совершенно искренне. – Звони мне, если вдруг найдется еще такая хуета.

– Если найдется, мистер Шустов, вы о ней узнаете скорее меня.

– И то правда.

Мы снова немного помолчали.

– Ваши близкие, – сказал Уолтер. – Они очень вас любят. Столько навязчивых звонков я не получал даже от страховых компаний.

Ой, много чего у него не было, а чувство юмора было. Я засмеялся.

– Тогда скажите им, что меня уже можно посещать.

– Уже сказал.

Я ожидал, что тут, как в кинце, ворвутся в палату мои друзья, но вместо этого опять неловкая тишина. Наконец Уолтер сказал:

– Я их позову.

– Слушай, почему я вообще общаюсь с тобой, если тут мои

друзья?

Уолтер молча повернулся и пошел к двери. Прям вот так: развернулся и пошел, все очень акцентировано, будто он был робот и каждое движение являлось частью алгоритма, заданного программистом, и Уолтеру совершенно безразличного.

Когда Уолтер открыл дверь, я сказал:

– Эй!

– Да, мистер Шустов?

– Ты хороший человек. Ты не убивал моего отца.

Уолтер поглядел странно, куда-то поверх, куда-то в сторону от меня.

– Я знаю, – сказал он.

Но меня не проведешь. Я его удивил.

Минут через десять ко мне поднялись Мэрвин, Марина, Андрейка и Алесь.

– Господи, как ты так умудрился? – говорил Андрейка. Под его рубашкой проступали бинты.

– Понятия не имею. Иммунитет ослаблен.

– Были вопросы про?.. – Андрейка хлопнул себя по боку.

– Если и были, то я их не помню. Надеюсь, я не отвечал.

– А если отвечал, – сказал Мэрвин, – то врач, как и священник, сохранит тайну исповеди.

– Уж ты поляк, ты знаешь, – засмеялась Марина.

А я внимательно смотрел на Мэрвина. Выглядел он хуево и хорошо одновременно. Ему было как бы дурно – темные тени под глазами, руки потряхивает, но в то же время по какой-то причине он был собой доволен и странно спокоен.

Долго-долго они выспрашивали все о моем самочувствии, без меры я заебался, пытаясь выдать происходящее за обычный грипп с осложнениями.

– Пневмония, да-да-да. Кошмар вообще.

Ну и все такое.

Потом пошли вопросы о том, где я был. Ну, я честно все выдал, мол, переоценка ценностей, просветление, отшельничество, да и просто в больницу загремел. Ой, смешно, конечно, нашел я место об этом сказать. Значит, я думал, опять будут вопросы, а отвечать мне на них не хотелось. Спас меня Андрейка, когда вдруг сказал:

– Ты приколись! Я тогда чуть не умер! Короче, сели мы в тачку, и тут Алесь ее останавливает…

– Нет, – сказал Алесь. – Мы немного даже проехали.

– Ну да. Короче, метров пять. Останавливает он тачку и такой: пиздец, я на «Баззфиде» читал, что травмы в плечо куда опаснее, чем кажется, и вообще после них редко выживают. И он

давай меня перевязывать, ну, как умел. В итоге мы поехали в Пасадену, ну, куда ты не доехал. Пиздец, у меня так сознание утекало, это жесть. Короче, сказали: еще полчаса, и я бы все, откинул бы коньки.

– На «Баззфиде» он прочитал.

– А ты и там про это не прочитал, – своим обычным, от всего далеким тоном ответил Алесь.

– Нет, ну ты приколись? Чуть не умер!

Тут он хлопнул себя по лбу, я увидел у него на пальце золотое кольцо, Марина тут же продемонстрировала мне свое.

– Как вышел из больницы – тут же поженились, – сказала она. – Я подумала: зачем ждать полгода? Перепугались мы, конечно, ужасно.

– Так перепугались, – сказал Мэрвин, – что сделали Алеся свидетелем.

Я показал Алесю средний палец.

– Сам такой, – ответил Алесь.

Сейчас уже и не вспомнить, о чем мы тогда говорили, но смеха было много. И я не пожалел, значит, ни об одном кусочке своего легкого (а какие-то его части я, по словам своей любимой итальянской врачихи, потерял), ведь я сейчас здесь, с моими друзьями. И повторись все снова – я сделал бы тот же самый выбор, к черту мои легкие.

Оно все настолько того стоило, вы не представляете.

Когда Андрейка и Марина уже вышли, Алесь вдруг сказал:

– Ты молодец.

Я ничего не ответил, но никаких ответов он не ждал. Не до них ему было.

А Алесь меня просто не понял. Он думал, что я как отец. А я был лучшей версией своего отца. Я хотел жить.

Как только мы остались с Мэрвином вдвоем, он сказал:

– Пиздец, я бы тебе въебал за такое, ты вообще нормальный?

– В смысле, за каверну?

– Да хер с ней, с каверной. Хер с ней, правда. Ты вообще мог дать мне знать, что не умер?

– А с тобой что было?

Мэрвин недолго помолчал, вскинувшись, от него искрило, но уже через полминуты он снова заговорил:

– Короче, бля, я был как мудак. Хорошо, что я в таком состоянии слишком тупой, чтобы к людям выйти. Бродил по обочине, ловил ящериц, хавал их.

– Бошки им отгрызал?

– Точно. – Мы засмеялись. – Но это меня правда спасло. Когда Алесь приехал, я на него набросился. У него теперь шрам такой

на шее.

– Ты Дракула вообще.

– Это точно. Но мне уже немного надо было. Знаешь, что было бы, если бы кто-нибудь остановился? Остановился, чтобы мне помочь.

Мы помолчали.

– Прости.

– Да это ты меня прости. Я рад, что ты жив. Я чуть с ума не сошел. Думал, может, я тебя убил и не помню. Приколись?

Он снова засмеялся, чуть более нервно.

– Прикольно было бы.

– Да не очень. Короче, я завязываю. Закупил себе долбаные литры крови и спал неделю. Теперь не так тянет, чем больше я сплю, тем меньше крови нужно. Твой первый совет в итоге был лучше, ну, когда ты предложил просто перебороть себя и спать.

– Ага, я знаю.

– Но второй – говно.

– Обожраться донорской крови и сойти с ума? Не надо было им пользоваться.

Мы с Мэрвином сидели рядом на больничной кровати и смотрели на заходящее солнце. Все стекло облило красным, казалось, будто мы смотрим на мир сквозь драгоценный камень.

– Хорошо, – сказал я. – И как?

– Ну, страшно. Лучше, чтобы страшно было там, чем чтобы страшно было здесь, а? Жизнь научила.

Мы долго не разговаривали. Вот она – дружба, полчаса мы молчали, пока заходило и когда зашло солнце. И было хорошо, как в раю, хорошо и спокойно.

– А мы ведь делаем, – сказал Мэрвин, – то же самое, что и все звери до нас.

– Но по-своему, – ответил я.

Мэрвин ушел от меня только еще через полчаса, хотя больше мы ни о чем не говорили, просто смотрели, как в мутном небе Лос-Анджелеса вместо звезд периодически подмигивают самолеты.

Как, мать его, ежик с медведем, только без малинового варенья. И еще непонятно было, это который из нас потерялся в тумане, последовав за красивой белой лошадкой.

Такой очень долгий день. Время посещений официально уже закончилось, когда ко мне пришла Эдит.

Она тут же подошла к окну, раскрыла его и выглянула вниз.

– Темно, – сказала она, а потом закурила.

– Маленькая бунтарка.

– Хочешь?

И я вылез из постели, присоединился к ней. Мы теснились у окошка, прикрывая красные огоньки сигарет. Я почувствовал себя ребенком, и это было освежающе, прекрасно. И хотя меня то и дело хуярил очередной приступ кашля, оно того стоило.

Я как-то скоропостижно понял, что время – это херота, что я всегда могу вернуться туда, где я был маленьким, в те ощущения и чувства. Я рассказал об этом Эдит, и она задумчиво кивнула.

– Понимаешь? – сказал я. – Я могу в любой момент попасть туда, где мы с тобой познакомились. Стать тем человеком. Не страшно меняться, ты всегда остаешься собой. И все, что ты пережил – твой багаж. Это не какая-нибудь ебучая река, господи, это озеро, и оно все больше, больше, но я всегда могу туда нырнуть.

– Мне нравится твой настрой.

Эдит смотрела на меня внимательно, словно я в любой момент мог исчезнуть, и она очень старалась сосредоточиться, чтобы удержать мой образ.

– Ты – прекрасный друг, – сказала она. – Я счастлива, что ты жив. Я думала, что я больше не боюсь, что мне все равно. Это не так. Я боялась. Боюсь. И поэтому я живая. Наверное, это хорошо. С сомкнутыми устами, решительно, но осторожно вступим в эпоху пляшущего огня.

– Мэрвину почитай.

– Почитаю. Мы поедем в бар. Обсудить это все. Не уверена, что этот опыт можно вербализировать, но я попробую. Я хочу привести тебе еще одну цитату. Из Жижека.

– Так начинались худшие выходные в нашей жизни, ты помнишь? Водка с фейхоа, похмелье размером с Болгарию.

– Помню. И все-таки слушай: подлинная этическая позиция замещается морализирующей математикой вины и ужаса, которая упускает суть: ужасная смерть любого человека абсолютна и не подлежит сравнению.

– Хорошая цитата.

– Я знаю. У меня отличный вкус. Ты ведь понимаешь?

– Понимаю. И я не собираюсь медленно убивать себя, как мой отец. Я не буду чистить каждую встреченную каверну и надеяться, что мир оценит мою жертву. Просто я могу защитить тех, кого люблю.

– И я хочу, чтобы ты всегда помнил то, что сейчас сказал.

Она щелчком отправила сигарету вниз и украдкой поцеловала меня в лоб.

– А теперь поменьше эмоций. Она пошла за кофе.

– Кто?

Спросил – и тут же сам понял.

– Что ты на меня смотришь? Думал, она не придет?

– Думал, – честно ответил я.

– Плакала над твоим письмом. Но тебе не скажет.

Эдит дернула уголком губ, это у нее было такое умиление.

– Завтра я заеду. Привезти тебе что-нибудь?

– Блок сигарет и апельсинов.

– Хорошо.

В этот момент я услышал ее запах (нос у меня был заложен, а то я различил бы его, еще когда она подходила к больнице, такой моей она была).

– Одетт, – сказал я.

Она стояла у двери, в руке у нее была надкушенная плитка шоколада.

– Боречка, ты в порядке?

– А ты как думаешь, малыш?

Никогда я не слышал, чтобы Эдит так называла сестру.

– Я вас оставлю, – сказала она. Проходя мимо, Эдит взяла у Одетт шоколадку, на ходу отломила кусочек.

– Ловко она, а? – сказал я, когда Эдит закрыла за собой дверь, а Одетт так и стояла передо мной, глядела своими оленьими глазами.

Ну же, давай, думал я, сделай еще хоть шаг ко мне, и я тебя уже не отпущу.

Одетт сказала:

– Я просто хотела увидеть тебя. Я и не представляла, что с тобой происходило.

– О, я-то жизнь повидал.

И она, маленькая моя истеричка, расплакалась. Стояла, некрасиво утирая слезы кулаком.

– Я думала, что ты умрешь!

И тогда я сам подошел к ней, обнял.

– Ну-ну, ну тише. Все же хорошо. Умру, тогда ты плачь.

Она пахла этими невыносимыми органическими шампунями, остро и сладко, как индийский десерт.

– Я думала, что я тебя больше не увижу! А если и увижу, то в последний раз! Я думала…

Она тыкалась носом мне в ключицу, в плечо, это был такой открытый, беззащитный жест. Ой, я видел ее такой, не без этого, но никогда Одетт так сильно при мне не трясло. Разве что тогда, когда… Но об этом не надо и не сейчас. С этим еще долго и безжалостно бороться.

– Ну-ну-ну, хочешь одеяло?

– Ничего не хочу. Почему ты такой? Почему?

Тут у меня ответа не было. А почему все такие? Так вот оно

устроено.

Любовь устроена так, ну разве можно выбрать того, с кем будет удобно? Выбрал сердцем и маешься всю жизнь. Я в это верил, меня так научили.

Но тут я впервые понял, что не хочу маяться, не хочу, чтобы мы с Одетт маялись. Нам нужно было быть счастливыми.

И у меня не было ответов на простые вопросы: получится ли, стоит ли, возможно ли?

Все это лежало где-то далеко впереди. Но я знал, как должен был закончиться сегодняшний бесконечно долгий день. На самом деле знал, и это было освобождающим и прекрасным, как ничто другое в этом мире.

И я поцеловал ее. Как в кино, типа чтобы прям сразу пошли титры. Но не было ни темноты, ни буковичек. Губы у Одетт оказались соленые от слез и липкие от бальзама. Она наступила мне на ногу и прошептала, нежно-нежно, как только она и умела:

– Ты ужасный, ужасный, и я тебя почти ненавижу.

И, как ни странно, это было признание в любви.

Иногда, бывает, пострадаешь, а взамен тебе никакого счастья, ни капельки даже. А бывает, что все воздается.

Я глянул в окно, увидел подмигивающий огонек самолета на черном небе и подумал, может быть, Бог все-таки смотрит на нас.

Ну хотя бы одним глазом.

Глава 28. Даже воздух сладок

А сейчас будет не история, а мечта – большая, красивая.

Как-то мы сидели с папкой, он уже был глубоко болен, но я к нему еще не переехал. В ту ночь я очень боялся оставить его одного, он отчего-то нервничал, расхаживал из стороны в сторону, а иногда останавливался и замирал со странным выражением лица, отстраненным, как на иконе, совсем нездешним.

Ой, я тогда перепугался, а все еще страшнее в итоге вышло. Кто из нас все знает?

– Знаешь, – сказал вдруг отец, замерев у окна. – Я когда в Россию возвращался из командировок откуда-нибудь, это всегда такое было откровение. Прилетает самолет, вроде все нормально, когда много шляешься, кажется, будто вся планета одинаковая и такая маленькая. Я так про все думал, но как домой вернусь, мне даже воздух сладок. У всего призвук есть, привкус, все особенное.

– Березки обнимаешь?

Отец поглядел на меня, будь я помладше, отвесил бы мне, наверное, подзатыльник. Я знал, что получилось бы мощно даже несмотря на все его состояние.

– Да заткнись ты, Борь.

Некоторое время мы молчали, глядя на серп луны в окне, затем отец продолжил:

– Там всей моей душе хорошо. Вот я там, где должен быть, и ничего неправильного никогда не произойдет. Так, может, у каждого.

– Ну, хрен знает.

– Я имею в виду: у англичанина с Англией, у француза с Францией. Это больше жизни, больше любви. Такое огромное чувство, с ним можно жить вечно.

И неожиданно отец повторил с нажимом, с какой-то исступленной любовью и детским отчаянием:

– Думаю, там бы я жил вечно.

Всё планировали, но не доехали, а кто знает, как бы оно вышло? Ну, не вечно, но еще пару годков бы, а если б не пару годков, то, может быть, месяцев.

У него была мечта не пройтись по Москве, не поглядеть на питерскую черную речку Неву, не доехать до родного Урала, не приложиться к мамкиной могиле в Сибири, а только вдохнуть тот воздух.

Ну, вот такая штука жизнь, у тебя надежды и чаяния, а у нее карты, с которых она тебя играет. Прав до какой-то степени

Мэрвин.

В больнице время бежало стремительно, хотя, казалось бы, я ничего не делал и все должно было тянуться резиной, жевательной конфетой. Каждый день ко мне кто-то заходил, всякую секундочку кто-то был рядом, а ночью от усталости мысль не ворочалась вообще.

Я так и не отдохнул, я куда-то спешил, еще сам не до конца осознавая куда. Быстро и смазанно скакали передо мной дни, как в мультфильме сменяли друг друга день и ночь.

В последний вечер перед выпиской (надо сказать, что я не чувствовал себя абсолютно здоровым и знал, что уже никогда не почувствую) Мэрвин спросил меня:

– Ну что, больше никаких ям?

Но я знал, что в мире, и хуже того – в Лос-Анджелесе, есть еще одна яма, которую мне необходимо раскопать.

После больницы все закрутилось еще быстрее, нужно было разобраться с делами, с документами, казалось, со всем в мире. Дни сплелись в краски и отзвуки, которым полагается мелькать в окне разогнавшегося поезда. Час за часом, все проносилось так быстро и одновременно казалось очень долгим, вечным, нерушимым, словно египетская пирамида.

Говорят, чем старше человек становится, тем быстрее для него течет время. Уж не знаю, насколько это правда, но если и да, то за тот год я окончательно повзрослел.

* * *

И вот мы дошли практически до финала. Я в Шереметьво, и время снова замедлилось. В тот момент я понял, что отец с самого начала был прав. Воздух был сладким. В самом деле. Может быть, я легонько поехал, но если и так, я это заслужил.

На меня навалилось, конечно, множество вопросов. А чем я буду здесь заниматься, что вообще за жизнь меня ждет? Смогу ли я устроиться на новом месте? Смогу ли часто ездить к друзьям? А можно ли перевезти их сюда, ко мне? Даже Эдит?

Я помахал рукой, отгоняя рой вопросов без единого приемлемого ответа.

Чем ты будешь заниматься? Ну, нам песня, это все знают, строить и жить помогает. А в другой песне поется: все на свете продается, если есть чего продать. Ну, не кокаином, так чем-нибудь легальным, Боречка, займись, стартовый капитал есть, мозги вроде тоже не все пропил. И тебя тогда назовут бизнесменом, а разве оно плохо?

Сможешь, сможешь устроиться, а не сможешь – так сдохнешь, в жизни все очень просто.

Затоскуешь – и сам поездишь к друзьям, и их сюда разведешь приехать.

А можно на этом свете все, прям вообще.

По-быстренькому я себя успокоил, погладил по голове, сам себе родитель, значит, и сказал новому другу моему, Мишане:

– Вот и родина, Мишаня, братан!!!

– Родина, привет тебе.

– Я бы приложился головой к землице родной, но они всю ее заделали кафелем. Проблематично человеку даже прикоснуться к родине, к его сердечной части. Не то что поговорить с ней.

Мишаня засмеялся. За одиннадцать с хреном часов мы с ним стали добрыми друзьями. Всю дорогу мы пили и говорили, ни минуты не спали. Мишаня тоже возвращался насовсем. Он был хороший, незлобивый мужик, хотел написать книгу об Иване Грозном, наверное, чего-то ему в жизни не хватало. Мишаня мне понравился сразу, и глаза его светились живо, и залысины блестели, словно это у него не голова, а какое-то интересное, наполированное инопланетное устройство.

Мишаня смущенно улыбался, был хорошо образован и переселялся к старенькому деду. Целые дни он собирался проводить в архивах, в пыльной, душной темноте истории.

– Интересно, – сказал ему я. – Интеллектуальная работа облагораживает даже самых опустившихся алкоголиков.

Пьянел Мишаня быстро, а пил немерено, так что из самолета я его по итогам вытаскивал. Бля, тащишь, бывает, пьяного товарища, и тут тебя поражает в самое сердце одна-единственная мысль.

Сладкий-то воздух.

И как я все это полюбил в ту же секунду, когда вернулся, это просто невозможно сказать. Нет, отец не увидел снова беспокойный аэропорт с расписанием рейсов на кириллице, не поглядел, как тут все изменилось, засветилось, запахло хорошим кофе, какой безжалостно-белый всюду был свет, как роскошно сверкали из окон вены и артерии дорог.

Отец этого не увидел. Но увидит.

Господи боже мой, мы не расстаемся ни с кем и никогда, все ненадолго, все не навсегда, и жизнь человечья лишь миг, но пусть захлопнет пасть всякий там пессимист, который скажет, что она – не вечна.

Мишаня сказал:

– У тебя такое возвышенное выражение лица сейчас, словно на картине.

– Такое и должно быть лицо у человека, встречающего, как любимую женщину, свою родную страну.

Я, конечно, стебался, но и серьезен был – одновременно. У всего в мире две стороны, и у моей России – тоже. Мне не терпелось увидеть длинные ряды одинаковых панельных зданий, праздничные трубы теплостанций и зеленые мусорные контейнеры, приоткрывшие голодные пасти. Я и это любил. Любил быстротечное, любил вечное.

Мишаня сказал:

– Стало быть, мы с тобой герои, которые после долгих странствий наконец возвращаются домой.

Он все это едва выговорил, едва исторг, и я похлопал его по плечу – за усердие.

– Как Одиссей, – ответил я задумчиво.

– Я бы мог быть Одиссеем, если бы Одиссея, – сказал Мишаня, – забрали родители, и он жил бы абсолютно нормальной жизнью, выучился в университете, а потом вдруг у него появилась бы идея! Вернуться в Итаку! Внезапная, страшная идея все поменять!

Я покрутил пальцем у виска.

– Ты слишком углубляешься в аналогии. Это для исследователя неполезно.

Мы пристроились в хвост очереди, люди доставали документы, глядели на себя в них, словно фотографии ни о чем им не говорили.

– Только беда, – сказал Мишаня, – заключается в том, что я совершенно не имею денег.

– Мне нравится твоя манера речи.

Трезвый Мишаня был пообычнее, но чем больше он в себя вливал, тем более вычурными становились его повадки.

– Я тебя подвезу, – добавил я. – У меня тут грузовое такси. Но ты тоже поместишься.

– Как много вещей из иной жизни ты везешь с собой!

– Ну да, достаточно. Харон бы докопался. Уж не знаю, что пригодится мне в новом мире, но слуги положили в гробницу многое.

– Между прочим, – сказал Мишаня важно, – у меня тоже имеются некоторые вещи.

– Ничего, уложим.

А мир и вправду был какой-то волшебный. За окном черные тени самолетов становились все отчетливее в занимавшемся рассвете, а внутри глаза резало от игры света в стекле и металле. Ровные квадратики ламп отражались в начищенном кафеле, в этом было что-то умилительно похожее на Запад, лакированное,

но свободнее, безалабернее.

Подошла моя очередь. Я сказал Мишане:

– Не буянь.

И сделал шаг за разделительную линию, попал в какое-то лиминальное пространство между явью и сном, предстал перед отделенным от меня толстым стеклом и невероятно сонным погранцом.

Может, конец его смены, а может, начало – я не знал. Все сегодня застыло на границе, на самой кромке между тем и этим.

Мужичок был печальный, задерганный, но с прекрасными, искренними глазами, хоть и на этом сонном, бесстрастном лице. Он, как полагается придирчиво, изучил мои документы.

– Борис Витальевич, – задумчиво сказал он. – Возвращаетесь, значит?

И я понял, что меня так еще никто не называл. Где-то, не рядом, но здесь, в аэропорту, я ощутил присутствие отца, его вечность и незыблемость.

– Все для этого сделаю, по крайней мере. В гостях хорошо, а дома лучше.

Печальный погранец улыбнулся мне уголком губ и проставил штампы прилета.

– Сейчас друг мой, – быстро сказал я, – подойдет. У него аэрофобия. Пьяненький. Вы его уж не ругайте.

– Идите, Борис Витальевич.

А там такая красота, такой простор, приквел для ошеломительности Москвы, какой я ее помнил. Так пахло магазинами и кафешками, пóтом, морем, привезенным с собой в духе одежды, скрытой в чемоданах.

Мишаню долго не мурыжили, отпустили. Я сказал:

– Ну, теперь иди приведи себя в надлежащий вид, смотреть жалко. Умойся для начала.

А вокруг была русская речь, не только, но хотя бы в основном. Я и отвык от того, как легко меня может понять прохожий.

Мишаня отправился в сортир, а я взял себе кофе в «Старбаксе» и некоторое время отупело наблюдал за шумной, неизменно кипящей в любое время суток жизнью аэропорта. Толпились приезжающие и уезжающие, плакали расставаясь, смеялись встречаясь. Меня затягивало в омут какой-то тоски, всегда сопровождающей суету, всегда стоящей за ней, и я достал телефон, подключился к шустренькому вай-фаю.

Я позвонил Одетт по скайпу, и она мгновенно ответила.

– Боренька!

«Боречка», это она всегда берегла для постели.

– Долетел, всё в порядке. Так соскучился по тебе и нашел нового друга.

– Хорошо ты долетел? У них что, и «Старбакс» есть?

– Ну, ты представь себе, какой-то дед после войны открыл, купив мешок цикория, – засмеялся я. – Волшебно просто долетел. Ты никогда не задумывалась над тем, что самолеты – это вообще волшебство?

– Ни секундочки, мне кажется, я с детства знала, как они устроены.

Она поглядывала то на меня, то на стол. В руке у Одетт была отвертка, она что-то мастерила.

– Так какие у тебя планы? – добавила она. Выражение лица у Одетт было и хитрее, и рассеяннее обычного.

– Неделю здесь, с квартирой разберусь, да и отец в Москве подольше побудет.

Она пожала плечами.

– Странно все равно.

– Ему нужно. Я, конечно, не думаю, что он восстанет в плоти нетленной, но разве плохо. Он любил этот город. Потом да, в Норильск, из него в Снежногорск. К мамке.

– Я завтра думаю начать подыскивать работку себе. Буду строить роботов-полицейских.

Она засмеялась, весело и открыто, а потом вдруг сказала:

– Я беременна.

– Что?

Не так я себе все это представлял, еще и скайп то и дело пускал помехи по моей Одетт.

– Вот так, – сказала она. – Я столько всего хочу! Это будет весело! Хочу отличную работу, отличного тебя, отличного ребенка! Поездишь по вашим техническим университетам и поспрашиваешь, ладно?

– Господи, Одетт, это прекрасно!

– Нет, – сказала она и подняла похожую на собачку железяку. – Это – прекрасно! Этот мой робот не стреляет лазерами из глаз только потому, что детям такое нельзя.

Я водил пальцем по экрану, улыбался и все еще не мог поверить. Я думал, что в эту секунду мы оба повзрослеем, но Одетт оставалась Одетт, а я оставался собой.

– Я люблю тебя!

– И я тебя люблю!

– Я имею в виду, у меня нет слов!

– А у вас там есть магазины комиксов? Пофоткай мне квартиру. Я буду хорошей матерью?

– Да самой лучшей.

Ой, бля, а каким мне суждено быть отцом? Я старался не думать об этом. Я знал, что в моей жизни все сложится правильно. Ну, иллюзия конечно, а какая славная.

Впрочем, это большой вопрос: можно ли прожить свою жизнь неправильно?

– Ты приколись, его можно будет учить читать по «Гарри Поттеру». Он хотя бы немного будет любить то же, что и я?

– Ну, первые несколько лет, наверное.

– Я не люблю пускать слюни и спать.

– Вот это ты прям хуйню сказала.

Я хотел, чтобы она оказалась здесь, со мной, но до этого техника пока не дошла.

– Меня, кстати, тут назвали Борисом Витальевичем. Так приятно.

– По второму имени?

– Это называется «отчество».

– Мило как. Позвони Мэрвину, а то он извелся, в России ты уже или где.

– Я люблю тебя.

Мне нужно было повторять это снова и снова, долго-долго, может быть, всю жизнь.

– Да я тебя тоже. Все хорошо?

Послышался противный скрип железа, Одетт снова глянула на меня, из-за некачественного, бледного изображения на лице у нее горели одни глаза.

– Лучше не бывает, только я устал.

И правда, все гудело в ожидании сна, звуки отдалялись и приближались.

– Тогда езжай домой и спи. Там есть кровать?

– Привезли. По-моему, только она и есть.

– А отец твой где?

– Там же, где и твой.

– Вот ты урод. Иди отсюда.

– Люблю тебя!

– Все, хватит, я тебя не люблю!

Мелькнула и исчезла, а я пялился в бело-голубой экран еще минуты три.

У меня будет ребенок. Сначала любая реакция казалась мне недостаточной, потом – излишней, а как в итоге все естественно вышло.

Я любил ее всем сердцем, а значит, у нас будет счастливый человек. Пусть мои родители не были идеальными, но они любили меня, и поэтому я сидел здесь, спасенный.

Минут через пять пришел Мишаня. Он был весь мокрый, по-

утреннему несчастный. Я как раз вызывал такси.

– Это кошмар, – сказал он. – Почему нужно за все расплачиваться такой дорогой ценой?

– Пошли, Мишаня, найдем ответ на этот и на другие вопросы. Надо получить гроб моего отца.

– Господи, мои соболезнования!

– Да десять лет прошло, можно без этого.

– Ты своего рода герой эпоса, Боря.

Но кто я был в самом-то деле? Скорее уже неправедный царь, и больше всего мне хотелось растратить нечестные деньги, а потом жить и жить чистым и счастливым.

– Этих слов мне сегодня не хватало.

Забрали вещи, забрали гроб. Мишаня разделил мою застарелую скорбь, помог.

Вот, отец, думал я, погляди, ты дома. Пусть ты не дышишь сладким воздухом, но верю, что где-то там знаешь – он сладок.

По дороге вдоль терминала туго продвигался поток машин. Люди опасливо глазели на гроб между чемоданов. Никто ничего не спросил, такие мы были неприкосновенные, неприкасаемые, в пленке скорби и горя. Мы стояли под все светлеющим небом, и я думал о том, как назову сына, как назову дочку.

Обычно у меня язык за зубами прям не держится, а тут я не спешил говорить Мишане, что моя женщина беременная, что мы поженимся и будем вместе навсегда.

Я еще хранил свою тайну ото всех на свете, там, за океаном, в моей Одетт, все это было таким хрупким.

Гудели машины, галдели люди, а мы с Мишаней стояли – он в тумане похмелья, я в тумане счастья и покоя, и впереди нас начиналась Россия, знакомая и незнакомая одновременно.

Я хотел попасть туда и все про нее понять. Поскорее, хотя, в каком-то смысле, у меня была вечность. Словно бы мамка встретила меня, вернувшегося очень издалека.

Было бы тупо, если бы я встал на колени и целовал заплеванный асфальт, но отчасти мне этого хотелось.

Мне и небо над Москвой успокоило сердце, сделало его легким, как перо. Я куда-то шел, шел все это время, чтобы оказаться здесь, и вот у меня была сладкая передышка, эти предрассветные минутки.

Пролетела по небу тенью заплутавшая, испуганная ворона.

– Плохой знак, – сказал Мишаня.

– А для меня – хороший. Для меня теперь все на свете хороший знак.

Люди садились в машины и уезжали в дома, которых я никогда не видел, но все они были мне родными да близкими.

Подъехал наш желтый фургончик. Водитель вышел, протянул мне руку:

– Игорь.

– Борис.

Игорь был крепкий мужик чуть за сорок, от него пахло медведем, а я думал, они все только военные, только генералы. Но про крыс, например, тоже много чего думают.

Мы понимающе поглядели друг на друга, потом на Мишаню.

– Михаил, – важно ответил тот, хотя его еще никто не спросил.

Игорь без удивления и вопросов помог мне занести гроб, потом мы закинули чемоданы, Мишаня, которого тянуло в сон, улегся позади, среди вещей.

– Все в порядке, мне нормально.

– Ну хорошо, что нормально, – сказал я. – Игорь, курят тут?

– Да, кури.

Сначала продвигались тяжко, мы едва тащились, но, отъехав от аэропорта, разогнались, и вот уже несемся в рассветную Москву между лесов, деревянных домиков и строительных рынков.

Я курил сигарету за сигаретой.

– Нервничаем? – спросил Игорь. В уголках глаз у него были смешливые морщинки.

– Да еще бы. И не представляешь как.

– Сочувствую горю.

– Да все уже, времени много прошло. Он бы просто хотел здесь лежать.

– Понимаю. Ты откуда возвращаешься?

– Из Америки.

А небо было глазурным-глазурным, ясным, и я знал – день разойдется отличный.

– Надолго? – спросил Игорь, задумчиво глядя на дорогу.

– Да как пойдет. Так-то навсегда.

– И правильно. Где родился, там и пригодился.

– Пригодиться-то можно где угодно, но сердцем тут хочу быть.

– Вот на МКАД выедем, сразу передумаешь, – засмеялся Игорь, потом стрельнул у меня сигаретку.

– И как тебя занесло-то так далеко?

Я глянул на Мишаню, похрапывающего позади. Лицо у него было детское, но все в тенях. Он обнимал гроб моего отца.

– Жизнь была интересная.

– Понтуешься, небось. Знаю я вашу жизнь.

– Потерпел и помер. Так, да не так.

Игорь затянулся, смешно дернув глазом. У него было лицо хорошего человека, а я не знал, стоит ли хорошим людям чего-нибудь знать о плохих.

А может, я и не был плохим, хотя бы в самом сердце моем.

Игорь сказал:

– Нет, ну раз история интересная, то расскажи.

Всхрапнул Мишаня.

– Ой, – сказал я. – Да ты даже не поверишь.

– Поверю. Я такого тут наслушался, даже не представляешь.

А таксисты, они как парикмахеры, священники и психологи – им душу можно излить так, чтобы она больше не болела.

И хотя я обезболился как надо всей моей приближающейся Москвой, хотелось говорить.

Игорь смотрел на дорогу, он меня никуда не торопил, словно все время мира не спеша раскручивалось из его наручных часов. Ох уж эта уверенность опытных водителей. Часы у Игоря на руке были хорошие, военные. Может, и не всё врут про медведей.

– Только правда не поверишь, – сказал я. – Ох, с чего б начать тогда?

И начал с мертвой мамки.